

# **История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям**

## **Михаил Осипович Коялович**

См. также:

Разбор критики К.Н. Бестужева-Рюмина на сочинение М.О. Кояловича: «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям»

Разбор критики Д. Корсакова на сочинение «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям» и уяснение современного состояния науки русской истории

В книге публикуется главный труд выдающегося русского историка и национального мыслителя Михаила Осиповича Кояловича «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям». Впервые изданный в 1884 г. труд М. Кояловича стал одним из фундаментальных произведений русской национальной мысли, настольной книгой многих русских людей. Л. Тихомиров считал обязательным иметь ее у себя каждому думающему русскому человеку.

Памяти Михаила Осиповича Кояловича (23 августа 1891 г.)

Предисловие

Памяти Михаила Осиповича Кояловича (23 августа 1891 г.)<sup>1</sup>

23 августа 1891 года скончался почетный член С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества, заслуженный ординарный профессор С.-Петербургской Духовной Академии Михаил Осипович (Иосифович) Коялович, бывший профессором Академии свыше 35 лет и состоявший членом Славянского Общества непрерывно едва не целых 25 лет (с 23 мая 1868 г.). Следовательно, почти четверть столетия имя и деятельность Михаила Осиповича связаны с жизнью нашего Общества, связаны почти с зарождением этого Общества в Санкт-Петербурге сначала (с 1867 до 1877 г.) в качестве Отдела Московского Славянского Благотворительного

Комитета, а потом (с 1877 г.) – самостоятельного Славянского Общества. И за это время ныне покойный Михаил Осипович был не только членом, всегда искренно сочувствовавшим целям и задачам нашего Общества, не только участвовал в его деятельности своими обычными денежными взносами и пр., но и горячо содействовал выполнению высоких его целей братской помощи и культурного нашего взаимообщения с заграничным Славянством. Поэтому, когда в прошлогоднем торжественном собрании Славянского Общества (25 ноября 1890 г.) председатель наш – граф Николай Павлович Игнатьев предложил общему собранию от имени Совета Общества в почетные члены Михаила Осиповича вместе с другим «достойнейшим нашим сочленом Афанасием Федоровичем Бычковым» как «неустанно служивших славянскому делу с самого основания Общества», «трудившихся в Совете Общества и его издательской комиссии», «то предложение это встречено было долго несмолкаемыми рукоплесканиями»<sup>2</sup>. Итак, год тому назад мы с радостью и полным единодушием приветствовали своего почетного члена Михаила Осиповича, который «дарил нас в общих собраниях своими всем памятными, прекрасными чтениями», и которого теперь – увы! – нет уже в живых. Если наше Общество с благодарностью принимает всякий посильный труд и нравственное участие в исполнении своей задачи от каждого из своих членов, то оно, конечно, с большей признательностью имеет право и обязано относиться к деятельности тех своих членов, которые «неустанно служили» его целям, с мужеством выступали на защиту славянского знамени, кирилло-мефодиевских преданий и заветов наших славных учителей-предшественников, горячих и вдохновенных поборников кирилло-мефодиевской идеи. Поэтому да позволено будет мне сказать в этом собрании несколько слов о деятельности одного из таких бескорыстных борцов за славянскую идею – о деятельности незабвенного Михаила Осиповича. Я коснусь только той стороны его деятельности, которая имела непосредственное отношение к жизни Славянского Общества, хотя, нужно заметить, все стороны его жизнедеятельности так тесно связаны одна с

другой, что почти невозможно их отделять или рассматривать вне связи с общим ходом развития его направления. Поэтому приходится в данном случае коснуться и таких сторон, которые уже были затронуты в различных некрологах о нем<sup>3</sup>, но которые, конечно, ждут еще в будущем своего специального биографа. Материалом же для биографии Михаила Осиповича могут служить не только его многочисленные печатные труды, но и оставшаяся после него весьма любопытная переписка с разными общественными, литературными деятелями и людьми науки (особенно обращает на себя внимание его переписка с различными деятелями в западнорусском крае, начиная главным образом со времени польской смуты 1863 г. и до последних дней жизни). Я пользуюсь, в частности, любезно предоставленной мне наследниками – сыновьями покойного М.О. Кояловича – его перепиской с И.С. Аксаковым, в изданиях которого, кстати, заметим, принимал деятельное участие Михаил Осипович (особенно в газете «День» и др.).

Михаил Осипович Коялович родился в местечке Кузнице Гродненской губернии, в 1828 году. Отец его – священник, почти товарищ по Виленской Академии (моложе курсом) приснопамятного Митрополита Литовского Иосифа Семашко. Время и место, где он родился, среда, в которой он начал свое сознательное детство, – все это налагало особый отпечаток на его восприимчивую душу. Подавление в крае русского элемента польским, шляхетско-панским, с одной стороны, и начавшееся возбуждение, и подъем русского народного духа через воссоединение униатов – с другой – все это отражалось на его впечатлительной душе и определяло отчасти дальнейшее направление его жизнедеятельности. Начав свое образование с Духовного училища (1841 г.), продолжив его в Духовной семинарии (1845–1851 гг.) и завершив в Санкт-Петербургской Духовной Академии в 1855 г., он после этого выступает определенно с теми идеалами, которые постепенно уяснялись в период его школьного образования и практическое осуществление которых обуславливалось теперь степенью их научного обоснования и сознанием нравственной целесообразности. Так, через год по окончании курса в

Академии Михаил Осипович пишет к одному из своих дальних родственников<sup>4</sup> следующее воспоминание о своем студенчестве: «Вам, вероятно, известно, что студенты академий наших в последнем году своего образования, т. е. в четвертом, пишут курсовые сочинения на степени. Обращаю ваше внимание на это потому, что избранная мною тема для этого сочинения решила мою участь, кажется, окончательно, навсегда. Писал я именно о давно задуманном, близком и родном моему сердцу – как литовец, писал историю Унии в Литве. Громадность этого предмета, живейший интерес и совершенная неразработка его ни в России, ни в Польше пробудили во мне всю энергию к трудам, к какой только я был способен. Ближайшее знакомство с предметом, открытые новые факты и взгляды при помощи богатейших, никем не тронутых источников, хранящихся в Императорской Публичной библиотеке, приводили меня в пафос. Я думал весь этот год только об Унии, дышал ею и грезил о ней во сне. Она стала для меня любимейшим занятием, лучшей пищей ума; и тогда-то я решил окончательно посвятить лучшие годы своей жизни этому труду и для этого во что бы то ни стало остаться на службе в Петербурге вблизи ко всем ученым средствам... Жизнь ученая при какой бы то ни было обстановке и в какой бы то ни было оболочке, если так выразиться, представлялась мне в самых радужных цветах, и в ней-то сосредоточивались все мои стремления». Так писал Михаил Осипович в 1856 г., когда уже намечался или, точнее, намечен был для него путь ученой карьеры<sup>5</sup>. Но еще ранее, непосредственно по окончании академического курса, после некоторых испытанных им неудач при отыскании себе соответствующих занятий<sup>6</sup> он писал: «...как трудно разгадать свою участь, как трудно развязать этот гордиев узел! Тысяча мыслей, планов переплетаются между собой в какой-то хаос, в котором изредка блеснет светлый луч, вливающий отраду в душу. Куда кинуться среди этих запутанных обстоятельств; где путь моей жизни, путь к счастливому будущему, к тому состоянию, которое бы принесло мне радостное сознание, что я стою на видной, благородной ступени в общественной жизни и живу, и тружусь не напрасно,

сообразно с настроением, требованиями души и обязанностями?! Как добиться решения тех задач жизни, которые я соблюл в душе своей, как заветную святыню, как лучшую разработку моих мыслей, и решился беречь, проводить невинно сквозь все затруднения и преграды! Задушевные, взлелеянные так заботливо мысли и планы! Вас ожидает пробный камень и, конечно, не один! Странные обстоятельства, странна жизнь человека! Вот человек составит себе те или другие затеи. Думаешь, ломаешь голову: как привести их в исполнение. Летит прочь покой, развлечение и сладкий сон. Думаешь, соображаешь, и нет конца бесконечной нити соображений, предположений, заключений, решений и надежд! Вдруг одно неожиданное обстоятельство – и вся головоломная работа упрощается, как Бог весть что. Дивный урок самоуверенной душе! Промысл Всевышний, кажется, так и говорит ей: не хлопочи слишком, не бери на себя больше чем следует; сама не решишь своей участи собственными силами, стараясь и трудясь над собою сама; предоставь с покорностью Богу для решения долю в твоей участи, в твоём будущем! Он лучше тебя знает, что тебе нужно и какая доля следует тебе! Испытал я над собою этот урок самым ощутительным образом. Вот оканчивал я курс наук. Жизнь души моей составляли три идеи: отблагодарить Родину за жизнь и воспитание учеными трудами в истории Унии, быть опорой матери и искать семейного счастья... Для осуществления этих целей необходимо остаться в Петербурге. В другом месте – гроб для той, другой или третьей идеи. Бог видит мою душу, что это не фантазия, не пустое пристрастие к столичному шуму и разнообразию жизни, а серьезные причины, золотые, благородные узы, которые привлекают меня к Петербургу. Но куда деться с этими идеями, как подладить к ним обстоятельства, где найти для них уютный уголок, где бы можно было их пригреть и пр.?»<sup>7</sup> Вот, следовательно, с каких пор ясно определился тот план жизнедеятельности Михаила Осиповича, который намечался и впечатлениями его детства, и природными дарованиями, и школьным образованием, в особенности в Высшем духовно-учебном заведении – в Духовной Академии. Но, однако, не

сразу по окончании курса ему пришлось приступить к осуществлению своего плана: назначенный сначала в преподаватели Духовной семинарии в Ригу, скоро переведенный на ту же должность в Петербург, он, естественно, не мог пока сосредоточить всех своих забот и внимания вокруг заветных своих идей; только со времени своего поступления на службу при Академии сначала на кафедру сравнительного богословия и русского раскола, а затем вскоре – на кафедру русской истории (гражданской и церковной)<sup>8</sup>, начинается та пора в жизни Михаила Осиповича, к которой ранее стремилась полная энергии, сил и благородных порывов его душа. Отсюда начинается его профессорская деятельность, с которой неразрывно связаны многочисленные ученые труды и занятия, а также и его общественная деятельность, тесно соприкасавшаяся, в частности, с жизнью, существованием нашего Общества и направленная нередко к выяснению его задач и действий в те или другие моменты его существования.

Не моя задача характеризовать здесь профессорскую деятельность Михаила Осиповича<sup>9</sup>; нет времени подробно исчислять его многочисленные ученые труды. Укажу только главнейшие, для наглядного представления о тех его научных интересах, которые, бесспорно, имели важное жизненное значение и по отношению к нашему Обществу. Ибо не раз сам он высказывал, что приведение в порядок наших западнорусских дел и вообще отношений на нашей юго-западной окраине, служивших, кстати, главнейшим предметом его изучения, должно отразиться благотворным образом на общеславянских делах и взаимоотношениях, составляющих существенный предмет внимания и попечения нашего Общества.

Так, в 1859 г. Михаил Осипович напечатал первый том своей магистерской диссертации «Литовская церковная уния», а в 1862 г. – второй том того же сочинения. В том же 1862 г. он напечатал «Лекции о западнорусских братствах», печатавшиеся в издании И.С. Аксакова «День». В 1864 г. он напечатал «Лекции по истории Западной России», перепечатанные потом в 1883–1884 гг. вторым, третьим и четвертым изданиями с приложением

Этнографической карты. В 1865 г. по поручению Археографической комиссии им были изданы «Документы, объясняющие историю Западной России и ее отношения к Восточной России и Польше» – с переводом на французский язык. В 1867 г. по поручению Академии наук издана «Летопись осады Пскова Стефаном Баторием». Через два года, в 1869 г., по поручению Археографической комиссии издан «Дневник Люблинского сейма 1569 г.» – с переводом на русский язык. В 1872 г. по поручению той же Комиссии издан 1-й том Русской исторической библиотеки – с переводом на русский язык заключающихся здесь дневников Смутного времени. А в 1873 г. он напечатал свое докторское сочинение «История воссоединения западнорусских униатов старых времен (до 1800 г.)». В следующем, 1874 г., по поручению Археографической комиссии им была издана вторая половина выпуска Макарьевских Четых-Миней (октябрь, с 4 по 19 число), а в 1880 г. издан конец (октябрь, с 19 по 31 число), с необходимыми сличениями текста с греческими и латинскими подлинниками и с более древними русскими рукописями Библиотеки Санкт-Петербургской Духовной Академии. В том же 1880 г. он напечатал свою актовую (произнесенную на годичном акте в Духовной Академии) речь «Три подъема русского народного духа для спасения Русской государственности в смутные времена» (в «Христианском Чтении» за этот год и отдельным изданием). А через четыре года, именно в 1884 г., Михаил Осипович издает свой обширный (часть своего курса по «Русской истории») труд «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям» (IX и 592 с.), который составляет как бы завершительное слово многолетней профессорской деятельности и полного научного мирозерцания, какое он проводил в своих ученых трудах и в публицистических статьях, а также в речах, с которыми неоднократно выступал при различных случаях в наших общих и торжественных собраниях. В Предисловии к своему труду, определяя направление, которому следовал и следует в своей научной деятельности, он говорит, что, так как «в истории область объективных истин весьма невелика, а все остальное

субъективно и неизбежно субъективно, нередко даже в области простейших голых фактов...», то он следовал такому субъективизму, который больше всех других «обнимает фактическую часть русской истории и лучше других освещает действительные и существенные ее стороны» и к которому он пришел, говоря его же словами «не только по указанию русского чувства, но и по научным требованиям» (с. VI). «Такой русский субъективизм, – писал Михаил Осипович, – я находил и нахожу в сочинениях так называемых славянофилов. Он лучше других и в народном, и в научном смысле, и даже в смысле возможно правильного понимания и усвоения общечеловеческой цивилизации. Сказав это о субъективизме так называемых славянофилов, я этим самым обозначаю и свой собственный субъективизм» (с. IX). С точки зрения этого «субъективизма», научно обоснованного, он перед своими слушателями в аудитории блестяще излагал курс «Чтений по русской истории»<sup>10</sup>, и в своих печатных трудах научно освещал вопросы науки, служившие предметом его исследований и многочисленных статей, а также безбоязненно и смело высказывал его в своих публичных речах и пр. В данном случае, конечно, нет возможности доказывать все это подробными выписками из различных сочинений и статей, но нельзя, однако, не привести хоть некоторых суждений и тех данных, которые освещают характер его научно-литературной деятельности и, в частности, его отношение к цели и задачам Славянского Общества.

Как видно из перечня главнейших ученых трудов Михаила Осиповича, его внимание по преимуществу обращено было на изучение истории западнорусского края; и в этом отношении его самостоятельные ученые работы и издания прояснили в первый раз такие стороны в исторической жизни края, которые до того времени не были так полно и ясно освещены. В своих работах о «Литовской церковной унии», в лекциях «О западнорусских братствах» и «По истории Западной России» он показал, между прочим, преимущественно в высших слоях западнорусского общества, падение, а в известной части народа – живучесть тех начал жизни, против которых неустанно боролась соседняя и



потом – господствовавшая здесь некогда Польша, постоянно стремившаяся к осуществлению своих притязаний на этнографическую часть Русской земли; а в упомянутых изданиях по истории Западной России («Документы, объясняющие историю Западной России и ее отношение к Восточной России и к Польше», «Летопись осады Пскова Стефаном Баторием», «Дневник Люблинского сейма 1569 г.») он нашел ясное подтверждение и разъяснение той мысли, что, несмотря на провозглашенное соединение Литвы и Польши в 1386 г. Ягайлом и несмотря даже на Люблинскую политическую унию 1569 г., это соединение не могло проникнуть в глубь местной русско-народной жизни<sup>11</sup>. Правда, Брестская церковная уния (1596 г.), сопровождавшаяся отторжением от протестантской веры высших классов литовско-русского общества и даже значительной части народа, говорит об успехах этого соединения. В своем труде о «Литовской церковной унии» Михаил Осипович показывает процесс латинизации и полонизации края; но в другом своем ученом труде – «Истории воссоединения западнорусских униатов старых времен» он представляет как бы процесс возрождения подавленного старорусского начала, восстановления погрязших прав, что, однако, еще полнее выразилось уже в настоящем столетии после воссоединения униатов в 1839 г. Но начатый труд по истории воссоединения униатов не доведен до этого времени, хотя отдельные эпизодические работы в этом отношении продолжены и отчасти напечатаны, как, например: «Разбор сочинения П.О. Бобровского «Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I. Историческое исследование по архивным документам» и указание, на основании архивных документов, иной постановки всех главных униатских вопросов того времени» (СПб., 1890) и некоторые другие<sup>12</sup>. Как бы продолжением его ученых и издательских трудов по истории латинизаторских усилий Запада на русской территории служат печатаемые им (по поручению Археографической комиссии) «Тайные письма иезуитов, бывших в России при Петре Великом», но при жизни автора так и не вышедшие в свет.

Михаил Осипович известен не только как профессор, ученый, обогативший науку своими научными вкладами, но и как писатель-публицист, делившийся с обществом богатством своего научного содержания. Ту и другую деятельность он совмещал без ущерба для какой-нибудь одной из них или, точнее, будучи кабинетным ученым по призванию, он выступал в публицистической деятельности тогда именно, когда вызывали его к тому или настоятельные нужды того края, который составлял главнейший предмет его изучения, или столь же настоятельные интересы популяризации своих научных сведений для исправления господствующих в обществе и печати недоразумений, или просто – когда находил досуг и свободное от научных занятий время и в то же время горел желанием поделиться своими благородными думами с обществом, которое нуждалось в его слове. Он сотрудничал во многих периодических изданиях: в «Церковном Вестнике» и «Христианском Чтении»<sup>13</sup> (изд. при Санкт-Петербургской Духовной Академии), в «Журнале Министерства народного просвещения»<sup>14</sup>, в газете «День»<sup>15</sup> и других изданиях покойного И. С. Аксакова, в «Русском Инвалиде»<sup>16</sup>, в «Гражданине» (прежней редакции 1872 г.)<sup>17</sup>, в «Правде» (изд. 1888–1889 года)<sup>18</sup>, в «Новом Времени»<sup>19</sup>, в «Известиях Санкт-Петербургского Славянского Благотворительного Общества»<sup>20</sup> и др. Почти не было более или менее важного события или вопроса в общественно-религиозной жизни нашего юго-западного края, которого бы не касался Михаил Осипович в своих разнообразных статьях. Он чутко прислушивался к движениям общерусской жизни, всегда внимательно относился к явлениям общеславянской истории и современности. Везде он, воспитавшись сам среди борьбы и страданий своей Родины от латино-польских притязаний на западнорусский край, указывал смысл этой борьбы как борьбы за православно-русское, православно-славянское или иначе – греко-славянское культурное начало против завоевательных притязаний латинства и германизма (вторгавшегося через Польшу), следовательно, против латино-германских начал западноевропейской жизни. Поняв это, он бодро, даже ревниво

стоял на страже русско-славянских народных интересов, особенно там, где они были обуреваемы прибоем волн иноземного враждебного влияния. Поэтому не удивительно, что в публицистических статьях, как и в ученых трудах, главное внимание свое он обращал на западнорусские дела, где опасность иноземного влияния сказывалась сильнее и заметнее. Но при этом он не останавливался только на провинциальных интересах края: дорожа некоторыми его особенностями, он тесно связывал их с ходом русской жизни; был горячим и убежденным поборником единства Русской земли и ее духовных, культурных связей с родственным заграничным Славянством. Так, когда в 1861 г. на приглашение И.С. Аксакова<sup>21</sup> сотрудничать в его газете «День» Михаил Осипович ответил согласием, И.С. Аксаков (22 сентября 1861 г.) писал ему: «Вот уже для одного этого стоит издавать газету, чтобы дать в ней место свободному голосу двух-трех людей, как вы! Мне некогда очень много писать, но мне хотелось только выразить ту истинную душевную отраду, которую мне доставило ваше горячее письмо, и передать вам, что я вполне и всем сердцем вам сочувствую. Вы увидите, что под знаменем истинной Москвы как представительницы всея Руси могут стать в братском союзе и Великая, и Малая, и Белая, и Червонная, и Черная Русь, и Литва и проч. Вспомните стихи Хомякова к России:

...и все народы  
Обняв любовью своей,  
Скажи им таинство свободы,  
Сиянье веры им пролей!»

Если в этом письме И.С. Аксаков разъясняет свой взгляд по поводу высказанных, вероятно, некоторых недоумений М.О. Кояловича, взгляд на отношения «истинной Москвы» к тем коренным «особенностям Литвы», которые дают ей только «внутреннюю самобытную силу», то в следующих затем письмах он уже не имеет повода касаться этих вопросов, будучи знаком с его основными воззрениями из его сочинений, печатавшихся в «Дне» статей и из частной их переписки, которая содержит разные подробности относительно

присылаемых М.О. Кояловичем статей и их значения для тогдашней русской общественной мысли, относительно вообще того широкого и горячего участия, какое принимали в тогдашнем положении западнорусского края М.О. Коялович, с одной стороны, и И.С. Аксаков – с другой. Так, еще в 1861 г. (4 ноября), получив от М.О. Кояловича статью<sup>22</sup>, И.С. Аксаков пишет ему: «Не смущайтесь ничем, дорогой сотрудник! Пусть шипит злоба и клевета! Пусть вооружается против нас петербургский псевдолиберализм: так и быть должно! Плохо бы было, если бы мы его не задели за живое! В теперешнее хаотическое время нужнее, чем когда-либо, неуклонная верность своему нравственному путеводному началу и безбоязненное ему служение. На вас вскипят злобой тысячи человек, но если вы единого от малых сих спасли и обратили, так вы уже совершили целый подвиг. Вспомните, что вы можете оживить, поднять и возродить духовно целый край! Нет, крепче соединимся вместе, во имя всея России, всего русского народа...». И.С. Аксаков дорожил сотрудничеством М.О. Кояловича в своей газете. Так, когда в 1863 г. М.О. Коялович печатал свои статьи в «Русском Инвалиде»<sup>23</sup> и посылал некоторые в «Московские Ведомости», И.С. Аксаков (5 декабря 1863 г.) писал ему: «Ваша ревность к Западному краю заставляет вас метаться во все стороны, и это, подрывая несколько ваш авторитет, нарушая стройность системы, порождая путаницу понятий, отзовется вредом самому краю. Больше было бы пользы, если бы огонь вашей батареи был сосредоточеннее, сдержаннее, а не рассыпался во все стороны». Поэтому он настойчиво просил Михаила Осиповича посылать ему статьи, и, печатая их, неоднократно имел случай восторгаться тем впечатлением, какое они производили в свое время на общественное мнение в отношении к западнорусскому краю. Так, еще в 1861 г. (22 октября) И.С. Аксаков писал М.О. Кояловичу: «Статья ваша<sup>24</sup> имела успех блистательный и разом осветила для публики неясный для нее вопрос отношений Литвы к Польше. Решительно все от нее в восхищении. Буду с нетерпением ожидать новой статьи вашей по прочтении вами памятников, изданных Дзялынским»<sup>25</sup>. Также и в 1863 г. (22

апреля) И.С. Аксаков пишет М.О. Кояловичу: «Статья ваша в № 15 («Дня») произвела большой эффект»<sup>26</sup>. Начавшееся при посредничестве В.И. Ламанского знакомство М.О. Кояловича с И.С. Аксаковым продолжалось потом во все последующее время, продолжалась между ними переписка и до самой кончины И.С. Аксакова<sup>27</sup>.

Знакомство с Аксаковым и сочувствие к издательской деятельности последнего, сочувствие к одушевлявшим его идеям сблизило Михаила Осиповича с другими выдающимися представителями того же направления – Ю.Ф. Самариным, А.Ф. Гильфердингом и многими другими, возбудило в нем живое стремление к научному уяснению этого направления. Впрочем, это стремление сознательно выросло и развивалось у него под влиянием тех научных разысканий, которые составляли его призвание, заветную мечту с самой студенческой скамьи. Изучение исторических судеб западнорусского края выдвигало перед ним вопросы и решения их в такой постановке, в какой они соответствовали «научным требованиям», а также указаниям истинно русского чувства и истинно русских, общеславянских интересов. Михаил Осипович неоднократно указывал на эту связь в деятельности наших славянофилов в Западном крае. Так, например, в речи своей, посвященной памяти Ю.Ф. Самарина<sup>28</sup>, он говорил: «Позволю себе напомнить дела, по-видимому, совершенно забытые, русско-польские, и указать взгляд Ю.Ф. с точки зрения одной из этих окраин, к которой принадлежу по моему происхождению и специальным моим занятиям. Не могу забыть того времени, когда я в первый раз увидел нашу знаменитую триаду – Н.А. Милютина, Ю.Ф. Самарина и князя Черкасского... когда я увидел ее у покойного графа Блудова и когда затем мы отправились в дом одного из ближайших друзей Ю.Ф. – князя Оболенского... На меня, тогда только что вступавшего на поприще общественной деятельности, эта славная триада произвела могущественное, неизгладимое впечатление. Живо помню и другое время, когда я видел Ю.Ф. здесь же в Петербурге, после возвращения его из Польши, где он изучал с Н.А. Милютиным и князем Черкасским крестьянское дело и собирал материалы для составления

Положения о польских крестьянах. Когда я начал с ним беседу о разных западнорусских неудачах и недостаточности там русской поддержки, Ю.Ф. почти с жестокостью сказал мне, что сами западноруссы виноваты: сами бы они должны были работать и поправлять свои дела. Я был поражен этими словами и готов был думать, что ему мало известны или даже чужды дела западнорусские; но вскоре мне стало ясно, что Ю.Ф. не чужды были эти дела, а, напротив, очень близки... он возмущался безжизненностью русских сил в Западной России; но когда в этой стране оживали эти силы и сказывались в делах, тот же Ю.Ф. сам шел к ним навстречу, сам спешил ближе ознакомиться с ними и заезжал, между прочим, ко мне».

При оценке значения деятельности Ю.Ф.Самарина на окраинах М.О. Коялович обращался к тому общему, не раз высказанному и подробно выясненному им взгляду, что направление, к которому принадлежал Ю.Ф. Самарин, т.е. «славянофильство», давая «жизненное, русское содержание, способное привлечь к себе людей», имело «самое могущественное и благотворное влияние в Западной России». Поэтому не удивительно, что под это знамя стекались все лучшие западнорусские силы, что под него встал и Михаил Осипович с самых первых лет своей литературной деятельности. Стоя под этим знаменем, вооруженный историческими знаниями и вообще наукой, он освещал прошлую и современную жизнь не одного только западнорусского края, но и всей Русской земли и даже целого Славянства. К сожалению, теперь нет возможности выяснить это подробно, хотя бы из того, так сказать, свода его научных воззрений в области изучаемой им специальности, который представляет обширный труд «История русского самосознания». Но мне хотелось бы, по крайней мере, остановить внимание собрания на тех речах покойного Михаила Осиповича, которые он произносил в собраниях Славянского Общества, и которые, служа выражением его славянофильского мировоззрения, представляют данные для подтверждения высказанных мыслей (о его взглядах на движение общерусской жизни и отношения общеславянские). Для этого я останавлиюсь на некоторых только

речах и комментариях к ним из других мест его статей и сочинений.

Прежде всего, я остановлюсь на его речи «Историческая живучесть русского народа и ее культурные особенности», сказанной в заседании Славянского Общества 23 января 1883 г.<sup>29</sup>

В начале своей речи он говорил: «В бесконечном споре между так называемыми у нас западниками, или поборниками правового порядка, с одной стороны, и народниками, самобытниками – с другой постоянно поднимается вопрос: что самобытно-культурного выработало наше русское прошедшее, каковы самобытные идеалы России? И если судить по той нашей текущей литературе, какая больше всего обращается в массе русских читателей, то придется признать, что с самой большой смелостью и самоуверенностью вопрос этот решается отрицательно (это и легко делать, не нужно для этого больших знаний), а положительное решение его дается с недостаточной ясностью или полнотой, по самому свойству предмета, требующего больших русских знаний и мало удобного для легкого изложения». Михаил Осипович старается раскрыть в своей речи «положительное, богатое культурное содержание нашего русского прошедшего», указывая «выдающиеся факты об исторической живучести русского народа, как одно из главнейших условий прочной культурности», причем раскрывает «степень даровитости народа» и «самые культурные явления и силы нашего прошедшего».

«Всемирно известно, – продолжает он, – как громадно наше отечество по своему пространству и народонаселению. На пространстве четырехсот с лишним тысяч квадратных миль Русского государства живут, по одним подсчетам, около ста миллионов, а по новейшим сведениям – будто бы даже свыше ста миллионов жителей. Всякому очевидно, что только сильный, исторически живучий народ мог образовать такие громадные величины»; этот «великий исторический труд мог совершить народ не только исторически живучий, но и даровитый, тем более, что это не был какой-либо азиатский труд, как лава быстро и опустошительно разливающаяся и скоро потухающая.

Это был европейский труд – медленный, упорный и крайне тяжелый»... (с. 5, 6). «Распространяясь на северо-восток по нынешней России, русский народ с древнейших времен шел в эти огромные и неведомые тогда для него страны со своим народным; а потом и с христианским сознанием, что так прекрасно для старого времени и так укоризненно для нашего выражено на первых страницах нашей Древнейшей летописи. Летописец великолепно знает вообще славянские племена, с заботливостью замечает, что и то и другое из русских племен – Славяне же, и дает точный список славянских и не славянских племен Русской земли, прибавляя, что первые уже христиане, крещенные во едино Крещение» (с. 7). «Под этими-то двумя знаменами – сперва народным, а потом и христианским, соединившимися затем в единое знамя Святой Руси, русский народ сохранил себя как народ и развивал свои славянские способности и склонности» (там же). Затем Михаил Осипович отмечает следующие особенные явления в исторической жизни русского народа. Это, прежде всего, «любовь его к земледелию и настойчивое стремление к обладанию лучшей землей, – к обладанию обоими нашими черноземными бассейнами – юго-западным и юго-восточным», и в этом стремлении «русский народ развивал культурную форму жизни – земельную общину со сходкой, или русским миром, – общину, которая является у него тоже с древнейших времен и коренилась не на первобытных родственных отношениях – родовом быте, а на начале любовного соглашения» (с. 8). «Вместе с любовью к земледелию, – продолжает он, – русский народ тоже с древнейших времен обнаруживал любовь и способность к промышленности, торговле, показывал замечательное умение овладевать речными, водными путями и берегами прилегавших к его земле морей» (как, например, русская Тмутараканская колония у Керченского пролива, походы русских к Каспийскому морю в конце IX и в начале X в., новгородская торговля по Балтийскому морю и мн. др.). И в торговой жизни, подобно общине в земледельческой, русский народ развивал ту же культурную форму – вечевую форму общественной своей жизни, а при передвижении с одного места на другое он вырабатывал



разного рода дружины: военные, торговые, промышленные, сохранившиеся отчасти в нашей теперешней артели (с. 8, 9). «Наконец, – говорил Михаил Осипович, – развивая свою земскую жизнь в селах и городах, русский народ в весьма раннее время сознал необходимость государственного строения, государственной объединяющей власти», выразившейся в Московском единодержавии «с земскими соборами и с земским всенародновластным царем во главе» (с. 9). Этот многовековой, настойчивый, можно даже сказать подвижнический труд русского народа, обнаруживший в нем столько крепких сил и выработавший столько хороших качеств (терпение в строительной государственной работе, несмотря на затруднения, несмотря на жестокости Ивана Грозного и «потрясения», т. е. «преобразования Петровские», – человечность в отношении к другим) – ручательство за будущие успехи России» (с. 11). Этому росту основного русского этнографического зерна России не могут мешать другие вошедшие в него этнографические группы.

Приступая к разъяснению этого вопроса, Михаил Осипович прежде всего спрашивает: «...Каковы же отношения к ним (т. е. инородческим этнографическим группам) русской этнографической массы, чем она их держит и в чем историческое, т. е. культурное оправдание власти над ними этой массы»? Разъясняя эти вопросы, признавая культурные начала воздействия России на инородцев, он выражается, между прочим: «На всех важнейших наших окраинах самой историей поставлена русскому народу счастливейшая и благороднейшая задача – охранять исконное, туземное население от пришельцев и нередко насильников, и восстанавливать в их отношениях нравственную правду (например, в Финляндии охранять туземцев Финнов от пришельцев Шведов; в Балтийских областях – Эстов и Латышей от Немцев, в Польше – «простой польский народ от сделавшихся ему во многом чужими польских панов и ксендзов» и т. д.) (с. 21). «Не одна историческая случайность дала России такую счастливую и благородную постановку ее отношений к инородцам – отношений человеческого уважения к законным нуждам и благам

меньших людей, отношений истинного христианского братства» (с. 22), лежащих в основе русской исторической жизни. «Те же начала сказались» в лучших типах русской земельной общины, выразились в освобождении наших крестьян с землею, в последней нашей Восточной войне – в защите южных славян от насильников турок, «без всяких видов на корыстную награду». Причем «наша русская вера освящает наши искренние русские начала, и в этом совпадении – величайшее наше историческое счастье и благо» (с. 23). «Все это, естественно, давая внутреннюю силу самой России, привязывает к ней и ее инородцев, приобщая их к внутренним, основным началам русской жизни» (с. 26).

Вышеприведенными выдержками из прекрасной и поучительной речи Михаила Осиповича (рекомендуем ее почитать!) не исчерпывается, конечно, все ее богатое содержание; но из приведенных кратких извлечений можно видеть характер того направления, под знаменем которого стоял М.О. Коялович, глубоко веривший в «историческую живучесть русского народа», несмотря ни на какие временные испытания. Причем он неустанно проповедовал также о роли целого Славянства, объединенного кирилло-мефодиевской идеей, несмотря ни на какие веяния в обществе и направления в политике. В этом последнем отношении необходимо, однако, указать некоторые данные. Еще в начале 60-х годов в издании И.С. Аксакова «День» (1861–1862 г., № 6) по поводу возгоревшейся тогда греко-болгарской распри М.О. Коялович писал редактору: «Ваше сердце сжималось, когда вы читали и печатали в № 3 (за 22 октября 1861 г.) вашей газеты письмо г. Жинзифова о невежестве Русских по отношению к Болгарии. Сжималось от него сердце и у многих ваших читателей... Нельзя в самом деле не почувствовать всей горечи от этого неуместного, непростительного невежества... И чтобы сколько-нибудь ослабить эту несправедливость, уменьшить это невежество, мне кажется, необходимо теперь раскапывать, раскрывать все их проявления, как бы это ни было неприятным нам Русским и самим Болгарам». Эту мысль о необходимости знания различных частей славянского мира Михаил Осипович

постоянно при всяком удобном случае высказывал и доказывал примерами, фактами не только племенного родства, но и практической важности славянского взаимообщения. Даже в одной из своих речей, произнесенных в Славянском Обществе 6 апреля 1887 г.<sup>30</sup>, под влиянием продолжавшейся тогда австрофильской политики Милана в Сербии, начавшегося стамбульского террора в Болгарии и других неурядиц в разных частях славянского мира, он указывал на большую целесообразность в данный момент литературного научения Славянства, чем на благотворительную деятельность: «Нам, членам Славянского Общества, – говорил он, – по моему мнению, важнее всего теперь заняться выяснением в нашем и славянском сознании старых и новых путей как нашего разъединения, так и нашего единения, т. е. в деятельности нашего Славянского Общества, по моему мнению, должна преобладать не благотворительная деятельность, весьма теперь трудная и малонадежная (о принятых обязательствах и необычайных нуждах не говорю здесь), а деятельность ученая и литературная, так как теперь особенно нужно выяснить в общественном сознании положение и задачи Славянства и ставить противовес тому умственному культурному завоеванию, какое даже теперь производит в Славянстве Западная Европа». Но, указывая на предпочтительную важность теоретического изучения Славянства, особенно в данный неудобный для развития практического славянского взаимообщения момент (т. е. в 1887 г.), Михаил Осипович связывал вообще интересы того и другого сближения, указывал на практическую важность теоретического изучения и напоминал не раз о необходимости более живых славянских связей и даже тесного славянского единения. Об этом единении он говорил обыкновенно с точки зрения культурной, не вмешиваясь в область политики. Он говорил о единении Славян под знаменем кирилло-мефодиевской идеи. Так, например, в достопамятный день 6 апреля 1885 г. он начинал свою речь<sup>31</sup> в торжественном собрании Славянского Общества следующими словами: «Сказывается во всем величии тысячелетняя сила подвигов наших славянских апостолов. Воскресают в славянских сердцах

лучшие заветы прожитой тысячелетней истории, и с ними связываются лучшие задачи нашей современности». При других случаях он ближе и частнее определяет эти «лучшие заветы прожитой тысячелетней истории и лучшие задачи нашей современности». Так, например, по поводу известной «Апелляции» теперь также уже покойного отца И.Г. Наумовича к папе Льву XIII<sup>32</sup> и под влиянием известного галицко-русского судебного процесса (1882 г.) по обвинению лучших галицко-русских деятелей в государственной измене Михаил Осипович в общем собрании Славянского Общества (17 ноября 1883 г.) говорил: «Мы не можем не заботиться об охране Славянства от разрушительных влияний и не обдумывать средств к восстановлению и поддержанию внутреннего единства между Славянами. Что же нам желать и что ждать ввиду таких явлений (т. е. ввиду галицко-русских дел)? Желать и ждать, чтобы все Славяне сделались православными? Да, желать и ждать этого, несмотря ни на что, что бы ни говорили о нас... Но необходимо признать, что эта перемена в жизни Славян не может совершиться ни скоро, ни легко; необходимо даже думать, что это крайне трудно осуществимо, а между тем единение Славян крайне и настоятельно нужно»<sup>33</sup>.

Однако Михаил Осипович не смущался этими трудностями, верил в святость дела и, не колеблясь в этой вере, неизменно призывал к ней, призывал к необходимой для этого неустанной деятельности. Так, например, когда постигла неудача наших добровольцев в Сербии и обрушились против них и Славянского Общества различные обвинения со стороны нашей лжелиберальной печати, то он в одной из своих статей (хотя и по другому случаю – «по поводу известия из Праги о принятии Православия Сладковским») писал: «У нас едва ли не вошло в обычай указывать лишь на дурные стороны славянского оживления<sup>34</sup>, причем творятся часто волей и неволей весьма нехристианские дела: позорятся смерть и страдания русских людей, погибших за славянское дело; позорятся доблести лучших русских людей, неповинных вовсе в дурных делах своих собратьев; позорятся лучшие проявления сердца – сочувствие и помощь несчастным»<sup>35</sup>. Затем, когда под влиянием

начавшегося в Болгарии стамбульского террора, а также и других печальных явлений в славянском мире известная часть нашего общества пришла в уныние и даже разочарование в великих недавно еще совершенных подвигах нашего славянского братства, М.О. Коялович говорил опять в Славянском Обществе<sup>36</sup>: «Идея славянского единения жестоко страдает (как это доказывают не одни дела Болгарии, Сербии, дела некоторых чешских партий и дела Поляков всех государств, по которым они разбиты)... Наша деятельность как Славянского Общества обставлена самыми неблагоприятными условиями и в других славянских странах, и в нашей собственной Русской стране; и я уверен, что всем нам, вообще Славянам, давно не приходилось взирать с таким смущением, как теперь, на это наше общеславянское знамя (причем указано было на хоругвь с изображением святых Кирилла и Мефодия) и на эти святые лики братьев славянских апостолов – этих древнейших и могущественнейших насадителей славянского единоверия и единомыслия. Но как бы ни было велико и сильно теперь славянское смущение, оно не должно быть бесплодным соболезованием, а должно возбуждать в нашем славянском сознании новые лучи, которые бы озаряли наше положение, наши задачи и направляли наши силы к плодотворной деятельности<sup>37</sup>. Содействовать всему этому – долг каждого из нас, членов Славянского Общества, и, позволительно надеяться, долг вообще членов русского общества, сочувствующих нам». И Михаил Осипович не только не отказывался служить этому делу всеми возможными и зависящими от него средствами, но и горячо призывал к нему других, не смущаясь ни нападками лжелиберализма наших «европейцев», ни равнодушием даже русского общества, увлекающегося обыкновенно порывами и удивительно скоро разочаровывающегося при каких-либо, даже временных, наших неудачах. Его вдохновляла и освещала ему путь та великая кирилло-мефодиевская идея, лучшие проявления которой в славянской истории и современности разрешали его недоумения и, не давая места колебаниям, питали в нем надежду, веру в ее жизненность и несомненную нравственную

победу, потому он и горел пламенным желанием видеть ее осуществление в целом Славянстве. Да будет же ему наша нелицемерная благодарная память и да возгорается пламень его веры и любви к славянскому делу во всех славянских сердцах; пусть продолжает гореть и не гаснет он, в частности, в сердцах бывших его многочисленных слушателей в наших собраниях, которые некогда и неоднократно приветствовали восторженно его горячее, убежденное славянское слово с этой кафедры.

И. Пальмов

#### Предисловие

С самого начала моей профессорской деятельности я считал первейшей своей обязанностью вводить моих студентов прежде всего в область литературы науки русской истории и давать им такие указания, которые помогали бы сразу определять нужные им по тому или другому вопросу книги и узнавать при первом ознакомлении с новой книгой, что ждать от нее, что искать в ней. Поэтому я обыкновенно начинал мой курс «Русской истории» с истории этой науки. С годами отдел этот увеличивался и требовал более и более времени для его изложения, так что, наконец, я вынужден был употребить на это весь учебный 1880–1881 год. Тогда же эти «Лекции» были мною написаны, а затем до последнего времени я их исправлял и дополнял, насколько мог, и дал им вообще тот вид, в каком они теперь являются в печати.

Главнейшая задача, которую я старался выполнить и которая обозначается самым заглавием книги, могла бы быть поставлена гораздо шире. Можно было бы проследить русские сочинения по всем у нас наукам, не исключая даже естествознания и математики, и показать, какие русские особенности они отражают в себе<sup>38</sup>. Я, конечно, не мог взять на себя такой широкой задачи. Она превосходит и мои знания, и мои силы. Даже в области предметов, подлежащих моему исследованию, я многое не успел сделать.

В трудах такого рода, как настоящий мой труд, равномерность исследования (разумею не внешние ее качества, а внутренние) – дело крайне трудное. Одни

литературные явления, т. е. сочинения, ускользают от внимания иногда по самой пустой случайности, в других не легко поддаются изучению существенные их особенности<sup>39</sup>, третьи – новейшие сочинения по тому уже самому, что недавно явились, труднее попадают на принадлежащее им место. Я, конечно, не избежал этих трудностей, да и не одни эти трудности приходилось преодолевать и перед некоторыми из них даже прямо отступать.

Сводя в одно разные труды по русской истории, устанавливая их взаимное отношение, разделяя по группам и показывая в каждой основные начала, я привожу при этом нередко мнения одних историков и других, но далеко не все мнения их, а еще реже – мнения не историков. Между тем ту и другую работу, особенно последнюю, можно было бы вести очень далеко. Можно было бы проследить по журналам и газетам все мнения о наших исторических трудах и исторических вопросах, мнения и ученые, и не ученые. Тогда было бы видно, как наше русское общество относилось к русской истории и к важнейшим явлениям в этой науке, т. е. тогда видно было бы вообще русское самосознание по отношению к нашему прошедшему. В моем труде я наметил некоторые выдающиеся моменты в этой особого рода истории нашего русского самосознания, но от полной разработки ее должен был удержаться. Хотя у нас дело библиографии двинуто уже далеко благодаря трудам лиц, которых я перечисляю в начале моей книги, но кто перебирал наши русские библиографические указания для строго научной цели, тот знает, как все сделанное еще далеко от того, что нужно было бы иметь; а без этого собственный труд, по указанной выше задаче, мог бы быть специальным трудом всей жизни одного лица, а не частью его деятельности, как было со мною. Всем известно, как не легки собственные поиски этого рода, особенно в старых журнальных изданиях. С великой благодарностью я вспоминаю при этом, как много облегчали мне эту работу, даже в малом ее виде, некоторые новейшие сочинения, как например, М.П. Погодина о Карамзине, г. Незеленова о Новикове, г. Иконникова о скептиках, г. Анненкова о первых временах школ

славянофильской и западнической. Эти сочинения указали мне некоторые новые вопросы и дали возможность с меньшим трудом восстановить некоторые части моей собственной работы, которую я не раз производил в области старых журналов, но не всегда находил время записать все сделанное.

За все такие и им подобные недочеты я прошу у читателей снисхождения, которое, вероятно, и дано мне будет, по крайней мере, некоторыми из моих собратий по разработке русской истории, хорошо знакомых с трудностью и сложностью такой работы. Но в чем я ни у кого не буду просить никакого извинения или снисхождения, потому что дело касается сложившегося и окрепшего в течение многих годов убеждения, это в следующем.

Еще в юные годы моих изысканий по русской истории, когда приходилось вращаться в необозримой массе фактов, как в громадном, густом и темном лесу, я, естественно, искал в этом лесу тропинки, дороги, проложенные и прокладываемые другими к изучению этого леса и к выходу на такую возвышенность, с которой можно было бы обозревать все его пространство и узнавать главнейшие его части, изученные по этим тропинкам и дорогам. На этих путях я часто видел как бы руководящие надписи: «Объективность, научность»! Но историческое чутье и горький опыт слишком часто показывали, что эти надписи неверны, что вместо них нужно бы написать: «Субъективность, известный угол зрения»! Я возвращался назад с этих путей, забирался в новые чащи леса фактов, искал новые указания, но опять находил ту же неверность и на новых путях. В томительных поисках надежных путей к истине я стал обращаться к ученым, известным во всем мире своей объективностью, – к немецким ученым, занимавшимся русской историей; но к величайшему изумлению увидел, что у них еще большая неверность в надписях на путях знания «объективность, научность», что у всех этих гг. Байеров, Миллеров, Шлецеров под внешней оболочкой научности, объективности скрывается самый узкий, немецкий субъективизм. Теперь это уже не какое-либо открытие, не новость в нашей науке. Как увидим, об этом в новейшее время



уже немало говорят наши русские ученые. Но в те мои годы, о которых я говорю, т. е. около 30 лет тому назад, это открытие для меня было ново и сильно меня поражало.

В настоящей моей книге я собираю из трудов Байера, Миллера, Шлецера и старые, и новые данные в подтверждение этой мысли; прибавляю новые изыскания по этому вопросу в области научных трудов по русской истории наших балтийских немецких ученых; затрагиваю данные для изучения других инородческих у нас изысканий по русской истории и ставлю вопрос: больше ли произошло пользы или вреда от вмешательства иноземцев в разработку русской истории?

Читатели могут видеть, что я пришел к этому вопросу не только по указанию русского чувства, но и по научным требованиям. Занимая столько лет кафедру русской истории, я не мог не полюбить исторической истины, и не менее других могу уважать научные приемы знания, облегчающие достижения ее. Но чем дальше, тем больше я приходил также и к тому убеждению, что в истории область объективных истин весьма невелика, а все остальное субъективно и неизбежно субъективно, нередко даже в области простейших, голых фактов<sup>40</sup>. И древнейший наш летописец, писавший бесхитростно свою летопись, и последний подьячий московских времен, составлявший простую бумагу, и ученейший русский историк новейших времен – все субъективны, все высказывали и высказывают так или иначе свое понимание дел. Я не думаю, чтобы позволительно было скрывать это или следовало стыдиться. Да и напрасно было бы скрывать и стыдиться. Раньше или позже это откроется.

Такое понимание дела и было причиной тому, что я всегда отдавал много времени изучению истории науки русской истории, и это же служит причиной, почему я дал такое заглавие настоящей моей книге. Желая не менее других, чтобы в нашем знании по русской истории увеличивалась более и более сумма достижимых объективных истин, но в то же время устраняясь от бесплодной погони за объективной истиной там, где ее в чистом виде быть не может, я признал более научным и полезным

разобраться, прежде всего, в разного рода субъективизмах по изучению русской истории.

При исследовании этих субъективизмов главной моей задачей было определить: какой из них обнимает большее число фактов и лучше обнимает, чем другие. На этом пути изысканий мне приходилось делать любопытные наблюдения.

Я встречал больше всего такие субъективизмы, которые обнимали только часть изложенных фактов, а остальные факты привязывались к субъективизму историка схоластическим способом, строгим или даже совсем нестрогим. Тут я видел то невыработанность субъективизма и колебание автора забрать под свой субъективизм собранные им факты, то жестокую борьбу смелого субъективизма историка с его твердой честностью. Таковы субъективизмы: первый – в «Истории» митрополита Макария, второй – в «Истории» С.М. Соловьева.

Далее, я находил субъективизмы не только смелые, но и ничем уже не сдерживаемые, при которых авторы, по-видимому, все собирали и объединяли одним началом. Но при внимательном изучении оказывалось, что факты не собираются, а выбираются, и не объединяются, а насильно подгоняются под начала, наперед составленные, взятые готовыми у чужих людей – у разного рода западноевропейских ученых. Такова большая часть сочинений наших западников и тесно с ними связанных реалистических. Самое видное в этом отношении место в числе западных сочинений по талантности и знанию занимает сочинение г. Чичерина «Областные учреждения», а в числе реалистических – сочинение Щапова «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».

Недавно, когда уже печатание моей книги приближалось к концу, мне представилось для наблюдения новое явление в этом роде, в высшей степени любопытное. Неутомимый г. Пыпин печатает в «Вестнике Европы» (сентябрь) новое исследование о народности и доказывает в нем, что народность не представляет ничего устойчивого, что устойчива только раса, т. е. то, что в человеке могут изучать анатомия и физиология. Исследование густо пересыпано ссылками на авторитеты всей

Западной Европы и одушевлено указаниями на громаднейшие и широчайшие задачи науки в области изысканий доисторических времен, на которые, как известно, направились в последнее время и русские ученые силы. Кто не пожелал бы, чтобы эти задачи хорошо выполнялись и вносили в науку действительный вклад? Мы и указываем в своем месте на пользу от разрешения этих задач. Но пока вклад этот, если брать во внимание не количество поднимаемых в нем вопросов и не внешний объем его, а внутренние качества, очень невелик, а в той постановке, какую ему дает г. Пыпин, даже весьма сомнителен и в настоящее время, несомненно, охвачен самым узким и вредным для успехов науки русской истории субъективизмом чужой народности и чужого увлечения модной теорией. В числе авторитетов г. Пыпина самые важные – французские, которым, по чисто узким народным их воззрениям, весьма желательно оправдать научно свое историческое вавилонское смешение рас, племен, языков, а может быть, и понятий, и начал жизни. Затем, естественно, возникает недоумение: почему кости и даже физиологические процессы в человеке так устойчивы – пребывают неизменными тысячелетиями, а то, что в человеке выше анатомии и физиологии, не имеет ничего устойчивого? А потому, что анатомия и физиология человека, даже древнего, изучаются усердно и сравнительно легко, а то, что выше анатомии и физиологии – не так легко поддается изучению и даже пренебрегается, потому что наперед решено модной теорией, что человек – то же, что животное; и если известна его анатомия и физиология, то уже и все остальное известно, все остальное уже будет лишь совокупностью явлений, подлежащих всяким изменениям, что и составляет по этой теории прогресс, цивилизацию и т. п., т. е. наперед закрывается или толкается на узкую дорогу исследование в человеке всего стоящего вне анатомии и физиологии. От такого субъективизма наука русской истории не много выиграет.

Наконец, я находил такой русский субъективизм, который и больше всех других обнимает фактическую часть русской истории, лучше других освещает действительные и существенные ее стороны. Такой русский субъективизм я

находил и нахожу в сочинениях так называемых славянофилов. Он лучше других и в народном, и в научном смысле, и даже в смысле возможно правильного понимания и усвоения общечеловеческой цивилизации.

Сказав это о субъективизме так называемых славянофилов, я таким образом обозначаю и свой собственный субъективизм. Читатели увидят, что и этот субъективизм я не считаю изъятым от погрешностей, неизбежных во всяком, даже лучшем субъективизме, и что я не задавался мыслью кого-либо призывать к нему. Но к чему я считаю своей обязанностью располагать и призывать всех, так это к тому, чтобы все мы давали себе ясный отчет, какому субъективизму мы следуем. Тогда все мы и вернее будем идти к истине, и скорее сойдемся на этом пути друг с другом при всех наших русских субъективизмах, конечно, научных и честных, а не каких-либо иных.

## Глава I. Состояние науки русской истории и ее литературы

Самая большая работа по русской истории направлена у нас на издание памятников, т. е. «сырого» материала, заключающего в себе факты. Работа эта так велика, а наличные ученые силы у нас так немногочисленны, что научная разработка сырого материала, выражающаяся в критической оценке новых фактов и в исследованиях по тому или другому вопросу, сильно отстает, запаздывает. Еще больше отстает и запаздывает окончательный свод в цельную, научную систему добытого материала и его разработки. Поэтому, кто желает изучить русскую историю, тому нельзя ограничиться немногими книгами, а нужно читать не только много книг и системы, но и исследования по отдельным вопросам и даже самые первые источники. Из этого уже можно видеть, как важна история этой науки или, как ее обыкновенно называют, литература русской истории. С другой стороны, литература русской истории – это история русского научного сознания. Из нее мы можем увидеть, как в течение веков нашей исторической жизни понимались события – явления этой жизни. Это существенным образом облегчит нам и наше фактическое знание, и наше понимание своего прошедшего. Наконец, научное знание истории требует, чтобы мы не только изучали события, но и знали, из каких источников почерпнуто наше знание и какими научными приемами мы руководствуемся, когда добываем это знание, когда так или иначе понимаем факты и делаем из них те или другие выводы.

История науки русской истории как нечто целое составляет весьма недавнее явление. Еще недавно она читалась как особый отдел русской истории, насколько нам известно, почти только в одних наших духовных академиях. Даже покойный С.М. Соловьев, профессор русской истории в Московском университете, излагал литературу науки только по частям в разных местах своего курса «Истории», и то почти исключительно только те ее части, которые обнимают

первоначальные источники. Что он иногда читал особо литературу своей науки, об этом мы узнаем из свидетельства бывшего его студента К.Н. Бестужева-Рюмина<sup>41</sup> и из того, что С.М. Соловьев напечатал по этому отделу русской истории некоторые части, каковы его статьи о первых, по его мнению, опытах систематического изложения русской истории, т. е. об историках конца XVII и XVIII вв.<sup>42</sup> Подобные отрывочные опыты истории науки русской истории делали и другие, как, например, И.В. Лашнюков<sup>43</sup> и Н.И. Костомаров<sup>44</sup>. Занимаясь русской историей приходилось, таким образом, самим уяснять себе этот предмет, весьма трудный, особенно для молодых ученых. Пособиями им могли служить курсы «Истории русской словесности», в которых ведется речь и о главнейших явлениях в русской исторической литературе<sup>45</sup>. Но эта историческая литература обыкновенно занимает там мало места и притом, оказываясь перед судом неспециалистов и чаще всего западников, редко получает справедливые приговоры. Например, Карамзин – историк очень редко там может быть узнаваем. Более надежными пособиями могли служить разные библиографические указания, которые, по естественному порядку вещей, появлялись раньше литературных исследований и тем больше умножались, чем больше чувствовалась потребность хотя бы в каких-нибудь указаниях.

В этой области у нас есть целый ряд необыкновенных тружеников, имена которых с уважением встречаются всяким серьезно занимающимся русской историей. Таковы имена Сахарова<sup>46</sup>, Ундольского<sup>47</sup>, Строева<sup>48</sup>, Викторова, Каратаева<sup>49</sup>, к которым нужно присоединить и старейшего библиофила Сопикова<sup>50</sup>. Все это, однако, труды по древней церковнославянской литературе. Для более новой литературы служил долгое время один Каталог книг Смирдина<sup>51</sup>. Этот недочет указаний быстро стал восполняться с началом прошедшего царствования. С 1861 г. стала выходить «Русская историческая библиография», изд. Академии наук, – почтенный труд братьев Ламбиных. В 1866 г. вышел Каталог книг по русской истории<sup>52</sup> нового библиографа В.И. Межова, который с замечательным постоянством работает до сих пор. Труды г.

Межова большей частью направляются к более широкой задаче: он составляет каталоги русских книг и статей по всем отраслям знаний и в числе их – по русской истории, но вместе с тем он нередко составляет и специальные каталоги, в том числе и относящиеся к русской истории, как вышеуказанная литература русской истории и в новейшее время вышедшие три тома продолжения «Русской исторической библиографии» (за 1865–1876 гг.), которая составляет продолжение указанной «Русской исторической библиографии», издаваемой Академией наук. Близкое отношение к русской истории имеют также некоторые специальные каталоги г. Межова, как например, его каталоги по вопросу об освобождении крестьян, по русской этнографии.

В 1865 г. появилось сочинение, от которого можно было ожидать, что оно внесет новое освещение в литературу русской истории. Это сочинение гг. Пыпина и Спасовича «История славянских литератур». К сожалению, авторы этой книги меньше всего думали о русской литературе и, в частности, о литературе русской истории, которая в этом сочинении занимает самое малое место и при самом бледном освещении. Авторы имели в виду дать сведения о славянских литературах русскому обществу, которое, по их словам, само может находить указания по своей литературе, а для славян подробности русской литературы, по мнению авторов, не нужны. Недавно (1879–1881 гг.) вышло новое издание этого сочинения, переработанное и настолько умноженное, что превратилось в два объемистых тома. Сначала имелось в виду, по заявлению г. Пыпина, исправить недочет по русской литературе первого издания, но обстоятельства помешали г. Пыпину выполнить эту задачу; и в новом издании хотя и есть глава «Русское племя», но русской литературы, как ее все понимают, – нет. Есть только обзор литератур следующих ветвей русского языка: южнорусской и галицкой, и между ними – клочки литературных произведений белорусского племени.

Странно было бы осуждать за то, что по обстоятельствам не могло быть сделано г. Пыпиным; но нельзя не жалеть об этом и даже очень жалеть. В настоящем своем виде «История

славянских литератур» производит самое тяжелое впечатление и способна порождать чудовищные понятия, которые в ней отчасти и прямо проповедаются. Русская литература вообще и литература русской истории в особенности отсутствуют в этом новом издании не только физически; они отсутствуют здесь и нравственно, и впоследствии, когда обстоятельства позволят г. Пыпину представить их вниманию читателей; они же необходимо явятся в среде славянских литератур наполовину мертвыми и наполовину безжизненными созданиями.

Г-н Пыпин стоит, по-видимому, на прекрасном начале – на равноправности всех славянских литератур. В действительности, однако, оказывается, что он стоит за всякое разделение славян и за самую эгоистическую их обособленность. Он устраняется от указания начал, объединяющих эти литературы, даже в области языка, и особенно самоотверженно действует, когда касается славянского значения родной, русской стихии, причем славянофилы представляются ему чуть ли не злейшими врагами славян. Статьи г. Пыпина по древней русской литературе и о славянофильстве, печатающиеся в «Вестнике Европы» и имеющие, очевидно, войти в тот дополнительный том, которого не мог окончить вовремя г. Пыпин, ясно показывают, что во имя славянства, как его понимает автор, русская литература должна сильно поникнуть, да и теперь она уже сильно поникла в первом томе «Истории славянских литератур», потому что от нее отрывается и часть древней русской литературы, и современные литературные силы Западной России и Галиции, которым г. Пыпин сердечно желает развивать эту оторванность.

Союзник г. Пыпина – г. Спасович, составивший второй том этого сочинения, пошел дальше и смелее. Он с такой силой опирается на непрочные основы древней славяно-русской литературы г. Пыпина, что они, если можно так выразиться, совсем уходят в землю, а за ними тем быстрее переходит в небытие и вся старая русская литература, отсутствующая в труде г. Пыпина. Г-н Спасович дает право на жизнь этой литературе только со времен Петра; но немного нужно труда,



чтобы видеть, что и этой литературе г. Спасович дает такую жизнь, которая больше похожа на смерть, а не на действительную жизнь. Он бьет и эту литературу обычным у юристов оружием – противоположениями. Г-н Спасович заботливо рисует нам картину русских притязаний на всеславянское значение; затем рисует как будто возможный для русской литературы идеал мирового и, следовательно, всеславянского значения. Но, обращаясь к действительности, он заявляет, что для такого значения нет существеннейших основ – свободы жизни, при которой могли бы развиваться до мирового значения и русская наука, и вообще русское слово. Г-н Спасович как будто боится, чтобы и при этих условиях русская литература не развилась как-нибудь до всеславянского значения, поэтому сейчас же охлаждает русские упования тем предостережением, что даже в случае такого возрождения русской литературы она не легко достигнет общеславянского значения, потому что в это время будут тоже возрастать другие славянские литературы.

Все эти многосложные комбинации г. Спасовича, изложенные отчасти в начале его труда, и особенно полно – в конце его, отличаются обычными, свойственными этому автору качествами: красотой общих мыслей и фраз и поражающей фальшью самого дела, притом с той особенной окраской видимой гуманности и действительного фанатизма ко всему русскому, какие возможны только в ополячившемся русском Западной России. Существенная фальшь всей аргументации г. Спасовича о русской литературе в том состоит, что в его труде и в союзном с ним труде г. Пыпина нет этой литературы. Читателю, желающему изучать по этому сочинению славянские литературы, нет возможности проверить слова г. Спасовича... Перед ним смело закрываются даже такие имена, как Ломоносов и Пушкин, а выставляются везде только славянофилы как проповедники варварства в русском прошедшем и варварства в славянском будущем. Г-н Пыпин уверяет, что он и г. Спасович писали свои части этого союзного труда без соглашения. Тем хуже для г. Пыпина. Г-н Спасович наперед решил за него многие вопросы русской литературы и

наперед осудил его или на раболепие, или на противоречия ему, гораздо более существенные, чем те, какими теперь г. Пыпин в своей части ограждает свою независимость от г. Спасовича. О мировом, по крайней мере, о всеславянском значении Ломоносова и Пушкина г. Пыпину придется говорить, а г. Спасович наперед уже уничтожил это значение.

Еще печальнее положение г. Пыпина со следующей стороны. Что бы он ни писал хорошего о русской литературе в дополнительном своем томе к изданной «Истории славянских литератур», он наперед осужден на преклонение перед западнославянской литературой, особенно перед польской. Г-н Спасович надлежащим образом воспользовался тем уничтожением нашей древней литературы в малороссийском племенном элементе и тем небытием московской литературы, на какие осудил их г. Пыпин. Он смело поставил на запустошенном юго-восточном славянском пространстве западнославянские литературы общим началом и с замечательным искусством наперед приневоливает г. Пыпина принять это начало. «После того как южнославянские государства *византийского* типа – Болгарское и Сербское, – говорит Спасович, – потерпели в конце XIV века крушение, раздавленные исламом, и до появления России на поприще европейской политики и ее деятельного участия в европейских делах при Петре Великом действующими на этом поприще из славянских народов являются только два западных: чешский и польский, *оба латинские по своей культуре*»<sup>53</sup>. Затем г. Спасович показывает, что при выполнении общей этим народам задачи – «противодействовать прибою на Востоке германской волны» – Польша была счастливее Чехии, и даже выставляет на вид народность и латинской иерархии в Польше, и польского шляхетства, т. е. Латинство и польская народность кладутся как основы дальнейшего развития Польши как раз в противоречие образу действий г. Пыпина, который для своего отечества не усматривает таких основ ни в Православии, ни в русской народности, как данном факте не только новой, но и старой России; но для г. Спасовича и Польши г. Пыпин обязан признать законными их основы. Обязан он по следующим причинам. В

дальнейшем изложении польской литературы г. Спасович постоянно показывает, как латинская культура Польши приобщала ее к Мировой цивилизации Европы и как при этом развивалась польская народность нередко до всеславянского значения. Для г. Пыпина ... слова «Мировая цивилизация» уже имеют значение догмата, поэтому ему невозможно не идти за г. Спасовичем, а идти приходится далеко. Г-н Спасович не поддался обстоятельствам, мешавшим, без сомнения, и ему писать свою часть работы. Он широко раздвинул рамки польской литературы – и по времени, и по объему литературных явлений. Изложил он даже литературу польских эмигрантов и литературу последнего времени до новейшего эмигранта Крашевского включительно. Тут, как очевидно, захвачено время и Петровское, и послепетровское, и как трудно будет г. Пыпину справляться с воззрениями г. Спасовича, наперед ему навязанными, можно судить по следующему примеру. Г-н Спасович осмысливает и оправдывает самое антипатичное для г. Пыпина направление в литературе – романтизм, закрепляющий, как известно, народное чувство и уважение к родному прошедшему, да еще осмысливает и оправдывает весьма обидно или весьма вызывающим образом для нас, русских. «Нельзя не отметить, – заключает г. Спасович свое обозрение польской литературы<sup>54</sup>, – что хотя существует несомненная склонность в новейшей польской литературе в научном отношении к позитивизму, в области искусства – к реализму, но движение совершается весьма не быстро, после величайших усилий, и совсем не похоже на то, что делается иногда в других литературах, например в русской, где волны нового движения заливают иногда все прежде того уже установившееся, которое как бы совсем исчезает в этих волнах. Корни романтизма в польской литературе еще весьма крепки; каждое нападение на издавна установившееся мнение, на имя поэта, увенчанное ореолом и имеющее авторитет, вызывает целую бурю споров, которые ведутся с крайним оживлением и даже ожесточением. Иначе и быть не может в литературе, имеющей свои традиции, а эти традиции в польской письменности особенно цепки и крепки»... Этими суждениями г.

Пыпин поставлен в безвыходное положение. Ему остается одно из двух: или обратиться тоже к уважению традиций своей русской народности и, следовательно, к ненавистным ему славянофилам, или защищать и развивать позитивизм, реализм и, вопреки предостережениям г. Спасовича, «заливать все, прежде установившееся» в нашей русской литературе и русской жизни.

В заключение своего труда, говоря об отношениях между русскими и поляками, г. Спасович выражается: «Непримиримы (и, вероятно, долго еще не примирятся) старые вражды; но можно отметить хотя зачатки невиданного явления: попыток примирения, идущих с обеих сторон между двумя братьями, двумя историческими врагами – русской и польской национальностью, попыток, которые нельзя не приветствовать с лучшими пожеланиями и которые должны бы умножаться по мере того, как развивается беспристрастная, т. е. истинно историческая критика»<sup>55</sup>.

Если примирение между двумя братьями-народами будет ставить один из них – русский в такое некрасивое положение, в какое поставил г. Спасович литературного своего брата – г. Пыпина, то приветствовать это примирение не приходится и еще менее – желать его развития в таком направлении, страшно далеко от всякой истинно исторической критики.

Мы так много занимались «Историей славянских литератур» потому, что в ней решается много вопросов литературы русской истории, а на затруднительном положении г. Пыпина потому останавливались, что это положение будет испытывать, и еще в большей степени, всякий, кто по этой книге пожелает изучить хотя бы только соприкосновенные с русской историей вопросы. В этом сочинении одно может иметь значение – указание книг и хронологические данные касательно событий и лиц из литературы русской истории, т. е. немного более того, что есть в вышеуказанных каталогах (и то лишь по первому изданию «Истории славянских литератур» или когда будет издан г. Пыпиным дополнительный том ко второму ее изданию). Для уразумения же явлений литературы русской истории и при этом сочинении нужно обращаться к другим

пособиям. Такое пособие явилось вскоре после первого издания «Истории славянских литератур», и значительно раньше второго, сейчас рассмотренного нами ее издания.

В 1872 г. вышла в свет «История России» профессора Петербургского университета К.Н. Бестужева-Рюмина, в которой литература этой науки занимает половину книги и включает полное обозрение источников и пособий по этому предмету<sup>56</sup>.

По тесной связи этой литературы с самым курсом «Русской истории» К.Н. Бестужева-Рюмина мы разбираем их вместе в конце настоящего сочинения и отсылаем туда читателей, которые теперь же пожелали бы узнать этот разбор. Здесь же скажем лишь следующее. Несмотря на то, что автор принял воззрение наших западников на научность и ненаучность для оценки нашей русской литературы и потому резко разделяет допетровское и послепетровское время, научность самого автора заставила его не только выдвинуть большое общерусское значение нашей древней литературы, но и вызвать литературу московских времен из небытия, на которое ее осудили наши западники. Можно даже сказать, что вообще наша старая историческая литература, т. е. до Петра, больше им разработана, чем та же литература после Петра. Но когда мы здесь говорим о разработке, то разумеем внутренние, а не внешние ее требования. С внешней стороны, как читатели увидят, эта литература равно разработана в «Истории» К.Н. Бестужева-Рюмина и в старые, и в новые времена, и представляет полные, богатые указания. Недостает в ней собственно указаний на связь и преемственность явлений в истории науки русской истории.

На эту связь, преемственность мы обращаем преимущественное внимание в нашем труде, именно мы будем заботиться главным образом о том, чтобы читатель видел эту преемственную связь литературных явлений в науке русской истории и вместе с ней – постепенное развитие русского научного сознания по отношению к нашему историческому прошедшему; и так как материальная, фактическая сторона этого дела больше у нас разработана в старой литературе, чем в новой, и легче опираться на эту

сторону при наших выводах, чем в новой литературе, то ввиду этого мы делаем более краткий обзор старой литературы, за исключением лишь некоторых ее частей, особенно важных с нашей точки зрения, и даем более обширное изложение данных по истории нашей науки в новые времена. Поэтому для старого времени наша история науки будет заключать в себе обычные отделы: разного рода летописи; акты, послания, письма; сказания иностранных писателей; явственные уже русские проявления научного изложения дела. Но в новом времени наше обозрение истории русской истории будет представлять значительные особенности. Мы будем обозревать труды научного изложения русской истории с разных точек зрения и распределять их на особые группы.

## Глава II. Первоисточники

**Летописи.** В истории нашей науки на первом месте должны быть поставлены, как это всеми и делается, наши летописи как первый, надежный и содержательный источник.

В старину у нас лучше знали наши летописи и больше ими занимались, чем в новые времена. В этом удостоверяет нас чрезвычайное множество летописных списков, сохранившихся до настоящего времени, и весьма ограниченное обращение в нашем послепетровском обществе издававшихся летописей. Когда в 40-х годах Археографическая комиссия приступала к изданию летописей, то для издания только Начальной летописи или Временника Нестора она имела у себя под руками 150 летописных списков. Ей присылали их из разных мест целыми десятками<sup>57</sup>. Почти в каждом замечательном монастыре есть один или даже несколько летописных списков. Следовательно, в старину было немало писателей, а еще больше – списателей летописей, и была, значит, большая потребность в летописях. Бесспорно, что многочисленность наших летописей – более внешняя. В несравненно большей части из них излагается одно и то же. Но при внимательном изучении списков даже одной и той же летописной группы обнаруживается разнообразие текста, нередко с ясными признаками научной обработки его по разным спискам.

Наши летописи еще в древности имели важное значение – как частное, так и общественное, и официальное. Частное значение они имели для князей и дружинников как главных участников событий, описываемых в летописях. Впоследствии они служили оправдательным документом для генеалогии знатных людей, для их родословий. В Никоновской летописи есть одно место, которое ясно показывает, что летописи имели большое нравственное значение не только для частных лиц или родов, но и для всего русского общества. Описав несчастные события, сопровождавшие нашествие Эдигея (1408 г.), автор старается как бы извиниться, что он должен был говорить о вещах, которые могут многим не нравиться. При этом он в

оправдание себя делает ссылку на правдивость древнего летописца. «И сия вся написанная, аще и нелепо кому видится, иже толико от случившихся в нашей земли несладостная нам и неуласканная изглаголавшим, но к пользе обретающаяся и восставляющая на благая и незабытная; мы бо не досаждающе, ни поношающе, ни завидяще что честных таковая вчинихом, якоже бо обретаем начальнаго летописца киевскаго, иже вся времена бытства земская необинуяся показывает, но и первии наши властодержавцы без гнева повелевающе вся добрая и недобрая прилучившаяся написовати, да и прочий по них образи явлени будут, якоже при Володимере Мономасе онаго великаго Селиверстра Выдобытскаго, неурашая пишущу»<sup>58</sup>. В 1289 г. Мстислав Данилович наказывает крамолу берестьян тем, что приказывает записать ее в летописи<sup>59</sup>. Значит, сами правители признавали важное общественное значение летописей. Официальное значение летописей ясно раскрывается из истории борьбы Василия Темного с Юрием Дмитриевичем, который свое право на престол доказывал, между прочим, летописцами<sup>60</sup> из истории борьбы с Новгородом Иоанна III, обращавшегося к летописям для доказательства новгородской неправды<sup>61</sup>, и еще яснее из того, что во времена местнических споров часто обращались за справками и к летописям.

При таком значении летописей, естественно, было много составителей и писателей их. Между этими лицами бывали и светские люди, как это видно из многих мест Ипатьевской летописи и из новгородских летописей; но большинство летописцев принадлежали к духовному званию, и особенно к монашеству. Это видно не только из благочестивого настроения летописцев и их замечательного беспристрастия и спокойствия, но еще более из того отчуждения от дел мира, которое ясно доказывается или проглядывает в большинстве летописей, особенно из их отношений к бурным вечам, в которых они видели проявления силы ненавистника человеческого рода.

Авторская летописная деятельность ослабевает и превращается более и более в переписывание существующих списков в московские времена. Мы увидим, что это был



естественный ход дела, что в те времена более и более выступали другие способы увековечивать в письменности совершавшиеся дела. Нельзя, однако, не признать, что такие времена, как Иоанна IV и Бориса Годунова, дававшие широкий простор подозрительности и шпионству, имели немало влияния на ослабление летописной деятельности. Но самый больший удар летописной деятельности, даже списыванию летописей, нанес, без сомнения, Петр I, когда запретил в Духовном регламенте простым монахам держать в келье бумагу и чернила. Впрочем, и в эти трудные времена летописи все-таки писались, и немалое число их сохранилось до настоящего времени.

За то время, когда наши летописи свободно составлялись и служили главнейшим выражением книжного русского самосознания, они имели теснейшую связь с нашей государственностью. Летописи появляются, развиваются и ослабевают сообразно с развитием государственности в данное время и в данной местности. При единой Руси летописи являются общерусскими. При распадении Руси на части летописи становятся областными и принимают местный характер. С развитием Московского единодержавия объединяются и летописи – является по преимуществу сборный, сводный характер летописей. Наконец, по мере сближения Московского государства с другими летописи начинают терять исключительно русский характер и принимают характер общеисторический, превращаются в так называемые хронографы, включающие сведения не только о России, но и о других странах – греческих, славянских, западноевропейских.

Сообразно с этим историческим развитием летописной деятельности и отчасти по времени появления летописей их можно разделить таким образом.

Древняя летопись или так называемая Повесть временных лет, или иначе – Временник Нестора, а затем областные летописи и, наконец, летописи Московского периода и хронографы.

**Древняя летопись.** Повесть временных лет существует в рукописях не отдельно, а в начале большей части летописных

сборников. По своему происхождению большая часть списков, заключающих в себе Древнюю летопись, приходится на позднее время – XVI, XVII и даже XVIII века. Самый древний список, включающий Древнюю летопись, относится к XIII веку, и то в нем недостает начала летописи. Это так называемая первая Новгородская летопись<sup>62</sup>. Затем следует Лаврентьевский список XIV века. Это самый употребительный список Древней летописи. За ним следует Ипатьевский список XV–XVI веков. Вот с этими-то, главным образом, списками XIII–XVI веков и имеют дело ученые, когда разбирают нашу Древнюю летопись.

Взгляды ученых на нашу Древнюю летопись весьма разнообразны. Вызывают недоумение и споры: есть ли наша Древняя летопись что-либо целое, произведение одного лица, или это свод, сборник известий, записанных разными лицами? В прежнее время, особенно в XVIII веке, обыкновенно думали, что наша Древняя летопись составлена киево-печерским иноком Нестором, так как она часто озаглавляется «Повесть временных лет, откуда есть пошла Русская земля... черноризца Феодосиева монастыря Печерскаго», а в некоторых списках, например Хлебниковском, помещено имя Нестора. Этому мнению держался и известный исследователь этой летописи немец Шлецер и объяснял несогласие списков и явные вставки невежеством переписчиков, на которых изливал свое негодование. Он даже предпринял труд восстановить Несторов текст летописи посредством сличения и критического разбора разных списков. Мнения Шлецера касательно Древней летописи держался и Карамзин. В 20-х годах настоящего столетия так называемые скептики, во главе которых стоял профессор Московского университета Каченовский, заподозрили даже древнее происхождение Повести временных лет. Это же мнение недавно возобновил Д.И. Иловайский в своих «Разысканиях о начале Руси». Более научное изучение дела отвергло такое подозрительное отношение к Древней летописи; но и оно привело к выводу, что Древняя летопись не есть цельное произведение, принадлежащее одному лицу, а есть свод известий разного происхождения. Некоторые полагают, что этот свод составлен не Нестором, а выдубицким игуменом

Сильвестром, который дает о себе знать в самой летописи. После рассказа событий 1110 г. в Лаврентьевском списке летописи говорится: «...игумен Сильвестр святого Михаила написах книги си летописец, недеяся от Бога милость прияти, при князи Володимере, княжашю ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святого Михаила в 6624, индикта 9 лета (след. записано это в 1116 г.), а иже четет книги сия, то буди ми в молитвах»<sup>63</sup>. Но и этот взгляд не выдерживает критики. Писать книги в нашем старом языке значило обыкновенно переписывать, писать в смысле материальном. Сильвестру, впрочем, принадлежит не одна переписка. С большой вероятностью можно предположить, что ему принадлежит расстановка годов, о чем говорится в начале этого списка. Но если бы Сильвестр был автором хотя бы части этого списка, он непременно написал бы гораздо больше о Владимире Мономахе, а также сказал бы и об основании своего монастыря.

Вопрос о составе летописи поднят затем вновь и самым научным образом профессором Бестужевым-Рюминым, написавшим особое исследование О составе Начальной летописи<sup>64</sup>, вошедшее в сокращении и в его «Историю»<sup>65</sup>. По его мнению, летописные известия, находящиеся в нашей Начальной летописи, записаны в разных местах России, на самих местах совершения событий. Это, по словам автора, видно из того, что летописец с удивительной точностью отмечает дни и даже часы событий, что не мог сделать хотя бы и современник, но находившийся в другом месте, а тем более – повествователь давно минувших событий. Во многих местах видно, что записывал очевидец. Так, например, говоря о несчастиях, летописец иногда замечает: нас помиловал Бог, хотя говорится о местности, не близкой к Киеву. Самое сильное у Бестужева-Рюмина доказательство многосоставности древней летописи – то, что об одних и тех же лицах высказываются различные мнения: слышится то приверженец, то противник<sup>66</sup>. Следовательно, содержание летописи записано разными лицами, в разных местах, а мы имеем лишь свод их, неизвестно кем составленный в XII веке.

Мнение Бестужева-Рюмина – самое общепризнанное в нашей науке. Но, говоря строго научно, оно должно быть признано крайним пределом разложения на составы нашей Древней летописи, после чего должно начаться восстановление хотя бы некоторой ее цельности. Есть много обстоятельств, вызывающих на новое исследование этого вопроса. Точность в записи событий, совершившихся в разных и даже отдаленных местностях, не есть еще решительное доказательство, что их записывали разные лица и в разных местах. Если предположить, что в Древней Руси существовал какой-либо центр тогдашней умственной деятельности, куда князья и дружинники, которых подвижность была необыкновенна, могли являться и сообщать свои сведения о событиях, происходивших в их городах или областях, то у нас будет и другое объяснение точной записи событий. Таким центром был тогда Киев, особенно Киево-Печерский монастырь. Сюда приходили иночествовать люди из разных областей России. Они могли иметь живые сношения со своими родичами и получать от них точные сведения<sup>67</sup>. Князья и дружинники относились с особенным уважением к этому монастырю и при своих частых посещениях его могли давать подробные и точные сведения о событиях, совершавшихся на Руси<sup>68</sup>. Наконец, нужно помнить, что мимо Киева по Днепру пролегал один из главнейших торговых путей. Здесь, в Киеве, был главнейший сбор торговых людей из разных местностей. От них в Киеве много можно было узнать и записать со всей точностью.

Что касается того, что в летописи нередко обнаруживаются авторы рассказа как лица несомненно разных взглядов, то и это, по-видимому, самое большое затруднение может быть объяснено для некоторых таких случаев очень просто. При тогдашней дороговизне письменного материала и труда переписки летописи можно было списывать или для монастырей, или для очень богатых людей – князей, дружинников, следовательно, для лиц, принимавших участие в событиях, описываемых или близких к ним по времени. Эти лица, естественно, легко могли поправлять и дополнять рассказ об известных им событиях и делать эти поправки на поле, а

переписчики потом вносили их в сам текст. В рукописях иногда сохраняются следы, по которым можно узнать эти вставки. Когда в 1870 г. в Археографической комиссии предпринималось переиздание Древней летописи и от ученых были спрашиваемы мнения, до какой точности воспроизводить рукописи, причем рассылались образцы издания, то случилось, что и покойный Горский, и я обратили внимание на особые значки, которыми обставлялись иные места; и при сличении разных летописных списков мы открыли, что это вставки, бывшие на поле<sup>69</sup>. Этим-то путем можно объяснить и некоторые из мест, где обличаются летописные авторы разных направлений, а тем более разных местностей. Во всяком случае, только самое тщательное исследование рукописей может решить эти и подобные им вопросы, а у К.Н. Бестужева-Рюмина в том-то и главная ошибка, что исследование его произведено только на основании печатных списков. Этого исследования Древней летописи на основании рукописных списков, а не одних печатных, нужно еще ждать. Для этого дела уже подготавливается материал и делаются опыты. Таковы, между прочим, предисловия, варианты и примечания к тексту в издании летописей Археографической комиссии, особенно во втором издании Древней летописи. Необыкновенно важное значение имеет при этом светописное издание Древней летописи по спискам: Лаврентьевскому, Ипатьевскому и Новгородскому, сделанное той же Археографической комиссией, в котором со всей возможной для фотографии точностью воспроизведены рукописи летописей<sup>70</sup>.

Но и на этом пути исследования Древней летописи по рукописным спискам есть одно недоумение, которое, вероятно, еще долго будет мешать надлежащему успеху. Из всех списков Древней летописи самым большим уважением и доверием пользуются древнейшие списки. Это совершенно естественно и справедливо по отношению к достоверности всего содержания летописи; но для решения вопроса, есть ли Древняя летопись что-либо цельное, взгляд на древние и поздние списки должен быть, по нашему мнению, иной. Рассмотрим, какие списки Древней летописи легче могли сохраниться до нашего времени?

Вероятнее всего, те, которых, например, в татарское нашествие было больше, текст которых почему-либо особенно ценим и воспроизведен в большем числе экземпляров. Это текст, который чаще других бывал в руках князей, дружинников, вообще сведущих людей и больше всего подвергался исправлениям и дополнениям с их стороны. Между тем, редакция Древней летописи, хотя бы самая близкая к ее первоначальному виду, но не бывшая в руках сведущих людей, не исправленная, реже воспроизводилась в списках, число этих списков было меньше, и по естественному порядку вероятностей такая летопись легче могла затеряться в Древнем списке и сохраниться лишь в каком-либо из позднейших списков. Давно уже обращено внимание на то, что такие поздние списки Древней летописи, как Софийский, и особенно Никоновский, заключают в себе известия, каких нет в списках древнейших. Но для сравнительного изучения древних и новейших списков по занимающему нас вопросу еще слишком мало сделано, и сам этот вопрос еще не получил, если можно так выразиться, права гражданства в литературе нашей науки. Будь решен этот вопрос, тогда, может быть, уяснилось бы и то, каким образом в данной редакции текста Древней летописи изменяется точка зрения на одно и то же событие. Впрочем, последнее затруднение несколько разъяснено в нашей литературе. Замечено давно, что наши древние и всеми уважаемые списки летописей – Лаврентьевский и Ипатьевский, которые в рассказе о позднейших событиях более областного характера, тоже часто не выдерживают свойственных им точек зрения. Лаврентьевский – восточно-русского происхождения – занимается иногда больше и симпатичнее делами Южной Руси, а Ипатьевский – южнорусского происхождения – наоборот. Исследование этого разноречия приводит к тому выводу, что составители этих редакций имели под руками какие-то не дошедшие до нас редакции и перемешали их. Подобные новые редакции, кроме древних общеизвестных списков, нужно искать и для объяснения других частей нашей Древней летописи, а пока это делается, следует при всем уважении к труду К.Е. Бестужева-Рюмина не забывать мнения и другого, еще более

авторитетного нашего историка – С.М. Соловьева, что при всей многосоставности нашей Начальной летописи она «сохраняет явственно *одну общую основу*»<sup>71</sup>.

Эта общая основа нашей Древней летописи и в настоящее время уже несколько уясняется. В этой летописи в рассказе о делах второй половины XI в. совершенно ясно видно, что дела эти записывал инок Киево-Печерского монастыря, судьба которого – его основание, подвиги Феодосия и других иноков, нападения на монастырь половцев – сильно его занимает. Еще важнее то, что вообще в авторе виден южанин-киевлянин. Он и расселение племен ведет с юга; он дает и особое предпочтение своему племени – полянам; он вообще лучше знает топографию и этнографию Южной Руси, чем Северо-Восточной. Общая основа летописи не простирается, однако, на весьма многие места и части Древней летописи, составляющие несомненные вставки. Таков целый трактат о расселении народов после потопа, взятый из греческой хроники – Георгия Амартола, имя которого упоминает сама летопись, и в той же летописи видно, как неискусно вставлен этот рассказ, как им очевидно разорван первоначальный текст летописей<sup>72</sup>. Таковы «Договоры» с греками Олега и Игоря; Исповедание веры Владимира; Рассказ об ослеплении Василька Ростиславича, где называется и автор его – Василь. Таково «Поучение» Мономаха, тоже неискусно вставленное в Рассказ о половцах; Рассказ новгородца Гюряты о северо-восточных странах и немалое число других отрывочных известий<sup>73</sup>.

И в самой основе своей, а тем более – вместе со своими вставочными статьями и частями наша Древняя или Начальная летопись носит на себе явно общерусский характер, выражает то государственное единство, какое столь решительно преобладало у нас в X веке, в первой половине и в конце XI и в начале XII века. Сознание единства у автора или авторов нашей Начальной летописи идет дальше государственности и обнимает более внутренние явления нашей исторической жизни. Наша Начальная летопись хорошо знает народное единство всех славянских племен, населявших Россию, Мало того, она хорошо знает единство всех славянских племен, хотя

они были и за пределами Русского государства<sup>74</sup>. Нельзя также не отметить ее глубокого уважения к славянскому апостольству св. Кирилла и Мефодия, к славянской грамоте<sup>75</sup> и вообще к книжному учению<sup>76</sup>. Наша Начальная летопись есть поистине величественный памятник славянского и русского сознания и в то же время памятник несомненно богатых задатков Европейской цивилизации русского народа.

Что же касается того, каким образом наши грамотные люди пришли к мысли записывать события своей страны и кто их навел на эту мысль, то этот вопрос удовлетворительно решается самой летописью. Сама она указывает свой образец. Это греческие летописи, конечно, в болгарском переводе. Из самой же летописи видно, что материал накапливался двумя путями или способами. Существовали, очевидно, и погодные заметки более важных событий в виде приписок к пасхалиям и существовали отдельные рассказы без обозначения годов. Те и другие в нашем Древнейшем летописном своде соединены в одно. Особые рассказы разбиты по годам и соединены с пасхальными заметками. Разбиты события по годам иногда очень неискусно, а при иных годах даже ничего не показано, и смущенные этой пустотой летописцы иногда наполняли ее оригинальной заметкой: «В лето (такое-то) ничтоже бысть».

**Областные летописи.** Наша Начальная летопись, как мы уже говорили, сохранилась в двух главнейших редакциях – *Лаврентьевской* и *Ипатьевской*. В этих же списках, в продолжениях Древней летописи, заключаются две главнейшие областные летописи. В начале XII в. обе летописи, Лаврентьевская и Ипатьевская, еще довольно сходны и в значительной степени удерживают общерусский характер; но около половины этого столетия, особенно во второй половине его и далее, они более и более расходятся и делаются областными. Лаврентьевская летопись делается областной восточнорусской, суздальской и, наконец, примыкает к делам московским; Ипатьевская – южнорусской, сначала преимущественно киевской, затем волынской и, наконец, волынско-галицкой. Это вполне отвечает нашей государственности, когда Киевский стол вызывал великий спор



между суздальскими и Волынскими князьями и сильно падал, а сказанные области сильно выдвигались; наконец, Суздальская область передает силу и значение Московской, а Волынь подкрепляет себя Галицией. Лаврентьевская летопись оканчивается 1305 г. и дополняется так называемой Суздальской летописью. Ипатьевская летопись оканчивается 1292 г. С ней имеет связь так называемая Густынская летопись, в которой рассказ о делах киевских, волынских и галицких переходит в рассказ о делах литовских и польских, сообразно дальнейшей истории этих областей.

Лаврентьевская и Ипатьевская летописи напечатаны в двух изданиях. В Полном собрании русских летописей в первом томе издана (1846 г.) Лаврентьевская летопись с вариантами из Ипатьевской и др.; во втором томе (1843 г.) – Ипатьевская, т. е. собственно продолжение Древней летописи. Там же, во втором томе, издана Густынская летопись. Во втором издании обе летописи изданы отдельно в двух томах (Ипатьевская – в 1871 г., Лаврентьевская – в 1872 г.), и в каждой напечатано и Начало, т. е. Древняя летопись и ее продолжение.

Ипатьевская летопись выделяется из ряда других летописей резкими особенностями. Она писана во многих местах в виде цельных статей. Годы в ней подставлены уже после и потому не совпадают с годами тех же событий по Лаврентьевской летописи, отличающейся большей точностью. Далее, Ипатьевская летопись заключает в себе много живых рассказов, писанных, очевидно, дружинниками, непосредственными участниками излагаемых ими событий. В рассказах этой летописи очень хорошо обрисовывается древняя вечевая жизнь, что обличает тоже светское их происхождение. Наконец, почти от всех других летописей Ипатьевская летопись отличается сильным патриотизмом, особенно когда рассказ ее доходит до татарских времен. Таково, например, описание путешествия Даниила Галицкого в Орду<sup>77</sup>.

**Летописи новгородские.** Говоря о новгородских летописях, нельзя не упомянуть о так называемой летописи *Иоакимовской*. Она найдена и издана Татищевым. Напечатана в 4-й главе 1-й части его «Истории России». Эта летопись по достоинству

своего содержания может быть разделена на две части. В первой говорится о древнейших временах Новгорода, его самобытных князьях и передаются совершенно своеобразные известия о призвании князей. Часть эта носит на себе характер мифический и потому мало достоверна, хотя и эта мифичность имеет большое значение. Наши позднейшие летописцы, несомненно, много вдумывались в загадочный рассказ Начальной летописи о призвании князей и, несомненно, много работали над уяснением этого рассказа. При этом они занимались двумя главными вопросами. Во-первых, старались разъяснить, что призвание князей сопровождалось соглашением, договором, как это можно видеть из вариантов списков Ипатьевской летописи. Во-вторых, они старались разделить слитых в одно в Древней летописи варягов-русь и, признавая русь-туземцами, искали варягов у чужих народов, то под общим именем немцев (чужих людей), то под именем чужих людей стран прибалтийских, приеманских. В Иоакимовской летописи эти попытки собраны воедино, и дается полный рассказ о естественности призвания новых князей – родственников старой Новгородской княжеской династии. Вторая часть Иоакимовской летописи – чисто исторического содержания. Она оканчивается временем Ярополка, и особенно важна тем, что проливает новый свет на первоначальную историю нашего Христианства. Многие ученые не придают этой летописи никакого значения, как например, Шлецер, Карамзин. В позднейшее время достоверность ее ниспровергает профессор Голубинский<sup>78</sup>. Все другие церковные наши писатели – такие как архиепископ Филарет и Митрополит Макарий – очень ценят, и справедливо, вторую часть этой летописи.

**Собственно новгородские летописи**, которых в Полном собрании летописей издано четыре, начинаются кратким рассказом о древних событиях общерусского характера до XII века. Рассказ этот в основе сходен с Начальной летописью, рассмотренной нами, и только обставлен некоторыми местными известиями. Но с XII и особенно с XIII века, когда новгородская государственная жизнь была особенно самостоятельной и богатой событиями, новгородские летописи делаются

подробными и в соответствии со значением Новгорода нередко получают опять характер общерусских летописей. Две первые новгородские летописи очень сходны между собой в пределах времени, какое обе обнимают (первая – до 1444 г. вторая – до 1572 г.) и во многих местах основаны на одних и тех же источниках. Первая Новгородская летопись драгоценна отметками о древних временах, особенно о внутренних делах Новгорода, его войнах с чудью, шведами, литовцами, ливонскими рыцарями и об отношениях к князьям. Кроме того, она содержит отдельные статьи, например о взятии Царьграда крестоносцами, о делах татарских – битва на Калке, нашествие татар на Рязань и Владимир, Мамаево побоище. Вторая Новгородская летопись до 1444 г. есть собственно сокращение первой, а с этого времени хотя самостоятельна, но тоже очень кратка. Только историю падения Новгорода она рассказывает подробно. К ней приложен Краткий летописец новгородских владык с Крещения Руси до 1673 г. Обе Новгородские летописи хотя и составлены в такой резко выделившейся области и так страстно привязанной к своей самобытности, проникнуты сильным сознанием единства Русской земли и проповедуют обязательность тесной связи сперва с Киевским русским средоточием, затем с Суздальским и, наконец, с Московским. Замечательно также, что они строго относятся к вечевым смутам и везде живо рисуют великое объединяющее значение Новгородского владыки. Прибавочные статьи их показывают раннюю русскую потребность и в прагматической работе, и в справочных вещах.

Первые две Новгородские летописи изданы, кроме третьего тома Полного собрания летописей, вновь: первая – светописным образом и вскоре выйдет в обыкновенном издании; вторая напечатана вновь в 1879 г. вместе с третьей Новгородской летописью.

Третья Новгородская летопись есть собственно церковная летопись («Летописец церквам Божиим, в которое лето, которая церковь во имя строена, и при котором епископе или архиепископе или митрополите, и в котором году который епископ или архиепископ или митрополит поставлены были и

прилучай в котором году какие были в Великом Новгороде и в пригородах»). Из самого заглавия уже видно, что гражданские события в ней помещены случайно. Впрочем, в ней есть подробная повесть о казни Новгорода Иоанном IV и о взятии Новгорода шведами в Смутные времена. В старом издании летопись эта обнимает время с 988 по 1716 г., а в новом приложены к ней два отрывка из Летописного сборника Деорищенского собора: первый – с 1583 по 1767 г., второй – с 1571 по 1824 г.

Четвертая Новгородская летопись, продолжающаяся до 1496 г., не есть собственно Новгородская летопись, а Летописный сборник известий о событиях разных русских областей, в том числе и Новгородской. В ней есть тоже отдельные статьи: Путешествие дьяка Александра в Царьград (прилож., с. 357); О побоище на Дону – Мамаево побоище (с. 75); О пленении и приходе Тохтамыша царя и о Московском взятии (с. 84); Слово о житии князя Дмитрия Донского (прилож., с. 349); Повесть о преставлении Тверского князя Михаила Александровича (прилож., с. 357). Издана эта летопись в четвертом томе Полного собрания русских летописей.

**Псковские летописи.** Их две: первая – до 1609 г., вторая – до 1486 г. Вторая – видоизменение первой. Обе эти летописи подобно Ипатьевской резко выделяются из ряда областных русских летописей. Общерусский государственный интерес не был здесь спорным вопросом. Псковичи спорили за независимость от Новгорода и по мере того как приобретали ее, более и более тянули к Русскому государственному средоточию, особенно к Москве. Это направление усиливали еще следующие обстоятельства. Псковская территория представляла длинную полосу с северо-востока на юго-запад. Северо-западной своей стороной она вся примыкала к инородцам. Это вызывало тяжкую борьбу для псковичей за историческое их существование, особенно борьбу с ливонскими немцами. Собственно, и Псковская летопись делается подробной с тех пор, как пришел к ним и стал сильно биться с немцами литовский князь Довмонт, т. е. с 1265 г.

Как русское племя, поставленное на краю Русской земли, псковичи, естественно, развили в себе патриотическое, народное направление. Дела внутренней псковской жизни, обычаи, народные бедствия сами собою отмечались. Оттого в этих летописях мы имеем лучшую картину областной жизни. Кроме того, в них много добавочных статей. В первой – Послание Симона митроп. о вдовых полах; Слово о житии Димитрия Ивановича Донского; Путешествие в Царьград дьяка Александра; О преставлении князя Тверского Михаила Александровича. Во второй – Об осаде Пскова шведским королем Густавом-Адольфом в 1615 г.; затем, особенно ценное приложение, лучше всех других памятников освещающее последние времена самозванческих смут – О бедах и скорбях и напастях, еже бысть в великой России Божиим наказанием грех ради наших на последок дний осьмого века; далее – О царском избрании на Московское государство; О смутах в Пскове при самозванцах; О крещении чуди и лопарей (1534 г.). Особенно выдающуюся черту Псковских летописей представляет поражающая выдержанность целого ряда картин (до Смутного времени), изображающих верность псковичей Русскому княжескому роду. Таковы клятва псковичей быть верными роду Александра Невского и картина святого сохранения этого обета при защите Александра Михайловича Тверского, от которого все требовали идти к Узбеку на верную смерть; картина гибели псковской самобытности при Василии Иоанновиче и покорности перед Иоанном Грозным.

**Летописи западнорусские.** С южнорусскими, новгородскими и псковскими летописями имеют тесную связь летописи западнорусские, так как все они по близости места и множеству сношений, естественно, занимались не раз одними и теми же делами.

С XIII и особенно с XIV века русскую землю на запад от Днепра стали разбирать Литва и Польша. Во время татарского разгрома народ разбежался подальше от татар, в места, менее им доступные. В Восточной России этим путем сильно заселились северные области; из Киевской Руси народ бежал в Галицию и особенно – в Литву, в которой громадные леса и

болота хорошо могли укрывать беглецов, да и воинственные литвины доставляли им немалую охрану. Наплывом этих беглецов объясняется и быстрое возвышение Литовской государственности, и столь же быстрое ее обрусение. Естественно и даже необходимо предположить, что русские беглецы от татарских насилий уносили с собой в Литву в своем имуществе и книги, в том числе хотя и небольшое число летописей, и, во всяком случае, приносили в Литву умение и привычку писать летописи и читать их. Поэтому естественно предположить, что в Литве были и старые русские летописи и писались дальше. Но соединение Литвы с Польшей, а тем более покорение Польшей Галиции не только ослабляли русскую летописную деятельность, но повели к сильному истреблению сохранявшихся старых и написанных вновь летописей. Польский и особенно латинский фанатизм по отношению ко всему русскому и православному был главнейшим двигателем этого поистине варварского дела. Несмотря, однако, на это, кое-что сохранилось в Литве из старых летописей и кое-что – из вновь написанных западнорусских летописей. У литовско-польского хроникера XV века Длугоша есть немало русских летописных известий, сходных с известными нашими летописями или даже совершенно новых. Выборка этих мест сделана профессором Бестужевым-Рюминым и приложена к его исследованию о составе летописей. У другого литовско-польского хроникера XVI века Стрыйковского есть многократные указания на русские летописи, бывшие у него под руками, и хотя этому писателю не во всем можно доверять, но содержание его хроники убеждает, что он действительно имел у себя русские летописи. Сохранились в целом виде и старинные русские летописи, заключающие в себе Древнюю летопись и продолжение ее, составленные в Литве. Это были: 1) Древняя летопись по списку так называемому Кенигсбергскому или Радзивилловскому – более близка к Лаврентьевской; 2) сама Ипатьевская летопись, хотя и найдена в костромском Ипатьевском монастыре, но, несомненно, писана в Западной России. Там же списана и так называемая Тверская летопись; 3) сохранилась

летопись с еще более сильными признаками западнорусского происхождения. Это западнорусская часть Супрасльской летописи. Супрасльская летопись найдена в Супрасльском монастыре (Гродн. губ.) и издана в Москве в 1836 г. Малиновским и кн. Оболенским. Она содержит в себе Краткую новгородскую летопись до 1382 г. и затем Киевскую до 1514 г. В обеих частях она вводит известия о литовских делах. Известия эти особенно важны для XIV века.

Сохранились и две летописи собственно западнорусские. Одна из них, более краткая, обнимает время с 1340 по 1446 г. Она издана (1823 г.) в «Виленском еженедельнике», издававшемся при Виленском университете. Издатель ее – Данилович – обставил ее прекрасными сличениями с другими русскими летописями, но сделал при этом варварское дело: и саму летопись, и сличения ее с другими русскими летописями издал польскими буквами. Русским алфавитом она издана Поповым в «Записках Академии наук». В 1866 г. в Витебске найдена так называемая летопись Авраама, в которой, кроме Летописного сборника, более близкого к четвертой Новгородской летописи, находится и та самая летопись, которую издали Данилович и Попов. Издание этой летописи печатается уже давно, но еще не окончено Археографической комиссией.

Более обширная западнорусская летопись – это так называемая летопись Быховца, издана литовско-польским историком Нарбутом тоже варварским способом, т. е. польскими буквами. Она дополняет вышеупомянутую летопись в начале известиями о происхождении литовских князей от римлян и в конце – рассказом о дальнейших событиях Литвы до начала XVI века.

Со всеми этими летописями имеет тесную связь Густынская летопись, о которой мы уже упоминали и которая представляет свод древнерусских, западнорусских летописей и, наконец, выборку известий из литовско-польских хроникеров. Доводит она свой рассказ до конца XVI века (до 1597 г.).

**Летописи переходного времени.** После татарского разгрома в Восточной России значительное время были колебания, нерешительности, где устроится Русский

государственный центр. Значение государственного центра имели Владимир, Тверь, Рязань; и немало времени прошло, пока Москва получила решительное преобладание над всеми другими княжествами. Эта нерешительность, это колебание отразились и на летописной деятельности и дали начало нескольким летописям этого рода.

Давно, еще до татарского нашествия, усиление Суздальской области, естественно, вызывало внимание летописцев, и это внимание выразилось не только в том, что в Лаврентьевской летописи нашли себе место многие суздальские известия. Существовали и особые суздальские летописи. Так, известный епископ Симон в послании к Поликарпу говорит: «аще хочещи уведати, почти летописца старого ростовского». В Тверской летописи после Родословия князей тверских говорится: «до зде пишущу, уставихом, и с перваго летописца вобращающе, якоже Володимирский Полихрон степенем приведе»<sup>79</sup>.

Ни Ростовский летописец, ни Владимирский полихрон не сохранились. Сохранился до этого времени Летописец Переяславля Суздальского, изданный кн. Оболенским в 1851 г. Летопись эта начинается расселением племен и оканчивается 1214 г. И в Древней летописи – в продолжении ее он представляет много своеобразностей, перечисленных в обширном Предисловии издателя. Летописец этот составлен в начале XIII века, как на это есть указание в нем самом<sup>80</sup>. Но нельзя согласиться с издателем, что изданная им рукопись относится к XIII веку. Она составлена гораздо позднее и сильно подновлена в языке и даже в изложении дела.

Позднейшие события Суздальской земли в более выделившемся виде, чем в Лаврентьевской, излагаются и продолжаются в упомянутой летописи Суздальской, приложенной к Лаврентьевской летописи в старом издании летописей под именем Троицкой, а в новом – под именем Суздальской по Академическому списку, т. е. по списку Московской Духовной Академии (Троицкой). Она обнимает время с 1205 по 1419 г. и входит в московские дела.



**Летопись Тверская.** В ней, кроме кратких летописных сказаний о древних временах, ведется подробный рассказ о делах тверских с начала XIV и до начала второй половины XV века, что и отвечает значению Твери в это время. Летопись собственно писана с главной целью изложить события при князе Михаиле Александровиче – сопернике Дмитрия Донского и союзнике литовского князя Ольгерда; но так как она писана в 1416 г., то события этого времени, рассказанные современником, еще важнее. В Хронографе, помещенном в начале Тверской летописи, высказано замечательно ясное сознание единства русских племен и их господства над инородческими племенами чудскими и литовскими (с. 22). Издана эта летопись в XV томе Полного собрания летописей.

**Летописи Московского периода.** Летописи Московского периода следующие:

Софийская первая – до 1509 г. и вторая – до 1534 г. (в 5, 6 и 7 т. II Собрания летописей);

Воскресенская – до 1541 г. (7 и 8 т. II Собрания летописей).

Никоновская – до 1630 г. (старое изд. 8 томов, новое – Начало летописи, именно до 1176 г.) (9 т. II Собрание летописей).

В соответствии с тем, как Москва собирала воедино русскую землю, и эти летописи больше, чем все другие, имеют сборный характер, составляют сборники летописных известий из многочисленных редакций древних и не древних летописей, из которых иные дошли до нас и в отдельном виде.

Во всех этих сборных летописях можно различать три отдела: 1) Начальную летопись; 2) более или менее Полный свод областных летописей за время от XII до XIV века; 3) общерусскую или московскую летопись.

Во всех этих летописях Начальная летопись или Повесть временных лет имеет особенности – немалое число древних известий, не находящихся в главных редакциях Начальной летописи. Так, в Софийской летописи есть известие, что варяги брали дань от мужа «по беле веверице»; в Никоновской – известие о возмущении Вадима; в Софийской и Никоновской – о новгородском епископе Луке Жидяте и др. Новые известия этих

летописей часто заподозриваются; но достоверность их трудно ниспровергнуть, и они признаются лучшими нашими учеными.

За время областного развития в этих летописях преобладают то те, то другие местные известия. В Софийской мы видим преобладание известий новгородских, суздальских, псковских и смоленских; в Воскресенской – киевских и суздальских. Только в Никоновской летописи значительно равномерное совмещение областных известий, дополненных даже известиями славянскими.

Наконец, в этих летописях излагается история Московского единокровия. Важнейшие моменты этой истории, на которые рассматриваемые летописцы обращали особенное внимание, были Мамаево побоище, борьба Москвы с Тверью и Литвой, смуты при Василии Темном, падение Новгорода и Пскова, лучшие времена Иоанна IV, например казанские походы.

В Софийской летописи более подробно изложена история Иоанна III. В Воскресенской летописи подробное изложение продолжается до Иоанна Грозного. В Никоновской особенно полны история Василия Темного и Иоанна Грозного, не говоря уже о позднейших временах, например Смутном времени. Некоторые из летописей, вошедших в состав Никоновской летописи за это позднейшее время, существуют отдельно, например Летопись о мятежах, Иное сказание о самозванцах, Новый летописец.

Во всех этих летописях, особенно Софийской, кроме того, есть весьма много вставочных статей, делающих ее драгоценнейшим нашим сборником.

Вот важнейшие из вставочных статей по всем этим летописям.

- 1) Договор Олега с греками<sup>81</sup>.
- 2) Договор Игоря с греками<sup>82</sup>.
- 3) Смерть Феодора и Иоанна, варягов<sup>83</sup>.
- 4) Убиение Бориса и Глеба и перенесение их мощей<sup>84</sup>.
- 5) Житие Александра Невского<sup>85</sup>.
- 6) Убиение Михаила, князя Черниговского<sup>86</sup>.
- 7) Убиение Михаила Ярославича Тверского<sup>87</sup>.

- 8) Рукописание и Завещание Магнуса, короля Свейского (не нападать на Русь, 1352 г.)<sup>88</sup>.
- 9) Падение Новгорода<sup>89</sup>.
- 10) Падение Пскова<sup>90</sup>.
- 11) Русская Правда<sup>91</sup>.
- 12) Судебник царя Константина<sup>92</sup>.
- 13) Устав Владимира<sup>93</sup>.
- 14) Послание новгородского архиепископа Василия к тверскому епископу Феодору о земном рае<sup>94</sup>.
- 15) Мамаево побоище<sup>95</sup>.
- 16) О взятии Москвы Тохтамышем<sup>96</sup>.
- 17) Житие Димитрия Донского<sup>97</sup>.
- 18) Житие преподобного Сергия Радонежского<sup>98</sup>.
- 19) О Стефане Пермском<sup>99</sup>.
- 20) Житие Варлаама Хутынского<sup>100</sup>.
- 21) Житие Никона, ученика Сергия<sup>101</sup>.
- 22) Завещание митрополита Фотия<sup>102</sup>.
- 23) Повесть об осьмом соборе Флорентийском<sup>103</sup>.
- 24) Послание Вассиана Иоанну III на Угру<sup>104</sup>.
- 25) О взятии Смоленска<sup>105</sup>.
- 26) О смерти Василия Иоанновича<sup>106</sup>.
- 27) О казанских походах<sup>107</sup>.
- 28) Хождение в Индию Афанасия тверитина (около половины XV в.)<sup>108</sup>.
- 29) Зачало Константина града<sup>109</sup>.
- 30) Взятие Константина града турками<sup>110</sup>.
- 31) Начало литовских государей<sup>111</sup>.
- 32) О молдовских государях<sup>112</sup>.
- 33) Царство Сербское и Болгарское<sup>113</sup>.
- 34) О смерти Митрополита Алексия и о Митяе<sup>114</sup>.
- 35) О низложении и заточении Митрополита Исидора<sup>115</sup>.
- 36) О приходе Ахмата<sup>116</sup>.
- 37) Об иконе Владимирской<sup>117</sup>.
- 38) Новгородский литовский собор 1415–1416 гг.<sup>118</sup>

В наших первоначальных летописях видны два элемента летописной деятельности: потребность цельного изложения событий и потребность справочных сведений пасхального

характера. Обе эти потребности развивались, разнообразились и выразились в наших сводах летописных известий и в сводах разнообразных отдельных статей, т. е. мы видим постепенное развитие у нас энциклопедичности знания. Эта потребность выражалась в весьма старые времена и другими способами и отразилась затем на летописной деятельности. В весьма старые времена у нас стали составлять, по примеру Греции, прологи, патерики, палеи (т. е. священные истории), сборники статей исторического и нравственного содержания, в которых нередко можно проследить известный подбор статей, т. е. выполнение известного плана, известной задачи при составлении сборника<sup>119</sup>. Особенно сильно эта энциклопедичность стала у нас развиваться с XV столетия. От этого времени мы имеем и первый кодекс Библии, и первые опыты так называемых Четых-Миней. В XVI столетии энциклопедичность достигла у нас такого большого развития, что составлена была даже такая громадная Энциклопедия, как известные Четьи-Минеи Макария, в которых с большим успехом выполнены задачи составителя их, Макария, собрать в одно все книги, «чтомые» в России.

**Хронографы.** Естественно было и нашим летописям развивать свою энциклопедичность. Это направление и выразилось в так называемых хронографах, которых сохранилось до нашего времени целые сотни.

У греков к палеям, т. е. священным историям, присоединялись летописные известия, и такие сборники назывались хронографами. Хронографы эти в славянских переводах и со славянскими прибавками стали переходить к нам, переписывались и дополнялись сведениями о наших государственных делах и делах западноевропейских государств. Многочисленные редакции хронографов разделяются на три главных вида.

*Первая редакция.* Хронографы этой редакции доводят события до 1453 г., т. е. до взятия Царьграда турками. События здесь, так сказать, – строго православного и греко-славянского мира, т. е. кроме Священной истории излагаются события греческие, южнославянские и русские. Составлена эта редакция в 1512 г., как это видно из исчисления лет от времени Феодора

Студита до времени, когда писал составитель этого Хронографа<sup>120</sup>.

*Вторая редакция* Хронографа сделана в 1617 г.<sup>121</sup> В этой редакции, кроме своеобразной переработки Первой редакции – сокращений, видоизменений и дополнений позднейшими русскими известиями, внесен новый источник – «Всемирная хроника» польского писателя Мартина Вельского, и из его труда на первый план выступает его космография.

*Третья редакция*, судя по русским статьям, составлена около половины XVII в. Она включает Первую и Вторую редакции, но не довольствуется их содержанием, а щедро дополняет их статьями из церковной литературы восточной и апокрифической, затем сведениями из западноевропейской литературы. Так, авторы этой редакции не довольствуются космографическими данными Мартина Вельского, а пользуются известным Люцидарием и Космографием Меркатора (XVI в.). Даже русские известия они дополняют из иностранных сочинений, как, например, из Павла Иовия и Герберштейна. Редакция эта очень богата важными известиями из Смутного времени. Есть еще своеобразные хронографы, признаваемые за Четвертую редакцию.

Хронографы у нас прекрасно разработаны А. Поповым в его сочинении «Обзор хронографов русской редакции» – два тома исследований и третий – «Изборник русских и славянских статей»<sup>122</sup>.

**История издания летописей.** Издание наших летописей предпринималось еще при Петре I. В 1722 г. Петр издал указ доставлять в Москву в Синод «из всех епархий и монастырей, где о чем по описям курьезные, т. е. древних лет рукописанные на хартиях и на бумаге церковные и гражданские летописцы, степенные, хронографы и прочие сим подобные, что где таковых обретаются, и для известия оные списать и те списки оставить в библиотеке, а подлинные разослать в те же места, откуда взяты будут, по-прежнему»<sup>123</sup>. Издание не сделано, потому что последовало возражение, что летописями будут злоупотреблять раскольники. Татищев, впрочем, пользовался некоторыми из собранных списков.

Удачнее были заботы об издании летописей при Екатерине II, которая сама занималась летописями. Под влиянием этого внимания, усиленного такими знатоками летописей, как Шлецер, Щербатов, Академия наук издала: в 1767 г. «Летопись Нестора» по Кенигсбергскому списку; в 1769 г. – «Царственную книгу» (лет. 1534–1553 гг.); в 1772 г. – «Царственный летописец» (1114–1472); в 1774 г. – «Древний летописец» (1254–1424), приготовленный Щербатовым. В 1778 г. последовал опять указ доставлять летописи в Синод. С тех пор издание летописей пошло успешнее даже в смысле более разумного выбора их. В двух главных пунктах они издавались: при Академии наук и при Московской Синодальной библиотеке. Так, в 1781 г. издан «Летописец Архангелогородский» (852–1598 гг.) в московской типографии; в 1784 г. – «Типографский летописец» (1206–1534) в московской типографии; в 1793–1794 гг. – «Воскресенская летопись» в Академии наук; в 1795 г. – «Софийская летопись» в Академии наук; далее – «Никоновская летопись» в 8 томах, начатая еще в 1769 г. и оконченная 1792 г. в Академии наук. Собрание в Синоде летописей повело еще к тому важному результату, что они были переданы для пересмотра Митрополиту Платону и послужили материалом для его «Истории Русской Церкви».

Правильно поставлено издание летописей только с 1834 г., когда учреждена была Археографическая комиссия, которая и до сих пор считает этот род своей деятельности одним из главнейших. Мы указывали летописи, изданные Археографической комиссией.

**Важнейшие исследования о летописях.** По исследованию летописей есть немало сочинений. Таковы, кроме сочинений «Нестор» Шлецера и «О составе летописей» Бестужева-Рюмина, следующие, о которых у нас отчасти уже шла речь и еще будет ниже:

«Оборона Несторовой летописи» Буткова;

«Исследования по русской истории» Погодина;

Многочисленные исследования покойного Срезневского, в «Записках Академии наук»;

И.Д. Беляева в «Чтен. Моск. Общ. истор. и древн.» и во «Временнике»;

Н.А. Лавровского «Об Иоакимовской летописи»;

М.И. Сухомлинова «О Древней русской летописи»<sup>124</sup>;

Предисловия к каждой летописи – в издании Археографической комиссии.

Немаловажное значение при изучении летописей имеют указатели, прилагаемые к новому изданию летописей и составляемые для прежних 8 томов тоже в Археографической комиссии. Вышло три выпуска, третий оканчивается буквой «И».

Летописи при всем богатстве их содержания излагают главным образом внешние события, и притом самостоятельные известия постепенно в них уменьшаются во времена позднейшие. В дополнение и как бы на смену летописям стали являться и умножаться другого рода памятники, раскрывающие более внутренние явления русской жизни. Это акты государственные, общественные и частные.

**Акты, послания, письма.** С усилением и развитием государственной власти в России, естественно, стали умножаться акты, выражавшие деятельность этой власти. Кроме того, развивавшаяся правительственная деятельность вызывала русское общество и частные лица чаще и чаще облекать свои действия в юридические формы, чаще и чаще подкреплять силу обычного права и свои частные действия формами внешнего права. К актам в собственном смысле близко подходят пастырские послания и письма официальных лиц, часто имеющие значение и деловых сношений, и важные, и помимо этого, как отражение взаимных отношений членов русского общества и указание бытовых его особенностей.

Историческая судьба актов как памятников была гораздо счастливее, чем судьба летописей. Многие акты необходимо должны были остаться в многочисленных списках, таких как окружные грамоты, указы, законы. Многие акты затем имели большое значение для сословий, учреждений, частных лиц, например жалованные грамоты, взаимные договоры, завещания. Этим объясняется множество до сих пор сохранившихся актов разнообразнейшего содержания. Главный,

центральный, так сказать, склад актов – это Москва, бывшие приказы которой наполнены были актами. До сих пор они сохранилось в большом количестве, несмотря на все превратности судьбы, каким подвергались. Разделяются акты, хранящиеся в Москве, на два главных рода: акты бывшего Посольского приказа, в числе которых находились и малороссийские дела (теперь они хранятся в Главном архиве Министерства иностранных дел в Москве), и акты других приказов по делам внутреннего управления. Как велико это богатство, можно судить по тому, что сохранились целые сотни одних так называемых писцовых книг, объем которых весьма значителен. Хранятся эти акты тоже в Москве, в архиве Министерства юстиции при Московском Сенате. Немало актов также в Грановитой палате, Московском Синодальном архиве, Румянцевском музее.

Но так как московские архивные богатства подвергались неоднократным опустошениям, особенно во время нашествия французов, то уже по этому одному явилась необходимость искать дополнений к ним по другим архивам. Такие собрания актовых богатств находятся в провинциальных архивах: при монастырях, соборах, губернских правлениях и других учреждениях губернских и уездных. Не говорим уже о частных собраниях актов.

**Заботы об издании актов. Новиков.** Внимание к актам и заботы об их издании возбуждены были в прошедшем столетии, особенно во времена Екатерины II. Татищев, занимавшийся разработкой отечественных памятников для своей «Истории», имел в своих руках, кроме летописей, немало актов. Он, между прочим, обратил внимание Академии наук на Русскую Правду и приготовил ее к изданию, дополнив текст своими примечаниями. В своем громадном плане изучения России, с которым ознакомимся ниже, он также обращал внимание на важность изучения актов. Академик Миллер, ездивший в Сибирь для собрания материалов для своей «Истории Сибири», списал такое множество актов, что составились целые десятки фолиантов, которых до сих пор не успела издать до конца Археографическая комиссия. Этот же Миллер уже в



царствование Екатерины II, именно в 1766 г., назначен был в Московский архив, и в 1779 г. ему поручено было составить сборник всех древних и новых трактатов, конвенций и прочих дипломатических актов. Миллер работал много; но издание актов двинуто не им, хотя и не без его содействия. Еще князь Щербатов приложил к своей «Истории России» много актов, особенно из истории Смутного времени.

Еще больше сделал для этого известный мартинист Новиков. В 1771 г. при Московском университете основано было Вольное российское собрание, главной задачей которого было издание полезных книг, и особенно изучение истории России. Самым деятельным членом этого общества был Новиков и, действительно, он много сделал и по изданию актов. Он издал 20 томов Сборника под названием «Российская Вивлиофика». Потом он издал еще 11 томов прибавлений к «Вивлиофике». Большая часть «Вивлиофики» занята актами (есть в ней и летописи).

Новиков был воодушевлен сильным патриотическим чувством и ясно высказал это в Предисловии к своей «Вивлиофике»: «Не все у нас еще, слава Богу, – писал он, – заражены Францией; но есть много и таких, которые с великим любопытством читать будут описания некоторых обрядов в сожитии предков наших употреблявшихся; с не меньшим удовольствием увидят некое начертание нравов их и обычаев и с восхищением познают величие духа их, украшенного простотой. Полезно знать нравы, обычаи и обряды древних чужеземных народов, но гораздо полезнее иметь сведение о своих предках; похвально любить и отдавать справедливость достоинствам иностранных, но стыдно презирать своих соотечественников, а еще паче и гнушаться оными»<sup>125</sup>.

Относясь с уважением и любовью ко всем вообще отечественным памятникам, Новиков, как масон, обращал особенное внимание на символические действия наших предков, выражавшиеся в актах, каковы разного рода чины царских, патриарших поставлений, погребений, особенные церковные обряды, например хождение вербное, пещное действие. Это, однако, не мешало Новикову издавать много

памятников и не мистического характера, таких как жалованные, договорные грамоты, соборные деяния, послания и прочее.

Труды по русской истории Новикова и особенно Карамзина сильно оживили внимание к нашим отечественным памятникам, в том числе и к актам. Почти одновременно в Москве вступают на этот путь два учреждения. В 1815 г. при Московском университете учреждено новое Общество истории и древностей, которое до сих пор существует; оно издало более 100 томов, в которых, кроме исследований и летописей, очень много актов<sup>126</sup>.

Около того же времени оживилось и стало издавать акты другое учреждение – Комиссия при Московском Главном архиве.

Благодаря необыкновенному вниманию канцлера Румянцева стала осуществляться мысль Екатерины об издании дипломатических актов, и с 1813 г. стало появляться Собрание государственных грамот и договоров в 4 т., оконченное в 1827 г. В этом издании находятся памятники с XII и до XVII века включительно – между прочим, Акт избрания на престол Михаила Федоровича.

Влияние Карамзина и графа Румянцева на изыскание и обнаружение памятников, в том числе актов, было необыкновенно. Карамзин возбуждал любовь к их изучению. Румянцев поддерживал эту любовь, находил и выдвигал тружеников и давал им средства работать.

**П.М. Строев.** Благодаря этим обстоятельствам выработался и развернул широко свою деятельность необыкновенный труженик по изданию актов – Павел Михайлович Строев. Еще студентом Строев много занимался русской историей, затем работал в Главном архиве и участвовал в приготовлении актов для первых 2 томов Собрания государственных грамот и договоров. В 1817 г. благодаря покровительству графа Румянцева он осматривал и описывал книгохранилища монастырей Московской епархии, открыл множество драгоценных памятников, в том числе Судебник Иоанна IV. Этот Судебник, а также Судебник Иоанна III он издал в 1819 г. Как велика была его любовь к отыскиванию и

изданию наших памятников и как широко понимал он это дело, яснее всего видно из его речи, которую он сказал в 1823 г. в Московском обществе истории и древностей после своего избрания в члены этого Общества. «Круг наших действий, – говорил Строев, – будет слишком тесен, если мы ограничим их Синодальной библиотекой, или хотя всеми московскими книгохранилищами, и станем издавать только то, что найдем случайно или что отчасти уже известно... Не довольно Москвы для поприща нашей деятельности: пусть целая Россия превратится в одну библиотеку, нам доступную. Не сотнями известных рукописей мы должны ограничить свои занятия, но бесчисленным множеством их – в монастырских и соборных хранилищах, никем не хранимых и никем не описанных; в архивах, кои нещадно опустошает время и нерадивое невежество; в кладовых и подвалах, недоступных лучам солнца, куда груды древних книг и свитков, кажется, снесены для того, чтобы грызущие животные, черви, ржа и тля могли истреблять их удобнее и скорее. Общество истории должно извлечь, привести в известность, и если не само обработать, то доставить другим средства обрабатывать памятники нашей истории и древней словесности, рассеянные на обширном пространстве от Белого моря до степей украинских, и от границ Литвы до хребта Уральского. Время, способы и деятельность могут раздвинуть сии пределы, но для настоящего и сего довольно. Вот наше поприще и труды, нам предстоящие! Их достойно оценить признательное потомство, ибо суждение современников не всегда основательно и чуждо пристрастия... Для сего необходимо образовать экспедицию, которая бы обзрела, разобрала и с возможной точностью описала все монастырские, соборные духовно-училищные и прочие собрания рукописей»<sup>127</sup>.

По проекту Строева экспедиция должна быть разделена на три отдела или обзреть Россию по трем археографическим областям: Северная область или северный отдел экспедиции. Центр деятельности ее – библиотека новгородского Софийского собора. Затем экспедиция этого отдела должна объехать губернии: Новгородскую, Петербургскую, Олонецкую,

Архангельскую, Вологодскую, Вятскую, часть Пермской и через Костромскую, Ярославскую и Тверскую возвратиться в Москву. «Сия первая, или северная, поездка, – говорит Строев, – будет важнейшая и самая любопытная, ибо древние рукописи нигде не уцелели в таком множестве, как в сей части России, богатой обителями и книгохранилищами, где меч, пожары и опустошения иноплеменников являлись реже, нежели в южных областях, кои в течение целых веков представляли взору пустыни бесплодные. С другой стороны, и старообрядцы – сии почитатели древности, занесли с собой в дальний Север великое число всяких рукописей и частым переписыванием упрочили их тем странам».

Вторая поездка экспедиции, или средняя, должна была обнимать губернии: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, часть Казанской и Симбирской, Пензенскую, Тамбовскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую и Черниговскую.

Третья, западная, – губернии Виленскую, Могилевскую, Минскую, Волынскую, Киевскую, Чернигов-Смоленскую и Калужскую.

Московское общество истории и древностей несочувственно отнеслось к проекту Строева, высказанному, действительно, в обидных для Общества формах, да и не могло оно осуществить этот проект. Он требовал таких больших средств и такого сильного авторитета, какими располагало лишь правительство. Строев и сам это понял и обратился со своим проектом в Петербург в Академию наук. Академия сочувственно отнеслась к нему, и при ее ходатайстве в 1829 г. снаряжена была эта экспедиция под начальством самого Строева. Экспедиция эта, обозревавшая собственно часть севера России, собрала 3000 документов.

**Основание Археографической комиссии и акты, ею изданные.** Для издания этого материала в 1834 г. учреждена была Археографическая комиссия в Петербурге, которая занялась этим делом и, кроме того, при участии того же Строева и его сотрудника Бередникова продолжала розыски новых актов, посылала своих членов описывать архивы в Петербурге,

в провинции, из которых ей стали присылать старые дела, посылала членов даже за границу. Таким образом, в Археографической комиссии сосредоточилось громадное количество памятников, которые она и стала издавать.

Акты, изданные и издаваемые Археографической комиссией, разделяются на серии с особыми заглавиями. Эти серии и их заглавия очень важно знать.

I. 4 тома Актов Археографической экспедиции, о которой мы говорили выше.

II. 5 томов Актов исторических, где, между прочим, Судебник Иоанна III издан по 52 спискам.

III. 12 томов Дополнений к этим пяти томам Актов исторических.

IV. 5 томов Актов Западной России. Основание этой серии положено было давно. Известный уже нам граф Румянцев обратил внимание на любовь к изучению памятников бывшего студента С.-Петербургской Духовной Академии Иоанна Григоровича, поощрял его; и в 1822 г. этот студент Духовной Академии, бывший тогда уже священником в Гомеле, издал на средства Румянцева Белорусский архив. Впоследствии Григорович переселился в Петербург, был председателем Археографической комиссии и издал пять томов Актов Западной России, в которые вошел и его Белорусский архив.

V. Акты Западной и Южной России, издаваемые Н.И. Костомаровым. Вышло 12 томов.

VI. 1 том Актов юридических.

VII. 1 том Актов, относящихся до юридического быта.

VIII. 2 тома Актов иностранных под заглавием: «*Monumenta historica Russiae*», и

IX. 1 том Дополнений к ним под заглавием: «*Supplementum ad historica Russiae monumenta*».

X. 3 тома писцовых книг.

XI. Русская Историческая Библиотека – 7 томов. В ней помещаются акты всех серий, почему-либо опущенные или вновь найденные. Это, так сказать, смесь к этим сериям. В этом же издании печатаются памятники западнорусской

полемиической литературы и напечатаны такие выдающиеся сочинения, как «Апокрисис» и «Палинодия».

XII. Наконец, Археографическая комиссия издает Летопись своих занятий, где, кроме протоколов ее заседаний и разных отчетов, исследований, помещается немало актов и, кроме того, немало описаний их. Вышло 6 выпусков.

**Областные археографические комиссии.** По примеру Петербургской Археографической комиссии в 40-х годах образовались провинциальные Археографические комиссии на Западе России.

**Киевская.** Самая важная по богатству содержания изданных ею актов – это Киевская Археографическая комиссия, основанная в 1846 г. и издавшая до сих пор:

I. 4 тома так называемых Памятников.

II. Затем она стала издавать так называемый Архив Юго-Западной России, который имеет своеобразное разделение. Он разделяется на части по роду содержания актов в Киевском Центральном архиве и затем части – на тома. Таким образом, изданы:

1-я часть – Акты религиозные, 5 томов.

2-я часть – Акты политические, издан 1 том.

3-я часть – о казаках, издано 3 тома.

4-я часть – о дворянах, издан 1 том.

5-я часть – о городах, издан 1 том.

6-я часть – о крестьянах, издано 3 тома, т. е. собственно 4, так как к первому тому издано Дополнение, составляющее целый том.

Киевская Археографическая комиссия держится особого способа при издании своих актов. В своем Центральном архиве, откуда она издает акты, изучается данная часть их по содержанию; составляется затем целое исследование на основании этой части актов и к этому исследованию прилагаются более замечательные акты.

**Виленская.** В 1842 г. в Вильне учреждена была Временная комиссия, издавшая две части актов под заглавием: Акты городов Вильны, Гродно, Ковно, и в 1843 г. такая же Временная комиссия в Минске, издавшая 1 том Актов г. Минска. Минская

комиссия на этом томе и покончила свое существование, а Виленская, тоже было прекратившаяся, восстановлена после последней польской смуты и действует до настоящего времени. Она издала:

I. XII томов Актов – судов городских, земских, трибунальных.

II. Ординацию королевских пущ.

III. Ревизию кобринской экономии.

IV. Писцовые книги Пинского староства, 2 тома.

После той же польской смуты в Вильне при Виленском учебном округе образовалась особого рода Комиссия. Лица Учебного ведомства разъезжали летом по областям, собирали акты, и это собрание издавалось Виленским учебным округом под заглавием «Археографический сборник»; издано 10 томов. При том же Учебном округе издана так называемая Книга кагала – чрезвычайно важное издание.

Все эти издания западнорусских актов, несмотря на большое число помещенных в них актов, выводят на свет весьма малую долю того богатства, которое скрывается в тамошних архивах. Архивы эти собраны из актов всех областей Западной России и составляют три центральных собрания: Центральный архив в Киеве, Центральный архив в Вильне и Центральный архив в Витебске (тоже издавший несколько выпусков актов). В архивах этих находятся миллионы актов. Одно довольно общее, неудовлетворительное описание или оглавление актовых книг Виленского архива составляет объемистую книгу. Делался опыт обстоятельного описания и Киевского архива, составляющий лишь несколько тетрадей.

В изданиях всех указанных археографических комиссий и вообще в изданиях актов находится немало пастырских посланий и разного рода писем. Последние не раз издавались особо, как например: письма русских государей, собрание писем Алексея Михайловича, письма Петра и др.<sup>128</sup> В новейшее время журналы: «Русский Архив», «Русская Старина», «Записки Исторического общества» переполнены множеством писем разных лиц, правительственных и частных.

Чем ближе к нашему времени, тем больше сознавалась и создается важность описания архивов. Можно сказать, что по всем ведомствам составляются комиссии для описания актов, и некоторые из них уже изданы. Так, Комиссия при Св. Синоде издала 4 тома «Описания дел» этого учреждения и 5 томов «Полного собрания постановлений Св. Синода». Составлено два тома «Описания дел общего собрания Государственного Совета», два тома «Описания дел Сената», есть «Описание архива Морского министерства», «Описание Румянцевского музея», начато при Географическом обществе описание или, точнее, извлечение важнейших вещей из писцовых книг. При всех наших духовных академиях существуют комиссии для описания библиотек-рукописей, где тоже немало актов и некоторые из них, такие как «Описание рукописей Казанской и Киевской академий», печатаются в их изданиях. Кроме всего этого, в Петербурге еще существует Комиссия, вырабатывающая проект устройства Русского Центрального архива актов. Дело это поднято в 1872 г. на втором Археологическом съезде, но еще не кончено. Наконец, в Петербурге недавно открыт Археологический институт, одна из главных целей которого – приготовить сведущих архивариусов.

Из этого легко можно видеть, какое богатство материалов составляют акты и какое великое значение им придается. Не думая вовсе умалять действительного значения актов как памятников, раскрывающих больше всего явления внутренней нашей жизни и дающих истории большую точность, мы должны, однако, отметить некоторое преувеличение в понимании актов по сравнению с летописями. Нельзя упускать из вида, что само внимание к изучению актов вызвано так называемой скептической школой, отвергавшей достоверность Начальной летописи, и что даже знаменитый Строев действовал отчасти под влиянием этой школы. В нашей литературе есть даже исследование, в котором решительно доказывается превосходство актовых данных перед летописными известиями. Это сочинение Карпова «Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся» (1870 г.). Мнение это не единственное. Оно легло в основу



многих книг по русской истории. Главные основания этого мнения те, что летописи при всем их внимании к нашей государственности все-таки выражают более частные мнения, а акты имеют несравненно большее значение официальных взглядов, следовательно, достоверность и правильность изложения дела – на стороне актов. Но кто знает, как важны в истории частные мнения, хотя и ошибочные, и как много неверностей в актах, тот не станет держаться такого крайнего взгляда. Что было бы с историей, например, Смутного времени, если бы мы при изучении ее отдавали предпочтение актам, особенно актам правительств того времени?

### Глава III. Иностранные писатели

В актах содержится более богатый материал для изучения внутреннего быта, чем в летописях. Сочинения иностранных писателей о России дополняют данные актов и нередко освещают явления нашего внутреннего быта с совершенно новой точки зрения. И летописи, и даже акты изображают нам большей частью явления в каком-либо роде особенные, выходящие из ряда обыкновенных. Было время, когда и всякая история понималась, как собрание фактов замечательных, любопытных, т. е. *выходящих* из ряда обыкновенных, повседневных. Теперь иной взгляд на эти вещи. И в истории, и в отдельных группах памятников мы больше всего желаем найти то, что было постоянно, каково было состояние общества, а не одно необычайное в его исторической жизни. В этом отношении сочинения иностранных писателей имеют весьма важное и часто незаменимое значение. В них мы находим подробные описания обыденного строя жизни, например, как русские люди проводили время, как одевались, что ели и пили, в каких домах жили и т. п. Все это трудно находить в летописях и даже в актах по той простой причине, что для русских людей все это было обычно, известно и мало имело интереса как предмет для описания. Для иностранцев, напротив, эта-то обыденная сторона русской жизни была интересна и нова, а также более доступна как всюду бросающаяся в глаза. Только в новейшее время эта сторона иностранных известий заменяется уже с успехом нашими археологическими данными. Раскопки, памятники, остатки построек, одежд, домашней утвари при оставшихся по этой части письменных документах дают нам возможность и независимо от свидетельства иноземцев узнавать наш старый, обыденный строй жизни. Далее, иностранцы, писавшие о России, часто были более образованные, чем наши домашние исторические свидетели, поэтому они бывали более способны анализировать явления нашей жизни.

Эти две особенности сочинений иностранцев о России выдвигают их на видное место в ряду пособий при изучении нашей науки; но при этом не следует забывать и крупные их недостатки. В этих сочинениях чаще всего видно поразительное незнание нашей жизни и отсюда – невольное искажение фактов, а нередко – и злонамеренное искажение, чему так много способствовали не только просто чужестранство, но и то внутреннее отчуждение между нами и европейскими иноземцами, какое так давно существует и так упорно держится.

В нашем обзоре сочинений иностранных писателей мы держимся такой системы, которая намечала бы сразу качество исторического материала этих писателей и ставила бы их во взаимную, внутреннюю связь. Мы прежде всего будем показывать то жизненное значение для иноземцев, которое имела Россия, и его влияние на сочинения иностранных писателей о России.

**Древние греческие и римские писатели.** Многочисленность славянских племен и расселенность их на огромном пространстве не могли не обратить на себя внимания таких любознательных людей, каковы были греки и римляне. На распространение у них известий о славянах влияли тоже их космополитизм и разочарованность в достоинстве своей цивилизации. Знать весь мир и отыскивать, где люди живут счастливее, было потребностью и мечтательных греков, и практических римлян. Наконец, и греки, и римляне во времена весьма глубокой древности были связываемы со славянскими странами и живыми интересами. Греки имели колонии по северному берегу Черного моря; римляне имели близкими соседями адриатических славян, а затем во времена германских войн узнавали и о балтийских славянах. Кроме того, торговля янтарем доставляла тем и другим известия о славянских странах и восточных, и западных. Таким образом, у греков могли собираться известия преимущественно о южных и восточных славянах, у римлян – известия преимущественно о западных славянах. Самым ранним и важным свидетелем о славянах был известный греческий писатель Геродот, живший за четыре с половиной века до Рождества Христова и сообщивший

в своей «Истории» поразительно полные и достоверные известия о нашей стране. Из среды римлян самым важным нужно признать Тацита (I в. после Рожд. Хр.), решавшего вопрос, к каким народам принадлежат славяне – к кочевникам или скифам, или к оседлым – германским. Немаловажное значение имеет также «География» Страбона, жившего в последнем столетии до Рожд. Хр. (за 75 л.), в которой есть известия и о странах славянских.

**Греческие писатели с V и VI веков.** Как ни важны все эти известия, но очевидно, что в них нельзя искать точности и обстоятельности. Действительной, большой потребности знать славян не было в те старые времена ни у римлян, ни даже у греков. Потребность эта стала возникать и делаться настойчивой только с V, и особенно с VI века, когда славяне больше и больше надвигались в пределы Римской империи и когда нужно было считаться с ними и у Дуная, и у Адриатического моря. С этого времени появляются писатели, которые заслуживают полного внимания по достоверности и обстоятельности своих сведений о славянах.

Из них первое место по времени и достоинству материала занимает Прокопий – друг и советник Велизария, близко знавший славян и имевший возможность знать многие официальные бумаги. В его «Истории» своего времени, в последних четырех главах, в которых излагается война с готфами, рассеяно немало известий и о славянах, например о разбросанности жилищ славян (очевидно южных), о единобожии в основе славянской мифологии.

*Император Маврикий* (582–602). В его «Стратегике» говорится о способе ведения войны со славянами применительно к их нравам, которые и рассказываются; например, говорится об устройстве их домов со многими выходами, об их искусстве прятаться в воде (очевидно, разумеются ниже-дунайские славяне).

Что Маврикий близко знал славян, это подтверждает Феофилакт Симокатта (VII в.), который в описании его царствования рассказывает о его войнах со славянами.

*Император Константин Багрянородный* (905–959). В своем сочинении «Об управлении» он, подобно Маврикию, указывает, как вести дела с варварами, в том числе и со славянами, но ставит этот вопрос шире – говорит не об одних военных делах, но и о мирных; поэтому и известия его обнимают более широко особенности славян и, что особенно важно для нас, он описывает наших русских славян, например, говорит о днепровских порогах и торговле по Днепру, о сборе дани русскими князьями. В другом своем сочинении – о церемониях Византийского двора он сообщает сведения о приеме русской княгини, что относится к нашей княгине Ольге.

Столь же близкое отношение к нашим событиям имеет история *Льва, диакона Калойского* (писатель второй половины X в.)<sup>129</sup>. Он сопровождал Цимисхия во время его войны с нашим Святославом и описывает эту войну. Упоминает он и о завоевании Корсуня Владимиром.

Византийские историки особенно важны для нас. Византийцы близко знали славян, более других родственных нам, именно южных, и узнавали через них непосредственно и наших русских славян. Сочинение Д.И. Иловайского «Разыскания о начале Руси», исследования профессора Васильевского о печенегах, о Крещении Руси и Забелина «История русской жизни» ясно показывают, какой богатый для нас материал в сочинениях византийских писателей о делах России.

**Писатели арабские.** С византийскими писателями имеют тесную связь писатели арабские. Византию теснили и славяне, и арабы с турками. Славяне, естественно, вступали в отношения с арабами, и целые толпы их поступали на службу к калифам еще около половины VII в. Кроме того, магометанская пропаганда в весьма ранние времена стала перекидываться через Черное море, Кавказские горы и Каспийское море в прикаспийские степи, на которых кочевали разные народцы, особенно хазары, болгары, из которых образовалось Хазарско-Болгарское царство. Но государственной и религиозной потребности славян предшествовала торговая потребность, которая едва ли не вызвала первые две потребности. Мы в

свое время увидим, что уже в VII в. эта торговля между арабами и славянами существовала, а в IX в. русская торговля в Багдаде была уже обычным, а не новым явлением<sup>130</sup>. Таким образом, и государственный, и религиозный, и торговый интересы побуждали арабов знакомиться со славянами. Из числа арабских писателей более замечательны следующие:

*Ибн-Фадлан* или *Фоцлан* (начало X в.), путешествовавший к волжским болгарам и видевший русских, торговлю и языческое богослужение которых он описывает. Особенно подробно он описывает погребальные их обычаи. Существует, впрочем, сомнение, действительно ли он описывает наших славян.

*Ибн-Даста* или *Деста* (тоже писатель X в.). В его «Топографии света» есть описание Русской земли, особенно южной, и ее торговых сношений с прикарпатскими странами.

*Массуди* (около половины X в.), объездивший половину Азии и Южную Европу, знакомый со многими арабскими и греческими писателями (его сочинение «Золотые луга») и имевший обычай везде разыскивать местные памятники и местных сведущих людей. У него есть известие о походе русских к Каспийскому морю (в конце IX и начале X в.) и описание их.

*Эль-Надим* (конец X в.) в своем «Каталоге книг» говорит о письменах разных народов, в том числе о письменах русских.

Пользоваться арабскими писателями нужно с величайшей осторожностью. Их поразительная любознательность захватывала легко и басни, и небылицы, а их столь же поразительная фантазия еще больше вызывает сомнения в достоверности их сказаний. Далее: сам арабский алфавит таков, что нередко малейшее изменение черточки дает другое слово. Наконец, еще одно затруднение: знающие арабскую литературу редко знают русскую историю, и наоборот, специалисты по русской истории очень редко знают арабский язык. Следовательно, критика сказаний арабских писателей очень трудна и не может дать надежные результаты.

**Писатели западные старых времен до XII века.** Круг греческих и арабских писателей, как мы видели, обнимает по преимуществу южных и восточных славян. Западноевропейские

писатели, естественно, больше занимались западными ветвями славян. Но когда в жизни восточных славян совершился такой крупный переворот, как образование Русского государства, а затем и религиозный переворот – принятие Христианства, то западные писатели заговорили и об этих славянах; и чем больше выдвигалось Русское государство и Русская Православная Церковь, тем больше известий и отдельных сочинений о России появлялось и в Западной Европе.

Самым старым западноевропейским писателем, сообщавшим богатые известия о славянах вообще, и в том числе о восточных, нужно признать *Иордана* или *Иорнанда*, епископа Равенского (VI в.), родом готфа. В пятой книге его «Истории восточных готфов» излагается топография славянских земель и перечисляются некоторые времена славян, которых Иордан разделяет на венетов (западных славян) и антов (восточных славян).

*Дитмар* или *Титмар*, епископ Мерзебургский, саксонец, связанный родственными узами с княжескими родами и домами немецких императоров, живший в конце X и начале XI века, в своей «Хронике» говорит много о славянах. Ближайшее его внимание вызывали западные славяне, особенно польские племена, составлявшие уже тогда государство. Борьба между ними и немцами сильно его занимала; но кроме западных славян он знал и Русское государство, знал дела Владимира и значение Киева.

И Иордан, и Титмар, можно сказать, с одной точки зрения смотрят на славян. Как Иордан прославлял готфов и дурно относился ко всем народам, поражавшим их (преувеличил мрачные дела гуннов и смешал с ними славян), так и Титмар прославляет германцев и унижает даже таких славянских деятелей, как наш Владимир и польский Болеслав Храбрый<sup>131</sup>.

Почти исключительно западными и тоже с предвзятыми мыслями, но с весьма основательными сведениями занимались два писателя: *Адам Бременский* (XI в.) и особенно *Гельмольд* (XII в.). Оба они были распространителями Христианства среди балтийских славян. Для них знание этих славян составляло жизненный интерес, и они действительно сообщают

драгоценные известия об этих славянах, особенно об их мифологии. Знают они и о восточных славянах, и сообщают мельком брошенные известия о торговле с ними балтийских славян. Их сведения значительно дополняются писателем XII–XIII вв. *Саксоном Грамматиком*.

С XII и до половины XIII века иностранные писатели теряют для нас значение. За это время мы имеем богатство собственных летописных известий. Притом западноевропейцы тогда заняты были крестовыми походами, которые отвлекали их внимание к мусульманскому и греческому Востоку.

Только южные славяне должны были почувствовать на себе силу этого движения Запада к греческому и мусульманскому Востоку; но последовавшие затем завоевания турок уничтожили большую часть этого западного влияния на южных славян. Однако крестовые походы выработали такие явления, которые гораздо больше отразились на жизни других славян, именно западных, а затем дали себя чувствовать и нам русским. Неудачные усилия поразить отдаленных неверующих вызвали на Западе старания обращать в латинство ближайших неверных, какими были балтийские славяне, Литва, инородцы наших балтийских областей. Под эту категорию латиняне стали подводить Польшу, и особенно нашу Русь, и тем энергичнее действовали, что с латинской пропагандой во всех этих предприятиях соединялась германизация. Эти стремления латинства и германизма вызывали и сочинения. Ими проникнуты и сочинения Адама Бременского и Гельмольда. Они же вызвали с разного рода оттенками и несколько других писателей. Для нас имеют значение писатели ближайших к нам стран, которым было естественно и иногда даже необходимо сообщать сведения и о России. Таковы прежде всего старые польские хроникеры.

**Писатели польские, немецкие, прусские и Генрих Латыш.** *Галл* – писатель XII века. В его хронике главное внимание обращено на дела польские – на образование и развитие Польского государства, причем он должен был говорить о балтийских славянах, о чехах, но особенно об отношениях Польши к германскому миру. Латинянин в душе,



иноземец по происхождению<sup>132</sup> Галл не мог понять действительного смысла ни отношений Польши к западным славянам, ни действительного смысла борьбы ее с немцами. Он подрывал даже величие таких своих доблестных людей, как Болеслав Храбрый. Понятно, что, заговаривая о России, он не мог быть справедливым<sup>133</sup>.

Несколько более был способен понимать, по крайней мере, дела польские, другой ближайший к Галлу по времени польский хроникер – краковский епископ *Викентий Кадлубек* (ск. в 1223 г.). Его «Хроника» начинается собственно IX в. и оканчивается началом XIII в. Он очень был занят мыслью возвеличить свою родину, за что до позднейшего времени и пользовался великой славой. Его даже считали первым польским летописцем, пока не открыли (в конце XVIII в.) «Хронику» Галла<sup>134</sup>. Желая больше возвеличить свою родину, Кадлубек обратился к древнейшим временам славянства. Это, естественно, заставляло его обозревать древнейшую историю всех славян и уяснять их единство. У него собрано чрезвычайно много баснословия (связывает славян с Александром Македонским и т. д.); но среди басен есть у него и серьезные вещи. Он ведет расселение славян от другого средоточия, чем наш Нестор, – от северных склонов Карпат и истоков Вислы, что признается имеющим силу<sup>135</sup>.

Движение латино-германской пропаганды дальше на северо-восток выдвинуло писателей, которые еще ближе подходили к делам России. Уже оба вышеупомянутых писателя занимаются немало соседней с их родиной Литвой. Но эта страна вызывала такое же, если не большее, внимание немцев-крестоносцев, надвигавшихся на нее. О ней много говорит немецкий хроникер *Дюсбург* (XIII–XIV вв.), «Хроника Ордена крестоносцев» которого обнимает время с 1190 по 1326 г. Дюсбург говорит, собственно, о западной части Литвы, так называемой Пруссии. Еще ближе к нам по месту жительства и по содержанию рассказа ливонский писатель *Генрих Латыш* начала XIII века, в хронике которого – драгоценные известия о первоначальных делах Ливонского ордена и об отношении к нему местного населения Литвы и особенно полоцких князей<sup>136</sup>.

**Писатели времен татарского ига – итальянские, арабские.** Величайшее бедствие России – татарский разгром, повлекший татарское иго, вызвало злоумышления против нее и ближайших соседей, и отдаленных наших зложелателей. Во главе их стали папы и хотели разделить с татарскими ханами власть над Россией, наложить на нее духовное свое иго. Они непосредственно общались с нашими князьями, например с Александром Невским и Даниилом Галицким, и поднимали против нас ближайших наших соседей – шведов, ливонских рыцарей, Литву и даже посылали к татарам посольства в тех же видах.

Последнее обстоятельство дало начало ряду писателей о России за это время. Таковы:

*Глано Карпини* – папский посол (половины XIII в.) к татарам по делам религиозным. Он ехал через Галицию, где велись сношения с папой по делам Унии, знал дела галицкого князя Даниила, видел в Орде Ярослава Всеволодовича.

*Рубруквис* – посол Людовика IX к хану тоже по делам религиозным (половины XIII в.). За послами Папы и Людовика пошли представители торговой Венеции, сносившейся с татарами через Черное и Азовское моря.

Из среды их самое важное значение имеет *Марко Поло* (писатель второй половины XIII в.), объездивший многие азиатские владения татар и сообщивший драгоценные географические сведения о странах наших тогдашних владык и об их делах (упоминает и о России).

Некоторое значение имеет *Барбаро* (около половины XV в.), описавший свое путешествие в Азов и Контарини, бывший даже в Москве в 1473 г. на обратном пути из Персии.

Время татарского ига вызвало вновь внимание арабов к нашей стране. Из многих писателей того времени особенной славой пользуется географ *Абульфид* (XIV в.), у которого есть древние известия, например о походе русских к Каспийскому морю (IX–X вв.).

**Писатели времен усиления Московской государственности.** Со второй половины XV века, когда Россия стала активно объединяться и свергла татарское иго, она, как

известно, стала более и более обращать свое внимание и силы на Запад и вступать – чем дальше, тем больше в сношения с западноевропейскими государствами. Прямой путь ей в этом направлении пролегал через Польшу, с которой, кроме того, у России были большие счеты из-за Западной России. Таким образом, возвеличивание России и направление русских дел составляли для Польши ближайший интерес. Польские писатели не могли не обращать на это внимание, и как ближайшие свидетели не могут не иметь для нас важного значения. Кроме того, они тоже в качестве ближайших свидетелей записывали дела Литовского княжества, особенно после соединения его с Польшей, т. е. с 1386 г., а Литовское княжество состояло, главным образом, из русских областей. Наконец, немаловажно, что Польша с конца XIV в. стала быстро возрастать и приобретать большое значение для западного славянства. Таким образом, польские хроникеры после татарского ига представляют для нас большой интерес. В числе хроник особенно замечательны следующие.

Краковский каноник и воспитатель детей литовско-польского государя Казимира *Иоанн Длугош*, или по-латыни – Longinus (умер в 1480 г.). Его «Польская история», доведенная до того же года, замечательна не только тем, что автор ее, вращаясь при дворе и имея доступ к Королевскому архиву, много мог сказать, но и тем, что, как человек не хитрый и не очень даровитый, он иногда гораздо правдивее излагает дело, чем многие из его соотечественников. Так, он во многих местах признает силу и даже правду за русским населением бывшего Литовского княжества. Этому направлению помогала, конечно, сильная любовь к Литовскому княжеству самого Казимира.

Совсем другим направлением отличается Мартин Кромер (умер в 1589 г.), тоже придворный каноник, а потом епископ Вармийский. Его «Хроника о начале и делах поляков» (*De origine et rebus polonorum*), доведенная до начала XVI века, мало самостоятельна и уже сильно проникнута латинским и польским фанатизмом. Достоинство ее в том, что даровитый ее автор хорошо упорядочил и не без критики разобрал древние и позднейшие события Польши и, как много занимавшийся

дипломатией, показал большое знание сношений Польши с другими государствами. «Хроника» Кромера имеет большую славу в нашей литературе и особенно – в западноевропейской. Слава эта заслужена главным образом необыкновенно хорошей латынью, которой она писана.

Гораздо большее значение по замыслу и дельности исполнения заслуживает другое сочинение Кромера. Это «De statu et de moribus» и проч. Poloniae. Тут изложена внутренняя история Польши, хотя и схоластическим способом. Оно составляет подражание и поправку донесений папских нунциев, описывавших то же самое. Часть этих донесений издана в новейшее время в Париже под заглавием: «Relacye nuncynszow Apostolskich», 2 тома. – 1864 г.

XVI век, когда в Литовско-Польском государстве происходило величайшее брожение разнородных элементов и делались попытки найти лучший путь исторического движения, дал нам нескольких писателей, выделяющихся новым направлением.

*Мартин Вельский* (ск. в 1599 г.) – светский человек. Кроме «Всемирной хроники», перешедшей в наши хронографы, он написал еще «Польскую хронику», в которой так смело говорил о вредном влиянии на Польшу латинского духовенства, что оно отказывалось похоронить его. Под влиянием этой вражды духовенства сын Мартина Иоаким сгладил эти шероховатости в «Хронике» своего отца, продолжил ее и переиздал в таком виде. Первое издание ее 1554 г. – очень редко. В новых изданиях «Хроника» доведена до 1580 г.

Подобной оригинальностью, но в другом роде, отличается «Хроника» жмудского каноника *Матвея Стрыйковского*, изданная под заглавием: «Kronica Polska, Litewska, Zmudzka i wszystkiey Rusi». Доведена до 1579 г. Стрыйковский до поступления в духовное звание был военным человеком, много странствовал по Литве и Западной Руси, много видел и, как человек отзывчивый, откликался на нужды и права той и другой. Летописи и вообще памятники Литовского княжества увлекли его, и он не раз проникался русским духом. Но он так странно написал свою «Хронику», что подорвал доверие к ней. Проза и

стихи равно служили ему для изображения событий. Он перечисляет много летописей русских и даже литовских, но не дает ни описания их, ни точных выписок из них. Стрыйковского, впрочем, больше нужно обвинять в легкомыслии, нежели в намеренной лжи.

В высшей степени замечательны еще отрывки из сочинений *Михалона Литвина* или, как его называет польский писатель Лелевель, *Михаилы Литвина*. Отрывки эти носят заглавие «Michalonis Litvani de moribus Tartarorum, Litvanorus et Moscorum fragmina decem». Писаны отрывки Михалона в половине XVI столетия для молодого тогда литовско-польского государя Сигизмунда Августа. Разочарование этого писателя-литвина в благах польской цивилизации доходит до крайних пределов. Он усматривает лучшие порядки жизни не только у нас, русских, но даже у татар. Важнее всего, что он становится при этом на такую точку зрения, с которой яснее всего видны язвы польской жизни и здоровая русская основа, – именно на точку зрения блага простого народа. Вот классическое место, выражающее эту его главную мысль: «Татары превосходят нас не только воздержанием и благоразумием, но и любовью к ближнему. Они сохраняют между собой взаимное расположение и оказывают друг другу добро; справедливо обращаются и с рабами, хотя имеют их только из чужих стран. Несмотря на то, что этих рабов приобретают они войной или куплей, они не держат их в рабстве долее как до семи лет, по слову Писания (Исх.21:2). А мы держим в непрерывном рабстве людей своих, добытых не войной и не куплей, принадлежащих не к чужому, но к нашему племени и вере, сирот, неимущих, попавших в сети через брак с рабынями; мы злоупотребляем нашей властью над ними, мучая их, уродуя, убивая без суда, по малейшему подозрению. Напротив того, у татар и москвитян ни один чиновник не может убить человека даже при очевидном преступлении, – это право предоставлено только судьям в столицах»<sup>137</sup>...

Любопытно еще мнение Михалона о евреях. «В эту страну, – говорит он, – собрался отовсюду самый дурной из всех народов – иудейский, распространившийся по всем городам Подолии, Волыни и других плодородных областей; народ

вероломный, хитрый, вредный, который портит наши товары, подделывает деньги, подписи, печати, на всех рынках отнимает у христиан средства к жизни, не знает другого искусства, кроме обмана и клеветы; самое дурное поколение племени халдейского, как свидетельствует Священное Писание, поколение развратное, греховное, вероломное, негодное»<sup>138</sup>.

Сочинение Михалона, кроме старого издания 1610 г., издано в подлиннике и с русским переводом в Архиве... историко-юридическом Н.В. Калачова, 2-я кн., 2-я пол.

Еще более близкое отношение к русским делам имеют следующие сочинения польских писателей.

Во второй половине XVI века (с 1576 г.) на польской земле сошлись и стали действовать заодно два даровитейших человека, по-видимому, совершенно противоположных направлений. Это, во-первых, чужеземец для поляков, семиградский князь *Стефан Баторий*, избранный в польские короли, – крупный военный и государственный талант, неверующий в душе, но для широких политических целей ставший на значительное время поборником иезуитов как лучшей, по его мнению, объединяющей силы; во-вторых, выдающийся артиллерист своего времени и еще более замечательный образованный человек и гуманист *гетман Ян Замойский*, веровавший в благотворность чистой польской культуры и потому сторонившийся иезуитов и основавший свою Академию не иезуитского характера. Оба они сошлись на замысле сломать могущество России, соединить ее с Польшей и затем обратить собранные воедино эти славянские силы против турок. Из кружка людей, вращавшихся около этих необыкновенных лиц, выделились два писателя, сочинения которых имеют для нас особенное значение.

Это, во-первых, *Райнольд Гейденштейн* – секретарь Батория и Замойского. Он составил описание войны Батория с Иоанном IV (*Commentarii de bello Moscovitico*) и издал его еще при жизни – в 1584 г. Затем он стал составлять «Историю Польши» – описал время Сигизмунда Августа, приставил это начало к своему описанию Московской войны и продолжал описание событий последующего времени до 1602 г. Этот труд,

в котором Московская война составляет 3, 4, 5 и 6 главы<sup>139</sup>, издан уже спустя много времени после смерти автора (в 1620 г.), именно в 1672 г. В новейшее время – в 1857 г. он издан на польском языке в Петербурге в двух томах; готовится еще издание Археографической комиссией в подлиннике и с переводом на русский язык.

Именно у этого автора изложен план завоевания России Баторием. У Гейденштейна план этот оказывается запоздавшим для времени Иоанна IV, с которым воевал Баторий, и слишком ранним для времени самозванческих смут, когда он, несомненно, осуществлялся. Но, без всякого сомнения, начало этого замысла совпадает с началом войны Батория, если только не предшествует ей, как это указано в других источниках, которые отчасти увидим ниже, – в «Инструкции», данной Поссевину, и в проекте, злостно приписываемом Иоанну немцами Элертом и Крузе.

Вот два места касательно этого плана у Гейденштейна: «...Когда Иоанн IV умирал, то, – говорит автор, – силы Москвы были сильно истощены; представлялась весьма счастливая возможность возвратить назад Смоленск и другие области, забранные силой или изменой; не было ничего невероятного в том, что возможно будет присоединить к Польше или иначе переустроить для блага всего Христианства, и все Московское государство, столь громадное, столь могущественное и столь полезное для борьбы с турками»<sup>140</sup>. В другом месте Гейденштейн излагает тот же план яснее и подробнее. Сказав, что смерть Иоанна и начавшиеся после нее раздоры между боярами представляли большие удобства для завоевания России и что Польский сейм, боясь усиления королевской власти, этому противодействовал, автор продолжает: «Король, не желая так легко бросать столь важное дело, открыл переговоры с папой, с князьями итальянскими, с Венецией и Флоренцией. Для этих сношений он обратился к посредству Поссевина и с этой целью вновь послал в Рим своего племянника кардинала Батория. Везде он указывал на настоящее положение дел в Москве и доказывал, что теперь-то именно пора основать на Севере сильное государство,

соединив Москву с Польшей, и что таким образом устроится сильная преграда для турок; Христианство не будет бояться этих поганских орд, а вера Римско-Католическая распространится. Поэтому он просил, чтобы ввиду выгод, имеющих произойти от сего для всего Христианства, христианские государства помогли ему денежной помощью... Смерть короля прервала эти переговоры»<sup>141</sup>.

Кроме этих известий у Гейденштейна рассказан весь ход войны Батория с Иоанном IV, и иногда весьма подробно, например о взятии Полоцка, Великих Лук, и особенно об осаде Пскова. Здесь изложена и топография Пскова и его история.

Об осаде Пскова мы имеем другое сочинение – «Дневник» этой осады, веденный на месте в польском лагере неизвестным лицом, тоже очень близким к Замойскому и Королевской канцелярии, и замечательный большой долей беспристрастия. Автор этого «Дневника» отдает полную справедливость мужеству псковитян и их военному искусству. Есть у него драгоценные известия об Иоанне IV, его трусости. Есть известие, что в одном казацком русском отряде был Ермак Тимофеевич (для того времени известие ошибочное). Также важна приложенная к этому «Дневнику» обширная переписка по делам этой войны и заключения мира. Есть, между прочим, одно в высшей степени замечательное письмо, в котором Иоанну IV приписывается намерение пробиться к Балтийскому морю.

Борьба между Россией и Польшей вызвала еще задолго до времени Иоанна IV и Батория сношения России с другой страной – Австрией, которая не могла равнодушно смотреть ни на усиление Польши, ни на усиление России и потому постоянно вмешивалась в их борьбу. Благодаря этому из Австрии вышел целый ряд писателей, бывших в России в качестве членов посольской миссии или собиравших у себя сведения о России. В официальной сфере своей деятельности они действовали, как австрийцы, т. е. во вред и России, и Польше; но в своих сочинениях о России они сравнительно с писателями из других народностей занимают нередко самое видное место. Зная славян в своем отечестве, они



справедливее и гораздо с большим знанием излагают и дела русские.

Ряд этих писателей открывает собой важнейший из иностранных писателей барон *Герберштейн* – посол австрийского императора, бывший в России два раза, в 1517 и 1525 гг. при Василии Иоанновиче. Он знал славянский язык, мог понимать русских и читать русские летописи и другие письменные памятники и действительно читал их. Его сочинение «*Rerum moscoviticarum commentarii*» – драгоценное собрание дельных и обстоятельных известий о России и древних, и позднейших, до его времени. Он, например, сильно вдумывался в историю происхождения Русской государственности и собирал русские предания и мнения об этом. Он даже записывал целые памятники, например Судебник Иоанна III.

*Кобенцель* – рыцарь немецкого ордена – посол от австрийского императора (Максимилиана II) к Иоанну IV. Был в Москве в 1576 г. В своем донесении об этом посольстве он описывал необыкновенную власть царя, а также необыкновенное послушание ему со стороны подданных, легкую для него возможность собрать громадное войско, громадные богатства страны и самого князя. Между прочим, указывает на проект царя вести торговлю солью по Балтийскому побережью. Как член немецкого ордена, автор весьма был заинтересован, чтобы представить императору опасность движения Иоанна в Ливонию.

Барон *Мейерберг*, или *Августин фон Майерн*, австрийский посланник во время малороссийской войны при Алексее Михайловиче (1661–1663). В сочинении Мейерберга «*Iter in Moscoviam*» находится, между прочим, обстоятельное описание двора Алексея Михайловича и личности этого государя. Он, подобно Кобенцелю, обратил внимание на своеобразные отношения в России между государем и подданными и раскрыл перед глазами западноевропейцев невиданную ими картину, как государь (Алексей Михайлович) с неограниченной властью представляет образец человека самых высоких качеств, не

посягавшего ни на чью честь, ни на чье достоинство. У Мейерберга есть карты Москвы, Украины.

*Георг Корб* (1698–1699). Сопровождал австрийского посла к Петру по делам союзной войны против турок. В сочинении «*Diarium itineris in Moscoviam*» находится описание ужасной расправы Петра со стрельцами, а также известие об Азовских походах.

Спокойствием и желанием знать действительное положение дел отличаются и писатели самого дружественного России государства – Гольштинии.

Самым важным представителем в литературе этого благорасположенного к нам государства был *Олеарий*, бывший в гольштинском посольстве в России 1633 и 1636 гг., т. е. во времена Михаила Федоровича. Это одно из самых полных и подробных описаний нравов и обычаев русских и древнего, и его времени, с немалым числом географических карт, изображений городов.

Из ряда этих писателей – австрийских с одной стороны и гольштинских – с другой резко выделяются писатели двух следующих категорий.

До сих пор две главные силы управляют судьбами Западной Европы – протестантство и иезуитское латинство. Перед этими силами нередко отступают не только частные интересы того или другого государства, но даже интересы целых национальных групп. Современный социализм пытается подорвать эти силы и занять их место; но в действительности и сам социализм развивается под влиянием одной или другой из этих сил. Протестантский социализм миролюбивее в жизненной практике и шире по идее; латинский социализм, наоборот, одностороннее по задаче, легче привязывается к чуждым ему интересам, но зато злее и неистовее в жизненной практике. Если теперь еще так велики эти две силы – протестантская и латинская, то в прежние времена они были еще больше, и яснее отражались на делах людей, в том числе на сочинениях иностранных писателей о России.

И свободолюбивое протестантство в лице англичан, и мрачно деспотическое иезуитство сошлись на том, чтобы

подчинить Россию; Англия – своей торговле, иезуиты – своему папству. Само собой разумеется, что при такой задаче те и другие должны были смотреть на Россию, как на материал, который необходимо пересоздать, потому что в нем все дурно.

Самые крупные представители этих двух направлений в рассматриваемом отделе литературы нашей науки сошлись между собой даже по времени. Один из них – иезуит Поссевин был в России в 1581–1582 гг., другой – англичанин Флетчер в 1588 г., и предмет для обоих был тем богаче, что они были в России: один – под конец жизни Иоанна IV, другой – вскоре после того, т. е. при Феодоре Иоанновиче.

Сочинение *Поссевина* ... «Antonii Possevini ex societate Iesu Moscovia sive de rebus Moscoviticis et acta in conventu legatorum Regis Poloniae et magni ducis Moscoviae», изд. 1586 г. ... много раз потом издавалось и переводилось на другие языки. Необыкновенно талантливый иезуит, имевший возможность присматриваться к делам русским еще прежде, во время своей нунциатуры в Швеции, получил теперь для этого громадные средства, во время пребывания в России в 1581 и 1582 гг., когда находился то в стане Батория, то ездил к Иоанну IV и вел беседы с ним. Его описание войны с Баторием, особенно описание городов Новгорода, Пскова, Смоленска, его описание жизни Иоанна в Старице и потом в Москве поражают большим знанием дела. Он сумел даже вывести от толмача подробности трагической смерти сына Иоаннова – Иоанна же, убитого отцом. Зная близко дела русских, сохраняя в свежей памяти поражения их от Батория и бедствия от своего неистового царя – Иоанна IV, Поссевин разрушает мнение прежних писателей о могуществе России. Но он подобно другим признает и богатство, и силу царя Московского, на изучение которого употребляет большие старания. Все это привело иезуита к убеждению, что через русское правительство много можно сделать для подчинения России папе, но как проницательный человек ясно видел, что скоро этого сделать нельзя и нужны особые приготовления, в числе которых самые важные – школы в духе латинства и обращение в Унию православных Западной России.

Дела Поссевина в России освещаются особенно сильно проектом Батория сокрушить эту державу для интересов Запада и латинства в частности, а также данной Поссевину папской «Инструкцией», напечатанной, между прочим, Археографической комиссией в изд. ее: «Historica Russiae monumenta», т. I, № ССХII.

*Флетчер* – посол английской королевы Елизаветы к Феодору Иоанновичу. Если иезуит Поссевин мог много знать о России, вращаясь между поляками, нахлынувшими с Баторием на русскую землю, то подобное же удобство было и у Флетчера. В то время, когда он был в России, уже с лишком 40 лет англичане разъезжали по ней, овладевали ее торговлей, много узнавали из ее дел, давно вели записки о России в английской торговой компании. Так, член ее, принимавший на себя иногда и звание английского посланника – *Горсей* составил очень обстоятельное сочинение о России: у него, между прочим, есть весьма важное указание на перемену в Иоанне после женитьбы на Марии Черкасской, в родных которой он нашел ревностных исполнителей своего тиранства. Среди этих-то обстоятельств явился в Россию Флетчер, да еще некоторое время был задержан в Вологде – торговом городе. Такой писатель, конечно, мог написать очень дельную книгу о России, и действительно, записки Флетчера – превосходный сборник сведений о русской природе, русской торговле, финансах, управлении. По местам у него рассеяны драгоценные известия, иногда существенные: об опричнине, судебном поединке, юродивом Николе. Не без основания многие сравнивают записки Флетчера по дельности их с «Записками» Герберштейна. Но что касается его основного взгляда на Россию, то никакой иноземец не высказывал его резче Флетчера или, лучше сказать, он лучше всех выражает основной взгляд иноземцев на Россию. Россия пребывает без познания Бога, без писанного закона и без правосудия – вот его основной взгляд на Россию. И это писалось в то время, когда Россия живо помнила и глубоко чтит такого необыкновенного мыслителя и психолога в области религиозной и гуманиста в жизни, как Нил Сорский; когда недавно еще сошли со сцены известный нам

просвещенный собиратель Четых-Миней митрополит Макарий, могущественные двигатели нравственного оживления России Сильвестр и Адашев; не говорим уже о Максими Греке, Курбском; говорилось это тогда, когда Россия имела уже два судебника, в которых ясно, твердо проповедовался основной принцип лучших законодателей мира: суд всем общий и равный. Иноземец не мог выбраться из области тяжелых впечатлений от внешних, поражавших его суровых явлений русской жизни. Но удивительно, что его не поразили такие явления как то, что величайший русский тиран Иоанн IV тщеславился тем, будто бы он сам не русский, а иноземец римлянин, и что у этого тирана самым изобретательным палачом был англичанин Бомелий. Не обратил образованнейший, свободолюбивый англичанин внимания даже на то, что в то время, когда он был в России, в ней еще не было закрепощения крестьян и что весьма недавно в этой самой, не знавшей будто бы Бога, закона и правды России, во имя христианской любви раздавался протест против существования в ней рабов, который не был пустым словом или единичным голосом. Известно, что упомянутый Сильвестр отпустил на волю своих рабов, и они по своей воле жили у него.

**Писатели ливонские.** В том же XVI столетии стала возникать новая группа писателей, которая по направлению своему и знанию дела примыкает к Поссевиному, а особенно – к Флетчеру, но по своему особому положению должна занять особое место в литературе нашей науки. Это писатели ливонские и примыкающие к ним по делам Ливонии.

Движение наше к Балтийскому морю повело к столкновению с Ливонским орденом, особенно сильно выразившемуся в так называемой Ливонской войне при Иоанне IV. Множество пленных немцев было уведено внутрь России и размещено по разным городам, особенно в Москве. Они-то составили зерна иноземных у нас колоний и опору при последовавших наплывах к нам всякого рода иноземцев, приобретающих нередко влияние на наши дела. Из среды этих иноземцев тоже выходили писатели.

*Крузе* и *Таубе*, послы от Ливонского ордена к Иоанну IV в 1557 г., потом пленные в Москве в 1560 г., далее с 1567 г.

русские служилые люди, устроившие дело Магнуса, наконец, в 1571 г. передались польскому королю Сигизмунду Августу. В 1572 г., находясь на польской службе, они оба задумали оправдать свою измену перед Орденом и изложили это оправдание в виде письма к магистру Готгарду Кетлеру. Оправдание себе они нашли в жестокостях Иоанна IV, которого и описывают. У них подробно описывается история переселения Иоанна в Александровскую слободу и жизнь в ней. Вероятно, чтобы возбудить больше ненависти к Иоанну, они приписывают ему намерение устроить гибель всего Христианства Польши, Литвы и особенно Ливонии. Но при всем своем пристрастии авторы как очевидцы дел Иоанна заслуживают большого внимания. Они, например, рассказывают, что когда Иоанн уступил желанию народа править им и приехал в Москву из Александровской слободы, его нельзя было узнать – так он изменился.

Гофф, бывший в заключении в Москве 13 лет при Иоанне IV и потом каким-то образом высвободившийся из России. Он описал жестокости Иоанна ... так резко, что сочинение его, изданное без указания года и места издания, принадлежит к числу самых обличительных. Само собой разумеется, что сочинения тех иноземцев, которые жили в Москве или даже занимали влиятельное положение, отличались большим спокойствием и беспристрастием, хотя у всех их основной взгляд на Россию тот же, что и у вышеупомянутых писателей. Но они входят уже в новый период иностранных писателей о России.

**Разноплеменные писатели Смутного времени.** Смутное время в России было временем наплыва в нее уже не отдельных ... лиц и даже не отдельных групп, а целых масс иноземцев. Им открыты были все дела России, и они забирались в самые отдаленные и глухие места. Многие поражало их; многое из своих дел они считали достойным исторической памяти и потому одни сами записывали виденное и узнанное, другие разносили вести во все концы европейской земли и вызывали любознательных людей на сочинение статей

и книг о России. Почти все национальности Европы выставили писателей об этом бедственном времени России.

Первейшие и главные участники в этой Смуте поляки выставили следующих писателей:

В редактированном мною 1 т. Русской исторической библиотеки Археографической комиссией изданы:

1. Дневник похода в Россию первого Самозванца, писанный лицом, сопровождавшим этого Самозванца.

2. Дневник событий Смутного времени с 1603 по 1613 г., заключающий в себе главным образом сведения о делах второго (Тушинского) Самозванца.

3. Дневник похода польского короля Сигизмунда III к Смоленску и осада им этого города.

*Гетман Жолкевский* описал свой поход из-под Смоленска к Москве и дело избрания в русские цари королевича Владислава. Во втором (русском) издании записок Жолкевского приложены многие важные документы – грамоты, письма и, между прочим, записки иезуита *Велевицкого*, разъясняющие само появление первого Самозванца.

*Маскевич* – участник в походе первого Самозванца – тоже составил очень дельные записки.

Писали дневник послы, бывшие на свадьбе первого Самозванца и одновременно с ним подвергшиеся разгрому.

Написала свой дневник даже известная авантюристка *Марина Мнишек*. Во всех этих дневниках – большое обилие фактов. Есть между ними и довольно беспристрастные, как записки Жолкевского, Маскевича; но особенно важные данные извлекаются из сравнительного их изучения.

Шведы выставили *Петрея*, который несколько раз был в России и обстоятельно описал и древние русские времена, особенно время Годунова и первого Самозванца. Еще более важное значение имеет сочинение *Буссова*, которым пользовался Петрей и которое по недоразумению долго известно было под именем Бера. Автор долго жил в России, пишет спокойно и с первого взгляда – весьма беспристрастно.

Голландцы выставили особенно замечательного писателя из евреев – *Исаака Массу*, который долго жил в Москве (1601–

1609), собрал много сведений о Смутном времени, о времени Годунова, которого очень не любил. Имеет значение также голландец *Гаркман*, писавший тоже о Смутном времени, хотя не везде самостоятельно. По-видимому, он лучше знал дела при втором Самозванце (Изданы оба Археогр. комиссией).

Германские немцы выставили купца из Аренсбурга *Паерле*, который приезжал в Москву с товарами к свадьбе первого Самозванца и был задержан. У него подробное описание двора этого Самозванца и разгрома его. Французы выставили *Маржерета*, который переходил от одного народа к другому – служил русским, шведам, полякам, самозванцам, но, несмотря на такую изменчивость в делах жизни, написал очень умное сочинение о Смутном времени. Не упоминаем об англичанах, австрийцах, итальянцах, писавших о России того времени.

Иностранные писатели Смутного времени имеют особенно важное значение. Россия тогда ... раскрывалась перед глазами многочисленных иноземцев. Следовательно, они больше, чем когда-либо, могли многое видеть сами, быть очевидцами событий; между тем, наши русские свидетели того времени не легко могли записывать совершавшиеся события. Наконец, иноземцы в это время были часто главными двигателями наших событий. Это подрывает достоверность их сказаний, но часто дает возможность изучать их цели, планы касательно России.

**Писатели после восстановления Русской государственности.** После восстановления у нас государственности иноземцам нельзя было в таком числе и с такой волей изучать все в России, как в смутные времена; но зато само русское правительство более и более вступало в сношения с Европой и держало у себя иноземцев на постоянной службе. Сочинения о России поэтому появлялись по-прежнему.

Кроме известных уже нам за это время Олеария, Мейерберга, Корба, можно еще упомянуть о следующих: о шведе *Пальме*, бывшем послом при заключении Столбовского мира и описавшем его, о враче Алексея Михайловича – англичанине *Коллинзе*, который описал время своего лекарства (1659–1667). («Моровая язва в России», отзыв о прекрасных качествах Алексея Михайловича). За это время мы имеем и



особого рода исторических свидетелей, таких как серб *Крыжанич*, бывший в Москве при Алексее Михайловиче и сосланный в Сибирь. Крыжанич был великим славянским патриотом, искал в России осуществления своих славянских идеалов и написал большой трактат, каким должно быть славянское, самобытное государство. Во-вторых, имеем *Павла*, архидиакона Антиохийского патриарха, *Макария*, бывшего в Москве по делу Никона. Павел описал свое путешествие и пребывание в Москве. Главный предмет – придворные и церковные обрядности.

Малороссийская война вызвала много сочинений и польских, и русских, каковы поляки: *Коховский*, *Рудавский* и русские *Ерличь*, *Самуил Величка* и много безымянных писателей об этом времени.

Во все время XVII столетия мы видим старые интересы России и старых, особенно живо заинтересованных, исторических свидетелей. Россия стремилась больше всего прямо на Запад. Польша и Австрия должны были обращать на нее главнейшее внимание. Затем, в северо-восточном направлении от Москвы – государственный интерес к России возбуждается в Швеции, а затем торговый – в Голландии и Англии. На юго-запад от Москвы старый интерес существовал в Италии – торговый и религиозный, затем религиозный восточный и, в частности, вследствие столкновения с турками поднимается, хотя и слабо, славянский вопрос.

**Писатели времен Петра.** Со времени Петра историческое движение России направилось другими путями и вызывало иные интересы и иное внимание иностранцев. После некоторого колебания, выразившегося в выполнении старых задач, каковы походы Азовские и турецкие, Петр дал решительное преобладание движению русской жизни к Балтийскому морю. Этим вызван в Швеции величайший интерес к России, а при этом движении России к Балтийскому морю задача Петра преобразовать Россию по западноевропейскому образцу вызвала к ней особенное внимание и германского мира. Наконец, эта же задача открывала широко двери в Россию всяким иностранцам, давала им здесь прочное и даже

господствующее положение. Понятно, что при таком обороте дел вся Европа обращала на Россию напряженное внимание, особенно германский мир, и внутри России могли составляться сочинения иноземцев с основательным знанием дела. Такие сочинения и должны занять первое место в литературе нашей науки по этому отделу.

**Сочинения служилых в России иноземцев.** Таков дневник русского служилого иноземца *Патрика Гордона* (с 1655 по 1698 г.), особенно богатый подробностями за время Азовских походов, в которых он участвовал.

Таковы письма известного, ближайшего к Петру иноземца *Лефорта*, богатые данными для характеристики лиц, окружавших Петра.

Таково сочинение о России пленного шведа *Страленберга*, долго остававшегося в России. У него важные известия о состоянии Сибири, в которой он жил.

Такова полемика, вызванная враждебными России статьями воспитателя царевича Алексея – немца *Нейгебауера*, которого опровергал по поручению Петра барон *Гюйсен* – новый воспитатель царевича, занявшийся затем сообщением верных известий о России в иностранных журналах.

Таковы записки фельдмаршала Миниха и более важные – адъютанта его Маштейна, доведенные до 1744 г.

**Сочинения иноземных послов.** За служилыми русскими иноземцами следуют сочинения членов иностранных посольств, которые должны были напрягать нередко все силы к изучению России, входившей более и более в систему европейских держав.

Таковы, кроме записок известного нам Корба, записки тайного французского агента в Москве *Навиля* в 1689 г., у которого мы находим любопытные известия о правительстве времени царевны Софии, и, между прочим, о Василии Голицыне, который, по свидетельству этого писателя, был необыкновенно образован и задумывал освобождение крестьян от крепостной зависимости.

Брауншвейгский резидент *Вебер* (1714–1720) дает нам богатую картину внутренних преобразований Петра.

Гольштинский министр *Бассевич*, и особенно гольштинский камергер *Беркгольц*, долго пребывавший в России, оставили драгоценные записки о России того времени. Дневник Беркгольца особенно дорог тем, что в нем описана обыденная русская жизнь того времени.

Записки испанского посла герцога *Лирии* (Временник Петра II), донесения английского резидента *Рондо* и письма его жены; депеши французского посланника *Шетарди*, игравшего немаловажную роль при Елизавете, записки *Фридриха II* имеют большое значение как сочинения ... современников, которые старались не только много знать, но и понять смысл узнанного. Наконец, многочисленные иноземцы занялись изучением русской истории и писали целые системы, например «История России» *Рульера*, *Левека*, *Леклерка* и множество исследований отдельных эпох.

С сочинениями иноземных писателей о России любопытно сопоставить однородные с ними описания чужих земель русскими людьми, например «Путешествие игумена Даниила в Святую землю», «Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград», указанное нами «Путешествие Афанасия тверитина в Индию», «Путешествие свящ. Иоанна Лукьянова во Святую землю»<sup>142</sup>. В сочинениях этих русских путешественников всякий может увидеть поразительную прямоthu взгляда на вещи и гуманное отношение к чужим людям. Исключения из этого рода сочинений могут представлять «Повесть об осьмом соборе» и «Проскинитарий» *Арсения Суханова*, но и они не чужды вышеуказанных качеств<sup>143</sup>.

### **Издания и исследования иностранных писателей о России.**

1) Извлечения из известий византийских историков, касающихся России, сделаны еще в прошедшем столетии *Штрингером*. 4 т. 1770–1775 гг.

2) В 1825 г. *Языков* издал Собрание путешествий к татарам.

3) В 1841 г. *Старчевский* издал в Берлине Собрание сочинений иностранных писателей XVI в. «*Historiae Ruthenicae Scriptorum exter...*».

4) Археографич. Ком. тоже издала 2 т. писателей Смутного времени (Петрей Буссов – в подлиннике) и в новейшее время 1 т. польских дневников и Сочинения Массы и Гаркмана.

5) Покойный *Устрялов* сделал собрание сочинений важнейших иностранных писателей того же Смутного времени под заглавием «Сказания современников о самозванцах», 2 т.

6) Некоторые иностранные писатели изданы в «Чтениях Московского общ. ист. и древн.». Так, например, там изданы Олеарий, Паерле, Пьерри и др.

7) В 1874 г. редактор (бывший) «Древней и Новой России», а теперь «Историч. Вестника» г. Шубинский предпринял издание иностранных писателей о России XVIII века и издал 2 т., в которых помещены депеши и письма супругов Роандо и записка Миниха.

8) Где и когда изданы иностранные собрания этих писателей – и отдельно каждого из них, – показано в Каталоге Императорской Публичной библиотеки Russica<sup>144</sup>.

Нужно при этом заметить, что в нашей Императорской Публичной библиотеке – богатейшее в мире собрание сочинений иностранных писателей о России. Особенно много потрудился в деле собрания этих сочинений бывший директор этой Библиотеки барон М.А. Корф.

9) Библиографическое обозрение иностранных писателей о России до XVIII века. с изложением содержания некоторых из них сделано *Аделунгом*. Труд его переведен на русский язык и издан в Чтениях Московского общ. истор. и древн. за 1862–1863 гг. и 1 кн. за 1864 г. Там же приложены справочные указатели и, между прочим, Указатель изданий иностранных писателей.

Иностранные писатели были предметом и ученых исследований.

Так, писатели древние до XII века исследованы *Макушевым*<sup>145</sup>. Писатели времени Московского единодержавия исследованы *Ключевским* в его сочинении «Сказания иностранцев о Московском государстве»<sup>146</sup>.

В этой же области изыскания сделаны профессором Е.Е. Замысловским в его исследовании о сочинениях барона Герберштейна<sup>147</sup>. Исследование составляет часть его

обширного труда по этому предмету. Труд входит в область исторической географии, и о нем мы будем говорить в своем месте.

Религиозные воззрения иностранцев на Россию XVI и XVII вв. исследованы в магистерской диссертации бывшего студента С.-Петербургской Духовной Академии Рущинского. Издана она Московским обществом ист. и древн. за 1871 г. и в небольшом числе отдельной брошюрой.

Самое полное обозрение иностранных писателей и самое удобное для справок – это отдел иностранных писателей в «Истории России» профессора К.Н. Бестужева-Рюмина. Иностранные писатели у него расположены в хронологическом порядке с подразделением на группы – то по эпохам нашей истории, то по народностям писателей. По местам указываются выдающиеся черты писателей, помогающие удержать их в памяти. Но, наверное, можно сказать, что только самая счастливая память может удержать это множество имен авторов и их сочинений, какое находится в книге К.Н. Бестужева-Рюмина. Этот его обзор иностранных писателей драгоценен для справок, но не для изучения по нему сочинений иностранных писателей.

Сочинения весьма многих иностранных писателей о России изложены в виде научных исследований отдельных периодов русской истории с уяснением предшествовавших событий или составляют научное изложение всей истории России до их времени, притом истории по преимуществу внутренней.

Таким образом, в этих сочинениях мы имеем опыты научного изложения нашей истории. Но в литературе нашей науки, в которой мы ставим задачу главным образом проследить уяснение научного русского сознания по отношению к своему прошедшему, иностранные сочинения о России не могут иметь значения первых опытов научной обработки нашей истории. На развитие нашего русского научного сознания до новейших времен они не имели никакого влияния по той простой причине, что не были в России известны. Некоторое, слабое исключение могут составлять греческие и польские писатели, немало известные составителям наших хронографов,

особенно Второй и Третьей редакций, а также составителю свода Густынской летописи и, как увидим, составителю Синописа. Знали еще составители хронографов Герберштейна и Павла Иовия. Наконец, влияние западноевропейских писателей, именно шведских, можно усматривать, и то лишь с некоторой вероятностью в сочинении Котошихина, о котором тоже речь будет ниже.

## Глава IV. Первые опыты прагматического изложения событий

Прагматическое изложение событий, кроме указанного нами развития летописной деятельности, вырабатывалось еще следующими путями: народная поэзия не раз озаряла цельным взглядом наше прошедшее, затем порыв отдельного, личного таланта опережал иногда медленное летописное развитие прагматического изложения дела; наконец, государственные нужды заставляли не раз делать такие работы, которые составляли прочные шаги на пути научной обработки нашего предмета.

**Поэтические сказания.** У нас, как и у других народов, первейшее сознание своей исторической жизни выразилось в народных легендах. Легенды эти заметны на первых страницах нашей летописи. Таковы легенда о смерти Олега, о мести древлянам Ольги за смерть Игоря, о посольствах к Владимиру по делу о перемене веры, и много других. Но подобных легенд было гораздо больше, чем их сохранили наши летописи. Множество их сохранила народная память в форме былин. Важнейшие из них собирались и изданы Рыбниковым, братьями Киреевскими и в последнее время – покойным Гильфердингом. Важнейшее исследование о былинах – это сочинение профессора здешнего университета О.Ф. Миллера под заглавием «Илья Муромец», который, как известно, составляет как бы средоточие былинного мира. Кроме научной обработки текста главнейших былин и разъяснения их смысла, исследование О.Ф. Миллера замечательно еще тем, что в нем сопоставлены наши былинные богатыри с западноевропейскими легендарными героями, рыцарями чести. Из этого сравнительного изучения оказывается, что наши былинные богатыри поражают не только громадностью грубых физических сил, но и такими качествами, которые нередко ставят их выше западноевропейских и отчасти проливают свет на древнейшие задачи и явления нашей исторической жизни. Наши былинные богатыри почти неизменно преклоняют свои физические силы,

свою богатырскую удадь перед авторитетом матери. Затем главная задача былинного богатыря – защищать вдов и сирот. Перед этой задачей они подавляют в себе даже чувство личного оскорбления. Но нравственный кодекс наших былинных богатырей еще богаче. Они, несомненно, исполняют народный долг защищать русских людей, Русскую землю от кочевников. Наконец, в былинах есть следы народного протеста против непомерного развития дружинного богатырства, против оторванности от земли. В былине Вольга Святославич возводится в степень высшего богатырства – крестьянин-пахарь<sup>148</sup>.

Древнейшие наши былины, несмотря на то, что в них рассказываются дела киевские, сохранились на севере России, главным образом, в Олонецкой губернии. Покойный Гильфердинг объясняет это тем, что на севере России русский человек не знал крепостного состояния, и потому больше других русских жил старой русской жизнью и верно хранил древнейшие ее заветы.

Давно уже занимает ученых вопрос, сохранились ли следы киевского богатырства в Западной России. Вопрос этот поднят был и на Киевском археологическом съезде, но повел не к уяснению дела, а к одним лишь пререканиям. До сих пор остаются неисследованными следующие слабые признаки существования здесь былинного эпоса. В 40-х годах был обычай печатать особыми выпусками лучшие сочинения и стихи учеников гимназий. В Минской гимназии написано было и затем издано одно стихотворение, которое с первого раза поражает и заставляет думать, что это не творчество ученика гимназии, а народная былинная песня<sup>149</sup>. По наведенным справкам, расспросам эта былинная песня будто бы существует действительно в устах народа в Минской губернии около Несвижа и Слуцка.

В 1868 г. один из наших ученых – Стасов стал отвергать самобытность всех наших былин, выводя их из монгольского, татарского и индийского народного творчества<sup>150</sup>.

Это возбудило большую полемику, в которой главное участие принимал О.Ф. Миллер. В этой полемике уяснено было



действительно шаткое основание г. Стасова. Его исходный пункт – сходство сказок у всех народов. Но от сказок до былин очень далеко.

Былинами в истории можно пользоваться с великой осторожностью. Они важны, как выражение народного сознания касательно нашего прошедшего; многие из них верно изображают направление, задачи того или другого времени; верно иногда изображают историческое значение лиц, например, значение Владимира; но странно было бы искать в былинах исторических фактов. В нашей науке былинам, как и вообще народному творчеству, дают большое значение последователи славянофилов и малороссийские ученые, а отвергают их значение западники.

**Слово о полку Игоря Святославича.** К былинам примыкает известное «Слово о полку Игореве», т. е. о походе на половцев и о плене у них черниговского князя Игоря Святославича в 1185–1186 гг. Оно было найдено в одном Белорусском сборнике или, точнее, в конце одного Хронографа, вскоре затерявшегося, и обнародовано при Екатерине II (1780 г.) известным собирателем русских памятников Мусиным-Пушкиным (обер-прокурором Св. Синода и затем президентом Академии художеств). Потом найдена точная копия погибшей рукописи в бумагах императрицы Екатерины II и издана покойным Пекарским при Академии наук в 1864 г. Лучшее научное издание «Слова о полку Игореве» – профессора Тихонравова, 1866 г.

«Слово о полку Игореве» много раз подвергалось исследованиям<sup>151</sup>. Новейшие его исследования: большое исследование князя Вяземского, сближающее этот памятник с древностями греческими и римскими; исследование Всеволода Миллера, доказывающее книжность «Слова», и доцента Киевского университета Жданова («Киевск. универс. изв.», 1880).

Для нас важнее всего воззрения Автора «Слова о полку Игореве» на русские дела и исторические факты, в нем изложенные. В авторе этого памятника мы видим сильное сознание единства Русской земли и ее бедствий от кочевников.

Автор знает и главную причину, почему эти бедствия продолжаются и даже усиливаются. Это раздоры князей и забвение своего долга. Но и при этом осуждении князей он подобно своим современникам сознает великую воспитательную силу доблестей лучших русских людей и поклоняется этой доблести с глубоким и искренним чувством. Вот некоторые места из этого памятника, которые могут служить подтверждением этого.

«Вступита господина (князя) в злата стремяна за обиду сего времени, – за землю Русскую, за раны Игоревы буюго Святославича. Галичскы Осмосмысле Ярославе! Высоко седиши на своем златокованном столе! Подпер горы Угорскыи своими железными плеки, заступив королеви путь, затворив Дунаю врата... грозы твоя по землям текут, отворяеши Киеву врата... Стреляй господине Кончака, поганого Кощея, за землю Русскую, за раны Игоревы буюго Святославича... А ты буй Романе и Мстиславе! храбрая мысль носит вас, ум на дело: высоко плаваеши на дело в буюести, яко сокол на ветрех ширяся, хотя птицю в буйстве о долети... Ярославе и вси внуци Всеславли! уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи, уже бо высочисте из дедней славы. Вы бо своими крамолами начасте наводити поганя на землю русскую... О, стонати Русской земли, помянувшу првую годину и првых князей»<sup>152</sup>.

«Слово о полку Игореве» имело большое влияние на последующую повествовательную литературу; было, вероятно, немало других подобных слов, вызванных подвигами других наших героев. Следы этих героических слов и подражания им сохранились в наших летописях. Так, например, в Ипатьевской летописи есть место, ясно указывающее на существование особых слов о подвигах Владимира Мономаха и Романа. В этой летописи под 1201 г. говорится, что умер Роман и настал большой мятеж при его малолетних детях. О Романе при этом сначала сказано было несколько похвал, именно, что это приснопамятный самодержец всея Руси, что он одолевал всех поганских языков и мудростью ума ходил по заповедям Божиим. С писателю этого, вероятно, первоначального летописного текста показались, должно быть, недостаточными эти похвалы;

и он вставил между словами летописными о смерти Романа и между словами о мятеже при его малолетних детях следующую поэтическую характеристику Романа и деда его Мономаха, составлявшую, по всей вероятности, отдельное слово или даже два слова, может быть, в более распространенной форме: «устремибоя (Роман) на поганяя, яко лев, сердит же быть яко и рысь и губяше яко и коркодил, и прехожаше землю их, яко и орел, храбор бо бе, яко и тур. Ревноваше бо деду своему Мономаху, погубившему поганяя Измалтяны, рекомыя половци, изглавшю отрока во Обезы за Железные врата. Срчанови же оставило у Дону, рыбою ожившю. Тогда Володимир Мономах пил золотом шеломом Дон и приемшю землю их всю и загнавшю оканьяныя Агаряны. По смерти же Володимере, оставшю у Сырьчана единому гудыцо же Ореви, посла и во Обезы, река: Володимир умерл есть, а воротися брате, пойдя в землю свою; молви же ему моя словеса, пой же ему песни половецкия; оже ти не восхощет, дай ему поухати зелья, именем евшан. Оному же не восхотевшю обратитися, ни послушати, и даст ему зелье; оному же обухавшю и восплакавшю рече: да лучше есть на свой земле костью лечи, нели на чуже славну быти. И приде во свою землю. От него родившюся Концаку, иже снесе Суду, пешь ходя, котел нося на плечеву. (Роману же князю ревновавшю за то, и тщащя погубити иноплемьники. Велику мятежу возставшю в земли Русской, оставшима же ся двема сынома его, един 4 лет, а другой дву лет)» ...

Эти поэтические попытки обнять цельным взглядом выдающиеся события, очертить необыкновенные личности с течением времени повторялись и иногда выражались в большой работе многих лиц. На такую работу вызвало русских людей знаменитейшее в нашей истории событие – битва с татарами в 1380 г. на Куликовом поле. На этом событии сосредоточивалось внимание и спокойных, бесхитростных наших летописцев, и восторженных, поэтических натур самобытных, и подражателей «Слова о полку Игореве», и неутомимых компиляторов.

Первоначальная летописная запись об этом событии, по первым известиям о нем, сделанная на севере России, по всей вероятности, в Белозерской области, помещена в четвертой

Новгородской летописи. В этой записи заключается только описание начала битвы главных сил – первого «сступа» и перечисление главнейших лиц, убитых при этой стычке. Ни о приготовлении к этой битве, ни о последующих моментах битвы автор не знает. Затем эта запись сокращалась и видоизменялась, и эти сокращения и видоизменения помещены в первой Новгородской летописи, в Софийской и Воскресенской.

Кроме того, в первое же время после Куликовской битвы составлено было описание ее, современником и участником в ней брянским воеводой или дружинником Софонием. Произведение это не существует в своем первоначальном виде, но сохранилось две серии переделок этого произведения – одна поэтическая, известная под именем «Задонщины», составляющая явное подражание «Слову о полку Игореве»<sup>153</sup>, другая – в более исторической форме под именем «Поведание и сказание о побоище великого князя Дмитрия Ивановича Донского», или, как в Никоновской летописи (т. 4, с. 86): «Повесть полезна бывшаго чюдеси, егда молитвою таких-то, князь великий Дмитрий Иванович з братом своим... Владимиром Андреевичем и со всеми князи русскими на Дону посрами и прогна Волжския орды гор даго князя Мамая и всю Орду его со всею силою их нечестивою изби».

Повесть эта, как и «Задонщина», изображает уже весь ход войны Донского с Мамаем от начала до конца и представляет эту битву движением всех русских сил на борьбу с татарами. Можно даже заметить, что в наслоениях этих памятников выразилась забота разных русских областей приурочить и себя к этому великому русскому делу. Мало того, у русских людей, занимавшихся разработкой этого события, было желание расширить, так сказать, и вглубь куликовское дело, осмыслить его широкой исторической идеей. Во всех вышеуказанных редакциях сказания о Куликовской битве упущено из вида разъяснение, было ли у русских людей того времени сознание, что они не просто отражают татар, а свергают татарское иго. Этот недочет восполняет одна западнорусская редакция Сказания о Куликовской битве (рукопись Императорской Публичной библиотеки – Сборник из древнехранилища

Погодина). Сказав кратко о завоевании Руси татарами и о том, что они своих «Баскаков албо атаманов то есть старост над Русью постановляли, которые, сидячи в Руси, дань от нея выбирали, суды судили, как хотели розсказовали, от царей теж татарских монастыри русский становлены бывали», автор продолжает: «аж року 5791, (1381 г.), князи русские особливо Семион Иванович и князь Тверский и Дмитрий Иванович Семечин (?) великий князь Владимирский и Московский своим мужеством и храборством татаров до конца побивши досконале зкинули з шии свое ярмо татарское и в першую пришли волность русскую панования». Эта богатая древняя работа по разъяснению борьбы русских с татарами давно уже разбирается научно, но еще ждет новых научных усилий, как это показало разнообразие выводов, высказанных в 1880 г., когда вспоминалась трехсотлетняя годовщина этого события.

Уже одно изучение поэтических особенностей этих сказаний и сличение их с поэтическими образами «Слова о полку Игореве» дает много для понимания чисто исторических вещей. Так, в «Слове о полку Игореве» герои, хотя действуют не без участия сверхъестественных сил, но, строго говоря, предоставляются собственным средствам, оттого их качества, их могущество вырастают нередко до былинных размеров. В сказаниях о Мамаевом побоище все герои, особенно Димитрий Иванович, действуют прежде всего как христиане, как покорные, смиренные орудия Промысла, к которому они постоянно и обращаются за помощью. Таким образом, уже сама эта постановка дела должна была умалять личные достоинства, личную доблесть Донского. Забвение этой постановки дела привело одного из наших историков, Н.И. Костомарова, к грубой ошибке при оценке личности Дмитрия Донского, которого он в одном из своих исследований признал трусом<sup>154</sup>, что вызвало великую бурю, особенно со стороны покойного Погодина, и заставило впоследствии самого Костомарова значительно ослабить эту оценку<sup>155</sup>.

Подобных попыток излагать события прагматически было у нас немало. Таковы сказания: о нашествии Тохтамыша, о

завоевании Казани, о падении Новгорода, Пскова, о разгроме Новгорода Иоанном IV и др.

**Авраамий Палицын.** Но самым выдающимся произведением в этом роде нужно признать Сказание Авраамия Палицына об осаде Троицко-Сергиевского монастыря. Здесь мы уже видим цельное изображение исторического движения русской жизни от начала и до конца Смутного времени; видим в авторе ясное народное сознание и сознание значения для будущего времени его труда; наконец, видим твердые приемы изложения, давно вырабатывавшиеся на Руси, особенно в житиях XVI столетия<sup>156</sup>.

Но кроме этих, совершенно самобытных русских попыток прагматического изложения событий, мы имеем еще ряд таких произведений XVI–XVII вв., в которых уже совершенно ясно видны и научные приемы и отчасти знакомство с научными приемами науки других стран.

**Степенная книга.** Митрополит Киприан – родом серб, человек весьма образованный в смысле греческого образования, задумал внести научный прием в летописное изложение событий. Занятый идеей государственного развития России, он стал излагать наши летописные известия по степеням, т. е. по поколениям великих князей, причем боковые линии князей и их дела отступали на задний план. Этот прием встретил... сочувствие, поэтому Степенную книгу Киприана продолжил в XVI столетии митрополит Макарий, причем прием Киприана расширен: внесены жития важнейших лиц. После Макария Степенную книгу по его приемам продолжили Митрополит Афанасий (1565–1568 гг.) и другие неизвестные лица. В иных списках она доведена до 1650 г.<sup>157</sup>

**Сочинение А. Курбского.** Большое русское образование, дополненное влиянием Максима Грека, а затем знакомство как с западнорусскими, так и с польскими, выработали нового писателя о русских делах в лице князя Андрея Курбского, известного беглеца в Литовско-Польское государство от неистовств Иоанна IV (1563 г.).

Попав в Западную Россию в разгар религиозной борьбы, когда Православие напрягало силы, чтобы охранить себя и от

латинства, и от протестантства, когда лучшие западнорусские люди и во главе их князь Константин Константинович Острожский поднимали в этой борьбе знамя Православной науки, Курбский принял участие в этой борьбе, строго относясь даже к ревнителям Православия. Памятниками его участия в этой борьбе остались его письма к разным лицам в Западной России по делам веры, история Флорентийского собора и перевод нескольких глав из творений Иоанна Златоуста и Евсевия.

Но сильный дух Курбского не удовлетворялся этой одной деятельностью. Он рвался к своему родному Востоку, которому изменил и против которого позволил себе даже позорнейшее дело – поднимал оружие вместе с поляками. Томимый тоской и потребностью оправдаться, он вступил в раздражительную переписку со своим тираном Иоанном IV. Но не довольствуясь и этим, он взялся за более спокойное и важное дело – написал «Историю Иоанна IV». Личные чувства автора к описываемому лицу, конечно, не располагали его к беспристрастию; но, к счастью, Курбский сознавал и не мог не сознавать, что пишет перед глазами современников, которым известны все важнейшие события, им рассказываемые. Кроме того, Курбский так расширил свою программу, что Иоанн в ней занимал только видное, но не существенное место. Он решился изобразить ложную, по его мнению, систему Московского единодержавия, поэтому касается времен предшествовавших и сообщает драгоценные известия о делах Василия Иоанновича.

Иные исследователи и даже покойный Соловьев обвиняют Курбского в том, что он отвергал самодержавие и желал бы поворотить Россию к удельному порядку; но это обвинение совершенно несправедливо, Курбского можно обвинять разве за тщеславие своим княжеским происхождением и, может быть, за некоторое увлечение значением литовско-польской знати. Что же касается самодержавия, то, напротив, Курбский его изображает в таком светлом виде, как немногие изображают его и теперь. По его мнению, самодержец должен окружать себя лучшими людьми и пользоваться их советами. За удаление от этих людей и за приближение к себе дурных людей,

«ласкателей», Курбский осуждает и Иоанна, и его предшественников. Известно, что Курбский принадлежал к партии Сильвестра и Адашева, которых невозможно заподозрить в подрыве самодержавия, если верить делам их, а не обвинениям Иоанна. Курбский остался верен этим своим вождям даже по самому щекотливому для него вопросу – о Земском соборе. Постоянно говоря о лучших, нравственных людях, о важности для царя привязывать их к себе и совещаться с ними, он, однако, не решался замкнуться в этом, хотя и лучше, но все-таки ограниченном кругу. Он допускал, что в важных случаях нужно обращаться к всенародному собранию, т. е. этот, по-видимому, гордый аристократ признавал не только самодержавие, но и значение Земских соборов или, что то же, признавал живую связь царя с народом.

Поэтому можно судить, как важно сочинение Курбского об Иоанне IV и как не научно исследование С. Горского о князе Курбском, в котором от начала до конца обвиняется Курбский и оправдывается Иоанн I<sup>158</sup>.

Сочинение Курбского изложено с замечательной логичностью, связностью. Он знаком был с учеными книгами, и даже на внешнем изложении его отразилось влияние книг, какие он в своем вольном изгнании находил под руками, т. е. влияние книжного западнорусского языка и даже польского<sup>159</sup>.

**Котошихин.** Наконец, мы имеем сочинение XVII в., которое находится еще в большей связи с иностранными сочинениями. Это сочинение другого беглеца из России, подьячего Посольского приказа Котошихина, который, бежав при Алексее Михайловиче в Швецию, написал там сочинение о России<sup>160</sup>, найденное сперва в 1837 г. в шведском переводе в Стокгольмском государственном архиве, а затем в следующем, 1838 г. – в библиотеке Упсальского университета в русском подлиннике. Издано оно уже в двух изданиях Археографической комиссией<sup>161</sup>.

В этом сочинении высказалось явное подражание иностранным писателям о России, или, точнее сказать, изложено то, что прежде всего нужно было знать о России



иностранцам, т. е. обыденный уклад русской государственной жизни – учреждения, сословия, порядок ведения дел<sup>162</sup>.

Сочинение Котошихина излагает сведения, например, о том, как царь пишет к которому потентату, о царском роде, о царских чиновных людях, титлах, послах, гонцах, дворцах, приказах, землях, подчиненных Московскому государству, о воинских сборах, торговле, житии бояр.

Это описание установившегося строя русской жизни тем особенно важно, что, как мы уже говорили, русские исторические свидетели этим делом мало занимались, а иностранцы многого не знали и не понимали. Описание русского человека, да еще служилого, дьяка, восполняет и поправляет недочеты вышеуказанных писателей. Есть в этом сочинении важные вещи и из политической истории, как, например, об ограничительных условиях власти Михаила Федоровича. К сожалению, и этот писатель, даже еще более Курбского, настроен был дурно относиться к своему отечеству. Он изменял ему еще в то время, когда состоял на службе в Москве. Это весьма важно знать при оценке достоверности повествования о России Котошихина.

**Домострой Сильвестра.** К разряду русских сочинений, изображающих обыденный строй жизни, но еще с более внутренней стороны, принадлежит и другое, более раннее сочинение. Это известный Домострой Сильвестра, первейшего советника Иоанна IV в лучшие времена его царствования и образованнейшего человека своего времени, знакомившегося и с иностранными сочинениями. По глубоко въевшемуся в наше общество отчуждению от нашей старой жизни и непониманию ее, Домострой Сильвестра позорится перед каждым поколением учащихся, как кодекс жестоких, позорных правил и порядков жизни и таким образом еще более закрепляется и это отчуждение, и это непонимание. К сожалению, дурное мнение о Домострое Сильвестра находит... подкрепление и в науке русской истории, между прочим, и в «Истории» Соловьева, по мнению которого, материальная польза, выгода лежат в основе воззрений Домостроя.

В настоящее время даже это мнение Соловьева не может выдержать научной критики, а тем более мнение о жестокости правил Сильвестра. Теперь уже известно, что Домострой вырабатывался у нас веками, и Сильвестр дал ему только свою редакцию. Как в жизни восточнорусского человека, так и в Домострое сказалась домовитость, практицизм. Сказалась в нем и суровость восточнорусской жизни, выразившаяся особенно в отношениях отца к сыну – в сокрушении отцом ребер сына по слову Иисуса сына Сирахова. Но чтобы понять эту суровость, нужно знать смысл нашего старого учреждения – местничества, вспомнить, какое значение у нас в московские времена имел род, какая была страшная ответственность каждого за честь рода – ответственность не только общественная, но и перед государством, которое за преступление одного члена казнило всю семью и даже весь род. При таком порядке вещей власть старшего, власть главы семейства должна была быть вооружена сильными средствами, и если Сильвестр эти средства берет только у Иисуса сына Сирахова, то это скорее может показывать его старание заслонить тяжелое дело сильным авторитетом, а не его личное жестокосердие. Что Сильвестр действительно стоял на пути лучше устроить дела, что он сознавал это лучшее и нередко поднимался высоко над воззрениями современного ему общества, это видно не только из его наставления бить жену легонько, безвредно и не при людях, что при тогдашнем обычае бить всех сверху до низу и при тогдашней наклонности особенно нещадно бить слабого значило слишком много<sup>163</sup>; но особенно ясно видно из того, что, по тому же Домострою, Сильвестр отпустил на волю всех своих рабов, и они у него жили по собственной воле, как свободные люди<sup>164</sup>.

Одна эта особенность Домостроя, несомненно, принадлежащая Сильвестру, достаточна для того, чтобы относиться к этому памятнику с великим вниманием и судить о воззрениях его автора или точнее редактора с великой осторожностью<sup>165</sup>.

**Справочный материал в нашей старой литературе.** По мере того, как умножались частные попытки прагматического

изложения событий нашего прошедшего, в нашей русской государственной среде более и более накапливался богатый справочный материал, необходимый для научного изложения исторических событий.

Мы видели, как уже в наших летописях чаще и чаще попадаются справочные вещи в виде каталогов иерархических, списков государей своих и чужих. В XVII в., когда в Москве сильно развились приказы и забирали в свой круг более и более дела России, потребность в справочных вещах еще более усилилась. Естественно явившиеся при этом справки с прежними делами и описи дел составляли важное пособие для будущих исторических трудов. Благодаря приказной помете на обороте грамоты Митрополита Кирилла в Новгород, по поводу распри новгородцев с князем Ярославом Ярославичем в 1720 г. мы узнаем факт необыкновенной важности, что новгородцы уже тогда признавали участие татар в избрании их князя<sup>166</sup>. Или: благодаря одной приказной справке мы узнаем, что уже при Алексее Михайловиче был перевод крепостных крестьян с их земли<sup>167</sup>. Еще более широкое значение имели известные уже нам писцовые книги, а также дела и записи Поместного приказа, местнические дела, разряды, выходы государей, родословные книги<sup>168</sup>. Наша допетровская Русь имела и большой географический труд – так называемую «Книгу Большого чертежа», при которой был и сам Чертеж, который в 1627 г. был сделан вновь. Это был своего рода почтовый дорожник и почтовая карта при нем – весьма нужные для государства справочные издания при посылке чиновных лиц<sup>169</sup>. Чертеж затерялся, а «Книга» этого Чертежа сохранилась и издана в 1846 г. Спасским. В Географическом обществе был поднят вопрос о восстановлении Большого чертежа по «Книге» его; назначена была даже премия; но первый опыт, сделанный Куклинским, показал, что это дело более трудное и требует больших предварительных исследований. Исследованиями этими и занялся член Географического общества Огородников и исследовал уже большую часть севера России. Исследования его печатаются Географическим обществом.

Подобные описания и чертежи к ним составлялись в XVII в. и касательно Сибирской страны, возобновлявшиеся и пополнявшиеся несколько раз. Замечательную работу в этом роде представляет «Чертежная книга Сибирской земли», составленная тобольским боярским сыном Семеном Ремезовым (окончена в 1701 г.) и изданная Археографической комиссией в 1882 г. К сожалению, в Предисловии Археографической комиссии определяется значение этой «Книги» словами академика Миддендорфа, в которых почтенный академик выставляет на вид собственно несовершенства ее по математической географии и недостаточно ясно видит достоинства ее, составляющие поистине славу русских колонизаторов и чиновных людей, совокупными трудами которых в этой книге и на самых чертежах собраны богатейшие данные для топографии, флоры, особенно фауны, этнографии и торговли, и не только в Сибирской стране, но и в Великой Перми, и в Прикаспийской стране; так что в труде Ремезова мы имеем, вероятно, и частицу утраченного Большого чертежа. Указания на эти опыты сделаны в Предисловии к «Чертежной книге» Ремезова, и из самой этой «Книги» видно, что материал ее собирался много лет.

Московский посольский приказ тоже посчитал необходимым для своих целей сделать свод нужных сведений, и свод этот еще ближе примыкает к научной обработке... Известный Матвеев при содействии дьяков составил: «Государственную большую книгу, описание великих князей и царей российских, откуда корень их государей изыде и которые великие князи и цари, с великимиж государы окрестными с христианскими и мусульманскими были в ссылках и как великих государей именованья и титулы писаны к ним; да в той же книге писаны великих князей и царей и вселенских и московских патриархов и Римскаго папы и окрестных государей всех персоны и гербы». Хранится в Моск. арх. иностран. дел.

Кроме дел Посольского приказа для этой «Книги» давно подготавливался материал в нашей древней исторической литературе. Еще в некоторых летописях мы находим списки окрестных государей. В хронографах, особенно составленных в

XVII веке, сообщаются уже не списки, а исторические отрывки о разных государствах, особенно Болгарском, Сербском, Чешском, Польском, Литовском.

Весь этот материал, естественно, вызывал желание составить и свою «Русскую историю» в связном, научно обработанном виде. Из хронографов же видно, что такое желание действительно было. Оно выразилось и в нескольких отдельных опытах.

**История Грибоедова.** Во второй половине XVII века, при том же Алексее Михайловиче, в приказной среде явилась мысль написать и историю России. За это взялся дьяк Разрядного приказа Феодор Грибоедов и написал сочинение под заглавием «История сиречь повесть или сказание вкратце о благочестно державствующих и свято поживших боговенчаных царях и великих князьях, иже в российстей земли богоугодно державствующих, наченьши от святого и равноапостольнаго князя Владимира Святославича...». Сочинение написано в 1669 г. Рассказ сначала доведен был до объявления наследником Алексея Алексеевича, а впоследствии продолжен до вступления на престол Феодора Алексеевича.

Сочинение Грибоедова удостоилось особого внимания. Книга его взята была наверх, т. е. к царю (Алексею Михайловичу), и автор получил за нее награду: 40 соболей, да в приказе 8 р. денег, атлас, камку, да придачи к поместному окладу 8 четей 10 руб.<sup>170</sup> Внимание выразилось и со стороны русского общества тем, что книга Грибоедова переписывалась и сохранилась в нескольких списках. Но от потомства Грибоедов не может получить никакой похвалы. Его история – одно напыщенное восхваление с пропуском всего, что не подходит под эту задачу. С.М. Соловьев читал эту «Историю»<sup>171</sup> и привел несколько образцов исторического рассказа Грибоедова. Вот один из них – характеристика Иоанна IV и его времени: «Житие благочестно имея и ревностию по Бозе присно препоясуясь и благонадежныя победы мужеством окрестныя многонародныя царства прият, Казань и Астрахань и Сибирскую землю. И тако Российския земли держава пространством разливашеся, а

народи ея веселием ликоваху и победныя хвалы Богу возсылаху»<sup>172</sup>.

Впрочем, ниже мы увидим, что требования и современников этого труда были выше не только его, но и нижеследующего, несравненно более научного труда.

Весьма вероятно, что этот жалкий плод приказной среды, созревший среди неисчерпаемых сокровищ исторического знания, пошел бы в ход и явился бы в печати, как первый русский исторический опыт; но он был задавлен и отстранен другим трудом, вышедшим из совершенно другой... – из ученой киевской среды, спустя пять лет после появления «Истории» Грибоедова. Это так называемый Синописис, приписываемый *Иннокентию Гизелю*, киево-печерскому архимандриту, изданный в первый раз в 1674 г.

Любовь к истории давно развивалась в Западной Руси или просто Руси, как ее в старину звали. В древнем Русском государственном средоточии довольно много совершено великих дел и явилось немало великих людей, чтобы народная память могла не обращаться к этим делам и людям. Мы видели, что достойная дань южнорусскому прошедшему воздана была еще в Ипатьевской летописи, выдающейся из ряда других летописей особенным вниманием и сердечным отношением к проявлениям народного русского духа. Времена после татарского нашествия – времена оторванности от Восточной России, еще более изощряли эту память, потому что все лучшее, чем могла жить Западная Русь под властью Литвы, а затем Польши, было в ее старом прошедшем.

Как велика была здесь любовь к своему старому прошедшему, это яснее всего можно видеть из следующего случая. Когда Хмельницкий в 1648 г. призывал западнорусский народ восстать против поляков, он в своем «Универсале» счел нужным вспомнить и о самых древних русских временах – временах савро-матов и руссов, славных и в Азии, о том, как поляки, составлявшие с ними едино, отделились, забрались за Вислу к Одру, наделали много разбойнических бед другим народам и как, повернувшись назад, захватили незаконно русские области. А если обратить внимание на то, что этот

«Универсал» имеет немало вариантов, то станет очевидным, что не один какой-либо книжник прихотливо заговорил с народом о русских древностях, а многие книжники старались удовлетворить потребности народа перенестись к своему родному прошедшему и воодушевиться доблестью его лучших представителей.

К сожалению, эта потребность знать свое прошедшее сильно затруднялась постепенным оскудением в Западной России русских исторических памятников и наплывом польских летописных известий. С другой стороны, иезуитская система образования, которой стали подражать в Киевской Академии и за ней в других западнорусских школах, пренебрегала историческим знанием. Но, несмотря на все эти препятствия, потребность в Западной России знать свою историю нашла себе выход.

Такие крупные события, как хитрое, насильственное соединение Западной России с Польшей в 1596 г. или так называемая Уния Литвы с Польшей, затем Церковная уния 1596 г. и, наконец, народное движение против Польши, завершившееся присоединением Малороссии к Восточной России и малороссийской войной, способны были преодолеть все преграды – оскудение русских исторических источников, наплыв польской исторической литературы и даже подавляющее влияние иезуитской школьной системы.

В XVI и XVII столетиях в Западной России многие книжники занимались Ипатьевской летописью, видоизменяли ее, продолжали и обставляли известиями из польских хроникеров.

В 1670 г. переработка Ипатьевской летописи завершилась составлением Летописного свода, известного под именем Густынской летописи, в которой везде показаны на полях сличения и дополнения текста Ипатьевской летописи с польскими хроникерами – Длугошем, Вельским, Стрыйковским, Кромером. С какими мыслями и чувствами обращались к своему делу эти книжники, яснее всего можно видеть из замечательного Предисловия к Густынской летописи, составленного писателем ее – иеромонахом Михаилом Лосицким. «Прирождона есть, говорит Лосицкий, якась хуть и

милость (любовь) противко отчизне своей жадному (каждому) человеку, которая кожного не иначе едно яко магнес (магнит) железо так до себе потягает, що оный поэта грецкий Гомерус ясне до их в своем тексте выразил, же ни о що недбаючи кгда был от родства своего отдаленый през (чрез) поиманье и юж (уж) ся вернути не могл, прагнул (желал) видети навет (даже, хотя бы) дым своей отчизны. Так и сие (сии) авторове крайники (хроники, летописи) сей российское любо (хотя) были людми смертелными (смертными) и знали запевне (наверное), же смертью закочити (закончить) мусят (должны), прирочною милостию противко отчизны своей зняты будучи, прагнули того, абы и по их зейстю (кончине) последнему роду не были прошлые речи (дела, события), а мяносите народови российскому скритые...»<sup>173</sup>.

Этим же делом и, вероятно, в связи с ним стал тогда же заниматься учитель Киевской Академии и затем игумен киевского Михайловского монастыря Феодосии Сафонович, который в 1672 г. окончил сочинение под заглавием «Хроники з летописцев стародавних, з святого Нестора печерскаго и инших, также з хроник польских о Руси, отколь Русь почалася, и о первых князех русских и по них далыдих наступующих князех и о их делах».

**Сафонович** тоже был проникнут великой любовью к Родине. В Предисловии к своему труду он говорит: «С Руси уродившися в вере православной, за слушную речь почиталем (считал), абы ведал сам и иншим русским сыном сказал отколь Русь почалася и як панство (государство) русское за початку (сначала – *И.К.* – Примеч. ред.) ставши до сего часу идет. Каждому бовем (ибо. – *И.К.* – Примеч. ред.)) потребная есть речь (вещь) о своей отчизне знати и иншим пытающим сказати, бо своего роду не знающих людей за глупых почитают. Що теды из розных летописцев русских и хроник польских вычитал, тое пишу»<sup>174</sup>.

Сафонович имел в виду удовлетворить народную потребность знать свою историю и потому изложил свой рассказ на тогдашнем языке западнорусских книжных людей. В основе его рассказа лежит, как и в Густынской летописи, летопись



Ипатьевская, но он не только обставляет ее польскими известиями, а приводит все в научную систему. Доводит он свой рассказ до конца XIII века, т. е. до того времени, каким оканчивается Ипатьевская летопись.

В разных списках этой летописи есть много прибавочных статей. С большей вероятностью можно заключать, что автору «Хроники» принадлежат те прибавочные статьи, которые находятся в списке Толстовском как материал для дальнейшей работы, например о Мамаевом побоище, разделении митрополии и позднейшей судьбе Киева.

«Хроника» Сафоновича и приложенные к ней материалы подверглись в первые же годы после ее окончания весьма важной переработке в Киеве же. Неизвестно, однако, сам ли бывший тогда ректор Киевской Академии и затем киево-печерский архимандрит Иннокентий Гизель занялся этим делом, или под его наблюдением исполнили это другие. Западнорусский книжный, язык «Хроники» Сафоновича заменен общерусским, ближе подходящим к церковнославянскому. Таким образом, «Хронике» этой придан общерусский характер. Затем в «Хронику» внесено немало новых научных исследований и прибавлений, и все это издано под новым названием – Синописис.

Синописис включает в себе обширнейшее исследование о происхождении славян, где, между прочим, помещена и басня о происхождении славян от библейского Мосоха, для более удобного объяснения Москвы, москалей и, очевидно, для большей славы их. Затем главное внимание автора сосредоточивается на Киеве, о происхождении которого он тоже много распространяется. Собственно систематическая история в Синописисе заканчивается нашествием татар или первым временем татарского ига, после чего автор переходит к описанию Куликовской битвы и сообщает список князей северных и южных. Далее, он обращается опять к истории Киева и описывает состояние его под властью татар и Литвы. Так как с этим временем совпадает Смута из-за разделения Русской митрополии на Восточнорусскую и Западнорусскую, то автор излагает историю и церковных дел того времени, именно,

перенесение митрополии на северо-восток России, разделение ее и учреждение патриаршества. Наконец, он опять излагает историю Киева при Алексее Михайловиче, т.е. возвращение Киева под власть России и начало войны с турками из-за Малороссии.

В позднейших изданиях продолжена история Киева при Феодоре Алексеевиче, т. е. собственно продолжена история Турецкой войны, и прибавлены: Краткое описание русских княжеств, Каталог иерархический, списки чиновных малороссийских людей, списки князей московских, королей польских, татарских владетелей. Синописис в первый раз издан, как мы уже заметили, в 1674 г., а затем издавался много раз – до 30. Последнее издание сделано в 1836 г.

В материальной своей части Синописис поражает своей зависимостью от польских хроникеров, которых он и указывает подобно автору Густынской летописи; но по направлению – это тоже чисто русская, патриотическая книга. В ней нет такого искажения фактов и такой напыщенности, как у Грибоедова, но слава и честь России были очень дороги и для авторов Синописиса, и они их защищали с таким же усердием, как Грибоедов, но несравненно с бóльшим благоразумием и научностью, чем и объясняется то, что Синописис совсем заслонил «Историю» Грибоедова и стал надолго учебной книгой русской истории.

Есть основание думать, что еще до Петра требования русских иметь «Историю» своей страны шли гораздо дальше и «Истории» Грибоедова, и Синописиса. В одной рукописи Императорской Публичной библиотеки<sup>175</sup> сохранились материалы для «Истории России», весьма широко задуманной. В Предисловии к этим материалам говорится, что составление этой «Истории» предпринято по повелению царя Феодора Алексеевича, высказывается сожаление, что у нас нет печатной «Истории», и излагаются весьма основательные понятия об истории, ее связности, правдивости и т. п.

Составитель этих материалов знал и «Историю» Грибоедова, из которой он приводит указанное заглавие, и Синописис, из которого он приводит статью о Мосохе, называя

Синописис сокращенным Киевским летописцем, т. е. переводя по-русски это греческое название. К сожалению, вместо связной, стройной, хорошо им понимаемой истории он составил сборник отрывочных и чужих статей из польских хроник Стрыйковского и Кромера, из Синописиса, Степенной книги, внес Сказание о взятии Царьграда, о Флорентийском соборе и древние летописные известия со времени плена у татар Василия Темного до смерти Феодора Ивановича.

По этим отрывкам можно догадываться, что собирателя этих материалов занимали две задачи: во-первых, побольше раскрыть древнейшие времена русской жизни до призвания князей и, во-вторых, пополнить Синописис событиями из истории Восточной России. Последняя задача, как увидим, занимала и в Петровские времена. Неизвестные обстоятельства остановили работу автора Предисловия на этих материалах или кто-либо другой подобрал к этому Предисловию материалы, далеко не отвечающие задачам, выставленным в нем.

Таким образом, еще задолго до Петровских преобразований у нас самобытно вырабатывались приемы научного изложения истории и выразились даже в таком талантливом сочинении, как «Истории Иоанна IV» Курбского, в таком, отвечающем потребностям времени, систематическом изложении истории, как киевский Синописис, и даже в таком широком замысле написать прагматическую историю, какое высказано в Предисловии к «Истории» по предначертанию царя Феодора Алексеевича.

## Глава V. Время Петровское

Время Петровское, связанное в основном с разрывом с прошедшим, провело это начало и в область изучения истории России. По-видимому, и в этой области все старое должно... быть брошено, и... начаться новое. Так смотрят у нас многие, и даже такой серьезный ученый, как профессор Бестужев-Рюмин в своем курсе «Истории» ведет научную разработку русской истории только со времени Петра и даже отцом русской истории признает иноземца ближайших послепетровских времен, известного уже нам Миллера – академика и русского историографа.

В действительности было иначе. С Петровских времен мы видим два направления в разработке русской истории. Старое направление упорно и долго продолжается, и для него Синописис служит руководящим трудом. Новое направление поражает сначала совершенной безжизненностью, а затем неестественным направлением в область отдаленных, малоплодных исследований о призвании князей, исследований, приносивших одну пользу – ознакомление с общими научными приемами науки. Наконец, оба эти направления иногда объединялись, и сила русского чувства и русского таланта выражалась в ... исторических трудах, в которых совмещались и русское понимание дела, и западноевропейская научность.

Разрыв Петра с прошедшим был великим ударом и для изучения русской истории, и последствий этого удара не мог исправить даже гений нашего Преобразователя.

**Заботы Петра о составлении «Русской истории».** Дьяк времен Алексея Михайловича Грибоедов, как видно по всему, сам взялся за посильное составление «Русской истории» и сам нашел для нее материалы. Дьяк времен Петра – синодальный справщик Поликарпов получил в 1708 г. приказ взяться за такой же труд, получил громадные средства для этого – собранные тогда летописи; получил даже указку – исправить и дополнить киевский Синописис; но из всего этого не вышло «Русской истории», несмотря на несомненную даровитость и трудолюбие

Поликарпова. Что-то составленное Поликарповым признано было неблагоугодным<sup>176</sup>.

Петр затем сузил задачу, – желал иметь просто Краткую сводную летопись. Но и эта скромная задача плохо давалась. В 1719 г. в Канцелярии Головкина составлено было извлечение из Степенной книги; но оставлено без внимания<sup>177</sup>. Взялся поправить дело известный Феофан Прокопович и в 1720 г. издал «Родословную роспись князей и царей». Но вышла эта «Роспись» не лучше вышеуказанного канцелярского труда. О ней метко и совершенно справедливо заметил черниговский архиепископ Филарет: «Родословная роспись князей и царей. – Сибирь, 1720, по отзыву сочинителя, стоившая ему многих трудов, сама по себе ничего не стоит»<sup>178</sup>.

В 1722 г. Петр поручил обер-прокурору Скорнякову-Писареву сочинить Книгу–летописец, вероятно, тоже Сводную летопись, но и из этого поручения ничего не вышло<sup>179</sup>.

**Манкиев.** И тем печальнее была эта новая неудача, что в то время уже существовал новый труд по русской истории, даже согласный с теми требованиями, какие предъявлял Петр Поликарпову, – труд, даже посвященный Петру; но нет основания думать, чтобы он состоял в какой-либо прямой связи с заботами Петра о русской истории<sup>180</sup>. Напротив, есть основание думать, что он явился по частному, личному почину и, несомненно, находился в тесной связи со старой русской исторической работой, именно с Синописом. Это сочинение под заглавием «Ядро российской истории»... приписывается русскому послу в Швеции князю Хилкову, но в действительности составлено его секретарем Манкиевым или Манкеевым. В 1715 г. труд этот уже был окончен<sup>181</sup>.

Манкиев, как это и признано, несомненно, был малоросс, и еще более, чем авторы Синописа, чувствовал потребность искать... отраду в прошедших судьбах Родины. Он вместе с Хилковым был в плену в Швеции во время Северной войны. В этом томительном уединении он занялся исправлением и дополнением киевского Синописа. Манкиев старался снять наложение в Синописе польских известий и заменить их русскими летописными. Кроме того, он выдвинул историю

Московского единодержавия, т. е. продолжил прагматическое изложение Синописа после татарского нашествия и довел свою «Историю» по одним спискам до 1670 г., по другим и в печатном издании – до 1712 г. Все эти исправления и дополнения автор выполнил с замечательным знанием русских летописей, и если бы это сочинение сделалось известным вовремя, то, без всякого сомнения, оно вытеснило бы Синопис и содействовало бы более быстрому развитию нашей науки. Но над ним, как и над другими русскими трудами, тяготело иноземное разумение нужд России. Сочинение Манкиева издано было только в 1770 г.

**Труды Байера.** Русской историей, как всей русской жизнью, более и более овладевали иноземцы. В начертанной Петром, но открытой после его смерти Академии наук двигателем исследований минувших судеб России поставлен был немец Байер – человек великой западноевропейской учености, но совершенный невежда в области русской исторической письменности, не ознакомившийся даже с русским языком.

При таких условиях ученому историографу можно было работать только в области глубочайших русских древностей или, точнее сказать... древностей северных народов. Только в этой области могла найти себе приложение громадная эрудиция ученого немца. Байер действительно и немало сделал в этой области. Так, он написал исследование о древней географии России и соседних стран из сочинений северных писателей; о географии Константина Багрянородного; о начатке и древних пребывалищах скифов и, наконец, знаменитое сочинение о призвании князей, т. е. о происхождении русской государственности и русской культуры из норманнского, т. е. германского мира<sup>182</sup>.

Этот результат научных исследований отвечал основному плану Петровских преобразований; но он был еще более результатом немецких национальных вождедений касательно России. Что же касается научности этого результата, то, как увидим ниже, ее здесь было меньше всего при всем богатстве ученых приемов Байера. Результат этот был даже крайне

вреден науке русской истории, потому что авторитетно отрезал путь к изучению того же предмета с русской точки зрения.

**Труды Миллера.** Преемником Байера по исследованию русского прошедшего и последователем его норманнской теории был другой немец – известный нам Миллер; но он был менее горд в своем немецком сознании, более податлив на обрусение, поэтому практичнее понимал свою задачу и гораздо больше принес пользы русской науке, несмотря на меньшую свою даровитость и гораздо меньшую ученость.

Миллер усердно изучал русский язык (хотя это и далось ему не с большим успехом), поэтому он мог легче войти в область русской письменности. Волей и неволей исполняя свое назначение содействовать распространению знаний по русской истории, он стал писать статьи по русской истории сначала для немцев и издавал на немецком языке Сборник русской истории, а затем стал писать и для русских и издавал русский журнал под заглавием «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих».

Занявшись историей Сибири, Миллер, как мы уже знаем, вошел в богатую область актов, в которой оставался и до конца дней своих. Большая часть этих трудов требовала содействия русских сил. Миллер пользовался ими и этим тоже исполнял свое назначение в Академии наук и в русском обществе.

Ниже мы увидим, что заставило Миллера вступить решительно на этот путь, и как он еще больше оказался русским деятелем и издавал «Русские памятники и русские исторические сочинения».

**Татищев.** Миллер всегда у нас будет вспоминаться с уважением, как неутомимый труженик в области русской истории, но это не был отец русской истории, как его назвал К.Н. Бестужев-Рюмин. Отцом русской истории, если его нужно отыскать непременно, был другой человек с несомненными признаками богатырских сил и богатырских замыслов – известный Татищев. В нем совместились и старое, и новое направление в изучении нашего прошедшего, и он первый поставил такие широкие задачи для истории России, до каких не

додумывался ни один наш ученый иноземец прошедшего столетия, исключая самого Шлецера.

В высшей степени замечателен... путь, каким Татищев шел к уразумению научных задач русской истории.

Питомец и страстный последователь Петра, гордый знанием и воззрениями западноевропейскими, он постепенно смирялся и проникался русским духом, и по мере этого все больше и больше изучал родное прошедшее.

О Татищеве написано много. Покойный Соловьев написал о нем исследование, помещенное в Архиве Н.В. Калачова<sup>183</sup>. В 1861 г. Нил Попов издал о нем объемистую книгу под заглавием «Татищев и его время»<sup>184</sup>. Дополнительные бумаги проектов Татищева изданы при Академии наук покойным Пекарским<sup>185</sup>. В 1875 г. К.Н. Бестужев-Рюмин напечатал в «Древней и Новой России» большое исследование о Татищеве<sup>186</sup>. Наконец, в прошедшем (1883) году академик А.А. Куник составил перечень сочинений Татищева и материалов для его биографии, изданный в «Записках Академии наук»<sup>187</sup>.

В.Н. Татищев родился в 1686 г. и в 1704 г. поступил на военную службу артиллеристом. Назначенный заниматься горным делом, он несколько раз был послан за границу, в 1714 и 1717 г. – в Германию, а с 1723 по 1726 г. – в Швецию и Голландию, главным образом, для отыскания и найма мастеров горного дела. Горное дело давало ему специальное знание монетного дела, и в 1727 г. он был назначен управлять монетным делом в Москве. Но то же горное дело доставило ему специальные знания и по другой части. Занятия горным делом на Урале доставили ему средство к изучению дел наших восточных инородцев; и он два раза был важным административным лицом на юго-восточной нашей окраине – с 1734 по 1737 г. управлял башкирскими и калмыцкими делами, а с 1741 по 1744 г. был астраханским губернатором. С 1745 г. и до самой смерти в 1750 г. он жил в своем подмосковном имении – с. Болдине.

На всех местах своего служения Татищев неизменно попадал под суд. Под судом он прожил и последние годы своей жизни. Был оправдан перед самой смертью. Причинами такой



превратности в жизни Татищева были: его странный взгляд, который он прямо высказал Петру, что дурно брать взятки, но не дурно принимать благодарность за особые, усиленные труды в пользу правого дела; его крайне неуживчивый характер, который постоянно затрагивал чужие самолюбия и производил тем больше раздражения, что Татищев при все том оберегал государственные интересы и преследовал в других злоупотребления. Мы... увидим, что жестокие превратности преследовали его и в научной области.

Занимаясь горным делом, Татищев должен был собирать географические сведения о местностях, где бы находить руду и открывать заводы. Географические данные заняли его, и он от русской географии естественно перешел к русской истории и стал собирать и изучать русские исторические памятники – летописи, акты, вещественные памятники. Богатство этого материала пленило его, и он задумал написать «Русскую историю». Татищев читал много книг русских и иностранных и поручал делать выписки и переводить из тех иностранных книг, языков которых не знал, как-то: греческих, латинских книг. Задачи истории он понял весьма широко и основательно. Он понял важность в исторической жизни народа религиозной стороны, дела научного просвещения, торговли и т. п. и все это, по мнению Татищева, нужно было обнимать философским взглядом. Приступая с этими понятиями к изложению истории, Татищев, естественно, должен был обратить внимание на сделанные уже опыты русской истории. Как образцы перед ним были: с одной стороны – Синописис, с другой – исследования Байера. Татищев поддался тому и другому образцу в том смысле, что смело вошел в широкую область отдаленных русских древностей, но затем действовал со значительной самостоятельностью. В Синописисе он признал совершенно неосновательной связь скифов, сарматов с библейскими лицами. Он сразу понял, что авторитетами для древних славянских времен могут быть Геродот и затем греческие писатели VI в. Этим он, по-видимому, поставил свои исследования в зависимость от ученых немцев нашей Академии наук; но в действительности показал себя еще более

независимым от них, чем от Синописиса. Он отвергает норманнско-германское происхождение нашей государственности и культуры, находит самобытные зачатки их в Новгородской государственности и новгородских дорюриковских князьях, а первых наших князей выводит из Финляндии, притом через родство их с самобытными новгородскими князьями. В этом главном пункте русских древностей Татищев частью последовал Синописису, который согласно с позднейшими летописями старается придать естественность призванию князей; но Татищев не пошел за Синописисом отыскивать в Пруссии родину призванных князей, а направился за Байером, но не дошел до Скандинавии, а остановился в Финляндии. Этими научными трактатами занят первый том «Истории» Татищева. Исключение составляет только 4-я его глава, в которой напечатана известная нам Иоакимовская летопись, служившая для Татищева главнейшей опорой его теории призвания князей и вместе с тем – началом его исследований о письменных источниках истории, что заняло еще следующие три главы – V, VI, VII, к которым нужно причислить и четвертую, VIII, где разбирается вопрос о летосчислении<sup>188</sup>.

Научными трактатами первого тома и закончилось прагматическое изложение «Русской истории» Татищева. Дальше, со времени призвания князей, Татищев в изложении исторических событий пошел совсем другим путем. Вместо прагматического изложения он решился сделать то, что давно делали наши летописцы, и о чем хлопотал Петр I, – он решился составить Полный летописный свод и обставлял его лишь своими подстрочными примечаниями. Такой Свод он и сделал в четырех последующих книгах, в которых летописный рассказ доведен до 1577 г. и приложено еще Житие Феодора Иоанновича.

Кроме этого труда Татищев еще обдумал широкий план изучения русской истории и географии или, точнее, план собирания материалов и составления подготовительных работ для всестороннего изучения России всеми наличными силами русской администрации. История, география, этнография, статистика, – все то, чем теперь занимаются многочисленные

наши ученые общества, – все это входило в план Татищева. И это не было делом фантазии. Татищев сам, по мере сил, осуществлял этот план и даже составил Словарь России, доведенный до буквы «Л», т. е. оканчивающийся буквой «К», в котором совмещались эти разнообразные сведения. В 1738 г. он представил этот обширный план в Академию наук, и, по-видимому, тем более мог рассчитывать на благосклонный прием, что в правительстве Анны Иоанновны его должны были ценить как человека, много содействовавшего восстановлению самодержавия этой государыни. Но все это ни к чему не привело. Проект Татищева оставлен без внимания. Мало того, Татищева ждали новые неудачи.

В 1739 г. он привез в Петербург свою «Историю» и давал многим читать. Сам Татищев передает, что одни его осуждали за недостаток философского взгляда, красноречия, другие – за посягательство на текст летописный. «История» его надолго осталась неизданной.

Перед смертью Татищева, в 1748 г., академик Миллер, хорошо понимавший ценность Татищевских бумаг и, между прочим, важность их для его Сибирской истории, хлопотал, чтобы Академия приняла меры к охране для потомства бумаг и рукописей Татищева, уверял, что Татищев согласится на эти меры и сам вызывался ехать к нему за этим. Академия оставила без внимания и это предложение. Между тем, вскоре после смерти Татищева в Болдине случился пожар, и все книжное и рукописное богатство Татищева сгорело. Уцелело лишь то, что было в чужих руках.

И за это несчастье Татищеву пришлось отвечать. Только уже при Екатерине, по настойчивости того же Миллера, сочинения Татищева стали появляться на свет. В 1769–1774 гг. при Московском университете изданы три книги: один том «Ученых трактатов» и два тома «Летописного свода», а в 1784 г. издан в Петербурге четвертый том «Истории» или третий «Летописного свода», – до Иоанна III. Издание сделано по дурному списку и издано плохо. Но и на этом не заканчиваются злосчастия Татищева. Из плана татищевской «Истории», помещенного во Введении к его «Истории», известно было, что

он предполагал изложить историю дальше Иоанна III, что должна была быть еще часть его «Летописного свода». Этой части нигде не оказывалось. Только в 1843 г. Погодин нашел эту часть в своих рукописях, и она издана в 1848 г. Московским обществом истории и древностей.

Печальная судьба долго тяготела над сочинениями Татищева и в области научной критики. И немецкие ученые, и многие русские с ожесточением относились к «Истории» Татищева.

Ожесточение это вызывала не одна Иоакимовская летопись, подрывавшая немецкую теорию призвания князей, и в этой части действительно мифическая, но и его «Летописный свод», в котором есть немало фактов, не находящихся в известных нам летописных списках; и так как татищевское Собрание летописей сгорело, проверить его «Свод» нельзя, что и дает основание предполагать его достоверность. Шлецер напал на Татищева со всей силой своего ученого авторитета. Ему последовал в этом, как и во многих других случаях, Карамзин. Даже в новейшее время К.Н. Бестужев-Рюмин в одном примечании своего исследования о летописях выразился, что на Татищева нельзя ссылаться<sup>189</sup>.

Подобная судьба, даже еще более печальная, постигла и современника Татищева, Посошкова, старавшегося подобно Татищеву найти примирение старого и нового в своих идеалах касательно внутреннего строя русской жизни в самой низменной среде – в крестьянстве и также, как Татищев, вынужденного стать в конце концов на русскую точку зрения и едва ли за это не поплатившегося. Посошков в своем сочинении «О скудости и богатстве» старается быть поборником Петровских преобразований, но невольно рисует зло этих преобразований – господство иноземцев. В сочинении «Обличение раскольников» он – враг их и, по-видимому, поборник Петровских просветительных начал, но в действительности он защитник русской веры от иноземного влияния и обличитель вольнодумства времен Петровских. Над сочинениями Посошкова тяготела еще более печальная судьба. Они только благодаря М.П. Погодину вышли на свет Божий<sup>190</sup>.

Но правда, хотя и медленно, давно уже стала пробиваться и восстанавливать значение и Татищева, и Посошкова. Еще в прошедшем столетии один из талантливейших русских исследователей по русской истории – Болтин отозвался о Татищеве с великим уважением. Покойный Соловьев и во многих местах своей «Истории», и в особой, упомянутой статье о Татищеве со всей силой научности ниспроверг подозрения касательно добросовестности Татищева и выставил в надлежащем свете его значение. «Заслуга Татищева, – говорит Соловьев в своей статье о нем, – состоит в том, что он первый начал дело так, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия; снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими; указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований; собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России; одним словом, указал путь и дал средства своим соотечественникам заниматься русской историей. Кто посвятил себя научным исследованиям, тот знает, как важны первые указания на предмет, на его различные стороны, как бы мнения первого указателя ни были неправильны, тот оценит великие заслуги Татищева как первого указателя; не говорю уже о том, что мы обязаны Татищеву сохранением известий из таких списков летописи, которые, быть может, навсегда для нас потеряны»... В заключение этой статьи Соловьев выражается еще сильнее. «Татищеву, – говорит он, – наряду с Ломоносовым принадлежит самое почетное место в истории русской науки, как науки в эпоху начальных трудов»<sup>191</sup>.

Наконец, и К.Н. Бестужев-Рюмин счел себя обязанным исправить свою ошибку. В обширном своем исследовании о Татищеве, упомянутом уже нами, он воздает Татищеву должное и ставит его в положение первоначальника русской истории. В основе это тот же взгляд Соловьева. «Даже для историка нашего времени почти удовлетворителен, – говорит Бестужев-Рюмин в одном месте своего исследования, – круг явлений, который Татищев считал подлежащим ведению исторической

науки. «История» Татищева, памятник многолетних и добросовестных трудов, воздвигнутых при условиях самых неблагоприятных, долго оставалась непонятой и неоцененной... Теперь уже никто из ученых не сомневается в добросовестности Татищева»... В конце статьи Бестужев-Рюмин подобно Соловьеву сравнивает Татищева с Ломоносовым. Наконец, указав на то, что труды Татищева дают ему право на вечную благодарную память, он говорит о его «Истории»: «...Он поставил науку русской истории на правильную дорогу собирания фактов; он обозрел, насколько мог, сокровища летописные и указал дорогу к другим источникам, он тесно связал историю с другими, сродными ей знаниями»<sup>192</sup>.

Из протоколов заседаний Академии наук видно, что и это учреждение готовится воздать должное Татищеву. К предстоящему столетнему юбилею Татищева (в 1886 г.) Академия наук предполагает издать его сочинения<sup>193</sup>. Восстанавливается также и значение Посошкова. Кроме усиленных забот об этом Погодина, на Посошкова обратили внимание и другие. Его сравнивает с Татищевым и разбирает К.Н. Бестужев-Рюмин в указанном исследовании о Татищеве. Есть и специальное исследование о Посошкове г. Царевского (Казань, 1883).

В отзывах, восстанавливающих значение Татищева, не достаёт надлежащего указания на то, какое великое зло сделано историческому развитию науки русской истории тем, что труд Татищева не явился в свое время, а стал делаться доступным изучению только через 30 лет после того, как был привезен в Петербург, а последняя часть его – даже с лишком через 100 лет. Говорить ли еще о том, как сильно двинуто было бы наше научное дело, если хотя бы отчасти стал исполняться вовремя план Татищева всестороннего изучения России. Приходится с грустью признать, что немецкая научность затормозила русскую научную разработку нашей истории. Впрочем, нам нужно повторить оговорку, которую мы уже делали, говоря о Байере. ...Виновата была, собственно, не научность, а тот иноземный, национальный элемент, который направил ее на ложный путь, именно, немецкий элемент,

составлявший выдающуюся силу, образовавшуюся при Петре. Принцип «брать все иноземное, учиться всему у иноземцев и для этого призывать в Россию побольше иноземцев» неизбежно повел к тому, что набралось к нам больше всего немцев; и как только безжизненно опустилась могучая рука Петра, заставлявшая всех быть слугами России, так немцы, естественно, стали заправителями русских дел, господами. Время Анны Иоанновны и Бирона было естественным последствием и жестокой критикой направления Петровских преобразований. Эту злую русскую судьбу должна была испытать на себе и наука русской истории.

Ораторы славили свержение иноземного ига со вступлением на престол Елизаветы Петровны. Русские люди оживали и заявляли русские замыслы и дела. Впереди стояла женщина, выросшая в русском горе и среди самых простых людей, но как дочь Петра она питала любовь к нему и его преобразовательным планам, т. е. способна была примирять Петровские преобразования с потребностями русской жизни. Между тем «История» Татищева, совмещавшая в себе и Петровскую научность, и русское направление, оставалось в пренебрежении. Это одно из тысячных доказательств, что науку легко придавить, загубить, но поднять, воскресить очень и очень нелегко.

Во время Елизаветы – время, счастливое для научных русских трудов, наука русской истории заявила себя прежде всего борьбой между немецкими и русскими воззрениями, борьбой, которую, по всей справедливости, можно назвать позорной.

**Споры о призвании князей. Миллер, Тредьяковский и Ломоносов.** Тот самый Миллер, который в 1748 г. так усердно и безнадежно хлопотал о спасении для потомства сокровищ татищевского Собрания рукописей и книг, в следующем 1749 г. поднял самым неожиданным образом бурю своими немецкими воззрениями в такое русское патриотическое время. В день тезоименитства Елизаветы Петровны 6 сентября 1749 г. Академия наук постановила иметь торжественное заседание, на котором предположено сказать речь, и эту речь поручили

составить русскому историографу Миллеру. Миллер написал речь о происхождении народа и имени российского, в которой развивал следующие положения.

1. Отвергал, подобно Татищеву, связь русской истории с библейской, что, как нам известно, проводилось в Синописе.

2. Русские – пришельцы на своей земле, на которой до них жили финны.

3. Славяне выгнаны с берегов Дуная и расселились в пределах финнов.

4. Скандинавы и варяги – один и тот же народ: от них русские получили свое название и царей.

5. Опровергалось мнение Синописиса о славянском происхождении варягов и доказывалось тождество Руси и варягов, т. е. скандинавов.

В среде академиков, недавно с пренебрежением отстранивших хлопоты Миллера о сочинениях Татищева, роли переменились, и речь Миллера вызвала такое мнение большинства их: «Миллер во всей речи ни одного случая не показал, – писали академики, – к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может, а именно: как их (т. е. русских) многократно разбивали в сражениях, где грабежом, огнем и мечом опустошили, и у царей их сокровища грабили. А напоследок удивления достойно, с какой неосторожностью употребил экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили»<sup>194</sup>.

Миллер пожаловался на этот отзыв. Назначено было новое рассмотрение его речи, продолжавшееся с лишком четыре месяца – с октября 1749 г. до 8 марта 1750 г. В этом рассмотрении принял живое участие известный профессор элоквенции Тредьяковский, и написал довольно пространную диссертацию, в которой излагал следующие главные положения.

Он перебирает свидетельства, откуда произошли россы и в каком они отношении к славянам, т. е. что такое мы – россы и славяне; как эти два названия явились и как они могут совмещаться? Он перебирает свидетельства ученых о росссах,



ищет россов в Шотландии, в Туркестане, в военном крике: рази! рази! в слове: рассеяние по толкованию Прокопия названия славян – споры, причем Тредьяковский имеет в виду часто Синописис, об авторе которого отзывается с уважением; но все это признает неосновательным и даже выражает отчаяние, что все это завело его в клюковатейший лабиринт и оставило еще в темнейшем тупике. Наконец, найдя в Несторовой летописи по разным спискам (Кенигсбергскому и Никоновскому) то, с чего следовало бы начать, именно, что сперва жили славяне, а потом призвали варягов-россов, восклицает: «...прочь ты Араксов рос, ты Страбонов роксолан, вы русые волосы, ты громкий на войне крик, напоследок и ты самое разсеяние! Ибо хотя все вы в своем роде изрядны, но не настолько, сколько сие непоколебимое – от тех варягов находников прозвашась Русь... прежде бо Новгородстии люди нарицахуся словене». В заключение Тредьяковский, как и Миллер, видит варягов в скандинавах. Для предосторожности, однако, он говорит, что положения диссертации Миллера вероятны, а не то, что непреложны, и предложил исправить и смягчить резкие места в речи Миллера, но не потому, что, как сам выразился, положения Миллера только вероятны, а совсем по другой причине, которая ясно показывала, что он стоит на стороне Миллера. «Благопристойность и осторожность, – говорит он, – требуют, чтобы правда была предлагаема некоторым приятнейшим образом: давно уже ведомо из Теренция, римского комика, что нагая истина (что ж делать? сие есть одно из состояний оплакуемая человеческая слабость) ненависть рождает, а гибкая на все стороны поступка, только ж бы беспорочная, ибо чаще такая услуга бывает противным образом, а особливо в надежде получения, гибкая, говорю я, и удобообращающаяся поступка приобретает множество друзей и благодетелей»<sup>195</sup>.

Не так посмотрел на это дело знаменитый Ломоносов. Он не думал ни прикрывать нагой<sup>196</sup> истины, ни приобретать друзей и благодетелей удобообращательной поступкой, а накинута на Миллера и с громадной силой своего таланта, и с необузданностью своего права. Он стал громить Миллера за предпочтение иностранных свидетельств отечественным, за

неуважение к Нестору. Он становится на почву Синописиса, защищает связь россов с библейским россом, единство роксолан и россов; громит, зачем Миллер устранил предков славян скифов, совершивших столько славных дел; находит унижение в том, что Миллер заставляет чухнов давать нам имя, а шведов – царей. Варягов, подобно Синописису, Ломоносов выводит из Пруссии – славянской страны. Для большего поражения Миллера Ломоносов прибег даже к орудиям своей специальности – химии. По тому поводу, что Миллер, хотя и осторожнее Байера, заподозривает Сказание летописей о проповеди у нас апостола Андрея, Ломоносов говорит, что это оскорбление Петру, учредившему орден Андрея Первозванного, и прибавляет: «...Жаль, что в то время, (когда Байер писал трактат о русских древностях) не было такого человека, который бы поднес ему (Байеру) к носу такой химический проницательный состав, от чего бы он мог очнуться». Порошок этот и почувствовал Миллер.

Диссертация его была запрещена, и печатные ее экземпляры почти все уничтожены. Сам Миллер в значительной степени действительно очнулся. В этой борьбе он как бы получил русское крещение – занял вскоре более скромное положение, а именно положение издателя «Русского исторического журнала», издателя «Русских исторических памятников и сочинений» и собирателя русских актов.

При малейшем самозабвении Ломоносов опять подносил ему свой химический порошок. «Злой рок хочет, – писал Миллер президенту Академии в 1757 г., – чтобы г. Ломоносов как будто сотворен для причинения огорчений многим из нас и в особенности мне, хотя я не даю ему ни малейшего повода... Он присвоил себе решительный суд над тем, что печатается в «Ежемесячных сочинениях»<sup>197</sup>.

Очнулся от этих громовых ударов и Тредьяковский, впрочем, опять странно. В последних 50-х годах он пришел в совершенное отчаяние от неудач в области словесности, от насмешек со стороны врагов, главным образом, от Ломоносова, и перестал ходить в Академию. Вот как он описывает свое состояние: «Ненавидимый в лице, презираемый в словах,

уничтожаемый в делах, осуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем и проч., всеконечно уже изнемог я в силах к бодрствованию, чего ради и настала мне нужда уединиться»<sup>198</sup>. В этом уединении он и занялся главным образом русской историей, и в следующем, 1758 г., окончил<sup>199</sup> три рассуждения о трех главнейших древностях российских, а именно:

1. О первенстве славянского языка перед тевтоническим.
2. О первоначалии россов.
3. О варягах руссах словенского звания, рода и языка.

В этих рассуждениях Тредьяковский и славян, и россов связывает с Библией и распространяет по всей Европе. Эрудицию он показал громадную – приводит множество писателей. Но главные его основания древности, первенства и господства славянороссов взяты из филологии. В ней он находит самое простое и удобное средство все объяснить. Название древнейших обитателей Восточной Европы скифов происходит, по его мнению, от скитания, сарматов – от замаратов или царьметов; кельты это – желты, варяги – предварители. Мало того, даже Испания – значит Выспания, (от польск. Wyspa – остров) и Каледония – Хладония<sup>200</sup>.

Все это кажется нам чудовищным и, вероятно, вызывало великое презрение в Ломоносове; но не один Тредьяковский творил эти грехи. Знаменитый ученый Байер делал вещи не лучше, когда слово Москва производил от мужского монастыря, а Псков – от псов<sup>201</sup>.

**«История России»** Ломоносова. Живой, общественный интерес, какой возбудила речь Миллера, и долговременные пререкания из-за нее естественно заставляли многих призадумываться над состоянием науки русской истории и вызывали желание найти человека, который мог бы написать эту «Историю» в духе русском, достойном времени Елизаветы Петровны. Человек этот сам собой обозначился. Это было время силы и славы великого русского человека – Ломоносова, необыкновенного ученого в области естествознания, словесности и даже русского поэта. Он принимал участие в споре с Миллером или, вернее сказать, был главным

обличителем его немецких тенденций, которые подстерегал и обличал до конца дней своих: к нему и обратились с предложением написать «Русскую историю». Тогдашний покровитель русского просвещения и, в частности, Ломоносова, И.И. Шувалов, кажется, был главным виновником этого предложения.

С.М. Соловьеву, написавшему статью о Ломоносове, известны были документы о занятиях Ломоносова русской историей с 1751 по 1753 г., когда Ломоносов давал в них отчет, показывал, что читал и сколько листов выписок сделал в то или другое время. Новейшее исследование материалов для «Истории» Ломоносова открывает немало новых подробностей, как вел дело и что сделал для русской истории Ломоносов.

Еще в 1749 г., т. е. сейчас же после того, как Миллер хлопотал о спасении научных сокровищ Татищева, Ломоносов был уже в сношениях с Татищевым и даже сочинил для «Истории» Татищева дедикацию, т.е. посвящение будущему преемнику Елизаветы, наследнику Петру Феодоровичу. В 1751 г. у него уже был готов план своей «Истории», а в 1753 г. доносил, что «Историю» свою предполагает закончить к концу этого года. В действительности «История» была закончена только в 1763 г., а издана уже после смерти Ломоносова (ск. в 1763 г.) в 1766 г., и то только 1-й том, до смерти Ярослава, с одними цитатами без примечаний, которые Ломоносов предполагал издать после.

Существовали еще две части его «Истории»: 1 – до Батыева нашествия, 2 – до освобождения от татар при Иоанне III, но они не были изданы и существуют ли где, неизвестно. Написал еще Ломоносов и в сентябре 1757 г. посылал И.И. Шувалову «Сокращенное описание самозванцев и стрелецких бунтов» и извещал тогда же о своем старании привести к окончанию «Сокращение о жизни царей Михаила, Алексея и Феодора», но дальше ничего неизвестно ни об этих окончанных сочинениях, ни об оканчивавшихся<sup>202</sup>.

Из описи книг, оставшихся после смерти Ломоносова, можно видеть тот объем материалов и пособий, какие Ломоносов изучал для своей «Истории» России. Великий естественник и словесник погрузился в изучение греческих,

римских и западноевропейских писателей о древних временах славянского мира, т. е. Ломоносов, очевидно, решился взвесить силой своего таланта и своей европейской образованности груз немецкой учености Байера, Миллера и др. Проверка эта открыла широкое поле для самостоятельных соображений и выводов великого русского человека. Еще авторы Синописа и за ними Татищев признавали единство славянских племен и собирали древнейшие известия о славянах вообще. Ломоносов пошел по их следам, но открыл более глубокое начало, связывающее всех славян, начало, удерживаемое нашей наукой до сих пор, – единство мифологических явлений славянского мира. Точно так же, перебирая разные теории своих предшественников о начале нашей государственности, о призвании князей, Ломоносов понял силой своего русского ума, что правда на стороне тех его предшественников, как авторы Синописа, которые ищут наших призванных князей в Поморской стране – в Пруссии. Наши позднейшие летописцы, останавливающиеся на этой же окраине славянского мира, а также Адам Бременский и Гельмольд, несомненно, знакомые Ломоносову, давали ему достаточное разъяснение этого дела. В свое время мы увидим, что новейшие изыскания в нашей науке приводят к тому же выводу – к призванию князей из Поморской страны не прусской, а славянской. Словом, вся область русско-славянских древностей давала Ломоносову богатые средства установить свой, русский взгляд на вещи, и он здесь воздвиг себе довольно прочный памятник.

Совсем другое положение было для Ломоносова в области чисто исторической... – русской летописной письменности, в которой даже неутомимый Татищев ограничился «Сводом» разных редакций летописей. Ломоносов знал, почему Татищев так сузил свою задачу. Сочинения Татищева – и первый том, и «Летописный свод» были ему известны. Знал он и то, как другие превращали летописный рассказ в прагматическое изложение. Ему были известны не только Синопис, но и Манкиев (в рукописи), и даже Грибоедов. Он отдался было изучению сырого материала. Но громада неразработанного материала подавляла даже его силы. Он решился бросить эту мозольную работу и

надеялся проникнуться сразу духом летописного изложения событий. В одном своем донесении 1753 г. он пишет, что читал летописи, не делая выписок, «чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях российских»<sup>203</sup>. Понятие это сложилось ближе к русским образцам: Манкиеву, Синопису и Грибоедову. Страдальцу от иноземцев, певцу русской славы сроднее было направление этих авторов. Он подобно им пошел путем возвеличения России, но привнес и тут свою самобытную особенность. Он стал искать в древних временах России осуществления хорошо знакомых ему доблестей греческого и римского миров. Даже в самом ходе русской истории он видел сходство с историческим развитием Рима. «Владение первых (римских) королей соответствует самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные города; потом единоначальство кесарей представляет(ся) согласным самодержавству государей московских». С.М. Соловьеву<sup>204</sup> кажется странным такое сопоставление нашей истории с римской и греческой; однако в нашей литературе последнего времени существует и общее сопоставление нашей государственности с римской и, как увидим, обстоятельное специальное исследование, в котором некоторые формы быта Новгорода и Пскова сближаются с формами греческими и римскими.

Неизвестно, какие воззрения высказывал Ломоносов в своих сочинениях по русской истории о временах удельных и о временах татарского ига, а также в очерках времен самозванческих и жизни царей: Михаила, Алексея и Феодора. Об утрате или безвестности этих сочинений нельзя достаточно высказать сожаления. Мы не раз еще увидим, что наши русские историки постоянно стремились к уяснению времен московских, как к центру тяжести русской истории. Тяга эта, очевидно, сказывалась и в Ломоносове при всей широте его образования, естественно, увлекавшего в область древностей, и при всей трудности для него занятий по русской истории.

Не подлежит действительно сомнению, что занятие историей было слишком далеко от специальных знаний

Ломоносова, было начато им слишком поздно и не могло дать удовлетворительного результата. Сознание немощи в этом деле сказалось в донесениях Ломоносова о своих работах по русской истории, донесениях, носящих характер извинений, оправданий в запаздывании этих работ. Отразилось это сознание и на современниках Ломоносова, именно в том, что труд его издан был, да и то не весь, только после его смерти. Впрочем, тут действовали и другие причины. В Академии наук тогда уже был новый представитель немецких воззрений на русское историческое развитие, известный Шлецер, отравлявший последние годы жизни Ломоносова и вызывавший с его стороны самые желчные отзывы.

## Глава VI. Шлецер

Еще в то время, когда происходила страстная борьба разнородных взглядов на русскую историческую жизнь, когда осознана была крайняя нужда иметь систематическую «Русскую историю» и в выполнении этой задачи изнемогал не подготовленный к ней великий Ломоносов, в историческом развитии нашей науки обозначилась новая... или, лучше сказать, ворвалась новая стремительная струя, произвела великую смуту в тогдашней нашей Академии наук, быстро затем исчезла, а в начале нынешнего столетия опять ворвалась, взволновала всех ученых, занимавшихся русской историей, и многими надолго была признана самой лучшей, самой чистой струей в нашем стремлении к научности отечественной истории. Это струя научности Шлецера.

Теперь настали времена более спокойного и более научного отношения к Шлецеровой работе. Теперь более и более обнаруживается, что она и шуму наделала больше, чем следовало, и новизны имеет меньше, чем это могло прежде казаться, даже не совсем самобытна по отношению к предшествовавшим русским трудам. Время теперь даже поднять вопрос о том, больше ли пользы или вреда произошло от нее в науке русской истории.

Начало иноземства, заложенное в России мощной рукой Петра I, логически развивалось в своих последствиях и прорывало даже такие преграды, как национальное возбуждение при Елизавете Петровне и Екатерине II. Россия втягивалась в Западную Европу; Западная Европа врывалась в Россию.

Славное с народной русской точки зрения участие Елизаветы в Семилетней войне, показавшее всем, что Россия находит... вредным усиление ближайшей немецкой державы – Пруссии, и поворот России к полуславянской Австрии и к пленявшей тогда всех своей цивилизацией Франции вызывали в Европе новое внимание к России. Внимание это еще более закреплялось торжественным заявлением русского патриотизма



Екатерины II, вышедшей из этой самой разбитой Россией Пруссии. Россия оказывалась достойной чести даже со стороны чванлившихся высшими будто бы началами жизни ученых – подготовителей Французской революции. И нельзя им было не считать Россию достойной этой чести. В русском обществе даже при Елизавете с неудержимой силой развивалось западноевропейское разделение между государством и Церковью, между светской и духовной жизнью, выражавшееся в сильном неверии и безнравственности. Еще при Елизавете, а тем более при Екатерине, то и другое последствие разъединения государства и Церкви стало осмысливаться, возводиться в научную теорию. Французские энциклопедисты находили... в России многочисленных последователей. Россия сильно выдвигалась в их глазах. России предлагали свои научные услуги даже такие знаменитости, как Вольтер, добившийся еще при Елизавете поручения написать «Историю Петра I»<sup>205</sup> и при Екатерине славивший Русское самодержавие.

Не могли не тянуться к России и старые ее просветители – немцы по дороге, еще более проложенной ими и даже просто из-за соревнования с новыми завоевателями России.

Миллер своим изданием «*Summlung russischer Geschichte*» и через своего родственника, геттингенского профессора Бюшинга, тоже издававшего за границей статьи и памятники о России, усиливал и в ученой немецкой среде интерес к нашему отечеству и к русской истории. Этот же Миллер устроил у себя в Петербурге как бы этапный пункт для молодых немцев, прибывавших в Россию искать себе счастья.

Миллера озабочивала мысль найти в среде этих молодых немцев помощника себе по разработке русской истории и, кстати, вместе – и воспитателя для своих детей<sup>206</sup>. Миллер забыл основную мысль Петра и, в частности, назначение нашей Академии наук, чтобы у нас иноземцы-специалисты приготавливали себе русских преемников. Забвение это, как видим, дошло до того, что даже для русской истории старый немец смело мог выдвигать молодого немца, даже при Ломоносове. Забвение это, впрочем, не было делом памяти, а имело характер более глубокого недуга. Миллер сознавал

смелость своего плана и, однако, проводил его. Сам Шлецер раскрывает нам намерения Миллера и значение его этапного пункта. «Они (т. е. прибывавшие молодые немцы), – говорит он, – обыкновенно обращались к известному своим великодушием земляку их Миллеру. Он принимал их к себе в дом, давал им стол и, чтобы лучше узнать их, поручал разные занятия, уроки, переписку – все в надежде найти, наконец, человека, которого бы можно было склонить к своим ученым работам»<sup>207</sup>. Но такого лица не оказывалось на этапном пункте Миллера, и он через своего родственника Бюшинга обратился в 1760 г. к геттингенскому ученому, профессору восточных древностей Михаелису за указанием такого лица. Михаелис указал на даровитого своего студента Августа Шлецера, который у него изучал эти древности, воспыал желанием отправиться на Восток, в Египет, Палестину, и для этого зарабатывал деньги уроками в Швеции и сочинениями там же, а также в Гамбурге и Любеке. Шлецер, по предложению Михаелиса, решился ехать в Россию с мыслью все-таки потом ехать на Восток. Но, ознакомившись у Миллера с русским языком и русскими рукописными сокровищами, воспыал ревностью облагодетельствовать пока Россию разработкой ее истории. Миллер, еще призывая Шлецера в Россию, рисовал ему в ярких красках будущее его назначение. «По-видимому, Россия есть поле, над которым работать предопределено вам провидением», – писал он к Шлецеру еще до прибытия его в Россию<sup>208</sup>, а когда Шлецер прибыл к нему (1761 г.) и показал в первые же месяцы усердие и успехи в изучении русского языка, Миллер стал втягивать его в историческую работу. По поводу какого-либо разговора о Бухаре или Амуре, говорит Шлецер, Миллер вел его в свой кабинет, вытаскивал рукописи одну за другой – то русские, то немецкие – и приговаривал: «Здесь работа и для вас, и для меня, и для десятерых других на целую жизнь»; но при этом отказывал Шлецеру в просьбе дать какую-либо рукопись, говоря: «Будет еще время, не должно торопиться». Тут Шлецер видел и русские летописи, и воображение его сильно работало. Он убедил себя, что

изучение русских летописей – вторая заветная мечта его жизни после путешествия на Восток<sup>209</sup>.

Замечательные успехи и дарования Шлецера побудили Миллера уже в 1762 г. хлопотать о том, чтобы пристроить Шлецера к Академии наук в звании адъюнкта. Миллер при этом обнаружил во всей ясности, чего он ждет от Шлецера. Он писал к Михаелису, между прочим, следующее: «Для публики было бы неоценимой потерей, когда бы значительное количество рукописей и редких книг, собранных мной в продолжении тридцатилетнего моего пребывания здесь, а также множество моих, еще ненапечатанных работ, после моей смерти, которую представляю себе очень близкой, не были употреблены в пользу способным лицом»<sup>210</sup>.

В одном из писем Миллера есть драгоценное место, объясняющее взгляд его на обязанности историка и в настоящем случае объясняющее его выбор преемника: «Обязанности историка трудно выполнить, – писал Миллер, – Он должен казаться без отечества, без веры, без государя. Я не требую, чтобы историк рассказывал все, что он знает, ни также все, что истинно, потому что есть вещи, которых нельзя рассказывать и которые, может быть, мало любопытны, чтобы раскрывать их пред публикой; но все, что говорит историк, должно быть истинно, и никогда он не должен давать повод к возбуждению к себе подозрения в лести»<sup>211</sup>. Кто же, кроме немца, мог быть таким историком и преемником Миллера, т. е. без отечества, без веры, без государя?

Москва неодолимая, куда Миллер был передвинут в 1765 г. не без участия Шлецера, заставила его возложить эти упования на русских; но теперь в Петербурге Миллер не мог совершить такого быстрого скачка, хотя сам же Шлецер разочаровывал его в немецких упованиях.

Шлецер обиделся скромным положением адъюнкта, бросил Миллера, поступил в число учителей детей президента Академии Разумовского и приобрел себе благоволение и других сильных людей, дети которых учились у него вместе с детьми Разумовского.

И практический расчет, и необузданное самопоклонение побудили Шлецера искать этого благоволения. Он с первых шагов на русской земле стал обнаруживать невыносимое самохвальство и глумление над другими. Находя для себя унижительной и скудной по средствам должность адъютанта, Шлецер пишет: «Что были за люди, которые славились тогда своими познаниями в русской истории? Люди без всякого ученого образования, люди, которые читали только свои летописи, не зная, что вне России существовала история, люди, которые не знали другого языка, кроме своего отечественного: Татищев знал только по-немецки, князь Щербатов – только по-французски... Я был, – говорит Шлецер в своей автобиографии, – ученый критик... Я был в этом отношении единственный человек в России»<sup>212</sup>.

Даже Миллер, по суду Шлецера, как историограф сделал очень мало (хотя отчасти и не по своей вине, снисходительно прибавляет Шлецер). Впоследствии, в своем «Несторе» Шлецер увеличил список дурных русских историков именем Ломоносова, о котором, как и о Татищеве и Щербатове, выражается, что он не мог издать ничего полезного (по русской истории, разумеется)<sup>213</sup>. Только Болтина он признает знатоком русской истории, но и его осуждает за мнения о призвании князей. Вообще Шлецер признавал, что русская история не только не существовала, но и не могла быть изучаема<sup>214</sup> не только по неразработанности первейших источников, но и потому, что нет научной обработки языка, нет хорошей грамматики. В одном месте своего «Нестора» Шлецер еще хуже отзывается о науке русской истории.

«Все, до сих пор в России напечатанное, ощутительно дурно, недостаточно и неверно»<sup>215</sup>. Тут уже и Болтин забыт.

«Но история России, – говорит Шлецер, – должна быть создана и прежде должны быть приготовлены средства к этому». Шлецер счел себя призванным все это сделать. Он составил свою «Граматику», в которой приложил к русскому языку высшие филологические начала, достойные всякого уважения (родство всех европейских языков); но рядом с тем выходили и такие, например, странности, что слово «боярин»

происходит от слов: «баран» или «дурак»; «дева» – от немецкого «Dieb» («вор»), или нижнесаксонского «Tiffe» («сука») и т. п.<sup>216</sup> Несравненно удачнее план Шлецера касательно разработки русских летописей. Он требовал: 1) критической обработки летописей – сличения редакций и очищения текста; 2) грамматической, т. е. объяснения текста при помощи сравнительной грамматики, 3) исторической обработки, т. е. сличения летописей и других памятников по содержанию<sup>217</sup>.

Никто не станет отнимать чести у Шлецера за научную постановку вопроса о разработке наших летописей; но вопиющей неправдой было бы закрывать глаза перед тем, что Шлецер взял в основу этой постановки чужую работу, именно Татищева. Несправедливо также было бы забывать о том, что этим же делом занимался уже тогда Болтин, не говоря уже о Ломоносове. Наконец, нельзя забывать, что Шлецер, по необузданной своей гордости и самомнению, задался фантастической целью воспроизвести подлинный текст Нестора. Словом, во всем этом деле сказалось: большое знакомство Шлецера с научными приемами (честь, принадлежащая прежде всего тогдашним профессорам Геттингенского университета), но еще большая его гордость и, наконец, еще большее тогдашнее его невежество в русской письменности. Но Шлецер пошел еще дальше. Он не только задумал создать «Русскую историю», но и облагодетельствовать Россию сообщением ей истории других народов и не в многотомных изданиях, как это делала Академия наук, а в популярных изданиях, доступных возможно большему числу русских читателей, – мысль прекрасная и составлявшая назначение Академии наук, но самозванная со стороны Шлецера. Лучше всего сам Шлецер освещает это свое самозванство. «Я делал, – говорит он в своем «Несторе», – обширные начертания, соразмерные величию государства и богатству истории оною – начертания, долженствовавшие объять все, и для исполнения которых нужно было всемогущество Екатерины II; и действительно, в самое то время, в царствовании сея великия жены заблистал новый свет и в русской словесности. Но все мои патриотические и

космополитические (т. е. немецкие) желания подавлялись густым туманом, окружавшим тогда Академию»<sup>218</sup>.

В действительности было далеко не так. План этот подавлялся собственной его громадностью и несостоятельностью самого Шлецера. Но кроме того, он подавлялся невероятной напыщенностью Шлецера, возмущавшего всех. Чувства эти верно выразил, хотя и в весьма грубой форме, Ломоносов. Разбирая проект Шлецера касательно разработки русской истории и стараясь очевиднее доказать несостоятельность автора его, Ломоносов прибег опять к своей специальности, но не по химии, а по словесности. Указав вышеприведенные нелепые, обидные для русских филологические открытия Шлецера, Ломоносов говорит: «Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина»<sup>219</sup>.

Какие именно пакости может учинить Шлецер, тогда, т. е. в 1762–1764 гг., было весьма ясно не только Ломоносову, но даже и Миллеру. Оба они, наверное, знали, что одна корысть руководит Шлецером, что он не намерен служить России, а вредить ей очень способен, – он соберет ее памятники, увезет за границу и там будет наживать деньги и славу. Подозрения эти были основательны. Шлецер уже доказал свое предательство. Он тайно послал за границу напечатать речь Миллера, позорящую Россию<sup>220</sup>. В 1764 г., перед отпуском за границу, у Шлецера было много рукописей и когда, вследствие доноса Ломоносова, Тауберт, спасая Шлецера, забрал у него до обыска бывшие у него рукописи, то Шлецер, по собственному его признанию, успел припрятать в пергаментный переплет «Арабского лексикона» таблицы о народонаселении России, о привозных и вывозных товарах, о рекрутском наборе и т.п.<sup>221</sup>

Таким образом, возникал вопрос не только о научной несостоятельности Шлецера, но и о его крайней политической неблагонадежности, Шлецер ясно видел, что обычным путем ему ничего не добиться. Он вступил на необычный путь. При посредстве сильных людей – генерал рекетмейстера Козлова и секретаря императрицы Теплова, дети которых учились у Шлецера вместе с детьми Разумовского, он вызвал особенное

внимание к себе Екатерины, которая и создала ему необычайное положение. Он просил всемилостивейшего соизволения продолжать начатые труды «под собственным ея величества покровительством, в безопасности от притеснений и всякого рола препятствий обработать прагматически древнюю русскую историю от начала монархии до пресечения Рюрикова дома, по образцу всех других европейских народов, согласно с вечными законами исторической истины, и добросовестно, как следует вернейшему (!) ея величества подданному»<sup>222</sup>.

В начале 1765 г. Шлецер по повелению Екатерины сделан был ординарным профессором русской истории в Академии наук с условием пробыть в России 5 лет и поставлен под особое покровительство людей, доверенных государыни<sup>223</sup>.

Из этих условленных контрактом пяти лет Шлецер пробыл в России только три и в это время ознаменовал свою деятельность весьма скромными делами. При содействии неутомимого труженика Башилова Шлецер на русском языке только переиздал Русскую Правду и начал издавать Никоновскую летопись. Самостоятельные его работы удостоились издания только на иностранных языках. Он издал «Опыт русских летописей» (*Probe russischer Annalen*) и статью на латинском языке: «*Memoriae slavicae*». К 1767 г. его взяло глубокое раздумье. Он стал соображать, что в России выгоды не отвечают его трудам и заслугам, тогда как за границей ему будет гораздо выгоднее, и профессорствовать лучше, и книги издавать удобнее. Предметом этих выгод, конечно, были не восточные древности, а Россия, которую он достаточно изучил для этих выгод. Поэтому он даже до срока контракта, именно в 1767 г. уехал из России и более не возвращался. Жил он в Геттингене сначала по отпуску, затем к концу контракта много торговался с Академией, требовал больших денег за службу России, и когда получил предложение служить на прежних условиях, совсем остался в Геттингене и занял профессорское место в тамошнем университете. Впрочем, во исполнение контракта он продолжал трудиться для России в прежнем скромном направлении. Через того же Башилова издал Судебник Иоанна III и, наконец, как доказательство, что он не

даром связал себя контрактом с Академией, в 1769 г. издал на французском и на немецком языках первую часть весьма краткой и давно им составленной «Истории России до основания Москвы», т. е. до 1147 г., переизданную потом и по-русски под заглавием «Изображение российской истории».

Сам Шлецер говорит, что эта книжка составлена для детей, что за нее он не стоит и даже заявляет, что для серьезных читателей, а тем более для ученых историков-критиков он не способен написать связной русской истории. Неизвестно, что это значит: неразработанность ли русской истории или бессилие самого Шлецера; но несомненно, что он забыл при этом собственные обещания, данные в 1764 г. Впоследствии Шлецер сам признает прямо свою несостоятельность исполнить эти обещания. В Предисловии к своему «Нестору», изданному по-немецки в 1802 г., Шлецер после изложения вышеприведенного широкого своего плана говорит: «Теперь я сделался хладнокровнее и воздержнее в моих предположениях. Отказываюсь от всеобъемлющего начертания или отдаю на произвол судьбы, управляющей мощной и благодетельной десницей Александра I, а ограничиваюсь только Нестором и его ближайшим продолжателем, с небольшим до 1200 года».

Этот «Нестор», явившийся в печати спустя с лишком 30 лет после того, как Шлецер наделал у нас столько шума, и составляет единственный серьезный труд Шлецера. На русский язык он переведен Языковым и издан в трех частях... в период от 1809 до 1819 г.

В сочинении этом летопись Нестора, т. е. Начальная летопись обработана по 12 печатным и 9 рукописным спискам.

Все эти списки Шлецер и описывает, но в Заключении говорит, что из 21 списка он пользовался собственно 15, потому что прочие или начинаются позже или в них недостает Начала (Предисловие. – С. VII, VIII), а в другом месте этого же Предисловия признается, что здесь (в «Несторе»), он употребил собственно только 13 рукописных и печатных списков (с. XI, XII). В действительности он обрабатывает текст летописи по четырем-пяти спискам. Обработка сделана по вышеприведенному плану Шлецера. Сличив списки, Шлецер



отбрасывает то, что ему кажется позднейшим прибавлением, искажением, и восстанавливает воображаемый им подлинный текст Нестора. Прием его таков: сначала он печатает данную часть текста по имеющимся у него спискам, обозначая варианты их. Затем сводит в одно, что ему кажется подлинным, и дает очищенный текст Нестора. Всю эту работу он сопровождает многочисленными примечаниями, в которых кроме разбора вариантов текста летописи приводит в объяснение текста свидетельства из греческих, восточных и западных писателей. Эта работа обыкновенно располагается в виде примечаний к летописному тексту. Это, в свою очередь, повело Шлецера к исследованию древностей славянских или таких же древностей северных стран, т. е. повело его в ту же область, в которой вращался Байер. Результаты оказались те же, что и у Байера. Даже последователи так называемой Норманнской школы соглашались, что к исследованию Байера Шлецер не прибавил ничего существенного. Но это не совсем справедливо. Шлецер прибавил весьма смелую опору главнейшему положению Байера, именно тому, что до призвания князей русские не знали цивилизации и ею обязаны германскому элементу. Он даже значительно видоизменяет постановку самого дела.

Байер свое положение основывает главным образом на иноземных свидетелях о состоянии страны, сделавшейся известной под именем России. Шлецер подрывает значение большей части иноземных писателей, но зато подкрепляет положение Байера научным исследованием первейшего русского источника – Начальной летописи, и, сличая ее с иноземными свидетелями, приходит к выводу, что иноземные свидетели не имеют в сравнении с летописью большей частью никакого значения для русской истории<sup>224</sup>, но сама эта летопись говорит будто бы о диком состоянии славянских племен и о том, как они из него вышли. «Да не прогневаются патриоты, – говорит Шлецер, – что история их не простирается до столпотворения, что она не так древня, как история эллинская и римская, даже моложе немецкой и шведской. Пред сей эпохой (т. е. призванием князей) все покрыто мраком как в России, так и в смежных с нею местах. Конечно, люди тут были, Бог знает, с

которых пор и откуда сюда зашли, но люди без правления, жившие подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса, люди, не отличившиеся ничем, не имевшие никакого сношения с южными народами, почему и не могли быть замечены и описаны ни одним просвещенным южным европейцем. Князья новгородские и государи киевские до Рюрика принадлежат к бредням исландских старух, а не к настоящей русской истории; на всем севере русском до половины IX в. не было ни одного настоящего Города. Дикие, грубые, рассеянные славяне начали делаться общественными людьми только благодаря посредству германцев, которым назначено было судьбою рассеять в северо-западном и северо-восточном мирах первые семена цивилизации»<sup>225</sup>.

Вот это основное положение, высказанное еще Байером, и было главной причиной, почему Шлецер придавал такое значение нашей Начальной летописи и так много положил труда на ее разработку с этой стороны. Но труд, вызванный такой предвзятой мыслью и веденный с такой односторонностью, не мог долго удержать своего значения в науке.

Кроме фантастического восстановления подлинного текста Нестора, о чем мы уже говорили, из труда Шлецера пали в нашей науке: и дикое состояние русских до призвания князей, и невозможность будто бы найти что-либо верное в древних иноземных свидетельствах; пали большей частью даже его объяснения текста Начальной летописи, а тем более его предубеждения против позднейших летописных списков. Удержал значение его научный прием, т.е. строгость, выдержанность изучения дела<sup>226</sup>. Но, очевидно, это формальное качество труда Шлецера. Оно, конечно, может иметь некоторое воспитательное значение. Сам Шлецер во втором томе указывает на это именно значение его труда, к которому приглашает и русских молодых людей (с. 126), и немецких (с. 131, 132). С этой стороны сочинение Шлецера, повторяем, имеет значение, и с ним следует ознакомиться всякому молодому специалисту, но, следуя совету самого Шлецера, ни в чем ему не верить на слово, и нужно прибавить еще одну предосторожность: никогда не разбирать памятников

так тенденциозно. Фактическое значение удержали лишь некоторые его объяснения текста летописи иностранными источниками. По этому вопросу и сам Шлецер работал и добыл России усердного работника в лице известного нам Стриттера. Этим вопросом и до сих пор много занимаются, но, конечно, не в той узкой рамке позднейших писателей, какую назначил Шлецер.

Без сомнения, было бы весьма резко и несправедливо сказано, если бы выразиться, что Шлецер был в нашей науке то же, что Бирон в Русской государственности, – резко и несправедливо уже по тому одному, что Шлецер был неизмеримо даровитее и образованнее Бирона; но в этом сравнении найдется кое-что верного, если всмотреться в него внимательно и спокойно. Оба они – и Бирон, и Шлецер вносили в нашу жизнь некоторый порядок (ведь и Бирона хвалили за это и ближайшие свидетели – такие как Щербатов, и новейшие ученые – как Соловьев). Оба они – и Бирон, и Шлецер совершенно одинаково относились к русским людям с величайшим презрением и к России почти с одинаковым корыстолюбием. Наконец, оба почти одинаково утверждали свой авторитет с истинно немецкой наглостью. Русские современники, видевшие пред собой вполне созревшего в этих качествах Шлецера, но еще не созревшего в научности, вернее его поняли, и или отворачивались от него, или проходили мимо, продолжая свое дело, как будто и не было Шлецера между ними. Но когда Шлецер удалился из России, окреп в течение слишком 30 лет в науке и выступил со своим «Нестором», то русская мягкость, совестливость и искреннее уважение к научности, чья бы она ни была, и как бы горька ни была для родного чувства, долго заставляли нас платить непомерно высокую дань немецкому патриотизму Шлецера и его заблуждениям и долго мешали дать ему подобающее в нашей науке место. Ниже мы увидим, кто платил Шлецеру эту дань, и кто стал назначать ему подобающее место.

## Глава VII. Разработка науки русской истории во второй половине XVIII столетия

**Разработка русской истории в Петербурге.** Мы говорили, что современники ближе к истине понимали Шлецера и что и в то время, когда он жил в России, и после его отъезда за границу до появления его «Нестора», т. е. в течение с лишком 40 лет, наша наука развивалась своим путем. Заметить на этом пути какие-либо следы Шлецерова влияния очень трудно.

Две главные задачи в нашей науке занимали русских людей того времени, интересовавшихся русской историей: одни сильно желали иметь хорошую прагматическую историю, другие, предоставляя это делу будущему, сильно выдвигали требование документальности и направляли свои силы на разработку источников русской истории. Тех и других объединяло глубокое сознание, что русское прошедшее достойно изучения и обязательно для русского человека.

Сознание это было очень распространено во времена Елизаветы и Екатерины. После страшного разгрома русской интеллигенции, систематически продолжавшегося почти 60 лет (со смерти царя Феодора и до Елизаветы Петровны 1672–1740 гг.), время Елизаветы и Екатерины II было по преимуществу интеллигентное. Такое богатство свободно выраставших и свободно устроившихся образованных русских сил не могло не направиться и на изучение своего прошедшего. Настроение это отразилось, между прочим, в том, что в те времена многие воскрешали в своей памяти свое личное и общественное прошедшее и составляли записки, в которых нередко касались и исторических фактов. Таковы записки: Наталии Долгоруковой, Нащокина, Болотова, Шаховского и др.<sup>227</sup> Но у других возникали и более настойчивые вызовы знать не только семейное прошедшее, но и вообще прошедшее своей родины. Уже одни государственные преобразования в те времена, как, например, подготовленная Елизаветой и двинутая Екатериной Комиссия для составления Уложения, заставляли русских людей

обращать взоры на свое прошедшее и в нем искать указаний для правильного решения современных дел; а великий Ломоносов и за ним Державин, выдвигавшие так смело и могущественно самобытное величие русского слова, как бы воскресшего со всеми его многовековыми сокровищами, закрепляли еще более это направление.

В самом начале этого направления, еще в царствование Елизаветы Петровны, вырастали физически и научно два замечательных человека, которые вдали от немецкого шума о русских древностях продолжали старую разработку истории своего отечества. Мы разумеем князя Щербатова и генерала Болтина. Оба они родились почти одновременно: Щербатов – в 1733 г., Болтин – в 1735 г. Оба увидели свет на окраинах этнографической России: Щербатов – в Архангельске, Болтин – в Казани. Оба они умерли почти одновременно: Щербатов – в 1790 г., Болтин – в 1792 г. Сходство идет дальше и глубже. Оба с великой любовью занимались историей России; оба глубоко вдумывались в самобытные ее особенности и с сочувствием останавливались на этих своеобразностях в допетровские времена. Но гораздо резче и глубже, чем это сходство, было различие между ними во взглядах на наше прошедшее, в приемах изучения его и, наконец, их разъединяла открытая, останавливавшая на себе всеобщее внимание литературная борьба.

**Князь М.М. Щербатов.** Щербатов был замечательно образованный по своему времени человек в смысле светского образования и отличался большой начитанностью. После него осталась громадная библиотека в 50 тыс. томов. С этим образованием соединял он поразительную гуманность и в то же время – неподкупное правдолюбие. Екатерина поручала ему расследование злоупотреблений; ярославское дворянство избрало его своим депутатом в Комиссию по составлению Уложения. Высокая нравственность заставила его взглянуть с этой точки зрения и на русское историческое развитие, и он стал поборником старых русских, более чистых нравов, старой русской корпоративности. Эти взгляды он высказал в замечательном своем трактате – «О повреждении нравов в

России»<sup>228</sup>, в котором нарисовал мрачную картину вредных последствий Петровских преобразований – картину разрушения старой русской чести и русской службы<sup>229</sup>.

Этот замечательный человек взялся написать «Русскую историю». Екатерина, узнавшая о его занятиях русской историей, открыла ему кабинет Петра и потом все государственные архивы. Он был в особенно близких отношениях с Миллером, которому не совсем верно приписывал большое влияние на свой труд<sup>230</sup>. Кроме многочисленных летописей и актов Щербатову были известны: Синописис, Манкиев, Татищев и Ломоносов. В этой массе источников и пособий он разобрался следующим образом. Щербатов понял, что русские древности излишне загромождены немецкой научностью и новый разбор их превосходит его силы. Поэтому он, хотя и мало ими занимается, излагает их... для сведения читателя как чужие вещи, сопоставляя лишь чужие мнения, мало прибавляя своего и прямо заявляя, что точности, определенности тут нет. «В сем состоит, – заключает он свой трактат о древностях, – все то, что я мог собрать касающееся до сих древних народов, населяющих сии пространные северные страны, знаемые под именами Сарматии и Скифии европейских. Но все столь смутно и беспорядочно, что из сего никакого следствия истории сочинить невозможно»<sup>231</sup>.

В главнейшем вопросе этих древностей – о призвании князей – вопросе, который непременно требовал дать какое-либо решение, Щербатов последовал за главными русскими авторитетами – Синописисом и Ломоносовым, и выводит наших князей из Пруссии; но он не остался и без влияния Татищева и Миллера. Он допускает, что князья могли быть призваны и не из Пруссии, а из Финляндии или Лифляндии, и, наконец, склоняется к выводу, что князья во всяком случае были немцы, как и называют их, говорит он, немцами многие наши летописи, т. е. позднейшие.

Гораздо более самостоятельным был Щербатов в изложении достоверной русской истории, которую он довел до начала XVII в., именно до 1610 г. Он прямо заявляет, что отдает решительное предпочтение своим отечественным памятникам,

и действительно он много над ними работал, изучал хронологию, генеалогию и сильно вдумывался в явления нашей жизни. Некоторые из его соображений и выводов не лишены значения. Так, преемство русских князей удельного периода не по прямой линии он объясняет воинственностью того времени, требовавшей, чтобы на престоле был взрослый человек; отмечает зарождение самодержавия в делах суздальских князей; объясняет перемену в Иоанне IV главным образом влиянием дурных людей, и хотя дурно думает о Курбском, но считает непозволительным подвергнуть сомнению его рассказ о мучительствах Иоанна IV; успех самозванцев объясняет, между прочим, интригами бояр, надеявшихся справиться с самозванцами и самим добиться престола<sup>232</sup>.

Главнейший для него образец в изложении – Синописис, но князь Щербатов его дополняет и его же главнейшим источником – Стрыйковским и позднейшими летописями.

Трудолюбие, желание найти истину поразительны в труде Щербатова; но небольшая даровитость и недостаток зрелой подготовленности были причинами многочисленных его ошибок, а необыкновенно тяжелый слог давал еще больше чувствовать недостатки его громадного труда<sup>233</sup> и заслонял его действительные достоинства.

**Иван Никитич Болтин.** К несчастью Щербатова при нем и после него в ближайшее время обработка нашей науки пошла так быстро, что достоинства труда Щербатова были заслонены еще больше, а недостатки его стали еще яснее и оказывались для многих даже единственными его особенностями. Это несчастье прежде всех создал Щербатову его современник Болтин – даровитейший из исследователей того времени в области нашей науки. И место рождения, и служба подле Киева (в Васильковской таможне) в течение нескольких лет и затем в канцелярии Потемкина, и особенно дружба с известным собирателем русских древностей Мусиным-Пушкиным, без сомнения, немало располагали Болтина к изучению русского прошедшего. Но Болтин накапливал это богатство знаний чисто как любитель, и только случайное обстоятельство открыло

тогдашнему русскому обществу, что в среде его вырос и окреп талантливый знаток русской истории.

В 1874 г. вышла в Париже «История России» бывшего у нас доктором и почетным членом Академии наук Клерка или Леклерка, под заглавием «Histoire de la Russie, naturelle et morale, politique... ancienne et moderne», в 6 томах. В «Истории» этой (автор сам рекомендует себя человеком, долго жившим в России и много знающим) собрано с истинно французским легкомыслием все, что только могли выдумать злостные и насмешливые иноземцы о России.

Так, Леклерк, воспроизводя мнение наших ученых немцев, что русский народ до призвания князей был в диком состоянии, распространяет это мнение и на последующие времена. По его мнению, русский народ и теперь полуязыческий; духовенство его имело право жизни и смерти; Никон отменил все законы церковные; до Петра Россия не имела гражданских законов. «Ложь и клевета, с коими сочинитель злословит вообще Россию, – говорит Болтин, – пристрастие, с коим переиначивает он дела наиболее известные, наглость, с которой решительно говорит о вещах, совершенно ему неизвестных, нелепость рассуждений, пустота доводов, бесчисленные и грубые во всех родах ошибки»... заставили Болтина изменить благоприятное мнение об авторе, какое он имел, приступая к изучению его книги, и побудили взяться за разбор ее. Разбор этот Болтин ведет шаг за шагом по самой книге при ее чтении. Этот способ разбора сочинений, который Болтин потом приложил и к труду Щербатова, вынуждал критика все разбирать, следовательно, все знать самому, о чем говорилось в разбираемых книгах. Знания критика сказались во всей силе; но этот прием крайне затрудняет работу по изучению основных взглядов и приемов самого критика. Впрочем, облегчается она указателями, составленными Леклерком и Щербатовым, которые Болтин поместил в начале своих критических разборов.

Подобно авторам Синописа – ядра российской истории и Ломоносову Болтин самой задачей своего труда вызван был восстанавливать честь и достоинство России. Но он этого достигал не выбором выдающихся фактов и силой родного



чувства, а указанием на самобытные особенности русской жизни, достойные внимания всякого образованного человека. Он победоносно доказывает культурность древнего русского человека такими неопровержимыми данными, как «Договоры» Олега и Игоря, подтверждающие существование организованных у нас сословий, и правосудия, и торговой международной регламентации<sup>234</sup>. При этом взгляде призвание князей, хотя бы чужих (из Финляндии, согласно Татищеву)<sup>235</sup>, не имело уже для Болтина решающего значения. Он их сближает с русскими внутренними общими особенностями, сходством культуры, как соседей<sup>236</sup>. На все вопросы, выдвигаемые Леклерком в доказательство того, что русская культура плоха, развивалась дурно, и что Россия должна разрушиться, Болтин отвечает с одинаковой силой знания и русского убеждения. Он открывает доблести князей удельного периода, силу и разумность областного при них самоуправления. Он показывает, как Русь спаслась от гибели при татарах превосходством своей культуры и тем, что сумела побороть областные раздоры, собраться воедино и, собравшись, свергнуть татарское иго. В этом он усматривает естественность и заслуги единодержавия. Но он еще глубже понимает единодержавие. В одном месте, сказав, что до татарского ига наши «князья имели власть недеспотическую, что народ имел соучастие с вельможами в правлении, и что определения народа были важны и сильны»... Болтин продолжает: «Русские (когда соединились области и сошлись разнородные элементы) опытом познали, что власть единого несравненно есть лучшая, выгоднейшая и полезнейшая как для общества, так и для каждого особенно, нежели власть многих. Они удостоверены были, что монархия в обширном государстве предпочтительнее аристократии, которая обыкновенно теряет время в спорах и не может иметь видов смелых»<sup>237</sup>. В одном из примечаний к этому рассуждению Болтин приводит такое оправдание самодержавия, которое почти буквально приводилось в наши недавние дни в газете «Русь» и в некоторых других газетах. «Опыт доказал, – говорит Болтин, – что без единоначальства всякое политическое тело не имеет надлежащей соразмерности. Ежели при нерадивом, при

неспособном государе ослабевает правление, при другом паки поправится, паки придет в прежнюю силу; республика же ослабевшая никогда не поправится, никогда не оживотворится. Болезни монархические суть мимоходящие, легкие; а болезни республиканские – тяжкие и неисцелимые»<sup>238</sup>.

Историческое оправдание и историческую живучесть громадной единой державной России Болтин доказывает русскими климатическими особенностями, требующими много земли, великим удобством иметь много свободной земли и легко колонизироваться в своей собственной стране и превосходством большого, сильного русского народа над большинством русских инородцев.

Наконец, Болтин переносит то и дело решение этих вопросов в область всемирной истории, и сравнительным путем разрушает мрачный взгляд Леклерка на русскую цивилизацию и русскую будущность. Он показывает, насколько проще и прочнее русская колонизация казаками, торговцами, крестьянами колонизации римской при посредстве легионов. Он показывает, какими жестокостями и истреблением ознаменована западноевропейская история сравнительно с русской, имеющей собственно одного тирана – Иоанна IV. Особенно сильно он поражает с этой стороны Леклерка за его восхваления успехов иноземцев во времена самозванцев. Болтин указывает, как эти прославляемые Леклерком иноземцы сознательно нарушили мир России без всякого повода с ее стороны, как они ввели в нее заведомого обманщика и сколько беззаконий совершили на русской земле.

Болтин даже решился спуститься в самую глубь русской исторической жизни, в глубь народа, т. е. в такую область, где действительно нет места превосходству Западной Европы перед Россией. В одном месте, показывая силу и прочность расширения Русской державы, он указывает, что в прежде присоединенной Малороссии и недавно тогда присоединенной Белороссии – этих старых русских областях – народ русский сам стремится к России и сам стоит за себя в борьбе с врагами.

В другом месте он идет еще дальше. Разбирая рассуждения Леклерка о русских крестьянах, отпускаемых на волю, и о

недавней тогда премии, объявленной в Вольном экономическом обществе за сочинение о лучшем устройстве крестьян<sup>239</sup>, Болтин смеется над западноевропейской личной волей простых людей без хозяйства, без земли. Но тут и был пробный камень для Болтина, пробы которого он не выдержал. Он боится сильных, резких преобразований и ввиду опасностей советует не трогать существующего порядка. «Поражая злоупотребления и отъемля слабости пороков, беречься надобно, – говорит он, – чтобы не уменьшить силу добродетелей: неумеренное исправление было причиной разрушения многих царств. Исправляя обычаи и нравы, должно быть весьма осторожно; надобно иметь великое познание человеческого сердца... Состав человеческий есть из пороков и добродетелей; есть смешение качеств добрых и злых; надобно на добрых весах весить неудобности обычая с пользой, очаемой от уничтожения его; и, когда вес будет равен, то лучше оставить вещи так, как они были»<sup>240</sup>. В другом месте он высказывается гораздо подробнее и яснее. «Между вольности и вольности, и между рабства и рабства есть разность, да и разность великая и многообразная... Бывает вольность хуже, несноснее рабства, а рабство выгоднее, удовольственнее свободы... Если все степени вольностей, коими пользуются разные народы, рассмотреть и различить, обрящется их великое количество, одна другой больше или меньше с названием своим не сходствующие. Из сих многообразных вольностей надобно нам избрать такую, которая бы сообразна была нашему настоящему физическому и нравственному состоянию, а за всякую без выбора хвататься отнюдь не должно; понеже та же самая вольность, которая один народ делает счастливым, для другого будет руководством к несчастью, к гибели... Земледельцы наши прусской вольности (личной, обремененной налогами) не снесут, германская не сделает состояния их лучшим, с французской помрут они с голода, а английская низвергнет их в бездну гибели»... Далее Болтин даже рассуждает о том, что не всякому народу вольность может быть полезна и не всякий умеет ее снести... и заключает: «Не будучи апостолом рабства, не скажу я, чтоб наши земледельцы в таком состоянии были,

чтоб не нужно было дать им облегчение, пособие к выгоднейшей жизни, но скажу, что сие облегчение, сие пособие не в даче вольности долженствует состоять, а в ограничении помещичьей над ними власти и в некоторых других средствах, о коих предложу я в другом месте»<sup>241</sup>. Средства эти, по мнению Болтина, должны состоять в ограждении собственности всех крестьян и определении их повинностей<sup>242</sup>. Идеалом для этого Болтин берет государственных крестьян: «говоря вообще, наши крестьяне, а особенно государственные, не почитают своего состояния несчастным, в рассуждении рабства, а особливо те из них, которые живут в изобилии, в довольстве и в покое. Они о лучшем состоянии и воображения себе сделать не могут, а чего не понимают, того и желать не могут: счастье человеческое зависит от воображения»<sup>243</sup>.

Заметим, что это писалось спустя немало времени после назначения упомянутой премии о крестьянах, после составления Наказа об Уложении и Комиссии для этого, где много было рассуждений об этом же вопросе, наконец, это писано спустя немногим более 10 лет после Пугачевского бунта и в такое время, когда в Белоруссии раздавались вопли народа по поводу раздачи государственных крестьян в частную собственность, а в Малороссии еще не высохли слезы и не утихли горькие чувства от усмирения в пользу польских панов так называемой гайдамацкой смуты. Очевидно, Болтин не додумался до истинного понимания простого русского народа и его упований. И на это есть еще другое неопровержимое доказательство. Он не понимал достоинства русского народного творчества, и по поводу отзыва Леклерка о русских старинных песнях, об Илье Муромце, о пирах Владимира, т. е. о былинах, что в них есть искры поэтического духа, краткость мыслей и сила выражений, говорит: «Подлинно таковые песни изображают вкус тогдашнего века, но не народа, а черни, людей безграмотных и, может быть, бродяг, кои ремеслом сим кормились, что слагая таковые песни, пели их для испрошения милости, подобно тому, как и ныне нищие, а паче слепые, слагая нелепые стихи, поют их, ходя по торгам, где чернь собирается. Сказанные песни такого же точно рода, как сии

нищенские, называемые стихами, и сочинены подобными авторами, следовательно, вкуса и нравов народа изображать не могут. Изображают вкус и нравы народа тогдашнего века летописи: Несторова, Иоакимова, законы Ярославовы и Изяславовы, договоры мирные, грамоты, изложения духовные и политические и подобные сим, уцелевшие от древности остатки»<sup>244</sup>.

По странной игре случая князь Щербатов – человек неоспоримо аристократического склада мыслей, в понимании этого самого дела ушел дальше Болтина. «Скифы и славяне, – говорит он, – первые обладатели России, есть ли не письменами, ибо они их не имели, то по крайней мере песнями, изустными преложениями и другими подобными способами память знатных дел сохраняли как в знак благодарности к прежним своим благодетелям, так и для побуждения к добродетели народа»<sup>245</sup>.

Борьба Болтина с Леклерком повела его неизбежно и к борьбе с князем Щербатовым. Леклерк, знавший, без сомнения, первые тома князя Щербатова, высказал несколько положений, сходных с его мнениями. Так, кроме вопроса о значении народных древних песен, оба они роднили русских с гуннами через родство сих последних со скифами, и оба одинаково признавали самую обидную для Болтина мысль о низкой степени нашей культуры до призвания князей, и в первые времена нашей государственности низводя наших предков до кочевого состояния.

Нападая на Леклерка, Болтин косвенно задевал и князя Щербатова, а в одном месте даже весьма прозрачно указал на него, сказав, что «весьма ошибаются те, кои думают, что всякой тот, кто по случаю мог достать несколько древних летописей и собрать довольное количество исторических припасов, может сделаться историком; многого еще ему недостает, если кроме сих ничего больше не иметь. Припасы необходимы; но необходимо и уметь располагать оными, которое вкупе с ними не приобретается»<sup>246</sup>.

Щербатов не выдержал и в 1789 г. напечатал брошюру под заглавием «Письмо князя Щербатова, сочинителя российской

истории к одному его приятелю в оправдание на некоторые сокрытые и явные осуждения, учиненные его «Историей» от ген. м. Болтина». В этом ответе Щербатов простодушно развивает мысль, высказанную им не раз в его исследовании о русских древностях, что сведения писателей об этих делах неточны, сбивчивы, и дополняет, что ему тем легче можно было ошибиться, что он не знает древних языков. На беду еще Щербатов затронул подлинность Иоакимовской летописи и, следовательно, авторитет Татищева. Это была искра, брошенная в горячий материал. В том же 1789 г. Болтин написал ответ, в котором беспощадно громил автора не только за незнание древностей, но и за незнание летописей и неуважение к Татищеву. В подтверждение этого Болтин привел множество погрешностей Щербатова, все это подвел под самый обидный запрос: если автор так мало знает дело, то зачем брался за него?

Щербатов, издавая в том же 1789 г. четвертый том пятой части своей «Истории», предпослал ему уведомление, в котором объясняет свои ошибки и благодушно предлагает их исправить, указывая места своей книги и то, как нужно исправить.

Болтин еще больше вскипел, снова взялся за пересмотр «Истории» Щербатова и, проверяя ее тем же способом, каким проверял «Историю» Леклерка, написал опять два тома критических примечаний, которые были изданы уже после смерти и самого автора, и Щербатова, именно в 1793 г.

Чтобы дать понятие о силе и желчности этих примечаний, приведу несколько выписок. «Всякую историю вновь сделать, а особливо сделать хорошо, очень трудно, и едва ли возможно одному человеку, сколь бы век его ни был долог, достичь до исполнения намерения такового, при всех дарованиях и способностях к тому потребных. Ибо прежде нежели начато будет здание истории, надлежит потребные к тому припасы приискать, разобрать, очистить, образовать, а для сего требуется несравненно более трудов и времени, нежели на совершение целого здания». Сказав затем, что при этом прежде всего нужно разрабатывать отечественные источники, а затем

взяться за новый, не менее важный труд, состоящий в собирании известий из чужестранных историков и летописцев не только соседних нам государств, но и самых отдаленных, Болтин продолжает: «Обмысливши все сие, должно будет согласиться, что приуготовление к истории не меньше есть важно и трудно, сколь и самое ее сочинение. Сии самые способы употребляли все историки к достижению цели своего намерения. Достопамятный наш Татищев тем же путем шествие свое начал; не принялся он писать истории прежде нежели летописи исправить и объяснить и для географии нужные сведения соберет; но занят будучи многими государственными делами не успел великого сего предприятия окончить».

«К. Щербатов, устранив сего трудного пути, избрал для себя другой, несравненно легчайший, т. е. начал писать «Историю», не заботясь нимало о предварительном снабжении себя сказанными способами; разных списков с летописей между собой не согласил, разбора между ними не учинил, к пониманию разума, сказуемого ими, себя не приуготовил, а о географии ниже малейшего внимания употребить не хотел и тем самым отверз свободный вход в свою историю не токмо всем заблуждениям историков иностранных и всем ошибкам, вкравшимся в наши летописи от переписок, но и бесчисленному множеству новым, происшедшим от собственных недостатков и нерадения<sup>247</sup>... многие деяния и приключения в вящий привел беспорядок; на место истинного или вероподобного поставил или сомнительное, или невероятное, и вместо открытия тайных причин деяний, и самые ясные помрачил прибавлением из головы странных и несогласных с обстоятельствами мнений и рассуждений, и запутал. На все сие сочинитель найдет в последствии примечаний моих ясные доказательства»<sup>248</sup>.

Действительно, доказательств много<sup>249</sup>, и не трудно было их набрать в таком большом труде о предмете малоработанном, в труде, состоявшем из 15 томов в четвертую долю листа. Но рядом с ошибками у Щербатова есть и большие достоинства, которых страстный критик не хотел видеть.

Несмотря, однако, на эту страстность и крайность мнений, Болтина нужно признать самым дельным исследователем нашей истории в прошедшем столетии. Никто из тогдашних писателей не знал лучше его русской истории, и никто глубже его не понимал, кроме, конечно, Ломоносова. Не без основания его можно назвать предтечей так называемых славянофилов.

Печальная судьба постигла и библиотеку Болтина. После его смерти она перешла к его приятелю и тоже знатоку русской истории Мусину-Пушкину и в 1812 г. сгорела в Москве вместе с рукописными и печатными драгоценностями самого Мусина-Пушкина.

Сочинения Щербатова и особенно Болтина яснее всего доказывают уже высказанную нами мысль, что русское прошлое, даже самобытные его особенности возбуждали тогда большой интерес в русском обществе. Даже Академия наук должна была, при всем шуме, произведенном Шлецером, поддаться этому направлению и уделять немало своих средств и людей на издание «Русских исторических памятников и русских исторических сочинений». Сам Миллер настолько покорился этому направлению, что не только усердствовал в деле этого издания, но даже изменил свое мнение по важнейшему вопросу русской истории, волновавшему русские умы XVIII в., – по вопросу о призвании князей, и склонился к мнению Ломоносова<sup>250</sup>.

Сама Екатерина II чем дальше, тем больше занималась русской историей, и нельзя не заметить, что, как в других делах, так и в этом деле она подражала Елизавете Петровне, или, лучше сказать, брала начала, намеченные при Елизавете, и развивала их или видоизменяла с свойственной ей гибкостью ума. При Елизавете русскую историю по такому важному и трудному вопросу, как время Петра, поручено было писать иноземцу Вольтеру. Екатерина с замечательной опрометчивостью, ясно показывавшей тогдашнее ее непонимание дела, высказывала Вольтеру сожаление, что не при ней он исполнял это поручение, что она дала бы ему все необходимые материалы для составления обстоятельной «Истории» Петра, т. е., вернее всего, она передала бы ему



необходимые материалы на их погибель. Очень естественно, что при таком легкомысленном взгляде на писание «Истории» Екатерина даже долго спустя после того поддалась на дикое предложение одного французского эмигранта – Сенека, поселившегося в Венеции, который в 1790 г. предложил написать «Русскую историю» и для этого просился в Россию и получил и деньги, и доступ к русским источникам, но сейчас же привел Екатерину к полнейшему разочарованию<sup>251</sup>. Но эта жалкая дань иноземству очень щедро вознаграждена другими делами Екатерины. Другой пример Елизаветы – покровительство русскому человеку Ломоносову – вызвал самые плодотворные подражания. От легкомысленных надежд, что труды знаменитого Вольтера или пустого Сенеки могут быть полезны для русской истории, Екатерина переходила к покровительству простому усердию крестьянина Голикова – привести в известность и прославить дела Петра, и к покровительству столь же скромному и столь же трудолюбивому князю Щербатову. Но больше всего делает честь Екатерине то, что она приблизила к себе и приняла руководство таких любителей и знатоков дел русского прошедшего, как Мусин-Пушкин и особенно Болтин. Она подобно многим русским была возмущена историей Леклерка, и когда через Мусина-Пушкина узнала, что Болтин разобрал это сочинение, то с радостью побудила и дала средства издать его знаменитые критические замечания на «Историю» Леклерка. Болтин и был главнейшим руководителем и помощником при ее занятиях русской историей.

Известно, что Екатерина, тоже по подражанию Елизавете, сильно развивала придворное театральное дело, и так как сама она бралась сочинять пьесы, то рядом с другими предметами пожелала брать темы для театральных представлений в Эрмитаже и из русской истории, как, например, историческое представление из жизни Рюрика, где выступает рассказ Иоакимовской летописи о призвании князей (начинается советом новгородцам умирающего Гостомысла, и, согласно Татищеву, князя выводят из Финляндии), или начальное управление Олега, где ведется речь и о походе его на Царьград.

Обе эти пьесы шли вразрез с мнениями Шлецера, Миллера, Байера. Екатерина даже воссоздала в драме былинные образы русской старины, как, например, в пьесе «Новгородский богатырь Боеслаевич», т. е. Василий Буслаевич<sup>252</sup>. Тут, по всей вероятности, Болтин искупал свой грех по отношению к памятникам народной поэзии.

Все эти драматические труды требовали внимательного изучения русской истории, и из дневника секретаря Екатерины Храповицкого мы узнаем, как часто и много она занималась памятниками по русской истории<sup>253</sup>, а Пекарский, разбиравший бумаги ее, раскрывает нам в своей брошюре «Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины»<sup>254</sup> и ясные следы участия Болтина в этих трудах. Екатерина даже взялась за систематическое изложение русской истории и написала «Записки касательно русской истории», в которых рассказ доведен до Куликовской битвы<sup>255</sup>. В этом труде мы видим и следы Синописа (соединение славян и руссов – родоначальников русских или, правильнее, москалей), и еще яснее следы Татищева (призвание князей), и особенно Болтина (цивилизация русских до призвания князей)<sup>256</sup>.

В числе лиц, принимавших участие в занятиях Екатерины по русской истории, был, между прочим, Елагин, заведовавший театральным делом. Великий греховодник в делах жизни, Елагин был в то же время поклонником русской чистоты ломоносовского языка и самобытной славы России. На старости лет он взялся за составление «Опыта повествования о России» (1790). Любитель театральности Елагин не иначе представлял себе и историческое движение России, как театально осуждает сухое повествование и летописей, и наших историков. Он жаждал видеть в «Истории» картины, живые образы, поэтому, естественно, расположен был вносить в нее вероятное как несомненное и делать произвольные сравнения с жизнью других народов. Новгородскую жизнь он сравнивает с римской, нашу мифологию – с египетской. Но если эти вещи странны в той форме, какую им дал Елагин, то вовсе не странны в своей сущности. Мы уже говорили, что сравнение новгородских учреждений с римскими – далеко не дикое мнение, а что

касается сравнения нашей мифологии с египетской, то этот грех совершен еще составителями Ипатьевской летописи<sup>257</sup>.

Для нас «Опыт повествования о России» Елагина имеет следующее значение. История русской словесности имеет теснейшую связь с научным развитием науки русской истории. Оторванная Петром от родной почвы, русская словесность постоянно стремится восстановить эту связь и ставит свои запросы русской истории. Ломоносов ставит неразрывно эти два знания и потому сам пишет «Историю» своей родины. Елагин, словесник и театрал, тоже чувствует единство и тоже пишет «Русскую историю». Мы увидим на примере Карамзина, что область русского изящного вызывает писателя обратиться к истории своей родины. Это русская борьба с оторванностью русской мысли от ее родника – русской жизни – во всем ее объеме. Она-то и заставляла лучшие русские натуры кидаться от западноевропейской теории и образцов в область своего прошедшего и там искать себе освежения и умиротворения. Замечательно, что даже Шлецер, к которому мы еще не раз должны будем возвратиться, как будто поддался этому направлению. Он – враг Ломоносова, то и дело смотрит на наше прошедшее глазами Ломоносова – и как на русское дело, и вместе как на русское слово. В нем филолог, по-видимому, преодолевал ненавистника русских людей.

... В действительности Шлецер глубоко ненавидел русское направление в изучении русской истории и объединение с ней словесности. Он внимательно следил за тем, что делалось в России и как будто хвалил развитие исторической деятельности, но через эти похвалы сквозит и затем ясно обнаруживается злая насмешка, презрение.

В одном месте своего «Нестора» Шлецер говорит, что после его удаления из России в царствование Екатерины II, в русской словесности начался такой период... «какого никогда не бывало в свете. В эти двадцать лет (с 1794 г., когда Шлецер отказался от рассмотрения русских книг) напечатано на русском языке гораздо более подлинников (между которыми есть очень важные), нежели во все прежние царствования. И точно с сего времени все иностранные ведомости замолкли о произведениях

русской словесности» (т. е. Шлецер не давал о них знать, а другие не желали взяться за это<sup>258</sup>). В другом месте Шлецер яснее выражается, хотя тоже загадочно. Перечислив многочисленные издания по русской истории, сделанные при Екатерине, он говорит: «Какой новый свет открылся теперь в России для словесности ! Кто бы до царствования Екатерины II осмелился печатать такие вещи? Приятно было смотреть, как большая часть людей (должно быть, издававших свои произведения) веселились и не могли найтись в этом новом свете. Немецкому читателю казалось, как будто он перенесся в XVI в. своей словесности. Издатели в своих предисловиях беспрестанно повторяли давно известное мнение, что история, а особенно отечественная, есть нечто очень полезное. Немногие объявили себя: так были совестны! Многие ползали со своими изданиями у престола и всеподданнейше благодарили императрицу за все милостивейшее позволение печатать. Но великая жена не только что позволяла, она того желала, повелевала»<sup>259</sup>! Наконец, уже со всей ясностью и бесцеремонностью Шлецер высказался в следующих местах своего «Нестора». Сказав, что собственно с 1770 г. прекратилось его упражнение в русской истории и что он ничего почти не писал по этой части, Шлецер продолжает: «со мной заснула русская история и при Академии наук»<sup>260</sup>. Еще в другом месте: «Странная участь исторической словесности в России, единственная в своем роде во всем ученом мире! Сами государи ободряют, приглашают, приказывают, и ничего не делается»... Русская история, по мнению Шлецера, даже пошла тогда назад: «Русская история... начала терять ту истину, до которой довели ее было Байер и его последователи (т. е. теорию норманнского призвания князей), и до 1800 г. падение это делалось час от часа приметнее»<sup>261</sup>.

Для более ощутимого доказательства этой истины Шлецер остановил свое внимание на том приеме писать «Историю», который вводили писатели изящной словесности, и при том Шлецер вспомнил старый грех этого рода – «Русскую историю» Емина, изданную еще в 1767 г. «Невежество и бесстыдство сочинителя, – говорит он, – превосходит всякое вероятие и

делает стыд как своему времени, так и русской словесности. Он ссылается на множество книг, которых нет на свете, например, сочинения Полибия о славянах, Ксенофонтова история о скифах; что руссы не были немцами, то доказывается многими древними греческими и польскими авторами, что Новгород был силен до Рюрика, что Аскольд был сильным в южной части России задолго до Рюрикова пришествия и т.п.»<sup>262</sup>. Удивительно, почему при этом Шлецер оставил без критики однородное с этим сочинение Елагина, которое он знал и на которое во многих местах ссылается<sup>263</sup>.

Шлецер признал себя опять единственным спасителем русской истории и решился издать своего «Нестора»: «...Тут профессор русской истории, – говорит о себе Шлецер, – потерял все терпение, с которым он лет 10 смотрел издали на этот плачевный упадок и написал эту книгу («Нестор»)<sup>264</sup>. Тут, как и в других многочисленных случаях, Шлецер говорил неправду. В действительности он увидел действительную опасность своим воззрениям, – увидел, что русские делают твердые шаги в развитии своей науки не по его указке, что даже немцы помогают им в ниспровержении немецкой теории. Вот почему он вострепнулся и взялся за издание своего «Нестора».

**Разработка русской истории в Москве.** Еще до назначения в Москву Миллера, т. е. до 1765 г., там выступил на великую слишком полувековую (1762–1814 гг.) работу по русской истории необыкновенный труженик Н.Н. Бантыш-Каменский. Этого малоросса привело в Москву и утвердило в ней родство с московским Митрополитом Амвросием, который был ему дядей. Амвросий записал (1755 г.) его учеником в московскую академию, где он, между прочим, сблизился с Платоном, будущим московским Митрополитом, что, по всей вероятности, имело немалое влияние на расположение Бантыша-Каменского к историческим занятиям, которые очень любил Платон<sup>265</sup>. Затем Бантыш-Каменский был в Московском университете, где не мог не узнать Новикова. Москва с ее историческими сокровищами приковала его к себе. В 1762 г. он попросился на службу в Московский архив, где и прослужил до конца дней своих. Миллер, перейдя в Москву, конечно, сразу

увидел, какого неоцененного помощника нашел он в Бантыш-Каменском, который с того времени и расширил круг своих занятий, но зато и выносил на своих плечах всю тяжелую работу по приведению Архива в порядок и по разным официальным запросам. Лучшие русские люди, такие как Щербатов, Мусин-Пушкин и потом Румянцев, скоро заметили Бантыша-Каменского и сблизились с ним.

Бантыш-Каменский сильно передвинул центр тяжести в нашей науке, – передвинул от вопроса о русских древностях в область достоверных богатых русских источников – актов. Он изменил и направление Миллера, давно склонного к этому переходу, но, по примеру других русских иноземцев, больше интересовавшегося делами Сибири, а не внутренней Россией. Бантыш-Каменский своими занятиями выдвинул Миллера в самую середину русской исторической жизни – в документальные богатства Московского единодержавия. В высшей степени замечательно, что Бантыш-Каменский в истории Московского единодержавия понял самый светлый момент – лучшее время Иоанна IV, когда им руководил Адашев, от которого, по ученым ли исследования Бантыша-Каменского, или по семейному преданию, происходила жена этого почтенного архивариуса, родом Куприянова<sup>266</sup>. С пониманием этого величественного в русской жизни времени естественно соединялось уяснение других важнейших сторон Московского единодержавия, как история борьбы между школой Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Этим мы объясняем себе изобилие памятников по этой части в «Вивлиофике» Новикова, как и вообще богатство там памятников из истории Московского единодержавия.

В самом конце XVIII в. это изучение русской истории по богатым архивным документам выразилось в двух замечательных трудах, до сих пор не потерявших своего научного значения. Сам Бантыш-Каменский по вызову Екатерины написал «Историю Западнорусской унии», а близкий ему еще по студенчеству в Московской Академии Митрополит Платон написал «Историю Русской Церкви», богатую и разъяснением гражданских дел, каково, например, его

объяснение происхождения самозванческих смут. В этой «Истории» есть довольно ясные следы влияния Бантыша-Каменского на документальную часть «Истории», так как в ней встречается немало грамот, хранящихся в Московском архиве. Оба эти писателя сошлись, кроме того, еще в одном деле, едва ли еще не более важном, чем их сочинения. Митрополиту Платону наша наука обязана тем, что он ввел в Московской Академии (1785 г.) преподавание церковной истории<sup>267</sup>, а около Бантыша-Каменского в Главном архиве группировались многочисленные молодые люди, некоторые из них оказались потом замечательными исследователями по нашей науке. Достаточно указать на Малиновского. Таким образом, оба они заняты были успехами нашей науки в будущем и возбуждали любовь к ней в молодом поколении<sup>268</sup>. В этом они сошлись с упомянутым нами замечательным деятелем – Новиковым.

Одновременно с тем как в Москве отвлечено было внимание изыскателей прошедших судеб России от древностей к положительной истории России, там же, в Москве, стало развиваться еще другое направление, которое с необыкновенным успехом устанавливало трезвые взгляды на весь ход русского исторического развития и давало надежные путеводные нити всякому новому изыскателю. Мы разумеем Новиковскую школу, с которой необходимо ближе ознакомиться, чтобы понимать главнейшие направления в нашей науке в последующие времена.

**Н.И. Новиков и его школа.** Мы не раз говорили о страшном разложении русского общества в XVIII в. Исторически живучий народ всегда находит и выдвигает средства выйти из опасности и стать на новый путь. Выдвигал такие средства и русский народ в XVIII в. Здесь мы, впрочем, укажем лишь на то, что придумывала та самая интеллигенция, в которой происходило это разложение. Всем известно, каким богатством сатиры отличается история словесности прошедшего столетия. Сатиры Кантемира, Фонвизина служат выражением недовольства русского общества своим состоянием и его желания выйти из этого положения. То же самое выражалось в многочисленных тогдашних периодических изданиях, быстро возникавших и

исчезавших одно за другим. Злая насмешка казнила разврат, слепую подражательность всему иноземному. Но обличение зла есть только половина дела. Нужно указать еще положительное дело, которое должно заменить дурной порядок. Этим тоже занимались журналы и часто вели речь о любви к Родине, об уважении ее обычаев, нравов. Но на этот вопрос могли удовлетворительно отвечать уже не журналисты, а историки. Вот где глубокий смысл такого ценного труда, как трактат Щербатова «О повреждении нравов», в котором обращается внимание на лучшие стороны допетровского русского прошедшего, или таких необыкновенных произведений, как «Критические замечания» Болтина, в которых это старое русское прошедшее оправдывается и с научной стороны. Этот же самый вопрос заставил и Новикова дополнить действие сатиры своих журналов таким богатым историческим изданием, как его «Вивлиофика». От Новиковского кружка, который захватывал и многочисленные молодые силы Московского университета, естественно было ожидать, что после издания этих памятников или даже вместе с тем станут появляться исследования по русской истории или даже целые курсы «Истории», в которых будет научное оправдание того, что сознание нашего прошедшего действительно может принести врачевание современному злу. К сожалению, этого не случилось, и не только по трудности самого дела, но и по другой причине, которая явилась как врачевство, хотя в действительности врачевство было той же болезнью.

Россия XVIII в. так втянулась в западноевропейскую жизнь, так глубоко ввела в себя западноевропейские начала, что и сознав свое развращение, стала искать западноевропейского врачевства. В те времена таким врачевством считалось масонство, которое, как мы знаем, старалось соединить воедино всех людей, помимо их национальных и религиозных различий, чтобы созидать внутреннее самоусовершенствование человека и распространять его в каждой местности, в каждом слое общества. Мы видим нечто подобное у нас и теперь в собраниях светских людей, где развиваются теории Редстока,



Пашкова, и в обращении к тому же масонству с примесью к нему новых космополитических и реалистических воззрений.

К подобному же иноземному врачевству обращались русские люди в прошедшем столетии, и замечательно, что самая умеренная и самая серьезная постановка этого дела развилась в Москве. Лучшим выразителем этого направления был Новиков, всю свою жизнь, до самого ареста в 1792 г., посвятивший изданию, кроме журналов, нравоучительных книг, заведению училищ, дальнейшему усовершенствованию молодого поколения. Просвещение он полагал основанием всякого усовершенствования, а в просвещении неразрывно соединял начало религиозное и философское. К этим двум началам он присоединил и третье – историческое образование, больше всего в смысле уразумения истории всех народов; но чем более, тем чаще и сильнее Новиков заговаривал о русской исторической жизни и устанавливал такие взгляды, которые и в настоящее время имеют значение.

Поборник высшего развития человека, кто бы ни был этот человек, естественно, стал защитником русского крестьянина и проповедовал о его свободе с такой возрастающей настойчивостью, что этому нельзя не удивляться. В журнале «Трутенъ» (1769 г.) Новиков в статье «Безрассуд», говорит: «Безрассуд должен всякий день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдет он различие между господином и крестьянином»<sup>269</sup>. В журнале Новикова «Вечерняя Заря» (1782 г.), в письме Сенеки к Луцилию говорится: «...рабы – не рабы, а сожители, покорные друзья, сослужители наши. Нужно обращаться с ними дружески, позволять им говорить, садить их за стол с собой. Наши предки почти уничтожили рабство, слуг называли они домашними, а господина – хозяином, дом был как бы маленькой республикой. Думаешь ли ты о том (спрашивает Сенека), что называемый у тебя слугой человек рожден от такого же семени, как и ты, что он питается одним с тобой воздухом и что так же дышит, так же живет и одинаково умирает. Тот глуп, кто судит о человеке по платью или по состоянию, которое мы носим наподобие одеяния. Раб ли кто? Но может быть, он вольный духом. Раб ли

кто и сие поставляется ему в вину? Так покажи же мне, кто бы был чужд рабства. Иной служит похоти, иной – скупости, иной – славолюбию, а страху – все. Между тем нет гнуснее рабства, как самопроизвольное».

В другой статье того же журнала показывается важное значение для государства крестьянского сословия. «Престол целого света не принудил бы меня забыть людей, оный укрепляющих. Тогда бы его занял, когда бы сходил и облобызал плуг, пилу и серп, твердость его (т. е. престола) составляющие»<sup>270</sup>. В интересах того же крестьянина Новиков коснулся и вопроса о налогах. В статье «Аристид» говорится: «Налог должен распространяться на всех. Я не знаю, – говорит Аристид, – ничего так нелепого, как исключить от тягостей сына за отцовские заслуги или жреца, потому что его должность состоит в призывании богов на помощь отечеству. Налог должен быть основан на ежегодном доходе, а так как такой доход дает земля, то, следовательно, налог должен быть на землю»<sup>271</sup>. Новиков пошел еще дальше. В необыкновенно резких чертах, делающих его мысли неудобными для печати даже в настоящее время, он осуждает войну, требует законности, облачает злоупотребления сильных людей, особенно временщиков, и смело рисует идеал правителей, государей.

Он решился даже на такое дело, которое, полагают, больше всего ускорило его осуждение, – он осудил покровительство иезуитам и напечатал историческую статью об иезуитах. Не отвергая некоторых заслуг иезуитов, таких как распространение христианской культуры в новом свете, распространение знания древней литературы и т. п., Новиков жестоко обличает пагубные начала иезуитства. «К несчастью рода человеческого, иезуиты часто пользовались своим влиянием для достижения самых дурных целей... они проповедовали, чтобы привлечь к себе знатных особ, уступчивое нравоучение, потворствующее страстям, извиняющее пороки... они проповедовали возмущения, заговоры с ужаснейшими преступлениями; они сопротивлялись всякому кроткому учреждению, отличающемуся веротерпимостью... Кто вспомнит о происшествиях последних двух столетий, тот найдет, что от иезуитов по справедливости

можно требовать отчета во вредных действиях, происшедших от испорченной опасной казуистики, от беспредельных правил церковной власти и от ненависти к терпению, бывших во все оное время поношением для Римской церкви и навлекших столько зла гражданскому обществу»<sup>272</sup>.

Понятно, почему иезуиты вызвали такие суждения Новикова. Они прежде всего занимались воспитанием юношества, а мы знаем, что Новиков все силы направлял именно к правильному развитию молодых сил России. В интересах этого развития Новиков, между прочим, старался установить взгляд на отечество и чужие страны, т. е. выяснить вопрос о национальности и человечности. Эти взгляды изложены в его рассуждениях о путешествиях в чужие страны.

Рассуждая о пользе путешествий в чужие края, он говорит в журнале «Покоящийся трудолюбец» (1784–1785): «Надо прежде узнать свое отечество; россиянин должен вникнуть в древний вкус многих старинных кремлевских строений, прежде, нежели рассматривать станет Луврскую колоннаду, или прежде должен удивляться монументу великого не только в России, но и в целом свете мужа (т. е. Петра), нежели будет столбенеть при воззрении на тюильрийские статуи. Не должно спрашивать у иностранцев о их достопамятностях, если не можем рассказать им о своей земле<sup>273</sup>... При отъезде в чужие земли в нас невольно является беспокойство: на родине я был гражданин, всякий был мне защитник и брат..., здесь (на чужбине) меня отделяет от окружающих меня людей различие в языке, обычаях, нравах, в самой религии. Я встречаю недоверие, я должен таиться, притворяться, лгать... Если там (за границей) найдется сердце, соединенное нежнейшей симпатией с его сердцем... то он должен там опасаться, чтобы не видеть всего того, что он желал бы встретить. Да будут там дражайшие человеческие желания предметом первых его ужасов! Так людям угодно! Вот законы! Се ли, о Боже, сие священнейшее братство! О, любезное Отечество! Не ты ли вся вселенная? О, друзья мои, не вы ли все честные люди? Смертные! Полагайте пределы своим владениям, да разделит воздвигнутый камень ваши народы, да переменят вас разные ваши обычаи по

внешности на сто различных поколений, да учинят вас тысячи различных свойств языка чужестранцами и неприятелями... обычай да переменит и обезобразит и самую природу... Но напрасно вы будете трудиться: вы всегда останетесь подобны по сущности, всегда будете слабы, боязливы даже и в варварском состоянии, расположены к взаимной любви даже и при самых убийствах; будете всегда братья, несмотря на различные свои наименования»<sup>274</sup>.

Приведенные слова, надеюсь, ясно показывают, что у Новикова идеи общечеловечности определеннее и тверже, чем идея национальности, и что между ними очевидно противоречие, слишком несостоятельно прикрытое. Массонство в Новикове было тогда гораздо сильнее, чем его знание национальных русских задач. Не сознание ли слабости этого последнего знания и заставило Новикова взяться с новым усердием за издание русской «Вивлиофики», которую он стал переиздавать в 1788 г. и продолжал издание новых материалов до самого того времени, как над ним разразилась катастрофа<sup>275</sup>.

Новиков развертывал свою обширную деятельность и вырабатывал свои взгляды не один или в малочисленной группе, а в кругу многочисленных последователей, особенно в среде университетской московской молодежи, которая и принимала участие в его изданиях. Из этой-то среды университетской и в то же время новиковской и вышел знаменитейший из наших историков Н.М.Карамзин, на котором неоспоримо отразились эти новиковские воззрения, но который, в свою очередь, и пошел дальше своего учителя в знании своего родного прошедшего и во многом очистил это знание от иноземного влияния.

## Глава VIII. Н.М. Карамзин

Через год после того как звание русского историографа получил Шлецер – не только иностранец, но даже не обязанный постоянно жить в России и в действительности порешивший совсем ее оставить, т. е. в 1766 г., родился будущий русский историограф Н.М. Карамзин. Воспитание в Московском университете и связи с кружком Новикова весьма рано, еще около 20-летнего возраста, вызвали в Карамзине отзывчивость на все живые вопросы русской словесности и русской жизни. Личные качества Карамзина ускорили его развитие. Это был необыкновенно блестящий литератор, т. е. человек с хорошим образованием, живым умом, сильным воображением, большой памятью и способностью писать ясно, увлекательно. Кроме того, необыкновенно мягкая, кроткая его натура сближала его с лучшими людьми его времени: Дмитриевым, Румянцевым, Муравьевым, Батюшковым, Блудовым, Жуковским, Пушкиным.

Как бы выполняя программу Новикова, что молодым людям для довершения своего образования нужно ездить в чужие края, Карамзин около полутора года путешествовал по Западной Европе (с мая 1789 г. и по сентябрь 1790 г.). Впечатления его во время этого путешествия вылились в знаменитых «Письмах русского путешественника». Область изящного по преимуществу его занимала; занимала и философия, но заняло и третье новиковское основное начало в развитии человека – история, и притом не одна чужая, а родная, причем обнаружилось, что он уже и тогда вдумывался в главнейшие явления нашей исторической жизни и, без сомнения, многое уже читал и знал. Карамзин в этом отношении прошел целую школу. Пораженный величием западноевропейской культуры, он дал волю своему увлечению новиковской теорией и сделался страстным поклонником общечеловеческого развития. «Все народное ничто пред человеческим, – писал он в 1790 г. из Парижа. – Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских»<sup>276</sup>. Но от этого космополитизма

спасала Карамзина тогда же тоска по родине и знание ее прошедшего. Тоска и обида за Россию заставили его напрягать силы, чтобы найти и в России, в ее прошедшем что-либо хорошее. Он ухватился за Петра и преклонялся перед его Преобразованиями; но этого было мало, или, лучше сказать, это было первой ступенью от общечеловеческих воззрений к национальным. Рядом с Петром встали пред Карамзиным и другие образы нашего прошедшего. Он их тоже связывал с Западной Европой, но еще больше – со своей русской жизнью. В том же письме из Парижа Карамзин писал: «...больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей «Российской истории», т. е. писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы. Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить (?); и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословная князей, их ссоры, междоусобия, набеги половцев не очень любопытны: соглашаюсь, но зачем наполнять ими целые тома? Что не важно, то сократить, как сделал Юм в английской истории, но все черты, которые означают свойство народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные, описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий – Владимир, свой Людовик XI – царь Иоанн, свой Кромвель – Годунов, и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микеланджело»<sup>277</sup>.

Из этих слов мы видим, что перед Карамзиным стоял также запрос касательно русской истории, запрос, так сказать, словесный, который возник при Ломоносове и во время Карамзина вызывал на писание «Истории» Елагина. Но из этих же слов видно, что из-под слоя словесных литературных

запросов на историю уже проглядывает серьезное отношение и серьезное знание нашей истории. Это серьезное отношение, это серьезное знание росло в будущем историографе и сказывалось даже в его повестях. Так, в повести «Наталья – боярская дочь» говорится во вступлении: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, т. е. говорили так, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сенью давно истлевших вязов искать бородатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского»<sup>278</sup> и проч.

Здесь мы видим уже и определившееся направление будущего историка. Он здесь ясно обрисовывает очерк русской национальности, бледно набросанный Новиковым, и определяет ее общечеловеческое значение, а этого можно было достичь не полетом на крыльях воображения, а усидчивым изучением памятников своего прошедшего, область которых более и более расширялась перед Карамзиным. В 1793 г. он даже публично заявил, что берется за историческое дело. «Буду учиться, – писал Карамзин в последней книжке своего Московского журнала, прекращаемого им, – буду пользоваться сокровищами древности, чтобы после приняться за такой труд, который мог бы остаться памятником души и сердца моего если не для потомства (о чем и думать не смею), то, по крайней мере, для малочисленных друзей моих и приятелей»<sup>279</sup>.

Это писано было вскоре после того, как Новиков засажен был в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет – печальное событие, которое чуть было не отразилось и на Карамзине, так как подозревали, что и он далеко зашел в масонство, и на средства кружка Новикова ездил за границу, что было совершенно неверно и было разъяснено. Вскоре (1795 г.) стали даже ходить слухи, что Карамзин удален из Москвы в деревню (жил в Симбирской губ.), что опять было неверно. Наконец, Карамзин еще больше поразил московское общество тем, что,

возвратившись в Москву, стал вести самую светскую жизнь, завел четверку лошадей, часто выезжал и жил, по-видимому, ничем не занимаясь. Он даже как будто изверился и в русском обществе, в возможности основать хотя бы то слабые надежды безбедного существования на сочувствии общества к литературе. В 1798 г. он писал... своему задушевному другу Дмитриеву: «Я рассмеялся твоей мысли жить переводами! Русская литература ходит по миру с сумою и с клюкою: худая нажива с нею»<sup>280</sup>. Но в действительности было далеко не так. В 1797 г. он углублялся в русскую историю и собирался изучать, между прочим, «Историю» Голикова о Петре, так как в это время задумал написать «Похвальное слово Петру и Ломоносову». В 1800 г. он писал Дмитриеву: «Я по уши влез в русскую историю; сплю и вижу Никона с Нестором»<sup>281</sup>. Наконец, в 1802 г. он начинает выпускать новый журнал «Вестник Европы», чтобы обеспечить себе безбедное существование и потом совершенно отдаться русской истории<sup>282</sup>. «...Будучи весьма небогат, – писал потом Карамзин (28 октября 1803 г.), – я издавал журнал («Вестник Европы») с тем намерением, чтобы принужденной работой (пяти или шести лет) купить независимость, возможность работать свободно и писать единственно для славы, одним словом, сочинять «Русскую историю», которая с некоторого времени занимает всю душу мою»<sup>283</sup>. Статьи по русской истории, помещенные в «Вестнике Европы», показывают, что Карамзин совершенно верно сказал, что русская история занимает всю его душу; но неверно сказал, что эта история занимает его с некоторого времени. В статьях «Вестника Европы» есть вещи, доказывающие и давнее изучение русской истории, и глубокое понимание ее, и даже широкое применение ее в деле искусств и общественного воспитания.

В статье «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице» Карамзин дает нам художественную картину царствования Годунова, – его благодеяний и злодеяний, и пораженный этим противоречием, робко бросает тень сомнения на достоверность злодеяний Годунова, причем дает понятие о высоком значении правдивой исторической критики: «Вот



любопытная эпоха нашей истории, – говорит он о времени Годунова, – трудная, но весьма занимательная для ума исторического. Он должен решить важное сомнение не только для России, но и для Европы, решить не иначе, как собрав довольное число вероятностей для произведения морального уверения. Хотя историк судит без свидетелей, хотя и не может допрашивать мертвых: однако же истина всегда заранивает искры для наблюдателя беспристрастного; должно отыскивать их в пепле – и тогда происшествие объяснится»<sup>284</sup>.

В статье «О тайной канцелярии» сделана такая характеристика целых царствований, которую мог написать только знаток русской истории. «Алексей Михайлович, – говорит Карамзин, – не казнил и не душил бояр подобно Ивану Васильевичу, не боялся их подобно Годунову, не равнялся с ними подобно Шуйскому и царствовал смелее, надежнее своего родителя»<sup>285</sup>. Разгадывая тайну этого могущества Алексея Михайловича, Карамзин в другой статье «О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» дает нам необыкновенно художественную картину величайшей крепости единения царя с народом, когда этот царь на Кремлевской площади говорил с взбунтовавшимся народом и силой своей кроткой, любящей души покорила сердца бунтовщиков<sup>286</sup>. Карамзин сопоставляет при этом необыкновенные качества русского народа. «История нашего отечества, подобно другим, описывая жестокие войны и гибельные раздоры, редко упоминает о бунтах против властей законных, что служит к великой чести народа русского. Он, кажется, всегда чувствовал необходимость повиновения и ту истину, что своевольная управа граждан есть во всяком случае великое бедствие для государства. Таким образом, народ московский великодушно терпел все ужасы времен царя Ивана Васильевича, все неистовства его опричников, которые подобно шайке разбойников злодействовали в столице, как в земле неприятельской. Граждане смиренно приносили жалобу, не находили защиты, безмолвствовали и только в храмах Царя царей молили небо со слезами тронуть, смягчить жестокое сердце Иоанна»<sup>287</sup>.

Поняв сам достоинство родного прошедшего, Карамзин предъявлял и русскому обществу требование изучить его. «Я не верю, – говорит он в статье «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств», – я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи, или не занимается ими; надобно знать, чтобы любить, а чтобы знать настоящее, должно иметь сведения о прошедшем»<sup>288</sup>.

Мысль Карамзина, как и Новикова, Платона и Бантыша-Каменского обращалась при этом на будущие силы России и на воспитание их в любви к Родине. Указав на некоторые личности нашей истории, достойные художественного воспроизведения, как Святослав, Ольга и другие, и заметив при этом, что не одни столицы должны быть «сферой благословенных действий художества, но во всех обширных странах российских надобно питать любовь к отечеству», Карамзин продолжает: «Во Владимире и Киеве хочу видеть памятники геройской жертвы, которой их жители прославили себя в XIII веке. В Нижнем Новгороде глаза мои ищут статуи Минина, который, положив одну руку на сердце, указывает другой на московскую дорогу. Мысль, что в русском, отдаленном от столицы городе дети граждан будут собираться вокруг монумента славы, читать надпись и говорить о делах предков, радует мое сердце. Мне кажется, что я вижу, как народная гордость и славолюбие возрастают в России с новыми поколениями... А те холодные люди, которые не верят сильному влиянию изящного на образование душ и смеются, как говорят они, над романическим патриотизмом, достойны ли ответа? Не от них отечество ожидает великого и славного; не они рождены сделать нам имя русское еще любезнее и дороже»<sup>289</sup>.

Если мы вспомним, как понимались значение родины, национальность в кружке Новикова, то должны будем согласиться, что Карамзин далеко ушел от своего учителя и дал новое, яркое освещение этому предмету. Здесь совершенно ясно даже для холодных людей, почему важно и достойно быть русским. Здесь можно видеть даже осуждение Карамзиным того космополитизма, который так ярко выставлен в журналах

Новикова и у самого Карамзина в «Письмах русского путешественника». Но неужели Карамзин действительно так далеко отошел от Новикова и так скоро забыл собственное положение, высказанное в «Письмах русского путешественника», что прежде нужно быть человеком, а потом уже русским<sup>290</sup>? Ответ на это дает «Похвальное слово» Карамзина Екатерине II, написанное им в конце 1801 г. В этом «Слове» Карамзин, прежде всего, старается отыскать главное благодеяние для России Екатерины, которое «изъясняет все другие и которое всеми другими изъясняется»; найти, так сказать, по словам Карамзина, «священный корень нашего блаженства во дни ее (Екатерины), сию печать, сей дух всех ее законов». Это основание, этот корень, по мнению Карамзина, в следующем. «Она уважала в подданном сан человека, морального существа, созданного для счастья в гражданской жизни... Екатерина преломила обвитый молниями жезл страха, взяла масличную ветвь любви и не только объявила торжественно, что владыки земные должны властвовать для блага народного, но всем своим долголетним царствованием утверждала сию вечную истину, которая отныне будет правилом российского трона, ибо Екатерина научила нас рассуждать и любить в порфире добродетель»<sup>291</sup>.

Верно или нет это изображение царствования Екатерины – это другой вопрос. Для нас важнее в настоящем случае то, что Карамзин здесь почти дословно повторяет воззрения Новикова на общечеловеческие права русского человека. С Новиковым Карамзин согласен и в вопросе о просвещении, заботами о котором славилось время Екатерины. «Дайте способ человеку, – говорит Карамзин, – в каждом гражданском отношении (т. е. положении) находить то счастье, для которого Всевышний сотворил людей: ибо главным корнем злодеяний бывает несчастье. Но чтобы люди умели наслаждаться и быть довольными во всяком состоянии мудрого политического общества, то просвещайте их»<sup>292</sup>. Карамзин даже подобно Новикову понял важность низших народных школ<sup>293</sup>. Но тут-то обнаружился корень разногласия его с Новиковым. Он тут суживает общечеловеческое значение благ жизни, больше и

больше, если можно так выразиться, отливает эти блага в формы национальные, и действует в этом случае то под влиянием исторического изучения России, то под влиянием интеллигентных воззрений западноевропейских, закрывшихся к нам. Представляем несколько выписок, подтверждающих неоспоримо, что Карамзин, переходя от новиковского космополитизма в область национальности, проводит то русские, то западноевропейские воззрения как бы в назидание потомству, что то, что называется космополитизмом, является в действительности непременно в национальных формах, родных или чужих для того, кто за ним гоняется. Как бы повинуюсь силе того исторического факта, что в России простая народная масса своей численностью неизмеримо превосходит интеллигенцию, Карамзин ставит низшие народные училища выше всех других заведений и дело простого учителя – выше дела всех возможных ученых. «Они (училища в малых городах) могут и должны быть, – говорит он, – полезнее всех академий в мире, действуя на первые элементы народа; и смиренный учитель, который детям бедности и трудолюбия изъясняет буквы, арифметические числа и рассказывает в простых словах любопытные случаи истории или, развертывая нравственный катехизис, доказывает, сколь нужно и выгодно человеку быть добрым, в глазах философа почтен не менее метафизика, которого глубокомыслие и тонкоумие самым ученым едва вразумительно, или мудрого натуралиста, физиолога, занимающих своей наукой только некоторую часть людей»<sup>294</sup>. Это уже было косвенным осуждением масонства. Еще дальше отошел от Новикова Карамзин в понимании форм русской политической жизни, и опять потому, что несравненно больше его изучал и знал русскую историю. Он, подобно Новикову, охраняет святость закона, свободу слова, – славить Екатерину за собрание Комиссии для составления Уложения<sup>295</sup>, за вольные типографии, умеренную цензуру и благодушное отношение к политическим грехам слова. Но совершенно вразрез с Новиковым и в противоречии с собственным взглядом на значение низших училищ, на депутатов, не видит греха екатерининской законодательной Комиссии по отношению к

русскому крестьянину, за что Новиков так жег сатирами русское общество. По этому вопросу Карамзин, как видно из других его сочинений, принял и даже сузил взгляд Болтина. Взгляд же Болтина лежит в основе его рассуждения о самодержавии. «Мое сердце, – говорит Карамзин, – не менее других воспламеняется добродетелью великих республиканцев; но сколь кратковременны блестящие эпохи ее? Сколь часто именем свободы пользовалось тиранство, и великодушных друзей ее заключало в узы?.. Или людям надлежит быть ангелами, или всякое многосложное правление, основанное на действии различных волей, будет вечным раздором, а народ несчастным орудием некоторых властолюбцев, жертвующих отечеством личной пользе своей»<sup>296</sup>.

Но когда Карамзину приходилось высказывать свой взгляд на самодержавие, то он был менее Болтина решителен и ясен и, очевидно, смешивал русские и западноевропейские воззрения на власть, в том и другом случае заметно уклоняясь от прямого слова. В памятной его книжке записано в одном месте: «Если государство при известном образе правления созрело, укрепилось, обогатилось, распространилось и благоденствует, не троньте этого правления, видно оно сродно, прилично государству и введение в нем другого было бы ему гибелью»<sup>297</sup>. В другом месте записано: «Для существа нравственного нет блага без свободы, но эту свободу дает не государь, не парламент, а каждый из нас самому себе с помощью Божьей. Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностью к Провидению»<sup>298</sup>. В своем «Похвальном слове» Екатерине Карамзин менее уклончив, но, как и прежде, собирает по преимуществу отрицательные качества для уяснения предмета и притом старается высказывать не свои, а чужие мысли. Занятый, подобно Новикову, вопросом о злоупотреблении власти, но держась уже принципа Русского самодержавия, он с заметной уклончивостью, но еще с большей находчивостью пользуется мнениями самой Екатерины, которая ставила задачу самодержцу более уважать законы, чем собственные мечты, и давать свободу подданным объявлять свои мнения<sup>299</sup>. Только

уже впоследствии, когда Карамзин писал «Историю» Московского единоподдержавия, и особенно, когда писал свою «Записку» о старой и новой России (1811 г.), он, как увидим, ясно и определенно проповедовал принцип самодержавия.

Таким образом, Карамзин далеко отошел от новиковских общечеловеческих начал жизни и гораздо больше его приблизился к пониманию русских национальных начал. Ниже мы увидим, что были писатели (так называемые славянофилы), которые несравненно глубже Новикова поняли общечеловеческие начала и несравненно глубже Карамзина поняли и лучше выяснили русские национальные начала. Но нельзя не ценить и тех шагов вперед, какие сделал Карамзин в разъяснении этих вопросов в самом начале своей деятельности на поприще истории. В этом случае немало принесло пользы даже его литературное направление – так называемый сентиментализм, который в Карамзине был и весьма искренний, и весьма нравственный. В событиях нашего прошедшего есть немало ума, но еще больше сердца. Наше прошедшее есть по преимуществу самоотверженный труд, подвиг, и понять все это больше всего можно хорошим русским сердцем, какое и было у Карамзина, и тем больше ему чести, что он свой сентиментализм соединял еще со строгой и честной наукою.

Вот писатель, который задумал написать «Русскую историю» и для этого обращался к содействию русского общества, чтобы оно дало ему возможность устроить материальное его положение и чтобы он мог потом свободно отдаться своему любимому делу. Русское общество не оставалось глухим к этому призыву.

«Вестник Европы» давал Карамзину ежегодно 6 тыс. руб. Но этим трудно было обеспечить свою жизнь в будущем, а между тем друзьям Карамзина было ясно, что он тратит свои силы на дело постороннее, когда может с таким успехом вести свое главное и любимое дело – «Русскую историю». Притом силы Карамзина стали изменять ему – стали изнемогать глаза, да и сам он томился этой помехой главной его работе.

Ближайший из друзей его Дмитриев убедил его бросить эту помеху, взяться за любимое дело и для этого просить правительство дать обеспечение. Карамзин колебался, но, наконец, в сентябре 1803 г. решился, и через месяц с небольшим, именно 31 октября 1803 г. последовал указ, которым Карамзин возведен в звание русского историографа с пенсией в 2000 руб. в год<sup>300</sup>.

Ниспровергнут был обидный приговор Шлецера, что русские государи ободряют, вызывают на работу по русской истории, и ничего не выходит. Работник сам вырос и сам вызвался на эту работу, которую, как увидим, и выполнил с таким успехом, что привел в изумление даже Западную Европу.

Шлецер был тогда в весьма раздраженном состоянии, несмотря на щедрую внимательность к нему правительства императора Александра. Еще в то время, когда он писал 1 часть своего «Нестора», ему пришлось считаться с немцем же нашей Академии Шторхом, который в 1800 г. в своем «Историческом и статистическом изображении России» доказывал, что Россия еще с VIII в. была торговым путем из восточных стран в северо-западную Европу, и что когда Рюрик пришел в эту страну, то нашел уже здесь выгодный торг. Шлецер обозвал эту совершенно верную мысль неученой и уродливой<sup>301</sup>. Но такие уродливости являлись одна за другой. Другой немец, Круг, выступил с «Хронологией», в которой устанавливал время Крещения Ольги – нашей русской княгини, и с исследованием о деньгах, в котором поддерживалась мысль Шторха<sup>302</sup>. Наконец, стал выступать и Эверс со своей теорией родового быта, тоже далеко не согласной с учением Шлецера. Появление Карамзина в положении историка должно было еще более злить его. Шлецер почувствовал, что выступает из среды русских опасный ему соперник и, как выражается Погодин, проворчал про себя в Геттингене с иронией: «Слышу я, что в Москве заводится Историческое общество; слышу, что есть уже и историограф»<sup>303</sup>.

Мы видим, что звание это не было по отношению к Карамзину даже в это время одним титулом или возведением лишь в новую должность, в которой еще неизвестно, каким окажется получивший ее. Карамзин много знал, несравненно

больше, чем Шлецер в то время, когда получил тот же титул, и в ближайшее время стал ближе и ближе доказывать делами, что трудно было найти более знающего, более честного историографа российского и, наконец, более внимательного к трудам самого Шлецера.

В письмах Карамзина к Дмитриеву и в дополнениях к ним, изложенных в «Биографии Карамзина», составленной Погодиным, есть драгоценные известия о ходе ученых работ Карамзина в знаменитом Остафьеве (в 30 верстах от Москвы подле Подольска), имении князя Вяземского, на дочери которого был женат Карамзин, а также в Москве и, наконец, в Петербурге. Министр народного просвещения Муравьев, Новосильцов, Дмитриев и особенно А.Н. Тургенев были главными лицами, доставлявшими ему рукописи и книги из казенных хранилищ. Двенадцать лет проработал Карамзин над первыми восьмью томами своей «Истории», в которых рассказ доведен до смерти Анастасии, жены Иоанна IV, т. е. до 1562 г. В эти 12 лет работа Карамзина не раз прерывалась поездками в Тверь к великой княгине Екатерине Павловне, которая принимала живейшее участие в трудах Карамзина, слушала от него чтение его «Истории», устроила близкое знакомство с Карамзиным императора Александра I и даже вызвала Карамзина в 1811 г. на составление знаменитой его «Записки» о древней и новой России, где Карамзин, подобно Щербатову, осудил новое и отдал предпочтение старому. Затем прерывалась эта работа несчастным и славным 1812 г., в который сгорела в Москве библиотека и Карамзина (уцелели рукописи и книги в Остафьеве). Прерывалась еще эта работа неоднократной болезнью Карамзина и болезнями, и потерями в его семье, и, наконец, тяжелыми для него мытарствами в Петербурге в 1816 г. по изданию этих 8 томов. Таким образом, на составление каждого из этих восьми томов «Истории государства Российского» приходилось едва ли больше года.

Можно уже по этому судить, какой страшный труд вынес Карамзин при составлении своей «Истории». Но этот труд представится нам еще больше и ценнее, если посмотрим, с каким научным достоинством он выполнен. Вот суждение о его



работе покойного Погодина, которого в этом случае, по всей справедливости, можно назвать присяжным нашей науки<sup>304</sup>. «Он рассмотрел, – говорит Погодин, – все известные до него исторические источники и множество новых, им самым открытых. Ни одного списка летописи не осталось не прочитанного, не пересмотренного, и на всех сияют следы руки его. Этого мало, он перечел столь же добросовестно историков, которые прежде его пользовались ими, и показал, где и как они уклонились, часто даже – почему. Вообразите же себе это множество списков летописей, это множество грамот и различных сказаний, это множество исследований и иностранных свидетельств, кои должно было обдумать и иметь в виду! Взгляните на примечания к каждому тому. Отовсюду извлекал Карамзин сущность и употреблял в дело... так что если бы мы имели несчастье потерять их все (т. е. источники), наука могла бы еще идти далее и совершенствоваться из одного его сочинения. В его примечаниях заключается почти другая история, столь же драгоценная, из подлинных слов составленная»<sup>305</sup> ... «Весь язык со всеми своими словарями, весь запас будущих словарей, рассеянный в памятниках, находился в его распоряжении, и послушные слова и обороты на повелительный зов его стекались из летописей, грамот, прологов, миней, сказаний и совокуплялись в какую-то волшебную гармонию, которой можно наслаждаться даже независимо от ее содержания»<sup>306</sup>... «Все события, имевшие влияние на судьбу государства, оценены более или менее, и наука если не вполне удовлетворяется его «Историей» в настоящем виде, то, по крайней мере, имеет в ней все данные, на коих должна основываться система»<sup>307</sup>.

Войдем в разъяснение этих общих суждений, в основе совершенно верных. Основной научный прием Карамзина тот, что он все читал, что до него сделано, все проверял, что говорили до него, из всего сказанного до него выбирал лучшее, а когда имел новые источники, то высказывал свое новое. Поэтому он естественно менее самостоятелен в древней русской истории, а чем дальше от древности, чем ближе к новым временам, тем он смелее, самобытнее.

Так, в древностях славянских он ясно следует приему Щербатова – больше сводит чужие изыскания, чем выдвигает свои. Шлецер напрасно встречал его зложелательно. Норманнскую теорию призвания князей Карамзин принял как теорию, казавшуюся более научной в его время. Но он вставил ее в свои рамки и благодаря русским трудам немало подорвал в ней немецкие патриотические увлечения.

Так, он отодвигает русскую культурную историю назад, в древность, ближе к временам скифов. Исследование византийских писателей о южных и восточных славянах и западных писателей о западных славянах дало Карамзину возможность отстранить в значительной степени немецкую теорию о варварстве славян до призвания князей. Тщательный свод известий обо всех славянах, особенно в области мифологической, намеченной еще Ломоносовым, дал Карамзину возможность открыть у славян еще задолго до призвания князей и своих самобытных правителей и города, и совещания, и законы, и правильное времяисчисление, и даже письменность. Удар шлецеровской научности нанесен Карамзиным, конечно, без всякого умысла, даже в самой научной части его сочинения – в разработке Нестора. Карамзин открыл древнейшие списки нашей Начальной летописи – Лаврентьевский, Ипатьевский и сгоревший потом в 1812 г. Троицкий список – не известные Шлецеру и сделавшие ненужными многие соображения и усилия Шлецера касательно подлинного текста Нестора. Эти открытия, а также открытие древнейших списков Русской Правды, кормчих, миней и прологов выдвинули в глазах Карамзина значение наших отечественных памятников еще больше, чем это оставлял Шлецер. Какой переворот производили в нем эти открытия, можно судить по тому одному, что Карамзин стал даже ослаблять заимствованное им у Шлецера предубеждение против Татищева, так как с открытием Ипатьевской летописи обнаружилось, что многие из известий Татищева, казавшихся странными, находятся в этой летописи.

Норманнская теория, принятая Карамзиным даже в смысле большого влияния норманнских учреждений на Россию, повела

его при этом его глубоком уважении к отечественным памятникам к тем более тщательному изучению русской, и особенно христианской культуры при первых наших князьях – Олеге, Ольге, Святославе, Владимире, Ярославле, Мономахе, давно уже, как мы знаем, пленявших Карамзина своим величием. Величие, самобытность Русской государственности выступали у Карамзина сами собой. От того, между прочим, он мало понял времена уделов и явно скучал при изучении их. Единство, могущество России последующих времен влекли его к себе и заставляли проходить скорее через смуты удельного времени, татарских бедствий. Московское единодержавие тянуло его к себе больше и больше. Он, подобно Бантышу-Каменскому, сюда передвигал главнейший центр тяжести русской истории. «После трех путешествий в Тверь, – писал Карамзин к Тургеневу 21 апреля 1811 г., – отдыхаю за «Историей» и спешу окончить Василия Темного: тут и начинается действительная история российской монархии; впереди много прекрасного»<sup>308</sup>. «Работаю усердно, – писал Карамзин к тому же Тургеневу 9 августа того же 1811 г., – и готовлюсь описывать времена Ивана Васильевича! Вот прямо исторический предмет! Доселе я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собой песчаную степь африканскую, а перед собой величественные дубравы, богатые поля» и проч.<sup>309</sup>

Но эти величественные дубравы, богатые поля застланы были вскоре перед Карамзиным дымом наполеоновских пушек и спаленной Москвы. Уже после 1812 года Карамзин дописывал время Василия Иоанновича и затем лучшее время Грозного, о котором писал Тургеневу в 1814 г.: «Какой характер для исторической живописи! Жаль, если выдам «Историю» без сего любопытного характера. Тогда она будет, как павлин без хвоста». В другом месте – в письме от 9 сентября 1815 г. он пишет: «Управляюсь мало-помалу с царем Иваном. Казань уже взята, Астрахань наша, Густав Ваза побит и Орден меченосцев издыхает; но еще остается много дела, и тяжелого: надобно говорить о злодействах, почти неслыханных. Калигула и Нерон были младенцы в сравнении с Иваном»<sup>310</sup>.

Но среди этой кипучей работы силы Карамзина более и более слабели. Он то и дело представлял себя в положении Моисея, которому не суждено войти в Обетованную землю<sup>311</sup>, представлял, что в величественные дубравы и богатые поля войдут уже другие<sup>312</sup>. Вопрос об издании написанного возникал с большей и большей настойчивостью. Карамзин имел великую осторожность и великое терпение не торопиться с изданием, не издавать по томам. Это дало ему возможность исправлять написанное и давать всему единство, цельность. Сам Карамзин много раз говорит в своих письмах, что то или другое открытие или полученная новая книга заставляли его делать поправки в прежде написанном. «Посмотрите, – говорит Погодин, – на его черновые листы, вы почти не найдете там строк, оставшихся в первоначальном виде: все перемарано, изменено несколько раз, пока получено настоящее выражение: мнимая легкость представляется плодом многотрудной работы и размышления»<sup>313</sup>. Другой причиной замедления издания «Истории» было то, что Карамзин не хотел издавать свой труд, не представив его государю. Для этого он и прибыл в Петербург в 1816 г., вынес, как мы уже замечали, много мытарств и, между прочим, даже невежественный прием Аракчеева. Но, наконец, все уладилось, и его «История» в 8 томах вышла из печати в начале 1818 г.<sup>314</sup> Издание сделано в 3 тысячи экземпляров и цена им назначена 55 р. «Моя «История», – писал Карамзин к Дмитриеву 11 марта 1818 г., – в 25 дней скончалась; не осталось у меня ни одного экземпляра. Сверх трех тысяч проданных требовали у меня еще шестьсот... Пусть мои приятели успокоятся: наша публика почтила меня выше моего достоинства»<sup>315</sup>.

Этот необыкновенный даже для нашего времени успех научного, объемистого и дорогого по цене Сочинения в среде столь небольшого числа русских образованных людей объясняется необыкновенными качествами Сочинения.

«История» Карамзина далеко оставила за собой все, что до тех пор писано было по этой части и надолго сделала даже невозможным появление нового, лучшего труда. Никто до Карамзина не представлял такого полного, связного, изящного

свода внешних фактов. Никто до него и долго после него не давал русской истории такой полной, тщательной и добросовестной ученой аргументации. Никто до него и после него не умел придавать «Истории» такого могущественного популярного значения.

«Карамзин сделал ее («Историю»), – говорит Погодин, – известнее не только для многих, даже и строгих судей своих, как со смирением надеялся, но и для всех вообще соотечественников. Русские узнали и, смело сказать можно, полюбили более отечество, чем прежде, ибо то можем мы любить, что знаем и чем более знаем, тем более любим, полюбили тем более, что Карамзин передавал свое знание с сердечным участием, как сам прекрасно выразился в Предисловии: «... чувство наше оживляет повествование, и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в историке, так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души»<sup>316</sup>. «Эту «Историю» (т. е. Карамзина), – говорит Жуковский, – можно назвать воскресителем прошедших веков бытия нашего народа. По сию пору они были для нас только мертвыми мумиями, и все истории русского народа, доселе известные, можно назвать только гробами, в которых мы видели лежащими эти безобразные мумии. Теперь все они оживятся, поднимутся, получат величественный, привлекательный образ. Счастливы дарования, теперь созревающие. Они начнут свое поприще, вооруженные с ног до головы»<sup>317</sup>. Действительно, нет и теперь в нашей исторической литературе такого сочинения, которое можно было бы рекомендовать молодым людям, желающим изучать свое прошлое, рекомендовать с такой твердой уверенностью в полноте научного и общественного влияния.

Но, конечно, не следует ослепляться и хорошим. Возможны и другие суждения об «Истории» Карамзина, и они были высказаны тогда же, после появления ее в свет. Не будем говорить о нападках на Карамзина масонов, мстивших ему за мнимое отступничество и даже доносивших на него задолго до издания «Истории», как на человека неверующего и революционера, который грозит России великими бедствиями.

Важнее суждение о Карамзине противоположной партии, действительно революционной.

Самое резкое и крайнее мнение об «Истории» Карамзина составилось и было записано в кружке молодежи того времени, в среде которой подготавливалось известное дело декабристов. Один из весьма умных членов этого кружка – Никита Муравьев, сын министра Муравьева, сердечно содействовавшего успеху работ Карамзина, написал «Критику» на его «Историю» и показал ее прежде всего самому историографу. Карамзин дал автору полную свободу пускать ее в ход. Она и пошла в ход в рукописи. Погодин приводит важнейшие места из нее. О характере нападок Никиты Муравьева можно составить понятие по следующему отрывку, составляющему разбор одного места из Предисловия в «Истории» Карамзина.

В Предисловии Карамзина говорится: «Правители, законодатели действуют по указаниям истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей... Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество, и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы утвердить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье»<sup>318</sup>. Разбор этого места у Никиты Муравьева: «История представляет нам иногда, как благотворная власть обуздывала бурное стремление мятежных страстей. Но согласимся, что сии примеры редки. Обыкновенно страстям противятся другие страсти: борьба начинается, способности душевные и умственные с обеих сторон приобретают наибольшую силу. Наконец, противники утомляются, познают общую выгоду, и примирение заключается благоразумной опытностью. Вообще весьма трудно малому числу людей быть выше страстей народов, к коим принадлежат они сами, быть благоразумнее века и удерживать стремления целых обществ. Слабы соображения наши против естественного хода вещей. И тогда даже, когда мы воображаем, что действуем по собственному произволу, – и тогда мы повинемся прошедшему, – дополняем то, что сделано, то, чего требует от нас общее

мнение, последствие необходимое прежних действий. Идем, куда влекут нас происшествия, куда порывались предки наши»<sup>319</sup>.

Со всей ясностью определил эти требования от Карамзина тогдашних кружков молодежи Пушкин, который тогда только что кончил курс в Лицее и который, по словам Погодина, «при всем своем благоговении к Карамзину, которое у него возрастало всю жизнь, не мог преодолеть искушения сказать острое слово», и выразил общее настроение окружавшей его передовой молодежи в следующей, между прочим, эпиграмме, от которой потом отрекался:

В его истории изящность, простота  
Доказывают нам без всякого пристрастия,  
Необходимость самовластия  
И прелести кнута<sup>320</sup>.

Чтобы уяснить себе действительное значение подобных суждений о Карамзине, нужно хотя немного войти в круг тогдашних направлений в нашем образованном обществе. Известно, что Александр I с первых годов своего царствования стал преобразовывать Россию по западноевропейским образцам и мечтал о Конституции. Бывший студент Петербургской Духовной Академии Сперанский с неумолимой логичностью человека, получившего сильное теоретическое образование, переделывал государственные учреждения с симметрией французского чиновничества; но в то же время, должно быть, по чувству русского человека, вышедшего из среды самой близкой к народу, начертывал также смело русское самоуправление до устройства волостного представительства. Еще более близкий к Александру I коварный поляк Чарторыйский направлял дела в другую сторону.

С шайкой еще более коварных поляков – таких как Чацкий, Лелевель, он подготавливал ближе подходящую к западноевропейским образцам Конституцию на своей родине – в Польше, и так как под Польшей он разумел всю Западную Россию, то при содействии русской власти раскинул по всей этой стране самую пагубную в русском смысле систему польского образования, испортившую целые поколения.

Двенадцатый год показал, что Россия может стать грудью против всей Европы и без Конституции, и что поляки способны только были тогда на измену России. Пал Сперанский; потерял немало значения и Чарторыйский, но западноевропейские увлечения не потеряли обаяния. Русские силы, до изнурения защищавшие свое отечество, двинуты были на Запад для благоустройства западноевропейских государств и, между прочим, коварной Польши. Русские люди, по естественному порядку вещей, обращали взоры на забываемую родину и придумывали средства к восстановлению ее значения. Особенно яркую окраску эти заботы получали в среде молодых людей высшего петербургского круга. Иные из них додумывались до исправления действительного русского зла – крепостного состояния наших крестьян; но только лучший декабрист Рылеев смотрел на это серьезно и додумался даже до освобождения крестьян с землей. Подавляющее же большинство пошло по старому пути – обсуждало и усваивало западноевропейские средства к спасению родины – конституционные, и если заговаривало об освобождении крестьян, то одни брали за образец Пруссию, освободившую крестьян без земли, другие смотрели на освобождение крестьян только как на средство привлечь на свою сторону простой народ. Наконец, некоторые, такие как Пестель, готовы были раздробить всю Россию на федеративные области, причем не скупились прибавлять к инородческим областям русские, как Новгородскую и Тверскую – к балтийским губерниям<sup>321</sup>, а в пользу конституционной Польши поступались русским народом Западной России<sup>322</sup>. Но, что еще важнее, попробовав законными путями воспитывать себя и русское общество в этих идеях, молодые двигатели русского обновления по образцам западноевропейским вскоре стали переходить к чисто революционным делам. В среде декабристов образовались фракции, и в числе их самая крайняя и самая невежественная в делах России составила по мысли Пестеля «Союз спасения» – чисто революционное тайное общество.

Порядки западноевропейского либерализма, конечно, в менее резких формах захватывали тогда не одну передовую



молодежь. Значительная часть тогдашнего чиновного мира разделяла эти бредни<sup>323</sup>. Само правительство, как мы уже замечали, держалось подобных взглядов и даже осуществляло их на деле самым тяжелым для русского чувства образом. Установилось такое воззрение, что в Русском государстве больше всего подготовлены к конституционной жизни северо-западные окраины России, которым и давалось конституционное устройство, чтобы со временем распространить его и на внутренние области России, когда они будут к этому подготовлены. Странная самобытность Финляндии (1809–1811 гг.), завоеванной русским оружием<sup>324</sup>, странное обособление балтийских губерний<sup>325</sup> даже с освобождением там крестьян по западноевропейскому образцу, т. е. без земли (1816–1819 гг.)<sup>326</sup>, еще более странное восстановление предательской Польши (1815 г.) и подготовительные меры к соединению с ней Западной России, – все это неизбежно раздражало русское чувство, и одних русских, как будущих декабристов, увлекало к крайностям тех же западно-европейских воззрений, других заставляло становиться в упор против всей этой пагубы для России. Карамзин, несмотря на все прежние свои увлечения западноевропейскими воззрениями, не мог откликнуться на эти западноевропейские теории, как не мог стать и в ряды аракчеевцев.

Чтобы яснее видеть положение, какое занял Карамзин между этими двумя крайностями, нужно взять во внимание еще одно направление, выдвинутое русской жизнью того времени в противодействие им. Более русские и дельные люди из среды так называемых декабристов были возмущены крайностями Пестеля и в противодействие ему стали вырабатывать новое общество под названием «Союза благоденствия», основная мысль которого и даже устав составляют копию Прусского общества Тугендбунда, основанного при известном Штейне для воскрешения забитой Наполеоном Пруссии. «Союз благоденствия» задавался целью провести внутреннее пересоздание России – поставить хорошо воспитание, правосудие, администрацию усилиями членов общества, кем бы и где бы они ни были. Это было то же масонство, переведенное

в чисто гражданскую область, и как масонство не трогало вероисповеданий, так и «Союз благоденствия» оставлял нетронутыми формы русского строя жизни. Это последнее отступление сделано лучшими декабристами – такими, как М.Н. Муравьев, благодаря влиянию опытного русского человека, А.М. Бакунина, проживавшего в Тверской губернии в своем имении, к которому Муравьев обратился за советом. Бакунин в прах разбил конституционные мечты декабристов и замечательно умно доказывал необходимость для России самодержавия<sup>327</sup>. Он, между прочим, объяснял Муравьеву, что необходимость в изменении образа правления существует только в воображении весьма небольшого кружка молодежи, не давшей себе труда взвесить всех бедственных последствия, которые неминуемо произойдут от малейшего ослабления Верховной власти в стране, раскинутой на необъятное пространство и, по его мнению, не имеющей кроме самодержавия никакой органической связи между своими частями<sup>328</sup>. Бакунин был очень близок к Екатерине Павловне, и это обстоятельство весьма важно знать для уяснения взглядов на этот предмет Карамзина, который, впрочем, шел к ним и независимо от всяких влияний.

Мы видели, что чем больше он изучал русскую историю, тем больше проникался духом русской исторической жизни и тем больше становился поборником целостности и достоинства русской государственности и русского самодержавия. Его воззрения, легшие в основу его «Истории», яснее всего высказаны в двух его записках: в упомянутой уже нами, писанной в 1811 г., по поводу внутренних преобразований и вмешательства в западноевропейские дела, и в «Записке» 1819 г., по поводу польских дел. «Россия основалась победами и единовластием (при Рюрике после смерти братьев, при Олеге, Игоре, Владимире, Ярославе), гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием», – вот его главное воззрение, которое проходит через всю его «Записку» о древней и новой России<sup>329</sup> и легло в основу его «Истории». Карамзин не отступил от этого положения даже перед ужасным самовластием Иоанна IV, а, напротив, озарил его

необыкновенным, ослепительным для его современников светом. «Никогда и нигде, – говорит Карамзин о времени Иоанна IV, – грозное самовластие не предлагало столько жестоких искушений для народной добродетели, для верности или повиновения; но сия добродетель даже не усомнилась в выборе между гибелью (казнимых Иоанном) и сопротивлением»<sup>330</sup>. В «Истории» Карамзина, что он писал уже гораздо позже, именно в 1814–1815 гг., говорится о том же следующее. Описав неистовства Иоанна и самоотвержение казнимых, он говорит: «Таков был царь, таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться! Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли все в терпении, ибо считали власть государеву властью Божественной и всякое сопротивление беззаконием: приписывали тиранство Иоанново гневу Небесному и каялись в грехах своих; с верой и надеждой ждали умиловления, но не боялись и смерти, утешаясь мыслью, что есть другое бытие для счастья добродетели и что земное служит ей только искушением; гибли, но спасли для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила государственная»<sup>331</sup>.

Не менее поразительна у Карамзина постановка вопроса об обязательности для последующих времен народной русской воли, выразившейся в избрании Михаила Феодоровича. «Никогда народ не действовал торжественнее и свободнее, – говорит Карамзин в «Записке 1811 г.», – никогда не имел побуждений святейших; все хотели одного: целости, блага России... Бедствия мятежной аристократии просветили граждан и самих аристократов: те и другие единогласно и единодушно наименовали Михаила самодержцем, монархом неограниченным... Написали Хартию и положили оную на престол; сия грамота, внушенная мудростью опытов, утвержденная волей бояр и народа, есть священнейшая из всех государственных хартий. Князья московские учредили самодержавие, отечество даровало оное Романовым»<sup>332</sup>. Самодержавие есть палладиум России. Целость его необходима для ее счастья»<sup>333</sup>.

Но Карамзин понимал самодержавие не в смысле азиатского или папского абсолютизма, а в той своеобразной форме, в какой оно развивалось и развивается только в России. Он признавал его совместимым и со строгой законностью, и с широкой гражданской свободой, и в особенности со свободой мнения, слова. Оканчивая царствование Иоанна IV и стараясь разгадать эту ужасную личность и последствия ее действия, Карамзин в своей «Истории» говорит: «Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна – героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости – есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров, если бы Калигула, образец государей и чудовище, если бы Нерон, питомец мудрого Сенеки, предмет любви, предмет омерзения не царствовали в Риме. Они были язычники; но Людовик XI был христианин, не уступая Иоанну ни в свирепости, ни в наружном благочестии, коим они хотели загладить свои беззакония: оба набожные от страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азиатским и римским мучителям. Изверги вне законов, вне правил и вероятностей рассудка, сии ужасные метеоры, сии блудящие огни страстей необузданных озаряют для нас в пространстве веков бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся! Жизнь тирана – есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели – и слава времени, когда вооруженный истиной дееписатель может в правлении самодержавном выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования<sup>334</sup>, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления»<sup>335</sup>.

«Карамзин доказал своей «Запиской» 1811 г., что он широко понимает права дееписателя, вооруженного истиной. Но еще

убедительнее он доказал это своей «Запиской» 1819 г. В этом году, в Царском Селе, где в это время Карамзин с семейством жил летом, император Александр I, возвратившись из Варшавы, куда ездил открывать Польский сейм, в одной из искренних бесед с Карамзиным сообщил ему, – писал Погодин, – что хочет восстановить Польшу в ее древних границах, т. е. присоединить к ней Западную Россию, Карамзин воспламенился и решился выполнить трудный и опасный долг русского гражданина. Он написал и подал государю «Записку», в которой смело восстал против вредной для России самостоятельности Польши и особенно против проекта оторвать от России западные губернии и присоединить их к Польше». Эта «Записка», важнейшие части которой приведены у Погодина<sup>336</sup>, лучше всего показывает основной взгляд Карамзина на власть и на свободу мнения. «Вы думаете, – писал Карамзин, – восстановить древнее Королевство Польское, но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? Согласно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашей любовью к России и к самой справедливости? Можете ли с мирной совестью отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся ли государи блюсти целостность своих держав? Сии земли были уже Россией, когда Митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра, Екатерины, которую Вы сами назвали Великой... Доселе нашим государственным правилом было: ни пяди ни врагу, ни другу! Наполеон мог завоевать Россию, но Вы, хотя и самодержец, не могли договором уступить ему ни одной хижины русской... Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобите ли Россию бездушной, бессловесной собственности... Я слышу русских и знаю их. Мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю, остыли бы душой к отечеству, видя оное играмищем самовластного произвола, ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом унизились бы пред другими и пред собой. Не опустел бы, конечно, дворец, Вы и тогда имели бы министров, генералов, но они служили бы не отечеству, а единственно

своим личным выгодам, как наемники, как истинные рабы... А Вы, государь, гнушаетесь рабством и хотите дать нам свободу».

По странной случайности это писано было почти в то самое время, когда Пушкин пустил в ход вышеприведенную эпиграмму на Карамзина, у которого потом просиживал вечера и успешно был укрощаем в других своих шалостях женой Карамзина.

Поклонник самодержавия, Карамзин и в своей «Истории», и в своих «Записках» всегда превозносил перед государями, как и перед всеми, их идеалы, нравственные требования, равно для всех обязательные. В этом отношении он был смелее не только многих своих современников, но и многих последующих писателей. Он в этих случаях очень приближается к славянофилам, т. е. ратует смело, прямо за свободу мнения и живое общественное участие в делах. Это направление его особенно ощутимо в его «Истории», когда он изображает великие моменты русской жизни, как Куликовская битва, русские завоевания в татарском мире и т. п. Вот, например, картина сбора войск перед Куликовской битвой: «Казалось, что Россия пробудилась от глубокого сна: долговременный ужас от имени татарского, как бы от действия сверхъестественной силы, исчез в их (русских воинов) сердце. Они напоминали друг другу славную победу Волжскую: исчисляли все бедствия, протерпенные ими от варваров в течение ста пятидесяти лет, и дивились постыдному терпению своих отцов. Князья, бояре-граждане, земледельцы были воспламенены равным усердием, ибо тиранство ханов равно всех угнетало от престола до хижины. Какая война была праведнее сей? Счастлив государь, обнажая меч по движению, столь добродетельному и столь единому. Народ до времен Калиты и Симеона, оглушаемый непрестанными ударами монголов, в бедности, в отчаянии не смел думать о свободе: отдохнув под умным управлением князей московских, он вспомнил древнюю независимость россиян, и менее страдая от ига иноплеменного, тем более хотел свергнуть оное совершенно. Облегчение цепей не мирит нас с рабством, но усиливает желание прервать оное»<sup>337</sup>.

Есть, впрочем, у Карамзина несколько дисгармоний с этим высоким уровнем знания дела и обязанностей историка. Самым ощутительным образом эта дисгармония сказалась у Карамзина в болезненном вопросе его времени – о Московском единовластии. Вот самое выдающееся место, освещающее его понимание всей почти истории этого единовластия, причем высшие нравственные начала остаются в тени, едва видна любовь к России и над всем возвышаются: практическая мудрость, польза, есть даже чисто публицистические намеки на тогдашние современные события. «Россия, – говорит Карамзин, характеризуя время Иоанна III, самого любимого им государя древней Руси, – около трех веков (с начала татарского ига до Иоанна III) находилась вне круга европейской политической деятельности, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов. Хотя ничто не делается вдруг; хотя достохвальные усилия князей московских, от Калиты до Василия Темного, многое приготовили для единовластия и нашего внутреннего могущества: но Россия при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней, где еще не имела ни твердого образа, ни полного бытия государственного. Благотворная хитрость Калиты была хитростью умного слуги ханского. Великодушный Димитрий победил Мамай, но видел пепел столицы и раболепствовал Тохтамышу. Сын Донского (Василий Дмитриевич), действуя с необыкновенным благоразумием, соблюл единственно целостность Москвы, невольно уступив Смоленск и другие наши области Витовту, и еще искал милости в ханах; а внук (Василий Темный) не мог противиться горсти хищников татарских, испил всю чашу стыда и горести на престоле, униженном его слабостью, и, быв пленником в Казани, невольником в самой Москве, хотя и смирил, наконец, внутренних врагов, но восстановлением уделов подвергнул Великое княжество новым опасностям междоусобия. Орда с Литвой, как две ужасные тени, заслоняли от нас мир и были единственным горизонтом России слабой, ибо она еще не ведала сил, в ее недрах сокровенных. Иоанн, рожденный и воспитанный данником степной орды, подобной нынешним киргизским, сделался одним из знаменитейших государей в

Европе, чтимый, ласкаемый от Рима до Царьграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни императорам, ни гордым султанам; без учения, без наставлений, руководимый только природным умом, дал себе мудрые правила в политике внешней и внутренней; силой и хитростью восстанавливая свободу и целостность России, губя царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские до пустынь сибирских и Норвежской Лапландии, изобрел благоразумнейшую, на дальновидной умеренности основанную для нас систему войны и мира, которой его преемники должны были следовать постоянно, чтобы утвердить величие государства. Бракосочетанием с Софией обратив на себя внимание держав, разодрав завесу между Европой и нами, с любопытством обзорева престола и царства, не хотел мешаться в дела чуждые: принимал союзы, но с условием ясной пользы для России; искал орудий для собственных замыслов, и не служил никому орудием, действуя всегда, как свойственно великому, хитрому монарху, не имеющему никаких страстей в политике, кроме добродетельной любви к прочному благу своего народа. Следствием было то, что Россия, как держава независимая, величественно возвысила главу свою на пределах Азии и Европы, спокойная внутри и не боясь врагов внешних»<sup>338</sup>.

Это очевидное отступление Карамзина от обычных его приемов при оценке человеческих действий не есть только дань его слабости по отношению к Иоанну III. Оно скрывалось в его основном взгляде на русскую историю и надобно удивляться, каким образом оно составляет отступление от его нравственных воззрений, а не эти нравственные воззрения составляют у него исключение. Пораженный в русском историческом движении преобладающим развитием государственности, Карамзин отдал ей преимущественное внимание и занимается в своей «Истории» больше внешними делами, чем внутренними. Внутренние явления русской жизни, как русская община, вече, Земские соборы, Боярская дума, слабо им освещены. В последние времена, говорят, Карамзин плохо верил вообще в русские общественные силы и тем исключительнее



сосредоточивал свои упования на Русском самодержавии. «Один из передовых современников и знакомых Карамзина так объяснял мне, – говорит Погодин, – приверженность его к самодержавию: Карамзин не надеялся на политические способности русского народа и в особенности современного дворянства, и, видя Россию великой, прославленной ее самодержцами, он боялся, чтобы это величие не утратилось бессильными стремлениями к лучшему, со стороны людей слабых и ненадежных и вместе неопытных, неприготовленных»<sup>339</sup>. В этом свидетельстве одно не ясно. Если разочарование Карамзина действительно простиралось и на современное ему дворянство, то это, однако, не значило, чтобы он отвергал значение дворянства как сословия. Напротив, не подлежит сомнению, что он слишком верил в историческое значение этого сословия и слишком его преувеличивал. Вот слова в «Записке» о древней и новой России. «Монтескье сказал, – пишет Карамзин, – *Point de monarque – point de noblesse, –noblesse – point de monarque!* Дворянство есть наследственное. Порядок требует, чтобы некоторые люди воспитывались для отправления некоторых должностей, и чтобы монарх знал, где ему искать деятельных слуг отечественной пользы. Народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличием и выгодами, уважением и достатком. Личные подвижные чины не могут заменить дворянства родового, постоянного, и хотя необходимы для означения степеней государственной службы, однако в благополучной монархии не должны ослаблять коренных прав, не должны иметь выгод онаго... Не должно для превосходных дарований, возможных во всяком состоянии, заграждать пути к высшим степеням; но пусть государь дает дворянство прежде чина и с некоторыми торжественными обрядами, вообще редко и с выбором строгим...<sup>340</sup> и т. д. Карамзин почти дословно соглашается и в этом пункте с князем Щербатовым. При таком понимании значения дворянства уже неизбежно было не только держаться Болтиновских взглядов на крестьянский вопрос, но даже усиливать их. В той же «Записке» Карамзин излагает и свои мысли касательно освобождения крестьян. Разобрав

исторические элементы, из которых состояло наше крепостное крестьянство, т. е. холопы и вольные люди, прикрепленные Годуновым, и сказав, что теперь нельзя разобрать, кто из них из какого вышел слоя<sup>341</sup>, Карамзин спрашивает: «Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить, где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства? Хорошо: но сии земледельцы не будут иметь земли, которая (в чем не может быть и спора) есть собственность дворянская»<sup>342</sup>. Перебрав затем неизбежные последствия такого освобождения крестьян – эксплуататорские отношения к ним землевладельцев, наживу кабаков и мздоимных исправников, упадок земледелия, государственной безопасности, и высказав даже опасение, что правительство, отняв от помещиков бюстительную власть над крестьянами, возьмет на свои рамена Россию и... «удержит ли? – спрашивает Карамзин, – Падение страшно!» Он формулирует свое окончательное мнение таким образом: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную, тогда они имели навык людей вольных, ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, к которой надобно готовить человека исправлением нравственным; а система наших откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спасительным приготовлением? В заключение скажем доброму монарху: Государь! История не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян есть решительное зло), но ты будешь ответственать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов»<sup>343</sup>.

К чести Карамзина нужно сказать, что в своей «Истории» он не показал себя ни поборником боярства, ни хвалителем Годунова за прикрепление крестьян к земле. В обоих этих вопросах он держится довольно близко к действительному смыслу фактов. Закрепощение он понимает, правда, как меру для благоустройства дел; но не скрывает, что она направлена

была к выгоде мелких землевладельцев, произвела раздражение в боярах, негодование в народе и бесконечные ссоры и вражду даже между мелкими землевладельцами. «Что было следствием (закрепощения)? – спрашивает Карамзин. – Негодование знатной части народа и многих владельцев богатых. Крестьяне жалели о древней свободе, хотя и часто бродили с ней бездомками от юных лет до гроба, хотя и не спасались ее правом от насилия господ временных, безжалостных к людям, для них не прочным; а богатые владельцы, имея немало земель пустых, лишались выгод населять оные хлебопашцами вольными, коих они сманивали от других вотчинников или помещиков. Тем усерднее могли благодарить Годунова владельцы менее избыточные, ибо уже не страшились запустения ни деревень, ни полей своих от ухода жителей и работников»<sup>344</sup>. В другом месте Карамзин говорит: «Закон об укреплении сельских работников, целью своей благоприятный для владельцев средних или неизбыточных, имел, однако, и для них вредное следствие частыми побегами крестьян... владельцы искали беглецов, жаловались друг на друга в их укрывательстве, судились, разорялись»<sup>345</sup>.

Известно, что даже неважные болезни отзываются впоследствии, нередко совсем неожиданно. Так и в Карамзине отзывалось иногда его старое увлечение западноевропейскими воззрениями. Мы видели, как много он излечился от этой болезни, по мере того, как углублялся в область нашего прошедшего и оживал русской душой; но когда он выходил из этой глубины нашего прошедшего на поверхность своей современности, где преобладающим направлением было увлечение западноевропейскими воззрениями, он, сам того не сознавая, воскрешал в себе эти воззрения даже в борьбе с ними. Остатки старой болезни, по-видимому, изгнанной из его существа, оживали от миазмов окружавшей его современности, когда он входил в нее. В этих случаях Карамзин, столь близкий, как мы видели, к воззрениям славянофилов, жестоко удалялся от этих воззрений. Никакой сознающий себя последовательный славянофил не мог рассуждать так ни о дворянстве, ни о

крестьянстве... Но нужно сказать в извинение Карамзина: нет оснований думать, чтобы он сознательно делал подобные отступления от старых русских воззрений. Никогда не нужно забывать следующей дорогой особенностью Карамзина: он, даже падая, падал честно, никогда не изменял любви к России и никогда не задумывался смирить и уничтожить свое я, когда приходилось сопоставлять его с благом России. «Любя отечество, – заканчивает Карамзин свою «Записку» 1811 г., – любя монарха, я говорил искренно. Возвращаясь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым, моля Всевышнего: да блюдет царя и царство Российское»<sup>346</sup>. «Государь! В волнении души моей, – начинает Карамзин свою «Записку» 1819 г., – любящей Отечество и Вас, спешу после нашего разговора излить на бумагу некоторые мысли, не думая ни о красноречии, ни о строгом логическом порядке. Как мы говорим с Богом и совестью, хочу говорить с Вами»<sup>347</sup>... «Господь сердцеводец да замкнет смертью уста мои в сию минуту, если говорю Вам не истину», – высказывался Карамзин в другом месте той же «Записки»<sup>348</sup>. Силу искренности этих слов можно ясно видеть из следующей приписки на этой же «Записке», сохранившейся в бумагах Карамзина: «Читано государю в тот же вечер. Я пил у него чай в кабинете, и мы пробыли вместе, с глазу на глаз, пять часов, от осьми до часу за полночь. На другой день я у него обедал, обедал еще и в Петербургу... но мы душою расстались, кажется, навеки... Потомство! Достоин ли я был имени гражданина российского? Любил ли отечество? Верил ли добродетели? Верил ли Богу?»<sup>349</sup>. Да, потомство в лучших его представителях верит этому объяснению и простило Карамзину проявления его старой западноевропейской болезни, тем более, что эти проявления были мимолетны и кратковременны, а более и более постоянным и возрастающим направлением его было русское, даже до забвения всего чужого. В 1825 г. Карамзин писал Тургеневу за границу: «Для нас русских с душой одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует. Все прочее есть только отношение к ней, мысль, привидение. Думать, мечтать можем мы во Франции, Англии,

Германии; но дело делать единственно в России; или нет гражданина, нет человека, есть только двуножное животное»<sup>350</sup>.

Самым полным, торжественным образом мнение потомства о Карамзине выразилось в 1866 г. 1 декабря в день празднования столетия со времени его рождения. Празднование это совершалось по всей России. О Карамзине высказывались и скромные труженики, и сильные авторитеты, не меняющие своих мнений. Мы уже знакомы с отзывом Погодина. Погодин же еще прежде издания «Биографии Карамзина» в своей речи в Академии наук изобразил нравственный характер Карамзина<sup>351</sup>. Не будем приводить отзывов наших словесников, из среды которых воздавали дань славы Карамзину такие авторитеты, как профессор Буслаев, академик Грот, А.Д. Галахов. Укажем на то, что ближе к нашему предмету. Вот некоторые из суждений о Карамзине первейшего нашего историка, покойного С.М. Соловьева, поставившего, как увидим, дело нашей науки значительно иначе, чем Карамзин. С обычной своей даровитостью Соловьев дает твердую постановку объяснению, почему Карамзин занят был по преимуществу государственным развитием России. Соловьев обозначает два пути, которые одинаково вели Карамзина к этому взгляду – русско-славянское чувство и изучение нашего прошедшего. «Мысль русского человека, мысль славянина, – говорит Соловьев, – должна была остановиться, прежде всего, на том явлении, что из всех славянских народов народ русский один образовал государство, не только не утратившее своей самостоятельности, как другие, но громадное, могущественное, с решительным влиянием на исторические судьбы мира... Это сознание единственного славянского государства, полноправного, пользующегося главными благами исторического существования, самостоятельностью и великим значением среди других государств, это сознание вполне отразилось в «Истории государства Российского», которую можно назвать величественной поэмой, воспевающей государство»<sup>352</sup>. Затем, в другом месте, Соловьев объясняет, как к тому же выводу Карамзин пришел и научным путем. «Когда вскрылись (перед Карамзиным), – говорит он, –

памятники древности, то глазам историка предстала эта медленная и великая работа веков над государственным зданием, и почувствовал он благоговейное уважение к этой работе и ее следствиям; поспешность движения явилась для него столь же незаконной, как и отсутствие движения: хотеть лишнего и не хотеть нужного равно предосудительно, говорил он. И во имя истории заявил он протест против движений первого десятилетия XIX века, бывших в его глазах слишком быстрыми, не истекавшими из существенных потребностей страны». К древним государственным зданиям прикасаться опасно, говорил он; Россия существует около тысячи лет, и не в образе дикой орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых уставах, как будто мы недавно вышли из темных лесов американских. Воспитанник екатерининского века твердил людям, наклонным к внешним преобразованиям, что не формы, а люди нужны».

Чем более историк вглядывался в постепенное образование великого государственного тела России, чем более вникал он, как присоединялись кость к кости и сустав к суставу, тем яснее сознавал он величие дела собирания русской земли, тем яснее сознавал он единство русского народа: вот почему так сильно заволновался историк и заявил горячий протест во имя русской истории и во имя Екатерины II, когда явилась мысль о возможности урезать живое тело России; подобно древним русским деятелям, не потерпел историк, чтобы разносили розно русскую землю и в народном русском поминании о Карамзине напишется то же, что писалось в летописях о людях, знаменитых обороной родной страны: Он постоял на стороже русской земли».

«Народы живые, не утратившие уважение к самим себе, не забывают таких людей», – говорит Соловьев в заключение своей речи<sup>353</sup>.

Замечательно, что на карамзинском торжестве в Москве и в Казани подняты были вопросы, весьма трудные для автора «Истории государства Российского». Так, в Московском и в Казанском университетах взялись разъяснять значение Карамзина юристы. В Москве самый видный знаток русских

исторических законодательных памятников Н.В. Калачов в своей речи прошел через всю «Историю» Карамзина и раскрыл великую его работу по этой части. Так, он, между прочим, указывает, что только из Карамзина мы знаем об устройстве опричнины, о Земском постановлении 1611 года при Ляпунове, о действии у нас при Алексее Михайловиче и в гражданской области греческого номоканона и, кроме того, Н.В. Калачов указал на новые памятники, доказывающие мужественное ратование Карамзина за русское право во времена Александра I, когда Сперанский так бесцеремонно пересаживал на нашу русскую почву кодекс Наполеона. Н.В. Калачов говорит: «Для старого народа, – писал Карамзин, – не надобно новых законов. Карамзин требует, чтобы прежде всего сделан был свод наших русских указов и постановлений. Тогда откроются пробелы, требующие пополнения, и откроются русские правовые начала. Русское право, говорил он, также имеет свои начала, как и римское; определите их и вы дадите нам систему законов»<sup>354</sup>. В Казани профессор Шпилевский произвел подобный же пересмотр «Истории» Карамзина, даже сопоставил его с последующими деятелями-специалистами в области права: Эверсом, Рейцем, К.Д. Кавелиным и признает, что если многие мнения Карамзина оказались неверными, то все юристы ему много обязаны фактическими указаниями. «Более или менее обязанные ему, – говорит он, – знанием судеб нашего прошедшего и успехами в собственных исторических трудах, мы, побуждаемые обязанностью благодарности, ныне торжественно и всенародно заявляем о его великих заслугах. К этому нас побуждает и народная гордость, потому что Карамзин – наша народная слава»<sup>355</sup>.

В Казани же, где инородческий вопрос имеет особенное значение и даже историческое наше движение низведено было Щаповым до физиологического процесса разнородных этнографических элементов России, большой знаток истории наших восточных инородцев – профессор Фирсов предъявил историографу самый трудный вопрос: насколько он, Карамзин, уроженец восточной окраины, Симбирской губернии, и отдавший так много внимания образованию Русского государственного

центра в восточной инородческой России, выяснил вопрос о восточных инородцах?

Запрос этот был тем щекотливее, что и теперь в нем много неясного, неисследованного, а тем более это было при Карамзине. Кроме того, щекотливость увеличивалась еще тем, что Карамзин придает много значения татарскому влиянию на русскую жизнь. Сличение «Истории» Карамзина с другими исследованиями, конечно, давало большей частью неудовлетворительные ответы, но и при такой неудобной постановке дела профессор Фирсов не раз признает заслуги Карамзина, между прочим, в том, что он указал на мирную русскую колонизацию на Востоке России, на превосходство русской цивилизации и на великое в этом отношении значение православных просветителей нашего Востока<sup>356</sup>.

Юбилейное торжество в честь Карамзина не тем только важно, что тогда в пользу Карамзина высказалось большое количество русских людей, в том числе лучшие наши авторитеты, а тем, что во всем этом можно видеть действительно русское народное сознание того, что сделал Карамзин. Но карамзинское торжество важно еще тем, что к этому торжеству и после него издано много документальных вещей о нем – переписка, неизданные его бумаги, свидетельства его современников. Редкий из наших писателей выступал когда-либо с таким богатым, блестящим вооружением. В прибавлении к «Росписи книг» г. Межова за 1871 г. на с. XVII–XV помещено 173 номера сочинений и изданий о Карамзине, а в материалах для библиографии литературы о Карамзине, когда-либо изданных, показано 453<sup>357</sup>. Недочет был в одном. Кое-где указывалось на оружие его противников, кое-где собиралось и это оружие; но работа эта не была тогда сделана, – не было показано, каким образом наша наука дошла до такого признания Карамзина.

Мы теперь имеем перед собой собственно только два крайние по времени явления одного рода – всеобщий восторг при появлении труда Карамзина и почти всеобщее прославление его через сто лет после его рождения или через пятьдесят почти лет после появления первых 8 томов его



«Истории». В эти промежуточные почти пятьдесят лет наша наука шла дальше, открывала себе новые пути, новые направления. В числе этих направлений первое по времени было так называемое скептическое, последователи которого все были противниками Карамзина и старались ставить вопросы нашей науки совсем не так, как ставил их Карамзин.

## Глава IX. Скептическая школа<sup>358</sup>

Мы показывали, как Карамзин, по мере изучения нашего прошедшего, освобождался от космополитических воззрений, и указывали случаи, в которых он возвращался к этим воззрениям и неправильно решал вопросы русской жизни. Между тем, из среды его современников вышла целая группа писателей, составившая особую школу, которая осудила Карамзина именно за то, что он в своей «Истории» был слишком русским и стал будто бы в разладе с европейской наукой. Карамзин платил дань западноевропейским воззрениям главным образом в тех случаях, когда принимался за решение практических, современных ему вопросов русской жизни. Противники его, о которых теперь у нас речь, напротив, давали место всему русскому в современной жизни, а западноевропеизм переносили в нашу прошедшую жизнь и по нему воссоздавали ее научно. Следовательно, западноевропеизм проходил у них глубже, и речи их о русском направлении современной русской жизни могли быть только пустыми речами. Это была школа так называемых скептиков, во главе которой стоял профессор русской истории Московского университета, М.Т. Каченовский с 1805 по 1842 г., издавший, кроме того, «Вестник Европы» после Карамзина, именно с 1805 г., и «Ученые записки Московского университета».

**М.Т. Каченовский.** Мы знаем, что в Москве еще в конце прошедшего столетия началась сильная разработка Московского Главного архива, и что она, между прочим, передвинула центр тяжести в русской истории от древностей к Московскому единодержавию, и что Карамзин последовал этому направлению. Нам тоже известно, что кроме главного в этом направлении деятеля Бантыша-Каменского много помогал усилению того же направления старый делец Миллер, но нам тоже известно, что как иностранец он направлял это изучение Московского единодержавия на окраины Московского государства, на иноземные его сношения.

В Московском университете так и осталось до позднейших времен это особенное внимание к историческому развитию Московского единогодержавия. Осталось и миллеровское внимание к иноземщине и старых, и новых времен, но приняло совсем иное направление.

Известно, как много было тогда иноземцев в Московском университете, и, по естественному порядку вещей, европейская наука утверждалась в этом новом рассаднике высшего просвещения в своей, так сказать, природной иноземной окраске и вместе с ней утверждалась авторитетность всего западноевропейского. Не только университетские лекции, но даже публичные читались на иностранных языках – французском, немецком. Так, особенно усердно читал в Москве на немецком, а иногда и на французском языке лекции по всеобщей истории сын Шлецера. Такие счастливые явления, как усердие известного описателя московских рукописных сокровищ профессора Маттея, как необыкновенная западноевропейская образованность первого покровителя Карамзина, попечителя Московского университета Муравьева, подобная же образованность тоже известного нам собирателя русских древностей графа Румянцева содействовали тому, что европейская наука делалась и русской наукой; но это обрусение европейской науки, странно сказать, особенно счастливо осуществлялось в среде классиков и философов, а в области русской истории оно произвело величайшую путаницу, из которой с трудом потом выпутывались сами виновники ее. Но и путаница, и выпутывание из нее приносили немалую пользу нашей науке. Тут многие работали с искренним усердием, некоторые обладали и большими дарованиями, и большим знанием, поэтому нередко приходили к выводам, которые были случайными в их глазах, но, принятые и разработанные другими, стали достоянием нашей науки. Но, что всего важнее, сильное, систематическое увлечение Западной Европой большого числа русских людей, в том числе и ученых, чаще и чаще приводило к сознанию чуждых нам национальных форм, являвшихся у нас под видом научности, заставляло очищать науку от этих чужих национальных форм, выделять из них

чистые научные формы и расширять действительно научные требования из области нашей истории.

Известный нам Никита Муравьев в своей «Критике» на «Историю» Карамзина... требовал понимания в истории внутренней борьбы и соглашения понятий, желания народа В одном месте этой «Критики» он как бы выражает вопль русского западноевропейца, что это требование его не будет уважено современниками, ослепленными «Историей» Карамзина. «Горе стране, – говорит он, – где все согласны! Можно ли ожидать там успехов просвещения? Там спят силы умственные; там не дорожат истиной, которая, подобно славе, приобретается усилиями и постоянными трудами. Честь писателю, но свобода суждениям читателей! Сомнения, изложенные с приличием, могут ли быть оскорбительными?»<sup>359</sup>

Услышали или нет в Москве этот вопль, мы не знаем; но там сейчас же после выхода в свет «Истории» Карамзина стали выполнять программу Муравьева, и прежде всего позаботились устранить не вопрос о самолюбии автора, а другие, более важные затруднения. Каченовский в своем «Вестнике Европы» прежде всего напал на патристическое отношение в науке к своему прошедшему и потребовал холодного, безучастного отношения к фактам, каковы бы они ни были, лишь бы восстанавливалась истина. «Любовь к отечеству», – писал он в «Вестнике Европы» в 1819 г. в статьях под заглавием «Письма к другу от киевского жителя» есть долг гражданина, долг священнейший и столько же приятный для души благородной; беспристрастие же есть первый, важнейший, неременный долг бытописателя. Я хочу знать о происшествиях, об исторических лицах описываемой страны, а вовсе не о том, где родился историк и до какой степени любит он свое отечество». За этим нужно было одолеть затруднение еще более важного свойства – достоинство русского исторического развития, так как с западноевропейской точки зрения оно представлялось невозможным, и всякое сближение его с явлениями греческими и римскими должно было казаться дерзостью. Разбирая в своем «Вестнике Европы» (1818–1819 гг.) Предисловие Карамзина, Каченовский с великой иронией относится к попытке Карамзина

подвергнуть критике рассказы о классическом мире Фукидида, Тацита сравнительно с памятниками нашей русской древности. Иронически повторяя выражения Карамзина, что и в классическом мире, если отбросить прикрасы писателей, выйдет, что толпы злодействовали, резались, Каченовский прибавляет: «... но и сии толпы принадлежали тогда к просвещеннейшей части рода человеческого, имевшей тогда же великих полководцев, правителей, ораторов, поэтов, художников и оставившей нам бессмертные памятники бытия своего в мире, – преимущества, которых, надобно говорить правду, не видим в современниках Владимировичей и Ольговичей (рабство у греков и римлян и варварское отношение к другим народам забыты).

В отрицании патриотизма и достоинства древней русской исторической жизни нам слышится Шлецер, который своим «Нестором» действительно дал московским скептикам первый толчок в эту сторону и тем сильнее опять повернул русские умы к древнейшим временам русской истории, что развивать скептические положения в приложении к позднейшим русским событиям было крайне неудобно по цензурным причинам. Но и Шлецер оказался для наших скептиков неудовлетворительным. Они взяли у него положение, что в старину русский народ был в диком состоянии; взяли у него и то положение, что в наших летописях есть немало баснословия; но в разъяснении этих положений пошли гораздо дальше его. «Не оскорбляя памяти величайшего знатока исторической критики, – говорит Каченовский о Шлещере, – осмелимся заметить, что он с излишней доверенностью, и хотя похвальным, но не всегда благоприятным для исследований энтузиазмом смотрели на наши летописи».

Прилагая шлецеровский же прием исследования к нашей Начальной летописи, скептики остановились на том факте, что списки наших летописей не восходят раньше VIII–XIV веков, и стали утверждать, что это и есть произведение XIV или XII века, и для более древних времен имеет мало значения. То, что мы называем летописью Нестора, по мнению скептиков, имеет в своей основе монастырские записки, которые сводил в XII веке

Нестор, а позднейшие списатели его разукрасили баснями. Таким образом, Шлецер превращал в *tabula rasa* одни лишь черты нашего варварства. Наши скептики превращали в *tabula rasa* с теми же чертами варварства и первые времена нашей княжеской Руси, уничтожая таким образом и призвание князей и всю ту культурную работу норманнов, которая так занимала наших ученых немцев, в том числе Шлецера.

Но когда же и откуда взялись на русской земле семена цивилизации и на чем основать известия об этих семенах? «Влияла, хотя очень слабо, – говорили скептики, – Византия, но главное влияние на Россию, и только с XII века, принадлежит западной Европе, когда последовали торговые связи ее с нашими северо-западными областями – Новгородом, Псковом, Смоленском. То, что дают нам известия об этих сношениях, и что можно признать подлинным в Русской Правде, то только и может служить достоверным указанием на наше русское состояние за это, самое древнее для нас время».

Каченовский придавал такое большое значение этой именно постановке дела, что в 1828 г. сам напечатал в своем журнале «Вестник Европы» исследование о Русской Правде. В этом исследовании он прилагает и к Русской Правде тот же прием, посредством которого он низвел нашу Начальную летопись к XIII, XIV векам. «Списки Русской Правды, – говорит он, – не восходят ранее XIII века; притом мы не имеем и за это время официального экземпляра этого памятника: следовательно, по этим уже причинам мы не можем давать этому памятнику более древнего значения. Но это положение подкрепляется еще внутренними признаками этого памятника. В нем есть такие правовые особенности, которые Европа узнала не раньше XII века, и которые от нее могли перейти в Россию посредством тех же торговых сношений ее с нашими северо-западными областями в XII–XIII столетии. Головничество нашей Русской Правды, вира, счет на гривны – все это западноевропейские юридические особенности, перешедшие к нам в XII–XIII веках. через Новгород, Псков, Смоленск». Мы увидим, что эти положения наших скептиков, при всей видимой их самостоятельности, в действительности были

воспроизведением чужих мнений, в которых под наружной оболочкой научности скрывались, как и у Шлецера, весьма ненаучные вещи. Скептики тут воспроизводили теорию наших балтийских ученых немцев. Но подражательность их простиралась еще дальше.

Появление исследований Нибура о римских древностях<sup>360</sup>, которые этот писатель разоблачал от баснословий с великой ученостью и смелостью, возбудили в наших скептиках новую бодрость и решительность в очищении наших древних памятников. «Мы стоим на краю неожиданных перемен в понятиях наших о ходе происшествий на севере в давно минувшие веки, – писал Каченовский в 1828 г., – Наступит время, когда мы удивляться будем тому, что с упорством и так долго оставались во мгле предубеждений, почти невероятных. Утешимся же, если мысль сия может показаться неприятной для самолюбия нашего. Пример перед глазами: таковы ли ныне первые веки Рима, какими они представлялись взорам ученых до Нибура?»<sup>361</sup> Нашим скептикам непременно хотелось произвести такие же разоблачения от баснословия и в памятниках нашей древности, сделать с нашим Нестором тоже, что делал Нибур с Титом Ливием и открыть в нашей истории тоже баснословный период. «Каждое царство и каждый народ, – говорится в «Вестнике Европы» за 1830 г., – имеют свой век баснословный. Смотрите на первое появление всех государств, не говорю уже древних, но окружающих рождение нашего отечества: увидите детскую колыбель их, лелеемую рассказами о таких же баснях и невероятностях, как и в мифах греков и римлян. Это естественно... Мы еще доселе не имеем отдельного мифологического века».

Таким мифологическим веком наши скептики признавали все время до Владимира – на том основании, что достоверная история является на Севере везде со времени принятия Христианства. В подтверждение этого разбирался опять наш Нестор и доказывались и скудость, и сомнительность его известий до XII в., в котором он жил. Нестор низведен до положения собирателя монастырских записок, да и то лишь составителя вероятного. При этом анатомировании наших

древнейших памятников сильно доставалось Карамзину. Кроме Каченовского, разбиравшего собственно Предисловие Карамзина и нападавшего на него за те изменения, какие делались в его «Истории» Карамзина и нападавшего на него за те изменения, какие делались в его истории при переводе ее на французский язык, разбором «Истории» Карамзина занялся один из весьма логических последователей Каченовского – Арцыбашев. Он разобрал два тома «Истории» Карамзина и нападал на него за разные неточности и еще более – за прославление Олега, Ольги и т. п. Доставалось далее и Болтину за его внимание к договорам Олега и Игоря и к Иоакимовской летописи. Наконец, доставалось сильно даже Шлецеру за его уважение к нашей Начальной летописи. Он осуждался за то, что мало нашел в этих памятниках баснословного, когда, по мнению скептиков, следовало найти их больше. Мало того, даже научный прием Шлецера низведен на низшую степень. «Шлецер оказал нам, – говорит Каченовский, – великую услугу, обратив ученое внимание на наши временники; но высшая критика сих временников начинается только в наше время<sup>362</sup>. Эта высшая критика, – требовал Арцыбашев, – должна состоять в строгом сличении наших домашних известий с иностранными, что делал и Шлецер, и кроме того, в строгом соображении наших событий с ходом их в Западной Европе. Сравнительный метод изучения нашей истории и истории других народов стал догматом школы скептиков. Сам Каченовский был страстным поклонником этого метода, т. е. собственно поклонником западноевропейской культуры, неверное сравнение с которой нашей истории и было причиной всех его увлечений и ошибок.

Но эти увлечения и ошибки не должны закрывать перед нами действительных заслуг скептиков. Байер, Шлецер направляли сравнение нашей истории с историями других народов к выяснению великого будто бы влияния на нас германской культуры. Русские люди – Каченовский и его последователи не могли остановиться на такой узкой, немецко-патриотической задаче Байера, Шлецера; они смело пошли



дальше и стали усердно обходить все страны мира, чтобы найти сближение с нашими событиями.

Для наших скептиков вся европейская культура одинаково была важна, если они находили сходство ее явлений с явлениями нашей русской жизни. Таким образом, наши скептики гораздо выше ставили знамя научности, чем наши первые ученые немцы, более успешно добивались до общечеловеческих законов в развитии человечества, и при этом даже пришли совершенно неожиданно к догадкам, совсем противоположным и немецким патриотическим увлечениям, и каким-либо другим национальным западноевропейским увлечениям. Ища во всеобщей истории объяснения явлениям нашей древней исторической жизни, они, естественно, обращались и к истории других славянских народов. Это привело их к предположению, что в древнейшем нашем развитии на северо-западе должны были принимать участие больше всего балтийские славяне. Каченовский и некоторые его последователи решительно утверждали, что наш Новгород колонизован балтийскими славянами, что этим именно путем переходила к нам западноевропейская культура<sup>363</sup>.

Постоянные толки о строго научном отношении к летописям, об очищении их от наростов, о разработке их текста вызывали на изучение летописей, и вышеупомянутый последователь Каченовского Арцыбашев предпринял огромный труд сличения всех летописных списков, какие только он мог найти. Он написал три тома сочинения под заглавием «Повествование о России», в котором сличение летописей по годам доведено до 1700 г. (изд. в 1838–1841 гг.). Труд этот был предпринят с той целью, чтобы показать, как разнообразны, не согласны летописные известия и как необходимо наши летописные данные сопоставлять с иностранными известиями и архивными памятниками, т. е. актами, что Арцыбашев и делал по мере сил своих.

Тенденция, скрывавшаяся в основе этого труда, принадлежавшая всем скептикам, выразилась яснее в другом труде Арцыбашева, и гораздо более серьезно – в трудах других скептиков.

Каченовский не раз высказывал, как важна у нас дипломатика, т. е. обработка официальных актов. Это же повторяли и его последователи и заявляли, что официальные документы (в том числе и официальные известия летописи) должны занимать первое место в ряду источников; а так как официальные документы увеличиваются по мере развития государственности, то уже по одному этому Московская государственность неизбежно должна была выступить и у скептиков на первый план. Арцыбашев еще в 1821 г.<sup>364</sup> написал несколько статей для объяснения самого загадочного времени в истории Московского единодержавия, а именно – времени Иоанна IV, которое с таким поразительным тактом и художественностью описал Карамзин. Арцыбашев в своих статьях ниспровергает главнейшее основание карамзинского взгляда – сочинение Курбского. Для него это то же, что дурная летопись, не заслуживающая доверия. Арцыбашев даже подрывает значение иностранных свидетельств об Иоанне IV. Вместо всего этого выдвигаются акты за время Иоанна, в которых, конечно, мало могло быть указаний на его жестокости.

В среде скептиков явились даже попытки объяснить собрание Руси в Москве, т. е. развитие централизации в России по примеру западноевропейских народов. В этом смысле написал в «Московских ученых известиях»<sup>365</sup> Станкевич статью о причинах постепенного возвышения Москвы, где это возвышение выяснено из географических условий Москвы, влияния монголов и сосредоточения духовной власти, – последнее в соответствии с тем, как Гизо видел в папстве объединение Европы.

Несравненно шире поняли значение актов и успешно повели это дело известный Строев и его сотрудники и затем – преемник Бередников, из которых последний был учеником и последователем Каченовского, а первый, хотя не был учеником Каченовского и бывал в разногласии и разладе с ним, но во многих вопросах (о древних деньгах) сходилась с ним, особенно в позднейшее время жизни Каченовского. С ним его связывала и горячая преданность Каченовскому родного его брата Сергея Строева. Близок был к идеям Каченовского и знаменитый

Румянцев. Но все они гораздо шире понимали дело о наших памятниках. Придавая все значение актам, они дорожили и летописями, много ими занимались и принимали участие в их издании. Постепенно скептики возвращались и к Карамзину. Румянцев был другом Карамзина; Строев составлял указатели к его «Истории».

На скептиках и помимо сознания их отражалось влияние Карамзина. Так, они решительно, как и Карамзин, понимали общественное значение русской истории. Как и Карамзин в первые годы своей деятельности разрабатывал свою «Историю» в журналах, так этому приему последовали и скептики, даже в гораздо более сильной степени. Они как бы возобновили время Новикова. Новиков собирал и взрослых, и особенно молодых людей, чтобы направить их к высшему, главным образом, нравственному общечеловеческому развитию. Вождь скептиков Каченовский тоже собирал около себя русских людей, особенно молодых, и тоже направлял их к высшему общечеловеческому развитию, но не к нравственному, а к умственному западноевропейскому развитию и в эту область переносил русскую науку, русскую историю. Он излагал на кафедре свои воззрения, а слушатели переводили эти воззрения в его издания – «Вестник Европы», «Ученые записки Московского университета», то в целом виде, то в более или менее самостоятельной разработке. Это действительно была целая школа с профессором во главе. Но эта школа и сам ее вождь в действительности находились под ближайшим влиянием Карамзина и в другом отношении, еще более важном. Своей «Историей» Карамзин дал неисчерпаемый материал для их работ, а тем, что его «История» приобрела неслыханное популярное значение, читалась многими тысячами, он возбуждал и усиливал в русском обществе интерес к вопросам русской истории, т. е. он, как выражался наш летописец, «взорал», обработал поле русской истории, на котором они сеяли свои учения. Скептики могли подрвать значение Карамзина только тогда, когда бы дали русскому обществу «Русскую историю» лучше «Истории» Карамзина. Скептиков давно и озабочивала эта мысль – ... составить по их началам и

издать «Русскую историю». Мысль эта озабочивала самого Каченовского; но потом он отказался от нее из уважения к тем высшим задачам науки, которой он служил ошибочно, но с нелицемерной искренностью и честностью.

**Н. Полевой.** За осуществление этой мысли взялся человек, страстно преданный скептикам по многим вопросам, хотя и состоявший вне их круга по своему образованию и положению и часто разрушавший некоторые их положения. Это самоучка, словесник и популярный в среде молодых людей журналист – известный Н. Полевой. В своем журнале «Московский телеграф» он давно проводил и защищал теорию скептиков, наконец, решился написать всю историю России от начала до конца, т. е. до царствования императора Николая. В действительности он далеко не дописал до этого предела. Он довел свою «Историю» до начала казней Иоанна IV. Изложил он эту «Историю» в шести томах, из которых первый явился в 1828 г., а последний – в 1833 г. «История» Полевого носит заглавие «История русского народа» и посвящена Нибуру. По этим уже двум особенностям можно заключать, что тут дело будет идти в разрезе с «Историей» Карамзина и смело выражать теорию скептиков. Русский самоучка взялся совместить в своем труде значение русской народной стихии как главной исторической силы и высшую западноевропейскую научность. Замечательная талантливость, большая начитанность в разного рода книгах и своеобразность и смелость человека, проложившего себе дорогу к высшему знанию сквозь все преграды, придали труду Полевого немало выдающихся особенностей, на которые наука обратила внимание. Но в этом труде есть еще больше таких особенностей, которые всегда будут служить поучительным примером, как далеко может зайти русский человек, освободившийся от своих родных авторитетов.

Собственно, в литературе нашей науки «История» Полевого имеет то главное и почти незаменимое достоинство, что она лучше всего показывает, какое чудовищное искажение всего нашего прошедшего строя можно произвести, примеривая к нему западноевропейский строй, хотя бы то по самым научным западноевропейским книгам.

Полевой, как и скептики, выходит прежде всего из того положения, что история должна быть правдива, научна, совершенно независима от личного отношения писателя к излагаемому им прошедшему. Поэтому он отвергает карамзинское патриотическое отношение к нашему прошедшему и раскрывает вредные последствия такого отношения – преувеличение достоинств этого прошедшего, перенесение на него наших понятий, нравоучительный тон в изложении истории, а тем более – желание дать занимательное чтение. Полевой признает такой прием старым, заброшенным, и Карамзина – писателем совершенно отсталым, который, занявшись историей России, перестал следить за тем, как изменились взгляды на все в западноевропейском мире, а в этом мире господствует философское воззрение на историю как на жизнь человечества, выражающуюся в отдельных, государственных и народных формах, но выражающих мировые законы человеческой жизни<sup>366</sup>. «Новейшие мыслители объяснили нам вполне, – писал Полевой еще в своем журнале «Телеграф»<sup>367</sup>, – значение слова «История». История в высшем значении не есть складно написанная летопись времен минувших, не есть простое средство удовлетворить любопытство наше, нет; она практическая проверка философских понятий о мире и человечестве, анализ философского синтеза (просим заметить, как здесь под видом научности, объективности возводится на первое место субъективность новейших писателей и, следовательно, неразрывно связанная с ней национальность). Здесь мы разумеем, – продолжает Полевой, – только всеобщую историю, и в ней мы видим истинное откровение прошедшего, объяснение настоящего и пророчество будущего». Это верно, но верно и то, что и это откровение, и это объяснение, и это пророчество могут быть близки к истине и понятны только при одинаковом знании всех частных, народных историй, из которых слагается всемирная история как наука; а при малейшем, и тем более при крупном нарушении равновесия в знании могут терять смысл всякое откровение, всякое объяснение, всякое пророчество всемирной истории в приложении к данной народной истории. Полевой,

конечно, не думал об этой опасности. Смотря на дело с теоретической точки зрения, он простодушно дает равное значение всем частным историям – равно принижает их перед всеобщей. «Историк смотрит, – говорит он, – на царства и народы, эти планеты нравственного мира, как на математические фигуры, изображаемые миром вещественным. Он изображает ход человечества, общественность, нравы, понятия каждого века и народа, выводит цепь причин», производивших и производящих события... Всеобщая история есть тот огромный круг, в котором вращаются другие, бесчисленные круги, частные истории народов, государств, земель, верований, знаний... Человечество живет в народах, народы в представителях, двигающих грубый материал и образующих из него отдельные, нравственные миры». Здесь мы уже ясно видим, как в этих словах Полевого сквозит чисто западноевропейский взгляд на государство, на исторические личности и на народ. Тут у Полевого, вышедшего почти из народа (сын купца) и решившегося написать «Историю» русского народа – решительное ниспровержение народной силы. Она – грубый материал для народного государственного строения и для мирового движения человечества. Совершенно естественно вышло дальнейшее последствие, что и всю русскую историю нужно принизить перед западноевропейской под видом всемирной. Действительно, все симпатии Полевого лежат в области всеобщей, т. е. западноевропейской истории, и он делает весьма опасное принижение частным историям, т. е. собственно русской. «С идеей человечества, – говорит он в Предисловии к своей «Истории», – исчез для нас односторонний эгоизм народов... Лестница бесчисленных переходов человечества и голос веков научили нас тому, что уроки истории заключаются не в частных событиях, которые можем толковать и преображать по-своему, но в сущности, целости истории, в созерцании народов и государств как необходимых явлений каждого периода, каждого века. Здесь только раскрываются для нас тайны судьбы и могут быть извлечены понятия о том, что должны делать человеческая мудрость и воля, при законах высшего, Божественного

Промысла, неизбежных и от нас не зависящих». Самоотречение Полевого от своей национальности идет далее. «Историк, по его мнению, должен отделиться от своего века, своего народа, самого себя»<sup>368</sup>. В другом месте Полевой то же самое высказывает яснее. «В настоящей жизни, в действиях своих мы должны быть сынами Отечества, гражданами России, ибо космополит будет в сем отношении безумец, самоубийца в гражданском обществе. Так в настоящем и совсем иначе в прошедшем». Как же иначе? Полевой мало разъясняет. Он только говорит, что для нашего прошедшего мы должны быть бесстрастными наблюдателями, беспристрастными повествователями<sup>369</sup>.

Из всех этих слов Полевого видно, что он нашу русскую историю будет излагать в теснейшей связи с явлениями всеобщей истории. «Необходимость рассматривать события русские, – говорит он, – в связи с событиями других государств заставила меня вносить в историю русского народа подробности, не прямо к России относящиеся... Рассказывая их, историк как будто поднимает завесы, которыми отделяется позорище действий в России, и читатель видит перед собой перспективы всеобщей истории народов, видит, как действия на Руси, по-видимому, отдельные, были следствиями или причинами событий, совершившихся в других странах»<sup>370</sup>.

Таким образом, Полевой взял положение скептиков: изучать русскую историю сравнительно с историей других народов и приступил к этому сравнению тоже, подобно скептикам, с полнейшим национальным самоотречением, предполагая, конечно, что и в тех народных историях, из которых он будет брать сравнения, выражается тоже полное национальное самоотречение, царствует объективная истина, наконец, что он сам также объективно и верно будет делать свои сближения. Нет сомнения, что Полевой искренно так думал и искренно желал так делать. Во имя этих заветных убеждений он даже во многом отступил от своих учителей-скептиков. Но осуществились ли его намерения на деле – это другой вопрос.

Едва Полевой спустился с высот своих умозрительных взглядов в реальную область русской истории, как сейчас же,

даже вопреки указаниям своих учителей-скептиков, погрузился в национальный немецкий патриотизм и согласно с Байером и Шлецером признает норманнское призвание Рюрика, Синеуса и Трувора. Мало того, он выводит князей еще из более национальной среды – скандинавской, и соглашается, что именно из Рослангена – упландского берега Скандинавии – вышли призванные князья. «Бесполезно было бы, – говорит он, – опровергать здесь мнения тех, кои не хотят признать в варягах скандинавов»<sup>371</sup> (ссылка на диссертацию Погодина 1825 г.). «Они (варяги скандинавские) назвали себя «русь» – именем, не означавшим ни страны, ни народа. При каждом сборе на войну в Скандинавии, когда набеги скандинавов были уже правильной системой тамошних князей и вождей, на живущих внутри земли налагалась обязанность поставлять наших воинов, а на живущих по берегам моря – гребцов и воинов в лодках: последние именовались руси и роси. От того весь упландский берег, где было одно из главных морских становищ, получил название Рослангена (места сближения руссов). Везде, куда приходили и где селились скандинавы, до ныне сохранились имена россов и руссов»<sup>372</sup>. Такой неожиданный скачок был необходим Полевому, чтобы выполнить основное его требование – связать русскую историю со всемирной. Скачок этот, впрочем, сейчас же заставил Полевого одуматься. Он вспомнил учение скептиков, и потому делает призвание князей только вероятным, даже сомнительным, т. е. касательно достоверности того, что князья были призваны, и что такими были Рюрик, Синеус, Трувор. «Не отвергаем существования Рюрика и двух братьев его, хотя оно весьма подозрительно»<sup>373</sup>. В примечании к этому месту говорится: «Мы приняли уже пришествие Рюрика и его братьев как исторический факт. Но можем ли отвергнуть сомнения критики, которая, основавшись на доказательствах о неверности летописцев в описании пришествия варягов, будет утверждать, что Рюрик никогда не существовал? Где дела его? Чем ознаменовано его бытие? Если вспомнить, что слово Rik имело символическое значение – богатый, знатный (то же, что германское reich: см.: *Тьерри А. Lettres sur l'Histoire de France.* –



С. 178); что Белоозеро и Изборск, упомянутые при начале как владения Рюрика, потом теряются в летописях; что Олег впоследствии берет землю кривичей, а Рогволод владеет в Полоцке, отдельно завладевши им, то где тогда будут владения Рюрика и сам Рюрик? Тройство братьев варяжских явно походит на миф... Сличите тройство Кия, Щека и Хорева, трех сестер богемских, трех ирландских завоевателей» и т. д. Впрочем, сомнение в призвании князей Полевому нужно было и по другим соображениям. Ему более нравилась первая половина текста Несторовой летописи о начале нашей государственности, т. е. та, где говорится сначала о завоевании Новгорода варягами. Это давало Полевому более прочную связь нашей древней России с Западной Европой. Путем норманнских завоеваний образовались государства Западной Европы: почему же не думать, что норманны завоевали и Россию? Полевой и полагает, что Новгород завоеван варягами, и что потому Олег повел завоевательную политику дальше – завоевал юг России, и таким образом Россия объединена силою оружия<sup>374</sup>. Это заставило опять отступить от скептиков – признать хотя бы некоторую вероятность Начальной летописи. Полевой даже верит и рассказам летописи о походе Аскольда и Дира и затем Олега – на Царьград, признает и договоры русских с греками<sup>375</sup>; но эти отступления от теории скептиков дали Полевому возможность теснее связать русскую историю с западноевропейской. В договорах говорится о русских князьях, подвластных главному князю. Это напоминало Полевому феодальное устройство. Он смело и переносит в Россию феодальное устройство Западной Европы и находит в России вассальные области. Это представило ему еще ту выгоду, что он затем нашел возможность сойтись и с немецкими учеными, и со скептиками. Завоеванный, угнетенный норманнами народ не мог быть, по словам Полевого, на значительной степени цивилизации. Жизнь и смерть его была в руках князей. По призыву князей он шел на войну, по требованию их давал им дань. Но и князья с варяжскими дружинниками, как и западноевропейские норманны, не были высокой культуры – воевали разбойнически, грабили свой народ<sup>376</sup>. Но тут Полевой

расходится опять со своими единомышленниками. Вопреки им он признает достоверность Русской Правды, потому что в ней, как и в договорах, он находит подтверждение своей мысли о низкой культуре русских: кровь за кровь, собственность за собственность, установившееся рабство. При этом Полевой, как иногда и скептики, нападает на светлую мысль. Русскую правду он причисляет к однородным западноевропейским памятникам – так называемым сборникам варварских законов, но не видит необходимости связывать ее с ними внутренним родством. Он утверждает, что разные народы и помимо заимствований могли составлять сходные законы и, что еще важнее, в Русской Правде он видит собрание древнейших русских народных обычаев<sup>377</sup>.

Сблизив таким образом Россию и Западную Европу, Полевой оттеняет затем их различие. Ход его мыслей следующий. Одинаковое с русским западноевропейское варварство тех старых времен ослаблялось и разрушалось там наследием древней культуры<sup>378</sup>. В России этого не было. Она, правда, приняла Христианство, но от разлагавшейся Византии, которая не передала нам этой древней классической культуры. Страсть сблизить Россию с Западной Европой побудила Полевого умалить и значение у нас Христианства, принятого от греков. Оно, по мнению Полевого, введено насильно, духовенство наше было ужасом для народа<sup>379</sup>. Наше Христианство выражалось, по его мнению, или в лицемерном благочестии, или в монашеском экстазе<sup>380</sup>. Одним словом, у нас были те же темные века, что и на латинском Западе. Но Византия передала нам другое важное наследие, почему с принятия Христианства Полевой и начинает новый период нашей истории. Византия передавала нам понятие о единой монархии, единой власти. К этому присоединились и азиатские понятия о том же. Владимир, Ярослав и были проводниками этих понятий<sup>381</sup>.

«Но феодальные понятия, – полагает Полевой, – все-таки жили у нас, поэтому мы видим в так называемое удельное время нашей истории борьбу феодальной и единой державной власти. Борьба эта усиливается тем, что области развиваются,

становятся особо и тем, что сами князья заражаются этой системой и сосредоточивают свои интересы в своих семействах. Поэтому и величайший человек нашей дотатарской Руси Владимир Мономах оказывается у Полевого поборником этой семейной пользы, виновником многих смут и вообще человеком корыстным и неправдивым<sup>382</sup>.

Для подкрепления объяснения, почему смуты были сильны и продолжительны, указывается остроумная и немаловажная причина – различие областей, даже этнографическое. Для большего сходства нашей феодальной системы с западноевропейской нужны были города, стремившиеся к самобытности и выделившие из себя группу вольных городов. Таким и оказались у Полевого некоторые наши города, особенно вольный Новгород.

Все это должно было объяснить татарский разгром России и татарское иго, которое, по естественному порядку вещей, Полевой признает полезным для России как облегчавшее объединение ее, образование в ней единой державной монархии. Поэтому Полевой, подобно Карамзину, с которым старался во всем расходиться, признает великим человеком Иоанна III и не жалеет о падении Новгорода и других областей. Логичность требовала, чтобы Полевой согласно с Арцыбашевым очистил и Иоанна IV от ужасов тиранства. Но этого не случилось, трудно судить почему: потому ли, что и в «Истории» развития западноевропейского единогодержавия были тоже жестокие государи, или потому, что раз сойдясь с Карамзиным, он не мог уже освободиться от его влияния. Влияние Карамзина, впрочем, лежит и на всей «Истории» Полевого. Враждуя, полемизируя постоянно с Карамзиным, он по нему и изучал русскую историю и даже по нему излагал ее в частных случаях. Самостоятельной оказывается только его система – забота провести одну мысль через всю русскую историю и еще более важная забота доискиваться внутренних причин исторических явлений. В этом последнем только смысле, «История» Полевого может быть названа «Историей» русского народа. Во всех же других отношениях она не имела и не имеет значения и, к истинному злосчастью скептиков, служила лишь и служит очевиднейшим

примером неудачного приложения западноевропейских явлений жизни к нашим русским и печальным доказательством, как во имя самых высоких общечеловеческих и научных принципов может быть искажаема русская история<sup>383</sup>.

## Глава X. Противники скептиков

**М.П. Погодин.** Шумные дела так называемой скептической школы, приводившей во имя высших начал науки к таким чудовищным извращениям смысла нашей истории, как «История» Полевого, убеждали многих в настойчивой необходимости нового, основательного научения и обработки наших памятников. Нужда эта стала осуществляться в том же Московском университете. За это взялся известный М.П. Погодин. Еще в детстве он с восторгом читал «Историю» Карамзина. В Московском университете он, как сам сознается, стал было поддаваться теории Каченовского<sup>384</sup>. Но в 1825 г. в своей диссертации о призвании князей он явился уже последователем Шлецера, каким и остался по вопросу о призвании князей до конца дней своих. С 1825 г. он вместе с всеобщей историей читал в том же университете и русскую историю рядом с Каченовским, но вразрез с его воззрениями. Старые симпатии к русскому направлению Карамзина и сочувствие к пытливым сомнениям Каченовского совмещались, однако, в Погодине и в это время. Из этого двойственного положения он вышел следующим образом. Как бы в утомлении от разных высших жизненных принципов науки, волновавших тогда не только ученых, но и общество, и, однако, не приводивших к твердым решениям, Погодин стал заявлять и выполнять требование самого тщательного и обстоятельного изучения факторов и таких строгих выводов из них, которые походили бы на математические выводы. Математический метод изучения нашего прошедшего и стал его методом в трудах по русской истории<sup>385</sup>.

По такому способу написано его сочинение «Нестор», историко-критическое рассуждение о начале русских летописей, которое он в виде статей печатал сначала в «Журнале Министерства народного просвещения» в 1834 г., а в 1839 г. издал и отдельной книгой. Вот оглавление статей этого сочинения.

1. О достоверности древней русской летописи вообще.

2. О времени и месте сочинения первой русской летописи.
3. Летописец Нестор.
4. Нестерова летопись.
5. Источники Несторовой летописи.
6. О договорах русских князей: Олега, Игоря и Святослава с греками.
7. Обзор Несторовой летописи по источникам.
8. Сказки в Несторовой летописи.
9. Достоверность известий Нестеровых.
10. Заключение лекций о Несторе.

Подобно Карамзину, Погодин не самостоятелен в области русских древностей. Он, как мы уже говорили, принимает за несомненное положение ученых немцев о норманнском происхождении нашей государственности. Он даже усиливает это положение на основании нижеследующих исследований Эверса и Рейца, и идет дальше Карамзина в признании культурного влияния на нашу жизнь призванных варягов. Он выделяет в русской истории особый, нормальный период – до Владимира, о чем впоследствии написал особую книгу. Но, подобно Карамзину и даже гораздо смелее его, он освобождается от мнений немцев по вопросу о культурном состоянии России до призвания князей и в первые времена призванных князей<sup>386</sup>. Достоверности русских договоров с греками и Русской Правды, о которой, впрочем, он в своем сочинении только упоминает, являлась у Погодина сама собой<sup>387</sup>. Далее, допустив норманнский период русской истории, Погодин тем естественнее должен быть придать особенное значение просветительному влиянию на нас Византии. Восточное Христианство и славянская книжность выступают у него как могущественные двигатели русской исторической жизни<sup>388</sup>.

Отсюда еще далее уже неизбежно выступал Нестор со своей летописью и не как одинокое явление, а как продолжатель просвещенного движения, охватившего Россию со времени принятия ею Христианства. Монастырские записки, отдельные сказания, устные предания, песни, греческие

летописи в болгарском переводе легли в основу нашей летописи<sup>389</sup>.

Погодин не отвергает, что в нашей летописи есть баснословные прибавки, такие как о смерти Олега, о мщении древлянам Ольги, о послах к Владимиру с предложением веры<sup>390</sup>, но сравнительное изучение Несторовой летописи и иностранных свидетельств о России и вообще летописей других народов приводит его к заключению, что наша летопись имеет необыкновенную достоверность, и составитель ее Нестор заслуживает величайшего уважения<sup>391</sup>. Математический метод – указание на богатство у Нестора точных известий, особенно указание на поражающее множество географических данных, которых никто не может опровергнуть, дали Погодину возможность освятить значение нашей Начальной летописи ярким светом.

Но проповедник математического метода не удовольствовался этим. Заплатив с необыкновенным усердием дань этому методу, Погодин стремительно вырывается из его рамок к Карамзину, в простор сильного русского чувства к родине. Вот его заключительные слова к Нестору, составлявшие, как и все сочинение, его профессорские «Лекции...». «Так, милостивые государи, по всем самым точным исследованиям, по всем самым мелким наблюдениям, по всем усиленным соображениям, подвергая строжайшей критике все показания летописи и все свидетельства посторонние, хладнокровно, беспристрастно, добросовестно, в том положении, в каком ныне находится наша история и ее критика, сколько до сих пор известно источников и документов, мы признаем несомненным, что первой нашей летописью мы обязаны Нестору, киево-печерскому монаху 11 столетия. Чем более разнообразнейшему допросу подвергается он, тем чище, достовернее, почтеннее является пред глазами всякого неумытного судьи, как старый Иродот (т. е. Геродот), на которого также возводимо было много несправедливых подозрений в продолжении веков. Все клеветы и напраслины сбегает чужой чешуей с нетленных его останков. Да, м. г., мы обладаем в Несторовой летописи таким сокровищем, какого не

представит нам латинская Европа, какому завидуют наши старшие братья славяне. Нестор во мраке 11 века, в эпоху междоусобных войн возымел первый мысль предать на память векам деяния наших предков, мучительное рождение государства, бурное его детство; Нестор проложил дорогу, подал пример всем своим преемникам в Новгороде и Волыни, Владимире и Пскове, Киеве и Москве, как продолжать его историческое дело, без которого мы блуждали бы во тьме преданий и вымыслов. Нестор исполнил это дело с примечательным здравым смыслом, искусством, добросовестностью, правдивостью и, прибавим здесь еще одно прекрасное свойство, с теплотой душевной, с любовью к Отечеству. Любовь к отечеству в эпоху столь отдаленную, в эпоху, когда господствовала личность, выражение о Русской земле, когда всякий думал только о Киевском, Черниговском или Дорогобужском княжестве, выражение о Русской земле в устах святого отшельника, погребенного заживо в глубокой пещере, обращенного всей душой к Богу и уделяющего между тем по несколько минут на размышление о земной своей отчизне – явления умиленные. Так, м. г., Нестор есть прекрасный характер русской истории, характер, которым должен дорожить всякий русский, любящий свое Отечество, ревнующий литературной славе его, славе чистой и прекрасной. Нестор по всем правам должен занимать почетное место в пантеоне русской литературы, русского просвещения – там, где блистают имена бессмертных Кирилла и Мефодия, изобретателей Славянской грамоты, которые научили наших предков молиться Богу на своем языке, между тем как вся Европа в священных храмах лепетала чуждые, непонятные, варварские звуки; там, где блистает имя Дубровского, законодателя славянского языка, обретшего непреложные законы в движениях его коренных элементов, сообщившего филологии ее высокое достоинство; там, где мы благоговеем пред изображением нашего холмогорского рыбака, Ломоносова, давшего нам услышать новую, чудную гармонию в отечественной речи; где возвышается памятник Карамзина, которого должны мы почитать Нестором нашего времени,



идеалом русского гражданина и писателя; куда перенесли мы недавно со слезами гроб нашего Пушкина, который опустился далее всех в глубину русской души и извлек из нее самые славные звуки. Туда, туда постановим мы... не портрет, но освященный образ нашего первого летописателя, знаменитого инока киево-печерского, Нестора, провозгласим ему вечную память и будем молиться ему, чтоб он послал нам духа русской истории, ибо дух только, друзья мои, животворить, а буква, буква одна умерщвляет, по слову Святого Писания; мы будем молиться ему, чтобы он соприсутствовал нам в наших разысканьях о предмете земной его любви, о предмете самом важном в системе гражданского образования, в коем таится все наше настоящее и будущее, об отечественной истории»<sup>392</sup>.

Ниже мы увидим, откуда взялись намеченные здесь новые элементы у этого проповедника математического метода и как они развернулись у него и у других русских ученых.

**П.Гр. Бутков.** Одновременно с тем, как Погодин в своих «Лекциях» освещал наше прошедшее другим светом, чем скептики, и, ниспровергая их учение, восстанавливал значение Карамзина, в среде русского общества подготовлялся новый Болтин. Это упомянутый уже нами Бутков. Он усердно вчитывался во все, что писалось по русской истории, изучал Карамзина и его предшественников, изучал все важнейшие исследования скептиков, и все проверял по источникам, нашим и иноземным. Результатом этого изучения было убеждение, что наши скептики страшно несправедливы по отношению к нашим древним памятникам и к культурному достоинству нашего древнего прошедшего. Бутков увидел, что Шлецер справедливо высоко ставит эти памятники и что Карамзин справедливо видит культурность в нашей дорюриковской и довлاديمировой Руси. Но в той и другой области он, подобно Погодину, пошел дальше и Шлецера, и Карамзина. В особенности Бутков широко раздвинул область изысканий для уяснения культурного состояния России в XI веке, когда появилась наша первая летопись, выяснил значение книжного, просветительного влияния на нас Византии и просветительное значение Киево-Печерского монастыря. Бутков пришел даже к предположению,

что наш Нестор знал греческий язык, и у Буткова-то и раскрыто, как в Киево-Печерском монастыре сосредоточивались известия из разных мест России, на что мы обращали внимание в свое время. Все это утверждало Буткова в убеждении, что в Киеве действительно написана та летопись, которая у нас известна под именем Нестора и что для объяснения происхождения этого памятника нет надобности прибегать к предположению, что предварительно существовали так называемые монастырские записки. Но Бутков не думал, конечно, усматривать в тогдашней России книжную пустыню, кроме Киева и Несторовой летописи. Он признавал и крепко защищал и «Договоры» с греками, и другие памятники, как отдельные произведения того же Нестора, вроде Жития Феодосия, так и отдельные сказания областные, вроде Сказания Василия об ослеплении Василька.

Вот эти-то основные положения и высказаны П. Бутковым в его замечательном сочинении «Оборона русской летописи Несторовой от навета скептиков», изданном в Петербурге в 1840 г., следовательно, после погодинского «Нестора», но составленном совершенно независимо от исследования Погодина, что признал сам Погодин<sup>393</sup>.

Перечислив в своем Предисловии главнейшие из статей и сочинений скептиков, Бутков говорит там же: «Все эти взгляды, все эти рассуждения, разыскания, лекции, мысли, мнения, привязки под завесою высшей критики и под предлогом уяснения первого периода истории российской направлены прямо к уничтожению достоинства древнего нашего летописца. Делая нам упреки, что по слепой доверенности к Нестору мы держим себя во мгле непростительных предубеждений, скептики изъявляют готовность свою вывести нас из сего тумана, как скоро станем смотреть на «Временных Несторов» их глазами и согласимся, что сие творение есть пестрая смесь былей с небылицами... Короче, скептики хотят, чтобы мы Рюрика, Аскольда, Дира и Олега принимали за мифы об Игоре же, Ольге, Святославе, Владимире и Ярославле, знали бы не более того, сколько эти государи наши были известны иностранцам; а эпоху поселения славян на Севере нашем и

начало Новгорода не возводили бы выше первой половины XII века»<sup>394</sup>.

Из этой уже постановки дела можно заметить, что Бутков будет прежде всего и больше всего бить скептиков их же оружием, т. е. станет разбирать с большим знанием и большой научностью иностранные известия о России для уяснения ее состояния и объяснения достоинств древней русской культуры и древней русской летописи. Так он и делает, и этому посвящает преимущественно первую часть своего сочинения. В этой первой части решаются Бутковым следующие вопросы.

1. На такой ли степени образования стояла Россия XI века, чтоб могла иметь тогда собственного летописца?

2. Источники летописи русской.

3. Руссы Аскольдовы и «Договоры» Олега и Игоря.

4. Руссы Шлецеровы и Эверсовы.

5. Кто были руссы и варяги по понятию скептиков?

6. Основание Новгорода и его торговля.

Расчистив таким образом поле наших древностей, Бутков приступает к главному своему вопросу – о Несторе и его летописи. Этим занята вторая часть его сочинения, в которой следующие предметы.

1. Явление Нестора: образование сего инока; начало и конец его Временника.

2. Разбор мнения скептиков о древних монастырских записках.

3. Связь с летописью Нестеровых отдельных повестей – о Борисе и Глебе, о начале Печерского монастыря и о житии Феодосиевом.

4. Средства Нестеровы к собранию для летописи материалов.

5. О Василии, Сильвестре и Татищеве.

6. С каких пор Нестор известен в звании летописца.

В этих всех главах своего сочинения Бутков, подобно Болтину, преследует по пятам своим противников, но, как можно видеть и по оглавлению его сочинения, он дает в своем сочинении стройную систему и прежде всего формулирует главные вопросы, чего нет у Болтина. В самом сочинении они

распадаются на множество частных вопросов, которые Бутков сначала излагает, а потом возражает на них.

Сравнительно с Погодиным за то время, когда Погодин писал свое сочинение «Нестор», Бутков не обладает той широтой взгляда на всемирное и русское историческое движение и той смелостью выводов, какую отличался и тогда уже Погодин; но научная аргументация у Буткова гораздо полнее и тщательнее. Половина сочинения его состоит из примечаний, в которых, как и в самом тексте, Бутков подвергает критике не только скептиков, но и других писателей, не исключая и Карамзина, которому, однако, как и Погодин, воздает должную дань великого уважения.

**Сочинение Н. Иванова о хронографах.** Сочинения Погодина, Буткова, а также разыскания известного нам П. Строева вызвали довольно оригинальное сочинение профессора русской истории в Казанском университете Николая Иванова под заглавием «Общее понятие о хронографах и описание их некоторых списков». Сочинение это издано в Казани в 1843 г.

Постоянные толки о связи известий нашей Начальной летописи с иностранными известиями и о византийских источниках многих мест самой Начальной летописи вызвали у нас внимание к хронографам, которые Строев совершенно справедливо назвал «курсом всемирной истории наших предков»<sup>395</sup>. Но Строев имел в виду отыскать в хронографах одну особенность чисто скептического свойства. Он полагал, что в хронографах можно найти первичную основу Начальной летописи вроде монастырских записок<sup>396</sup>.

Иванову понравилась мысль разрабатывать хронографы, но по совершенно другим побуждениям, которые должны были отодвинуть на задний план и сами хронографы. Иванов говорит, что в хронографах важно для нас русское их содержание, которое может быть даст нам правильное понятие о начале отечественного бытописания, но не следует оставлять их в стороне всемирных в них повествований, потому что предки наши в них единственно почерпали свои сведения о деяниях

рода человеческого, и переписчики порою присовокупляли собственные суждения о происшествиях<sup>397</sup>.

По-видимому, нужно было ожидать, что Иванов даст нам исследование об этих важных предметах; но и этого у него нет. Есть лишь краткое описание нескольких знакомых ему списков хронографов, а затем почти до последней страницы идет рассказ о борьбе литературных мнений касательно наших древностей и об издании и разработке летописей, актов. Главнейшая часть труда Иванова посвящена изложению мнений скептиков и изложению опровержений, какие на них делали Погодин и Бутков.

Такая странная постановка дела объясняется, насколько можно судить по сочинению, следующим образом. Автор, так сказать, платит и со своей стороны усердную дань требованиям времени, занимается современными вопросами; но занят он, собственно, другим. Он с великою горечью относится к непомерной трате времени и сил на изыскания наших древностей, большей частью бесплодные, и хотя везде относится с уважением к трудам Погодина, Буткова, как бы вынужденных на это дело безрассудствами скептиков, но зато гнев его и за этих ученых, и даже за скептиков со всей силой обрушивается на первых виновников такого направления нашей науки – Байера, Шлецера. «То правда, – говорит Иванов, – что он (Байер) совершил первый шаг на поприще критических разысканий относительно нашей древности однако ж надобно решить: верный ли, прямой ли путь к цели избрал Байер? Не слишком ли далеко уклонился знаменитый академик, бесспорно einer der grossten Humanisten und Historiker seines Jahrhunderts (Schlozer's Nestor 1, 90), занявшись второстепенными задачами? Не увлек ли надолго и нас своим громким авторитетом? Не с его ли легкого приема мы, устраняя существенные вопросы, ограничиваемся побочными? Затрудняюсь, как иначе назвать наши давние и пристрастные толки о руссах»<sup>398</sup>. Шлецеру достается еще сильнее. «Знаменитый издатель «Нестора» при весьма обширной начитанности, изумительной проницательности и беспримерном терпении тяжко хизнул (болел)<sup>399</sup> закоренелым недугом

пристрастия, не всегда помнил о своей задушевной *Kleine Kritik*, довольно часто порицал наугад, порой умышленно приводил ложные цитаты. Это давно уже доказано, и только безотчетное предубеждение доселе упорно отвергает явные улики»<sup>400</sup>.

Иванов в других местах еще яснее и серьезнее высказывает свое предубеждение против этих немецких ученых. Он предлагает, очевидно, Академии наук доказать, между прочим, что то направление, предназначенное им (Байером) критическим занятиям русской историей, «не отклонило нас от главной цели, не повлекло к отчуждению от национальных интересов, еще более от духовного общения с соплеменниками, не поселило в наших умах робкого недоверия к собственным силам и убеждения в неизбежности постороннего руководства, а через это не замедлило ли развития в нас самостоятельных идей о нашем прошедшем, об элементах народной жизни, о нашей доле в ряду прочих деятелей – идей, которых нельзя приобрести заимствованиями и которые даются лишь несомненным упованием на свою мысль, на свое нравственное призвание»<sup>401</sup>.

Иванов не ограничивается этими общими суждениями, справедливости которых нельзя отвергать. Он вступает на действительную почву, указывает на действительное, осязательное зло и сильно вступает за обиду русскую, причем опять у него достается Шлецеру. «Я не могу умолчать о его (Шлецера) приговоре Татищеву, заслуживающем строгое осуждение. Не легко вообразить себе, – говорит Иванов, – с какой опрометчивостью геттингенский профессор упрекает просвещенного патриота, в течение тридцати лет трудившегося для отечественной истории бескорыстно и с ревностью не охлаждавшей(ся?) даже от неодолимых преград в собирании материалов, от гнусной клеветы относительно его благонамеренности и от мелочных гонений, внушенных завистью»<sup>402</sup>. Отстранив нападки Шлецера на Татищева за незнание и недобросовестность, Иванов так определяет значение Татищева: «Я твердо убежден, – говорит он, – что направление, коему следовал Татищев, существеннее и важнее, нежели разрывчатые, побочные изыскания Байера. Не

будучи ни великим ученым, ни всеобъемлющим критиком, руководясь только здравым русским смыслом, прислушиваясь лишь к внушениям патриотического чувства и признавая отечественную историю *любезнейшим занятием*, Татищев первый правильно угадал настойчивые потребности народа и удовлетворил им по средствам, находившимся в его распоряжении»<sup>403</sup>. Направление это Иванов в одном месте особенно ясно и точно определяет. Он проходит все существенные вопросы русской истории до позднейших времен, запущенные у нас благодаря нашим ученым немцам. Это очень дельный, но и очень обширный перечень главнейших событий нашей истории. Приведем два-три места. «Чем соблюлось чудное внутреннее единство Руси в ту пору, когда под влиянием удельных усобиц совершилось ее внешнее раздробление, какое значение в истории нашего отечества имеет сей смутный период и в каком отношении является не только важным, но даже необходимым для его преуспеяния на поприще гражданственности, для повсеместного развития частной самостоятельности племен, чтобы после перейти к самостоятельности народной, к стройной целости государственной; как отпечатлелось на характере предков наших роковое татарское иго, что сохранило коренные их свойства неприкосновенными и тогда, когда легло на них тяжкое насилие завоевателей; где началось возрождение гибнувшей России, откуда ей, косневшей во мгле рабства, воссиял отрадный луч освобождения; каким образом Москва собрала разъединенную Русь, прекратила слабое существование разрозненных княжеств, окрылила подавленную национальность, вызволила Восточную Россию и от постыдного ярма ордынского и от грозных посягательств воинственной Литвы и т. д. Обо всем этом, – заключает Иванов, – столь близком вашему сердцу, так благотворном для уяснения народного *самосознания*, столь поразительном и для стороннего мыслящего наблюдателя, не спрашивайте ученого Байера: у него нет ответа на ваши докучливые вопросы: созерцательный его дух абсолютно погрузился в таинственную Скифию»<sup>404</sup>. Иванов, очевидно, как и многие другие, чувствовал

потребность поскорее направиться к главному центру тяжести русской истории – Московскому единокровию и потому так жалеет, что наши ученые немцы остановили на этом пути нашу русскую работу и прежде всего – работу Татищева. Замечательно, что и Погодин, и Бутков тоже вспоминают Татищева и стараются очистить его от нареканий и восстановить его честь. Но эта общая тяга наших ученых к Москве не скоро еще могла получить волю.

Нельзя не заметить одной странности, общей и для Болтина, и Погодина, и Буткова, и даже Иванова – странности той, что полемика с противниками заводи́ла иногда полемистов к опровержению и того, что должно бы быть дорого им, и они опровергали только потому, что высказано противником. Так, Болтин, как мы знаем, отвергал достоинство народной русской поэзии, признаваемое Леклерком; так Погодин<sup>405</sup>, Бутков<sup>406</sup> и Иванов не оценили, как следует, исследований скептиков о связи Новгорода с балтийским славянством. Впрочем, у первых двух как будто заговаривало чутье, что эта сторона дела важная. Погодин говорит, что в юные его годы в теории Каченовского увлекало его, между прочим, указание на родство с нами балтийских славян<sup>407</sup>. Бутков не говорит ничего о своих симпатиях и увлечениях, но отвергая, как и Погодин, славянское происхождение нашей государственности, он, однако, останавливает свое внимание на балтийском славянстве и признает важными его сношения с Новгородом<sup>408</sup>. Чутье это заговаривало не даром. Недаром и Карамзин, и Погодин, и Бутков крепко держались Сказания Нестора о добровольном призвании князей и отвергали завоевательное начало нашей государственности<sup>409</sup>, а Погодин со всею ясностью уже в своем «Несторе», как мы видели, противопоставлял Россию Западной Европе, выделял самобытные особенности русской истории. Тогда эта особенность, самобытность озарены были новым светом науки, который поразил всех и обнаружил многие глубоко укоренившиеся заблуждения и многие истины, до тех пор неизвестные. Мы разумеем научное озарение, вышедшее из среды так называемых славистов и выразившееся у нас в так называемом славянофильстве. Но вместе с тем появилось и



новое немецкое озарение, по преимуществу из среды наших дерптских ученых, сильно влиявшее и на скептиков, и на их преемников – западников. Мы и займемся сначала этим последним новым немецким озарением, так как оно у нас начало действовать несколько раньше.

## Глава XI. Новый поворот к изучению русских древностей

Мы не раз уже упоминали постоянных у нас представителей немецкой науки – наших балтийских немцев, особенно дерптских ученых. Они открыли новые стороны в русских древностях, которые опять повернули к ним внимание русских ученых; но, кроме того, балтийские ученые выработали и такие воззрения, которые еще сильнее, чем шлецеровские, должны были влиять на своеобразное изучение исторического движения русской жизни.

Байер, Шлецер проводили ту основную и, по-видимому, чисто научную мысль, что Россия своей государственностью и скрывавшейся в ней культурной силой обязана германскому элементу в том его древнем и как бы абстрактном виде, какой выражался в норманнах. Последующие наши ученые иноземцы, исходя из этого, видимо, научного начала – древнегерманского элемента, стали, так сказать, разбирать его по своим реальным народностям и в этих последних искать действительный и более жизненный, чем норманнский, источник русской цивилизации. Еще современник Шлецера швед Тунман, исходя из того соображения, что у нашего Нестора «варяги» – общее, родовое название, а «русь» – видовое, как бы племенное их название, решительно объявлял призванных князей шведами и в шведской культуре указывал струи русской культуры. Между прочим, Тунман говорил в доказательство, что руссы, «руотси», как называют финны шведов, были называемы и новгородцами таким же именем: «Новгородские и полоцкие славяне пришли из Дакии, где они, может быть, также мало слышали о шведах, как о готентотах или камчадалах. По ту сторону Двины (Тунман смотрит из Германии) были они не токмо в соседстве с финнами, но и окружены ими были почти со всех сторон и, вероятно, во многих местах жили с ними вместе. Сии финны давно уже знали шведов по морским их разбоям, по грабительствам и по другим сношениям, которые возможны по положению и смежности обоих народов. Следственно, сии

славяне почти по необходимости должны были называть шведов по-фински...»<sup>410</sup>.

После этого уже неизбежно должно было случиться, что и немцы непременно привяжут призванных князей к немецкой национальности, давно известной своей способностью культивировать славян, давшей начало двум знаменитым рыцарским орденам – Ливонскому и Прусскому и выработавшей из последнего могущественное Прусское государство.

Немецкие ученые Гольман и Крузе, выходя из того же соображения, из какого исходил Тунман, искали призванных князей в странах южного Балтийского побережья, но не в славянских, а в германских странах, поближе к Ейдеру, в Рустрингии, где после оказался Ольденбург. Там, по их мнению, еще задолго до появления шведских норманнов, были варяги – немецкие<sup>411</sup>. Теория Гольмана и Крузе, как очевидно, близко подходила к теории Ломоносова, скептиков, и подвергалась большой опасности истаять перед теорией славянского происхождения нашей государственности и, следовательно, в конце концов могла привести и к признанию славянской самобытности нашей культуры.

**Густ. Эверс.** Предохранить науку русской истории от такого направления и связать русскую культуру с немецкой времен Ливонского ордена взялся даровитейший и учнейший представитель нового немецкого университета в России Дерптского – профессор русского права, не раз упомянутый нами Эверс. Он признал необходимым разделить варягов и русь как совершенно различные предметы, и оба эти предмета отдать чужим людям, до которых немцам нет дела. По его взгляду варяги – норманны, и из числа норманнов – непременно шведы; но русь – совершенно особая статья. На основании того, что у Нестора русь как южный элемент упоминается задолго до призвания князей, что и по Нестору, и по арабским, и, наконец, греческим известиям русь хорошо знакома была с мореходным делом на Черном море, которое даже называлось русским, совершенно так же, как Балтийское – варяжским, что русь знала также Каспийское море, и ее много было в столице Хазарии, Ателе или Итихе (Астрахань), и по арабским писателям она

господствовала на северо-востоке от Каспийского моря – Эверс ищет русь в Южной и Восточной России и находит ее в хазарах и болгарях. Вообще, он как бы воспроизводит тут нашу Древнюю летопись, которая первый момент нашей государственности представляет так, что в то время, как на северо-западе, с Новгородом в центре господствовали варяги, на Юге – в Киеве господствовали хазары, и как в Новгороде после того являются князья – Рюрик, Синеус и Трувор, так на Юге оказываются Аскольд и Дирь. Видимая близость к летописи у Эверса шла далее. На северо-западе русские славяне смешаны с финнами, на юге они были смешаны с хазарами.

Для развития тех и других, под покровом образовавшейся единой государственности служили, по Эверсу, две культуры: в гражданских делах – культура немецкая, в делах духовных – культура Греко-Восточной Церкви<sup>412</sup>.

Эта постановка дела Эверсом повела к многочисленным и весьма важным исследованиям. Русская Правда и история связей с северо-западом России торговых немецких городов, завершившаяся таким твердым господством немцев в России, как Ливонский орден, должны были сделаться предметом особенного внимания наших балтийских немцев. Сам Эверс написал свой знаменитый разбор Русской Правды, в котором обнаруживалось сходство наших правовых обычаев с немецкими, и Эверс, по-видимому, так научно смотрел на дело, что даже допускал некоторую самостоятельную работу, выразившуюся, между прочим, в том, что немецкие узаконения касательно женщин опущены в Русской Правде по той причине, что русская женщина, как и семья вообще, была в России передана во власть Церкви. Эверс также разрабатывал и правовые сношения немцев с Новгородом, которые начал исследовать его современник, германский немец Сарторий, а затем тоже современник Эверса и сожитель его по Балтийской области – Напьерский, директор училищ в Риге<sup>413</sup>.

**Ф. Рейц.** По следам Эверса пошел тоже профессор Дерптского университета Рейц, который шел более гуманным путем. Он придает равное значение и Русской Правде, и церковным уставам Владимира и Ярослава. По его мнению, оба

рода этих памятников взаимно себя подтверждают и объясняют, т. е. Рейц признает равную силу в России гражданской культуры (немецкой) и церковной (византийской) и даже объединяет их. Эта гуманность привела затем Рейца как раз к тому опасному пункту, к которому подходили Гольман и Крузе и от которого устранился Эверс. Рейц утверждает, что первоначальное смешение немецких и славянских правовых обычаев произошло у прибалтийских славян и что, может быть, вместе с Рюриком оно перешло и в Россию<sup>414</sup>. «Почти все варварские законы Европы, – говорит Рейц, – и в числе их Русская Правда, по своему содержанию имеют отечеством одно урочище: Салу, Эльбу и Одер, где славянские племена, поминутно сталкиваясь с германскими, друг другу передавали варварский дух правосудия и даже язык законодательства, как то свидетельствует смешение коренных юридических терминов славянских с германскими... Может быть и она (Русская Правда) прибыла к нам вместе с русскими в каком-либо письменном виде». Ниже мы увидим, что Рейц и в других случаях смягчает и вообще ставит воззрения Эверса ближе к русским воззрениям.

**Барон Розенкампф.** Другое просветительное начало в России – византийское, тоже было предметом усердных изысканий балтийских ученых немцев. И Эверс, и, тем более, как мы видели, Рейц изучали его и в наших кормчих. На этом последнем пути оказал особенно важные услуги нашей науки барон Розенкампф, «Обозрение кормчей книги» которого издано в 1829 г. Московским обществом истории и древностей, и которое до сих пор не потеряло своей цены. Цель автора, кроме критического обозрения рукописей и редакции кормчей, выделить в древнерусском каноническом праве элементы русские и греческие. У Розенкампфа есть суждения и касательно Русской Правды в духе Эверса<sup>415</sup>.

Таким образом, наши ученые – балтийские немцы, собственно говоря, развили основные мысли Шлецера о культурном значении у нас чужих начал – немецкого и византийского, дав им гораздо более глубокий и устойчивый смысл, особенно тем, что подорвали чистоту и силу славянского элемента в России: на северо-западе России – от смешения с

финнами, на юге – от смешения с хазарами. Этот славянский элемент оказался у них даже весьма недавним на пределах России. Несторово расселение племен происходило будто бы в VI или даже в VII в. Русские славяне, как высказывал к величайшему негодованию Ломоносова еще Миллер, были изгнаны из Нижнего Дуная волхами, под которыми по Эверсу и Рейну нужно разумеать болгар – основателей Болгарского царства. Таким образом, русская народность оказывалась как бы бесцветной водой, окрашенной иноземным вином. Балтийские ученые, конечно, этого прямо не сказали; но они, несомненно, дали все нужное для такого вывода. Он и выразился в изысканиях скептиков. Его прямо и высказал, как увидим, даже Погодин, поддавшийся было Эверсу. Но этого мало. Русская народная вода, нуждающаяся в иноземной окраске, протекла еще дальше, можно сказать, по всему пространству русского исторического движения; просочилась она в изыскания С.М. Соловьева, а за ним – в изыскания других наших ученых. Просачивается она и в настоящее время, обнаруживая уже совершенно ясно свой немецкий родник, в сочинениях дерптского же профессора наших дней г. Брикнера, наводняющего ей и немецкую, и нашу русскую литературы.

Впрочем, как увидим ниже, в новейших исторических сочинениях окраска русской народной струи чужими началами производится по преимуществу с другого ее конца, если так можно выразиться. Струя эта окрашивается в новейшем ее течении – Петровском. Таким образом, русская народная, бесцветная струя окрашивается иноземством и у истока, и у устья, а середина ее – московские времена, не поддающаяся этой окраске, или оставляется без внимания, или окрашивается татарско-византийскими красками. Впрочем, старые балтийские ученые действовали в том случае осторожнее. Они только бросали эти штрихи и даже искали под ними русскую самобытность.

И господство иноземных влияний на нашу историческую жизнь – немецкого и византийского, и даже смешение славянско-русского элемента на северо-западе с финским, на юге – с хазарским, не устраняли исследования о том, что же

такое это смешиваемое с иноземством русское начало само по себе? Нельзя было довольствоваться шлецеровским положением, что Россия была тогда варварская пустыня, или погодинским положением, что русская народность – это была вода и даже очень тихая, спокойная. Эверс и нашел в этой воде свой природный вкус и свою окраску, которые притом объясняли не только древнюю, но и последующую историю России.

Эверс в своем исследовании о древнем русском праве говорит, что все народы проходят разные степени развития. Начальная форма – семья вырабатывает родовое устройство, в котором во главе народных групп стоят родоначальники, и которое, наконец, преобразуется в государство. Русский народ находился в состоянии родового быта и прежде, и во время, и после призвания князей. По взгляду Эверса, этот внутренний строй так важен, что даже призвание князей он считал маловажным делом. Важнее представлялось время Олега и Игоря, когда Россия объединялась и у нее начинались правовые отношения, а еще важнее – время Владимира и особенно Ярослава, когда начинались культурные влияния – германское и византийское. Но родовые начала, по мнению Эверса, не могли вдруг исчезнуть и продолжали сказываться в смутах удельного периода.

Последователь Эверса Рейц смягчил и в этом пункте учение своего руководителя и устранил возбуждаемые им крайние недоразумения. Род в строгой, азиатской форме, как известно, поглощает семью и переходит по естественному порядку вещей в деспотическую форму государственности. Первое – поглощение родом семьи ясно и твердо высказывалось Эверсом, второе – деспотизм Русской государственности – само собою определялось родством русских с хазарами и подчинением византийским началам. Рейц мягче представляет то и другое. Он, во-первых, сильнее налегает на семейную связь в роде и, во-вторых, яснее говорит о том, что представители родов соединялись для обсуждения дел племени. Это уже было самым зарождением государственности и само собою предполагало совещательное начало в этой государственности. «После первого населения, –

говорит Рейц, – каждое племя распространялось отдельно под властью своих начальников, и нигде не видно другой связи, кроме семейственной между потомками общего родоначальника. Итак, отношения сего времени суть чисто отношения права семейственного. Но с размножением родов, особенно в общих поселениях, из патриархальной власти начальника племени образовалась совокупная власть начальников различных родов, и это есть естественный переход к общественному устройству»<sup>416</sup>. В примечаниях к этому месту Рейц подробнее объясняет процесс выделения старшин из глав кровного рода и богатых членов, указывает на необходимость соглашения и даже выбора начальников племени<sup>417</sup>. Все это неизбежно заставляло предполагать у русских славян какие-либо правила, обычаи. Рейц охотно допускает это. «Вероятно, в это время, – говорит он в своем тексте, – славяне признавали известные нормы права, освященные обычаем, соглашением и религиозными понятиями, и по оным определяли свои взаимные отношения»<sup>418</sup>. Но затем Рейц поворачивает назад и делает выводы, о каких умалчивал Эверс. «Нет никакого следа, – говорит он, – ограничения княжеской власти. Народ не имел ни малейшего участия в правлении. Но князь считает важным совещание с его боярами и старейшинами не потому, чтобы их согласие было нужно для исполнения княжеской воли, но обычай требовал, чтобы князь в важных делах выслушивал советы своих приближенных»<sup>419</sup>. Это совещательное начало Рейц расширяет в удельные времена до того, что указывает даже на участие подданных в избрании князя, хотя признает это участие незаконным. «С развитием единовластия в Москве в линии князей, – продолжает он, – с постепенным упадком уделов, бояре и слуги лишились сильной опоры своей значительности. К сему присоединилось и еще обстоятельство: татарское владычество приучило умы к неограниченному повиновению, к утверждению коего способствовали жестокие уголовные наказания»<sup>420</sup>. Таким образом, кроме немецкого и византийского начала выступало третье культурное, в смысле государственном, начало – татарское, азиатское, подразумевавшееся и у Эверса.



**Вмешательство литератора Сеньковского.** Все эти немецкие толки о важности в нашей исторической жизни чужих культурных начал и бледное изображение самобытных особенностей русской народности произвели в литературе нашей науки, между прочим, одно до такой степени странное явление, что оно приводило в смущение даже тех, которые в своих трудах дали начала для его развития.

Нормандская теория призвания князей выдвинула вопрос об исландских сагах, в которых воспевались походы и дела северных скандинавских князей и дружинников, подобно тому, как в наших былинах воспевается наш князь Владимир и наши богатыри. В сагах этих, между прочим, воспеваются скандинавские богатыри, бывавшие в России, особенно при Владимире и Ярославе, как Олав, Гаральд и другие, говорится в сагах и вообще о варягах (верингах) и об их странствиях из стран Балтийского моря до стран у Черного моря.

Собирание саг началось очень давно. Еще в конце XII столетия или начале XIII их собирал живший в это время Снорри или Сноррон Стурлезон. Дополнением и разработкой их много занималось в первой половине настоящего столетия Копенгагенское общество северных антиквариев. Последователи норманнской теории находили в сагах хотя бы некоторый ответ на мучительный вопрос, заданный им еще Ломоносовым, почему о скандинавском начале такой большой державы, как Россия, ничего не говорят скандинавские древние письменные памятники? Шлецер не любил саг, потому что они открывали культурность России древнего времени; но те его последователи, которые искали этой культурности, сильно налегали на саги. На саги ссылаются и Эверс, и Рейц, не говоря уже о Тунмане.

Сагами и воспользовался один наш писатель, отличавшийся замечательными способностями, познаниями, особенно языкознанием и еще более необузданною, чисто польскою склонностью поглумиться над Россией, даже принадлежа к числу ее писателей. Это известный поляк Сеньковский, являвшийся в беллетристической литературе под именем барона Брамбеуса и делавший много шума в тридцатых

и сороковых годах. Он воспользовался сагами для величайшего унижения немецкой критики по русской истории и вместе с тем – для оскорбления русской народности<sup>421</sup>. В «Библиотеке для чтения» в 1834 г. он перевел на русский язык Эймундову сагу и по поводу ее поместил исследование. В этом исследовании Сеньковский объявил решительную войну против немецкой и русской ученой критики, требующей достоверности факта, истины, и превознес саги, былины, басни, в которых, по его мнению, лучше, полнее изображается древний человек. Он, подобно Шлецеру и балтийским ученым немцам, осуждает Нестора за предпочтение внешних, сухих фактов; но выводит отсюда заключение, которое способно было привести их в ужас, – он требовал составления вновь «Истории» на основании былин, басен.

«Нравственный и политический быт норманнского Севера, – говорил Сеньковский, – есть первая страница нашего бытописания. Саги принадлежат нам, как и прочим народам, происшедшим от скандинавов или ими созданных»<sup>422</sup>. Сеньковский поясняет, почему норманнский север, изображенный в сагах, имеет для нас такое важное значение. «Не трудно видеть, – говорит он, – что не горстка солдат вторглась (с призванными князьями) в политический быт и нравы славян, но что вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия со всеми своими учреждениями, нравами и преданиями поселилась в нашей земле; что эпоха варягов есть настоящий период славянской Скандинавии; ибо хотя они скоро забыли свой язык, подобно маньчжурам, завоевавшим Китай, но, очевидно, оставались норманнами почти до времен монгольских»<sup>423</sup>. Это уже гораздо смелее и Погодина, и балтийских ученых немцев. Тут норманнством заслоняется уже и византийское влияние, да еще на такое большое пространство нашего исторического времени. Но Сеньковский не остановился и на этом. Его пародия ученых мнений пошла дальше, до последних пределов нелепостей, крайне обидных и для ученых, и вообще для русских. Сеньковский говорит, что Россия варяжских времен представляла смешение славянских и финских племен,

дополненное сильной примесью германской, и что, поэтому, беспристрастный историк (русский) не должен исключительно объявлять себя славянином, ибо тогдашнее ее (России) народонаселение состояло в равном почти количестве из славян и финнов, под управлением третьего – германского поколения... «Из слияния этих трех племен восстал российский народ, и ежели российским языком сделалось вновь образовавшееся славянское наречие, это весьма приятное для нас событие, может быть, должны мы приписать случаю: если бы русские князья избрали себе столицу в финском городе, посреди финского племени, русским языком, вероятно, назывался бы теперь какой-нибудь чухонский диалект, который также, на большом пространстве земель, поглотил бы язык славянского корня, как последний язык поглотил многие финские наречия даже в том месте, где стоят Москва и Владимир... Итак, сочинителю российской истории следует оставить корнесловный патриотизм и быть прямым русским, изъясняющимся только, и то по собственной воле, на славянском наречии, которое он сам для себя создал и усовершенствовал; изобретением которого по справедливости может гордиться; которое, наконец, есть его собственность, а не он собственность славянского слова и племени»<sup>424</sup>.

Эта чудовищная, оскорбительная пародия потому имеет значение, что вся она построена на ученых, серьезных для того времени данных, и потому вызывала к себе большое внимание. Погодин счел нужным заговорить о ней в своих «Лекциях». Ему нравилось признание Сеньковским силы норманнского у нас элемента, и он часто хвалил его за это, но выводы Сеньковского ставили его в величайшее затруднение. «Несчастливая, нелепая крайность, – вопиет Погодин о последних выписках из Сеньковского, – которая погубила всю прекрасную статью Сеньковского. Россия славянская есть государство случайное! Чуть-чуть не заняла ее места Чухляндия со своим языком и народом, а вместо имени русского гремело бы теперь в Европе финское и сорок миллионов русских славян, как не бывало, и язык их погиб! Как? Польское, чешское, сербское, болгарское племя сохранили свою народность между немцами,

турками, греками, итальянцами, а самое многочисленное, русское потеряло бы ее между финнами, которые слабее всех западных врагов славянских?»<sup>425</sup> Погодин входит в дальнейшие соображения и доказывает, что ничего подобного не было и не могло быть, и, наконец, по поводу последней выписки из Сеньковского о новоизобретенном русском языке, восклицает: «Нет, нет, нет! Русский язык как польский, сербский, чешский, не изобретен, не выдуман, не сочинен, не составлен!»<sup>426</sup>... «Мнение поверхностное и неосновательное, ложное!» присуждает в другом месте Погодин<sup>427</sup>.

Поворот к изучению наших древностей подкрепляется Грановским. Таким образом, опять, как в прошедшем столетии, иноземцы стали судьями нашего исторического прошедшего, вносили в него свои национальные воззрения и поворачивали опять изыскания по русской истории в область наших древностей, более удобных для проведения произвольных идей.

Влияние это быстро и сильно отражалось в московском ученом мире. Мы видели, как разбирался в этом новом нагромождении иноземной работы Погодин, и как ему при его тогдашних воззрениях трудно было справляться с этим и выводить изучение русской истории на прямую дорогу. Положение его было тем труднее, что через год с небольшим после того, как он в Московском университете мог сосредоточиться на одной русской истории, оставив всеобщую историю, что было в 1835 г., на кафедре этой последней раздался свежий голос даровитейшего профессора, известного Грановского, но раздался опять, как во времена молодых сил Каченовского, в духе чистейшего западничества. Высота западноевропейской культуры, широта ее свободы, высшее развитие личности, раскрываемые столь даровитым профессором и в среде, столь подготовленной для восприятия их, тем сильнее заслоняли хороший смысл нашего русского исторического движения, что тогдашние времена далеко не походили на свободу русской общественности времен Екатерины и Александра I<sup>428</sup>. На беду еще германские немцы, разрабатывая тогда свою старую историю, развивали дальше

теорию родового быта и показали, что и у них в старые времена – на первой ступени исторической жизни было родовое устройство даже в форме однородной с азиатским родом, в котором находятся не одни члены, связанные кровным родством, но и потерявшие уже память об этом родстве, и связываемые воедино лишь повиновением общему родоначальнику. Грановский излагал и эту теорию, и тем более еще закреплял учение Эверса и Рейца<sup>429</sup>.

Поверхностные, восприимчивые умы, каких всегда бывает большинство, немного следили за научностью Грановского, а больше увлекались тем, что в его «Лекциях» ближе касалось общественности. Еще меньше они давали себе отчета в том, что в действительности в то суровое время наука русской истории делает великие открытия в области источников и поднимается на большую высоту критической разработки и этих новых памятников и разных вопросов, что для этого дела сходятся русские люди разных направлений, – такие патриоты как Погодин, Шевырев, скептики в некоторой степени, как Строев, Румянцев и строгие представители нашей Церкви, как Митрополит Евгений, протоиерей Григорович, что, наконец, выдвигаются совсем новые люди – русские слависты, как Бодянский, Григорович, Срезневский. Это новое возбуждение русским ученым силам давно подготовлялось. Оно вырабатывалось в борьбе со скептиками и балтийскими учеными; но больше и прежде всего вызвано западнославянскими учеными.

## Глава XII. Западнославянские ученые и их влияние на нашу науку

Мы видели, как под видом научности широко разлилось в нашей науке зло немецких национальных воззрений на наше прошлое и с каким трудом русские ученые боролись с этим злом и направляли нашу науку на ее настоящие пути. Но зло это не ограничилось влиянием на нашу русскую ученую и общественную среду, и усилия для исправления его понадобились не только с нашей русской стороны. Зло национальных немецких воззрений на славянство разлилось с необыкновенной силой и по Западной Европе, и подняло, и вновь закрепило старые западноевропейские предубеждения против всего славянства<sup>430</sup>. Мраком невежества, дикости покрывались не одни славянорусские, а все славянские древности, и если озарялись каким-либо светом, то непременно азиатским. Славяне оказывались родичами гуннов, авар и пришельцами в Европу вместе с этими азиатами. Дело тут касалось уже не одних нас русских и вызывало на работу не одних наших ученых. Вышли на эту работу и ученые славянские из той колыбели нашего просвещения, где впервые наши славянские апостолы Кирилл и Мефодий облекли на глазах у всех славянское слово в письменные формы, – вышли из древней Моравии, Чехии и Славонии.

**Иосиф Добровский.** В эту мрачную даль славянской жизни взглянул моравский аббат Иосиф Добровский, современник Шлецера, но вооруженный неизмеримо больше его научностью. Добровский увидел и в мрачном аварском и гуннском мире славян как совершенно особый от них народ и, что еще важнее, с неотразимой убедительностью доказал индоевропейское родство славян со всеми старыми европейскими народами. Его «Славянская грамматика» не оставляла в этом никакого сомнения, и тем могущественнее действовала, что составляла великий шаг вперед в области филологии, сводя к одному корню все европейские языки. «Грамматика» Добровского произвела переворот в филологии. Он назван отцом славянской

филологии<sup>431</sup>. Но переворот, произведенный им, поколебал и основы исторических немецких воззрений, и не только в западной Европе, но и у нас, в России.

Карамзин знал Добровского, во многих местах ссылаясь на него, и хотя по увлечению Шлецером, смотрел на него с предубеждением, но, без всякого сомнения, Добровскому он обязан больше всего тем счастливым разладом со Шлецером, какой у него есть в первом томе, в обозрении жизни древних славян.

Добровский, однако, не смог одолеть всех западноевропейских предубеждений касательно славянских древностей и сам платил дань некоторым из них. Он дает слишком большое пространство земли для древних германцев и слишком далеко на Восток выдвигает их племенные границы. Затем, он слишком преувеличивает подавляющее на славян действие Великого переселения народов. Германцам он отдает древнейшие поселения даже у восточных склонов Карпат, а гунны, по нему, оттеснили одну часть славян – восточную к Северу, а другую – западную надвинули на немецкие земли у Одера и Эльбы.

Бедствия западных славян, так страдавших и гибнувших от немцев как бы в наказание за обладание чужой будто бы землей, раздражали славянское чувство и тем яснее озаряли благо и величие жизни наших восточнорусских славян. Сам Добровский приезжал (1793 г.) взглянуть на великую Русскую державу и великий русский народ.

**Венелин Юрий.** В начале 20-х годов устремился в Россию другой австрийский славянин – угорский русский, Георгий Гупа, известный под именем Юрия Венелина<sup>432</sup>. Он с необыкновенным усердием изучал прошедшие судьбы и современное состояние славян, странствовал по разным славянским областям Австрии; но жажда знать славянство еще больше и ближе увлекла его в Польшу и, наконец, в Россию, в Москву, где он поступил в Московский университет, хотя на родине уже получил высшее образование. Господствовавший тогда у нас скептицизм и налегшая на Венелина страшная нужда были тяжкими испытаниями для его славянской любви.

Он кидался всюду со своей теорией величия и силы древнего славянства. Он отвергал силу и значение для славянства Переселения народов. Он в этом историческом водовороте не только видел присутствие, но и господство славян. Славяне, по его убеждению, с древнейших времен покрывали большую часть Европы.

Весьма немногие слушали этого воодушевленного славянина с вниманием. Даже Погодин находил его речи странными, когда Венелин выступил со своими статьями по вопросам о славянских древностях, которые рассматривал вразрез с мнениями ученых немцев. Венелин доходил до отчаяния и от нравственной, и от материальной нужды. Некоторый выход он нашел в следующем. Источник славянской грамотности – церковнославянский язык уже Добровским признан был по преимуществу болгарским. Венелин занялся обработкой своих изысканий о Болгарии и издал их в 1829 г. под заглавием «Древние и нынешние болгары». В сочинении этом он доказывает два положения, что болгары – основатели Болгарского царства были такие же славяне, как и туземцы основанного ими Царства, и что первым местом просветительной деятельности Кирилла и Мефодия была не Моравия, а Болгария. Все это неизбежно вело к изысканиям общеславянских древностей, взгляд на которые Венелин развил во втором томе своих «Изысканий», изданных в 1841 г. (уже после его смерти, ск. в 1839 г.) под заглавием «Историко-критические изыскания». Т. II. Словене. В этих «Изысканиях» следующая постановка вопроса – о древностях славянских. Венелин доказывает, что древнейшая история славян распадается на два периода – на римский период славянства, когда оно, собственно южное и западное славянство, понималось под названиями чужими, даже германскими, и на русский период, когда восточные славяне, под именем гуннов, а в действительности Русь, громили Западную Европу и восстанавливали славянскую силу. Из такой постановки уже само собой вытекали культурная древность и самобытность Руси. Венелин ее объединял, кроме гуннов с хазарами, и отвергал решительно норманское происхождение нашей



государственности. Взгляд этот он высказал еще прежде в своем исследовании – «Скандинавомания», изданном в 1829 г., где доказывал славянское происхождение (из Балтийского побережья) наших призванных князей.

У Венелина много странного. У него чуть не все древние народы Европы славяне – и кельты, и гунны, не говоря уже о дунайских болгарях. Но мы увидим, что в новейшие времена разрабатываются некоторые из этих самых вопросов, как например, о народности гуннов и болгар, а тем более имеют значение настойчивые изыскания Венелина о древности и самобытности славян и о значении в нашей древней истории балтийских славян.

**П.-И. Шафарик.** Западнославянский мир не замедлил выдвинуть человека для более научного разъяснения всех этих вопросов. В то самое время, как у нас раздавались странные для большинства пламенные речи самоотверженного славянского ратоборца Венелина, в Западной Европе, как оглушительный гром, стал раздаваться даже в немецких звуках голос знаменитейшего слависта Шафарика. С научностью, превосходившей все, что до того времени писано было о славянстве, Шафарик смело приподнял завесу, скрывавшую славянские древности, и ученый мир с изумлением увидел славян сильными, самобытными и культурными не только во времена авар, гуннов, готфов, но и во времена скифов, – во времена Геродота; увидел, что они всегда на исторической памяти были и многочисленны, и оседлы, так что оставалось одно неясным: когда же в глубочайшую древность они пришли в Европу, и приходилось остановиться на том предположении, что они такие же старожилы здесь, как и другие старые народы Европы. Таким образом, и язык славян, и их история оказывались одинаково близкими и равно достойными в сравнении с языками и историей других европейских народов.

Этот знаменитый труд Шафарика под заглавием «Славянские древности» вышел в 1837 г., но ему предшествовали многочисленные исследования и статьи по частным вопросам, появлявшиеся еще в последние двадцатые годы. «Полное описание славянских древностей, – говорит

Шафарик о своем сочинении, – будет содержать в себе, кроме исследования о происхождении народа, древнейшую внутреннюю и внешнюю историю его с самого отдаленнейшего времени, в какое только можно открыть существование славян до той поры, где начинается настоящая история каждого отдельного племени их. Все это огромное пространство времени следует разделить на две меньшие половины, из коих *первая* заключает в себе древнейшую, так сказать, первобытную историческую эпоху славянского народа, простирающуюся, с одной стороны, в глубокую древность, именно до века Геродотова (456 г. до Р. Х.), а с другой – до второй половины V столетия, т. е. до конечного падения Гуннской и Римской держав (469 и 476 гг. по Р. Х.); *вторая* содержит деяния и происшествия славян до конца V по конец X стол., или до преобладания Христианства у главным славянских народов»<sup>433</sup>. Цель своего сочинения Шафарик немного выше так определяет: «Цель его – представить в сжатом и стройном виде плоды новейших открытий, сделанных другими и нами самими в источниках, признанных основательной и благоразумной критикой достоверными, т. е. о начале, первобытных жилищах, разветвлении, деяниях, свойствах, образе жизни, исповедании, правлении, языке, письменности и образовании древних славян, и тем будет можно избавить древности наши от забвения и неуважения, обратить на них внимание, как вообще всех любителей истории, так в особенности – защитников нашего народа»<sup>434</sup>. «Врожденная любовь к своему народу, – говорит Шафарик, – стремление к отечественной истории и вообще языкоисследованию, побудила нас заняться многосторонним изысканием и отчетливым изложением древностей наших, и тем избавить от незаслуженного пренебрежения происхождение и распространение нашего народа»<sup>435</sup>.

Из этих уже слов видно не только то, как широко понимал Шафарик славянские древности, но и то, как крепко он объединял всех славян. Это один народ, наш народ для каждого славянина. Понятно, что русский народ и для Шафарика, как для Венилина и Добровского, был великим

носителем славянских судеб и культуры. Вот суждение его о славянском и общеевропейском значении принятия нашим Владимиром Христианства. «Что зататранские (закарпатские, т. е. наши русские) славяне не сделали последователями отвратительной магометанской веры, умерщвляющей вместе душу и тело, напротив (сделались последователями) Божественного учения, ведущего человека к нравственной деятельности, честь этого, по усмотрению Божию, принадлежит князю Русскому и умным боярам его, за что не только славяне, но и все европейские христиане должны славить и благодарить их»<sup>436</sup>.

Событие это Шафарик признает «самоважнейшим событием в истории древних славян»<sup>437</sup>; с него начинает историю разделения славян на разные племена<sup>438</sup> и объясняет, почему он вообще дает выдающееся значение русскому народу. «Никто из благоразумных исследователей истории не станет, – говорит он, – искать решения судьбы многоветвистого племени у разбросанных там и сям его ветвей, которые слишком легко могут засохнуть и потеряться; напротив, там, где Ствол глубоко пустил корни свои в землю и гордо возносит чело свое в облака и, невзирая на бурю времени, беспрестанно пускает новые отрасли, обильно заменяя ими увядшие и засохшие»<sup>439</sup>.

После этого само собой понятно, как должен был относиться Шафарик к мнениям о грубости и дикости славян, в том числе и русских, до принятия ими Христианства. «Мы с презрением отвергаем тот легкомысленный и ложный способ, коему до сих пор следовали писатели, особенно иностранные, рассуждая о нравах наших предков, т. е. что славяне до самого принятия христианской веры и немецких нравов, ничем, кроме лишь одного языка, не отличались от американских и африканских дикарей, или, лучше, от бессмысленных животных». Шафарик называет такой взгляд безобразием, моровой язвой, заразившей даже писателей, оказавших нам (славянам) величайшие услуги. «Это учение, – замечает Шафарик, – сделалось лозунгом новейших русских писателей, прожужжавших нам и себе уши о древнем нашем варварстве. Им, как основой своего верования, хотят они воспламенить в

народе своем любовь к славянским древностям, языку и словесности, возбудить к себе доверие и утвердить в нем чувство самобытности! На этом учении (потому что в области наук все связано узами теснейшего родства) хотят они основать народное просвещение и славу»<sup>440</sup>. Шафарик сильно осуждает и Карамзина, что он во многом поддался этому взгляду, хотя вообще он высказывает о Карамзине восторженное мнение<sup>441</sup>.

Можно было ожидать, что Шафарик, критикуя сильно немецкое учение о варварстве славян, разрушит и норманнское призвание князей. Но этого не случилось. Он и то сузил до минимума германское влияние на Россию. После этого ему казалось не важным признать норманнскую малую, скоро ослабившуюся дружину, в челе которой стояли Рюрик, Синеус и Трувор. Он и признает это норманнское призвание; но прямо заявляет, что сам уклоняется от обширного рассуждения о рассказе летописи касательно призвания князей и при этом ссылается на Шлецера, Карамзина и Погодина, как на писателей, которые основательно об этом говорили<sup>442</sup>. Западный славянин, ученый и современный свидетель всеобщего падения славянских государств на Западе и юге под иго иноземное, расположен был признавать иноземное происхождение и Русской государственности. Он мог в этом видеть даже славянское торжество, потому что народная сила русских так скоро пересоздала в свою народность призванных князей. Но при всем том славянское чувство верно указало Шафарику, что в Сказании нашей Начальной летописи о призвании князей есть дорогая славянская особенность. Это добровольное призвание князей. Он крепко стоит за это добровольное призвание согласно с Карамзиным и Погодиным и вразрез со Шлецером и всеми нашими и чужими учеными немцами<sup>443</sup>.

**М.П. Погодин.** Громовой славянский голос Шафарика скоро был услышан в России. Скептики быстро утихали, и толпа их рассеивалась. Уже в 1835 г. Погодин во время своей заграничной поездки был у Шафарика. Он и Бутков узнали вовремя древности Шафарика, и оба в своих сочинениях ссылаются на него. В Московском обществе истории и

древностей решили издать по-русски это сочинение, и переводом его занялся известный Бодянский. Вот как высказывается Погодин о значении «Славянских древностей» Шафарика. Уже в своем «Несторе» Погодин сознается, что до Шафарика он мало знал славянские древности. Сказав, что он считал Сказание Нестора о расселении русских племен откуда-то взятым из чужого, неизвестного источника, по всей вероятности, болгарского, потому мало достоверным, он продолжает: «Так рассуждал я об этом месте сначала, быв невеждой в первоначальной славянской истории, вместе со всеми нашими исследователями, старыми и новыми, сказать с их позволения. Но Шафарик, который озарил ярким светом мрак, ценит в своих древностях известие Нестора весьма высоко, представляет его согласие с историей, и источником почитает древние народные песни и сказания»<sup>444</sup>. (Исходя из этого места нашей Начальной летописи Шафарик идет в глубь древности и доходит до III века до Р. Х.) В первом томе своих «Лекций» Погодин высказывает свой восторг от богатства лингвистических и географических данных Шафарика, доказывающих древнее единство славян, – данных, которые теперь, как увидим, составляют могущественные орудия нашей науки к уяснению древних времен нашей исторической жизни, и которые Шафарик первый приложил к делу в такой широте и с такой научностью. «Читайте Шафарика, – говорит Погодин, – и вы увидите, что по всей Европе рассыпаны одинаковые имена славянских племен: одни и те же имена есть в России, на берегах Балтийского моря, в Померании, Польше, в Сербии, Македонии, – имена, употребительные между племенами; заключать, что летописатель списывал их один у другого, есть верх этнографического невежества»<sup>445</sup>. Но самое полное и решительное мнение о Шафарике Погодин высказывает во 2-м томе своих «Лекций». Он решился сказать несколько лекций о славянах по Шафарiku, и в начале этих лекций, говорит, что до сих пор он обыкновенно начинал свой курс русской истории с 862 г., т. е. с прибытия князей варяго-русских в Новгород, а о туземных жителях довольствовался изложением слов Нестора. «Я думал, – говорит он, – что о славянских племенах больше и

говорить нечего, тем более что сам первый летописатель наш представляет их еще в состоянии младенчества, до которого ничего определить нельзя, да и не нужно. Так рассуждали и все наши историки – Стриттер, Карамзин, Эверс, вслед за законоположителем исторической критики прошедшего столетия, Шлецером».

«Ныне Шафарик сочинением своим «Славянские Древности» производит совершенный переворот в наших понятиях об этом предмете. Книга его – плод трудов многолетних, делает эпоху в науке, какую в свое время сделал у нас Шлецер изданием толкового «Нестора» или Карамзин – сочинением «Истории государства Российского». Шафарик принуждает нас начинать славянскую историю с глубочайшей древности. Нельзя сказать, чтобы основная его мысль была совершенно новая. Нет – и прежде имели ее многие исследователи, русские и иностранные; но они или представляли ее только в виде чаяния и догадки, или соединяли ее с другими неосновательными предположениями, или не извлекали из нее никаких существенных и полезных для изучения следствий, не приписывали ей такой важности и многоплодности. Шафарик с необъятной своей ученостью и начитанностью, остроумием и проницательностью, воспользовавшись всеми известными до него и им открытыми источниками, возвел эту мысль на степень осязательной истины, и вместе заставил думать, что история всякого славянского племени и государства тесно и необходимо связана с первоначальной историей всего славянского народа, точно как все отрасли дерева бывают тесно связаны с корнем. Познание корня необходимо для познания отраслей, кои без него во многих отношениях оставил бы непонятными»<sup>446</sup>.

В заключение своего обзора «Славянских Древностей» Шафарика Погодин говорит своим студентам: «Наука живет, она бесконечна – в том-то и заключается ее прелесть. Наши поколения пошли далее того, на чем остановились Шлецер и Карамзин. Вы оставите нас позади. Горизонт расширяется с каждым шагом. Шафарiku принадлежит преимущественно слава двинуть славянскую историю»<sup>447</sup>.

Изучение Шафарика несколько поколебало в Погодине даже его уверенность в норманнской теории. Перечислив разные отрасли знания, необходимые для уяснения наших русских древностей, как язык, наречия, разные собственные имена, т. е. географические данные, народные поверья, приметы, предания, обычаи и народные песни, и приглашая своих слушателей заняться кто чем может, из этих «материалов для славянских сеней в русскую историю»<sup>448</sup>, Погодин, между прочим, говорит: «До сих пор пусть это будут *pif desideria*. Я со своей стороны должен сказать вам, что слишком долго мог смотреть на предмет с этой стороны. Все свое внимание я обратил на норманнов, и им до сих пор посвящал преимущественно свои труды, стараясь описать элемент, внесенный этими бранными пришельцами в государство, вновь созданное ими из мирных славянских племен. Славян предоставляю будущим профессорам славянских историй и наречий, которых ожидают теперь все русские университеты»<sup>449</sup>.

Но Погодин дает здесь неверное (конечно, ненамеренно) понятие о себе, будто он только ограничивается изложением содержания «Древностей» Шафарика, а затем уже освобождает себя от научения области его исследований. Не может подлежать никакому сомнению, что Погодин почувствовал на себе влияние Шафарика в более широком и положительном смысле. Погодин недаром в одном месте замечает, что Шафарик для уяснения русских древностей недостаточно сделал, не напившись вопросом о сенях в русскую историю<sup>450</sup>. Погодин и стал перестраивать свою постройку этих сеней и строить далее передовые части русского исторического здания до татарского ига.

В течение целых десяти лет (1846–1856 гг.) издавал он эту свою работу под заглавием «Исследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории». Исследований этих – 7 томов.

Погодин переиздал своего «Нестора», но с большим дополнением, именно: «О Русской Правде, церковных уставах, северных сагах, о скептических мнениях» (весьма подробная статья). Это первый том.

Второй том заключает в себе то же старое исследование Погодина о призвании варягов-руси, бывшее его магистерской диссертацией; но теперь Погодин почти заново его переделал и, что особенно важно, дал в нем по разным местам обзор всех мнений по этому вопросу, какие были высказаны до того времени, и, наконец, здесь, как мы знаем, изложено содержание и оценка «Древностей» Шафарика.

Третий том заключает в себе исследование так называемого у Погодина варяжского периода русской истории, т. е. от призвания князей до смерти Ярослава. Тут изложено само призвание князей, затем внешняя история до смерти Ярослава; далее – особенно подробно – внутренняя история за это время: жизнь князей, военное дело, торговля, религия, грамотность, язык, образование, право, частная жизнь, народный характер, наконец, формация государства и параллель русской истории с историей западных европейских государств относительно начала их, т. е. о завоевательном начале западноевропейских государств и о мирном призвании князей у нас.

С четвертого тома начинаются исследования так называемого удельного периода. По примеру первой серии исследований Погодин прежде всего разбирает источники для этого периода.

Этому разбору источников посвящено начало четвертого тома исследований, затем решаются соприкосновенные вопросы, как о хронологии событий, генеалогии князей, о пределах княжеств, о городах и об отношениях между князьями.

Пятый том представляет кропотливую работу о княжеских смутах и их внутренних и внешних сношениях.

В шестом томе Погодин сначала предлагал изложить обозрение внутренней русской жизни в удельный период, по программе, какой он следовал в 3-м томе при обозрении внутренней жизни до удельного времени; но в действительности изложил другое, – составил и поместил Биографический словарь князей вроде Степенной книги.

Внутреннее обозрение удельного периода изложено в 7 томе. Содержание его таково: князь, дружина, города, волости и затем вышеуказанные рубрики.



В нашей литературе до настоящего времени нет такого полного и обстоятельного исследования летописей до нашествия татар, как исследование Погодина. В ответ на каждый вопрос, в подтверждение каждой мысли Погодин приводит все летописные известия. Здесь-то во всей силе выступает так называемый у Погодина математический метод исследований памятников. Кроме того, в первом, и особенно во втором томе, т. е. в области русских древностей, Погодин дает полный обзор не только иностранных известий, но и ученых мнений по всем спорным вопросам. Эти части составляют действительно прекрасное подражание и дополнение по русской части исследований Шафарика.

Какие взгляды проведены Погодиным в его исследованиях особенно последующих времен, т. е. после призвания князей и в удельный период, это мы увидим при разборе его «Истории России», которая хотя и явилась позднее многих трудов других наших историков, но находится в гораздо большей связи с этими исследованиями, чем с позднейшими трудами других историков. Можно даже сказать, что она составляет единое с этими исследованиями и совсем отделяется от трудов, изданных уже в то время, когда она составлялась.

Погодин предполагал обработать подобным же образом, как обрабатывал наше дотатарское время, наши письменные памятники и последующего времени – до Петра; но это намерение его не исполнилось. Вместо того он решился изложить систематическую «Русскую историю» и в 1872 г. издал ее в 3 томах, из которых в двух первых изложена история России до нашествия татар или, точнее, до начала татарского ига: в первом – внешняя история, во втором – внутренняя, а в третьем собраны исторические карты и снимки с письменных и вещественных наших памятников за это время и к ним приложено их описание. Снимков этих числом 198 и между ними – образцы древних рукописей, так называемых Паннонских житий св. Кирилла и Мефодия, образцы письма наших летописей, Устромирова и других Евангелий, Мстиславовой грамоты, снимки древностей церковных, как Киевский Софийский, Новгородский Софийский соборы, предметы,

добытые из раскопок, как гривны денежные и для украшения другие предметы, карты раскопок, городищ, племен и областей. Погодина строго осуждали за недостаток строгого подбора и художественности в его Атласе, что большей частью и справедливо.

В своей «Истории», как и в исследованиях, Погодин приложил к делу математический метод. Фактов приведено необычайное количество. Некоторые памятники, как Русская Правда, «Поучение» Мономаха, приведены вполне. Для характеристики воззрений современников приведены даже народные предания, летописные и былинные. Особенно богато собрание фактов при обозрении явлений внутреннего быта. Так, например, при обозрении промышленности и земледелия, говорится о скотоводстве, звероловстве, птицеводстве, пчеловодстве, рыболовстве, солеварении, ремеслах; или в отделе о частной жизни говорится о пище, питии, одежде, обуви, жилищах, и на все статьи приведены полные или сокращенные известия памятников.

Что же касается воззрений Погодина, то в начале «Истории» преобладают взгляды Шафарика, которые он иногда берет у него почти буквально. «Предание, донесшееся из глубины веков до наших летописей, – так начинает он свою «Историю», – указывает племенам славянским первоначальное жилище на Среднем и Нижнем Дунае. Отсюда вследствие естественного размножения и других побудительных обстоятельств выселялись они по временам – задолго до Рождества Христова – и заняли, наконец, почти всю Среднюю Европу. Наша страна получила себе обитателей по случаю нашего нашествия с Запада кельтов или валахов... которые заставили многих (из них) искать новых себе жилищ. Они, наши славяне, тогда стояли уже на известной степени образования, знакомые с земледелием и первоначальными искусстваами, говорили языком богатым и значительно развитым, имели понятия и верования о Боге и жизни посмертной, принесенные еще из прародины своей Индии, с коей до сих пор обнаруживают свойство»<sup>451</sup>.

По-видимому, нужно было ожидать, что после такого подхода к делу последует изложение первейших задатков государственности у столь развитых для исторической жизни славян. Но этого у Погодина нет. У него затем более и более выступает старый его грех – норманнство Шлецера, даже усиленное позднейшими немецкими и нашими русскими скептическими изысканиями о влиянии на нашу древнюю внутреннюю жизнь иноземных начал, – следует так называемый норманнский период, от призвания князей до смерти Ярослава, обозначившийся у нас внешним единством России и внешними, шумными делами. Погодин обращает преимущественное внимание на это внешнее величие России и так увлекается с этой точки зрения силой норманнской, что в одном месте своей «Истории» наше русское славянство называет водой, а норманнство – каплей вина, давшей этой воде окраску. Окраску эту он усматривает даже в деле принятия нами Христианства. Варяги, по его мнению, первые стали переводить к нам из Византии Христианство, силу которого, как и норманнства, он раскрывает с такой же тщательностью, как и в своих исследованиях.

Понятно после этого, что так называемый удельный период, представляющий такое резкое разрушение норманнского единства Русского государства и, по-видимому, всеобщее разрушение начал христианской жизни кажется Погодину, как и Карамзину, временем упадка русской жизни, – временем, неминуемо подготовлявшим разгром России первыми сильными инородцами, какими и оказались татары.

Погодин и занимается главнейшим образом историей этих проявлений нашего упадка, и прежде всего, делами наших князей удельного периода. В тумане усобиц перед Погодиным скрываются или бледно представляются жизненные явления тогдашней Руси – веча, главную силу которых он связывает с городской военной силой. Внешняя разбросанность, шаткость в России того времени приводят Погодина даже к теории, явно противоречащей началам его математического метода, – к теории неопределенности, случайности в нашей удельной Руси, что составляет обоюдоострое оружие и может означать или

шлецеровское же варварство этой Руси, или шлецеровское же непонимание ее.

Таким образом, шлецеровский взгляд на нашу историю поставил Погодина в противоречие с началами древней славянской жизни, взятыми у Шафарика, и закрыл перед ним, как и перед Карамзиным и многими другими, действительный смысл нашей двухвековой исторической жизни – от смерти Ярослава до татарского ига, – жизни, полной не только великой борьбы, но и великой внутренней строительной работы – работы образования единой государственности на самобытных славянских началах соглашения власти и земли, работы, выразившейся в разнообразных типах государственного устройства, то с преобладанием земельного аристократизма, как в Галиче, то торгового демократизма, как в Новгороде, то подвижного княжеского дружинного начала, как в Киеве и во многих областях, слабых своими силами, но сильных по временам даровитыми своими князьями, то с преобладанием низшей земской силы, как в Суздальской области. Закрытым оказалось перед Погодиным и то, как наша старая Русь, разделившись на множество областей, т. е. выдвинувшись для деятельности на всех своих более твердых пунктах, вглядывалась и соразмеряла, где, в какой у нее части, какие складываются силы для государственного центра, – в Киеве ли, куда благодатный климат, чернозем и почти наследственная способность к доблестям манили русских, но где так называемая интеллигенция более и более развивалась в ущерб сельской общине, или в Суздале, Владимире, где рядом с суровостью климата развивался до черствости практицизм и падала доблесть, но где было больше порядка и вернее обеспечивалось благо сельской общины. Погодин уже не мог видеть, как колебалась наша дотатарская Русь отдаться одной из этих односторонностей, как пробовала она совместить и практицизм, и доблесть и как почти с гениальной прозорливостью раньше всех понял это высшее стремление нашей дотатарской Руси наш Владимир Мономах, стал строить Русскую государственность по началам этой гармонии доблести и практичности, – сильной власти и сильного, даже

общерусского веча, но с совмещением блага и свободы самых малых русских людей – наймитов, закупней. Этот великий человек Русской земли XII века, выдвигающийся по своим идеям и замыслам выше всех современных ему великих деятелей Европы, даже Погодиным мало понят, бледно освещен, мало у него раскрыто даже многовековое благоговение к этому необыкновенному человеку нашей старой Руси, что тоже очень важно, потому что доказывает способность этой Руси ценить лучшие идеалы жизни.

Два века, по изображению Погодина, как и многих других писателей, мы блуждали во мраке случайностей, падали, и приготавливали себе татарское иго. Если так, то наша народная стихия – действительно вода, для окраски и вкуса которой нужна хотя капля чужой примеси, чужого вина. Мы видим, как это несправедливо и, так сказать, научно обидно для нашего национального чувства, так что эту обиду, как увидим, даже позаботился снять с нашей древней Руси лучший в новейшее время иноземец, изучающий Россию, Леруа-Болье. Погодин тем более не мог не чувствовать этой обиды, и он делает усилия ослабить ее, осмыслить эту, по его взгляду, неправду русской жизни. Он говорит, что при всем том дотатарская наша Русь путем смут объединялась, что особенно ясно выступало ее единство по языку, вере и, наконец, что и в эти мрачные времена были у нас прекрасные, высокоразвитые личности, которые спасали достоинство России. Погодин, конечно, сам видел, что все это слишком слабо, не может оправдывать двухвекового падения.

Действительное хотя в некоторой степени оправдание у него или, лучше сказать, освещение этого печального времени – другое, причем обнаруживается его коренной взгляд на русское историческое движение, объясняющий и противоречивое совмещение начал Шафарика и Шлецера и непризнание строительной работы нашего удельного периода.

Погодин, подобно Карамзину, обращал преимущественное внимание на развитие у нас государственности. Это для него, как и для Карамзина, было главной побудительной причиной принять норманнскую теорию призвания князей, которая давала

такое легкое средство сразу объяснить целый начальный период нашей истории. Шафарик со своим славянским взглядом на значение России не мог мешать этой теории, а, напротив, закреплял ее. При такой теории наш удельный период является действительно чудовищной помехой видеть дальнейшее развитие государственности, основанной и так хорошо двинутой норманнами, и должен был возмущать этих наших историков своими явлениями, никак не подходящими под их теорию. Таким образом, наши ученые немцы не только затрудняли нам разъяснение наших древностей, но и заслонили правильное понимание нашего удельного периода. Тут, впрочем, их вина ослабляется другими, посторонними для них обстоятельствами.

Мы не раз показывали, как наши историки старались поскорее прорваться сквозь немецкий туман наших древностей к тому центру тяжести нашей истории – Московскому единокровию, в котором ясно уже видна цельность и полезность развития нашей жизни. Погодин не менее других, если не более, стремился к тому же центру. Он им жил, питался его идеями и явно переносил эти идеи на нашу древнюю жизнь, на которую от ее начала смотрел, как на подготовку или помеху к развитию этого центра – Московского единокровия. В одном месте своей «Истории» Погодин особенно ясно обнаруживает этот именно взгляд. По поводу упоминания в летописи в первый раз Москвы, где в 1147 г. съезжался со своими союзниками Юрий Долгорукий во время борьбы его с киевским Изяславом Мстиславичем, Погодин в восторженных словах изображает историческое значение Москвы, как действительного исторического средоточия России. «Что за имя (Москва)? Какое странное! В первый раз только оно (слово – Москва), здесь слышалось... Не ошибка ли это? Нет – не ошибка. Так значится во всех списках летописи. Что же это такое: деревня, село или город? Где находится Москва? На краю волостей суздальских, черниговских, рязанских и смоленских... где протекает мелкая речка Москва... рассыпано по горам и долинам несколько селений и в середине их, на крутом берегу, мелькает деревянный городок, окруженный дремучим бором.

Это будущий Кремль, его окружность – это славная Москва<sup>452</sup>... Думал ли кто-нибудь на Руси, что здесь, на этом берегу, на этой горе и в этом лесу, средоточие русского могущества, что здесь скрыто то таинственное ядро, к которому прильнет, которое притянет, соберет около себя всю землю русскую и многие иные... Но когда же это будет? Скоро ли? Нет не скоро! Долго еще силе русской носиться по веянию ветров, долго еще сила эта будет искать себе места, и, найдя его здесь, не скоро она остановится, осядется, водворится!... А потом начнутся испытания... но она восторжествует, наконец, с русским началом в сердце, возьмет все свое, ей предопределенное, возвысится, возвеличится, спасет Отечество, подаст руку помощи меньшей братии, единоплеменной и единойверной... Когда же это будет? Не скоро, не скоро! Пройдут века, сменится много поколений, перетерпится много горя, уяснятся чувствования, очистятся понятия. Теперь (в 1147 г.) Москва – беднейший городок, но здесь начинается ее история»<sup>453</sup>.

С этой точки зрения Погодин оценивает явление всего удельного периода. Суздальская область и ее порядки и люди естественно должны были привлечь внимание историка как явления, выдающиеся над всеми другими и более близкие к явлениям московским. Вот как описывает Погодин значение Суздальской области и лучшего с его точки зрения князя ее Всеволода: «Это была область (Владимир, Суздаль, Ростов, Переяславль, Москва, Тверь, Поволжье, Белоозеро, – полученные Всеволодом в наследство) обширная, сильная, богатая, что касается до естественных произведений, нужных для жизни, не слыхавшая никогда почти об усобицах, не выдавшая давно никакого врага, ни своего, ни чужого. Северная Русь со стольным городом Владимиром находилась теперь точно в том положении, в каком была южная – Киев *при первых князьях, следовавших один за другим поодиночке до Ярослава включительно, и потому имевших время и возможность распространить и усилить свое княжество-государство.* Всеволод, подобно им, заступил теперь после кратковременной усобицы один на место Юрия и Андрея – и на сорок лет оставался один же на Севере, между тем как на Юге

народилось уже князей до ста, которые все хотели есть и искали себе хлеба, вырывая куски друг у друга вместе с половцами. (Заметим, что в числе этих вырывавших друг у друга куски хлеба южных князей были тогда знаменитый Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой, Роман Галицкий). Вот в чем состояла, – продолжает Погодин, – простая тайна владимирского преимущества перед Киевской Русью, дробившейся мельче и мельче. Здесь случилось быть одному князю, а там число беспрестанно умножалось». Затем Погодин говорит, что пока продолжался такой порядок, суздальский князь, даже не очень даровитый, мог иметь, если бы пожелал, решительное влияние на дела Юга, «а властолюбивый, высокомерный, деятельный, даровитый, как Андрей, колыми паче. Всеволод же, – продолжает Погодин, – не уступал старшему брату в доблестях (каких, сейчас увидим). При самом вступлении на поприще, несмотря на молодость, он показал много смелости и твердости (разгонял родственников), равно как и расчетливости, осторожности. Так, во все продолжение своего княжения, умея пользоваться обстоятельствами, не пропуская ни одного случая к каким бы то ни было приобретениям, Всеволод, без слишком особенных усилий со своей стороны, без вызова происшествий, становился могущественнее и значительнее с каждым годом<sup>454</sup>... Всеволод достиг, наконец, нечувствительно цели Андреевой и Мономаховой, то есть господства, господства в пределах еще обширнейших, чем какое было у этих могущественных князей, казалось, что удельное расстройство прекращается, княжество его готово сделаться вполне государством и он сам становится самодержцем»<sup>455</sup>...

Из этих выписок мы видим, что, по взгляду Погодина, время между первыми русскими князьями и князьями суздальскими было как бы пустым временем в смысле прогресса, и получало значение только отрицательное. Как сильно было убеждение в этом Погодина и как оно закрывало перед ним лучшие явления Южной Руси, можно видеть из следующего места во втором томе его «Истории», где при обозрении внутренней жизни можно, по-видимому, было спокойнее и вернее оценивать



сравнительное значение явлений нашей дотатарской жизни. Показывая значение великого князя, Погодин сначала описывает, какое положение занимал в России Киев и его князя. Он припоминает силу славных преданий в Киеве об Олеге, Святославе, Владимире и Ярославе, указывает на нравственное значение Печерского монастыря и Киевского митрополита и затем говорит: «Все эти воспоминания жили между князьями, как и в народе, передавались от отцов к детям, и Киев был в то же время тождествен со всей землей Русской... Святополк и Мономах, призывая Святославичей (в 1096 г.), говорят им: «... придета Киеву, на стол отец наших и дед наших, яко то есть старейший град в земле во всей Кыев; ту достойно смятися и поряд положите». Так передавалось и их детям: «Киев – стольный город, киевский князь – первое лицо в Русской земле»<sup>456</sup>. Казалось бы, такое явление никак нельзя было признать пустым местом в нашей дотатарской истории, и следовало бы сильно призадуматься, от чего такая старая сила Киева пала и уступила место другим, новым. Погодин не много задумывается над этим. Он говорит лишь, что такое значение Киева привлекало к нему честолюбие всех князей, что суздальский князь, как самый сильный, взял верх над Киевом и что областные князья слушались его больше, чем когда-либо слушались князей киевских, потому что он был гораздо сильнее их<sup>457</sup>. Следовательно, проявление силы, личной власти князей Погодин считал самой важной стороной исторической жизни древней Руси. Это со всей ясностью он высказывает в самом начале обозрения явлений внутреннего быта дотатарской Руси, т. е. в начале второго тома. «В продолжение норманнского периода, к счастью, молодого государства, бывало большей частью по одному князю»... В другом месте: «Как укреплению, усилению молодого государства содействовало малочислие князей, так умножавшееся беспрестанно их количество постепенно ослабляло его, и, наконец, привело на край гибели»<sup>458</sup>. Этот взгляд поставил Погодина даже в очень странное положение.

В норманнском его периоде он трепещет за судьбу России, когда у нее один только князь, как, например, малолетний

Игорь, а в удельном периоде трепещет за нее от непомерного множества князей. Теория случайностей возведена здесь на высшую степень силы в истории России.

С особенной ясностью Погодин высказывает эту теорию в том же втором томе, в нескольких местах. Так, например, изложив отношения князей, показав положение дружины, состояние городов и сельского населения, он говорит: «Так неопределенны или, лучше сказать, так изменчивы были отношения между князьями и высшими сословиями государственными, потомством пришлое норманнского племени, дружиной и ее членами, боярами и отроками, городами и воинами. Вследствие этой зыбкости мы видим в продолжение двухсот лет от кончины Ярослава до нашествия монголов непрерывное движение князей... За князьями следовали их дружины, неотлучные их спутники, делившие с ними счастье и несчастье, выгоды и потери... Кроме перехода с князьями бояре еще имели свое собственное право перехода... В этих переселениях принимали иногда участие и низшие вой, люди, жители городов, по любви к князю, в надежде больших выгод... А глядя на них, приучались переходить с места на место и самые поселяне, ища себе больше льготы и покоя»<sup>459</sup>... Еще дальше: «Князья переходили, бояре переходили, вои переходили, смерды переходили, города в смысле гарнизонов (засад) переходили. Города переходили в смысле столиц, пребываний княжеских»<sup>460</sup>... Вывод Погодина из этих явлений еще страннее и печальнее: «В этом движении, – заключает Погодин, – представляющем как бы переход от кочевой жизни азиатской к оседлой европейской, в этом брожении вслед за основанием государства и распространением его пределов представляется одно из главных отличий русской истории от истории западных европейских государств и вместе основание, условие многих последующих событий»<sup>461</sup>.

Тут мы уже видим, что Погодин в этих явлениях удельного периода усматривает коренной русский принцип – неустойчивость, случайность, т. е. какой-то роковой произвол, которым должна строиться русская жизнь. Немного выше Погодин действительно осмысливает эти явления, как

выражающие коренные особенности русские, но в числе этих особенностей указывает и такие, которые разрушают всю его теорию случайности, хотя и высказаны мельком, вскользь. «В нашей истории, говорит он, – все происходило смотря по обстоятельствам, и решалось по усмотрению действующих лиц, по требованиям минуты или соглашению, по любовным сделкам в известное время; господствовали не правила, а обстоятельства, свободная воля, здравый смысл». Это уже совершенная пустыня внутренних твердых начал жизни. Погодин, по-видимому, еще усиливает безжизненность этой пустыни, когда тут же выражается: «Никакой народ не представляет такого отвращения от обряда (формы), как русский»; или: «о писанном праве никогда и помину нет, везде имеется в виду только живое право как оно действующими лицами в данную минуту себе представляется». Однако сам же Погодин и проговаривается об основании этого живого права. «Мы усматриваем, – говорит он, – в явлениях удельной истории лишь несколько, очень мало, коренных обычаев»... и перечисляет их: старшинство для князей, отчинность, право перехода для бояр, вечевые собрания для городов и странные для нас, но не странные у Погодина в смысле права, обязанность смердов платить подати, после исполнения которой они были, по его мнению, свободны от других обязанностей, как например, военной<sup>462</sup>.

Стоит только представить действительное положение дел по фактам самого же Погодина – повсеместное, исконное существование в городах вечей, а в сельских обществах – сходок как живых хранителей и толкователей обычаев, делавших чаще всего ненужным записывание этих обычаев; стоит представить себе, что множество и сильное передвижение князей давали особенное значение вечам, а право перехода крепко поддерживало личную свободу и дружины, и смердов; стоит все это представить, повторяем, по фактам, изложенным самим Погодиным, как вся картина хаоса, им нарисованная, получит совершенно иной, ясный, определенный смысл, и наша древняя Русь будет действительно отличаться от Западной Европы, но не азиатским кочевничеством, а своими

самобытными особенностями, общими во многом и другим славянским народам. Иначе сказать, у самого Погодина очистится тогда шелуха шлецеровская и окажется воззрение так называемое славянофильское. Погодин, как в этом, так и в других случаях, действительно и обнаруживает начатки славянофильские. Сюда относится, как мы уже знаем, мирное основание нашей государственности. Далее, крепко и преимущественно держась государственности, Погодин тем не менее часто рассматривает состояние Русской земли, земской силы как особой. Он считает нужным рассматривать княжеские смуты не по родам, поколениям князей, а по областям, разделение которых связывает с особенностями страны, и в древние времена допускает даже различие между ними племенное.

Из его многочисленных статей о временах московской жизни, как полемика его с Костомаровым о Дмитрие Донском или о временах смутных, совершенно ясно видно, что он понимал и признавал силу земства.

Великие ожидания сопровождали составление Погодиным его «Истории», о чем знали все, так как Погодин получил на это средства от государя и как бы занял положение Карамзина. Но великое разочарование последовало, когда появились эти три тома «Истории» Погодина, а петербургская стихия довела это разочарование до того, что Погодин совсем вышел из положения Карамзина и не продолжал своей «Истории». Мы видели, что еще в первых своих трудах Погодин вырывался из строгих пределов своего математического метода на простор патриотического одушевления. По самой противоположности этих двух приемов гармония была делом очень трудно достижимым. Она часто и тогда уже нарушалась, а в «Истории» расстройство этой гармонии дошло до того, что и математический метод не соблюден (почти нет цитат, даже в весьма важных местах), и патриотическое отношение к делу приняло крайне одностороннее направление. Мы в этой «Истории» видим старца, вещающего детям о старых делах с авторитетностью чисто отеческой. Но никогда не следует забывать, что под этой старческой авторитетностью скрываются

и громадная научность в области первейших наших памятников и неизменная, глубокая любовь к России. Карамзина своей «Историей» Погодин заменить не может; но подле «Истории» Карамзина его история может стоять для справок, для воспитательных целей и, вероятно, будет стоять вместе с ней еще очень долго.

Кроме разобранных нами сочинений и сейчас упомянутых статей, которых список очень велик и обнимает не одни старые русские дела, но захватывает и многие современные вопросы и дела других славян, Погодин издал в 1875 г. еще одно очень ценное сочинение «Первые 17 лет царствования Петра», т. е. до Полтавской битвы. Погодин был великим поклонником Петра. Это тоже вытекало из его воззрений на историческое движение русской жизни. Норманны, по Погодину, – чужие люди и с чужими для нас началами создали нашу государственность. Удельные князья испортили их строение и чуть не загубили его. Московские князья при содействии татар возобновили и утвердили глубоко в народной жизни это государственное строение. Но и в Московском средоточии оно слабело и расшатывалось. Петр I при содействии иноземцев опять укрепил, усилил это здание, но не переставая быть русским. Поклонение Петру с этой именно точки зрения имело для Погодина даже идиллическую привлекательность. Погодин вел свой род, как сам говорит в Посвящении своей «Истории» покойному государю, из крепостного крестьянства. Поклонение Петру он встретил в известном крестьянине Посошкове, сочинения которого «О скудости и богатстве» Погодин разыскал и издал. Но особенную цену книге Погодина дает не восхваление Петра. Петр I еще больше прославлен, и дела его при всей односторонности взгляда гораздо документальнее обставлены в пятитомном Сочинении покойного Устрялова (четыре тома до Полтавской битвы и пятый, обозначенный ввиду сделанного пропуска одного тома по порядку – счетом шестой – о деле царевича Алексея), изд. 1858–1859 и 1863 гг. Сочинение Погодина важнее всего по двум начальным исследованиям.

Первое исследование – о детстве Петра, где показаны образовательные средства, обычные тогда в жизни русских царских детей, так что этим подрывается ложное мнение, будто бы Петр в своем русском кругу ничего не узнал. Тут, напротив, он связывается со старой Русью даже по вопросу об ознакомлении с Западной Европой уже по одним игрушкам и картинкам, бывшим у него в детстве. К несчастью, гибель многих людей, которые могли бы повести правильно воспитание Петра, как Матвеев, удаление Петра от двора и ужасы борьбы между ним и Софией не дали ему правильно и спокойно развиваться в русском духе и направили искусственно к иноземцам.

Второе исследование еще важнее. В нем доказывается документально, что роковая борьба Петра с царевной Софией создана искусственно, что никакого покушения на жизнь Петра в 1689 г. не было, и что все это сочинено было злобной придворной интригой, имевшей роковые последствия, именно: разрыв Петра со многими хорошими людьми правительства Софии, как, например, с необыкновенно образованным, думавшим даже об уничтожении крепостного права Василием Голицыным.

**Итоги научных трудов.** Разные точки зрения на наше прошлое и разные споры между учеными имели более важное и продолжительное значение, чем думали иные из этих ученых. Споры эти выяснили значение предшествовавших трудов по русской истории, причем часто даже помимо воли споривших и различно думавших, выступали в новом, ярком освещении прежние наши русские труженики в области нашей науки, особенно Татищев, Болтин, и над всеми прежними и современными тружениками возвышался со своим громадным трудом Карамзин, а видимо, величественное по внешней научности, но дряблкое по жизненным началам строение русской истории немецкими учеными колебалось от критики и наших ученых, взглянувших на него с той же европейской точки зрения, а затем задрожало и многое в нем рухнуло от прикосновения к нему Добровского и Шафарика, вооруженных и западноевропейской наукой, и пониманием дела с

общеславянской точки зрения, так что не только скептик Каченовский смутился и умолк, но и его противник Погодин оказался в крайне затруднительном положении и радовался и скорбел, и спасал Шлецера, и признавал свое бессилие и уклонялся от дела ввиду новой зари общеславянских идей, открывавшей новое величие и всего славянства, и столь любимой им России.

Наука и национальные воззрения Запада, наука и воззрения славянские, русские становились уже такими ясными вещами, что работникам по русской истории было уже невозможно затем выступать с неопределенным знаменем. Окраска его яснее и яснее обозначалась, и чем дальше, тем больше разделяла и ученых по русской истории и вообще членов русского общества на так называемых славянофилов и западников, историческое главенство над которыми принадлежит, с одной стороны, Погодину, с другой – Каченовскому, хотя в действительности последователи того и другого уходили от своих вождей очень далеко, и нередко забывали их и даже чуждались. В трудах тех и других сказалась с новой силой и старая в нашей науке тяга от русских древностей к жизненным центрам тяжести русской истории – к Московскому единодержавию и затем – к Петровскому преобразовательному времени.

## Глава XIII. Западники

В той самой московской среде, где наделали столько шума скептики и их противники и где раздавались сильные речи Погодина и Грановского, одного – за русское направление, другого – за европейское, и в Московском университете, и в московском обществе более и более развивалось и обнаруживалось глубокое, систематическое разделение русских людей на славянофилов и западников. Такие люди, как Чаадаев, Мартынов, Герцен приходили к совершенному отрицанию русской культуры, и для пересоздания ее обращались к Западной Европе, даже совсем уходили в нее, как Мартынов – в иезуитство, Герцен – в среду революционеров. Это – крайности, от которых громадное большинство западников отшатывалось, но единство принципов производило и на них свое действие. Из среды их выходило немало деятелей в области других наук, более отдаленных от русских жизненных научных вопросов; еще большее число их сделалось известным в области журналистики и еще большее – на поприще служебном. Но отрицание русской культуры подрывало в корне способность взяться за разработку положительной стороны русской жизни, поэтому так называемые у нас западники меньше всего сделали для русской истории, по-видимому, совершенно вопреки примеру, поданному скептиками, но в действительности – по той неизбежной логичности, какая развилась из этого примера. Отрицание может создавать критику, полемику, но не ведет к положительной, созидательной деятельности.

Один из самых сведущих ценителей дел и стремлений западников, мнение которого (о Грановском) мы уже приводили, именно Анненков, говорит об этом следующие, роковые для западников слова: «У них не было никакой цельной и обработанной политической теоремы, они занимались исследованиями текущих вопросов, критикой и разбором современных явлений, и не отваживались на составление чего-либо похожего на идеал гражданского существования при тех



материалах, какие им давали и русская, и европейская жизнь. Добросовестность западников оставляла их с пустыми руками, и понятно, что положительный образ народной политической мудрости, найденный славянофилами, начинал поэтому играть в обществе нашем весьма важную роль<sup>463</sup>... Тот же Анненков приводит слова Герцена, в которых тот внушал западникам смелость взяться за эту положительную работу. «Наша европейская, западническая партия, – говорил Герцен, – тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в оборот славянофилами»<sup>464</sup>. Наши русские социалисты пробовали овладеть некоторыми из этих вопросов, но так овладели, что от них отшатнулся сам Герцен. Даже Белинский, известный систематический западник и столь же систематический враг славянофилов, выразился однажды во вкусе Полевого, но с выводом далеко не во вкусе Полевого: «...что личность в отношении к идее человека, то народность в отношении к идее человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как какое-то издание такой-то логики»<sup>465</sup>.

Нужно, однако, сказать, что все эти весьма компетентные свидетели дел своей партии, но мало сведущие в литературе русской истории, не совсем справедливы к трудам этой партии по русской истории. Бессильная создать что-либо цельное, положительное, партия эта немало сделала и делает в области критики, полемики по нашей науке. Ненормальные явления русской исторической жизни, изнанка лучших наших исторических дел и людей сделались специальным предметом исследований членов этой партии, бравшихся за русскую историю.

**Пыпин А.Н.** Самым деятельным представителем этой группы служит в настоящее время известный автор

многочисленных исследований, помещаемых в «Вестнике Европы», г. Пыпин. Более видное из его исследований – «Общественное движение при Александре I» (1871 г.). Здесь, с точки зрения беспредметной свободы, оцениваются преобразования первых годов царствования Александра I и отдается им полное сочувствие. По этой же причине осуждаются дела второй половины этого царствования, причем Карамзин причисляется к ретроградам, и г. Пыпин особенно усердно ударяет на слабую сторону Карамзина по вопросу об освобождении крестьян. Для опытного читателя исследование это имеет значение, как сборник сведений о мало разработанном времени и сборник данных для изучения политического развития наших русских людей того времени<sup>466</sup>.

Такое же значение, как вышеприведенное, имеют исследования Пыпина – «Характеристика литературных мнений» (1873 г.), где осуждается славянофильство, и исследование «Панславизм» (1877–1878 гг.), где та же тенденция и, кроме того, сообщается немало сведений о развитии у нас панславистских идей, как, например, о панславистских идеях начала нынешнего столетия (записка Броневского), о киевском братстве Кирилло-Мефод. 1848 г. и об идеях Товианского и Мицкевича (мессиализм). Как истый западник автор здесь отрешается от всяких патриотических чувств, и у него выходит, что Россия – одна из самых несостоятельных для славянского объединения сил, а Польша высоко выдвигается по своей культурности.

Более ценное по достоинству материалов исследование г. Пыпина о масонах, служащее дополнением и поправкой исследования Лонгинова – «Новиков и Мартинисты» (изд. 1867 г.)<sup>467</sup>.

Наконец, еще большего внимания заслуживает старый соединенный труд Н.И. Костомарова и г. Пыпина – «Отреченные книги», изданные Кушелевым-Безбородкой под заглавием «Памятники старинной русской литературы», 1860–1864 гг., 4 выпуска. Сюда же нужно отнести имеющее с этим изданием связь и тоже давнее исследование г. Пыпина «Об отреченных книгах», помещенное в 1 выпуске Летописи занятий

Археографической комиссии. Перечисляя эти старые труды г. Пыпина, нельзя не указать на гораздо более научное собрание памятников этого рода «Памятники отреченной литературы» профессора Тихонравова, изд. 1863 г., 2 тома.

Недавно в «Вестнике Европы» за 1884 г., в книгах 5, 6 и 7 напечатано новое исследование г. Пыпина «Русская наука в XVIII веке». На это исследование можно смотреть, как на крайнее усилие г. Пыпина доказать благотворность западноевропейского влияния на Россию. Автор выбрал самый благодарный предмет – просветительное движение в Петровские времена, в котором найдет немало хорошего и самый последовательный славянофил. Но только неопытные читатели могут не заметить многочисленных несообразностей этого исследования.

Г-н Пыпин начинает с практических дел, которыми так славится время Петра, и изображает нам богатство трудов по землеописанию России, особенно богатство путешествий по России и описания ее. Но это было решительно преобладающее иноземное странствование по России и иноземное описание ее. Все это составляло прежде всего развитие давней литературы иностранных писателей о России, тем более естественное, что в Россию впущено было столько иноземцев и они снабжались русскими деньгами. Польза от всего этого у автора громадна, потому что он берет все XVIII столетие и даже прихватывает XIX; но на деле было иное. Одно долговременное пренебрежение татищевского проекта изучения России слишком много говорит против основного взгляда г. Пыпина. До какой степени автор ослеплен влиянием иноземных трудов на Россию, видно из того, что он совсем не ценит значение Большого чертежа и проглядел знаменитый труд Ремезова – «Чертеж Сибирской земли».

Еще более странна попытка автора выставить западноевропейцами таких писателей, как Татищев и Болтин. Г-на Пыпина поражает, что эти писатели знали многие западноевропейские сочинения и даже пользовались ими. Отсюда он выводит заключение, что тут-то они и почерпали свое высшее разумение дел России. Г. Пыпин, очевидно, не

подозревает, что оба эти историка делали резкое отступление от своего западноевропеизма и что это повело к самым благотворным последствиям. Благодаря этому именно отступлению мы имеем и такой ценный «Летописный свод» Татищева и такую дельную картину русской самобытности Болтина, а то, что оба эти историка написали по западноевропейской указке, весьма слабо, как первый том «Истории» Татищева и болтиновское разумение крестьянского вопроса. Не входим в разбор всегдашних больных мест г. Пыпина – осуждение славянофилов. В исследовании г. Пыпина XVIII века, представляющем спешную и даже несамостоятельную работу, имеет несколько научное значение собственно указание писателей, которых знали Татищев и Болтин.

Главное направление трудов г. Пыпина – изображать изнанку русской жизни, особенно допетровского времени, обнаруживается в трудах многочисленных писателей, по преимуществу того же западнического направления. Так, оно отражается в сочинениях необыкновенно трудолюбивого работника в области нашей науки, профессора Киевского университета Иконникова. Редкая книга выходит, которая не вызвала бы рецензии профессора Иконникова. В «Киевских университетских известиях» нередко печатаются даже библиографические обзоры целой группы книг по русской истории за то или другое время, составляемые г. Иконниковым. Подобные обзоры автор делал и в области давно прошедшего нашей науки. Таково указанное нами его обозрение литературы скептической школы. Есть у него и обзоры деятельности выдающихся исторических лиц. Таково его исследование «Граф Мордвинов» (1873 г.). Мы уже упоминали другой научный труд г. Иконникова «О влиянии Византии на Россию». Не можем не указать и на самый ранний труд и самый большой грех автора «О первом Самозванце»<sup>468</sup>, которого он признает действительным царевичем Дмитрием.

Далее, то же направление высказывается в большинстве трудов наших русских юристов. Образец такого отношения к своему прошедшему мы увидим ниже, в трудах г. Чичерина.

Есть, впрочем, в юридической литературе счастливые и даже немалочисленные исключения. Укажем на более выдающиеся из них. Из тех юристов, которые по самому свойству своих занятий должны обращаться к изучению русской истории, как например, профессора истории русского права, некоторые доходят до глубокого понимания самых основ русской жизни и поднимают их на большую высоту культурности. Это мы увидим ниже в трудах И.Д. Беляева, Лешкова. По этому пути пошли даже некоторые юристы, не чуждые западничества. По этому пути шел и старейший из наших юристов, Неволин, «Изыскания о. Русской Правде и новгородских пятинах» которого и теперь еще не потеряли своего значения. По этому пути пошли и более видные из его преемников. Так, это мы увидим в трудах К.Д. Кавелина. Этим же направлением вызывает к себе всеобщее внимание и давно уже старейший теперь из профессоров-юристов и неутомимый исследователь и ценитель исторических памятников академик Н.В. Калачов. Трудно в кратком обзоре перечислить многочисленные и разнообразные труды этого ученого. Всем известны его старые, но до сих пор имеющие большую цену исследование и издание «Русской Правды»<sup>469</sup>, журналы «Архив исторических и юридических сведений», «Архив юридических и практических сведений» и «Археологический сборник».

Две особенности бросаются в глаза в трудах Н.В. Калачова. Это, во-первых, чем дальше, тем больше сказывается в них его уважение к памятникам нашей истории, особенно времен московских, и, во-вторых, чем дальше, тем большая видна группировка около Н.В. Калачова молодых сил. Обе эти особенности теперь выражаются самым наглядным и счастливым образом в основанном Николаем Васильевичем Археологическом институте.

В истории нашей науки мы имеем еще более поражающий пример, как юрист всецело перешел в область изысканий по русской истории и, можно сказать, влияет на самый ход занятий по этому предмету. Мы разумеем академика и директора Императорской Публичной библиотеки А.Ф. Бычкова. У нас в России едва ли есть хотя бы один из ученых, занимающихся

русской историей, в возрасте от 50 лет и моложе, который бы вырастал в научном смысле без указаний и воодушевляющих влияний А.Ф. Бычкова. Точно так же можно сказать, что едва ли у нас есть какое-либо ученое Общество, более или менее занимающееся русской историей, в трудах которого не было бы указаний, работ и вообще участия А.Ф. Бычкова. Мы уже не говорим о правительственных мероприятиях, требующих исторических справок.

Главнейшие ученые труды А.Ф. Бычкова, кроме Академии наук, сосредоточиваются в Археографической комиссии по изданию летописей, в Публичной библиотеке по изданию «Описания рукописей» и в архиве Св. Синода по «Описанию дел» этого учреждения. В последнее время – нового издания Лаврентьевской летописи и три выпуска «Описания рукописей Императорской Публичной библиотеки».

Оба эти ученые – Н.В. Калачов и А.Ф. Бычков – своим служением науке русской истории представляют несомненное доказательство, что в ней скрывается великая русская притягательная сила. Мы не раз еще будем усматривать ее. Укажем еще и теперь на некоторые проявления ее, впрочем различного, свойства.

Замечательно, что и К.Д. Кавелин и Н.В. Калачов – оба не чуждые западничества а оба – последователи родовых начал – останавливали свое внимание на однородных, выдающихся русских особенностях и воздавали им такую дань уважения, какую могли воздавать, по-видимому, только славянофилы. Мы разумеем исследование К.Д. Кавелина о русской общине<sup>470</sup> (о нем у нас еще будет речь) и исследование Н.В. Калачова о русских артелях<sup>471</sup>.

Притягательная сила русских особенностей жизни обнаружилась не на одних этих юристах. Она сказала также со всей ясностью и в богатых результатах на трудах профессора здешнего университета В.И. Сергеевича. Его внимание сперва сосредоточилось на русских вечах, и это повело к замечательному исследованию этой формы нашей древней жизни и параллельной ей силы – княжеской власти<sup>472</sup>. Затем профессор Сергеевич обратил внимание на другую, более

позднюю форму – Земские соборы<sup>473</sup>. Наконец, особенное его внимание вызвала екатерининская Комиссия для составления Уложения<sup>474</sup>.

В сочинениях профессора Сергеевича можно видеть как бы середину между славянофильством и западничеством. Так, в сочинении «Вече и князь» мы видим и раздельность, и соглашение, договор между князьями и вечами; в исследовании о Земских соборах – сходство их с первоначальными западноевропейскими проявлениями парламентарной жизни, но также и призыв к своеобразности наших Земских соборов; в исследовании о екатерининской Комиссии показывается сильное влияние западноевропейских воззрений на составление екатерининского Наказа и русские особенности, в понимании дела членами Комиссии для составления Уложения. Особенную важность имеют новые изыскания автора вопроса об освобождении крестьян, обсуждавшегося в этой Комиссии. Перед нами сменяются и чисто западнические взгляды членов Комиссии на дворянство и крестьян и как бы пробуждение старых русских преданий о свободе народа. Еще важнее тот чисто научно сделанный вывод, что большинство членов екатерининской Комиссии склонялось на сторону улучшения положения крестьян, и что в этом сходились и дворяне, и однодворцы, и крестьяне. Вышеуказанная середина воззрений автора между славянофильством и западничеством особенно ощутима в его определении народности. «Историческая народность, – говорит профессор Сергеевич в своем курсе «Истории русского права», – не есть постоянная и всегда сама себе равная величина. Наука до сих пор не может сказать, в чем состоят признаки народности». Это западническое понимание народности, и ниже мы увидим, что наука наша, напротив, немало уже сделала для определения признаков русской народности. Но вместе с тем наш автор признает великое значение народности. «Насильственное введение чужих порядков, – говорит он вслед за тем, – соединенное с презрением к своему народному, наносит ей величайший вред... Оскорбляя народный дух неумелым заимствованием, как бы ни было хорошо это заимствование само по себе, подавляют ту

силу, которая одна способна творить все великое в истории»<sup>475</sup>. Приложение такого взгляда мы видим во многих местах самого курса. Как особенно выдающееся место, можно привести оценку автором законодательной деятельности Петра I. «Относясь с недоверием ко всему русскому, Великий преобразователь России и не подозревал, – говорит автор, – что московский процесс XVII века стоял далеко не во всем ниже современного ему немецкого. Вместо того чтобы выяснить основные начала нашего старого порядка, развить то, что в нем было хорошего и положить конец дурному, он начал с того, что смешал почти все выработанные практикой различия форм судопроизводства, а затем обратился к переводам с немецкого. Но перенос немецких порядков на русскую почву, кажется, и его самого удовлетворил ненадолго. Изданная им форма суда представляет несомненное возвращение к старому порядку, хотя в очень несовершенном виде»<sup>476</sup>.

Тяга русских особенностей сказывается в трудах профессора Казанского университета Загоскина и направляет его, как и Н.В. Калачова, главным образом, на дела московские<sup>477</sup>. Сказывается она в трудах профессора Демидовского лицея Владимирского-Буданова, раскрывавшего, между прочим, любопытное смешение западноевропейских и русских начал жизни в Западной России<sup>478</sup>. Еще яснее сказалась она в трудах профессора Новороссийского университета Лентовича, который осветил древнее русское право и древнее устройство русских общин явлениями общеславянской жизни<sup>479</sup>. Далее еще яснее, как увидим, сказывается она в трудах профессора Варшавского университета Самоквасова, расчищающего вновь пути к уразумению древнейшей русской жизни и критическим разбором научных трудов по русской истории, и сопоставлением археологических данных, изучению которых автор давно и упорно отдает свои силы. Это же направление видно и во многих юридических сочинениях, разъясняющих явления русской жизни в области гражданского права, как, например, в сочинениях профессора И.Е. Андреевского и К.П. Победоносцева; но мы не можем входить в разбор этого рода



сочинений, потому что, откровенно заявляем, мало знакомы с этой литературой.

Таким образом, мы видим, что значительная часть наших юристов, и притом занимающих такое видное и влиятельное положение, удаляется от западничества и отрицательного отношения к нашему прошедшему и весьма настойчиво и успешно ищет в нем положительных сторон.

Эти положительные стороны русской жизни, отсутствие которых так резко сказалось в трудах по русской истории наших западников и на что они сами жаловались, разрабатывались больше всего так называемыми славянофилами.

## Глава XIV. Изложение славянофильской теории

В то время как в Москве, а тем более в Петербурге раздавались речи, что в нашем прошедшем нет ничего своего культурного, что всем лучшим мы обязаны Западной Европе и должны быть ей за это бесконечно благодарны, в московской университетской среде и общественной, еще в 30-х годах вырабатывались совершенно противоположные взгляды на наше прошедшее и на благодеяния нам Западной Европы. Группу людей, вырабатывавших эти взгляды, составляли, кроме Погодина, профессора Московского университета: Шевырев, Лешков, Ив. Беляев; но особенную силу дал ей кружок, выделившийся из самого московского общества. Во главе его стояли в 40-х и первых 50-х годах: Хомяков, братья Киреевские, семейства Елагиных и Аксаковых. Все они стали известны под именами, данными им западниками: «славяне», «славянофилы», впоследствии – «панслависты».

Сравнительно с западниками так называемые славянофилы занимали противоположное положение не по одним взглядам. Они, за исключением наших необычайных дел, таких как освобождение крестьян, борьба с польской смутой, Восточная война, не занимали видного места в нашей служебной среде, мало имели или даже вовсе не имели органов печати для выражения своих мнений, но всегда производили сильное впечатление на наше общество и очень много сделали для науки русской истории.

Подобно западникам, славянофилы выходили тоже из отрицания, но обращали его на Западную Европу и на те явления русской жизни, в которых особенно сильно сказалось влияние Европы. Еще Погодин раскрывал завоевательное начало западноевропейских государств, внесшее разлад и борьбу между властью и народом. Славянофилы 40-х годов, особенно К.С. Аксаков, много занимавшийся русской историей, развивали далее это положение, доказывая отсутствие доверия и правды между государством и обществом Западной Европы и

указывая на западноевропейский пролетариат как на неопровержимое доказательство разложения, производимого этим разладом, борьбой и неправдой в складе западноевропейской жизни<sup>480</sup>. Но славянофилы не довольствовались одним отрицанием. С необыкновенной смелостью, гораздо большей, чем новиновская, славянофилы выставили поклонникам Запада высший идеал человеческих обществ. «Нравственный подвиг жизни, – говорит К.С. Аксаков в своей статье «Об основных началах русской истории», – предложит не только каждому человеку, но и народам, и каждый человек, и каждый народ решает его по-своему, выбирая для совершения его тот или другой путь... Всякая умственная, всякая духовная деятельность вся тесно соединена с нравственным вопросом»<sup>481</sup>. К.С. Аксаков вообще всякое дело связывал с нравственностью. Вся жизнь человека и народа, по его убеждению, есть выражение нравственности. «Для него (К. Аксакова), – говорит Анненков, – славянизм и народный русский строй жизни составляли более чем доктрину или учение, защищать которые обязывает честь: славянизм и народный русский строй жизни сделались жизненными основами его существования и кровью его самого»<sup>482</sup>. Провозглашая этот высший нравственный идеал жизни и частного человека и человеческих обществ как единой жизни, Аксаков смело отрицал культурность для нас Западной Европы и низводил эту культурность в низшую область материальных удобств жизни. Но ведь это голос аскета, против которого могли заговорить не только люди знания, науки, но даже и аскеты Запада. На помощь Аксакову выступил Хомяков, человек и сильного ума, и сильного знания, и стал наносить такие удары культурности Европы, что перед ним смущались и задумывались даже такие люди, как Грановский и Герцен. В своих знаменитых статьях о Латинстве и протестантстве он разоблачил эти вероисповедания и показал, как человеческая гордость искажала вселенскую истину в Латинстве, и как вся сила протестантства – в отрицательном его отношении к Латинству<sup>483</sup>. Хомяков подорвал даже эпоху Возрождения наук, понимал ее, как «отчаянный призыв со стороны народов

Западной Европы языческого мира на помощь для создания чего-либо похожего на науку, искусство и цивилизацию»<sup>484</sup>. «Европа объявлялась (Хомяковым), – говорит Анненков, – несостоятельной для здорового искусства, для удовлетворения высших требований человеческой природы, для успокоения религиозной жажды народов и водворения справедливости, правомерности и любви между ними, Ей предназначались естественные, финансовые, технические науки, великие промышленные изобретения и проч., словом, баснословные успехи по всем отделам ведения, способствующим материальной стороне существования. Она осуждалась, – продолжает Анненков, – на развитие комфорта. Благосостояние Европы, беспрецедентное в истории, продолжает еще расти, в ущерб все более и более грубеющему нравственному смыслу ее. Она даже закрывает глаза от восстающей пред ней смерти в образе пролетариата, который расплодился под ее крылом и грозит возобновлением времен варварства»<sup>485</sup>.

Взгляды эти, впрочем, впоследствии были несколько смягчены. Не только в сфере материальных интересов, но и в высшей сфере знания отдавалась справедливость Европе и допускалось заимствование от нее всего лучшего, но не иначе, как подвергая все это собственной переработке и соглашению со своими началами. Идеи эти проводились тем же Хомяковым и Киреевскими в журнале «Москвитянин» в 1845 г., когда он был под их редакцией, и проводятся всеми представителями славянофильства в настоящее время. Известно, что некоторые из них были и есть учеными людьми, такие как Хомяков, Самарин, Гильфердинг и некоторые из современных славянофилов. Но чего решительно не допускали славянофилы – это усвоения нравственных идеалов Запада и тем более восприятия целиком какой-либо западноевропейской народности. Поэтому наше общество, выросшее на почве Петровских преобразований, и сами эти Преобразования осуждались и осуждаются всеми последовательными славянофилами.

При таких воззрениях на Западную Европу, хотя бы в смягченном их виде, неизбежно было иметь много

противоположных идеалов и воззрений, взятых из русской прошедшей жизни. Сейчас мы увидим, с каким глубоким знанием и широтой взгляда славянофилы развертывали свои идеалы. Идеалы эти обыкновенно связывают с западноевропейскими философскими теориями Гегеля и Шеллинга. Мы их будем связывать с прежде добытыми результатами в научной разработке русской истории, что и вернее, и полезнее.

Подобно Карамзину и всем лучшим нашим русским историкам прежнего времени, славянофилы сосредоточивали свое внимание на временах Московского единодержавия, как таких временах, в которые русская жизнь вылилась во всех существенных формах, которые составляли и развитие прошедшего, и начало дальнейшего развития. Но они не ограничились временами Иоанна III и IV, в которых Карамзин находил более полное выражение русской жизни, а прибавили к ним еще времена после самозванческих смут и, можно даже сказать, что они передвинули карамзинский центр тяжести русской истории от времен Иоаннов ко временам Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича, т. е. в XVII век. Здесь-то, главным образом, они и стали искать существенные особенности и явления русской исторической жизни.

Татищевская, болтинская и особенно карамзинская теория о русском самодержавии и о том, что русский народ находит ее лучшей государственной формой, нашли себе у славянофилов дальнейшую разработку, в основе которой особенно глубоко закладывалась мысль Карамзина, что высшее благо человеку дается не государством, а собственным, нравственным его развитием. Это нравственное развитие, как мы уже показывали, славянофилы стали связывать с исторической жизнью русского народа. Давая полную свободу государственной власти, они отвергли западноевропейское понимание государства как источника всех благ человека, дали ему значение внешней правды, внешнего наряда, а всю силу внутренней, нравственной правды сосредоточили в русском земстве, которое, не стесняя государственной власти, живет полной внутренней свободой. Связью этих двух сил, государственной и

земской, служит следующее. Для государства как выражения внешней правды часто нужна, особенно в важных случаях, внутренняя правда, и тем естественнее, что государственная власть сосредоточивается в живом лице самодержца, живущего, как и все, внутренней правдой. С другой стороны, само земство постоянно чувствует нужду во внешней правде. Отсюда взаимное доверие этих двух сил и взаимная нужда в общении, выражавшемся в вечах, Земских соборах, в которых высказывалось мнение земли, и так как это мнение носит характер нравственной силы, то не должно быть речи ни о его стеснении, ни о его внешней обязательности.

Из этой теории вытекало само собой погодинское положение о добровольном призвании Рюрика и, вопреки Погодину, подрывалось в корне значение норманнской теории призвания князей, как иноземного культурного начала. Далее отсюда вытекало и особенно дорогое славянофилам народное восстановление самодержавия после-смутных времен и получали особенное значение Земские соборы.

Само собой разумеется, что славянофилы должны были обратить особенное внимание на вторую, строительную силу в русской истории, на земство, в котором, хотя в единении с государством и под его покровом, но независимо живет и развивается внутренняя правда. Они стали доискиваться до основной ячейки, в которой скрывается эта внутренняя правда, и доискались до такой новой русской силы, которая действительно держала судьбы России.

Славянофилы, как мы уже замечали, находили несостоятельным русское общество новейших, послепетровских времен потому главным образом, что оно стало жить жизнью, чужой для своего простого народа. Больше значения в этом отношении должно было получать у них русское общество допетровских времен как жившее одной жизнью с народом, но и оно как служилое сословие жило больше государственной жизнью. Основную силу внутренней правды славянофилы нашли глубже, – в русской земельной общине, как она от древнейших времен развивалась до форм бывших в московские времена, и в остатках, сохранившихся до настоящего времени.

Земельная община, в которой все связаны узами взаимной поддержки, где дарование, счастье, личные интересы добровольно подчиняются общему благу, т. е. где царствует внутренняя правда, выражающаяся внешним образом в народных обычаях и сходках, и есть та ячейка, из которой развилась и наша государственность, и вся наша историческая жизнь.

Личность человека в этой общине с нравственной стороны уважалась до того, что последний сирота считался участником в правах и выгодах общины; но полного простора, а тем более с эгоистической точки зрения, не могло быть. Такая личность могла свободно выходить из общины. Выходом этим пользовались и необыкновенно даровитые люди, с особым призванием, такие как богатыри, подвижники, или люди с узкими эгоистическими понятиями – такие как изгои<sup>486</sup>. Те и другие могли составлять добровольные временные или постоянные корпорации, такие как дружины богатырей, торговые, ремесленные союзы, союзы для особых предприятий – братчины, артели, скитские и общежительные монастыри. Сами общины тоже соединялись и группировались около городов, где образовалось вече, а московское единоедержавие собрало воедино все веча в Земские соборы.

Устройство и внутренняя жизнь русской земельной общины раскрыты И.Д. Беляевым и К.С. Аксаковым в полемике их с последователями родового быта. Беляев в своем исследовании «Русская земля пред прибытием Рюрика»<sup>487</sup> устраивает как бы мост для перехода от теории родового быта к теории общинного быта. Он доказывает, что славяно-русские племена в разные времена селились на пространстве России, и в то время как одни выработали несомненно общинное земельное устройство (например, новгородцы, кривичи), другие были еще в родовом быте (как северяне); у третьих, наконец, было и родовое устройство, и общинное, т. е. одно – отживающее, другое – заменяющее его (как у древлян и отчасти – у полян). Тут очевидна связь с немецкими теориями о роде и земельной общине и отсюда колебание. Колебания этого не знал К. Аксаков и решительно отвергал родовое устройство и

доказывал общинное. История нашего крестьянства должна была вызвать еще большее внимание славянофилов, как осязательное подтверждение их теории. К. Аксаков, несомненно, занимался специально и изучением крестьянства, как видно из черновых его работ по этому предмету, изданных в 1 томе Собрания его сочинений<sup>488</sup>. Но самое полное и, можно сказать, классическое сочинение, где изложена вся историческая жизнь русской общины, – это знаменитое сочинение И.Д. Беляева «Крестьяне на Руси» (1860 г., есть и второе издание – 1863 г.). Достоинства его признаны и Академией наук. Дополнением к нему могут служить статьи покойного князя Черкасского в «Русском Архиве» (1880 г.) и весьма странное по общим взглядам, но довольно богатое сведениями из XVIII века сочинение В.И. Семевского<sup>489</sup>. Замечательно, что самое большее прославление русской общины сделано, как мы уже указывали, последователем теории родового быта К.Д. Кавелиным, который представляет такие человеколюбивые особенности ее, что наша простая русская земельная община должна стать выше западноевропейских филантропических учреждений.

Обычная сторона русских земельных общин, которая получала такое важное значение у славянофилов, повела к изучению народных песен, былин, поговорок и пословиц, вообще к изучению народной поэзии. Этим делом занимались братья Киреевские, составившие большое собрание памятников народного творчества, издание которых начато при их жизни и кончено после их смерти Бессоновым. Пример Киреевских вызвал на собрание этого материала известного нам Рыбникова, а также Шеина и еще прежде – собирателя пословиц и поговорок Снегирева. В последнее время, как нам уже известно, собиранию и изучению былин посвящал себя покойный Гильфердинг. Научной разработкой материалов по народному творчеству занимался К. Аксаков<sup>490</sup> и в новейшие времена – О. Ф. Миллер.

Изучение бытовой стороны русского народа, естественно, вызывало этнографические вопросы. Славянофилы при всем их внимании и предпочтении склада русской жизни во времена



Московского единогодержавия не могли не уважать самобытных местных и племенных особенностей русского народа. В славянофильской теории находили уютное место особенности малороссийской, белорусской жизни, и даже стали к ним тянуть инородцы, как например, лучшие выразители народностей – польской, литовской, латышской, эстской, финской и других. Великого внимания и глубокого изучения заслуживает со стороны русских людей – как ученых, так и общественных деятелей – то, что положительная сторона, положительное содержание русской народности, как их выясняют славянофилы, производили не раз обаятельное влияние на наших западных окраинах и притягивали их к русскому народному целому прочнее всех других мер. Это доказали дела Н. Милютина и князя Черкасского в Польше, дела и сочинения касательно западных окраин и балтийских областей Самарина, Гильфердинга и др. Этим же путем и по другим причинам – по кровному родству и для научного сравнительного изучения русских дел славянофилам неизбежно приходилось переходить в область вообще славянскую. Славянофилы уясняли родство и единство общеславянской жизни и стремлений. К ним примыкали более и более слависты, и в этом новом союзе вырабатывался и научно, и жизненным путем так называемый панславизм. В этой области можно указать несколько оттенков славянофильских воззрений. Одни из них, например Погодин, излишне примешивали к вопросу о единстве славян русскую государственную власть, и потому многим казалось, что славянофилы желают государственного слияния в одно всех славян. Но другие славянофилы, и в гораздо большем числе устраняют такую постановку дела. Не отвергая государственного русского содействия нуждам славянства, они хлопочут собственно о внутреннем единстве славян и только указывают на русский язык, как на более пригодное средство для успеха этого единения. Но некоторые и по этому вопросу становятся на самую безобидную, гуманную точку зрения. Они утверждают, что внутреннее единство полезно всем славянам, что может происходить при этом обобщение всех лучших основ славянства и в быте; и в языке, не исключая и русского быта, и

языка. Такие воззрения проповедовал, например, Гильфердинг. И старые славянофилы, и новые, вышедшие из среды славистов, образовали более и более сильную числом и знанием группу ученых людей, произведения которых составляют уже целую литературу, и некоторые получили общеевропейскую известность. Таковы, например, сочинения Гильфердинга, особенно его «История балтийских славян», и сочинения В.И. Ламанского, издавшего последнее свое большое сочинение о славянских архивных сокровищах Венецианского архива прямо на французском языке, очевидно, для удобства западноевропейских читателей<sup>491</sup>. В согласии и единстве с русскими славистами стали чаще и чаще работать слависты западные, как польские, чешские, словацкие. Явилась даже попытка проследить, по примеру Шафарика, славянское единство дальше, позднее в исторические времена. Такая мысль лежит в основе сочинения г. Первольфа «Славянская взаимность с древнейших времен до XVIII в.» (1874 г.).

Вся эта теория не только получала то высокое научное значение, что давала возможность понять и объединить все главнейшие явления русской исторической жизни, но и то еще значение, что она выделяла русский народ, как своеобразный и самобытный. Заветные желания Болтина, Карамзина блистательным образом осуществлялись. Погодин почувствовал новый вызов забывать о норманнах и больше углублялся во внутренний русский и славянский мир. Обрисовывалась русская национальность и связывалась с общечеловеческим историческим движением и через славянский мир и той своей стороной, которая в исторической жизни русского народа показывала своеобразное развитие внутренней правды и господство ее над правдой внешней. Русско-славянский мир открывал в себе идеалы жизни, которых не мог игнорировать ни один народ. Но этот идеал славянофилы подняли еще выше и сделали его еще более обязывающим другие народы к вниманию и уважению его. Славянофилы хорошо знают, что национальность, как бы хороша ни была, есть все-таки внешняя оболочка человека и его жизни. Оттого они и налагают так сильно на выражающуюся в русской жизни внутреннюю правду,

служение нравственному началу, чтобы показать, что русская национальность этим началом облагорожена, возвышена и упрочена на поприще всемирной человеческой жизни. Но природное нравственное начало в человеке должно быть просвещено и возвышено Христианством. Поэтому славянофилы, слив неразрывно нравственное начало с исторической русской жизнью, естественно также крепко слили с ней Христианство восточного вероисповедания. Православие в России приросло к русской народности, оно слилось с ней неразрешимо, оно – сущность русской народности. Вот почему Хомяков громил религиозную ложь Запада и доказывал превосходство Греко-Восточного вероисповедания. В этом разгадка всех его богословских сочинений. В этом разгадка и того, почему коренные славянофилы всегда больше занимались южными, православными славянами и почему они смело будят православные воспоминания у западных славян.

В научной области этот вопрос кроме Хомякова разрабатывался и после. В этом отношении замечательны статьи покойного Гильфердинга по поводу тысячелетия Славянской грамоты, в которых показывается совпадение соборности Православной Церкви с началами жизни русской общины. Замечательно также исследование профессора Ламанского «Греко-славянский мир», в котором обличается неправильное понимание Западной Европой этого мира и указывается достоинство не только религиозных, но и государственных начал греко-славянской жизни.

**К.С. Аксаков.** Со всей прямою и типичностью поставлен на этой высоте идеал русской исторической жизни К.С. Аксаковым, в начале второй его статьи (помещенной в 1 т. Полного собрания его сочинений) «Об основных началах русской истории». «Россия, – говорит Аксаков, – земля совершенно самобытная, вовсе непохожая на европейские государства и страны. Очень ошибутся те, которые вздумают прилагать к ней европейские воззрения и на основании их судить о ней... История нашей родной земли так самобытна, что разнится с самой первой своей минуты. Здесь-то, в самом начале разделяются эти пути – русский и западноевропейский

до той минуты, когда странно и насильственно встречаются они, когда Россия дает страшный крюк, кидает родную дорогу и примыкает к западной. Все европейские государства основаны завоеванием. Вражда есть начало их. Власть явилась там неприязненной и вооруженной и насильственно утвердилась у покоренных народов... Русское государство, напротив, было основано не завоеванием, а добровольным призванием власти. Поэтому не вражда, а мир и согласие есть его начало. Власть явилась у нас желанной, не враждебной, но защитной, и утвердилась с согласия народного. На Западе власть явилась как грубая сила, одолела и утвердилась без воли и убеждения покоренного народа. В России народ осознал и понял необходимость государственной власти на земле, и власть явилась, как званный гость, по воле и убеждению народа».

«Таким образом, рабское чувство покоренного легло в основание Западного государства; свободное чувство разумно и добровольно призвавшего власть легло в основание государства Русского. Раб бунтует против власти, им не понимаемой, без воли его на него наложенной и его не понимающей. Человек свободный не бунтует против власти, им понятой и добровольно призванной» ...

«Пути совершенно разные, разные до такой степени, что никогда не могут сойтись между собой, и народы, идущие ими, никогда не согласятся в своих воззрениях. Запад из состояния рабства переходя в состояние бунта, принимает бунт за свободу, хвалится ею и видит рабство в России. Россия же постоянно хранит у себя призванную ею самой власть, хранит ее добровольно, свободно, и поэтому в бунтовщике видит только раба с другой стороны, который также унижается перед новым идолом бунта, как перед старым идолом власти; ибо бунтовать может только раб, и свободный человек не бунтует. Но пути стали еще различнее, когда важнейший вопрос для человечества присоединился к ним: вопрос веры. Благодать сошла на Русь. Православная вера была принята ею. Запад пошел по дороге Католицизма. Страшно в таком деле говорить свое мнение; но если мы не ошибаемся, то скажем, что по заслугам дался и истинный, дался и ложный путь веры: первый

– Руси, второй – Западу... Поняв с принятием христианской веры, что свобода только в духе, Россия постоянно стояла за свою душу, за свою веру. С другой стороны, зная, что совершенство на земле невозможно, она не искала земного совершенства и поэтому, выбрав лучшую из правительственных форм, она держалась ее постоянно, не считая ее совершенной».

В другой статье «О русской истории», изобразив подробно гордость и ложь Запада и смирение и правду русского народа, К.С. Аксаков говорит: «История русского народа есть единственная во всем мире история народа христианского не только по исповеданию, но по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей жизни»<sup>492</sup>. Сейчас же затем Аксаков устраняет вопрос о самохвальстве и показывает, что различие тут в том, что в России не было таких зверств, как на Западе, и что в ней грех не возводится в добродетель. Еще в более сжатом виде К.С. Аксаков высказывает основы русской жизни в известной своей «Записке», помещенной в газете «Русь»<sup>493</sup>. «Еще до принятия Христианства, готовый к его восприятию, предчувствуя его великие истины, – народ наш образовал в себе жизнь общины, освященную потом принятием Христианства. Отделив от себя правление государственное, народ русский оставил себе общественную жизнь и поручил государству давать ему (народу) возможность жить этой общественной жизнью. Не желая *править*, народ наш желает жить, разумеется, не в одном животном смысле, а в смысле человеческом. Не ища свободы политической, он ищет свободы нравственной, свободы общественной – народной жизни внутри себя. Как единый, может быть, на земле народ христианский (в истинном смысле слова), он помнит слова Христа: «воздайте кесарева...» и другие слова Христа «царство Мое несть от мира сего»; – и потому, предоставив государству царство от мира сего, он, как народ христианский, избирает для себя иной путь, путь к внутренней свободе и духу, к царству Христову: царство Божие внутри вас есть»<sup>494</sup>.

В теории К.С. Аксакова, принимаемой и некоторыми другими славянофилами, при несомненных ее достоинствах,

которые никогда не потеряют значения, есть некоторые трудности, по-видимому, неодолимого характера. Это, прежде всего, взгляд на отношение государственности и земства как двух совершенно свободных и независимых сил. Взгляд этот легко прилагается к древним временам русской жизни, когда государственная власть была проста, обладала небольшим числом своих орудий, и круг ее действий был неизбежно мал. Тогда общины, земство действительно жили самобытной внутренней жизнью. Но совсем иное дело, когда мы переходим к позднейшим временам, в которые государственная власть более и более входила в область внутренней жизни. Мы видим, что эта внутренняя жизнь земства суживается и внешние выражения ее слабеют. Боярская дума – не то, что дружина, и Земские соборы – не то, что веча. Чтобы в этом убедиться, довольно указать на право отъезда дружинников и на то, что древние веча имели в возможности и нередко на деле принудительную силу не только для своих членов, но и для князей. История местничества и история партии Сильвестра и Адашева ясно показывают стремление русского общества восполнить чем-либо ослабевшую силу земства. Такое же затруднение представляет тесно связанное с вышеуказанным положением учение о том, что русский народ – не политический народ. Из этого положения легко выводить заключение, будто бы русский народ был равнодушен к своей государственности и легко поддавался иноземному игу. Борьба с татарами, смутные времена, двенадцатый год, последняя польская смута и последняя Восточная война слишком ясно доказывают противное. Наконец, идеалы русской жизни во времена Московского единодержавия, особенно после самозванческих смут, требуют, по нашему мнению, критики и новых пояснений. Идеалы эти должны быть сопоставляемы с идеалами не только более старой Московской Руси, но и с идеалами дотатарской Руси, а при изучении воззрений и порядков после смутных времен необходимо иметь в виду две несомненные односторонности тех времен – значительную уже и тогда оторванность служебной и даже торговой среды от закрепощенного народа и крайнее отчуждение от иноземцев

всего русского народа, выработанное иноземными злодеяниями Смутного времени. Впрочем, односторонности эти намечаются уже теперь в среде самих славянофилов.

Само собой разумеется, что написать «Русскую историю» по началам славянофильским необыкновенно трудно. Начала эти так глубоко захватывают русскую жизнь и так широко раздвигают область знаний, необходимых для понимания этой жизни, что справиться с этим весьма нелегко, и, возможно, весьма нескоро. Сам К.С. Аксаков хотя пробовал писать «Историю» России, но только для детей, и то только начал. Что же касается и ученой «Истории», то он прямо и решительно заявлял, что такое сочинение может появляться лишь в особые эпохи и в его время невозможно, а возможны лишь исследования и разве монографии.

**И.Д. Беляев.** Несколько иначе понял дело И.Д. Беляев. Он признал возможным написать «Русскую историю» не только для детей, но и вообще для образованных людей в форме популярного изложения. Выполняя такой взгляд, он стал писать «Рассказы по русской истории», первый том которых – «История России до нашествия татар» (изд. 1861 г.) – составляет первый опыт изложения истории по славянофильской теории (за немногими исключениями). В этих «Рассказах» от начала до конца проводится строгое разделение между государственностью и земством, и каждая из этих сторон русской жизни излагается особо<sup>495</sup>.

Сочинение это началом своим, как и вышеупомянутое исследование Беляева о древнем русском быте, примыкает несколько к теории родового быта и по порядку событий внешней государственной истории России имеет связь с «Историей» С.М. Соловьева. По вопросу о призвании князей «Рассказы» Беляева стоят в связи с исследованиями М.П. Погодина. Но по воззрениям и выводам своим Беляев не зависит не только от ученых немцев и от Соловьева, но даже и от Погодина, норманнский период которого он почти уничтожает, а «Русскую Правду» не только считает народным памятником, но и выражением народного протеста против введения в Россию при Владимире греческих гражданских законов – так

называемого Судного устава царя Константина. Князей удельного периода Беляев оценивает по тому, насколько они сближались с земством и действовали с ним заодно. «...Живой опыт, – говорит Беляев, – ясно свидетельствовал, что тот князь оказывался всегда сильнее в борьбе с другими князьями, которому усердно помогала земщина... Это... заставило их (князей) обратиться к старому порядку, в важных случаях советоваться с земщиной, как это делали Владимир и Ярослав и чем пренебрегали их сыновья. Первый из Ярославовых внуков обратился к этому старому порядку любимец народа Владимир Мономах»<sup>496</sup>...

Беляев не договорился до значения общерусского веча, которое задумывал Мономах и которое, без сомнения, еще больше закрепило бы положение этого князя как первого, господствовавшего над всеми князьями. Но Беляев понял другое великое значение Мономаха – заботу о низших слоях русского народа и об ограждении их от рабства денежного и личного<sup>497</sup>.

Наконец, Беляев обратил внимание еще на одну в высшей степени важную особенность. В разных местах своих «Рассказов» он обращает внимание на этнографический труд русского народа – где он делал завоевания, где останавливался в этом великом труде или даже подавался назад. Так, он говорит, что не много уже оставалось времени, чтобы обрусели половцы<sup>498</sup>, следит за сближением Литвы с Русью<sup>499</sup> и объясняет успехи ливонских немцев раздорами новгородцев и псковичей<sup>500</sup>.

Подобно тому как славянофилы, вообще занявшись временами Московского единодержавия, главное внимание свое сосредоточили на земской силе, яснее всего выражающейся в крестьянстве, так и Беляев в своей «Истории» дотатарского времени не ограничился общими обзорами земской силы в этот период, а занялся еще особым Исследованием более крупных проявлений в те времена земской силы – исследованием сильных вечевых центров в Новгороде, Пскове и Полоцке. К этому, впрочем, у Беляева были и особенные побуждения. Еще в своем исследовании о



Русской земле до Рюрика он доказывал, что новгородские славяне и кривичи были самыми старыми поселенцами Русской земли и потому раньше других развили в себе общинную жизнь. Понятно, что и более крупное выражение общинной жизни – вече должно было у них развиться и раньше, и полнее. Вот почему эти вечевые пункты вызывали особенное внимание Беляева. Исследование каждого из них – в Новгороде, Пскове, Полоцке – составляет особый том «Рассказов», и дело в этих «Рассказах» ведется гораздо дальше татарского ига. История Новгорода доводится в них до его падения, т. е. до конца XV ст.; история Пскова (особый том) – тоже до его падения, т. е. до начала XVI ст.; история Полоцка (тоже отдельный том) – до подрыва в нем русской жизни польско-латинской силой, т. е. до слияния Литвы с Польшей в 1569 г.

Во всех этих «Рассказах» главное внимание автора обращено на внутренний строй жизни в этих вечевых областях. Особенно подробно описаны владения новгородские, псковские, полоцкие и показана различная степень их самостоятельности и связь со своими центрами. Самые подробные сведения автор дает о новгородских владениях, из которых более отдаленные составляли частную собственность. Везде также автор показывает главнейшую причину падения самобытности этих областей – внутреннее разложение, развитие самолюбивого аристократизма, пренебрегавшего интересами низших слоев общества.

Так, о Новгороде он говорит, что в нем «быстро увеличивалось изменение прежних отношений между большими и меньшими людьми, между богатыми и бедными; мало-помалу бояре перестали быть защитниками своих уличан, совершенно отделились от черных людей и составили одну сплошную массу богачей, угнетающих бедный, черный народ, и, таким образом, местные, прежде крепкие общины очутились без руководителей и сделались безгласными»<sup>501</sup>.

В Пскове та же основная причина действовала значительно иначе. В Новгороде партия богатых людей давила общину при содействии наемных дурных людей из черни. В Пскове, где была очень сильна демократия, придумано было другое

средство. Псковская демократия сама заняла аристократическое положение и господствовала над простыми людьми волостей – смердами, обременяя их данями и нарядами в пользу вечевоего города Пскова. Богатые люди и воспользовались этим, выдвинули смердов и дали этим Москве роковое оружие против всего строя вечевоего Пскова. Падение его совершилось без шума, особенно потому, что Псков, поставленный на краю Русской земли, в борьбе с немцами, Литвой и Новгородом, тянул к Москве<sup>502</sup>.

Внутреннее разложение в Полоцке Беляев рассматривает сравнительно с Псковом и выделяет новые элементы разложения, вошедшие в полоцкую жизнь. Подобно Пскову, в Полоцке долгое время черные люди имели силу даже в XV в.; но мирное положение Полоцка быстро развило сильную аристократию... «По мере того, – говорит Беляев, – как с переменой династии древних полоцких князей... край стал постепенно входить в тесные связи с Польшей, вследствие принятия великим князем Ягайлом Ольгердовичем польской короны, постепенно падало и значение черных людей. Полоцкие и литовские бояре, увлеченные польскими панам, продавая независимость своего отечества и даже изменяя вере и национальности под руководством своих новых союзников и наставников, мало-помалу стали стеснять и уменьшать прежнее значение черных или меньших людей. Подражая своим наставникам – польским панам и шляхте, заслужившим в истории печальную известность мироедов и бессовестных угнетателей народа или меньших людей, здешние бояре, окрестивши черных людей в польское посполитство, постепенно ко времени полного соединения Литвы с Польшей достигли того, что окончательно сравняли здешних меньших людей с польским посполитством, и, лишивши их почти всех прав и всякого значения, выдали на разорение своим пособникам жидам»<sup>503</sup>.

С «Рассказами» Беляева об исторической жизни Новгорода, Пскова и Полоцка имеет тесную связь его исследование «Очерк истории Северо-Западного края России», изд. в 1867 г. В этом «Очерке» излагается история страны до первого соединения

Литовского княжества с Польским королевством при Ягайле в 1386 г. и история первых смут из-за этого до утверждения власти в Литве Витовта, т. е. до 1392 г. Но особенно важное значение в этом «Очерке» имеет исследование древнейших времен Литвы. В нем объясняется историческое происхождение русского населения этой страны – из Новгорода, Пскова и Смоленска и объясняется посредством нового научного приема – сличения топографических имен рек, городов. «Следы сих древних славянских колоний полочан (из Новгорода) и кривичей (из Смоленска) дошли до нас, – говорит Беляев, – из глубокой древности в названиях рекам и разным урочищам, – названиях чисто славянских и частью одинаковых с названиями, сохранившимися в Новгородской земле и Приднепровье. ... Таковы: Западная Двина, которой есть соименница Северная Двина в Новгородской земле, и Дисна, которой одноименница Десна течет в Северной земле... Нарев или Наров в Ятвяжской земле имеет одноименную себе Нарову в Новгородской земле... Свирь в Минской губернии и Свирь в Новгородской и т. п.»<sup>504</sup>.

Еще более чистое выражение славянофильской теории Беляева находится в «Лекциях по истории русского законодательства», изданных в 1879 г. Две существенные особенности в этих «Лекциях» делают их очень важными в литературе нашей науки.

**1.** Автор ставит законы в теснейшую связь с исторической жизнью народа. «Правильное и полное изучение законодательства, – говорит он, – возможно только при изучении истории законодательства, а история законодательства должна идти параллельно с историей внутренней жизни общества»<sup>505</sup>.

Беляев так и делает. Он везде прежде всего излагает эту внутреннюю историю, т. е. состав общества и взаимное отношение членов его. В этом сочинении теория славянофилов чище и тверже. Беляев здесь уже прямо отвергает родовой быт и начинает прямо с общины, судьбы которой и изучает во всю историю.

**2.** По той же славянофильской теории Беляев следит везде за иноземным влиянием на нашу историческую жизнь и, в

частности, на наше законодательство. Так, он выделяет норманнское влияние (крайне слабое), византийское, монгольское, литовское и западноевропейское. Что особенно замечательно, Беляев везде старается определить, как глубоко проникало иноземное влияние – в одну ли государственность и отражалось ли только на тех точках, где земство соприкасалось с государственностью, как уголовное право, или влияние шло глубже и отражалось и на гражданских законах. К сожалению, эти «Лекции» изданы уже после смерти профессора, по запискам студентов, без указаний источников и вообще без ученой аргументации в примечаниях, цитатах, почему мы на них не много и останавливаемся. Те же вещи нам придется видеть с научной аргументацией у Лешкова.

Иван Дмитриевич Беляев был самым плодовитым писателем из среды славянофилов. В разных изданиях славянофильских или чисто ученых, особенно в изданиях Московского общества истории и древностей, он поместил множество исследований, критических статей и памятников по разнообразным вопросам древней русской жизни. Так, он писал исследования о летописях. Особенно важны его исследования «Русские летописи по Лаврентьевскому списку» (Врем., т. 2) и «О разных видах русской летописи» (Врем., т. 5), в которых разъяснен вопрос о каком-то особом Своде летописи, лежащем в основе и Лаврентьевской, и Ипатьевской за XII в. Писал Беляев о русской хронологии (Чт., 1847 и 1848 гг.); о дружине и земщине в Московском государстве (Врем., т.1); о служилых людях в Московском государстве (Врем., т.3); о русском войске в царствование Михаила Феодоровича и до Петра (Чт., 1858 г.); о сторожевой, станичной и полевой службе в польской Украине (Чт., 1846 г.); о поземельном владении в Московском государстве (Врем., т. XI), и о земледелии в древней Руси (Врем., т. XXII).

**В.Н. Лешков.** Далеко не столько написал, но с большей еще твердостью и с сильным философским складом ума проводил славянофильские начала другой юрист – профессор Московского университета Лешков, читавший в этом университете общественное право, по которому и издал в 1858

г. сочинение под заглавием «Русский народ и государство – история русского общественного права до XVIII века».

Это сочинение, как и «История русского права» Беляева, имеет то важное для нашей науки значение, что Лешков, как и Беляев, ищет основ и объяснений русских законов в историческом складе русской жизни и потому много занимается внутренней историей России. Лешков держится общего славянофильского положения касательно различия у других народов и у нас отношений между государственностью и земством. «В древности, – говорит он, – народ является на сцену истории, как на поле битвы, разделенный, по крайней мере, на два враждебных стана – богатых и бедных, кредиторов и должников, патрициев и плебеев, и требует от законодателя перемирия своих противоположностей или посредством одновременного акта – например, уничтожения права кредиторов и вообще исков, или посредством постоянного и постепенного уравнивания старейших классов до младших. В средние века варвары выходят на сцену истории также во всеоружии, с битвой и враждой, отнимая и поработывая и завладевая, и опять вынуждают законодателя на принятие тех или других мер к соединению в один народ покоренных, поработанных и победителей. Русский народ не знал такой внутренней борьбы, которая составляла бы задачу его истории; русский народ мирно и сам собой вырабатывал свое единство. Это единство русского народа, вызванное и условленное однородностью его происхождения, одинаковостью его языка, сходством обычаев, верований, образа жизни служит основой всей его истории. Оно объясняет для нас и скорость образования из Руси одного политического целого, с акта призвания первого князя, и быстроту обращения в христианство всего народа, со дня его крещения в водах днепровских, в виду Киева, и сознательное единство всей русской земли, именуемой уже при Ярославе отчиной и дединой княжеского дома, и сохранение Руси в период уделов, равно как в тяжкую годину татарского ига, и успешность собирательной системы московских князей, послужившей основой нынешнему русскому царству»<sup>506</sup>.

Эту-то историю Лешков излагает в своем сочинении со своеобразными особенностями, в которых он разъясняет прежде всего ход всей истории европейских народов и из которых мы приведем только то, что относится к новой европейской истории. «Государство новой истории не есть только форма жизни, сосуд жизни, а сама жизнь и дух, сила и деятельность. Есть в народе известная система религиозных верований, государство объявляет эту систему объективной догмой, видимой церковью, исповеданием народа, с политическими правами свободы, терпимости и неприкосновенности. Есть в народе известная сумма нравственных убеждений и теоретических понятий или воззрений, государство приводит их в свое общее сознание и на этом основании устанавливает свои положительные законы о добре и зле или праве, и свои учреждения относительно постепенного образования различных поколений... Мы отвергаем, – заключает Лешков, – как нелепость, положение, будто бы государство не имеет никакой веры, никакого чувства, никакой системы нравственности»<sup>507</sup>.

Лешков выясняет с этой точки зрения различие между западноевропейскими государствами и русским. Он показывает, что западноевропейские государства с необыкновенным трудом пересоздавали идеи древнего мира, и тем труднее, что самым своим возникновением они вызывались давать предпочтение отдельным интересам и вести борьбу с другими интересами общин, корпораций. Борьба сопровождала их развитие и ко времени нашего Петра. Она выразилась в чрезмерном влиянии на жизнь и быт народа, вызвавшем противодействие сначала в сфере экономического быта, почему европейские заимствования должны были отозваться у нас вредными последствиями<sup>508</sup>. Отсюда ясно, что Лешков дает совершенно особое значение государственности, смотрит на нее, как на выражение жизни народной и выражение чистое, нравственное, не насилующее самой жизни народа. Затем здесь предполагается народное живое единство и потому понятно, почему Лешков так сильно ударяет на историческое единство русского народа. Понятно также, что это единство Лешков

должен был представить в особенно ясных и осязательных признаках. Он его находит в русской земельной общине, историческое значение которой и освещает особенно ярким светом.

Лешков дает такую постановку этому вопросу. «Народам, – говорит он, – доступны все идеи (он их признает как бы врожденными народам), но каждый народ находится под влиянием своей особой идеи, подобно тому, как отдельные лица состоят под водительством своих особых личных воззрений, убеждений, страстей»<sup>509</sup>.

«...Эти врожденные идеи в быту народов составляют зерно для будущего развития народа, задачу для его существования, красную нитку в его истории»... Это как бы постоянное существо в историческом движении... «Обращаясь с вопросом об этом существе, об его свойстве, направлении и деятельности, к истории нашего Отечества, после долгих и разносторонних изысканий, мы приходим к заключению, – говорит Лешков, – что отличительное свойство нашего народа, сообщившее особенность его истории, состоит в общинности, в общинном быте, в способности составлять общины и постоянно держаться общинного устройства, порешая все, при посредстве общины»<sup>510</sup>. Историю русской общины, русской общинности Лешков и изучает главным образом на всем пространстве времени от начала нашей истории до Петра.

Лешков сразу отстраняет все иноземные теории для объяснения русской исторической жизни тем, что «живое, истинно русское вполне понятно только русскому, как французское французам и немецкое немцам. Вымрет народ, как древние греки и римляне, образуется труп для сечения и мертвый предмет для исследования, тогда он сделается доступным для всякого отвлеченного понимания. Наши летописи и акты для русского, связанного жизнью с живым народом, составляют единственный источник познания России»<sup>511</sup>.

Затем, подобно Аксакову и Беляеву, Лешков связывает воедино и сельские сходки, и веча, и Земские соборы, как выражения одной и той же общинности. «Веча, встречаемые в

Новгороде, Киеве, Ростове, Москве и в других городах, ясно показывают, – говорит он, – присутствие земского начала в создании древнего русского общественного наряда. Веча в городах, как мирские сходки в селах и как Земские соборы в столице, суть явления общинности. Были явления, была причина. Что же мы знаем об этой общинности с древнейших времен?»<sup>512</sup> Лешков и следит за историческим развитием русской общины с напряженным вниманием.

В истории русской земской общины Лешков останавливается на общине до призвания князей, далее – на общине времен «Русской Правды», времен удельных, причем обнимает и татарское иго, и времена Московского единодержавия.

Расселение русских племен на пространстве России Лешков представляет как мирное, колонизационное движение славян от Дуная к Днепру и далее – движение, не ознаменованное никакой борьбой с туземным финским населением и происходившее, очевидно, или как занятие пустых мест, или как постепенная ассимиляция туземцев с славянами. «Славяне, наши предки, – говорит Лешков, – перешедшие в пределы России, конечно, еще на Дунае, на первоначальном месте своего поселения, составляли единство этнографическое, земское, по способу владения, по образу жизни; в России они только возобновили старинный порядок и восстанавливали свое исконное существо. Оттесненный от Дуная словенский язык Нестора – наши предки – направляется к северу от родной реки с тем, чтобы разойтись по обширным пространствам Восточной Европы и занять собой всю теперешнюю Россию. Это расширение сулило ему разобщение, а это занятие требовало постоянно счастливых побед или грозило ему совершенным разорением. Славяне русские избежали того и другого. Занятие происходило общим движением, постепенно, шаг за шагом, а не одновременным действием завоевания, как на западе. Нестор не говорит о войнах славян с туземцами: и мы должны принять, что занятие земли совершилось без боя. Нельзя, однако, предполагать, чтобы туземцы охотно уступали им свои леса и реки, уже получившие от них названия, или дарили им свои



земли, уже частично возделанные и заселенные. А без дара и войны можно было занять Русь только заселением, колонизацией, только отвердением населения на девственных землях, которые до занятия славянами никому не принадлежали».

«Таким путем русский народ только в течение веков мог занять Россию; но зато он занял ее без войны и боя, усилием труда и ума, с возможным сохранением права, без раздражения туземцев, постоянно сохраняя над ними свое моральное превосходство, легко претворяя их в свою народность и навеки спасая собственное народное, общее единство, которое, со своей стороны, в соприкосновении с местом поселения, с землей имело особые последствия для судьбы народа. Чувство и сознание о единстве народа необходимо рождали мысль и убеждение об единстве его земли и не могли иметь влияния на самое поземельное право»<sup>513</sup>.

Особенность этого права заключалась в том, по мнению Лешкова, что приходилось занимать девственные поля, т. е. леса и болота, поэтому их нужно было готовить для населения общими усилиями, что, естественно, должно было ограничивать права отдельных групп – семей и частных лиц. Земля, естественно, делалась общинной, такое заселение Руси происходило в незапамятные времена, потому что по Нестору мы знаем русские племена как уже занимавшие определенные, постоянные места<sup>514</sup>.

Для этих общих положений, сила которых заключается не столько в прямых свидетельствах исторических памятников, сколько в их умолчаниях, Лешков ищет подтверждений и разъяснений в «Русской Правде». В «Русской Правде» он прежде всего и больше всего обращает внимание на так называемую вервь, под которой он понимает не случайный союз людей, а постоянный, земельный союз, обнимавший и большое число людей, и большое пространство земли<sup>515</sup>. В ней были средоточия жизни, власти, как погосты, станы, потуги. Вервь отвечала, за убийство, если в ее пределах находили труп известного лица, и она не могла указать убийцу. Она отвечала и за кражу, если в ней оказывался след бежавшего вора. Эти

обязанности неизбежно вели к правам верви над ее членами – вервь знала их и определяла, кого выдать на разграбление за преступление и кого можно откупить. Впрочем, насильственного удерживания в верви не было. Не желавший, например, участвовать в дикой вире, мог это делать и все-таки оставаться в верви. Но в случае несчастья с ним оставался без помощи верви. То, что правительство обращалось к участию верви в таких важных делах, как уголовные, служит для Лешкова, и совершенно справедливо, сильным доказательством значения и полноправности верви. Это же видно из самого процесса дознания и следствия. Продажа – на торгу, при свидетелях, извод, т. е. отыскивание продавшего чужую собственность – тоже при содействии общины. Даже не преследовалось нечаянное убийство в ссоре и драке, т. е. при людях, на глазах членов общины.

В «Русской Правде» и летописи Лешков находит сильное ниспровержение теории родового быта. Дань с дыму или с орудия обработки – рала в древности была та же, что впоследствии дань с двора или предмета владения – обжи и послужила основанием для дани с сохи, с тягла и т. п. Каждая вервь состояла из известной суммы таких равных единиц, как участки, жеребьи, дымы и дворы, и по равенству этих частей с лицами сама вервь обозначалась словом «людие». Суммы (участков) рознились по различию вервей, но единицы были равны по всей России, которая, таким образом, состояла из народа, распавшегося на верви, и из вервей, состоявших из равных, основных единиц – дворов. Дым был выражением для этой единицы на юге России до XVI века, двор означал то же на севере, сначала в областях Пскова и Новгорода, заменяясь в Московской области вытью<sup>516</sup>. Из этой-то общины вышли еще до призвания князей и бояре, как вожди, и земцы или на юге земляне, далее – воины и разные чины, как посадник, тысяцкий, сотский, детский, отрок, мечник. Само слово «князь» есть столь же старинное, туземное<sup>517</sup>.

Другой вопрос, который также сильно должен был занимать Лешкова, это вопрос о рабстве, так как по этому делу тоже ясно можно было судить о силе или слабости земщины. Автор

ссылается на общеизвестное свидетельство Маврикия, что рабство у славян было легкое, и даже рабы иноплеменники имели право выкупиться или заработать свободу известным числом лет труда. Община не могла создавать рабства. Для нее слишком дороги были ее члены. Русская Правда знает собственно три источника полного рабства: купля раба, женитьба на рабе и принятие рабской должности – тиунства. Еще был один источник рабства – по суду. Но автор обращает при этом внимание, что даже продажа раба должна была происходить при нем и что только без ряда женившийся на рабе делается рабом. Затем Лешков, как и Беляев и все лучшие исследователи Русской Правды, видит в этом памятнике как бы противодействие рабству. Это особенно ясно выражается в плате 12 гривен князю за убийство раба без вины, в свободе детей, прижитых господином с рабой, и особенно в постановлениях, охранявших закупней<sup>518</sup>.

Лешков обращает внимание и на то, что сами названия рабов в нашей древности имеют смягчающее и частное, а не государственное значение, каковы «челядь», «холоп», «раб», созвучные с названием для малолетних членов семьи – «чадо», «хлопец», «ребенок»; отсюда произошло и то, что и впоследствии рабы являются у нас только вне общины, вдали от действия общины, по домам и дворам, где они составляют дворовых, но все-таки людей<sup>519</sup>.

У Лешкова своеобразно ставится вопрос о смердах, которых он хотя не признает рабами князей, но поселяет на княжеских землях и считает их полусвободными. Этот вопрос до сих пор не решен окончательно; но из позднейших времен, особенно в Псковской области, видно, что смерды были то же, что черные крестьяне, т. е. свободными членами общины.

Самые обширные и подробные исследования русской общины у Лешкова – во времена удельные. Нам известно, что Беляев само развитие областной жизни и затем объединение Руси объясняет силой общин, с которыми сближались князья, и более сильный князь легко объединял русские области. Лешков несколько иначе объясняет и силу русских общин, и объединение России. Россия в удельные времена, по-видимому,

представляется страной раздробленной, разъединенной. Множество князей, множество областей. Лешков с замечательным знанием и последовательностью приподнимает эти внешние перегородки тогдашней России и показывает скрывающееся под ними единство. Он начинает с Новгорода, который не знал своих, так сказать, приросших к земле князей, а брал их, где находил лучше. Дружинники уже не в одном Новгороде, а везде могли передвигаться и считать Россию общим Отечеством. То же могли делать купцы. То же право, как известно, принадлежало народу, имевшему право перехода. Не двигались одни рабы, но и им по духовной давалась обыкновенно воля. Таким образом, все население могло двигаться, переходить с места на место. Но это, по-видимому, подкапывало в основе земщину, лишало ее устойчивости? Нет! Оставалась неподвижной земля, само собой разумеется; но, кроме того, оставалась исторически вырабатывавшаяся и везде в сущности одинаковая форма владения, возможная только при общине. Само движение народа необходимо вырабатывало более или менее одинаковые условия жизни, и все вынуждены были оберегать эту одинаковость. Чтобы уяснить это, Лешков разбирает нашу старую систему повинностей, какая раскрывается в писцовых книгах. «... В древней России, – говорит Лешков, – были ясно и документально определены права и обязанности крестьян и владельцев. Крестьяне во всей России Северо-Восточной были равны, одинаковы по своим правам. Принадлежа государю, монастырю, своеземцу, помещику, они везде и у всех владельцев делали одно дело, работали одну работу, несли одинаковые тяготы, давали одинаковые доходы. К этой одинаковости стремится закон, а чего не мог совершить он, дополнялось правом крестьянского перехода... Произволу не было места. Доказательство... в выписях из писцовых книг, которые выдавались крестьянам того или другого места по их требованию<sup>520</sup>. ...Государству были известны не одни бояре, наместники, воеводы, но последний русский крестьянин по его имени, отчеству и прозвищу, по его правам и обязанностям... Напрасно сравнивают эти книги (писцовые, окладные, переписные) с подобными книгами

Западной Европы, имеющими только хозяйственное содержание. Книги Запада заносили на свои страницы только события, как они являлись в хозяйстве, – сборы, которые были установлены тем или другим владельцем, в том или другом месте и веке, – платежи, которые вносили крестьяне того или другого звания, места, времени: и потому эти книги могут служить только материалом для статистики или для истории. Наши книги были официальными, правительственными, законодательными актами, которые определяли права и обязанности крестьян и владельцев, и те отношения, которые установились между ними по закону жизни, по природе вещей. Сумма этих книг России есть полное изображение политического состояния народа и не вообще только, но в частности, лично, с определением всех прав и обязанностей, принадлежащих каждому лицу»<sup>521</sup>...

Из этого-то богатого материала Лешков выдвигает ту первичную единицу, которую неясно очерчивали древние памятники, – двор, который, по мнению Лешкова, нужно рассматривать не как строение, а как совокупность данных для жизни и повинностей, точнее, как часть земли с нужными угодьями – обжу, выть (от 9 до 18 десятин по московской мере).

Лешков подробно определяет повинности обжи и показывает, что они могли и дробиться, но могли еще чаще складываться по сумме повинностей в более крупные единицы, как соха. Разные сборы тоже могли складываться, выражаться в оброке и не от каждого двора, а от всей общины, что уже закрепляло ее единство.

Известно, что государство считало ответственными общины за занятие обж, вытей. Но и без этого выгоды общежития заставляли отдельные семьи держаться общины. Татарское иго еще более усилило значение, т. е. благо общинной жизни. Тягости податей заставляли народ беднеть, разбегаться. Личность делалась жертвой страшного произвола и бедствий. Князья задерживают движение народа. Численные люди затрудняются в переходах. Положение личности стало еще труднее. Из этой крайности вывела частных лиц община, которая упорно удерживала у себя раскладку повинностей<sup>522</sup>.

Разъяснение состояния общины во времена удельные, и особенно после татарского нашествия, составляет лучшую часть сочинения Лешкова. Здесь, между прочим, разъясняется и вопрос о попытках татар ввести личную подать, столь ненавистную тогда русским<sup>523</sup>. По мнению Лешкова, она была введена; но тщательное изучение дела показывает, что эта попытка в Северо-Восточной России не удалась. Можно даже думать, что общей она никогда и не была.

В этой же части сочинения в связи с русской общиной рассматривается множество других вопросов, как, например, о деньгах, земельных мерах, о народном продовольствии, медицине, о положении общины и т. п.

Основные положения у Лешкова те же, что у Беляева, на статьи которого он не раз ссылается. Особенно много сходства у Лешкова с главными мыслями Беляева по вопросу о крестьянстве. Но Беляев русскую общину, так сказать, ближе держит к городу – вечу, а Лешков – к земле, к повинностям.

Учение так называемых славянофилов далеко не исчерпывается перечисленными сочинениями. Можно сказать, что, кто только писал что-либо в духе славянофильства, так или иначе касался русской истории. Но разбор всего этого завел бы нас слишком далеко. Впрочем, с трудами некоторых славянофилов мы еще будем встречаться.

## Глава XV. С. М. Соловьев

Перейдем теперь в область совсем иных воззрений. Они напомнят нам Карамзина раскрытием великой силы государственности в России; напомнят они западников решительным признанием обязательной силы западноевропейской культуры; напомнят ученых немцев, особенно балтийских ученых, понятием о русской культуре, в котором выразится не только отрицание славянофильских теорий, но отрицание каких бы то ни было положительных представлений о русской культуре; еще далее, эти воззрения представят нам ряд собственных взаимных отрицаний, т. е. ряд противоречий, ряд отступлений от прежде высказанного.

Наконец, мы увидим, что над всем этим возвышается необыкновенное знание нашего прошедшего, необыкновенная добросовестность при фактическом его изложении и крупная талантливость, способная делать большие завоевания, т. е. создавать последователей, школу.

Мы разумеем покойного Сергея Михайловича Соловьева, профессора русской истории и потом – ректора Московского университета, члена Академии наук и многих других ученых обществ<sup>524</sup>.

С.М. Соловьев написал 28 томов «Истории России с древнейших времен» до 1775 г. и в области дипломатических сношений до – 1780 г.<sup>525</sup> Кроме того, он написал «Историю падения Польши», изд. 1863 г.; далее – известный «Учебник по русской истории» в 5 выпусках; общедоступное «Чтение по русской истории», изд. 1874 г.; известный нам обзор некоторых сочинений по русской истории, и множество статей по вопросам русской и всеобщей истории<sup>526</sup>. Первыми его трудами были «Отношение Новгорода к князьям», изд. 1845 г., и «Отношения между князьями», изд. 1847 г. В последнем впервые изложена теория родового быта.

Мы будем изучать по преимуществу «Историю России» Соловьева. В этом громадном историческом труде такой порядок. Сначала излагаются внешние события в

хронологическом порядке, за немногими исключениями. Так, время Иоанна III излагается не хронологически, а по группам событий: Новгород Великий, София Палеолог, Восток, Литва. Русские внешние дела освещаются при этом еще кратким обзором событий в славянском мире в древние времена и вообще западноевропейских государств. Эти последние обзоры особенно обширны и подробны в те времена, когда у нас устанавливались и усиливались дипломатические отношения, т. е. главным образом в новейшие времена, с Петра I.

Затем рассматриваются внутренние дела. Хронологическая группировка их неодинакова. В старые времена группы обнимают большое время, как, например в 3-м томе от смерти Ярослава I до смерти Мстислава Торопецкого (т. е. Удалого, до 1228 г.), или в 4-м от смерти этого Мстислава и до Иоанна III. В другие времена обзоры эти располагаются чаще всего по княжениям, царствованиям, наконец, просто по группам нескольких годов, как например, в царствование Елизаветы Петровны по семилетиям, или в царствование Екатерины по группам событий за три, два и даже за один год. Везде, однако, более или менее выдерживается один план в распределении событий внутреннего быта. Начинается этот отдел обзором жизни князей или царей, затем идут обзоры состояния высших сословий и учреждений, далее – жизни городов, жизни жителей сел, торговли, законов, духовного и светского просвещения, литературы, нравов.

Фактическая сторона в том и другом отделе, т. е. касательно внешних событий и внутреннего быта, необыкновенно богата и научно поставлена. Автор все читал сам и дает факты из первых рук, т. е. из первых источников. Для большей точности он чаще всего выписывает подлинные места источников, и только подновляет слог в древних русских памятниках, где речь невразумительна.

Это богатое собрание фактов связывается у автора хронологией или вышеуказанными рубриками, но часто – еще более внешним образом, например при обозрении новейших дипломатических отношений, по случайному порядку соседних



государств, или даже простой фразой: теперь скажем о том-то... Литературы вопросов, мнений ученых о том или другом деле нет, за немногими исключениями, когда дело очень спорное и когда по нему высказались авторитетные ученые, как, например, по вопросу о родовом быте или о пр образованиях Петра. Еще К.С. Аксаков о первом томе «Истории России», одном из самых обработанных, заметил, что это не история, а исследование. В новейшие времена установилось мнение, что «История» Соловьева – это энциклопедия русской истории, и надобно жалеть, что не составлен к ней более полный и тщательный указатель, чем Указатель г. Шилова (изд. в 1864 г.), который обнимает только 12 томов, т. е. древнюю историю России, по первым изданиям первых 4 томов, и вообще далеко не тщателен, особенно в труднейшей части всякого указателя – предметной.

Но при всей этой разбросанности фактов в «Истории» Соловьева такое внутреннее единство, какое не часто встречается в подобных многотомных сочинениях.

Давая полный, нередко для не специалистов крайне утомительный свод фактов, автор то и дело прерывает его общим взглядом на собранные факты, характеристикой описываемого лица, события, и тут-то и сказывается и глубокое его знание, и талантливость. Эти характеристики рассыпаны по всему огромному сочинению Соловьева. Но в некоторых местах собраны существенные черты всех отдельных характеристик, оценивается все историческое движение русской жизни, т. е. высказываются взгляды автора на это движение. Таковы Предисловие к первому тому; таков конец седьмого тома, где автор высказывает свой взгляд на историческое значение Рюриковой династии; таковы характеристики Петра и его времени в 14<sup>527</sup> и 18<sup>528</sup> томах; но особенно ясно и подробно взгляды Соловьева на русскую историю изложены в 1 главе 13 тома – в особом его исследовании «Россия перед эпохой Преобразования», которое автор старается связывать со старым временем Руси узами необходимости.

С.М. Соловьев всем известен как последователь и даже творец теории родового быта в науке русской истории. То и

другое справедливо, несмотря на видимое противоречие между этими словами. Соловьев взял теорию родового быта у Эверса и удержал из нее существенную особенность – семейный характер, и везде говорит о кровном роде, т. е. берет распространенную семью; но прилагает к этой семье то и дело чисто родовые особенности – непомерную власть родоначальника, способного не уважать уз семьи в строгом смысле. За эту неточность, неопределенность понятий о роде славянофилы сильно нападали на Соловьева и разбивали наповал его родовую теорию<sup>529</sup>; но это не заставило автора не только отказаться, но и точнее выразить свою теорию. То и другое для него было невозможно при его взглядах. Теорию родового быта, теорию кровного рода Соловьев развил собственно из быта и отношений наших князей, которые действительно составляли один кровный род; а привлечение в этот кровный род порядков чистого родового быта, где не только разрушается, но и исчезает семья, нужно было потому, что иначе не легко было бы выводить из кровного рода государственность. Государственность эта должна была созидаться, по Соловьеву, непременно на разрушении русского кровного рода, т. е. в действительности на разрушении семьи, как это и было в роде суздальских князей и московских. «Князья, – говорит Соловьев в Предисловии к 1 тому<sup>530</sup>, – считают всю русскую землю в общем, нераздельном владении целого рода своего, причем старший в роде, великий князь, сидит на старшем столе, другие родичи, смотря по степени своего старшинства, занимают другие столы, другие волости, более или менее значительные; связь между старшими и младшими членами рода чисто родовая, а не государственная; единство рода сохраняется тем, что когда умрет старший или великий князь, то достоинство его вместе с главным столом переходит не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском; этот старший перемещается на главный стол, причем перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствуют их степени старшинства... Начало перемены в означенном порядке вещей мы замечаем во второй половине XII века, когда Северная Русь выступает на

сцену; замечаем здесь на Севере новые начала, новые отношения, имеющие произвести новый порядок вещей, замечаем перемену в отношениях старшего князя к младшим, ослабление родовой связи между княжескими линиями, из которых каждая стремится увеличить свои силы за счет других линий и подчинить себе последние уже в государственном смысле. Таким образом, через ослабление родовой связи между княжескими линиями, через их отчуждение друг от друга и через видимое нарушение единства Русской земли готовится путь к ее собиранию, сосредоточению, сплочению частей около одного центра, под властью одного государя»<sup>531</sup>.

Таким образом, русское государственное строение совершается, по-видимому, чисто внешним и разрушительным способом. Это противоречит не только нравственному чувству русского человека, но и научному заявлению самого Соловьева на первой странице его «Истории», где он ставит себе задачу «стараться объяснять каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию»<sup>532</sup>. Автор и старается это делать, т. е. и углубить основание родового начала, и вывести естественным путем его уничтожение, но достигает ли он действительно эти цели – другой вопрос.

Родовой быт С.М. Соловьев старается находить не в одних князьях. Он находит его в жизни славянских племен, призвавших князей-варягов. Не раз потом в своей «Истории» автор упоминает об этом быте. Более осязательное выражение его он справедливо находит даже в местничестве. В нескольких местах он очерчивает его и в массе простого народа; указывает даже здесь как бы черты чистого рода, когда говорит о подсосудниках, захребетниках, как чужих людях, примыкавших к кровному роду. Но эта сторона дела у Соловьева совсем не разработана, и за нее взялись уже его последователи. Он сам, кажется, считал это дело неоспоримым и не подлежащим сомнению. Силу родового быта на Руси он считал столь великой, что она, по его мнению, подействовала на самих призванных князей<sup>533</sup>, чем, между прочим, сразу уничтожалось

всякое допущение сильного варяжского влияния на Русь; а так как князья-варяги призваны были русскими племенами, потому что сами племена «не видели возможности выхода из родового особого быта» и призвали князя из чужого рода, чтобы установить единую общую власть, которая бы соединила роды в одно целое и дала им наряд<sup>534</sup>, то естественно было сосредоточить внимание на том, как сами русские князья, восприняв в себя родовое начало призвавших их племен, разрушали его в своей среде и в своем народе. Соловьев прямо говорит, что «здесь главный вопрос для историка состоит в том, как определить отношения между призванным правительственным началом и призвавшими племенами, равно и теми, которые были подчинены впоследствии, как изменился быт этих племен вследствие влияния правительственного начала непосредственно и посредством другого начала, дружины»<sup>535</sup>. Главное влияние, по автору, здесь происходит именно вследствие усвоения князьями родового начала племен. «Такие, т. е. родовые, отношения, – говорит он, – в роде правителей, такой порядок преемства, такие переходы князей могущественно действуют на весь общественный быт древней Руси, на определение отношений правительственного начала к дружине и к остальному народонаселению, одним словом, находятся на первом плане, характеризуют время»<sup>536</sup>, т. е. родовой быт, усвоенный князьями, изменяет родовой быт в племенах, призвавших князей. В 8 томе Соловьев выражается об этом, как увидим, еще яснее и решительнее.

Таким образом, не может быть сомнения в том, что историческая миссия призванных князей состояла, по Соловьеву, в том, чтобы, воплотив в себе русское родовое начало, разрушить его в себе и везде, и этим путем создать единую государственную Русь.

Идея разрушения действительно и проходит через всю «Историю России» Соловьева. Мало того, проходит через эту «Историю» идея разрушения не только того, что само собой сложилось, так сказать, за глазами двигателей русской исторической жизни, но разрушения и того, что создано было и, по-видимому, хорошо, самими двигателями этой жизни.

Призванные князья разрушают племенной быт племен; суздальские князья, а за ними московские разрушают удельно-вечевой быт; Петр разрушает строение московских князей, преемники Петра разрушают или переделывают строение петровское. Деятельность Петра автор даже прямо называет революционной.

Такой талантливый писатель, такой знаток русской прошедшей жизни, такой устойчивый русский человек, как С.М. Соловьев, разумеется, не думал проводить такую теорию на чужую руку, а имел свои, ученые основания, которые в его глазах оправдывали эту теорию, так сказать, выдвигали ее из самой русской жизни, как данное этой жизнью, которое нужно показать во имя истины, несмотря ни на какие щекотливости и ни на какую народную боль.

Автор ставит историческое развитие народов в теснейшую связь с природой и устанавливает резкое различие в этом отношении между Западной и Восточной Европой. «На Западе земля разветвлена, острова и полуострова, на Западе – горы, на Западе – много отдельных народов и государств; на Востоке – сплошная громадная равнина и одно громадное государство»<sup>537</sup>... «На Западе природа – мать, на Востоке – мачеха»<sup>538</sup>. «Уже поэтому обе половины Европы должны были иметь различную историю. Природные выгоды содействуют ранним и сильным успехам цивилизации, поэтому на историческую сцену являются, прежде всего, южные полуострова Европы, поэтому древний цивилизованный мир (Римская империя) охватывал в Европе южные полуострова, Галлию и Британию, значит, южную и западную окраины. Средняя северо-западная Европа – Германия и Скандинавия присоединились к римскому миру, т. е. к Греко-Римской цивилизации после, за ними примкнули к ней западные славянские племена и, наконец, уже очень поздно, предъявляет свои права на Европейскую цивилизацию и государство, заключившее в своих пределах Восточную Европу»<sup>539</sup>.

Таким образом, Европейская цивилизация движется от Запада к Востоку по указанию природы. «Любопытно в этом отношении, – говорит Соловьев, – заметить пределы, где в

Европе останавливается наплыв диких азиатских орд, народов первичного образования, и здесь видим мы ту же постепенность. Наплыв гуннов останавливается на каталонских полях в Галлии; аварам прегражден дальнейший путь в Германии; мадьяры засели далее на Востоке в Паннонии; татары не могли и здесь остановиться, но наводнили Восточную равнину, где и прежде их толпились подобные им народы; вся эта *погань*, по выражению наших предков, сплывает постепенно отсюда на Восток, уступая Европе Восточную ее половину. Но между поражением Аттилы при Шалоне до покорения Крыма Екатериной Великой, когда должно положить окончательное очищение европейской почвы от господства азиатов, прошло сколько веков! На столько веков, следовательно, история дала ходу вперед Западной Европе пред Восточной<sup>540</sup>... История – мачеха заставила одно из древних европейских племен принять движение с Запада на Восток и населить те страны, где природа является мачехой для человека»<sup>541</sup>.

Для большей убедительности в нашей исторической отсталости вследствие таких обстоятельств автор делает новое сравнение – славян с германцами. Им обоим он дает господствующее положение в Европе в христианские времена, которое они, по его словам, удержали за собой навсегда. Он даже ударяет на их родство, называет племенами-братьями одного индоевропейского народа, поделившими между собой Европу, и устраняет вопрос о племенном превосходстве кого-либо из них. Но одни – немцы – двинулись с северо-востока на юго-запад в области Римской империи, где уже заложен был прочный фундамент Европейской цивилизации, а другие – славяне, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девственные и обделенные пространства. В этом-то противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племен: одно изначала действует при самых благоприятных обстоятельствах, другое – при самых неблагоприятных<sup>542</sup>.

Автор в нескольких местах поясняет это различие. Хищники, пронесившиеся, как буря над славянами, не возбуждают в них сил, как возбуждены были силы германцев

враждебными движениями римлян<sup>543</sup>. Племенная сила, выражающаяся в стремлении к особности и самостоятельности и являющаяся влиятельным в истории началом, у нас была слаба, тогда как в Германии сила эта постоянно сказывалась<sup>544</sup>. Далее. На Западе люди оседают крепко на земле, благодаря феодальному праву – этой религии земли является земельная собственность, является земельная аристократия прежде денежной<sup>545</sup>. У нас при родовой подвижности князей и за ними дружинников не могла иметь важного значения земельная собственность, а имело значение имущество движимое. Отсюда неустойчивость, разбросанность сил<sup>546</sup>. Далее, еще более характерное сравнение, которое мы приводим в подлинном виде: «Мы так часто употребляем выражение – Западная и Восточная Европа, так много знаем, так много толкуем об их различии и следствиях этого различия; но если путешественник, переезжающий из Западной Европы в Восточную, или, наоборот, свежим взглядом посмотрит на их различие, станет отдавать себе отчет о нем под свежим впечатлением видимого, то, конечно, прежде всего скажет, что Европа состоит из двух частей: Западной *каменной* и Восточной *деревянной*. Камень, так называли у нас в старину горы, камень разбил Западную Европу на многие государства, разграничил многие народности, в камне свили свои гнезда западные мужи и оттуда владели мужиками, камень давал им независимость; но скоро и мужики огораживаются камнем и приобретают свободу, самостоятельность; все прочно, все определено благодаря камню; благодаря камню поднимаются рукотворные горы, громадные вековые здания. На великой Восточной равнине нет камня, все ровно, нет разнообразия народностей, и потому одно небывалое по своей величине государство. Здесь мужам негде вить себе каменных гнезд, не живут они особо и самостоятельно, живут дружинами около князя и вечно движутся по широкому, беспредельному пространству; у городов нет прочных к ним отношений. При отсутствии разнообразия, резкого разграничения местностей, нет таких особенностей, которые бы действовали сильно на образование характера местного народонаселения, делали для него тяжким

оставление родины, переселение... Отсюда с такой легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село... брести ровно было ни по чем, ибо везде можно было найти одно и то же, ибо везде Русью пахло»<sup>547</sup>.

Для строгой параллели следовало сказать, что в России, в то время как мужи не устраивали себе каменных гнезд, мужики пользовались свободой, которая имела могущественное влияние на все дела; но наш автор не видел этого блага. Он, напротив, эту свободу понимал как бродяжничество и потому сейчас же говорит после вышеприведенных слов: «...отсюда привычки к расходке в народонаселении, и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять»<sup>548</sup>.

В других местах эта общая характеристика распадается у автора по эпохам. Вот его суждения о русском народе в начале его государственности. «Понятно, – говорит он в 7 томе, – что в эпоху этой начальной деятельности, при начале государственной зиждительности в стране, не имевшей прежде истории, не могло быть ничего прочного, определенного, все было еще в зародыше; начала, семена вещей составлялись друг с другом без внутренней связи; части, образовавшись, стремились еще жить особой жизнью; при сильном движении, просторе, возможности уходить при первом неудобстве; не было места никаким определениям, ибо на движущейся почве ничего построить нельзя. Главное право, главное ручательство в выгоде положения для члена общества, для члена известного сословия заключалось в праве уйти. Столкновения интересов разрешались не общими определениями, но разрывом отношений, уходом из одной области в другую. Отсюда господство временного, личного, случайного над общим»<sup>549</sup>.

В 13 томе автор выражается еще сильнее о времени через 100 лет после Ярослава I. «Все здесь на восточной окраине отзывается первобытным миром, общество как будто еще в жидком состоянии, и нельзя предвидеть, в каком отношении найдутся общественные элементы, когда наступит время переходам этого жидкого, колеблющегося состояния в твердое, когда все увидится и начнутся определения»<sup>550</sup>.



Ниже мы увидим, что жидкое, колеблющееся состояние продолжалось и далее до новейших времен и что даже многочисленные определения, столь желанные автором, оказывались постоянно, по его же словам, нетвердыми или несостоятельными.

Заметим, что более резкие из суждений, именно в 13 томе, изданы в 1863 г., в такое время, перед которым незадолго Россия поразила цивилизованную Европу освобождением крестьян с землей, а в год издания этого 13 тома по поводу вспыхнувшего польского восстания было такое патриотическое возбуждение во всех слоях русского общества, что та же цивилизованная Европа, заговорившая было в пользу поляков, сочла более благоразумным умолкнуть. Наш автор чувствовал потребность разъяснить вопрос о патриотизме и разъясняет его в 13-м и в других томах.

По тому поводу, что трудности русской исторической жизни могут в русском возбуждать приятное сознание богатства сил в его народе, и вопрос: сумело ли бы вынести такое положение племя германское, автор говорит: «Неприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру»<sup>551</sup>. В 18 томе, изданном в 1868 г., автор, однако, нашел русских людей, которые, по его мнению, увлеклись примером немецких писателей восхвалять свою национальность.

«Гнет, испытанный народами, – говорит он, – от Французской империи, пробудил национальное чувство, и народы бросились к изучению своего прошедшего с целью выяснить и укрепить свою национальность, что и повело к господству принципа национальности, во имя которого совершились и совершаются важные события нашего времени. Направление в сущности высокое и благодетельное, в крайностях своих породило на Западе германофильство, в России – славянофильство»<sup>552</sup>. Сказав, что отсюда в нашем обществе протест против Петровских преобразований, особенно против произведенного им раздвоения между высшими и низшими слоями народонаселения, Соловьев добавляет, что и этот протест против деятельности Петра, протест XIX века не

может быть принят в науке<sup>553</sup>, и в объяснение оснований науки обращается к сравнениям деятельности Петра с бурями, производящими и очищение воздуха, и разрушения, и с сильными лекарствами, восстанавливающими здоровье, но и оставляющими в организме дурные последствия. В других местах своей «Истории» Соловьев ясно дает понять, что он отвергает славянофильство не за одно отношение его к преобразованиям Петра. Он не раз восстает против китаизма, т. е. «высокого мнения о самих себе и презрения к другим народам»<sup>554</sup>.

В одном месте он наносит славянофилам удар, не менее чувствительный, чем сопоставление их с германофилами. Он показывает, что даже такой славянофил, как серб Крыжанич, осуждал этот китаизм, и сочинения его, по автору, должны были прояснить сознание о собственных недостатках, о преимуществах других народов и таким образом подвигнуть к переменам, которые, естественно, прежде всего должны были высказаться в подражании<sup>555</sup>.

Все эти суждения Соловьева, надеемся, ясно показывают, что он относился отрицательно не только к теории славянофилов, но и к тому, что у Карамзина обозначается словами: «мы», «наше», т. е. вообще русский патриотизм. От всего этого китаизма русский человек должен отказаться, потому что это – отсталость, и должен стремиться к лучшему, которое находится у чужих, и потому он должен брать его у них, быть их учеником. Но ведь это значит осуждать себя на раболепие перед чужими народами, брать чужие национальные формы жизни? Соловьев допускает это раболепие как временное; но в действительности он вовсе не думает делать русского человека рабом других народов. Он, как мы видели, осуждает национальные притязания и у других народов, особенно у ближайших наших родичей и соседей – немцев. Он смотрит на цивилизацию как на дело общечеловеческое, к которому все должны стремиться, т. е. тут та же теория, которая проповедовалась скептиками и выражена с такой неумелой откровенностью Полевым. Но Соловьев ставит ее не только даровитее, но и научнее. Он, как мы видели, связывает

цивилизацию крепкими узами, даже узами необходимости с географическими условиями и временем. Цивилизация подвигается известными физическими путями и в свое время должна была дойти до России.

Во всей этой постановке мы должны усматривать новый и сильный порыв русского человека в высшую область знания и жизни – порыв осмыслить явления русской жизни с высшей, общечеловеческой культурности, помимо национальностей. Но при этом и с С.М. Соловьевым случилось нечто подобное тому, что было с Полевым. Когда он спускается с этих культурных высот в область явлений русской исторической жизни, эта жизнь, как и у Полевого, оказывается слишком низменной, даже более низменной, чем у Полевого. С.М. Соловьев спускается в область стихийных сил, где человек теряется и подавляется необходимостью. Стихийные силы, по Соловьеву, господствуют над историческими судьбами России, как и у других народов; из них-то, стихийных сил, и должна выработаться русская цивилизация. Но стихийные силы – не в одной внешней природе. Они присущи и природе человеческой – в виде инстинктов, в виде несознательных или вообще низших желаний и стремлений человека. Соловьев везде усматривает и эти силы, как увидим. Но история человеческих обществ не есть история натуральная. В ней как-нибудь, да должна сказаться сознательная человеческая сила, так или иначе управляющая стихийными силами. Соловьев, так часто указывающий на необходимость исторических явлений, не мог дать много места этой сознательной силе, хотя и ставит, как известно, целью изучения русской истории развитие народного самосознания<sup>556</sup>.

Самое большое значение, самую широкую область деятельности он дает в этом случае государственной власти. Ее он считает более способной и бороться со стихийными силами, и направлять их к целям цивилизации; а в русском народе, в котором для этого тоже могли быть и не зависимые от правительства силы, Соловьев усматривает, главнейшим образом, не какие-либо определенные, культурные начала, а просто хорошую подкладку для правительственных действий, т. е. даровитость русского народа, особенно ясно выразившуюся в

богатырстве, но выразившуюся больше всего, как тоже стихийная сила, и чаще всего как отрицательная в смысле культурном. Таким образом, на историческом русском попрании мы видим собственно власть, которая исторически вырабатывает культуру и направляет к ней русский народ, а этот народ чаще всего является неподатливой, стихийной, как бы отрицательной силой. Вся русская история есть движение то стихийное, то обнаруживающее в себе проблески культуры, т.е. заимствований ее у чужих.

С этой точки зрения масса русского народа представляется неподвижной, косной, а вся прогрессивная деятельность сосредоточивается в государственности и постепенно передается народу. Вся русская история есть движение, сначала внешнее, потом более и более внутреннее, захватывавшее душу русского человека. Движение это должно сопровождаться борьбой со стихийными силами и приобретением общечеловеческой культуры – разрушением своего и усвоением лучшего чужого. Свое – разрушение, чужое – строение. Историческое право России на существование – усвоение лучшего чужого. В этом положительная сторона нашей исторической жизни. По этой теории построена вся «История» Соловьева. Пройдем эту «Историю» по воззрениям Соловьева, т. е. приведем в логическую связь все главнейшие его положения.

Русская история открывается картиной неподвижности, косности. Хотя восточные славяне – не новые пришельцы в Европе и над ними проносились многие бури налетавших на них и проносившихся через них варваров, но они (восточные славяне не двигались вперед) жили разбросанными многочисленными племенами в родовом быте по селам или огороженным местам – городам. Ни фактического, ни сознательного единства между ними не было. Они не составляли народа. Собственно говоря, не имели истории.

Но вот начинается движение. «Пробил час, историческое движение, историческая жизнь началась и для Восточной Европы. По водной дороге, тянувшейся с небольшим перерывом или волоком от Балтийского моря к Черному, показываются

лодки, наполненные вооруженными людьми: плывет русский князь из Новгорода с дружиной. Платите нам дань, повторяют они в каждом селении, у каждого острожка славянского»<sup>557</sup>. Им дают ее. Но они не уходят, подобно другим варварам. Они оседают у славянских племен, дают городам значение европейское, кличут клич селиться с выгодой в городе, кличут клич идти в поход. Началось движение и захватывает население. Из него, населения, выделяются и горожане, и дружина. Села слабеют, падает значение родовых старшин, выделяются лучшие люди, настало время богатырское – время смелых и широких предприятий. «Быт племен, – говорит Соловьев, – живших отдельными родами, подвергся коренному преобразованию вследствие появления князя, дружин и городского народонаселения, породнившегося от сельского. Но перемены этим не ограничились; вследствие геройского, богатырского движения, далеких походов на Византию явилась и распространилась новая вера, Христианство, явилась Церковь, еще новая, особая часть народонаселения, духовенство: прежнему родоначальнику старику нанесен был новый, сильный удар»<sup>558</sup>.

Мы видим, таким образом, что внешнее движение производит внутренние перемены и приводит даже к усвоению такого культурного начала, как Христианство. В других местах 13 тома и в 7 томе Соловьев указывает еще другие последствия движения, именно является сознание между племенами своего единства, единства земли<sup>559</sup>; является русский народ<sup>560</sup>; движение князей дает стране жизнь, историю<sup>561</sup>. Летопись наша отмечает это великое значение князей. Она молчит о сельчанах, а говорит о князьях<sup>562</sup>. Даже само богатырство русское и то связано с государственностью<sup>563</sup>. С этой точки зрения, именно как выражение сильного движения, имеет особенное значение Владимир Мономах<sup>564</sup>. Наконец, богатырство гражданское выражается и в религиозной области, являются богатыри духовные<sup>565</sup>.

При множестве князей движение не дало возможности образоваться земельной аристократии. «...В России, – говорит Соловьев, – очень быстро размножаются члены княжеского

рода, вследствие чего все области и все сколько-нибудь значительные города управляются князьями, и для бояр прегражден, таким образом, путь к образованию могущественного, вроде польского, вельможества; на первом плане князья, их родовые счеты и движения, борьба вследствие этих счетов; дружина, увлеченная вихрем этого движения, не успевает приобрести никакого самостоятельного значения, отсюда понятно, почему в описываемое время (до Андрея Боголюбского) князья наполняют почти исключительно всю историческую сцену, летопись является летописью княжеской, говорит о князьях, их одних имена попадают беспрестанно в глаза и производят такое утомительное однообразие»<sup>566</sup>.

Тут уже пробивается изнанка процесса движения. Немного ниже изнанка выступает во всей ясности... «Вследствие движения все элементы задержаны в своем развитии, – говорит Соловьев, – налицо все первоначальные формы: бродячие дружины, члены их, свободно переходящие от одного князя к другому, в челе дружин неутомимые князья-богатыри, переходящие из одной волости княжить в другую, ищущие во всех странах честь свою взять, не помышляя ни о чем прочном, постоянном, не имея своего, но все общее, родовое»<sup>567</sup>.

Бесплодность этого бродячего положения князей особенно ярко обрисовывается в последней VI главе 2 тома «Истории России», в изложении событий, в которых главными действующими лицами являются знаменитые князья Мстислав Храбрый и особенно Мстислав Удалой, богатырская деятельность которых оказывалась, по Соловьеву, совершенно беспочвенной и не создала будто бы ничего прочного.

Даже города, приобретшие при этой всеобщей подвижности князей и дружинников, устойчивое положение и притянувшие к себе население области, и те не сумели выработать самоуправления, выработать определений, так как князей было много, и при добром, не сильном князе обеспечений не нужно, а сильный князь на них не посмотрит<sup>568</sup>. Наконец, даже духовная власть, при всем том, что была едина и постоянна, не могла, по Соловьеву, приобрести большого значения, потому что в лице митрополита была иноземной властью<sup>569</sup>. Движение, очевидно,

теряло культурную силу. Силу эту должен был приобрести противоположный процесс – оседание, устойчивость, т. е. то, что прежде осуждалось, как косность, неподвижность. Культурность дальнейшей истории, по Соловьеву, и выражается в оседании, а движение, перешедшее в народ, оказывается уже с этого времени противокультурным направлением.

Юго-запад России с Киевом в центре его постепенно терял свое значение от непомерной подвижности князей, дружинников, от нападений степняков. Русский народ, приведенный князьями в движение, направляется в Суздальскую область. Вождь этого направления или выразитель его Андрей Боголюбский сам покидает юго-запад России, утверждается на северо-востоке, в Суздальской области, и как он, так и лучшие его преемники, например Всеволод, устанавливают здесь совершенно новый порядок – разрушают родовые начала (гонят вон своих братьев, родственников, даже иногда детей), становятся в положение самовластцев по отношению к другим князьям, ставят в более зависимое положение дружинников (гонят вон дружинников), подрывают значение старых вечевых городов и выдвигают на место их новые, не сильные вечевым складом. Но, что всего важнее, здесь выработалось совсем иное положение массы народа и иные отношения ее к князю.

Финская до половины XII века Суздальская область является с этого времени славяно-русской. «Для этого ослабления Северо-Восточной Руси необходим был, – говорит Соловьев, – сильный приплыв славянского народонаселения в города и села. Но этот приплыв совершался не целыми особыми племенами, а вразброд; стекались поодиночке или небольшими толпами из разных местностей, сталкивались с чужими, с иноплеменниками, без возможности, следовательно, сейчас же составить крепкий союз, приходили с сознанием своей слабости, зависимости. В западных областях славяне были старые насельники, старые хозяева, князья были пришельцы; на Востоке, наоборот, славяне-поселенцы являются в страну, где уже хозяйничает князь; князь строит города, призывает насельников, дает им льготы; насельники всем

обязаны князю, во всем зависят от него, живут на его земле, в его городах. Эти-то отношения народонаселения к князю и легли в основу того сильного развития княжеской власти, какое видим на Севере... Явился именно такой князь, который как нельзя лучше воспользовался своими выгодными отношениями к новому народонаселению, именно Андрей Боголюбский. Андрей понимает очень хорошо значение слова: *мое, собственность* и не хочет знать Юга, где князья понимают только общее, родовое владение. Андрей, как древний богатырь, чует силу, получаемую от земли, к которой он припал, на которой утвердился навсегда... Этот первый пример привязанности к своему, особому, первый пример оседлости, становится священным преданием для всех северных князей и отсюда начинается новый порядок вещей»<sup>570</sup>.

Существенная особенность этого нового порядка вещей в том состоит, по Соловьеву, что «государство здесь сложившееся получает преимущественно характер государства земледельческого»<sup>571</sup>. Города падают, выступает со своим преимущественным значением село, т. е. земля. С этим, естественно, соединяется забота о приобретении земли, о «примыслах, прибытках»<sup>572</sup>. Собираение воедино областей, сосредоточение России являются неизбежными последствиями этого нового порядка вещей.

«Татарское нашествие, а затем иго еще больше помогают такому направлению, потому что и усиливают народную беспомощность, и возвышают цену прибытков, посредством которым можно было всего достигнуть»<sup>573</sup>. Благодаря этому возвышается Москва, и в ней сильно развивается централизация как средство создать прочное государственное единство, чтобы потом уже развивать самоуправление. Вместо прежнего движения из одной волости в другую, какое мы видели, – говорит Соловьев, – в древней, Юго-Западной России, в России новой, Северо-Восточной видим оседлость князей в одной волости; князь срастается с волостью, интересы их отождествляются, уобицы принимают другой характер, имеют другую цель, именно усиление одного княжества за счет всех других. При такой цели родовые отношения необходимо



рушатся, ибо тот, кто чувствует себя сильным, не обращает более на них внимания. Одно княжество, наконец, осиливает все другие, и образуется государство Московское»<sup>574</sup>. «Эта эпоха сосредоточения, – говорит Соловьев в другом месте, – необходима для утверждения сознания о государственном единстве, о единстве государственного интереса; здесь части, области, лица должны отказаться от своей особой, своеобразной жизни и подчиниться условиям жизни общей, и когда потом, при утверждении сознания о государственном единстве, части получают большую или меньшую самостоятельность, самоуправление, то эта самостоятельность является уже вследствие государственных требований, является с непосредственным отношением к сосредоточивающей власти»<sup>575</sup>. Отсюда у Соловьева выходит полное оправдание и падения удельных князей и особенно Новгорода, причем Соловьев сходится в воззрениях на причины этого падения со славянофилами, и, наконец, у него выходит не только оправдание, но и законность действий Иоанна IV.

Но оседание, сосредоточение, централизация не обходятся без борьбы. Подвижной Юг упорно борется с этим направлением и после татарского разгрома надолго и с великим вредом для общерусской жизни совсем отрывается от Восточной России. Но так как подвижность была общерусской особенностью и усиливалась кочевниками, то она борется с северо-востоком и в других формах. Развивается там борьба оседлой земли и поля, степи, борьба русского человека с новыми кочевниками-татарами. Наконец, борьба эта развивается в самой Северо-Восточной России; в ней происходит разделение оседлых и подвижных элементов, разделение на земцев и казаков, борьба между которыми достигает высшей степени в самозванческие времена и прорывается потом в смутах Разина, Пугачева.

Из этого уже можно видеть, каким великим злом стал процесс движения, доведенный до крайности казачества, вступившего в борьбу с нашей государственностью, с нашим земством, т. е. вообще с нашей оседлостью. И что всего хуже, элемент подвижной – казачество идеализируется народом;

казачество сливается в народной поэзии с богатырством: старейший богатырь Илья Муромец называется старым казаком<sup>576</sup>. На с. 173–177 13 тома у Соловьева находится художественное изображение богатыря-казака, которому грузно от силы и которого стихийность находит себе простор только в поле, степи. Он разнуздан от всех уз нравственных – не уважает низших, бедных людей, не ценит женщины, едва уважает мать и то лишь за ее хитрость, не уважает даже церковью Божию, и лишь тогда, когда наступает старость, когда упадут физические силы его, он смиряется перед верой или унижается перед другой физической силой. Для воспроизведения этого типа взяты все позднейшие варианты, созданные озлившимися русскими людьми и превратившими высокий древний образ богатыря Ильи Муромца в образ разбойника.

Очевидно, что это опять изнанка того исторического движения, которое повело к оседанию русского человека, но которое также дурно оттеняет и само оседание, если это оседание давало возможность создавать такие ужасающие идеалы. Соловьев и объясняет в том же 13 томе дурные стороны русского оседания, начатого в Суздальской области и продолженного в Московском княжестве и затем царстве. Прежде всего, невыгода была та, что русский народ, и без того принявший некультурное северо-восточное направление в противоположность культурному германскому движению на Юго-Запад, с оседанием в Суздальской области, принял еще более северо-восточное направление, перешел из лучшего климата и лучшей почвы юго-запада России в суровые и малопродуктивные страны северо-востока России, где само течение Волги влекло его далее и далее на восток. «История, – говорит Соловьев, – выступила из страны выгодной по своему природному положению, из страны, которая представляла путь из Северной Европы в Южную, которая поэтому находилась в постоянном общении с европейско-христианскими народами, посредничала между ними в торговом отношении. Но как скоро историческая жизнь отливает на Восток, к области Верхней Волги, то связь с Европой, с Западом необходимо ослабевает и порывается не

вследствие мнимого влияния татарского ига, а вследствие могущественных природных влияний; куда течет Волга, главная река новой государственной области, туда, следовательно, на Восток, обращено все»<sup>577</sup>. Западная Россия еще более оторвалась от Восточной, перестала передавать ей результаты своего общения с европейскими народами, зачахла сама в разобщении с Восточной Россией и сделалась добычей Литвы и Польши. «Кровный союз, – говорит Соловьев, – был нарушен, родные братья разделились, разошлись; сколько от этого разделения потеряно было материальных сил, об этом говорить нечего... но сколько от этого раздела, от этой долгой жизни особняком потеряно было нравственного, духовного богатства! Русский человек явился в северо-восточных пустынях *бессемеем* во всем печальном значении, какое это слово имело у нас в старину. Одинокий, заброшенный в мир варваров, последний, крайний из европейско-христианской семьи, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, разрознившийся от родных братьев, – вот положение русского человека на северо-востоке; и целые века предназначено было ему двигаться все далее и далее в пустыни востока, жить в отчуждении от западных собратий. Но если для развития сил как отдельного человека, так и целого народа необходимо общество других людей, других народов, если только при этом условии возможно движение мысли, расширение сферы деятельности, то понятно, какие следствия для русского народа должно было иметь отсутствие этого условия»<sup>578</sup>. Следовательно, дальнейшее историческое движение у С.М. Соловьева должно было показывать отсталость, некультурность осевшего на северо-востоке русского народа, и культурность всякого его движения на Запад к усвоению Западноевропейской цивилизации<sup>579</sup>.

Как движение (в князьях и казаках) вторично оказывалось несостоятельным, так и оседание (в древней жизни восточных славян и потом в Суздальщине) должно было оказаться несостоятельным; и в том и другом случае главная причина, кроме природы, земли, одна и та же – в массе русского народа, в его родовых началах.

Картина этой несостоятельности начал русской жизни в средние ее века, картина совершенно противоположная и, можно даже сказать, нарочно противоположная теории славянофилов, достойна особенного внимания по ее достоинству как талантливый труд, и по ее крайней несостоятельности в смысле научном. Она нарисована, главным образом в том же 13 томе, в двух видах: сначала – как бы в виде эскиза, с 24 по 51 страницу, и затем – с тщательной, детальной отделкой дальше, при описании внутренней русской жизни по преимуществу XVII века, особенно времени Алексея Михайловича. Дополнение ее – в 14 томе и еще более в 18. Мы будем соединять необходимые нам черты из всех видов этого замечательного произведения нашего историка.

На главном месте этой картины мы видим московского князя, потом царя. Он возвышается над всеми не только внешним своим положением, но и высотой, культурностью своих идей, замыслов. Он прочно осел на земле, он господин всем в смысле земельном, государственном. Все – его слуги. Ближайшие из этих слуг не поняли нового направления. Князь твердо сел на земле, а они по старине – все в движении, стоят за свое старинное право отъезда, на целый период отстали от князей. К престолу московских князей постоянный прилив новых дружинников – областных князей, терявших самостоятельность, выходцев из Западной России, привлекаемых выгодами службы, старые бояре оттираются новыми и не могут противостать, потому что не имеют устойчивого земельного положения. Новый княжеский слой дружины мечтает о прежнем своем значении, объявляет притязания на него, но и он не может иметь успеха по той же причине. Наконец, расправа Иоанна IV и Смутное время сметают старинное, родовитое боярство и открывают вход новым людям, даже очень незнатным, как Ордин-Нащокин, Матвеев.

Уже само правительство помогает оседанию дружинников. Иоанн III стесняет и прекращает право отъезда, и он же широко разворачивает поместное право, т. е. назначение, распределение служилым населенных государственных земель для выполнения обязанностей государственной службы,

Соловьев нигде не раскрывает действительного смысла этой меры, направленной к тому, чтобы оторвать младших дружинников от старших, бывших большей частью вотчинниками, с чем тесно связан вопрос о холопстве, в которое часто шли эти самые младшие дружинники, не желавшие покидать своих старших боевых товарищей.

Но Соловьев раскрывает другую печальную сторону этой части картины. Он показывает, что поместья ослабили воинственность дружинников, развили в них лень, уклонение от службы, сделали их тяжелыми для поселян – поставили вооруженное сословие против невооруженного. Последнее, естественно, пришло в движение, стало уходить, где было лучше, так что выходит: и осаженные служилые бежали от службы, и осевший народ ударился в бегство, и, естественно, должна была начаться погоня за теми и другими – погоня за убегавшим от государственности русским человеком.

Подобное же движение и подобная гоньба за уходившими развивались и в городской жизни Северо-Восточной Руси. Города в этой Руси, как известно, понизились в своем значении, которое переходило к селам. Понижение шло дальше в параллели с селами. Рядом с поместной системой развивалось кормление чинов, назначаемых в города. Кроме того, увеличивавшиеся нужды выраставшего государства налагали на города большие и большие денежные тягости. Из городов, как и из сел, стали бежать. Но кроме бегства, в городах в параллель с холопством стало развиваться так называемое закладничество, т. е. проживание и торговля не в качестве членов города, а в качестве лиц, ставших под покровительство сильных людей. Целые слободы таких горожан вырастали у городов и вели свои дела беспопытно, безданно. И правительство, и сами города взялись за прекращение того и другого зла. Горожане задержаны в движении и объединены по тягостям<sup>580</sup>. Но сила городов этим путем не поднялась.

Соловьев, напротив, изображает нам падение этой силы и с другой стороны. Старинные города имели свою военную силу, самостоятельную, влиятельную. Даже в Москве, еще во времена Донского был тысяцкий – вождь городских полков. Но

тысяцкие пали. Полки городские стали под начальство государственных вождей. Мало того, в позднейшие времена (при Алексее Михайловиче и, особенно, при Федоре Алексеевиче) стало падать в городах выборное начало в важнейших его проявлениях – в суде, и усиливалась власть воевод. Соловьев видит внутреннее разложение городов, вызвавшее эти явления: старую борьбу больших и меньших людей. Падение Новгорода и Пскова, неудачи бунтов при Алексее Михайловиче в Москве, Новгороде и Пскове показывают разрыв интересов массы городского населения и значительных торговых людей<sup>581</sup>. Это вызвало усиление в городах представителей государственной власти – служилых людей. Таким образом, и здесь интересы жителей-горожан – в столкновении с интересами вооруженной части народонаселения<sup>582</sup>.

Результатом такого положения дел в селах и городах и было, по мнению Соловьева, закрепощение и села, и города. «Состояние города, – говорит Соловьев, – служит нам поверкой состояния сел, и наоборот: если город беден – знак, что село находится в очень неудовлетворительном положении; если земледельческое народонаселение прикрепляется к земле – знак, что город беден. Прикрепление крестьян было результатом древней русской истории: в нем самым осязательным, самым страшным образом высказалось банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения. Такое банкротство в историческом, живом, молодом народе необходимо обуславливало поворот народной жизни, искание выхода из отчаянного положения, стремление избавиться от губительной односторонности, в страну сел внести город и этим улучшить экономическое состояние страны. Этот поворот и знаменуется преобразовательной деятельностью, с этого поворота и начинается новая русская история. При несостоятельности собственных средств нужно было сделать заем и заем был сделан. Как ни велик, как ни тяжел был он для народа, но необходимость и благодетельность (?) его очевидны. Если прикрепление крестьян было естественным результатом

древней русской истории, то освобождение их было результатом полуторавекового хода нашей истории по новому пути. Спор между древней и новой Россией кончен, поверка налицо»<sup>583</sup>.

В действительности освобождение крестьян с землей есть возвращение к началам древней русской исторической жизни и есть неоспоримое отрицание культурных западноевропейских начал, усвоенных нами, а что касается закрепощения крестьян, то оно находится в несравненно большей связи с этими западноевропейскими началами, чем с русскими потребностями. Закрепощение подготовлено величайшим тираном Русской земли – Иоанном IV, который, выходя из того основного положения, что он не русский человек и что все русское враждебно ему, кидался то к азиатским идеалам и учреждал на Руси янычар – опричников, то к идеалам западноевропейским, дружил с иноземцами во вред России и даже призвал иноземца для изобретения самых чудовищных мук. Введено крепостное право похитителем Русского престола Годуновым, тоже дружившим с иноземцами, даже вверившим им охрану себя, и введено не для государственных целей, а для недальновидного подрыва русского боярства. Наконец, в старой Руси крепостное право усиливалось во времена усиления западноевропейских, аристократических польских воззрений, особенно во время малороссийской войны. В новые времена те же западноевропейские начала жизни постепенно усиливали закрепощение и довели до такой крайности, с которой нельзя уже было жить сколько-нибудь здоровой жизнью.

Соловьев неверно изложил историю закрепощения и не дал ни одного намека на иноземное происхождение его; но историю развития крепостного права он изложил верно и дал такую массу фактов, показывающих чудовищные усилия превратить человека в рабочего скота, и представил их в такой тесной связи с развитием у нас западноевропейской цивилизации, что всякий непредубежденный читатель видит ясно эту связь, – связь рабского ига русского народа с западноевропейским просвещением нашей интеллигенции.

С несостоятельностью гражданских сословных учреждений Соловьев соединяет несостоятельность людей духовного

знания. Он признает важное просветительное значение духовенства, но и оно, по его изображению, падало в историческом своем развитии, как сословие. Он обращает внимание на зародившуюся и потом сильно развившуюся борьбу между высшей духовной властью и боярством<sup>584</sup>, особенно во времена Никона, что не могло не подрывать авторитет этой власти; но главный подрыв этого авторитета, и уже не одного Митрополита или Патриарха, а всего духовенства последовал в то время, когда появился раскол. В это время пошатнулся в духовенстве авторитет учительства, принадлежавший ему так бесспорно и так долго<sup>585</sup>. Ниже мы увидим, какие важные следствия отсюда выводит Соловьев.

Наконец, вообще больше и больше обозначалась нравственная несостоятельность русского человека от отсутствия воспитания, образования. Соловьев с особенной силой ударяет на ту характеристическую особенность русской жизни, что русский человек слишком долго оставался ребенком и затем вдруг, без образования и подготовительного опыта, вступал в жизнь со всем богатством стихийных, неподчиненных разуму сил. «Главное зло для подобного общества (время Алексея Михайловича), – говорит Соловьев, – заключалось в том, что человек входил в него нравственным недоноском. Для старинного русского человека не было того необходимого переходного времени между детской и обществом, которое теперь у нас наполняется учением или тем, что превосходно выражает слово «образование». В Древней Руси человек вступал в общество прямо из детской, развитие физическое нисколько не соответствовало духовному, и что же удивительного, что он являлся перед обществом преимущественно своим физическим существом»<sup>586</sup>... «С одной стороны, древний русский человек начинал очень рано общественную деятельность, недоноском относительно приготовления, образования, с неокрепшими духовными силами; с другой стороны, он делался самостоятельным очень поздно, потому что вместо широкой нравственной опеки общества он очень долго находился под узкой опекой рода, старых родителей, старших родственников... Но легко понять,



что продолжительная опека делала его прежде всего робким перед всякой силой, что, впрочем, нисколько не исключало детского своеволия и самодурства<sup>587</sup>... Крайнюю степень этого своеволия, своеволия возведенного в вышеуказанный народный идеал – богатыря-казака, Соловьев хорошо определяет в следующих немногих словах: «Страшен бывал сильный человек, вырвавшийся прямо из глупого, (по народной песне) малого ребячества на полную волю, в чистое поле и начавший разминать свое плечо богатырское»<sup>588</sup>.

Странно было бы отвергать действительность таких явлений в старой русской жизни; но тоже было бы странно отвергать односторонность суждений Соловьева о нравственном состоянии России на основании таких явлений. Нельзя понять, почему контроль семьи, рода не имел ничего хорошего, и почему следует думать, что он не приближался к чисто общественному, когда роды стояли и действовали рядом в различной деятельности. Для служилого класса одна уже приемная государя, где члены его каждый день толпились, была и великой школой, и общественным контролем. А что касается массы русского народа, то односторонность взгляда Соловьева еще яснее. Сам же он показывает, и все лучшие ученые с ним соглашаются, какая великая общественная сила сказалась на Руси в смутные времена. У него же раскрыто, что всякие дани, подати производились через раскладку и круговой запорукой. У него же раскрывается, что судные дела требовали обыска, т. е. общественного отзыва об обвиняемом. Сильным развитием общественности и теперь русский простой человек стоит выше русского интеллигентного человека. Разгадку этого явления можно найти у славянофилов, например в сочинении Беляева «Крестьяне на Руси» и вообще в славянофильских суждениях о всеобщности и силе русской общины, русской мирской сходки. Русский народ, двигавшийся волей и неволей с юго-запада на северо-восток и в этой последней стране с одного места на другое, сохранял твердо свое общинное единство и даже тем тверже, чем хуже была его земля и чем ненадежнее и бедственнее ему жилось на ней. Самые сильные общины мы постоянно видим именно в Северо-Восточной России. Великая,

объединительная сила русской общины сказывается даже в русской песне. Лучшие части русской песни – всегда хоровые, а соло – выражение личности – только как редкое явление.

Главнейшая ошибка Соловьева состоит в том, что в русском обществе, в русском народе он следит односторонне за разбросанностью, а в государственной среде – наоборот, только за объединительной деятельностью. И тем страннее вся эта односторонность, что Соловьев был довольно близок к уразумению действительных причин печальной старорусской несостоятельности, насколько она действительно была, и имел в своем распоряжении достаточную для этого сумму фактов. Он видел ясно, что быстрая колонизация Суздальской области мешала народу скоро сплотиться и дала особенную силу суздальским князьям. Подобное, но в гораздо большей силе, явление должно было бы объяснить силу и дальнейшее усиление власти московских князей. Татарское нашествие и первые времена татарского ига привели в такой разброд русское население и так понизили его требования, что сплоченность могла вырабатываться еще труднее, и власть московских князей, у которых народу спокойнее всего было жить, могла развиваться на всем просторе. Татарское иго, очевидно, имело немалое значение, как думал Соловьев; но значение его сказывалось еще в том, что оно приучало князей раздвигать простор для своей власти безгранично. Эта крайность и сказалась во всей силе, когда татарское иго вошло внутрь русской жизни, переродилось в наше собственное и когда выразителем этого направления явился Иоанн IV, возненавидевший всякую самобытность и истреблявший ее не только в отдельных лицах, в сословии бояр, но в целых массах народонаселения, как в Тверской области, Новгородской. Объединение, централизация, утвержденные такими способами, не могли уже быть зародышем будущей самобытности и могли порождать лишь дурные явления. Под влиянием такой централизации русский народ не терял своей общинности, сплоченности, а уходил с ними глубже в свой тесный круг жизни и отстранялся от соприкосновения их с такой централизованной государственностью. В этом то ненормальном отношении

земства и государственности, кажется, и скрывается основание крайнего мнения некоторых славянофилов о совершенной отдельности земства и государственности.

Соловьев при своем западническом взгляде на государство и общество близок был к пониманию этой ненормальности, но устранился от этого совсем в другую сторону. Он как прежде, так и теперь видит причину зла в массе русского народа. Он с явным торжеством указывает на такие явления, что общины сами отказывались от широкого самоуправления, какое им давал Иоанн, что даже игумены обращались к Алексею Михайловичу с просьбой усмирить у них буйных монахов. Народ, вынесший татарское иго, Иоанна IV и Смутное время, бесспорно, великий, исторический народ; но в своей жизни после этих болезней он не мог не представлять многих ненормальностей. Научность требует распределить эти ненормальности на всех и на все, а не искать их причины в одной какой-либо сфере – народной или государственной.

Соловьев остается верен своей односторонности и в изображении того культурного движения, которое составляло выход из старорусского застоя и должно было, по его взгляду, выражаться непременно в подражании Западной Европе. Нет спора, что поворотное движение России от Востока к Западу ясно обозначилось при Иоанне III, и нельзя не согласиться с Соловьевым, когда он сильными причинами этого поворота выставляет ослабление татарского ига и талантливость самого Иоанна, сумевшего сделаться видным и обратить на себя внимание Западной Европы. Но действительную культурность этого движения нужно и находить раньше, и связывать ее с иными фактами.

Русская государственность давно подготавливалась к этому повороту и подготавливалась своими людьми, а не гречанкой Софией и заезжими венецианцами. И Иоанну Калите, и Симеону Гордому русские люди оторванной Западной России напоминали о старых местах русской жизни и русской государственности, переходя к ним на службу целыми дружинами. Напомнили они и Дмитрию Донскому, выслав ему на Куликовское поле и боевые дружины, и славных вождей,

таких как братья Ольгердовичи – Дмитрий и Андрей, или знаменитый боевой товарищ князя Владимира Андреевича – воевода Боброк Волынец. Нельзя сомневаться и в том, что величайший ратоборец за единство всей Руси митрополит Алексей помнил свое черниговское происхождение. При Иоанне III мы видим движение к Москве уже целых родов княжеских из области Северской, а за ними прошел при Василии Иоанновиче даже такой видный в литовской государственной среде и такой отдаленный от Москвы по своему положению и образованию человек, как Михаил Глинский. При таком порядке вещей нельзя было не вспомнить, что Киев, Смоленск, Полоцк – отчины московского князя, и что раньше или позже они и должны ими быть по-прежнему. Вот куда направилось движение России, на Запад, независимо от всяких сторонних влияний, и при этом движении, очевидно, меньше всего может быть речь о Западной Европе в собственном ее смысле. Карамзин не понял значения этого поворотного движения России и перескочил через Западную Русь на Западную Европу. Соловьев и при фактическом изложении борьбы Москвы с Литвой, и даже не раз при изложении общих взглядов показывает ясное понимание важности этого дела; но вопрос о культуре, которую он видит только на Западе, заставил и его сделать подобный же скачок. Венецианцы, строившие у нас здания, но также и научившие нас приготавливать водку, имеют у него гораздо большее культурное значение, чем множество русских людей, устроивших это первое и самобытное культурное движение Восточной России к старым местам русской государственности и жизни в Западной России. Еще большую ошибку сделал Соловьев в оценке культурного движения России на Запад при Иоанне IV и в позднейшие времена.

Положение Москвы тем и важно, что кроме влияния на Восток она способна всегда оказывать влияние по направлению к двум другим морям, кроме Каспийского, – к Балтийскому, по волжским системам вод, и к Черному через Дон и Днепр. Завоевания Казани и Астрахани сейчас же повели к военным предприятиям в Прикавказских странах, в Крыму, причем сейчас же откликнулись Днепровские казаки и потянулись к Москве с

Вишневецким во главе. Потомки Северских князей, конечно, стояли за эти предприятия. Само присоединение к России их старых отчин Северной земли приближало Россию к Крыму с юго-западной стороны и связывало с днепровскими казаками точно так же, как распространение на Юг рязанских поселений связывало их с донскими казаками. Это две исторически подготавливаемые дороги в Крым. Вообще это движение было так важно, что за него стояли вожди тогдашних государственных людей – Сильвестр и Адашев. Но это предприятие было трудное и обещало более выгод в будущем, чем в настоящем. Оно могло вызываться талантливым разумением будущего и способностью на самоотверженное служение этому будущему; между тем, рядом с этим давно уже обозначилось другое предприятие на северо-западе России.

Со времени падения Новгорода и Пскова в Москве неизбежно усилилась тяга к интересам этих областей, к их отношениям к иноземцам, осевшим у этих областей, – ливонским немцам и шведам, и к заморским иноземцам, имевшим сношения и с этими иноземцами, и с этими областями. Под давлением тех и других иноземцев новгородцы сильно колонизировали север России, добрались до Северного океана и уже во второй половине XV века, раньше падения Новгорода, заложена была у выхода из Белого моря в Северный океан обычная русская твердыня колонизируемых мест – Монастырь Соловецкий, и весь торговый путь от этого моря внутрь России – к Новгороду, и особенно к Москве, стал важным торговым путем, настолько важным, что о нем узнали англичане, и корабли их появились у Архангельска и положили начало торговым их сношениям с Россией.

Практические выгоды ближайшего времени – торговые и правительственные давали особенно важное значение предприятию – двинуть русские силы по северо-западному направлению, восстановить и усилить старое значение Новгорода и Пскова, и тем удобнее это казалось, что Ливонский орден разлагался и добираться до него было легко, по населенным местам, а не по степям или далекими днепровским или донским обходами, как поход на Крым. Новгородцы,

псковичи, которых так много переселено было внутрь России и особенно в Москву, не могли не сочувствовать этому предприятию – воевать с Ливонским орденом, воевать со шведами и, естественно, производили разделение в партии Сильвестра и Адашева. Таким образом, оба предприятия – воевать в Крыму и воевать в Ливонии – имели в Москве твердые опоры, и это лучше всего выразилось в колебании московского правительства того времени, начавшего разом оба эти предприятия.

Но с этими предприятиями стояло как тесно с ними связанное еще третье, имевшее, как мы уже показывали, столь же твердые корни в истории России. Литва оканчивала свое особое существование и должна была или слиться с Польшей, или возвратиться к Восточной России. Дела Иоанна III и сына его Василия сильно подготовили последнее дело; латинские и протестантские волнения Польши подкрепили его. Литва, т. е. Русь Западная, сама давалась Москве по сознанию самих поляков<sup>589</sup>. Но к великому злосчастью России, Иоанн IV из могущественнейшего государя, окруженного лучшими советниками Русской земли, великолепно организованными Сильвестром и Адашевым и подкрепляемыми Земскими соборами, стал делаться зазнавшимся, чудовищным, полоумным тираном, и все эти предприятия, требовавшие великого народного напряжения сил России, рушились. Крым стал по-старому силен и разорял даже Москву; Новгород и Псков обессилены больше прежнего; Литва кинулась в объятия Польши. Мало того, вся Россия была изнурена, обесславлена и приготовлена к ужасающей самозванческой Смуте.

Соловьев в истории этих событий, как и в других случаях, дает добросовестное изложение фактов; но в своих суждениях о них он, как и прежде, перескакивает через головы русских людей, через ближайшие, исторически выработанные русские интересы к людям западноевропейским и к благам жизни, какие эти люди могли принести России. Неудачные хлопоты Шлитте о вызове в Россию всякого рода мастеров из Западной Европы, прибытие к Архангельску Ченслера, сопровождавшееся самыми пагубными последствиями для русской торговли, для него

имеют более важное значение в истории России, чем величайшее народное одушевление, вызванное крымскими походами, чем легкое, быстрое завоевание Полоцка или, лучше сказать, даровое возвращение значительной части Белоруссии, устроенное белорусскими мещанами и мужиками.

Не желая оценить правильно и даже понять сколько нибудь той творческой силы, какая скрывается в исторически живучем народе и творит чудеса в великие моменты среди всех затруднений, Соловьев, естественно, стал в положение защитника узких воззрений и безрассудных действий Иоанна, причем страсть глядеть через головы русских людей на людей Западной Европы еще больше устранила его от правильного взгляда на дело.

Он признает важным для Русского государства и для русского народа завоевание Крыма; но история, по его мнению, должна вполне оправдать Иоанна в том, что он не принял совета покончить с Крымом<sup>590</sup>. Для этого оправдания Соловьев собирает все трудности тогдашних дел: запутанность казанских дел, ужасы степных походов, силу Турции. Но он не принял во внимание тогдашней слабости Крыма, физических бедствий его в те времена, значительной массы там христиан и великой готовности прикавказских орд содействовать подавлению крымцев. Не принято также во внимание, что турки испытали уже тогда неудачу похода внутрь прикаспийских степей, и что вся тяжесть их похода оказалась бы на плечах днепровских казаков и затем Польши. Наконец, не принято во внимание самое простое военное соображение, что после надлежащего разгрома Крым на долгое время был бы бессилен, и его добивали бы уже сами донские и днепровские казаки. Соловьев устанавливает даже какой-то исторический фатум. «Московское государство, – говорит он, – могло с успехом вступить в окончательную борьбу с магометанским Востоком, с Турцией, не прежде, как по прошествии двухсот лет, когда оно уже явилось Российской империей и обладало всеми средствами европейского государства»<sup>591</sup>. Но сейчас же затем у Соловьева следует поражающая странность. Московское государство, не обладавшее средствами европейского государства, одобряется

за то, что кинулось в борьбу с государствами, обладавшими этими самыми средствами, – с Ливонией, Польшей и Швецией – борьбу, кончившуюся позорно и поправленную только почти через полтора столетия. Сам Соловьев делает предположение, что Иоанн после громадных уступок Баторию в 1582 г. заключил в 1583 г. перемирие с Швецией тоже с уступкой русских городов – Яма, Ивангорода и Копорья, потому что потерял надежду «получить какой-либо успех в войне с европейскими народами до тех пор, пока русские не сравняются с ними в искусстве ратном»<sup>592</sup>. Это можно было сознавать и наперед и еще яснее, чем трудности Крымского похода. Почему же эта непредусмотрительность оправдывается? Потому что Иоанн имел в виду пробиться к Балтийскому морю, вступить в прямые сношения с цивилизованной Европой, хотя в настоящее время можно доказывать это лишь иностранными предположениями и разными соображениями, а не прямыми свидетельствами<sup>593</sup>. Таким образом, здесь хорошо оценивается смелый замысел касательно будущего, хотя и неудачный, а столь же смелый и для русского народа еще более благотворный замысел касательно Крыма осуждается несмотря на то, что начало его осуществления было блистательное.

Что же касается Литвы, то Соловьев придает серьезное значение совершенно пустым вещам, каковы хитрые планы поляков усыплять Иоанна предложениями ему или его сыну польской короны, или постоянные опасения Иоанна, что бояре готовы изменить ему и бежать в Литву, – опасение ниспровергаемое таким авторитетным свидетельством, как уверение Митрополита Филиппа, что это неправда, а вовсе устраняется от указания на поразительную недалекость Иоанна IV, просто упустившего лучший случай присоединить к России Литву.

Впрочем, слабое освещение действительных отношений между Восточной и Западной Россией у Соловьева исправляется даже помимо его воли. Со времени татарского ига до Иоанна III (т. VI, гл. III), при Иоанне III ( в том же томе, гл. V), при Василии Иоанновиче (т. V, гл. III) и при Иоанне IV (т. VII, гл. I) он ведет параллельно обозрение внутреннего быта в



Восточной России и в Западной или Литве. Фактические данные в этом сравнительном изучении сами собой доказывают великую силу внутреннего единения Восточной и Западной России и многочисленность попыток к внешнему их объединению. Но что касается взглядов Соловьева, то они и здесь направляются через головы и восточных и западных русских к тому же Западу. При сравнительном обозрении Восточной и Западной России почти везде выступают у Соловьева сила и культурность власти и слабость, косность русского общества, русского народа в Восточной России, а в Западной России наоборот – бессилие власти и сила земельной аристократии, и богатство всяких «определений». При этом то и дело указывается на завоевательное движение в Западную Россию Западной Европы в виде иезуитов, Магдебургского права, отчего должны были падать русские начала жизни – и религиозные, и гражданские.

Соловьев не мог обойти безобразных явлений жизни в Западной России вследствие влияния на нее Польши, таких как распущенность шляхты, неистовства латинской пропаганды и угнетенное положение крестьян. Но все это, по его взгляду, должно было лишь доказывать, что не могло быть добра там, где власть выпустила из своих рук цивилизацию страны.

Вот некоторые из сравнений, какие Соловьев ясно делает между Восточной и Западной Россией.

1. О служилых людях. «Здесь (в Северо-Восточной России) мы видим, – говорит он, – что значение дружины все более и более никнет пред значением государя. В России Западной, наоборот, шляхта ревниво блюдет за поддержанием старых прав своих»<sup>594</sup>. «Мы видели характер казаков московских, т.е. живших по степям, прилегавшим к Московскому государству и признававших по имени власть последнего; такой же точно был характер и казаков литовских или малороссийских, известных тогда в Москве под именем черкас; притом безнаказанность последних еще более была обеспечена слабостью литовско-польского правительства»<sup>595</sup>.

2. О Церкви. «В то время, как Русская Церковь на Востоке в Московском государстве распространялась вместе с

распространением пределов этого государства, на Западе в литовско-русских областях происходило явление противное: здесь Русская Церковь вместо приобретения новых членов теряла старых сначала вследствие распространения протестантских учений, потом вследствие католического противодействия, главными двигателями которого были иезуиты. Кроме того, нахождение под властью иноверного правительства, если еще и не явно враждебного, то равнодушного к выгодам Русской Церкви, не могло обеспечивать для последней спокойствия и порядка»<sup>596</sup>.

3. Касательно важнейшего выражения нравов, культуры общества, т. е. касательно положения женщины, Соловьев видел тоже противоположные явления. По Домострою, как его понимает Соловьев, женщина Восточной России оказывалась крайне униженной, а семейная жизнь Курбского в Западной России, и особенно свидетельство известного нам Михаила или Михалона Литвина, представляет крайнюю распущенность польской или вообще ополяченной женщины. Михалон ставил Соловьева в особенно сильное затруднение, потому что этот писатель выставляет дурные стороны Западноевропейской цивилизации и хвалит простоту нравов не только у русских, но даже у татар. Наш автор выходит из этого затруднения очень простым способом – видит преувеличения у Михалона. Затем в заключение своего обзора нравов западнорусской знати делает такую пристрастную оценку литовско-польской культурности, которая кажется просто невероятной в таком серьезном сочинении. «В 1548 году, – говорит Соловьев, – католический Виленский епископ Павел жаловался королю, что в его епархии многие жены мужей своих покидают, живут с жидами, турками, татарами, забыв свое христианство».

Явление, кажется, настолько сильное, что его можно ослабить разве тем, что, может быть, оно было не очень распространенное и преувеличено свидетелем. Соловьев поступает иначе. «Но подле этих известий, – продолжает он, – которые не могут дать нам выгодного понятия о нравственном состоянии в Западной России в описываемое время, встречаем известия, которые показывают и действие животворного начала,

которое будило человека и указывало ему высшие цели жизни: на дороге, по которой проезжал с пира пьяный пан с женой, тоже не трезвой, оба как в пьяном, так и в трезвом виде, не уважавшие жизни, чести и собственности меньших братии; на дороге, по которой ехал пан с вооруженным отрядом слуг и крестьян, чтобы напасть на имение своего противника; на дороге, по которой шли слуги и служанки, чтобы сделать пред судом ложное показание или бесстыдно объявить ложное справедливым – на этой же самой дороге можно было встретить молодого человека, который, испытав беду, признал ее Божиим наказанием за известный грех свой и для очищения себя от него предпринял подвиг – идет пешком собирать на церковное строение»<sup>597</sup>.

Конечно, хорошо, если блудник станет много ходить пешком и особенно за таким добрым делом; он, наверное, получит и гигиеническое уврачевание, и духовное; но еще лучше, если на Божие строение пойдет собирать чистая душа, как это обыкновенно делалось в старину и теперь часто делается на Руси. Но и помимо этого тут случайное действие животворного начала совершенно пропадает во множестве указанных самим автором разлагающих общество начал.

4. Сравнение законодательства в Восточной и Западной России, и особенно сравнение положения низших слоев общества должны были ставить автора еще в большее затруднение. В Восточной России – суд всем общий и равный, и судья признавал виновными представителей высших сословий, если они отказывались выходить в поле для судебного доказательства своей правды борьбой с людьми низшего сословия. В Восточной России правительство законодательными мерами обеспечивало правильность крестьянского перехода и правильность поступления в холопы, не трогало вольных людей и само указывало на них двигателям колонизации, как монастырям или Строгановым.

В Западной России, по судебникам Казимира и по Статуту, суд делался более и более привилегированным; допускается вмешательство панов в судебные дела и допускается им делать свидетельские показания вместо их крестьян; наконец,

правительство не только допускает, чтобы паны соглашались ставить однообразные земельные условия вольным людям, но утверждает эти нечестные соглашения, даже само принимает эти нечестные условия и вводит их в королевских имениях.

Наш автор добросовестно приводит эти факты<sup>598</sup>, но благоразумно удерживается от сравнительной их оценки.

При воззрениях Соловьева на благодетельность для нас культурных начал Западной Европы смутные самозванческие времена должны были представлять для него величайшие затруднения. При внимательном изучении этих времен становится совершенно ясным, что тогдашняя наша русская Смута была делом иноземной интриги, особенно польско-иезуитской, что вкус этой интриги почувствовали не только все ближайшие наши соседи, но и многие отдаленные иноземцы, и старались ловить рыбу в мутной воде, что, далее, эта мутная вода приготовлена ближайшим образом Иоанном IV и глубже всего скрывалась в ненормальном строе служилых людей и в крепостном состоянии, почему и спасение России пришло, главным образом, из севера России, где было меньше зла от служилого сословия и еще меньше или даже вовсе не было крепостного состояния. Признать все эти факты, значит отказаться от благодетельности культурных благодеяний Запада и даже ослабить просветительное значение многих явлений самого Московского единодержавия тех времен.

Соловьев из всех этих затруднений вышел с поразительной талантливостью и написал один (8-й) из самых обработанных томов своей «Истории». Он не отвергает ни польских, ни вообще иноземных интриг в те времена, но немного на них останавливается.

Всю силу этой Смуты он сосредоточивает в самой России – первого Самозванца связывает с предательскими интригами бояр, пищу для самозванческой Смуты видит в старой борьбе земских людей с казаками, особенно ясно выставляет значение иноземной помощи, с которой Скопин-Шуйский почти уничтожил самозванчество, уменьшает значение дел Ляпунова, опиравшегося и на казаков, и, конечно, дает видное, подобающее значение делам Пожарского и Минина,

державшихся законной власти и опиравшихся на земство. Как бы для спасения чести разрушенной, столь крепкой Русской государственности и ослабления позора русских людей, допустивших это и давших в самозванческую Смуту, Соловьев прибегает даже к такому средству, которое трудно не назвать отчаянным: он признает первого самозванца человеком самообольщенным, не знавшим, что он самозванец.

В неправильном понимании самозванческих смут у Соловьева есть одна особенность, которая повела к неправильному пониманию и всего дальнейшего хода русской исторической жизни до Петра.

Самое большее зло сложившегося в Москве порядка дел заключалось в том, что служение государству, отечеству сосредоточено было только в так называемых служилых людях и во имя этого они стали распорядителями земли и свободы русского человека, вследствие чего много простого народа – холопов и крестьян двинулось в поле, в степь и наполнило казачество бродячими элементами<sup>599</sup>.

Земские соборы и особенно старые вечевые предания на севере России показывали всю неестественность такого положения, а первые два самозванца уяснили слишком убедительно, что служилое сословие было тогда самым ненадежным элементом и что так называемых новых казаков, – т. е. беглых холопов и крестьян необходимо возвратить отечеству и устроить. Служение отечеству, которое в смутные времена так гармонически, стройно приводило в движение все силы северного населения, без разделения на сословия и без вражды между ними, было всем ощутительно, тогда как середина России, служилая и крепостная, или изменничала, или бессильно страдала. Служилый человек Рязанской земли Ляпунов понял живительную силу объединительного начала на Севере, понял, что на него могут откликнуться люди, добывшие сами себе волю, и открыто заявил, что служение отечеству дает всякому право на свободу, что пусть все беглые смело идут на это служение. Взгляд этот не был взглядом одного Ляпунова. Ту же мысль имели и заявляли нижегородцы задолго до появления на историческом поприще Минина. Судя по остаткам великого

замысла Ляпунова, сохранившимся в Московском земском постановлении 1611 г., нужно думать, что призываемым беглым холопам и крестьянам предполагалось дать не одну личную свободу, а вместе с тем и землю, нужно думать потому, что в этом Постановлении дается право жить и кормиться в поместьях и простым людям, пострадавшим в служении отечеству со Скопиным-Шуйским, и потому, что в том же Постановлении земля прямо назначается старым казакам. Нет сомнения, что на этом воззрении Ляпунова основывались беглые крестьяне и холопы в первые годы Михаила Феодоровича, требовавшие, чтобы их вели против неприятелей Московского государства. Можно даже думать, что мысль Ляпунова жила долго и после, что она давала самую большую силу Смуте Разина и что когда при царевне Софии заволновались опять низшие слои, и в том числе холопы, тот же замысел Ляпунова воспроизведен был князем Василием Васильевичем Голицыным, задумывавшим отмену крепостного состояния.

Но если и после смутных времен этот великий замысел Ляпунова не был исполнен, то тем труднее было исполнить его в такое безгосударное время, какое было при Ляпунове. Служилые люди возобладали в земском собрании под Москвой в 1611 г.; земельное устройство ограничено было сословием служилых с прибавкой старых казаков и вообще пострадавших на службе отечеству при Скопине-Шуйском. Эту суженную программу приняли нижегородцы, т. е. торговые люди, и по ней-то действовали восстановители нашей государственности – торговый человек Минин и служилый человек князь Пожарский. Восстановить, по крайней мере, старое – было и их задачей, и задачей большинства русских людей. Как после татарского разгрома русские люди понизили свои требования жизни, и потому дали торжество Москве, где, по крайней мере, можно было жить, так подобное случилось и после самозванческого разгрома. Государственность, хотя бы то и в старой форме, была великим и для всех ощутительным благом. По этой-то причине, без сомнения, не могли получить силы, не говоря уже ограничительные условия Михаилу Феодоровичу, которым

совсем не было места без свободы простого народа, но не получила силы даже установившаяся была форма земского, соборного ведения дел государства и, наконец, по этой-то причине оставлено в силе и крепостное состояние и холопство, т. е. оставлено величайшее зло, которое должно было оказываться жалом при всех лучших проявлениях русского исторического развития.

Эти особенности восстановленной после Смутного времени нашей государственности необходимо иметь в виду при суждении и о так называемой ретроградности Москвы XVII в., и о нормальном, даже образцовом ее состоянии. Но эти особенности упускаются из вида часто даже некоторыми славянофилами, а тем более Соловьевым. Это одна неправильность.

Другая неправильность в оценке Московской государственности после Смутного времени – неправильность, легшая в основу томов «Истории» Соловьева с IX и до XIII тома включительно, заключается в следующем. Россия, семь с лишним лет наводняемая иноземцами и большей частью бывшая под их властью, вынесла из этого ужасного времени в большинстве своего населения жестокое предубеждение и недоверие к иноземцам, а в меньшинстве – друзей и последователей иноземных порядков жизни. Раздвоение это, естественно, должно было сказаться в самом правительстве. Враги и друзья иноземцев, естественно, направляли правительство то в ту, то в другую сторону, но русская старая партия должна была то и дело преобладать. Достоинно особенного внимания, что лучшее по тогдашнему разумение иноземства высказалось в делах Патриарха Филарета. Он понял совершенно одинаково со славянофилами достоинство ремесленной, так сказать, цивилизации Западной Европы и во имя нужд государственных щедро заимствовал от Западной Европы оружие (хотя рядом с тем допустил громадную ошибку – нанимал и целые иноземные отряды); но что касается внутренней культуры, то Патриарх разделял предубеждение большинства русских против всего иноземного и яснее всего высказал это в сделанном им Постановлении, чтобы иноверцы,

даже латиняне, принимавшие Православие, были перекрещиваемы. Вопрос о вере чужих людей, входивших в Россию с просветительной миссией, получил величайшее значение. Этим как бы установилось правило, что иноверие не мешает иноземцу служить России в области материальных интересов, но должно закрывать перед ним путь к влиянию на душу русских людей. Поэтому понятно, какое важное значение получили в этом отношении православные западнорусы, и потому, когда некоторые из них обнаружили польские и латинские тенденции, сейчас же возник вопрос о призыве греческих ученых<sup>600</sup>. Все это вызывалось настоятельными нуждами русской жизни, показывало трезвый взгляд на вещи, и мудро доказывать, что тогдашнее просветительное движение России было дурно и не принесло бы богатых плодов, если бы России представлено было идти этим естественным путем: объединять просветительные начала – свои, западнорусские, греческие, вырабатывать из них свою народную культуру. Что на этом пути было много хорошего и прочного – это лучше всего доказывает история XVIII века, когда мы глотали западноевропейские заимствования. Действительные просветительные нужды России больше всего удовлетворялись из источников этого именно допетровского просвещения – из Киевской Академии, из Славяно-греко-латинской Академии и развившихся из них епархиальных школ.

Но, к истинному несчастью России, рядом с этим просветительным направлением развилось в ней другое – чисто западноевропейское. Больше и больше в России оказывалось иноземцев, и они больше и больше пробивались из области ремесленной западноевропейской культуры в область духовной просветительной, т. е. больше и больше вносили в Россию национальные западноевропейские типы и делали завоевания в душе русского человека.

Зло это наметилось при том же Иоанне IV. Эту мысль приводил в исполнение московский иноземец при Иоанне IV, Шлите, – мысль призывать в Россию не только мастеров, но даже ученых. Предприятие это не удалось, но оно воскресло, хотя тоже неудачно, при Годунове, задумывавшем основать в



Москве университет по началам и при участии западноевропейских людей. Первый Самозванец торжественно, в чисто польском тоне, заявляет о невежестве русских и о необходимости для них учиться у иноземцев наукам и для этого думал открыть в Россию двери всяким иноземцам и самим русским ездить в Западную Европу – точь-в-точь, как это делалось в Польше. На самом деле осуществлялась не эта утопия, а другое практическое дело. Мы знаем, что англичане наводнили для торговых целей север России. Во время Ливонской войны иноземные пункты в России были умножены и усилены пленными ливонцами. В смутные времена иноземцев оказывалось много и в Вологде, и в Ярославле, и даже в Нижнем. Но особенно много их было в Москве. После Смутного времени ошибочно понятая нужда в иноземном наемном войске усилила московскую Немецкую колонию, а когда предприятие нанимать целые иноземные отряды оказалось крайне неудачным, – когда иноземцы не только не помогали взять Смоленск, но и позорно изменили<sup>601</sup>, то у нас взялись с особенной заботой за дело, начатое еще раньше, в первые годы после Смутного времени, чтобы иноземцы устроили у нас постоянное войско из русских. Явились, таким образом, солдатские полки, т. е. то же, что стрельцы, только не для столичной и вообще внутренней гарнизонной службы, а главным образом, для пограничной, у шведской границы; явились драгунские полки для Южной Украины, т. е. тоже казаки, но более организованные, и, наконец, рейтары, т. е. конные полки на жаловании денежном от правительства и с казенным оружием. Немецкая колония в Москве получала значение не только сборного места мастеров всякого рода, аптекарей и лекарей, но и рассадника военных инструкторов с властью начальников над значительным числом русских людей<sup>602</sup>.

Живя в стране, столь отличной от Западной Европы и столь дурно настроенной против иноземцев после Смутного времени, эти иноземцы не могли рассчитывать на прочные связи с русским обществом и всеми силами держались русского правительства и старались приобретать себе покровителей в сильных правительственных лицах. Так, известный Морозов был

покровителем иноземцев. По этому пути пошел еще дальше Ордин-Нащокин, усвоил себе даже польские воззрения на казаков, а сын его так пленился западноевропейской жизнью, что даже бежал за границу<sup>603</sup>. Известные Матвеев и Василий Голицын устроили даже домашнюю обстановку и завели западноевропейские обычаи. Впрочем, все эти люди были еще настолько русскими, что о какой-либо решительной переделке России не могли думать. Для этого нужны были иные люди, и, главное, для этого нужно было раздражение между старыми и новыми людьми. Оно и явилось, когда при Алексее Михайловиче, а особенно при Феодоре и Софии, русское правительство увлечено было в бурю раскольниковых, стрелецких и холопских смут и затем – в бурю придворных козней, во время которых иноземцам было очень плохо, а между тем обиженный и уединенный Петр уже по одним преданиям дома Матвеева, где воспитывалась его мать – родом иноземка, легко мог сойтись с иноземцами. Вот где зародились притязания преобразовать Россию по данным западноевропейским образцам с перенесением в нее конкретных западноевропейских типов всюду, даже в духовную жизнь русского человека, и перенесением насильственным во что бы то ни стало. В случае успеха это должно было повести к принижению, подавлению русских начал жизни и, раньше или позже, к фактическому господству иноземцев в России, от чего так настойчиво предостерегал Петра такой умный и расположенный к нему человек, как Патриарх Иоаким.

Соловьев, разумеется, никак не мог смотреть с этой точки зрения на русскую историческую жизнь XVII века. Он, как и в других случаях, видит отсталость, косность в русском обществе и народе XVII века, но не видит главнейшей основы этого – крепостного права, которое считает, как мы знаем, необходимым и даже благодетельным. Он признает несостоятельным вышеуказанное просветительное движение и отдает все свое сочувствие просвещению западноевропейскому, которому назначает не только материальное улучшение русской жизни, но и духовное русское развитие во всех отношениях, кроме,

конечно, религиозного, причем историческая миссия московской Немецкой слободы возвеличивается им сверх всякой меры.

Мы уже упоминали, что Соловьев указывает на подрыв многовекового исключительного авторитета учительства нашего духовенства, обнаружившийся с появлением нашего раскола. Подрыв этот, по Соловьеву, увеличивался больше и больше. «Подле великой России, – говорит он, – была малая, и обе силой известных обстоятельств влеклись к соединению в одно политическое тело; малая Россия благодаря борьбе с Латинством раньше почувствовала потребность просвещения и владела уже средствами школьного образования. Стало быть, великороссиянину можно было учиться безопасно у малороссиянина, который приходил в рясе православного монаха; можно было также учиться безопасно у грека православного. Отсюда в XVII веке, перед эпохой Преобразования, мы встречаем непродолжительное (будто бы) время<sup>604</sup>, когда за наукой обращаются к малороссиянам или вообще западнорусским ученым и к грекам. Но и это примиряющее средство не вполне могло помочь делу. Новые учителя, откуда бы они ни пришли, хотя бы из православной Греции, из православной Малороссии, необходимо сталкивались со старыми учителями, и отсюда борьба, которая вела к чрезвычайно важным последствиям»<sup>605</sup>. Затем Соловьев показывает, как великороссияне, научившиеся у новых учителей, становились умнее своих старых учителей и приводили их в смущение и негодование, заканчивавшееся заявлением со стороны старых учителей, что новые учителя – малороссийские и греческие ученые – отступники от Православия<sup>606</sup>... «Но в то время, – продолжает Соловьев в другом месте, – как старые и новые учителя в священнических и монашеских рясах препираются о двуперстном и трехперстном сложении, когда русские разделились в ожесточенной борьбе, когда сделка с наукой, попытка ввести науку через православных учителей, не вредя Православию, далеко не удалась, когда старые учителя провозгласили и православных греков, и православных малороссиян и белорусов еретиками, латинцами, – в это время являются новые учителя особого

рода, не желанные ни старым учителям, ни новым в рясах, являются иноверцы немцы, являются вследствие того, что прежде грамматики и риторики нужно было выучиться сражаться, вследствие того, что явно было экономическое банкротство по неумению производить и продавать и по неимению моря, являются вследствие того закона, по которому внешнее предшествует внутреннему»<sup>607</sup>. Еще в одном месте, в начале того же 12 тома, Соловьев совершенно ясно обозначает всю широту образовательного влияния иноземцев на русских и дает понять сущность Западноевропейской цивилизации, выработанную на Западе борьбой между папами и императорами, а именно дает нам разделение духовной и светской цивилизации. «Подле прежних учителей, – говорит он, – подле прежних авторитетов являются новые авторитеты, не признающие значения прежних учителей и не упускающие случая выразить это непризнание обидным образом. Как разграничить право тех и других? Как, признав превосходство новых учителей во всем, не признать этого превосходства в одном? Где взять такой самостоятельности, силы мысли, исследования и знания в учениках»<sup>608</sup>. Затем Соловьев показывает трудное положение прежних учителей – духовенства. С одной стороны, приверженцы старины, отвергающие авторитет старых учителей и нашедших себе «своих, особых учителей»; «с другой стороны, просвещение перестает носить исключительно церковный характер, подле учителей церковных являются светские, иностранцы, иноверцы, которые необходимо должны враждебно столкнуться с церковными учителями при обнаружении своего влияния на учеников»<sup>609</sup>.

Не может быть никакого сомнения в том, что автор наш, как и все западники, стоит за эту раздельность цивилизации и за превосходство светского знания. «Нудящие потребности государства, – говорит он, – были в таких науках, искусствах и ремеслах, которыми не могли научить монахи. Волей-неволей нужно было обратиться к иноземным и иноверным учителям, которые и нахлынули и, разумеется, с требованиями признания своего превосходства. Превосходство было признано; важные

лица наверху постоянно толковали, что в чужих землях не так делается, как у нас, и лучше нашего. Но как скоро превосходство иностранца было признано, как скоро явилось ученическое отношение русского человека к иностранцу, то необходимо начиналось подражание»<sup>610</sup>, за которым, по автору, разгоралась борьба между старыми и новыми русскими людьми и между старыми и новыми их учителями; старые русские люди и учителя их не признавали в иноверце образа и подобия Божия и желали бы их выжить; иноверцы пускали в ход сильное слово: невежество, насмешки, а иногда и настоящую кулачную расправу<sup>611</sup>. Беспристрастный историк, встретившись с такими фактами, непременно позаботился бы рассмотреть, каковы были условия для правильного ведения такой ожесточенной борьбы, и не примешивается ли к ней какая посторонняя сила, которая может нарушить эту правильность и дать неестественный, насильственный исход борьбе. Соловьев как будто понимал это научное требование при оценке исторических направлений у нас – старого и нового. Он не раз говорит, что духовная власть настраивала русское правительство стеснять иноземное влияние и даже наказывать смелое усвоение иноземных обычаев и мнений. Но что будет, если русское правительство перестанет слушаться духовной власти, а тем более, если оно станет помогать иноземцам усиливать свое влияние? Решить этот вопрос было бы тем справедливее и необходимее, что при тогдашнем крепостном состоянии народа борьба эта могла происходить только в интеллигентной среде – старой и новой России, следовательно, поэтому уже более или менее искусственно и односторонне, а в случае перехода на сторону новой партии правительства, неестественность и односторонность борьбы должны были вырастать до страшных размеров, тем более, что русское правительство было и тогда неограниченное и обладало, по изображению самого автора, страшной централизацией. Но Соловьев не только не решает научно этого важного вопроса, а, напротив, предрешает его самым голословным и пристрастным образом. Он не обращает внимания ни на вынужденное молчание крепостного русского народа, ни на отсутствие при Петре Земских соборов, которые,

по крайней мере, дали бы открытое мнение некрепостной России. Он сам, за русское общество и за русский крепостной народ, наперед предрешает торжество западноевропейской цивилизации и призывает для этого принудительную силу правительства. «...Ни в беспомощных сиротах государевых (как называли себя тяглые люди), ни в холопах государевых (как называли себя служилые люди) нельзя искать силы и самостоятельности, собственного мнения, – говорит Соловьев в начале обозрения царствования Феодора Алексеевича. – Те и другие чувствуют (будто бы) несостоятельность старого, понимают (будто бы), что оставаться так нельзя, но при отсутствии просвещения не могут ясно сознавать, как выйти на новую дорогу, не могут иметь инициативы, которая потому должна явиться сверху: повести дело должен великий государь»<sup>612</sup>.

Несколько выше Соловьев разъясняет, как великий государь должен повести дело, какое должен занять положение среди вступивших в жестокую борьбу сторон – русской и иноземной. Описав сборный состав жителей Немецкой слободы – искателей приключений, собравшихся из разных стран и занятых главным образом наживой и приятным препровождением времени, он дает им два эпитета, весьма важные при его воззрениях. Он их признает «совершеннейшими космополитами, отличавшимися полным равнодушием к судьбам страны, в которой поселились»<sup>613</sup>, но в то же время он дает им и значение «западноевропейских казаков», которым сначала тоже не приписывает каких-либо стремлений, кроме наживы, но через несколько строк уже прямо назначает им историческую миссию и даже ставит в положение решителей судеб России «Таковы были люди, – говорит он, – которых постоянно вызывали в Москву в продолжении XVII века; сперва увеличение иностранцев в Москве возбудило сильный ропот, жалобы священников; иноземцев выделили, переселили в особую слободу. Казалось, что Русь отгородилась от немцев, но это могло только казаться так. Русь трогалась с Востока на Запад, и Запад выставил ей на пути как свою представительницу Немецкую слободу. Исторический черед был

за Немецкой слободой, и скоро старая Москва преклонится перед этой слободой своей, как некогда старый Ростов преклонился перед пригородом своим Владимиром, скоро Немецкая слобода перетянет царя и двор его из Кремля, обзаведется своими дворцами. Немецкая слобода – ступень к Петербургу, как Владимир был ступенью к Москве»<sup>614</sup>.

Такие чудовищные явления, чтобы горсть иноземных пройдох перевернула строй жизни великого государства и великого народа, очевидно, возможны были только во времена величайших несчастий России и величайшего разлада в ее строительных силах. Так действительно и было. Правильность престолонаследия была тогда расстроена; государственная власть ослабела; высшие и низшие слои благодаря крепостному состоянию и расколу страшно разошлись и, наконец, в возникшей стрелецкой смуте погибли многие лучшие люди, способные сдерживать страсти, крайности. Среди этих ужасов вырастал русский гений – Петр, и притом вырастал в вынужденном уединении, вдали от царского двора и вблизи Немецкой слободы. Иноземная интрига подкралась к нему, овладела его симпатиями, и тем крепче могла владеть им, что этот юный гений окружен был и русскими людьми, большей частью такими, семьи и роды которых пострадали во время стрелецкого бунта, т. е. когда окружавшие Петра русские люди лишены были самообладания и справедливой оценки людей и дел в господствовавшей подле них русской среде. Перед глазами Петра была, с одной стороны, мятежная, неистовая русская Москва, с другой – веселая, дружественная немецкая Москва. Из-за той и другой Москвы он не видел спокойной, богатой добрыми чувствами и силами России, или смотрел на нее то как на ту же мятежную Москву, то как на грубый материал, подлежащий обработке по иноземным образцам.

В подобном положении находился в юности Иоанн IV. И перед его глазами волновался московский народ, лилась кровь близких Иоанну людей, он даже сам изгнан был из столицы страшным пожаром, подходили к нему даже мятежники. Но прежде и тверже подошла к нему старая Русь с лучшими своими преданиями в лице Сильвестра и Адашева, затушила в

нем на значительное время дурные инстинкты и покрыла славой его внешние и внутренние дела за это время. Старая Русь подходила и к Петру в самые трудные минуты его юношеской жизни, подходила даже не раз. Так, она подошла к нему при избрании на престол царя из двух царевичей после смерти Феодора Алексеевича и дала ему первенство перед Иоанном Алексеевичем. Подходила она к нему с самым умиротворяющим влиянием в еще более трудный момент его жизни. Религиозная и нравственная сила России покрыла и охранила его, когда он верхом примчался ночью с 7-го на 8-е августа 1689 г. из села Преображенского в Троицкий монастырь и в совершенном изнеможении, со слезами просил охраны у иноков старого исторического русского монастыря<sup>615</sup>. Пошел к нему и русский Патриарх, потянулись и лучшие стрельцы<sup>616</sup>, из среды которых и принесено Петру первое известие об угрожавшей ему опасности. Будь жив Матвеев, вероятно, вся Россия призвана была бы высказать громко свои чувства и свое мнение в споре Петра с Софией. Но ни в этот критический момент, ни в другие времена Петр не обращался к русскому земству, не только вопреки примеру Софии и своих близких предшественников Романова дома, но даже вопреки примеру Иоанна IV. Из такого земского места – Троицкого монастыря в 1689 г. Петру виделась лишь слабая тень земства. Он требовал к себе лишь немногих выборных из населения Москвы и ее окрестностей, и то с угрозой смерти за неявку<sup>617</sup>. Подле Петра были уже тогда своего рода опричники: во-первых, потешные, давно уже настроенные дурно смотреть на всех остальных русских, и, во-вторых, с виду весьма мирные, но в действительности еще более опричные и враждебные России люди – иноземцы Немецкой слободы<sup>618</sup>. Живая Русь осталась в стороне, возобладали опричники, и если Петр не сделался вполне вторым Иоанном Грозным, то потому, что был гений.

Первейшее дело историка разобрать эту смесь несчастий Петра и порочности, в которых свила себе гнездо иноземная интрига и которые грозили России повторением ужасов Иоанна IV и, может быть, самозванческих смут, и гениальности Петра, которая не раз поднимала его выше всех затруднений и



искушений и делает его родным всякому русскому, какого бы направления он не был.

С.М. Соловьев дает нам немало блестящих картин гениальности Петра. В одном, например, месте 18 тома он говорит: «Гений Петра высказался в ясном уразумении своего народа и своего собственного деда как вождя этого народа, он сознал, что его обязанность – вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации. Трудность дела представлялась ему во всей полноте по возвращении из-за границы, когда он мог сравнить виденное на Западе с тем, что он нашел в России, которая встретила его стрелецким бунтом (вызванным искусственно и совершенно тогда усмирленным, нужно заметить). Он испытал страшное искушение – сомнение, но вышел из него, вполне уверовав (!) в нравственные силы своего народа и не замедлил призвать его к великому подвигу, к жертвованиям и лишениям всякого рода, показывая сам пример во всем этом. Ясно сознав, что русский народ должен пройти трудную школу, Петр не усомнился подвергнуть его страдательному, унижительному (!) положению ученика; но в то же время он успел уравновесить невыгоды этого положения славой и величием, превратить его в деятельное, успел создать политическое значение и средства для его поддержания»<sup>619</sup>. Или в том же томе немного выше: «Начертана была обширная программа на много и много лет вперед, начертана была не на бумаге: она начертана была на земле, которая должна была открыть свои богатства перед русским человеком, получившим посредством науки полное право владеть ею; на море, где являлся Русский флот; на реках, соединенных каналами; начертана была в государстве новыми учреждениями и постановлениями; начертана была в народе посредством образования, расширения его умственной сферы, богатых запасов умственной пищи, которую доставил ему открытый Запад и новый мир, созданный внутри самой России»<sup>620</sup>. Личное мнение и личные чувства С.М. Соловьева особенно хорошо выражаются в следующих его отзывах. «Петр со своими сподвижниками, – говорит автор, – заканчивает, собственно говоря, богатырский отдел русской истории. Это

последний и величайший из богатырей; только Христианство и близость к нашему времени избавили нас (и то не совсем) от культа этому полубогу и от мифических представлений о подвигах этого Геркулеса»<sup>621</sup>. Или еще в другом месте. Описав развитие Петра на свободе, вдали от дворца, в среде новой дружины, в которой он, «царь по происхождению, становился вождем... по личной доблести»... автор заключает: «Это герой в античном смысле; это в новое время единственная исполинская натура, каких мы видим много в туманной дали, при основании и устройстве человеческих обществ»<sup>622</sup>. Но рядом с подобного рода блестящими картинами гениальности Петра у Соловьева множество самых неверных объяснений дел его и самых странных умолчаний о его несомненно злых делах и потворствах иноземству. Великим и непоправимым злом была жестокая расправа со стрельцами, после возвращения его из первого путешествия за границу. Зло это живо напоминало Иоанна IV, отзывалось мщением за бунт 1682 г. и затемняло даже простое здравомыслие, которое прямо подсказывало, что стрельцы могут составлять привычную и дешевую гарнизонную силу, в небольших размерах пригодную и для защиты ближайших окраин. Таким же злом нужно признать и то, что Петр не пожелал привлечь к себе громадную и даровую силу казаков уральских, донских и днепровских. Разрыв с такими старыми и народными военными силами был вредным свидетельством разрыва Петра с народом. Известно, что одновременно с тем дано было и другое, еще более наглядное свидетельство такого же разрыва – перемена одежды. Все рассуждения Соловьева о том, что перемена внешности нужна была для успеха преобразований, что длиннополость – признак азиата, а короткополость – признак европейца, уничтожаются простым и ясным признанием Гордона, что это нужно было для безопасности иноземцев, для смещения их с русскими перед негодующим народом. Такого же свойства и те многочисленные иноземные названия должностей и учреждений, которые составляли истинную муку для русских и большей частью выброшены потом из русской жизни.

Все это показывало страстное, безразборчивое перенесение в Россию чужих форм жизни и имело весьма важные последствия. Неразборчивое усвоение чужого давало излишнее господство иноземцам и подрывало одну из важнейших основ для охраны народной самобытности – чувство и сознание своей народности. Как это было важно, можно видеть из следующего. И по старым русским примерам и, без сомнения, по инстинктивному указанию своей гениальности, Петр дал своим преобразованиям практическое или, как ныне говорят, реальное направление – брал собственно ремесленную сторону Западноевропейской цивилизации. В этом могла быть охрана русской души от искажения русского народного склада. Но и сам Петр не уяснял себе этой границы и не давал другим русским определять ее. Так называемое светское, западноевропейское образование вводилось у нас без надлежащих и даже без всяких предосторожностей. Оно и стало быстро вторгаться в духовную область русского человека и тем успешнее овладевать ею, что в русском человеке того времени подорвана была Петром же вышеуказанная, обычная у всех народов охрана от чужого – народное чувство. Но кроме того, подорвана была у нас тогда и другая, еще более надежная охрана. Русская историческая жизнь выработала по отношению к Западной Европе ясное, всеобъемлющее указание на эту границу между своим и чужим – именно Православие. Но известно, как легкомысленно и безрассудно Петр оскорблял и унижал это русское историческое начало в первую половину своего царствования. Его шутовские религиозные потехи составляют несомненное воспроизведение протестантских воззрений на папство и несомненное доказательство, что Петр тогда был жертвой иноземных интриг против Православия. Потом Петр понял свою ошибку и строго охранял Православие, даже подчинил иноверное духовенство Св. Синоду. Но ошибка уже была сделана и последствия ее больше и больше вторгались в русскую жизнь. Пастор Глюк заводит в Москве (1705 г.) оригинальную школу для образования светских людей. В этой школе совмещаются разнообразнейшие знания: и восточные древности, и классицизм, и берейтерство с

фехтованием. Фантазия Глюка не знает границ. Он считает русских мягкой глиной, из которой все можно сделать и, трудно поверить, считает возможным сделать их протестантами. В числе его руководств был и Лютеров Катехизис, переведенный на русский язык<sup>623</sup>. Или еще более невероятный факт: иезуиты, изгнанные из России самим Петром, находят возможным тайно пробраться в Россию, противозаконно выстраивают костел, основывают для благородных лиц училище с несомненным, прямо высказанным в их письмах замыслом подорвать Славяно-греко-латинскую Академию, раскидывают немало и других сетей, в которых оказывается один из самых видных иноземцев – Гордон<sup>624</sup>. Иноверные воззрения прорываются даже в русскую духовную среду. Православный архиерей Феофан Прокопович громит даже в правительственных актах дорогие русские учреждения – русское патриаршество, русское монашество, русское уважение к чудесам, и в то же время он любитель всего светского и друг светских людей и иноземцев. Наконец, он завершает свое служение Русской Церкви преследованием православного сочинения «Камень веры», в угоду протестантам-немцам. Таким образом, нельзя сказать, что так называемое светское образование при Петре только выделяло свою часть из духовной жизни русского человека, захваченную будто бы религией. Оно врывалось во всю эту жизнь и вытесняло из нее Православие в пользу иноземных религиозных воззрений или в пользу просто неверия, которым еще при Петре заражались даже лучшие его русские люди вроде, например, Татищева.

Все это тем более представляло опасность, что русская интеллигенция и до Петра была уже немало оторвана от своего простого народа крепостным правом, следовательно, более чем прежде податлива была на ложное развитие. Петр усилил эту податливость, и не только еще более оторвал нашу интеллигенцию от народа, но и народ этот вверг еще глубже в бездну закрепощения подушною податью.

В двух местах своей «Истории» Соловьев говорит, что от таких потрясений, какие происходили в России, старые государства гибли. Раз он это говорит по поводу сильного

движения, произведенного в России в удельные времена Юриковичами; в другой раз он говорит это по поводу нового западноевропейского движения, произведенного Петром. Но ни в тот, ни в другой раз, справедливо заявляет С.М. Соловьев, Русское государство не разложилось, а осталось единым, потому что русский народ – молодой и даровитый народ. Говоря о последнем кризисе, Соловьев утверждает, как мы и видели, что Петр верил в свой народ и потому подверг его такому кризису. В популярных «Лекциях о Петре» Соловьев выражается еще сильнее. Дело Петра он представляет делом русского народа и величие Петра – величием русского народа<sup>625</sup>.

Н.И. Костомаров, отличающийся необычайной способностью развивать своеобразно положения других историков, в шестом выпуске своей популярной «Истории России» рисует нам картину того, как Петр высоко ставил идеал России, как любил он не действительную, а эту идеальную Россию и как способен был всем ей жертвовать<sup>626</sup>.

Оба эти взгляда требуют пояснения и поправки. Бесспорно, Петр любил свою идеальную Россию и созидал ее с такой силой и таким самозабвением, какие свойственны только гениям. Он даже сам считал лучшей стороной своей деятельности то, что постоянно пребывал в работе, конечно, для создаваемой им России<sup>627</sup>. Но что такое был петровский идеал России, как нечто самобытное, это труднее всего показать и доказать, если не разумеешь просто государственность с именем Русского государства.

Нужно также думать, что Петр не мог, подобно Иоанну IV, не верить в Россию. В истории Петра есть один особенно осязательный факт, который показывает, что он не только верил в русский народ, но и любил действительную часть России, им пересозданную. Это тот момент, когда Петр на полях Полтавской битвы, после победы над Карлом XII, пил за шведских генералов, научивших русское войско побеждать их. Но так как Полтавская битва, если понимать ее во всей сложности предшествовавших обстоятельств, есть высшее проявление гения Петра, то нужно думать, что даже в это время он еще больше верил в себя. Множество других дел его уже

решительно показывают, что прежде всего он верил в себя и в то, что может все сделать, т. е. верил в себя и в свою власть. Во многих случаях он тоже, как и Иоанн IV, не знал никакой выдержки, с той лишь разницей, что не знал ни страха, ни хитростей Иоанна, а действовал смело и прямо. Иные дела его даже совершенно сближают с Иоанном. Он, ничем не стесняясь, отверг законную жену и поставил на ее место Екатерину. Он погубил своего сына, подорвал даже в принципе правильность престолонаследия и, можно сказать, что, умирая, бросил Россию на произвол судьбы.

Эти факты совершенно достаточны, чтобы видеть, что Петр не знал сдержки, т. е. что в его делах было слишком мало сердечного и нравственного отношения к действительной, живой России<sup>628</sup>. После этого понятно, что какова бы ни была его вера в русский народ, она могла создавать в русских людях одно лишь знание, которое и оказывалось постоянно бездушным и бесплодным еще при Петре, и тем более после его смерти. Уже впоследствии русской даровитости и русской сердечности пришлось справляться с этой односторонностью Петровских преобразований, причем сейчас же стал возникать вопрос о возврате к началам старой Руси и о восстановлении связи с русским народом, т. е. возник вопрос о самобытности русской культуры.

Сам Соловьев признает, что Петровские преобразования имели внешний характер, что русский человек и при них оставался тем же, и что он внутренне стал пересоздаваться уже около половины XVIII в., при Елизавете, особенно во времена Екатерины II. Но у Соловьева выходит, что так и должно было быть: преобразования начались с внешнего и сделались потом внутренними<sup>629</sup>. Можно, однако, и не держаться такого успокоительного воззрения и не ценить так легко понесенных при этом Россией потерь. Тридцать семь лет Петр нагромождал в России преобразования, большей частью помимо всякой нравственности, всякой сердечности и всякого уважения к живому организму России. Преобразования оказались внешними, подлежащими разбору, и, разбираясь в них, Россия дошла до бироновщины, и только спустя полстолетия с лишним

от начала этих преобразований начала разбираться в них действительно в своих интересах, и то с величайшим трудом и не прочным успехом, как это доказали дела Петра III и много других последующих дел. В то значительное время, когда накапливались преобразования и мы начали в них разбираться, можно было сделать многое и для возбуждения русской мысли и для нравственного подъема России, и как велик был бы Петр, если бы наши злосчастные смуты времен Софии и иноземные опричники не отвратили его от уважения и любви к живому организму Русского государства, русского народа.

Наш исторический Петр велик в добре и велик в зле. Без иноземных и своих опричников он, без сомнения, был бы более велик в добре и менее велик во зле. Справедливость этого вывода мы увидим и ниже в истории России после Петра.

Время после Петра, насколько оно рассмотрено Соловьевым, представляет у него тот же процесс движения к усвоению Западноевропейской цивилизации, затрудняемый тоже старым нашим русским препятствием – отсталостью, косностью. Весь этот период времени – от смерти Петра I и до семидесятых годов прошедшего столетия распадается у Соловьева на два главных отдела. Сначала русские внешним образом разбираются в преобразованиях Петра. Это преимущественно время Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны. Потом процесс этот делается внутренней переработкой преобразований и обнаруживается во всей силе в славных делах Екатерины II. Резкую противоположность и противоречие этих явлений Соловьев уничтожает тем, что дает большое значение промежуточному времени Елизаветы Петровны, когда русские люди от внешнего усвоения Петровских преобразований переходили к сознанию внутреннего их значения и подготовили время Екатерины II. Подробнейшее изложение дипломатических наших сношений с Западной Европой и подробнейшее описание упорядочения нашего государственного механизма наполняют главнейшим образом последние десять томов «Истории» Соловьева, обнимающих все это время. Впрочем, по мере того, как процесс нашего движения к Западной Европе делался, по автору, более

и более внутренним нашим процессом, Соловьев более и более обращает внимание на историю просвещения и литературы того времени. История Академии наук, Московского университета, история Ломоносова и его борьба с иноземными учеными изложены весьма подробно.

Русская косность, по автору, выразилась особенно ясно в ретроградстве представителей русского народа по вопросу об освобождении крестьян, которое будто бы гораздо выше их понимала Екатерина. Впрочем, и во все время XVIII века русская косность сказывалась в неумении или нерадении касательно исполнения постановлений и предначертаний правительства, которое постоянно должно было бороться с этими русскими недугами. Этим выдерживался тот коренной взгляд Соловьева, что движущая цивилизационная сила неизменно сохранялась в государственной, правительственной русской среде. При проведении этого взгляда Соловьев, однако, встретил и в XVIII веке несколько больших камней преткновения. Самые большие из них – это, во-первых, бироновщина, когда русское правительство было в руках иноземца, сделавшегося после смерти Анны Иоанновны правителем Русского государства, как бы от имени балтийских немцев, у которых он был курляндским герцогом, и, во-вторых, кратковременная, но тоже оскорбительная гольштинщина Петра III, безрассудно оскорблявшего все русское и с самоотвержением служившего интересам недавно тогда побитого и смиренного нами прусского короля Фридриха II.

Соловьев признает всю силу народного бедствия и унижения в этих двух явлениях. О времени Бирона он говорит: «...оно навсегда останется самым темным временем в нашей истории XVIII века, ибо дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях: народный дух страдал, чувствовалась измена основному жизненному правилу Великого преобразователя, чувствовалась самая темная сторона новой жизни, чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежнее иго с Востока, иго татарское. Полтавский победитель был принижен, рабствовал Бирону, который говорил: вы русские»<sup>630</sup>...



Характеризуя положение России при том же Бироне, когда он был уже регентом малолетнего преемника Анны Иоанновны – Ивана Антоновича, Соловьев еще резче отзывается о Бироне, как об оскорбителе самого принципа русской государственной власти. «Тяжел был Бирон,— говорит он, — как фаворит, как фаворит-иноземец; но все же он тогда не светил собственным светом, и хотя имел сильное влияние на дела, однако, довольствуясь знатным чином придворным, не имел правительственного значения. Но теперь этот самый ненавистный фаворит-иноземец, на которого складывались все бедствия прошлого тяжелого царствования, становится правителем самостоятельным; эта тень, наброшенная на царствование Анны, этот позор ее становится полноправным преемником ее власти; власть царей русских, власть Петра Великого в руках иноземца, ненавидимого за вред, им причиненный, презираемого за бездарность, за то средство, которым он поднялся на высоту. Бывали для России позорные времена: обманщики стремились к верховной власти и овладевали ею; но они, по крайней мере, обманывали, прикрывались священным именем законных наследников престола. Недавно противники преобразования (астраханцы, донцы, особенно раскольники) называли преобразователя иноземцем, подкидышем в семье русских царей; но другие, и лучшие люди, смеялись над этими баснями. А теперь, въявь, без прикрытия, иноземец, иноверец самовластно управляет Россией и будет управлять семнадцать лет – по какому праву? Потому только, что был фаворитом покойной императрицы! Какими глазами православный русский мог теперь смотреть на торжествующего раскольника? Россия была подарена безнравственному иноземцу, как цена позорной связи! Этого переносить было нельзя»<sup>631</sup>.

Но как же объяснить это чудовищное явление, возникшее так скоро после Петра, в такой тесной связи с предшествовавшими меньшего значения явлениями, и главное, возникшее при жизни еще многочисленных петровских людей, петровских птенцов, как их называет Соловьев? На них-то прежде всего Соловьев и сваливает эту беду. «Птенцы его

(Петра) завели усобицы, начали вытеснять друг друга, ряды их разрешили, а этим воспользовались иностранцы и пробрались до высших мест»<sup>632</sup>. При этом Соловьев осуждает несчастную попытку русских 1730 г. ограничить самодержавную власть, попытку, которая нанесла тяжкий удар русским фамилиям, стоявшим наверху, и этим помогла иноземцам еще более усилить свою власть<sup>633</sup>. Но кроме этой вины, Соловьев находит еще более общую вину или, правильнее, причину такого грустного господства иноземцев. Тут уже выступает весь русский народ и рядом с ним – как бы историческая необходимость. «Самая сильная опасность, – говорит он, – при переходе русского народа из древней истории в новую, из возраста чувства в возраст мысли и знания, из жизни домашней, замкнутой в жизнь общественную народов – главная опасность при этом заключалась в отношении к чужим народам, опередившим в деле знания, у которых, поэтому, надобно было учиться. В этом-то ученическом положении относительно чужих живых народов и заключалась опасность для силы и самостоятельности русского народа, ибо как соединить положение ученика со свободой, самостоятельностью в отношении к учителю, как избежать при этом подчинения, подражания? Примером служили крайности подчинения западных европейских народов своим учителям – грекам и римлянам, когда они в эпоху Возрождения совершали такой же переход, какой русские совершили в эпоху Преобразования, с тем различием, что опасность подчинения уменьшалась для западных народов тем, что они подчинялись народам мертвым, тогда как русский народ должен был учиться у живых учителей»<sup>634</sup>.

Следовательно, русским преобразователям никогда не следовало забывать этой опасности, строго различать ремесленную и духовную западноевропейскую культуру, и не только не насиловать русских во имя преобразований по чужим образцам, а, напротив, давать возможно больший простор их собственной русской самодетельности и сдерживать страстные порывы к усвоению иноземного, особенно в такой стране, где власть так много значит. Соловьев бросает в эту сторону лишь

одну тень и то собственно для оправдания Петра. Он осуждает правительства ближайших преемников Петра за то, что они отступили от петровского правила не назначать на высшие места иностранцев.

Как неожиданно, однако, могла подкрасться эта опасность для национального развития, это лучше всего доказали дела Петра III. 14-летний мальчик, взятый ко двору такой русской и благочестивой государыней, как Елизавета Петровна, и при таком развитии, в смысле национальном, обществе, каким казалось русское того времени, Петр III мало того, что оказался вскоре развратным человеком, проводившим время в возмутительных открытых оргиях, но оказался жестоким оскорбителем русской народности и даже русской веры. Гольштинцы сделались первыми людьми в русском войске; прусский посланник Гольц управлял Россией. Соловьев с чисто русской точки зрения возмущается и этим позорным явлением нашей истории XVIII века, особенно унижением достоинства России перед Фридрихом II, и щедро черпает известия о безобразиях Петра III, из показаний современника и очевидца этих безобразий – Болотова и других<sup>635</sup>. Соловьев даже рисует нам картину всеобщего тогда в России ропота и усилий многих русских отклонить Петра III от его безрассудств, следовательно, корень этого зла был, по его же взгляду, не в русском обществе и народе. Но где же он и где та почва на Руси, в которой этот корень нашел... хотя бы некоторое укрепление и пищу? Соловьев не дает на это никакого ответа, а ответ должен быть. Он заключается в том, что страшная ломка России Петром для введения в нее всего иноземного, повергла ее как бы в летаргию и развила привычку к ломке и в русских, и в иноземцах. Потому-то ее и возможно было совершать, даже в такое русское, народное время, как время елизаветинское, и такому ничтожному человеку, как Петр III.

Силу этого ответа легко измерить следующими свидетельствами, приведенными у самого же Соловьева. Известный проповедник Митрополит Амвросий в проповеди на день рождения Елизаветы, сказанной 18 декабря 1741 г., характеризуя только что тогда павшее господство иноземцев в

России времени Бирона, между прочим, говорит, что они постоянно заводили речь об ученых людях с тем, чтобы, узнав таковых между русскими, погубить их, но не одними учеными они ограничивали свою адскую тактику. «Был ли кто из русских, – говорит он, – искусный, например, художник, инженер, архитектор или солдат старый, а наипаче ежели он был ученик Петра Великого: тут они тысячу способов придумывали, как бы его уловить, к делу какому-нибудь привязать, под интерес подвести и, таким образом, или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надобно необходимо и самому умереть от голода, за то одно, что он инженер, что он архитектор, что он ученик Петра Великого»... После перечисления разных мук оратор заключает: «Кратко сказать: всех людей добрых, простосердечных, государству доброжелательных и отечеству весьма нужных и потребных, под разными претекстами губили, разоряли и вовсе искореняли, а равных себе безбожников, бессовестных грабителей, казны государственной похитителей весьма любили, ублажали, почитали, в ранги великие производили и прочее»<sup>636</sup>. О времени Петра III в первом Манифесте Екатерины II (28 и 29 июня 1762 г.) говорится: «Всем прямым сынам отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась самым делом, а именно, закон наш православный греческий прежде всего восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что Церковь наша Греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменой древнего в России Православия и принятием иноверного закона. Второе, слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, через многое свое кровопролитие, заключением нового мира с самым ее злодеем (прусским королем) отдана уже действительно в совершенное порабощение, а между тем, внутренние порядки, составляющие целость всего нашего отечества, совсем испровержены»<sup>637</sup>.

Как бы ни ослаблять силу этих свидетельств<sup>638</sup>, она все-таки останется очень великой. Это видно из следующих фактов. Манифест Екатерины распространился по Западной России, где

всегда особенно чутки к направлению русской политики, и произвел такое действие, что на коронацию Екатерины прибыл белорусский епископ Георгий Конисский и в восторженной речи приветствовал ее от имени своей паствы, которую объявлял верноподданной Екатерине и призывал новую императрицу взять под свою защиту белорусов, а униатские власти в Западной России так были встревожены этим Манифестом, что внесли его в число документов своего Архива. Ликования в Восточной России по поводу вступления на престол Екатерины общеизвестны. Смысл всех ликований и в Западной, и в Восточной России по поводу вступления на престол Екатерины общеизвестен. Все радовались тому, что оскорбления русской народности прекращаются, что отныне будет опять русское направление.

Новая государыня прямо и заявила, что будет охранять и веру, и народность русскую. (Это ясно сказано во втором манифесте от 6 июля 1762 г.). Кроме того, известно, что Екатерина, подобно Елизавете, даже еще более чем Елизавета, выдвинута чисто русскими людьми. Таким образом, принцип народности оказался первой основой русской государственной жизни и был признан таковым двумя лучшими правительствами России XVII века, и принцип не отвлеченный, слабо очерченный, а действительный русский принцип.

С этой-то точки зрения должна рассматриваться вся история России XVIII века, и тогда самым важным временем будет время Елизаветы Петровны, при которой нужды русской народности впервые после долгого времени освещены были ясным сознанием и которую только родство с Петром удерживало от еще более решительного разрыва с его делами. Время до Елизаветы должно быть признано неумолимым обличением дурной стороны Петровских преобразований, а время Екатерины II – неоспоримым доказательством, как трудно оправдать теорию, что идеал цивилизации России – в Западной Европе. Недаром лучшие русские люди времени Екатерины, как Болтин, заговорили об особности России от Западной Европы и о различии их культур. Впрочем, и через всю историю XVIII века систематически проходят некоторые общие идеи, как бы уже

независимо от направления того или другого царствования. Это постепенное выделение интеллигентной личности и уничтожение личности крестьянина, а корень того и другого – крепостное право, освещенное западноевропейскими воззрениями. На высшей степени развития личных прав при Екатерине русский дворянин сказался страстным поборником крепостного права и даже заразившим этой страстью другие сословия. Соловьев по обычаю видит в этом русскую отсталость. Но такой ответ не может удовлетворять научным требованиям и заставляет искать для этих явлений и всей истории XVIII века других объяснений.

И стрелецкие волнения во время первой поездки Петра (1697 и 1698 гг.) за границу, и астраханский (1705 г.) бунт после торжественного призыва иностранцев в Россию, а тем более булавинский бунт 1707 г. ввиду вторгающегося в Россию неприятеля – шведов, ясно показывали, что Петр в своих преобразованиях идет не народным путем. Петр ясно понимал силу грозного указания своего народа. В 1705 г., когда начался астраханский бунт, Петр думал, что бунт этот может не только разлиться по югу России, но и захватить Москву, потому приказывал вывезти из Москвы казну и оружие или скрыть где-либо<sup>639</sup>. Но никогда разлад между старой и новой петровской Россией не раскрывался перед Петром яснее, как в 1718 и 1719 годах, во время судного дела над царевичем Алексеем Петровичем. Петр после стольких лет труда для преобразований увидел перед собой неисчислимых врагов уже не в среде лишь раскольников, казаков, крестьян, но и в среде духовенства, в среде чиновных и знатных людей. Попадались даже некоторые члены таких родов, которые всей своей историей новых времен привязаны были к Петру, как один из Долгоруких<sup>640</sup> и один из Нарышкиных<sup>641</sup>. И во главе всех их – родной сын Петра, Алексей Петрович, законный его наследник! Даже из могучей и малосердечной груди Петра вырвался тогда тяжкий стон: «Страдаю, а все за отечество, желая ему полезное; враги пакости мне дают демонские; труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо, Бог зрит правду»<sup>642</sup>. Но прежде суда Божия и суда истории, которой дело его стало ведомо, и, между прочим, ведомо стало и то, что

расправа с Алексеем Петровичем находится в связи с рождением Екатериной нового наследника престола Павла Петровича (вскоре скончавшегося), Петр сам разобрал это дело и дал такую правду своим врагам во всех их сословиях, что поразил Россию новым и еще большим ужасом. Под влиянием этих событий новые петровские люди, и свои, и чужие, сдвинулись уже помимо всяких национальных счетов и дали новую силу логике Петровских преобразований – подавлению всего русского и укреплению всего иноземного. Результатом этого было возведение на престол Екатерины I и сейчас же два удара в самые основания петровского знания – Верховный совет над Сенатом<sup>643</sup>, и вместе с тем в этом Совете рядом с русскими засели иноземец Остерман и даже иноземный принц – зять Екатерины, герцог Гольштинский<sup>644</sup>, который занимал в нем первенствующее положение<sup>645</sup> и даже заслонял Петра Алексеевича<sup>646</sup>.

Эти смелые шаги сопровождались уступками, доказывавшими великую слабость нового правительства и способность его делать и дальше отречение от петровских взглядов. Это правительство начало опасную игру – задабривание войска как единственной его охраны и, без сомнения, в связи с этим оно стало заботиться об облегчении тягостей изнуренного народа. Но никакие хитрости не могли отвлечь внимания русского народа от главнейшей его заботы – единственном наследнике русского престола – малолетнем Петре Алексеевиче. Старая, по-видимому, задавленная Россия сказывалась и теперь. Все это видели и основательно узнавали из подметных писем<sup>647</sup>. Пришлось думать о сделках с этой старой Россией. Хитрейший из немцев Остерман придумал замысловатый план разделить совсем старую Россию и новую – коренную Россию и инородческие северо-западные приобретения Петра – Прибалтийский край, и предлагал сделать в первой императором Петра, а во второй – правительницей Елизавету. Для видимого единства этих частей России предполагалось женить Петра-племянника на Елизавете – родной тетке с таким, однако, условием, чтобы новая Россия перешла в потомство Анны Петровны, т. е. принца

Гольштинского<sup>648</sup>. Но эта хитрость была уже слишком хитрой<sup>649</sup>. Ее бросили, и устроена была, хотя с другой затаенной мыслью, но, по-видимому, прямая сделка со старой Россией признанием просто наследником Екатерины малолетнего Петра Алексеевича, который и сделан императором после смерти Екатерины под главнейшим руководством самого дурного русского – Меншикова, возмечтавшего быть тестем императора, и самого коварного иноземца – Остермана. Нет ничего удивительного, что Долгорукие перебили у них Петра столь же низкими средствами и тоже обсчитались, потому что мальчик не вынес разгульного потворства и погиб.

После такого чудовищного превращения верховников во временщиков, прикасавшихся к самому русскому самодержавному венцу, совершенно естественно случилось, что в среде их явилась мысль упрочить свое положение и для этого ограничить русское самодержавие. Но замечательно, что к этим дурным замыслам присоединилась чисто русская заботливость как-нибудь устроить дела России и оградить их от случайных перемен. Поэтому замысел верховников заражает все остальные петровские ранги – военные и гражданские, все шляхетство, составляются кружки, пишутся проекты устройства России по образцу западноевропейских конституций. Но это естественное развитие петровских заимствований с Запада и, в частности, это естественное развитие Верховного совета и примесь чисто русских стремлений не представляют стройности. Старые и новые люди, верхние и нижние – в разброде. Верховники опережают шляхетство и предлагают Анне Иоанновне ограничительные условия; но вместе с этими условиями полетело в Митаву и опередило их известие из низших сфер шляхетства, что условия не всеми приняты и не могут иметь силы. Среди этого разброда стройно, согласно ведется третья работа. Русский архиерей, недостойный этого имени, Феофан Прокопович и известный нам иноземец Остерман работают тоже в пользу Русского самодержавия, призывают к содействию русскую гвардию и сверх ожидания и верховников, и большинства шляхетства восстанавливают Русское самодержавие<sup>650</sup>. Подготовилась неизбежная опала



русским людям и старой и новой России, и верхних и нижних чинов. Их сословию, впрочем, брошена была западноевропейская милость – не служить государству всю жизнь, а только определенный (25 лет) срок, следовательно, владеть крепостными и после своего раскрепощения по сословной привилегии. Замечательно, что полную свободу от службы дал русскому дворянству другой посрамитель России – Петр III. Расчищен путь Бирону не только к могуществу фаворита, но и к управлению Россией в качестве регента<sup>651</sup>. Русское самодержавие страшно посрамлено, русские войска при внешнем благоустройстве превращены Минихом в ничего не стоящее пушечное мясо для пустых военных предприятий; повержена в унижение и опасность родная дочь Петра – Елизавета Петровна.

Вот в этом-то унижении, в низменной среде простых людей устроилось первое народное примирение лучших петровских дел и старой России; тут же завязался вновь узел и тесной народной связи Западной и Восточной России. Сам Соловьев, хотя не без оттенка своих воззрений, прекрасно описывает эту народную связь. «Опальное положение, – говорит он, – уединенная жизнь Елизаветы при Анне послужили к выгоде цесаревны. Молодая, ветреная, шаловливая красавица, возбуждавшая разные чувства, кроме чувства уважения, исчезла. Елизавета возмужала, сохранив свою красоту, получившую теперь спокойный, величественный, царственный характер. Редко, в торжественных случаях являлась она пред народом прекрасная, ласковая, величественная, спокойная, печальная; являлась как молчаливый протест против тяжелого, оскорбительного для народной чести настоящего, как живое и прекрасное напоминание о славном прошлом, которое теперь уже становилось не только славным, но и счастливым прошлым. Теперь уже при виде Елизаветы возбуждалось умиление, уважение, печаль; тяжелая участь дала ей право на возбуждение этих чувств, тем более, что вместе с дочерью Петра все русские были в беде, опале; а тут еще слухи, что нет добрее и ласковее матушки цесаревны Елизаветы Петровны»<sup>652</sup>. Об этой доброте лучше всего знали в народе

благодаря тому, что главный доход Елизавета имела со своих имений, которыми сама много занималась<sup>653</sup>. Гвардейцы, которых ласкала Екатерина I, которые восстановили самодержавие Анны Иоанновны, гвардейцы выдвинули на законное место и Елизавету Петровну, но уже с чисто русским знаменем, поэтому за гвардейцами пошли и плотно окружили престол Елизаветы вообще русские люди. Русское разумение проникало и явными, и незримыми путями во все дела. Русская политика пошла по совершенно новому пути – поколеблен был главный корень славянской напасти – Пруссия. Русские войска смирили Фридриха II. Тронут был, хотя, по-видимому, нечувствительно, другой корень славянской напасти – Австрия, откуда пошли славянские колонисты для пустынного юга России. В Западной России, в пределах Польского Королевства, во многих церквах не только православных, но и считавшихся униатскими, к ужасу униатов и латинян, поминалась, как природная государыня, Елизавета Петровна, а также Русский Святейший Синод. Заговорил оглушающим иноземцев словом в Академии наук наш холмогорский рыбак – Ломоносов и возник в средоточии России – Москве действительный рассадник высшего знания – Московский университет. В конце царствования Елизаветы Петровны стала как бы носиться слабая мысль о русском земстве и призывались русские депутаты для внутреннего благоустройства России – для составления Уложения. Животворность и обаяние русского народного направления были так ясны и способны увлекать, что проникли в душу немки Екатерины – будущей императрицы, а теперь цесаревны, имевшей немало времени приглядеться к делам и понять их, так что впоследствии она явно исполняла программу Елизаветы с необыкновенным умом, но без той русской сердечности, какой обладала Елизавета.

Сама же Екатерина в своем Наказе свидетельствует, что «двадцать лет государствования Елизаветы Петровны подают отцам народов пример к подражанию изящнейший, нежели самые блистательные завоевания»<sup>654</sup>. Сам Соловьев, великий поклонник Екатерины, прекрасно воздает должное Елизавете. «Россия пришла в себя», – говорит он о времени Елизаветы.

«Народная деятельность распеленывается уничтожением внутренних таможен; банки являются на помощь землевладельцу и купцу; на Востоке начинается сильная разработка рудных богатств; торговля со Средней Азией принимает обширные размеры; южные степи получают из-за границы население, однородное с главным населением, поэтому легко с ним сливающееся, а не чуждое, которое не переваривается в народном теле; учреждается генеральное межевание; вопрос о монастырском землевладении приготовлен к решению в тесной связи с благотворительными учреждениями; народ, пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя, и является литература, является язык, достойный говорящего о себе народа, являются писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, является народный театр, журнал, в старой Москве основывается университет. Человек, гибнувший прежде под топором палача, становится полезным работником в стране, которая более чем какая-либо другая нуждается в рабочей силе; попытка заботливо устраняется при первой возможности и таким образом на практике готовится ее уничтожение; для будущего времени готовится новое поколение, воспитанное уже в других правилах и привычках, чем те, которые господствовали в прежние царствования, воспитывается, готовится целый ряд деятелей, которые сделают знаменитым царствование Екатерины II»<sup>655</sup>.

Но Елизавета Петровна, так счастливо мирившая старую допетровскую, и новую петровскую Россию, не имела сил стать выше той и другой по вопросу крестьянскому. Напротив, буря, выдвинувшая ее, поставила ее в зависимость от выдвинувших, и она щедро оплачивала эту услугу пожалованием крепостных, т. е. переводом государственных крестьян в положение помещичьих, чему усердно подражала и Екатерина II. Впрочем, нравственное народное успокоение отразилось и на крестьянах. Многочисленные частные крестьянские восстания при Елизавете не имели политического характера. Поразительная прямота и благодушие равно выражались и крестьянами, и

правительством, так что эти волнения как будто ничего общего не имеют с ужасным бунтом Пугачева.

Другой темной стороной елизаветинского времени было то, что наша русская интеллигенция, заразившись страстью к иноземству, не могла побороть ее и потому переместила лишь центр тяжести для удовлетворения этой страсти. До того времени господствующим у нас типом иноземной цивилизации был немецкий. При Елизавете шли против немцев, но нашли другие нации для подражания – итальянскую, английскую, особенно французскую. По этому пути тоже пошла Екатерина. Всем известна ее дружба с французскими философами и развитие у нас так называемого волтерианства. Соловьев освещает это направление со своей обычной точки зрения. Приступая к обзору просвещения в последние годы Елизаветы и в первые – Екатерины, он говорит о развитии литературы этого периода, что оно не могло совершаться независимо: «Россия вошла уже в общую жизнь Европы, вошла недавно, и потому... все внимание ее обращено было на Запад, к народам старшим по цивилизации, следовательно, русская мысль и ее выражение не могли остаться без сильного влияния умственной жизни на Западе. Западная умственная жизнь, как при Елизавете, так и при Екатерине находилась в одинаковых условиях, находилась под влиянием французской литературы, следовательно, это же влияние должно было заметным образом отразиться и в русской умственной жизни»<sup>656</sup>.

Обе эти темные стороны елизаветинского времени – крепостное состояние и проникновение в нашу интеллигенцию западноевропейских начал жизни – сказались и развились при Екатерине, которую мы так часто упоминаем. Екатерина II была интеллигентной государыней, даже независимо от своего немецкого происхождения. Она еще больше Елизаветы обязана была лицам, ее выдвинувшим, и гораздо дольше Елизаветы имела в них нужду, потому что кроме катастрофы своего мужа она создала себе еще затруднение в своем сыне, Павле, которого держала в черном теле даже во время его полного совершеннолетия. Всем известны ее славные дела; но если беспристрастно присмотреться к этим делам, то окажется, что

лучи этой славы меньше падали на действительную русскую землю, чем должны были бы и могли падать.

Елизаветинские отношения к Пруссии Екатериной испорчены. Прусский король, «злодей» в первом Манифесте Екатерины, стал вскоре ее другом и очень усилившимся другом. Польский вопрос из-за этого друга решаем был три раза вместо одного, как подготовил было его сам русский народ, да и в три раза он был разрешен самым выгодным образом для немцев и вредно для России. Ниже мы покажем яснее эту сторону екатерининского решения польского вопроса.

Славное завоевание Крыма и береговой Черноморской области Турции испорчены немецкой колонизацией и непониманием славянского вопроса. При надлежащем понимании русского и славянского вопросов иноземная Одесса нашего времени была бы невозможна, все наше побережье Черного моря было бы плотно усажено русским и славянским элементами и Нижний Дунай, по всей вероятности, давно был бы в русских руках.

Говоря все это, мы, конечно, не думаем отвергать значения ни того, что тогда возвращены русскому народу северные берега Черного моря, ни того, что славными нашими победами мы подорвали силу Турции и показали всем славянам нашу, родную им, силу и опору. Еще менее можно подвергать сомнению то, что при Екатерине русский кругозор далеко расширился, русская энергия сильно была возбуждена вновь и, что особенно важно, то и другое делалось и более свободно и более сердечно, чем при Петре. Внутреннее достоинство русской народности выступало яснее и яснее, и привлекало к себе не только внимание, но и уважение. Даже иезуиты взялись вести воспитание в русском духе и на русском языке, а белорусские униаты из сил выбивались, чтобы доказать, что они могут лучше вести это дело, потому что они более русские, чем иезуиты. Это небывалый успех русского национального развития, от которого мы далеки и теперь<sup>657</sup>. Еще более ценны заботы Екатерины о просвещении и та общественная свобода, какая при ней была.

В этом отношении время Екатерины нужно назвать блестящим, даже более чем елизаветинское, и оба эти периода имеют необыкновенно важное у нас историческое значение. Наша история, особенно времен московской и петровской государственности, была слишком часто пагубной для нашей интеллигенции. Такие разгромы, как татарский Иоанна IV, Смутного времени, стрелецких бунтов, петровский и бироновский были жестоким понижением Русской цивилизации уже по тому одному, что загубили слишком много образованных по тому времени русских людей – двигателей русской мысли и жизни. Времена Елизаветы и Екатерины, как и времена первых Романовых, были отдыхом для русской интеллигенции, как мы уже и прежде указывали, дали ей возможность возродиться и в физическом, и в нравственном смысле. Но никогда не нужно забывать, что все это блага – главнейшим образом интеллигентные и что рядом с ними не только существовало, но и постоянно усиливалось старое страшное зло – крепостное право.

Соловьев с особенной силой выставляет высоту взглядов Екатерины по этому самому вопросу – крестьянскому. Он обращает внимание на историю екатерининской премии в Вольном экономическом обществе за сочинение об освобождении крестьян и еще более – на историю этого вопроса в Комиссии по составлению Уложения. Соловьев осветил это дело даже с новой стороны. Он обратил внимание на сохранившийся черновой отрывок Наказа Екатерины касательно крестьян, измененный поправками разных лиц, которых она приглашала для этого еще до открытия заседаний Комиссии. Собирая в одно место черновые рукописи, выпущенные в печатном Наказе, мы можем составить понятие о плане Екатерины касательно освобождения крестьян. Екатерина различает в русском крестьянстве собственно крестьян, сидящих на земле, и дворовых, или по ее словам: «Два рода покорностей: одна существенная (имущественная), другая личная», т. е. крестьянство и холопство. Касательно крестьянства существенного или имущественного Екатерина предполагает запретить перевод их во двор, т. е. сдвигать

крестьянина с земли, перенести право суда над ним в сферу правительства и сферу выборных от самих крестьян и определить право выкупа на волю. Касательно холопов или дворовых Екатерина предполагает принять меры, чтобы этот разряд людей не увеличивался, чтобы некоторые службы у владеющих рабами исполнялись свободными людьми и чтобы крайние случаи злоупотреблений властью над рабами, как насилие над женщиной-рабой, вели к освобождению целой семьи раба. Наконец, в отрывке ставится общий вопрос, полезно ли государству иметь рабов. Вопросы об освобождении крестьян с землей не видно. Замечательно, что, касаясь истории крепостных, Екатерина в своем Наказе указывает на случаи из римской истории, особенно из немецкой, но вовсе не обращается к древней русской истории.

Взгляды Екатерины на освобождение крестьян выясняются еще в ее заботах подготовить научным образом решение этого вопроса. Мы разумеем премию Вольному экономическому обществу за сочинение на тему: в чем состоит собственность земледельца – в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то или другое для пользы общественной иметь может? В числе ответов на эту тему были и такие, в которых доказывалось право русских крестьян на землю, как например, сочинение Поленова. Из научного разъяснения вопроса о крепостном состоянии, насколько оно могло быть известно Екатерине до окончания ею Наказа, она остановилась на старом немецком крестьянстве, сидевшем прочно на земле помещика и знавшем лишь определенные повинности, но не превращаемом в холопство. Это только и вошло в Наказ. То, что мысль об освобождении крестьян с землей не прошла в екатерининский черновой Наказ, ясно показывает, что Екатерина не освоилась с этой мыслью или, лучше сказать, Екатерина, смелая при решении вопросов в теоретической области, за что могла стяжать славу у западноевропейских философов и публицистов, в жизни практической была по этому делу очень не смела и весьма далека от признания свободы русского крестьянина. Но и теоретическая ее смелость часто совсем исчезала во время,

например, гайдамацкой смуты и Пугачевского бунта. Смелость эта испарялась, как нечто случайное, а для русской практической жизни и для истории осталась та логичность, что, как в начале своего царствования Екатерина объявляла нормальными сословия господ и крепостных, так и во все свое царствование охраняла такое положение<sup>658</sup>. В этом отношении Екатерина стояла рядом с большинством русских людей и это легко видеть со всей ясностью. Благодаря Комиссии для составления Уложения, высказались совершенно ясно взгляды дворян на крепостное состояние. Взгляды эти обнаружили, что не только дворянство стоит крепко за крепостное право, но что это право стало заманчивым для купцов и даже для казаков и духовных, так что в Комиссии решался собственно не тот вопрос, нужно ли освободить крестьян, а тот, можно ли дозволить или нет владение крестьянами людям, вновь вышедшим в дворянство, а также торговцам, казакам, духовным, и все эти категории русских людей не хотели отказаться от права иметь крестьян, кроме нескольких лиц из дворян, однодворцев и крестьян<sup>659</sup>; были даже защитники продажи крестьян без земли и поодиночке и владения ими тоже поодиночке, как настоящими невольниками, рабами. «Такое решение вопроса о крепостном состоянии, – говорит Соловьев, – выборными русской земли в половине прошлого века происходило от неразвитости нравственной, политической и экономической»<sup>660</sup>. Затем Соловьев поясняет всю эту неразвитость России остатками старого допетровского строя, благодаря чему русское общество и при Екатерине жило еще в том периоде, где рабство составляет обычное явление<sup>661</sup>.

В действительности было совсем иначе. Крепостное право у нас систематически усиливалось с усилением Петровских преобразований и с усвоением нашей интеллигенцией западноевропейского идеала благородного человека. Петровские указы о переписи и подушной подати, понижая крестьян, имели одну, по-видимому, хорошую сторону: они холопов поднимали до равноправности перед государством с крестьянами. С них, как и с крестьян, шла подать; из них, как и из крестьян, брались рекруты. Но с этими указами случилось



неожиданное превращение. Не холопы поднялись до крестьян, а крестьяне спустились до холопов. Помещики чаще и чаще после этих указов стали сдвигать крестьян с земли то для своих дворовых услуг, то для продажи даже врозь. Конечно, попытки к этому бывали и прежде, до Петра. Такие сродные учреждения, как холопство и крепостное крестьянство, существуя рядом, не могли не смешиваться. Но в старой Руси еще совестились делать такие дела, и приказный дьяк даже о переводе крестьян с земли замечал, что на это закона нет, а сделано это по разрешению государя. Петр же прямо вызвал на это помещиков. Русские помещики за подрыв их собственности в холопстве вознаграждали себя притянутыми к ним новой силой крестьянам. Вызвал Петр их на это и другим путем. Он возложил на помещиков ответственность за неисправность крестьян в государственных податях и рекрутстве. Это было негласным перенесением государственных повинностей с крестьян на их помещиков, а это везде и всегда необходимо низводило крестьян в положение рабов. На Руси это подорвало так называемую круговую поруку крестьян, которая была тяжела, но и ограждала крестьян от холопства. Наконец, Петр сам давал пример для смешения крестьян с холопами. Всех русских он сдвигал со старых мест и ставил на новые, всех отрывал от старой привычной работы и усаживал за новую. Каким же образом могли удержаться от подражания Петру владельцы крепостных? Подрыв холопски собственности без оговорки, что так и следует быть, и ответственность помещиков за крестьян без оговорки, что она не дает права на обезземеление их, были прямыми вызовами на смешение тех и других, и вызовом тем более сильным, что сам Петр все смешивал и объединял без разбора и сдержки. Не забудем, что Петр даже свободным простым людям, не вошедшим в другие сословия, приказывал куда-либо приписываться в крестьянство, т. е. закрепощать себя. Если можно было закрепощать свободного человека, то почему же крестьянина не делать холопом? А раз крестьяне смешаны с холопами, раскрывалось во всей ясности громадное расстояние между помещиком и крестьянином. Тут действовали уже заодно и старые русские

понятия о холопстве, и новые петровские понятия о шляхетстве. Недаром это последнее слово перешло к нам при Петре из Польши и повлекло за собой и свой антитез – подлый народ. И чем больше после Петра развивалось наше русское шляхетство и от польского образца переходило к западноевропейскому, переименовывалось в благородное сословие, тем больше понижалось наше крестьянство, и в екатерининские времена представители благородного нашего сословия уже прямо переименовывали крестьянство в рабство, крестьян в рабов. Владение рабами даже открыто признавалось неотъемлемой привилегией этого благородного сословия. Это высказывал прямо известный нам Щербатов и взгляды его, как мы знаем, отразились на Карамзине. Но эта привилегия сделалась очень спорной, и трудно было уловить, где ее конец.

Петровская выслуга по личным достоинствам, несмотря на сословное происхождение, петровская Табель о рангах выводили в благородное сословие и военным и гражданским путем людей низших сословий, даже крестьян и бывших холопов. Все они вместе с тем получали право на владение крестьянами. Далее, петровские заботы о развитии заводов заставили создать заводских крестьян, которые таким образом часто оказывались крепостными торговых людей. Наконец, малороссийские казаки вынесли из борьбы с Польшей страсть тоже владеть крестьянами.

Все это было совершенно логично и, как видим, стоит в неразрывной связи с явлениями новой, петровской России. Но это доводило русское крепостное состояние до чудовищных крайностей. Крайность эту обнаружили немало защитники продажи крестьян врозь. Но во всей наготе раскрыли ее представители купцов в екатерининской Комиссии. Они прямо заявляли, что для некоторых должностей им лучше иметь невольного человека, чем вольного. Невольный русский человек объявлялся более дорогим, чем вольный. Соловьев сближает это воззрение купцов с тем постановлением «Русской Правды», по которому свободный человек, идущий в ключники к кому-либо, делался рабом. Но у Соловьева же есть факт, заставляющий делать сближение совсем иное. Капитан корабля

купеческого просил сделать матросов его крепостными, потому что иначе он не может добыть матросов. Не старое русское варварство, а тягости западноевропейских у нас порядков подрывали смысл свободы низших людей и заставляли сосредоточивать ее в меньшем и меньшем числе людей. После этого нам станет понятно, почему в екатерининской Комиссии возник вопрос о сословном ограничении права владеть крестьянами и о лишении этого права не только купцов, но и выслужившихся дворян из разночинцев. Это требование получало даже вид гуманности, и такой хороший человек, как Щербатов, занял странное положение – доказывал и достоинства свободного человека, и гнусность рабства, но вовсе не для того, чтобы восстановить старую русскую свободу простого русского человека. «Обратим взоры на человечество, – говорил Щербатов, – и устыдимся одной мысли дойти до такой суровости, чтобы равный нам по природе сравнен был со скотами и по одиночке был продаваем. Мы люди, и подвластные нам крестьяне суть подобные нам. Разность случаев возвела нас на степень властителей над ними; однако мы не должны забывать, что и они суть равное нам создание. Но с этим неоспоримым правилом будет ли сходствовать такой поступок, когда господин единственно для своего прибытка возьмет от родителей кого-либо мужского или женского пола и, подобно скотине, продаст его другому. От одного этого изображения вся кровь во мне волнуется и я, конечно, не сомневаюсь, что почтенная Комиссия узаконит запрещение продавать людей поодиночке без земли. Мне удивительно, будто наемные люди не столь верны своим господам, как собственные. Это похоже на то, как если бы кто сказал, что охотнее работают поневоле, чем по склонности. Вольный человек, если мне служит, и особенное долгое время, служит независимо от жалования, по усердию, а в невольника я и проникнуть не могу, усерден он ко мне или нет. И как можно сказать, чтобы без таких невольных людей купцам невозможно обойтись, когда видим целую Европу, где никто невольных людей не имеет; однако никто не жалуется ни на невозможность обойтись без них, ни на недостаток усердия»<sup>662</sup>.

Из этих высших воззрений на продажу крестьян в одиночку и на значение вольного человека Щербатов выводил только заключение, что купцам не следует иметь невольных людей и для этого помещикам не следует продавать крестьян без земли, а тем более продавать их в одиночку. Но Щербатов не шел дальше и не отрицал права дворянства, особенно знатного, владеть крестьянами. Эту непоследовательность Щербатов устранял чисто западноевропейским понятием о дворянстве. «Государство тогда становится прочно, – говорил он, – когда оно утверждается на знатных и достаточных фамилиях, как на твердых и непоколебимых столбах, которые не могли бы снести тяжести обширного здания, если бы были слабы»<sup>663</sup>. Опорой для этих столбов Щербатов и считал владение крепостными. Но у него была еще и другая комбинация, по которой владение крестьянами должно быть сосредоточено только в дворянстве. Дворянин, по взгляду Щербатова, должен быть действительно благородным человеком и в смысле нравственном, у которого, следовательно, не должно быть дурно крестьянам, тогда как люди других сословий, по своей близости к народу и в нравственном смысле, крайне тяжелы для народа.

Таким образом, и в веке Екатерины мы видим, что русский интеллигентный человек выдвигал себя над русским крестьянином не только по своим привилегиям, но и по притязаниям на нравственное превосходство, и так как эти воззрения высказывали даже такие развитые люди, как Щербатов, то может ли еще быть сомнение в том, что петровское расстояние между шляхетством и подлым народом не уменьшилось, а, напротив, еще больше увеличилось<sup>664</sup>. Шляхетство теперь старалось даже вытеснить промежуточные элементы между ним и подлым народом – выслужившихся разночинцев и таким образом вырыть еще большую бездну между собой и крестьянством<sup>665</sup>. Неудивительно, что евреи, которые всегда наблюдают и вовремя узнают, происходит ли в какой-либо нации сословная трещина, чтобы залезть в эту трещину, возобновили при Екатерине, и не напрасно, свои хлопоты пробраться в Россию.

Лучшим доказательством, что русское общество того времени, и сама Екатерина слишком далеко стояли от народа и даже отошли от него дальше, чем были при Елизавете, служит разрешение в то время польского вопроса.

Екатерина наследовала от Елизаветы богатую подготовку для чисто русского, народного разрешения польского вопроса. Елизавета твердо стояла на исторически приобретенном Россией праве защищать православных Польского Королевства и своей народной политикой привлекла к себе весь западнорусский народ. Киев приобрел значение центра, могущественно влиявшего на всю Западную Россию. В связи с ним усилились два пункта, ближайшим образом действовавших на русский народ Польши – Переяслав, где киевский викарный Гервасий был архиереем для православных Западной Малороссии, и Могилев, где Георгий Конисский был вождем белорусов. В той и другой стране народ быстро воскресал к полной, русской жизни. За год до собрания законодательной екатерининской Комиссии в южной части польской Малороссии Гервасий с необыкновенной торжественностью, устроенной самим народом, объезжал свою паству в пределах Польши, точно не существовало Польского государства, а была это та же Россия, как и Восточная; а едва законодательная Комиссия разговорилась о крестьянстве, как малорусское крестьянство при содействии запорожских казаков стало разрушать все польское и жидовское, и это разрушение разливалось по всей стране, гнало поляков и жидов с западнорусской земли, и тем удобнее было русскому правительству взять в свои руки народное движение, что оно началось во имя его и что в то же время все панское и латинское сомкнулось в союз против России и Православия в так называемой Барской конфедерации.

Правительство Екатерины действительно взяло в свои руки то и другое движение, но усмирило то и другое не для интересов России. Страну, очищенную от барских конфедератов и от гайдамаков, усмиренных русскими войсками и даже передаваемых на муки панам, оно оставило под властью Польши, а воспользовалось всем этим лишь косвенным

образом – присоединило к себе часть Белоруссии, дозволив Пруссии и Австрии взять даром богатые провинции Польши с запада и юго-запада. Случилось это странное явление потому, что политика сразу затуманила тогда русские глаза. Россия взялась защищать не прямо православных Польши, а вообще так называемых диссидентов, т. е. православных и протестантов вместе. Это уже предрешало союз с протестантской Пруссией, за которой ввязалась и Австрия. Но такое расширение русско-польского вопроса пошло еще дальше и по другой причине. По той же страсти к политике Екатерина вмешивалась в чисто польские дела и, воображая, что имеет прочную партию в Польше, подкапывала всю Польшу в пользу немцев. Вместо того, чтобы брать от Польши русские области и защищать чистую Польшу от немцев, Екатерина действовала так, что выходило наоборот – немцы успешно добивали Польшу, а мы с поразительной косностью возвращали свои русские области. Но даже и возвращая их, мы портили их положение на отдаленные времена.

По той же страсти к политике и пристрастью к интеллигентной среде Екатерина задумала посредством Белоруссии упрочить за собой сочувствие польской интеллигенции вообще и с этой целью восстановила в этой стране иезуитский орден и вверила ему воспитание юношества. Результатом была порча и польского и даже русского юношества в Белоруссии и покушение иезуитов при Павле овладеть делами всей России.

Одновременно с восстановлением иезуитов Екатерина обнародовала свою знаменитую «Теорию религиозной веротерпимости». За это славят ее гуманность до сих пор; но несчастная Белоруссия обнаружила поражающую изнанку этой «Теории». Вследствие этой «Теории» в Белоруссии многие десятки тысяч русского народа, с нетерпением ждавшие восстановления русской власти, чтобы бросить насильно навязанную Унию и возвратиться в Православие, должны были оставаться в Унии, и Георгий Конисский восемь лет стучал в двери русского правительственного «милосердия, чтобы

дозволено было этим узникам унии выйти на свободу православной жизни».

Ненародное направление Екатерины в разрешении польского вопроса было так ясно, что даже поляки задумали воспользоваться им и поднять против русского правительства и западнорусский, и даже восточнорусский народ, мечтая возобновить Пугачевский бунт. Тогда только Екатерина решилась действовать в чисто русском духе и в чисто русских интересах. Поляки поплатились Вторым разделом, который был совершен в гораздо более русском, народном направлении. Уния снесена была с лица земли. Екатерина сознавала, что делает русское дело и даже особенным образом увековечила этот великий момент в своей жизни, изобразив на медали карту присоединенных областей с надписью: «Отторженная возвратих», что впрочем, было не верно в том смысле, что не все, отторженное когда-либо Польшей, возвращено было Руси, и даже древнее русское княжество – Галиция – было отдано чужим – Австрии.

Но мы уже говорим о делах, до рассказа о которых не допустила С.М. Соловьева неумолимая смерть. Ни о втором разделе Польши, ни о Пугачевском бунте нет рассказа в «Истории» Соловьева. Впрочем, о делах польских у Соловьева есть, как мы уже и упоминали, особое сочинение «Падение Польши». В этом сочинении, изданном в разгар последней польской смуты, т. е. в 1863 г., значительно иная постановка дела, чем в «Истории» автора. Здесь в числе причин, приведших дело Польши к печальному концу, на первом месте и прямо ставится русское, народное движение, совершившееся под религиозным знаменем<sup>666</sup>. Но затем в этом сочинении, как и в «Истории России», Соловьев собирает данные для доказательства, что мысль о разделе Польши принадлежит не России, а Пруссии, и что даже прежде всяких переговоров об этом Австрия делила для себя Польшу. Эта постановка дела вызвана у автора тем, что Пруссия и Австрия свалили всю вину за разделы Польши на Россию, и поляки до сих пор больше всего винят нас в их гибели. По нашему мнению, эту вину нужно объяснять иначе. Мысль о разделе Польши на русскую и

польскую часть всегда жила в русском народе Западной России и со времен Иоанна III высказывалась и в Восточной России, а мысль о разделе польской части Польши действительно принадлежит немцам и на Россию может лишь падать славянский укор за содействие такому разделу Польши<sup>667</sup>.

Независимо от воззрений, часто не выдерживающих критики, «История» С.М. Соловьева после Петра имеет особенное значение в своей фактической части. Она написана на основании большей частью не только новых, но и весьма малодоступных памятников. Со смертью этого даровитого историка разработка новой истории России приостановилась уже по одной этой малодоступности ее памятников, не говоря уже о том, как жаль, что смерть прервала работу такого даровитого и опытного историка. Она в значительной степени прервала и окончательное выяснение воззрений нашего историка. Уже в своей «Истории» он делает, как мы видели, многократные отступления от своих прежних воззрений, особенно в новой истории. В своих публичных чтениях и статьях отступлений этих он делает еще больше. Довольно указать, что в чтениях о Петре этот гениальный государь сливается автором с русским народом, и в делах Петра автор видит подвиг самого русского народа.

С.М. Соловьев, как и другие наши русские историки, чем дальше, тем больше входил в область чисто русских воззрений и очищал себя от иноземных взглядов. Один из лучших его учеников, К.Н. Бестужев-Рюмин в своей статье о Соловьеве даже признает, что он приближался к славянофилам, предубеждением против которых, можно сказать, проникнута вся «История России» С.М. Соловьева<sup>668</sup>. Без сомнения, это был процесс весьма мучительный для такого устойчивого писателя; но для нас, посторонних наблюдателей, это прекрасное свидетельство и возвышенности души нашего историка, и обаятельной силы основных начал нашей русской исторической жизни.



## Глава XVI. Последователи воззрений С.М. Соловьева

В теории С.М. Соловьева, как нам известно, следующие главные пункты:

1. Родовой быт в России, постепенно уступающий началу государственности.

2. Цивилизация как мировое достояние, к усвоению которой стремилась Русская государственность.

3. Природа русской земли, влиявшая на развитие и государственности, и цивилизации.

Самое большее число последователей С.М. Соловьева взяли за развитие первого начала, которое, как известно, не было самостоятельным у Соловьева, и в самом начале его деятельности разделялось уже некоторыми его сверстниками, так что Соловьев своими сочинениями давал лишь им повод высказать свои мнения.

**К.Д. Кавелин.** К числу таких именно последователей или, лучше сказать, сотрудников по разработке родового быта принадлежит бывший профессор здешнего университета К.Д. Кавелин. Его взгляды на русскую историю изложены в многочисленных статьях, собранных и изданных в 1859 г. в четырех томах, а из позднейших его статей особенного внимания заслуживает статья, напечатанная в «Вестнике Европы» за 1866 г. (месяц июнь) под заглавием «Мысли и заметки о русской истории», написанная по поводу XIII, XIV и XV томов «Истории» Соловьева и «Истории Петра Великого» Устрялова.

В теории родового начала у Соловьева, как нам известно, много неточностей. Соловьев неясно определяет род и берет для объяснения исторических явлений собственно род князей. Затем он еще слабее уясняет переход родового устройства в государственное.

К.Д. Кавелин старается пополнить эти недочеты Соловьева. Он показывает господство родового начала во всем русском народе и с особенным вниманием следит за тем, как из этого

начала вырабатывалась Русская государственность. «Многие не без основания думают, – говорит К.Д. Кавелин в 1 томе своих сочинений в статье «Взгляд на юридический быт древней России», – что образ жизни, привычки, понятия крестьян сохранили очень многое от древней Руси. Их общественный быт нисколько не похож на общественный быт образованных классов. Посмотрите же, как крестьяне понимают свои отношения между собой и другими. Помещика и всякого начальника они называют *отцом*, себя – его *детьми*. В деревне старшие летами зовут младших *ребятами*, *молодками*, младшие старших – *дядьями*, *дедами*, *тетками*, *бабками*, ровные – *братьями*, *сестрами*. Словом, все отношения между не родственниками сознаются под формами *родства* или под формами прямо из него вытекающего и необходимо с ним связанного, кровного, возрастом и летами определенного, *старшинства* или *меньшинства*... Эта терминология не введена насильственно, а сложилась сама собой в незапамятные времена. Ее источник – прежний взгляд русского человека на свои отношения к другим. Отсюда мы можем в полном праве заключить, что когда-то эти термины наверное не были только фразами, но заключали в себе полный, определенный, живой смысл; что когда-то все и не родственные отношения действительно определялись у нас по типу родственных, по началам кровного старшинства или меньшинства. А это неизбежно приводит нас к другому заключению, что в древнейшие времена русские славяне имели исключительно родственный, на одних кровных началах и отношениях основанный быт; что в эти времена о других отношениях они не имели никакого понятия, и потому, когда они появились, подвели и их под те же родственные, кровные отношения. Выражаясь как можно проще, мы скажем, что у русских славян был, следовательно, первоначально один чисто семейственный, родственный быт, без всякой чужой примеси; что русско-славянское племя образовалось в древнейшие времена исключительно путем *народнения*»<sup>669</sup>.

Здесь мы видим уже более глубокое, жизненное осмысление родового начала, и в частности – того положения

Соловьева, что у нас был кровный род. Отсюда далее – самобытность, отдельность русских племен, отсутствие у них завоевательного начала, примеси чужих элементов.

В этом быте, по Кавелину, «начало личности не существовало», семейный быт не мог воспитать в своих членах сознания своих сил и привычки отстаивать себя<sup>670</sup>. Но зато «люди жили сообща, не врозь; не было губительного различия между *моим* и *твоим* – источника последующих бедствий и пороков; все, как члены одной семьи, поддерживали, защищали друг друга, и обида, нанесенная одному, касалась всех. Такой быт должен был воспитать в русских славянах семейные добродетели: кроткие, тихие нравы, доверчивость, необыкновенное добродушие и простосердечие»<sup>671</sup>.

Род кровный после смерти родоначальника вынуждает, по словам К.Д. Кавелина, создавать старшего посредством выбора, причем более и более обозначаются и выделяются семьи, которые тоже имеют своих старших и, разрастаясь, делаются тоже родами. Таким образом являются многие родоначальники и оказывается необходимость в соглашении интересов отдельных семей, вырастающих в род, – оказывается необходимость в совещании старших, является уже община с вечевыми собраниями, и когда для защиты от врагов она огораживается в своем селении, то является город<sup>672</sup>. Главы семей, чаще и чаще выдвигаясь, разрушают значение родового главы, получают силу веча, а главы племени являются лишь для особенных случаев, как война, или если и для более постоянных дел, как суд, то не у всех племен<sup>673</sup>.

Призванные князья впервые вносят государственные идеи. С ними является новое учреждение – дружина, в которой выражается начало личности. Князья приносят систему управления, требующую податей, и систему денежных наказаний за преступления<sup>674</sup>.

Автор согласно с Соловьевым признает призванных князей норманнами и даже усиливает теорию норманнства. Согласно с нашими учеными немцами и Полевым он признает завоевательное начало нашей государственности и зачатки у нас феодализма. Его вообще поражает в делах наших первых

князей что-то чужое, враждебное коренному населению России<sup>675</sup>.

Эту печальную неестественность, эту, как выражается К.Д. Кавелин<sup>676</sup>, «прерванную нить национального развития» автор исправляет и восстанавливает указанием на тот неоспоримый факт, что призванные князья и прибывшие с ними норманны скоро исчезли в русско-славянском элементе и стали действовать по началам русской жизни, по началам родового быта, так что этот быт легче всего изучать в делах князей. Как в русских племенах, так и в среде размножившихся князей род подвергся разложению, семья стала бороться с родом. Эта борьба, произведшая известные смуты удельного периода, заставила русские общины подумать о своей защите. Они сплотились и получили даже некоторое политическое значение, особенно ясно выступившее в истории Новгорода. Но неопределенность в устройстве общин и в их отношениях к князьям не обеспечивала за ними прочного существования, Автор не выделяет в этом отношении даже Новгорода и справедливо смотрит на новгородскую вечевую самобытность лишь как на более обозначившийся тип древней русской вечевой жизни.

Между тем, вечевым общинам подготовлялся подрыв и извне. Семейное начало в среде князей более и более одолевало родовое, князья усаживаются по областям, делаются вотчинниками и распоряжаются областью, как вотчиной. Вместе с тем и дружинники из подвижного, независимого, высшего сословия делаются более и более слугами князя, правителями их вотчин. Семейное начало вело к раздроблению княжества на более и более мелкие части, причем и дружинники, и общины должны были тоже мельчать<sup>677</sup>.

Но так как в раздробившемся княжестве был тоже великий князь, то ему естественно было заботиться о том, чтобы удержать и нравственную, и материальную силу. Старший сын князя, наследник престола, во имя государственных интересов становится в положение господина, государя по отношению не только к дядьям и племянникам, но и к родным младшим братьям. Этот порядок выработался в Москве и в этом –

великая заслуга московских единоподержцев и большое значение татарского ига.

«Ярославова система, – говорит К.Д. Кавелин, – покоилась на родовом начале и раздробила Россию на княжества; семья после Андрея Боголюбского обратила княжества в вотчины, делившиеся до бесконечности. В московской системе территориальное начало получило решительный перевес над личным (в смысле семейной личности). Кровные интересы уступают место политическим; держава, ее нераздельность и сила поставлены выше семьи»<sup>678</sup>. «Московские князья, – говорит в другом месте К.Д. Кавелин, – прежде всего неограниченные, наследственные господа над своими, вотчинами; прежде всего они заботятся о том, чтобы умножить число своих имений. Лучшим средством для этого было великое – княжеское достоинство, и они стараются удержать его за собой. Единственным средством для удержания великокняжеского достоинства была милость, благоволение ханов – и они ничего не щадят, чтобы им нравиться. Как великие князья, они главные, первые между русскими князьями; но они знают, что само по себе это первенство – звук, не имеющий смысла; что только действительная сила может дать ему значение, которое недавно утратило. Ограждаемые покровительством ханов, авторитетом их власти, и опираясь на свою собственную силу, московские великие князья угнетают князей, правдой или неправдой отнимают у них владения, вмешиваются в их распри, становятся их судьями и собирают в их владениях ордынский выход»<sup>679</sup>... «Но в самом московском великом княжении скрывались еще зачатки разрушения, наследие предыдущего политического быта. Как вотчина, оно делилось на части между детьми великих князей. Старший великий князь не был сильнее прочих, получая равный с ним удел... Кровное начало, очевидно, еще мешало государству. Оставалось сделать один шаг – пожертвовать семьей государству; этот шаг и был сделан, но не вдруг. Чтобы отвратить возможное соперничество, великие князья стали давать старшему сыну бóльшую часть, а прочим меньшие. Кровные интересы начали мало-помалу уступать место

желанию сохранить и упрочить силу великого князя. В этом уже заключалась явная мысль о государстве»<sup>680</sup>.

Но личность князя и идея государства сначала едва видны под старыми, установившимися формами... «Тип вотчинного владельца, полного господина над своими имениями лежит в основании власти московского государя»<sup>681</sup>. «Но этот тип постепенно заменяется государственным. Князья принимают титул царя, венчаются на царство по византийскому образцу. Политика, войны, приобретение земель, трактаты получают разумное значение; является понятие о подданстве, о службе; улучшается управление, составляется законодательство»<sup>682</sup>. На этом пути автор особенно выделяет Иоанна IV, который будто бы выше всего ставил государственные интересы. Автор даже считает Иоанна великим государем и ставит рядом с Петром Великим<sup>683</sup>. Чтобы доказать это сходство, автор живыми красками изображает беспорядочный, сборный характер окружавших Иоанна IV бояр и служилых, не способных составить сословие и разбитых на отдельные, родовые группы, связанные лишь местничеством, затруднявшим государственные дела, и угнетавшие народ. Иоанн представляется борцом за народ, призывавшим к жизни русские общины; но и общины будто бы лишены были жизни. «За какие реформы ни принимался Иоанн, все они ему не удались, – говорит К.Д. Кавелин, – потому что в самом обществе не было еще элементов для лучшего порядка вещей»<sup>684</sup>. Это уже край гибели государства. Как же оно удержалось? Мысль о реформах, говорит автор, не умирала<sup>685</sup> и стала развиваться, хотя и медленно, после Смутного времени.

Несколько ниже автор точнее и уже не так безотрадно определяет сущность древней нашей допетровской России. Показав, как постепенно в XVII веке разбивались узы рода и высвобождалась личность<sup>686</sup>, он заключает: «Начало личности узаконилось в нашей жизни. Теперь пришла его очередь действовать и развиваться. Но как? Лицо было приготовлено древней русской историей, но только как форма, лишенная содержания. Последнего не могла дать древняя русская жизнь, все назначение и конечная задача которой только в том и

состояла, чтобы выработать начало личности, высвободить ее из-под ига природы и кровного быта. Сделавшись независимой не через себя, а как бы извне, вследствие исторической неизбежности, личность сначала еще не сознавала значения, которое она получила и потому оставалась бездеятельной, в ладу с окружающей и ей не соответствующей средой. Но это не могло долго продолжаться. Неоживленная личность должна была пробудиться к действию, почувствовать свои силы и себя поставить безусловным мерилom всего. Впрочем, вдруг она не могла сделаться самостоятельной, начать действовать во имя самой себя. Она была совершенно не развита, не имела никакого содержания, и так как оно (т. е. содержание) должно было быть принято извне, то лицо должно было начать мыслить и действовать под чужим влиянием»<sup>687</sup>.

Итак, древняя русская жизнь по Кавелину, как и по Соловьеву, или ничто в смысле культурном, или нечто отрицательное, что подлежало разрушению, уничтожению, чтобы уступить место чему-то чужому. Желая как бы очистить и облагородить путь этому чужому, К.Д. Кавелин в конце своей статьи, между прочим, выражается: «Итак, внутренняя история России – не безобразная груда бессмысленных, ничем не связанных фактов. Она, напротив, стройное, органическое, разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после реформы. Исчерпав все свои исключительно национальные элементы, мы вышли в жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были и прежде – русскими славянами. У нас не было начала личности; древняя русская жизнь его создала. С XVIII века оно стало действовать и развиваться»<sup>688</sup>. Разумеется для этого развития содержание мы получили у Западной Европы, но (будто бы) не исключительно национальные элементы, (будто бы) у нее (Западной Европы) и у нас речь шла о человеке<sup>689</sup>.

Другими словами, у К.Д. Кавелина, как и у Соловьева, мы видим прекрасное стремление показать, как Россия завоевала общечеловеческую цивилизацию; но на деле этого не было ни в действительности, ни даже в речах этих ученых, когда они брались за самые факты. Сам К.Д. Кавелин в упомянутой уже

статье «Вестника Европы» счел необходимым начертить на русской *tabula rasa* чертежи чужих культур. Сперва у нас было и, по автору, слишком долго, византийское влияние; потом начиная с Иоанна III стало сказываться у нас литовско-польское влияние; далее стало усиливаться влияние западноевропейское – то немецкое, то французское. Это странное господство у нас иноземных влияний автор объясняет тем, прежде всего, что мы, русские, сильны «инстинктами, неясными стремлениями, непосредственным чутьем, и слабы разумением»<sup>690</sup>. «...Наша умственная апатия и бессилие так же стары, как мы сами... в области мысли и понимания мы испокон века были покорными слугами других, и наша жизнь шла своей дорогой, а голова – своей»<sup>691</sup>.

Это то же соловьевское положение, что наше народное начало всегда отличалось косностью, несостоятельностью, которым естественно прерываться необдуманном, безразборчивым порывом к чужому, иноземному. Для дальнейшего уяснения этой косности К.Д. Кавелин тоже прибегает к соловьевскому положению, что наша историческая жизнь устремилась на Восток; но он развивает это положение весьма своеобразно, и, еще более чем Соловьев – в упор славянофильским положениям.

К.Д. Кавелин останавливает внимание на том, что Русская государственность выросла собственно в великорусском племени; между тем это племя становится заметным только в XI, XII веках, следовательно, заключает автор, наша культура начинается собственно с этого времени, т. е. спустя два века позже, чем мы привыкли думать, и весьма важно присмотреться, какова была культура у этого нового русского племени. Рассмотрев религиозные понятия колонистов из старых мест России в новые – северо-восточные, образовавших через смешение с финнами племя великорусское, автор приходит к заключению, что и языческие их понятия, от которых они еще не отстали, лишены были высшего развития, и христианские, в которых они еще не утвердились во время переселения, тоже были плохи. «Отсутствию культуры в мирозерцании древнейших великорусов отвечало отсутствие



ее и в их социальном быту»<sup>692</sup>, – говорит автор. «В Западной России, – продолжает он дальше, – уже в отдаленную эпоху заметно большое движение; есть городские общины, есть кое-какие зачатки феодальных отношений, есть намеки на аристократические элементы. Очень рано появляется дележ наследства. Таким образом, в западнорусском населении общественный быт и отношения представляют в начале истории некоторое разнообразие и сложность... Совсем другое находим в Великороссии. С тех пор, что здесь образовалась особая ветвь русского племени, ни которого из названных выше общественных элементов мы в ней не встречаем. В основе всех частных и общественных отношений лежит один прототип, из которого все выводится – именно двор или дом, с домоначальником во главе, с подчиненными его полной власти чадами и домочадцами. Это, если можно так выразиться, древнейшая, первобытная и простейшая ячейка оседлого общежития. Этот начальный общественный тип играет большую или меньшую роль во всех малоразвитых обществах; но нигде он не получил такого преобладающего значения, нигде не удержался в такой степени на первом плане во всех социальных, частных и публичных отношениях, как у великоруссов»<sup>693</sup>... «Не принеся с собой из родины никакой культуры и не найдя ее на новой почве, переселенец, среди тяжких условий, в которые был поставлен в негостеприимном климате и в дикой стране, долгое время осужден был оставаться при грубых умственных и социальных зачатках первобытного человека. Трудная упорная борьба с природой-мачехой, поглощая все силы, не оставляла ему досуга для высших помыслов, развила рядом с суеверным фатализмом, признаком гнетущей внешней обстановки, какой-то грубый реализм и надолго помешала образоваться в нем той идеальной сдержке, которая дает человеку точку опоры против окружающего»<sup>694</sup>... Ниже Кавелин отзывается еще резче. «Грубейший, первобытный реализм слагающегося народа при полном отсутствии благоприятствующих культурных условий постепенно стал выдвигаться из-под временного наплава западнорусской жизни»<sup>695</sup>.

Московская государственность, основанная этим, по автору, некультурным великорусским племенем, была тоже несостоятельна, была «чисто азиатской монархией в полном смысле слова, осужденной на покорение другим народом или на внутреннее распадение»<sup>696</sup>. Но к концу XVII века замечается в Московском царстве брожение, какого прежде не бывало... Появляется хаос в головах и действительности. Никто не знает, как приняться за исправление беспорядков, которые все усиливаются и вырождаются в бунты, грозящие опасностью даже целости и единству государственной власти. И вот посреди этой неурядицы является Петр, с необыкновенной энергией и жестокостью подавляет смуты, преобразует внешним образом все формы быта и придает стране наружный вид европейской монархии того времени<sup>697</sup>. Таким образом, понятна необходимость чужого и усвоения его сверху вниз. Кавелин и объясняет естественность даже неумеренного усвоения чужого малой группой образованных людей, осознавших несостоятельность своего. В обществе неразвитом, без культуры, с одними природными наклонностями и инстинктами и внешней дисциплиной чужой идеал будет представляться со стороны внешних его форм и обстановки, да и вводиться он будет внешним образом. Чем меньше развития и культуры в народе, тем он полнее, безотчетнее подчинится влиянию чужого идеала, примет его за образец себе во всем<sup>698</sup>. Этим отводится у Кавелина ответственность от Петра и его преемников за неумеренное усвоение чужого. Государственность, по мнению К.Д. Кавелина, обладала в этом отношении сдержанностью, блюла народные интересы, тогда как русское общество не знало никакой меры<sup>699</sup>. При этом Кавелин делает оригинальное сопоставление. «Как в старину русский человек, отрешившийся от своего быта, бежал вон из него, на простор, так и образованная наша среда, выделившаяся из народа, отрицает установившийся народный быт; но уже не во имя какой-либо безграничной свободы и разгула, а во имя идеала другого, высшего, лучшего быта... Русская голова и русская душа приняли чужие идеалы, во имя которых переделывается наш внутренний строй, и потому было множество различных

идеалов, смотря по времени, по обстоятельствам, обстановке и тысячи случайных условий... Отсюда разлад во всем»<sup>700</sup>. Наконец, автор утешает, что теперь разлад уже сглаживается, что русская мысль стремится стать в согласие с русской действительностью<sup>701</sup>. В этом смысле автор даже определяет задачу нашего будущего. «Уравновесить умственные и нравственные силы, – говорит он, – с действительностью, соединить в одно гармоническое целое мысль и жизнь может отныне одно только глубокое изучение самих себя в настоящем и прошедшем»<sup>702</sup>.

Мы видим, что вся теория К.Д. Кавелина есть развитие теории Соловьева, но развитие опытного ученого, который внес немало и своего. Таковы уяснения родового быта и связи Петровских преобразований с делами старой России, т.е. восполнение явных недостатков системы Соловьева. Кроме того, поставлен новый вопрос об историческом значении великорусского племени и влиянии коренных начал его быта на государственное устройство России. Этот вопрос разъяснялся и впоследствии. Так, он раскрывается в сочинении Корсакова «Меря и Ростовское княжество», изд. в 1872 г., где показывается первейший процесс смешения русских с финнами; раскрывается он также в сочинении Борзаковского «История Тверского княжества», изд. в 1876 г., в которой показываются колонизационные дороги с запада и юга в Тверскую область; но с самой важной стороны раскрывается он, как увидим, в сочинении г. Ключевского «Боярская дума». У Кавелина выдвинут тут же еще один вопрос, подвергшийся потом особому расследованию, а именно вопрос о вотчинном праве в государственном устройстве России, праве, которое, как мы видели, выведено автором, между прочим, и из русской общины, какой она была при разложении родового быта и господстве семейного начала и какой она явилась как застывшая форма жизни в великорусском племени. Поэтому русский родовой быт, русская община и русская вотчинность теснейшим образом связаны между собой.

**Б.В. Чичерин.** Разъяснением этого именно предмета занялся другой профессор-юрист – Б.В. Чичерин, написавший

сочинение «Областные учреждения России», изданное в 1856 г.

Б.В. Чичерин – поборник родового быта подобно Соловьеву и Кавелину, останавливается собственно на тех временах и явлениях, когда родовые начала разрушались, когда выступала личность с ее вотчинностью и произволом. Наместники и волостели с их челядью действовали, по автору, на началах частного права, т. е. дани составляли для них главное. Даже суд был делом частным и предметом наживы. Несколько сдержанный, более государственный характер наместники и волостели стали получать в XV веке, когда вырабатывалось служилое сословие. Им даются уже наказы и определяются их доходы. Некоторой также сдержкой для них было и то, что они тогда не располагали военной силой. Только некоторые из них по окраинам были воеводами и имели войско. Но после Смутного времени все наместники заменены воеводами с военной силой, что вызывалось продолжавшимся брожением в государстве и особенно – крепостным состоянием. Учреждение воевод было, по автору, шагом вперед. Кормление у них, как оно было прежде, отнято и заменено жалованием, но от этого не много было пользы. Обязанности воевод, как и дела приказов, по Чичерину, не имели ничего определенного. Им все поручалось, к ним за всем обращались, но они не обязаны были постоянной отчетностью и многое делалось помимо их, даже подле них являлись лица, прямо присланные из Москвы, – дьяки, то независимые, то мало зависимые от них. Точно так же не было, по автору, ничего определенного и в выборных от земли лицах. Обозначались выборные для казенных дел, как целовальники у таможенных, соляных, кабацких дел, но с ними смешивались приказные. Точно так же дела судные, ведавшиеся губными старостами, бывшими везде при Иоанне IV, передавались нередко воеводам, да и сами губные старосты рассматривались как приказные. Наконец, еще более, по-видимому, выделившиеся земские выборные, т. е. лица, ведавшие распределением земли и раскладкой и сбором повинностей, приставлялись и к государевым делам и подлежали вмешательству приказных. Злоупотребления, хищения сопровождали дела администраторов на всех путях<sup>703</sup>.

Вообще г. Чичерин видит величайшую путаницу и негодность областных учреждений в допетровской Руси. «Земли Московского государства, – говорит он, – разделялись на уезды, центром которых обыкновенно были города. Величина уездов была чрезвычайно разнообразна: Новгородский уезд обнимал большую часть земель, присоединенных к Московскому государству... Двинской уезд заключал в себе всю прежнюю Двинскую область, а другие уезды были, напротив, небольшими округами, приписанными к незначительным городам... Это разделение не было сделано с государственной целью, в видах государственного управления, но было остатком средневековых учреждений... Общих государственных видов не было, потому что в Средние века вовсе не было государственных понятий»... Уезды разделялись на станы и волости. В состав волости входили разного рода владения княжеские, частные, монастырские, и это, по автору, разрушало первоначальное волостное деление, а писцы потом еще более запутывали дело, приписывая произвольно земли к станам и волостям... Не было общей административной системы, общего законодательства относительно управления; все ограничивалось частными правилами, которые предписывались отдельным лицам<sup>704</sup>.

Исторический прогресс по внутреннему управлению автор видит в систематизации должностей и соединенных с ними обязанностей. При этом выходит у него нередко поразительная странность. Так, по автору, нужно усматривать прогресс в том, что губные старосты после самозванческих смут будто бы везде были на некоторое время заменены воеводами, или что земские старосты перестали участвовать в судебных делах при воеводах.

С этим последним воображаемым прогрессом у автора связан другой, еще более поразительный. Автор полагает, что русские общины вызваны к жизни самим правительством в XVI веке, когда это было нужно ему, а когда правительство окрепло, то и общины потеряли свое значение. Мало и этого. Опираясь на тот факт, что до закрепощения народ переходил с места на место, автор не допускает, чтобы в те времена русские общины составляли что-либо прочное. Русскую общину, как она

сохранилась до новейшего времени – с переделом земли и круговой порукой, автор выводит из вотчинного права допетровской крепостной Руси и из подушной подати XVIII века<sup>705</sup>. В том же 1556 г., но до издания своей книги, автор поместил в «Русском Вестнике» «Очерк исторического развития сельской общины», в котором раскрыл эти мысли, а также основные положения всего своего сочинения.

Все эти рассуждения о вотчинном праве, о путанице и хищениях администрации и бессилии русской общины в допетровской России, особенно в XVII веке, существенным образом затрагивали славянофильские положения и притом в такое время, когда славянофильство имело большую силу. Вызов был слишком прям и тем более настойчив, что около того времени немецкий ученый барон Гакстгаузен издал свое «Путешествие по России» (перевод изд. в 1857 г.), в котором обратил внимание на русскую общину как на оригинальное, самобытное славянское учреждение<sup>706</sup>. Все это вызвало настоящую бурю в наших ученых. Последовал целый ряд статей и прежде всего – со стороны славянофилов. Одним из самых сильных ответов Чичерину нужно признать статью И.Д. Беляева, помещенную в 1 книжке «Русской Беседы» за 1856 г. Ответ этот написан собственно против статьи Чичерина «О сельской общине», напечатанной в «Русском Вестнике» за 1856 г., но в нем разбирались и вообще положения сочинения Чичерина «Областные учреждения».

Беляев выступил против Чичерина с громадным запасом не только летописных, но и архивных данных и шаг за шагом стал ниспровергать его положения. Он неопровержимо доказал, что дружинникам не раздавали земли до XI века, что вотчины не были вовсе похожи на ленные имения, что самое вотчинное право есть фикция западников, что передвижение населения не уничтожало общины и, особенно важные данные, что общины сохраняли силу и при наместниках, и при воеводах и знали передел еще до закрепощения, в подтверждение чего Беляев привел одну грамоту начала XVI века; что так называемое кормление наместников и поборы воевод и их служебных лиц не составляли чего-либо всегда произвольного, а определялись

и охранялись обычаем, и злоупотребления вызывали жалобы, которым не было бы места, если бы все предоставлено было на произвол, как частное дело<sup>707</sup>. Беляев приводит выписки из окладных книг, в которых показаны кроме государственных даней и корм наместнику<sup>708</sup>.

В той же «Русской Беседе» за тот же 1856 г. в кн. III и IV напечатана статья профессора Крылова, в которой тоже с большим знанием архивных дел<sup>709</sup> и еще с большей решительностью ниспровергаются положения Чичерина. «Неверное произвольное основание, – говорит Крылов, – взятое автором, волей неволей повело его и к неверным заключениям; он на все учреждения старой Руси смотрел с точки зрения собственной теории, и оттого все они представлялись в искаженном виде; он искал в них того, чего в них нет, и не видел того, что в них заключается. Много труда положил автор в своем исследовании, и за трудолюбие нельзя не поблагодарить его; но, к сожалению, труд сей, преисполненный отрицания, не только бесполезен, но вреден нашей истории; подобные труды только останавливают ход исторического изучения. Не таких трудов ждет русская история от своих исследователей. Лучший образец наш в историческом изучении – бессмертный Карамзин: по его стопам мы должны идти, а не придумывать путей стропотных и косных, ведущих к заблуждениям»<sup>710</sup>.

Опасение Крылова за успех изучения русской истории было напрасно. Изучение, напротив, еще сильнее вызывалось. Сторону Чичерина взяли юристы Кавелин и Калачов. Последний давал о его сочинении отзыв Академии наук для премии, которая и была получена. За Чичерина вступился и Соловьев, напавший на первого возражателя – Беляева, но и Кавелин, и Калачов, и даже Соловьев должны были признать, что у Чичерина многое неверно, особенно неверно, что русская община – новое учреждение. Между тем Беляев вновь выступил и ответил Соловьеву, но кроме Беляева достоинство русской общины поддержано новым, необыкновенно сильным защитником ее – известным Юрием Самариным, который в следующем 1857 г. напечатал об этом статью в № 1 «Русской Беседы». В этой небольшой статье Самарин подошел к

сочинению Чичерина с самых опасных сторон, даже не трогая фактической его аргументации. Он показывает, что кроме юридических памятников есть немало других источников, необходимых для уразумения народной жизни, но упущенных из виду автором, каковы не только летописи и церковные поучения, освещающие народные понятия, но особенно необходимые памятники, народные обычаи. Затем он еще более уясняет односторонность юридических памятников, так как они только по частям, случайно очерчивают внешнюю сторону народной жизни. Наконец, он ударяет в самую сердцевину воззрений Чичерина – его западничество. «В конце своей книги о русской администрации г. Чичерин сводит итог своих разысканий, – говорит Самарин, – и перед читателем является длинный перечень всего не оказавшегося в наличности. Отсутствие союзного духа, отсутствие систематического законодательства, отсутствие общих разрядов и категорий, отсутствие юридических начал и юридического сознания в народе, отсутствие общих соображений, отсутствие теоретического образования и еще несколько других отсутствий удалось отметить г. Чичерину на перекличке учреждений допетровской Руси. Так что же, наконец, в ней присутствовало? Ведь жизнь народа не может наполняться тем, чего в ней нет или чего мы в ней не нашли. Должны же мы допустить в ней и положительное содержание, да и само множество действительно или мнимо отсутствующих в ней начал может быть понятно только как признак решительного преобладания каких-либо других творческих сил. К сожалению, их-то мы и не видим»<sup>711</sup>.

Самарин объясняет, почему именно мы не видим этих других творческих сил России. Потому что мы, оторвавшись от родной жизни и усвоив чужие начала жизни, подходим к нашему прошедшему с готовой чужой меркой и, не находя в ней соответствующего этой мерке, относимся к своему прошедшему отрицательно. Любопытное мнение высказывает Самарин и о науке русской истории. «Историческая наука, – говорит он, – зачалась в России вслед за переворотом (т. е. петровским), перервавшим у нас живую нить исторического предания. Оттого



наука явилась не как плод созревшего народного самосознания, а как попытка со стороны цивилизованного общества, оторвавшегося от народной почвы, восстановить в себе утраченное самосознание»<sup>712</sup>. В этой же статье есть и весьма поучительное указание на немощь нашей науки, оторванной от живого народного самосознания. «Все попытки, – говорит Самарин, – определить (положительные свойства родового быта) сбивались постоянно на черты семейного или общинного быта, и, по мере того, как выяснялось представление о нашей старине, бесплотный призрак родового быта уходил все дальше и дальше, так что, наконец, теперь он уже отодвинут в доисторическую и чуть-чуть не допотопную эпоху»<sup>713</sup>.

В 1856 г. в «Журнале Министерства народного просвещения» появилась статья известного нам Лешкова, в которой с таким знанием излагались права и обязанности русских общин, что на нее с гордостью ссылался Беляев в своем ответе Соловьеву.

В самом конце 1856 г. происходил в Московском университете диспут о том же сочинении г. Чичерина, защищавшего его как магистерскую диссертацию. На этом диспуте три знатока – Крылов, Лешков и Беляев громили Чичерина, и многочисленная публика принимала живейшее участие в этом событии. Возражения Крылова были напечатаны в «Русской Беседе» за 1857 г., № 4 и 5.

Спор этот имел большое влияние на дальнейшее изучение внутреннего быта России. Естественно сознавалась нужда вновь изучить этот быт. Результатом этого и было известное нам классическое сочинение Беляева «Крестьяне на Руси».

Как ни тяжелы были удары, нанесенные теории родового быта, но она не кончила своего существования в нашей науке. Ее искусственно поддерживали ежегодно появлявшиеся тома «Истории» Соловьева и вызывали усилия обновить ее, обосновать на более прочных устоях.

**И.Е. Забелин.** Самым талантливым новым проповедником родовой теории и самым страстным последователем в этом отношении Соловьева и Кавелина, вынужденным даже потом отступать от собственных положений, был И.Е. Забелин.

Выступил И.Е. Забелин на это дело, по-видимому, самым неожиданным образом. Забелин изучал быт московских царей, цариц и бояр, отдался самому кропотливому архивному и археологическому исследованию памятников этого быта и издал два тома замечательного труда<sup>714</sup>. В 1 главе или собственно во введении ко 2 тому своего сочинения, изображающему быт цариц, он счел нужным высказать свой взгляд на весь ход исторического развития русской жизни и в обширном трактате изложил свою теорию родового быта.

Мы уже показывали, что Кавелин старался глубже Соловьева понять родовой быт и более ясно и убедительно представить его, как начало, проникающее во все явления русской жизни. При этом русский родовой двор, русская вотчинность и русская личность выступали на видное место. И.Е. Забелин старается еще глубже понять родовую теорию и еще яснее и убедительнее указать это начало, как идею, оживотворявшую все явления русской жизни и определявшую значение русской личности.

Славянофилы усматривали первейшую ячейку русской жизни в семье и общине, и в основу той и другой полагали нравственное начало, устранявшее вопрос о юридических правах личности, ставившее русскую семью и общину в особое и самостоятельное положение по отношению к государственности.

И.Е. Забелин вместо семьи ставит кровный род, в котором не нравственное начало движет, а кавелинское старшинство и меньшинство. Проблески личного значения, личного участия он усматривает в роде только по вопросу имущественному. Все трудятся, все совещаются, все пользуются общим имуществом; но на этом и кончается личное участие членов. Это же имущественное начало Забелин переносит и на общину. Он не находит возможным уничтожить общины в древней Руси, как это делал Чичерин. Он признает ее; она состоит из соединения кровных родов; но соединение это чисто имущественное и ничего другого не представляет<sup>715</sup>. Мало того, община даже будто бы не знает членов кровных родов и их внутренних дел. Она знает лишь двор и домовладыку или родоначальника. Само

значение этих домовладык или родоначальников определялось их имущественной состоятельностью. Таким образом, значение человека, личности определялось кровным старшинством и имущественной состоятельностью, т. е. не нравственностью, а стихийными силами<sup>716</sup>. То и другое выражалось во власти старшего над младшими, богатого над бедными, со стороны которых требовалось подчинение, повиновение<sup>717</sup>. Власть и повиновение и составляли, по автору, коренные начала русской жизни. Но так как власть, вытекавшая из стихийности, легко переходила в самовластие, произвол, то и подчинение переходило в самоволие, буйство.

Для уяснения этого склада жизни автор обращается, между прочим, к изучению известного Домостроя и делает такой общий вывод: «Мы видим, что, с одной стороны, в лице старшего, он (Домострой) воспитывал, утверждал и освящал самый безграничный произвол, стало быть, полную необузданность воли. С другой стороны, в лице каждого младшего он воспитывал, утверждал и освящал беспрекословное покорение и послушание, безграничное принижение личности, полное детство и раболепство воли. Между этими двумя крайностями мы не видим никакой середины<sup>718</sup>. Но не видя никакой середины между этими крайностями учения Домостроя, не видя ни христианской любви, о которой там часто ведется речь, ни ласк теплого чувства, ни даже заботы об обучении холопов и отпущении их на волю, И.Е. Забелин во многих местах своего трактата старается яснее представить суровость и чудовищность самих этих крайностей. «Род, как сила, всюду господствовал и пригнетал личность. Свобода личности не была вовсе мыслима, хотя бы и новгородской. Вершиной новгородской свободы было своеволие меньшинства (богатых родов) или своеволие большинства, бедных, меньших родов, вообще своеволие силы»<sup>719</sup>. В другом месте: «Своеволие и самовластие в ту эпоху (в древней Руси) были нравственной свободой человека: в этом крепко и глубоко был убежден весь мир – народ, оно являлось общим, основным складом жизни. Это была общая норма отношений между старшими и младшими, между властными и безвластными, между сильными

и бессильными, между независимыми и зависимыми, и в физическом и нравственном, и в служебном, и в общественном, и в политическом отношениях. Это был нравственный закал жизни, выраженный ею же, самой жизнью из почвы родового, патриархального быта и отеческих поучений»<sup>720</sup>... Автор даже утверждает, что других начал, других источников для развития и образования собственной воли русский человек не имел. «Его (т. е. русского человека) со всех сторон охватывала среда произвольных поступков, произвольных действий... В убеждениях массы этот произвол, эта воля старшего, построившая по своему идеалу и всю бытовую власть, являлась какой-то первозданной, физической стихией, вроде огня, воды, пред которой по необходимости должна была поникать всякая самостоятельность, а тем более, самостоятельность индивидуальной личности»<sup>721</sup>. Автор, однако, показывает, что не все и не всегда поникали. Но от этого выходило еще хуже. «Тут становился сильным естественный закон, что крайность вызывает другую крайность; отрицание самостоятельности человека в природе его нравственных дел являлось отрицанием в нем самом его человеческих свойств и он, по неизбежной причине, делался зверем своей воли, или, говоря поэтически, становился богатырем»<sup>722</sup>. Вообще автор тогда полагал, что родовая опора «создавала тот тяжелый, душный мир, из которого вырваться возможно было только с силой богатыря»<sup>723</sup>.

Таким образом, и Забелин, подобно Кавелину, или, лучше сказать, еще смелее и решительнее его пришел к такой крайности, за которой была уже бездна всеобщего разложения России. Перед ним исчезали чисто нравственные качества и дела наших богатырей, подвиги в борьбе с инородцами наших казаков, еще более высокие подвиги наших русских колонистов, наших религиозных богатырей-инок или таких проповедников личной свободы и самобытности, как преподобный Нил Сорский.

Но перед Забелиным, как и перед Соловьевым, Кавелиным, не могли быть закрытыми ни явственные всюду мощные силы русского народа, создавшего и держащего громадное

государство, ни требования русской души найти в своем прошлом что-либо положительное, крепкое – надежный залог будущего существования.

Соловьев нашел выход из нарисованного им безотрадного у нас положения прежде всего в даровитости русской природы. Забелин больше следует в этом случае Кавелину и подобно ему следит, как вырабатывалась личность. Он тоже утверждает, что семья разлагала род и что на семейном начале выросла личность, к чему, по взгляду автора, стремилась вся наша история<sup>724</sup>. Как же именно стремилась? Стремилась, по автору, так, что прибегала к уравнителю противоположных крайностей – самовластия и самоволия – к князю, царю. «Уравниателем таких свободных движений жизни (самовластия и самоволия), – говорит Забелин, – и в народной общине, и у себя в отчине, является все тот же Рюрик, государь вотчинник, представитель личного начала, а следовательно, и будущий освободитель личности»<sup>725</sup>.

Это будущее освобождение, по автору, совершалось с большими затруднениями. И.Е. Забелин указывает при этом, что даже самодержавие, истреблявшее на своем пути все препятствия, разрушавшее победоносно устройство целых и больших общин, упразднявшее целые княжества, изводившее целы княжеские и боярские роды, не находило, однако же, достаточно силы разом покончить с местничеством; потому что здесь приходилось считаться с нравственным складом народной жизни, «который мог уступить, – говорит автор, – не личной воле самодержца, а только нравственному же складу, построенному на других началах»<sup>726</sup>. Этот другой склад жизни и устраивало правительство, внося постепенно достоинство личной службы. Это новое начало и «было зародышем той новой организации общественных убеждений и представлений, которая постепенно и последовательно вела к раскрытию и выяснению понятий о человеческом достоинстве вообще, о достоинстве человека, как человека, помимо всяких других определений его личности, и родовых, и даже служебных, которые явились на смену родовым»<sup>727</sup>. С этой точки зрения Забелину, как и Кавелину, представляются сильными

двигателями русской жизни Иоанн Грозный и Петр Великий, но при совершенно ином сопоставлении. «Недаром Грозный явился вместе с Домостроем, – говорит Забелин. – История выразила в этих двух формах плоды русской жизни. Домострой был вполне законченным словом ее нравственного и общественного идеала. Грозный был самым делом того же идеала, также вполне законченным, после которого русская жизнь должна была идти уже по другому направлению, искать другой идеал. Грозный окончил самый запутанный акт русской драмы-истории. Он указал дорогу к высвобождению личности и обрисовал собой будущую личность освободителя личности – Петра»<sup>728</sup>. Автор полагает, как и Кавелин, и Соловьев, что после Грозного русская жизнь искала совсем новый выход. «Земля двигалась из конца в конец, двигалась в самой глубине своих убеждений и воззрений, искала новых идеалов (закрепостив народ!), приближалось что-то неизвестное новое, но тем сильнее подрывалось все старое». «Званный идеал, наконец, явился в образе Петра, уже не первого отца и первого государя обществу, а первого его слуги, первого его неутомимого работника. Это уже наш идеал, и нас от него отделяет только старая, прапрадедовская форма самовластия, завещанная еще Грозным, которую Петр по необходимости носил, потому что в ней и родился и оттого так ей и сочувствовал»<sup>729</sup>.

Можно было поэтому думать, что автор, подобно Соловьеву и Кавелину, поклонник Западноевропейской цивилизации. Но нет! Он отстаёт в этом отношении не только от Соловьева, но даже отходит и от Кавелина. Он везде имеет в виду коренное наше различие от Западной Европы не только по вопросу о личности, но и тесно с ним связывает вопрос о завоевательном начале государства. В этом отношении он так же, как славянофилы, отвергает всякое значение завоевательного начала государственности у нас и сближает его начала с началами родового быта. Подобно Кавелину, он видит хорошие стороны в русском роде, закрепившем и сохранившем наше национальное единство, но прибавляет несколько новых черт, приближающих его опять к славянофилам. Он указывает, что род вносил всюду родственные отношения, отеческие черты

придавал власти царя, устанавливал братские отношения между членами русского общества (все это уже в смысле нравственном)<sup>730</sup> и, что еще ближе к славянофильству, усматривает в русской общине право всех на землю – «равенство прав на землю, т. е. пользование землей для каждого плательщика даней, а это, по автору, составляло первозданную стихию русской народной жизни по всей русской земле. Эта то стихия и сохранила русский народ от всех исторических и всяких вражеских напастей»<sup>731</sup>. Автор даже утверждает, что «русское рабство, к которому привело народ... широкое, всестороннее развитие в жизни родовой идеи, никогда не было, да и быть не могло таким полным, законченным рабством», как «полное рабство азиатское, африканское, или даже юридически выработанное рабство Западной Европы»... «В сущности это было детство, а не рабство»<sup>732</sup>. Автор, наконец, подобно Кавелину, возмущается жестоким раздвоением, какое у нас произошло в XVIII столетии, т. е. с Петровских времен, и, подобно Кавелину же, заявляет требование единства, но гораздо яснее его указывает на основу этого единения. Он ее видит в реформах нашего времени (книга изд. 1869 г.), вносящих в нашу жизнь «положительные основы развития».

Эти мнения автора составляют большей частью явные отступления не только от теории Соловьева и Кавелина, но и от собственных его мыслей о родовом быте. Но отступления его на этом не остановились. В другом своем сочинении «История русской жизни», о котором подробная речь будет ниже, И.Е. Забелин существенно изменяет всю свою теорию родового быта. Он решительно отвергает патриархальность в нашем родовом быте, которую видел в рассмотренном трактате, и это тем важнее, что отвергает он патриархальность для древнейших времен нашей жизни, какие только мог помнить наш первый летописец.

И.Е. Забелин прямо заявляет, что родовой быт не следует смешивать с патриархальным бытом<sup>733</sup>. Славяне, по мнению его, вероятно, вышли из Азии задолго до образования там патриархального быта, где выработан тип патриарха и где идея

единоличной власти, развившаяся в идеал царя, укоренилась глубоко в каждой народности. «На европейской почве славяне забыли о своем праотце. У них понятие о деде связывалось с понятием о существе высшем, Божественном. Все русское племя считало себя внуком Даж-Бога. Дедушка считался домовым духом. В понятиях даже об отце заключалось много мифического»<sup>734</sup>. «В своих преданиях о первых строителях своего быта наши славяне начинают не от праотца, не от одного лица, а от трех братьев» (Кий, Щек, Хорив)<sup>735</sup>. Идея жизни родом при трех братьях выразилась в мифическом образе, по Забелину, Трояне «Слова о полку Игоря»<sup>736</sup>. Забелин объясняет и некоторые загадочные понятия в нашем быте, понятные только при идее о Трояне, т. е. о трех братьях. По законам местничества первый сын от отца – четвертое место, второй – пятое и т. д., т. е. отец тремя местами старше сына. В этом, по Забелину, выражалось понятие об отце и его двух братьях, т. е. о первоначальной основе рода – трех братьях. Это же, по мнению Забелина, выражается в народной поговорке: один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын. «Наконец, самое слово *племянник*, – говорит Забелин, – показывает, что эта пограничная, нисходящая родовая линия почиталась уже в общем смысле только племенем, нарождением, которое и придавало простой семье значение рода – племени... Каждое родовое колено, в сущности, было коленом братьев, которые в старшем порядке были отцы-дядья, а в младшем – сыновья-племянники. Отсюда уже под-племя продолжалось в бесконечность»<sup>737</sup>. В действительной жизни Забелин представляет даже очень суженным род. Он в нем видит только отца, сыновей и внуков. Сыновья двух родных братьев называются у нас двоюродными, т. е. как бы двух родов.

Ослабив и сузив таким образом значение родоначальника и усилив значение братьев, И.Е. Забелин должен был уже гораздо меньше говорить о какой бы то ни было подавляющей родовой власти и должен был показывать силу равноправности, совещательного начала. Полную власть отец-домодержец имел только в своем доме, у своего очага. «Но выходя из дома и становясь в ряды других домохозяев, он становился рядовым



братом»... «Братский род по своей природе, – говорит Забелин, – представлял такую общину, где первым и естественным законом жизни было братское равенство»... «Власть старшего брата была собственно власть братская, очень далекая от понятий о самодержавной власти отца. Живущее братство естественно стремилось ограничивать эту власть во всех случаях, где выступало вперед братское равенство. Отсюда происходила полная зависимость старшего брата-отца от общего братского совета... Отсюда являлась необходимость веча и возникало право представительства на этом вече всех родичей, способных держать родовое братство»<sup>738</sup>.

Нет нужды доказывать, что родовое начало здесь совсем не то, каким его представлял автор в сочинении «Быт цариц». Сам автор лучше всего доказывает происшедшую в нем перемену в следующих словах: «Словом сказать, – говорит он, – хотя род братский физиологически принадлежит патриархальному роду и стоит на отношениях кровного старшинства и меньшинства, вообще на отношениях кровной связи, однако в основе этих отношений он управляется более понятиями братства, чем понятиями детства, как было только в патриархальном быту. Где существуют отец-праотец, там все родичи суть дети и в прямом, и в относительности смысле. Где вместо отца управляет брат, там родичи, и братья, и племянники, приобретают больший вес, и их значение всегда уже колеблется между братьями и детьми, и больше всего колеблется в сторону братьев. Самые связи первоначального общежития и общественности обозначались тоже именем братства: собиравшееся на праздник общество именовалось братчиной»<sup>739</sup>.

Мы не знаем, сочтет ли автор нужным обратиться к теории Кавелина, что в великорусском племени понизилась эта родовая культура, если ему придется писать дальнейшие тома своей «Истории» и ведаться вновь с первоначальной его теорией родового быта; но не подлежит сомнению, что в древнейших временах русской жизни он нашел совсем иное родовое начало, нежели какое видел в ней, когда описывал времена Московского единодержавия.

Историческое развитие родовой теории не кончилось этим явным признанием ее несостоятельности со стороны самих ее последователей. Она, подобно норманнскому происхождению наших князей, налегла, как какое-то злосчастье, на нашу науку. Недаром обе теории пущены в ход учеными немцами. Родовой теории суждено было развиваться до последних крайностей.

**А. Никитский.** Одну из этих крайностей представляет теория г. Никитского, ныне профессора Варшавского университета, изложенная в его сочинении «Очерк внутренней истории Пскова», изд. в 1873 г.

По мнению г. Никитского, в основе рода лежит фикция родства, подобно многим фикциям в жизни человеческой, т. е. что к роду принадлежали не только родственники, но и посторонние лица, вошедшие в состав рода. Г-н Никитский таким образом уничтожал мнение прежних последователей теории родового быта, что у нас был кровный род. Для доказательства своей теории автор обращается к родам южнославянских племен и к древнегерманскому роду. Но в действительности у г. Никитского не какой-либо славянский или вообще европейский род, а азиатский. Г. Никитский утверждает, что такой фиктивный род не связывается существенно с оседлостью и в подтверждение, что у нас так было, указывает на существование в славянском мире одних и тех же племенных названий в разных местах, как дулебы у нас и в Богемии, и Хорутании, хорваты и в Польше, и по Эльбе, Саве, словене у нас и при Фессалонике, и в Крайне<sup>740</sup>. Род, по мнению г. Никитского, связывается не территориальным, местным началом, даже может исключать его, а связывается родовым началом. Формальным выражением этой связи служит общий родоначальник, патриарх, и родовой быт, естественно, есть патриархальный быт. Но по своей сущности родовой быт представлял демократическое устройство, так как центр тяжести всегда составляли родовые союзы<sup>741</sup>. Г. Никитский уничтожает затруднения при объяснении перехода родового быта в государство. Он сам родовой быт считает государством, только со своеобразными формами. «Разница между родовым государством, – говорит он, – и государством высшей формации

в отношении учреждений заключается в том, что в первом политическое стремление, политическое зерно не выражается в особенных органах, а во всем круге своей деятельности довольствуется средствами и формами, представляемыми семьей. Понятно поэтому, что общественная жизнь в роде выражалась, главным образом, в общем родовом совладении, в общей круговой поруке и в ведении дел с помощью родоначальника»<sup>742</sup>, который, показывает автор в другом месте, был и жрецом, и судьей, и военачальником.

Автор видит опасность отождествить наш род с азиатским и сильно старается устранить эту опасность<sup>743</sup>. Оттого он и говорит часто о значении родовых союзов, а также о выборности общего родоначальника. Но эти усилия напрасны. Если стать на точку зрения фиктивности рода и патриархальности, то уже нельзя удержаться в Европе, а нужно идти в Азию или к первобытным народам. Так это и случилось, как сейчас увидим.

Сочинение профессора Никитского, независимо от родовой теории, имеет большие достоинства. Внутренняя история Новгорода и Пскова в нем изложена с большим знанием дела, особенно важно исследование о псковском устройстве и законодательстве. В этом сочинении, между прочим, сделано остроумное сближение республиканских форм жизни Новгорода и Пскова с формами греческих и римских республик, как совет при вечах и греческие геронты и римские консулы; посадники и тысяцкие – консулы и трибуны. Осмеянные попытки Ломоносова к подобному сближению теперь уже не смешны.

**Н. Хлебников.** За год до издания книги г. Никитского, т. е. в 1872 г., появилось сочинение «Общество и государство в домонгольский период русской истории», сочинение другого профессора Варшавского, потом – Харьковского университета, Хлебникова, который логичнее г. Никитского выполнил задачу – расширять род за пределы кровного родства. Хлебников в своем сочинении решился рассмотреть родовой быт во всей широте, собрать его черты во всем мире, начиная с самых первобытных народов и оканчивая народами, развившими у себя высшую цивилизацию. Автор находит различные формы родового быта у разных народов и различные остатки его у

народов, прошедших эту неизбежную, по его мнению, ступень в историческом развитии. Он прежде всего ставит формы быта в зависимость от физических условий – от средств питания и усматривает своеобразные формы этого быта, когда народ занимается еще только охотой или уже завел скотоводство или, наконец, занимается земледелием. При охотничьем состоянии не бывает никакого постоянного устройства. Каждый живет сам по себе, и только на время особенных предприятий избирается вождь<sup>744</sup>. Родовой быт является лишь при пастушеском состоянии, которое дает возможность богатеть, заводить большую семью и быстро разрастаться в род<sup>745</sup>.

Но род, разрастаясь, распадается на отдельные роды. Отдельные роды избирают одного из родоначальников главным. Такой быт удерживается лишь у кочевых народов. У земледельческих народов, «первобытные естественные роды, – говорит автор, – при лучших средствах питания, очень скоро растут и обращаются в колена или искусственные роды»... вместо связи родственной теперь является связь общественная, политическая... «начальники этих родов уже не старшие в роде, но выборные из какой-либо фамилии, приобретшей общее уважение»<sup>746</sup>.

«В этой степени развития государство имеет особую центральную организацию и особую организацию колен или искусственных родов. Во главе центральной организации стоит князь с военно-судной и отчасти – административной властью, но главный пункт тяжести, так сказать, все еще покоится в организации искусственных родов или колен»<sup>747</sup>. Земля обрабатывается общими силами, и добытые плоды делятся между всеми участниками предприятия. Но как только удалось расчистить пашню и улучшились орудия земледелия, так и в искусственных родах происходит разложение. Выделяются семьи, является семейная собственность, хотя идея общей принадлежности земли роду еще долго сохраняется<sup>748</sup>. Семьи составляют союзы, и образуются племенные союзы, княжества, соединяющиеся то добровольно, то путем завоевания<sup>749</sup>.

Русских славян Хлебников представляет пришедшими от Дуная в VI или VII век после Рождества Христова и затем

жившими на различных ступенях развития. Одни – на лучших местах занялись земледелием, как поляне, другие занимались еще скотоводством, как древляне, иные, как более северные племена, еще только расчищали леса и даже занимались охотой. Признаки кочевой жизни автор видит у нас даже в XII веке: это значит договориться уже до такой крайности, дальше которой, по-видимому, уже нельзя идти. Впрочем, действительность показывает, что защитники родового быта не отворачиваются ни от каких крайностей.

Сочинение Хлебникова, как и Никитского, независимо от теории родового быта, имеет немаловажное значение. Оно очень богато фактами и составляет еще более смелый замысел написать историю русской культуры. Еще прежде этого сочинения, именно в 1869 г., автор издал книгу «О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории», т. е. от принятия Иоанном IV царского титула до Петра. В обоих сочинениях автор выдерживает свое основное начало – рассматривать жизнь русского народа, прежде всего, в области физических условий, и показывает бедность и оттого – несостоятельность русского человека. Так, он этим объясняет и слабое развитие русского общества, и закрепощение русского крестьянина.

Но это лишь слабая попытка уяснить русскую прошедшую жизнь и физических ее условий. На этом пути сделаны шаги более явственные и смелые.

## Глава XVII. Реалистическая теория для объяснения нашего прошедшего

**А.П. Щапов.** Мы видели, что С.М. Соловьев связал теснейшим образом движение исторической нашей жизни с физическими условиями страны. К.Д. Кавелин развил это положение и выставил низкую культуру великорусского племени, которую еще жестче обрисовал И.Е. Забелин, мало выделяя или даже вовсе не выставляя при этом великорусского племени, а распространяя неразвитость на весь русский народ. Г. Никитский не довольствовался сравнительным изучением состояния русских племен, а обратился к сравнительному изучению других народов не только славянских, но и вообще европейских. Хлебников пошел еще дальше. Он занялся сравнительным изучением всех вообще народов и в том числе с особенным вниманием – народов, находящихся на низших ступенях развития, – кочевых и даже диких. У него выступает так называемая антропология народов, т. е. изучение нашей истории стало сильно упираться в естествознание. На этом новом пути наша русская впечатлительность и невожатанность сказались во всей силе. Это мы видели и у всех почти вышеуказанных последователей теории родового быта, особенно у Хлебникова; но крайности этих писателей ничто в сравнении с крайностями писателя, вышедшего из духовной среды и задумавшего все объяснить в русской истории посредством естествознания, в котором он, однако, не был специалистом.

Мы разумеет покойного Щапова, бывшего профессором в Казанской академии, а также в Казанском университете, потом печально тратившего свои богатые силы в Петербурге и закончившего свои дни в Сибири, откуда он и происходил родом.

Щапов не только трактовал о различных низших степенях культуры в русском народе и с особенным вниманием останавливался на так называемом им ихтиологическом периоде жизни, когда люди питаются только рыбой; но и всю

русскую жизнь он рассматривает, как выражение низшей культуры, и рассматривает ее именно с точки зрения естествознания. В этом направлении он в 1870 г. издал небольшую книгу «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».

Это есть история русского мозга и русских нервов и в связи с этим история развития из непосредственных впечатлений отвлеченных понятий реалистического характера. Автор видит в русской исторической жизни решительное преобладание непосредственных впечатлений и необыкновенно медленное развитие понятий отвлеченных, общих начал.

Причину этого автор видит в том, что мы в нашей истории отстранились от знаний классического мира и подпали под сильное влияние теогностических, византийских знаний. В освобождении русского народа от этого последнего влияния автор видит великий прогресс, поэтому возвеличивает Петра I как двигателя реальных знаний.

Вот сущность теории Щапова. Ей нельзя отказать в единстве и цельности, так же, как нельзя отказать автору в большем даровании и сильном философском развитии; но вместе с тем нужно признать, что книга его переполнена великими несообразностями и даже нелепостями. Так, занятый вопросом о развитии у нас отвлеченных понятий, Щапов видит препятствие к этому в сильном религиозном у нас влиянии, когда всякому известно, что христианская религия, христианское религиозное образование могущественно и больше всякого другого содействуют развитию в человеке отвлеченных понятий, высших, даже в научном смысле, начал жизни. Далее, занятый успехом реальных знаний, Щапов печалится, что мы не усвоили классического образования, которое, как известно, сильно развивает идеальность в человеке, но меньше и реже всего – реалистическое направление. Наконец, желая доказать низкую степень мозгового развития у древнего русского человека, Щапов воспользовался измерением черепов, найденных в Московской губернии и относимых к XIII или даже XII веку, т. е. на основании измерения черепов мордовских автор делает заключение о Русской цивилизации того времени.

Реалистическая теория для объяснения русской истории, выдвинутая прежними историками, и особенно современным направлением нашего общества, выразилась не в одних трудах Щапова. Она выражается и дальше во многих трудах наших молодых ученых. Каких крайностей она достигает, можно судить по нижеследующим сочинениям.

Прежде всего, мы должны здесь указать на сочинение смешанного характера, имеющее связь и с историей С.М. Соловьева и еще больше – с теориями балтийских ученых и с Сеньковским, и, в конце концов, примыкающее к воззрениям современных реалистов, в том числе и к воззрениям Щапова. Это «История Петра Великого» – труд упомянутого нами профессора Дерптского университета, г. Брикнера, изданный сперва на немецком языке в 1879 г., в журнале «Allgemeine Geschichte», а в 1882 г. появившийся с некоторыми исправлениями и многочисленными рисунками на русском языке.

**А.Г. Брикнер.** Свою «Историю Петра Великого» г. Брикнер посвящает С.М. Соловьеву. Посвящение это, естественно, в том смысле, что все важнейшее содержание этого сочинения взято из «Истории России» Соловьева<sup>750</sup> и в том еще, что здесь воспроизведены некоторые взгляды нашего русского историка, как например, тот, что Россия стремилась усвоить цивилизацию старых европейских народов, или тот, не совсем прилаживающийся к другим воззрениям г. Брикнера, взгляд Соловьева, что Петр был выразителем своего народа. Но рядом с этими заимствованиями из Соловьева у г. Брикнера есть множество таких вещей, от которых Соловьев, без всякого сомнения, отказался бы со всей решительностью и которые сближают автора не с Соловьевым, а с рассмотренными нами балтийскими учеными с Эверсом во главе и с Сеньковским позади их.

Это родство, и притом родство кровное, г. Брикнер ясно обнаруживает на первых же страницах своего труда. «Историческое развитие России в продолжении последних веков, – так начинает свою «Историю Петра Великого» г. Брикнер, – заключается главным образом в превращении ее из



азиатского государства в европейское»<sup>751</sup>... Что именно азиатского было в России, это ясно показывается на следующих страницах. «Особенно сильным, – говорит он, – было византийское влияние на развитие России. Византия стояла в культурном отношении гораздо выше других соседей России. От Византии Россия заимствовала религию и Церковь. Однако, не во всех отношениях влияние Византии было полезным и плодотворным. Византийскому влиянию должно приписать преобладание в миросозерцании русского народа, в продолжение нескольких столетий, чрезмерно консервативных воззрений в области веры, нравственности, умственного развития. И о светлых, и о мрачных чертах византийского влияния свидетельствует Домострой. Приходилось впоследствии освобождаться от домостроевских понятий, воззрений и приемов общежития. Византийского же происхождения были и монашество в России, и аскетизм, находящийся в самой тесной связи с развитием раскола»<sup>752</sup>. «Одновременно с этим влиянием Византии на Россию, заметно старание Римской церкви покорить Россию Латинству. Попытки, сделанные в этом отношении при Данииле Романовиче Галицком, Александре Невском, Лжедмитрии остались безуспешными; все усилия, направленные к соединению церквей, оказались тщетными. С одной стороны, в этом заключалась выгода (не показано – какая?), с другой – в таком уклонении от сближения с Западной Европой представлялась опасность некоторого застоя, китаизма. Отвергая преимущества Западноевропейской цивилизации, из-за неприязни к Латинству, и пребывая неуклонно в заимствованных у средневековой Византии приемах общежития, Россия легко могла лишиться участия в результатах общечеловеческого развития». К этому злу присоединилось татарское иго, влияние которого автор видит «в администрации и государственном хозяйстве, в ратном деле и в судеустройстве, в отношении к разным приемам общежития и домашнего быта, в нравах и обычаях обыденной жизни, в усиленной склонности к хищничеству, в казачестве, в ослаблении чувства права, долга и обязанности, в нравственной порче чиновного люда, в порабощении и

унижении женщины», и хотя говорит тут же, что «в духовном отношении сохранилась полная независимость России от татар», но опять не говорит, да и мудрено видеть глазами автора, в чем эта свобода заключалась, если не разуместь внешней формы христианской веры, что, несомненно, автор и высказывает в других местах своего сочинения. «Результатом совместного влияния Византии и татар на Россию, – заключает автор свое объяснение азиатства России, было отчуждение ее от Запада в продолжение нескольких столетий, а между тем, важнейшее условие более успешного исторического развития России заключалось в повороте к Западу и т.д.»<sup>753</sup>.

В этих суждениях г. Брикнера, как нам теперь уже очевидно, лежат основы учения известных нам балтийских ученых, особенно Эверса, только развиты они г. Брикнером в большей резкости до сближения, тоже явственного, с Сеньковским. В этом особенно можно убедиться из следующего места в начале книги. «Изучение начала русской истории, наравне с исследованием происхождения других государств, представляет целый ряд этнографических вопросов. Нелегко определить точно происхождение и характер разнородных элементов, встречающихся на пороге русской истории. Зачатки государственной жизни, сперва в Ладоге, затем в Новгороде, немного позже в Киеве, относятся к появлению и взаимодействию различных племен и варягов, и финских, и тюрко-татарских народов... Как бы то ни было, но с первого мгновения появления славян на исторической сцене в России заметно более или менее важное влияние на них иностранных, иноплеменных элементов. С одной стороны, славяне смешиваются с представителями Востока, с находившимися в близком соседстве степными варварами, с другой – они находятся под влиянием западноевропейской культуры»<sup>754</sup>.

В этих словах чувствуются уже не только Эверс, но и Сеньковский. У г. Брикнера есть даже и нечто вроде исландских саг Сеньковского. Кроме заимствований из Соловьева, автор черпает свои сведения о России главнейшим образом из иностранных писателей, и особенно из донесений иностранных дипломатов. Тут не только баснословие исландских саг вроде

того, что Петр Великий струсил перед Карлом XII под Нарвой, но сплошь да рядом чудовищное понятие обо всей России и обо всем русском. Образцом этого может служить, по-видимому, гуманнейший немец Лейбниц, следивший, казалось, с любовью за делами Петра, но не находивший странным при этой любви желать иногда Карлу XII завоевания всей России для более успешного превращения ее в просвещенную страну. Россия, очевидно, представлялась великому немецкому ученому подлежащей всякой переделке, лишь бы то была переделка на западноевропейский лад. Этот взгляд проводит и наш автор. С особенной ясностью он его высказывает, когда показывает значение для России завоевания берегов Балтийского моря и значение Петербурга. «Успешными действиями в войне со Швецией, – говорит г. Брикнер, – Россия приобрела гегемонию в этой части европейской системы государств. Прежнее Московское полуазиатское государство превратилось во Всероссийскую империю. Находясь до этого вне пределов Европы, Россия, участием своим в делах восточного вопроса заслуживавшая все более и более внимание Запада, сделалась путем результатов шведской войны полноправным членом политической системы Европы»<sup>755</sup>. Или в другом месте: «Современники Петра не могли не сознавать, что Северная война навсегда должна была отделить древнее Московское царство от новой России. Война была решена в Москве, окончание ее праздновали в Петербурге. Достоинно внимания, что во время войны было сделано распоряжение наблюдать за тем, чтобы Россия в курантах, т. е. газетах, не называлась более Московским, а только Российским государством. Во время этой войны совершилось окончательно превращение России из азиатского государства в европейское, вступление ее в систему европейского политического мира»<sup>756</sup>.

Указанный здесь автором Петербург и должен был служить главнейшим воспитательным местом и средством к этому превращению. «Новый город (Петербург), – говорит г. Брикнер, – должен был сделаться как бы местом воспитания русской публики, знакомившейся ближе и ближе с западноевропейскими приемами общежития. И такому воспитанию русского общества

Петр посвятил себя в последние годы своей жизни с обычной ему энергией и со свойственной ему строгостью. Наравне с сочинениями о военном искусстве, с учебниками по арифметике, географии, истории, переводились на русский язык и чисто дидактические и педагогические сочинения. К таким переводам относится «Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению», собранное из разных авторов. На заглавном листе этой книги, изданной в 1717 г., сказано, что она печатается повелением царского величества. Она издавалась несколько раз и была, как кажется, сильно распространена в русской публике. Главное содержание ее заключается в правилах, как вести себя в обществе... На первом плане находятся наставления о сохранении в чистоте ногтей, рта, запрещение громко чихать, сморкаться и плевать и т. п. Все это могло быть не бесполезно. Русские, удивлявшие до того времени иностранцев грубостью нравов, неряшливостью, должны были научиться прилично стоять, сидеть, ходить, есть и пить, кланяться и прочее. Юности честное зерцало было привозным продуктом наравне с французским вином и брюссельскими кружевами, в которых нуждались высшие классы русского общества»<sup>757</sup>.

После этого можно было ожидать, что автор наш укажет нам на ближайших наших педагогов-немцев новоприобретенных тогда балтийских областей. Он действительно близок был к этому. В одном месте он представляет будущую для того времени русскую культуру, объединенной с немецкой, и придает этому даже мировое значение. «Возле новой великой державы – России возникло во время этой (Северной) войны еще другое первоклассное государство – Пруссия. Бывший курфюрст Бранденбургский сделался лучшим и вернейшим союзником России. Центр тяжести политического веса и значения, так долго находившийся на юго-западе, у романско-католических народов, благодаря происхождению и развитию двух новых великих держав, должен был изменить свое положение»<sup>758</sup>. Дальше этих намеков г. Брикнер не пошел, как не шли и его старые учителя – Эверс, Рейд и др. Он, по-видимому, становится на высшую, гуманную точку зрения и дает в России

место всяким иноземцам<sup>759</sup>. Мало того. Автор наш даже, по-видимому, отрешается от всяких народных особенностей и возвышается до космополитизма. «Национальному началу, – говорит он в одном месте, – до того времени господствовавшему в русском обществе, был противопоставлен принцип космополитизма»<sup>760</sup>, другими словами, *русское ничто*, долженствовавшее образоваться в России с отречением от русского национального начала, должно было превратиться в западноевропейское *ничто*. Считаем излишним прибавлять что-либо для пояснения этого положения г. Брикнера.

Г. Брикнер кроме этого труда известен многочисленными критическими статьями по русской истории и особенно немаловажными для нашей науки обзорами дипломатических донесений о делах России, что он помещает большей частью в «Журнале Министерства народного просвещения».

Известен еще г. Брикнер особого рода проектом, в котором он предлагал изменить изучение русской истории. Исходя из того положения, что другие науки, особенно по естествознанию, обладают большим учебным прибором (*Lehrapparat* – поясняет автор) и даже могут, как естественные науки, производить опыты, а историческая не только не может производить опытов, но беднее и словесных наук учебным прибором, г. Брикнер предлагал русским историкам озаботиться этим учебным аппаратом, под которым он понимает в обширном смысле источниковедение и коллекции иллюстрированных изданий. Об этом предмете автор писал несколько статей, начиная с 1870 г., предлагал его на обсуждение археологических съездов – в Киеве в 1874 г. и в Казани в 1877 г. Одна из брошюр его в 1875 г., если не ошибаемся, была разослана в разные ученые и учебные заведения.

В проекте г. Брикнера об ученом приборе русской истории – много хорошего и хотя то же дело у нас движется давно и помимо указаний г. Брикнера, но по разным книгам можно заключать, что усилия его не пропали даром. Надлежащего однако хода его проект не получил. Насколько мы можем судить о причинах этого неуспеха, едва ли не главной из них было опасение, как бы в погоне за приемами естествознания не

превратить русскую историю в своего рода гербарий. Опасение, можно думать, напрасное. Богатое, роскошное собрание рисунков в издании «Истории Петра» не помешало г. Брикнеру изложить в этом издании целую теорию его воззрений на русское прошлое.

**П.О. Морозов.** Гораздо прямее и смелее проведены унижение всего старорусского и прославление начал Петровской цивилизации в сочинении русского молодого ученого П.О. Морозова «Феофан Прокопович как писатель»<sup>761</sup>. Автор поставил себе задачей показать, как Феофан Прокопович – русский православный архиерей – стал выразителем чисто светских начал Петровского времени. Г. Морозов не только не находит в этом ничего странного, но прославляет за это Феофана Прокоповича, и для надлежащей убедительности он усердно раскрывает изнанку старого, религиозного склада русской жизни и превозносит реалистические начала времен Петра. Приведем из этой книги несколько выписок, которые всякому, знающему дело, покажут ясно и родник воззрений автора, и конечные результаты его труда.

«Византийская литература в ту эпоху, когда началось влияние ее на нашу, совершенно утратила даже и воспоминание о древнем эллинском мирозерцании, и под влиянием политического и общественного одряхления, замкнулась в тесном круге идей и интересов церковно-религиозных. Лучшие представители общества, отчаявшись в возможности действовать в мире нравственно-растленном, отрекались от этого мира, как от греховного, погибшего, преданного дьяволу, бежали от него в пустыню, в монастырь, и там всецело посвящали себя на служение тому аскетическому идеалу, который, по их мнению, был единственным средством для духовно-нравственного возрождения и «спасения»<sup>762</sup> общества. Результатом чрезмерного преобладания аскетических идей было развитие крайнего религиозного эгоизма, т. е. совершенное искажение первоначальной христианской идеи любви к ближнему: человек сузился (сузился?) до такой степени, что единственную цель жизни видел только в спасении своей собственной души путем самоистязания, насилования

своей природы, отворачивался от мира и предавал его проклятию, как юдоль, исполненную бесовской прелести. Таким образом, идеал христианской добродетели ставился вне гражданского общества, вне всяких человеческих отношений...»<sup>763</sup>. «Господство религиозных идей достигло своего апогея в конце IX века; умственная деятельность сосредоточилась в монастырях; все светское – наука, искусство, поэзия»<sup>764</sup> – подвергалось опале как языческое.

«В эту пору византийские идеалы стали прививаться к нашему молодому народу, жившему в то время, можно сказать, в первобытном состоянии, в состоянии *tabulae rasae*»<sup>765</sup>.

«Естественно, что при таких условиях новая религия осталась, по существу своему, непонятой и для массы обратилась в мертвый обряд, в принудительную внешнюю форму, под которой продолжали жить старые языческие традиции, более близкие сердцу народа и более доступные его уму»<sup>766</sup>.

«Отношение массы народа к христианской религии было совершенно внешнее, формальное: припоминая оригинальное сравнение Карлейля, можно назвать это отношение богослужением коловратной тыквы»<sup>767</sup>.

Эти выписки могут давать повод думать, что наш автор осуждает здесь собственно дурной склад религиозной жизни и расположен стоять за лучшее, высшее христианское развитие, которое и будет усматривать в Феофане Прокоповиче. В одном месте он действительно как бы и допускает такое изъятие. «Мы не думаем, – говорит он, – совершенно отрицать существования в русском народе того времени (московского) идеального внутреннего религиозного чувства; это чувство, конечно, существовало; но, прибавляет г. Морозов, проявление его во многих случаях было бессознательно и во всех случаях крайне односторонне, что следует приписать также влиянию византийских идей»<sup>768</sup>. Немного ниже автор как будто противоречит себе, допуская у некоторых русских не только сознательность религиозного чувства, но даже и высшие воззрения. Таких русских людей он видит в «скромных заволжских старцах (XV–XVI вв.), представителях гуманных

воззрений, более (чем идеи Иосифа Волоколамского) согласных с духом истинного Христианства, незлобивого и нестяжательного»<sup>769</sup>. Но в действительности автор не противоречит себе и высших религиозных воззрений в смысле проявления более развитого ума не допускает. «Традиционная вера, – говорит он в одном месте, – по самой сущности своей неотменная, неподвижная, исключает возможность дальнейшего развития и неизбежно вносит застой во все области умственной жизни, подчиненные ее влиянию... Духовная власть, опираясь на содействие власти гражданской, выступала как хранительница и судья знания, утверждая, что все знание уже находится в Священном Писании и церковных преданиях, что здесь людям дан не только непреложный критерий истины, но и все, что свыше суждено нам знать. Таким образом, весь объем подобающего людям знания был определен раз навсегда, что, разумеется, исключало возможность существования светской, самостоятельной науки и заключало пытливую мысль в безвыходный заколдованный круг»<sup>770</sup>.

Однако Феофан Прокопович был и светским писателем и поборником самых светских воззрений. Как же он – русский, православный архиерей перешел через Рубикон, отделявший его от этой светскости? Прямой путь к критике, науке, свободе из этого заколдованного круга был, по автору, в ересь. «Протестом пытливого ума, – говорит он, – против слепой веры в книгу, против религиозной исключительности и формализма, стремлением живой мысли освободиться из наложенных на нее тисков были ереси»<sup>771</sup>. Г-ну Морозову, очевидно, предстояло затем разобрать религиозные воззрения Прокоповича, и он мог найти достаточно данных для выполнения такой задачи. В нашей литературе есть весьма серьезные труды по этому предмету. Это, во-первых, фактическое, научное изложение всех важных дел Прокоповича – сочинение И.А. Чистовича (1868 г.) и затем – специальное исследование богословской системы Прокоповича – Червяковского<sup>772</sup>. Автор мог найти в этих сочинениях весьма важные для него указания, которые сразу убедили бы его, что дело о Феофане Прокоповиче нужно



ставить иначе. Он убедился бы, что Феофан Прокопович даже с чисто научной, хотя бы то совершенно светской точки зрения, был силен в той именно области, в которой автор видит помеху всякой научности, именно в высшей, в смысле научности, теоретической части богословия; а по мере того, как спускался в область жизненных и практических вопросов, он более и более делался несостоятельным и неразборчивым на средства, и вся та светскость, которую автор прославляет в Прокоповича, была самой темной и бесславной стороной его жизни.

Но наш автор устранился от логической последовательности, обязывавшей его привести к петровской светскости Феофана Прокоповича путем ереси или бесславного отступления от своих начал. Еще в Предисловии он заявляет, что устраняется от оценки трудов Феофана Прокоповича с богословской точки зрения, с которой он, однако, как видим, то и дело смотрит на дела, касавшиеся Прокоповича. Эту, очевидно, неодолимую для него трудность он просто обходит или, лучше сказать, обскакивает, но так злополучно, что трудно себе представить более неудачный обход предмета, весьма серьезного, требовавшего и большего знания, и большей ясности в понимании дела. Последними, заключительными словами автор совершенно выдает свою крайнюю неумелость справляться с таким предметом.

«Некогда, в продолжение многих веков, духовенство было, – так заключает г. Морозов свою книгу, – единственным образованным и учительным классом в России; ему принадлежала руководящая роль в просвещении страны, в ее литературе, в ее общественной и государственной жизни. Петровская реформа подорвала его авторитет, внесла в русскую жизнь новые начала, новые требования (до сих пор все это почти буквально повторение мыслей С.М. Соловьева); в лице Феофана Прокоповича, сознательно, по искреннему убеждению ставшего на сторону реформы, духовенство, так сказать, отреклось само от себя; отказывается от притязаний на руководящую роль в развитии русской мысли, уступает свое место другим элементам, и с тех пор все теснее и теснее замыкается в кругу своих специальных интересов, отдаляясь от

общего просветительного движения и иногда выступая даже прямо против него. Последний представитель старого учительного сословия, стоявший на высоте своего призвания – Феофан Прокопович, в деятельности которого Преобразовательная эпоха отразилась во всей полноте, был в то же время и первым представителем нового движения – *секуляризации русской мысли*<sup>773</sup>.

Что такое духовенство, отрекающееся само от себя? Что такое архиерей, да еще стоящий на высоте своего призвания, делающийся представителем секуляризации русской мысли? Автор не только не понимает этих вещей, но, по всему видно, даже не чувствует, что он соединяет вещи несовместимые, что, утверждая здесь одно, он таким образом отрицает другое, как нелепость даже с реалистической точки зрения.

В нашей литературе, впрочем, мы имеем еще более странные проявления того же реалистического начала. Как на чудовищную крайность в этом отношении мы должны указать на сочинение г. Шашкова «История русской женщины»<sup>774</sup>, в котором прославляется свобода древней русской женщины, когда она будто бы занимала положение самки, и оплакивается позднейшая ее неволя в христианские времена. Замечательно, что в первом издании приложено к этому сочинению исследование о русской проституции. Вопреки, может быть, намерениям автора это приложение служило как бы прикладной частью его теории о свободе женщины. Можно думать, что сам автор сознал крайнее неприличие такого совмещения теории и практики и, может быть, потому-то и выбросил сказанное Приложение при втором издании своей книги.

## Глава XVIII. Научное изучение естественных условий русской жизни

Указанные болезненные явления нашего времени, конечно, не могут иметь научного значения и показывают лишь, как легко можно злоупотреблять естествознанием, превращая его в философско-историческую теорию. Но само по себе естествознание, именно, изучение физических условий жизни в нашей стране, в здоровых своих проявлениях принесло нашей науке немало пользы, и по этой части мы имеем несколько почтенных трудов. Мы разумею труды, в которых наше прошедшее изучалось на основании данных географических, этнографических и филологических.

**Н.П. Барсов.** В этом отношении большего внимания заслуживает почтенный труд Н.П. Барсова, ныне профессора Варшавского университета «Очерки русской исторической географии. География Начальной летописи», изд. в 1873 г. В этом труде автор старается выяснить кругозор нашего древнего летописца и осмыслить запас его географических и этнографических сведений. Автор приходит к выводу, что начальный наш летописец лучше знает приморские страны Европы, чем внутренние, и лучше знает дела западной половины России, чем северо-восточной. Сведения Начальной летописи автор дополняет позднейшими летописями и другими источниками, и определяет русские племена и отчасти инородческие и места их расселений. При этом он пользуется весьма важным научным приемом, сличением названий мест и определением их значения для уяснения степени давности поселений, давших эти названия. Нам известно, что названия рек, озер, гор, вообще неподвижных или нежилых урочищ самые устойчивые, тогда как жилые места, села, города весьма изменчивы в своих названиях. Достоинства этого труда лучше всего раскрыты в рецензии Л.Н. Майкова, давнего изыскателя в области исторической географии, понимаемой в самом широком смысле, многочисленные статьи которого помещены в изданиях Географического общества.

**Е.Е. Замысловский.** В новейшее время появилось сочинение, которое еще в более широкой постановке представляет нам нашу историческую географию, хотя собственно излагает географические сведения времен более близких к нам, именно времен московских. Это уже упоминаемое нами сочинение профессора Е.Е. Замысловского: «Герберштейн и его историко-географические известия о России»<sup>775</sup>. В этом сочинении сделан свод иноземных и русских географических известий о России. Есть в нем сближения и данных древнейших географов, греческих и римских. Весь этот свод обставлен самыми богатыми научными указаниями источников. Замечательно, что строгая научность сама собой выдвинула в этом сочинении достоинства географического кругозора наших предков. Так, например, автор указывает, что русские люди задолго до Ченслера знали морской путь в Европу из Белого моря и с замечательной тщательностью собирает сведения о плавании этим путем дьяка Герасимова при Иоанне III. Мы увидим, что это не единственный такой результат действительной научности.

Разработка географических данных по новейшим научным приемам встречается во многих сочинениях, например, в упомянутых сочинениях Беляева, Корсакова, Борзаковского и, как увидим ниже, с весьма важным, новым освещением – в «Истории русской жизни», сочинении И.Е. Забелина.

С преобладанием этнографической части мы тоже имеем несколько важных трудов. Таковы сочинение г. Дашкевича «Даниил Галицкий» (1873 г.), где, между прочим, выяснены тщательно отношения русского племени к литовскому, и г. Антоновича «Очерк истории Литвы до XIV в.» (1878 г.), где еще тщательнее изложено то же дело. Для изучения наших восточных окраин важно сочинение профессора Фирсова «Инородческое население прежнего Казанского царства» (изд. 1869 г.); исследования покойного Григорьева о Средней Азии (Россия и Азия. Сборник статей, изд. 1876 г.), а также сочинение Иванова «О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских народов при Чингис-хане и при Тамерлане» (изд. 1877 г.), в котором собраны сведения о нравах, приемах

войны, завоеваниях и управлении татар, объясняющие наш татарский разгром и иго. Некоторое значение имеет исследование г. Европеуса «Об угорском народе» (1874 г.), объясняющее древнейшие народности Восточной Европы. По мнению г. Европеуса югра, т. е. прародичи угров-мадьяр, были более древними поселенцами в Восточной Европе, чем финны.

Филология особенно много помогла для выяснения древнейших доисторических времен нашего народа и тем более – для выяснения славянской мифологии. Исследования Гильфердинга об арийском племени, из которого вышли все европейские народы, много выяснили о наших древних временах и составляют поправки и дополнения изысканий Шафарика по этому вопросу<sup>776</sup>. В «Истории русской жизни» г. Забелина собраны также богатые данные для уяснения доисторических времен, между прочим, и на основании филологии. В этом отношении важное значение имеют еще исследования профессора Будиловича «Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях», 2 выпуска 1 части, изд. 1878–1879 г. В сочинении этом исследованы славянские слова, пока только в области естествознания. Общий прием автора тот, что он показывает, какие славянские слова – самые древние и какие позднейшие; какие общеславянские и какие племенные.

Еще более богатое собрание данных филологических и вообще бытовых представляет сочинение Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» – опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов – три тома, изд. 1866–1869 гг.

В этом сочинении наша русская мифология изучается сравнительно не только с мифологией других славянских народов, но и вообще народов европейских, и все возводится к пранароду всех европейских народов – арийскому народу, на основании сравнительного изучения европейских языков с санскритом. С другой стороны, языческий миф славян здесь рассматривается в его историческом движении – не только в древних памятниках, но и в верованиях, песнях и обычаях, сохранившихся у разных народов до настоящего времени. Эта

последняя сторона дела пополнена у того же Забелина, в его «Истории русской жизни».

У Афанасьева, впрочем, есть один крупный недостаток в самой постановке вопроса о нашей мифологии. Он так преклоняется перед филологией, что самые религиозные понятия и их развитие выводит из значения слов и потому, например, ставит многобожие прежде единобожия у славян вопреки ясным свидетельствам древности.

Совсем иная постановка этого вопроса, хотя и не прямо, находится в сочинении Котляревского «О погребальных обычаях славян», изд. 1868 г. Котляревский останавливается на погребальных обычаях как на самом важном выражении идеи человека о бессмертии, без которой он не может жить так же, как не может примириться со смертью. Другая особенность этого сочинения та, что сам предмет его требовал данных по преимуществу из другой области – археологической; но о значении в нашей науке данных этого рода у нас будет речь ниже.

Изучение физических условий русской исторической жизни и физической стороны русского человека повело к составлению и изданию разных карт и целых атласов, весьма важных при изучении русской истории. Таков замечательный «Учебный атлас по русской истории» профессора Замысловского, особенно второе его издание 1869 г. (первое издание – 1865 г.), где, кроме карт племенных и географических, показывающих исторический рост русского народа и русского государства, помещено прекрасное, ученое Предисловие, заключающее в себе обозрение славянских племен древнейшего времени, русских областей и важнейших городов, таких как Новгород, Киев и Москва, планы которых помещены тоже в этом Атласе.

Географическим обществом издана в 1875 г. Этнографическая карта России – большой труд давно известного по изучению русской этнографии А.Ф. Риттиха, составлявшего также Вероисповедный атлас Западной России, изд. 1863 г., и Этнографический атлас Люблинской и Августовской губерний, изд. 1864 г. Известное Картографическое заведение Ильина издало в 1874 г. «Опыт статистического

атласа Российской империи», в котором, кроме данных для современного изучения России, есть немало весьма важных указаний и для изучения русской истории. Там есть карты метеорологические, показывающие климатические условия русской земли; гидрографические, иорографические, показывающие степень влажности и возвышения разных местностей; карты лесов; карты, показывающие качества почвенные и подземные, геологические свойства нашей земли; есть в этом Атласе карты населенности и Этнографическая карта.

В новейшее время (1884 г.) появился подобный же Атлас, но с более новыми научными приемами и более свежими данными. Это «Учебный атлас России» И.П. Поддубного. Самые разнообразные стороны Русской страны и русской жизни здесь представлены на картах и в диаграммах.

В обоих этих атласах есть карты, имеющие особенно важное значение для объяснения исторического движения русской жизни. Это карта лесов и безлесия, карта почвенная и карта населенности. Сличение этих карт дает новые объяснения исторического движения русского народа на Восток, а также многих других явлений в нашем прошлом, как это мы имели случай показывать в наших пояснениях Этнографической карты России, приложенной к нашему сочинению «Чтения по истории Западной России».

**Леруа-Болье.** В литературе нашей науки есть и общий свод естественных и исторических условий русской жизни, сделанный, впрочем, не русским человеком, а французом – Леруа-Болье, большим знатоком русских дел и, что особенно редко встречается в иностранных писателях о России, отличающимся замечательным беспристрастием, желанием узнать и сказать истину.

Исследование это Леруа-Болье первоначально было напечатано в «Revue de deux mondes» за 1873 г. (начало), особенно за 1874 и за 1875 гг. (конец). В 1881 г. автор начал издавать отдельно это исследование в исправленном виде. Изданы два тома. В первом томе – следующие главы: 1. Русская природа – климат и земля. 2. Народы – русская

народность. 3. Темперамент и характер народный. 4. История и элементы цивилизации. 5. Социальная иерархия: города и городские сословия. 6. Дворянство и чиновничество. 7. Крестьяне и освобождение рабов. 8. Мир, семья крестьянина и сельские общины.

Во втором томе помещено описание нашей государственной среды.

Третий том, по плану автора, будет заключать историю веры в русском народе, т. е. Православной Церкви и разных сект.

Наконец, автор предполагает, если представится возможность, написать еще четвертый том – о финансах, армии и внешней политике России.

Как можно видеть по самому содержанию вышедших и ожидаемых томов, самое важное для нашей науки в трудах Леруа-Болье то, что им уже сделано в первом томе под заглавием «Империя царей и русские. Страна и ее жители» (*L'Empire de tsars et les russes. Le pays et les habitants*).

Автор давно и много изучал Россию. Он был несколько раз в России, ездил по многим местам, читал много русских книг и имел сношения со многими русскими. В своем труде он пользуется фактами, добытыми другими; но в воззрениях старается быть независимым не только от немецких ученых, но даже от своих соотечественников. В русских ученых и просто образованных людях он нашел странное разногласие в понимании своего прошедшего и своего настоящего и старается тоже быть независимым от них. Он не следует ни воззрениям тех, которые, по его словам, видят в русском мужике идеал новой цивилизации, ни тех, которые отшатнулись от этого мужика и смотрят на него лишь как на материал для насаждения новой цивилизации. В действительности он колеблется между теми и другими: то считает залогом лучшего будущего России идеи Запада, то ожидает от русского народа новой роли во всемирной истории. С другой стороны, он то считает русский народ еще не сложившимся в смысле национальности, то указывает и превозносит такие типические черты русского человека, что, при нашей привычке унижать и поносить все свое, странно даже читать.



Ввиду других иноземных писателей Леруа-Болье – чистый француз, усматривающий в русском народе черты, более близкие к чертам французской нации, и настолько демократичен, что способен даже многое понимать в жизни чужого простого народа. В Леруа-Болье даже иногда сказывается смирение, преклонение перед величием русского народа. Но когда он касается идеи и задач России, то в нем обнаруживается, хотя и в сдержанных формах, гордость иноземца, в частности француза. Этот недостаток, впрочем, не так часто встречается, и его заставляют забывать настойчивое стремление автора везде отыскивать истину и его громадное общее образование, особенно в области знаний естественных условий жизни человека.

Автор ставит себе практическую задачу – узнать (историческую) жизненность новой России, а для этого, говорит он, нужно знать, какова способность к цивилизации этой страны и этого народа... «Это первая и последняя проблема, без разрешения которой всякое изучение России окажется без основания и без заключения. Чтобы оценить гений России, ее средства, ее настоящее и еще более – ее будущее, нужно знать землю, которая ее питает, народы, которые ее населяют, историю, которую она прожила, религию, которая ее воспитывала»<sup>777</sup>. Точнее и ближе к целям нашей науки автор ставит задачу: определить национальный характер и цивилизацию русского народа. Для этого он прежде всего рассматривает русскую землю и решает два вопроса.

1. Принадлежит ли Россия к Азии или к Европе? Автор рассматривает существенные особенности Европы и Азии – ровный, умеренный климат Европы: достаточную влагу, разнообразие вида земли, длинную линию береговую, и противоположные особенности Азии; затем он показывает, что особенности России в этом отношении ближе подходят к Азии; но, с другой стороны, то, что земля России требует труда и выдержки, сближает ее с Европой. Россия в западной своей части есть продолжение Европы, а в восточной – колониционная ее сила и может быть сравниваема с Северной Америкой, даже требует от колонизирующих большего

труда, нежели какой берут на себя эмигранты в Северной Америке, следовательно, Россия еще более есть страна европейская.

2. Автор решает другой общий вопрос: составляет ли Россия по самой природе своей земли что-либо одно? В этом случае он сперва очерчивает крайности, противоположности, а потом делает общий, окончательный вывод. Громадное пространство России, если рассматривать ее отдаленные части, представляет поразительные крайности: холод и жар, леса и степи, сходство земли с европейской и совершенное сходство с азиатской. Но, всматриваясь внимательно в общее строение русской земли, нельзя не видеть, по словам Леруа-Болье, что эта равнинная страна не дает опор для образования разных государств и, напротив, назначена для образования одного государства. Более резко различающиеся ее части – северная лесистая и южная степная, существенно нуждаются одна в другой: северная – в хлебе южной половины и южная – в лесе северной. Притом обе они объединяются зимой, которая равно сковывает обе части, равно покрывает реки льдом, землю – снегом, так, что с севера на юг России можно зимой ехать непрерывно в санях. При этом автор указывает на совершенно естественное значение Москвы, которая занимает середину между лесной и степной половинами России.

«Эти два пояса России (северный и южный) связываются, – говорит он, – не только тем, что между ними есть общего, но даже своими различиями. Чем более различаются их почва и ее произведения, чем исключительнее их призвание, которое они, по-видимому, получили от природы, тем более каждый из них вынужден обращаться к помощи другого. Только одна центральная область, где сходятся и смешиваются леса и поля, – древнее великое княжество Московское – могла довольствоваться собой. Север и Юг к этому не были способны. Они держатся во взаимной связи, которая вопреки их контрастам и даже этими самыми контрастами обеспечивает на веки их единство. Если природа когда-либо очерчивала контуры одной монархии, то это от Балтийского моря к Уралу и от Арктического океана к Каспийскому и Черному морям. Этот

квадрат ясно намечен, и история только наполнила его»<sup>778</sup>... «Промышленная Московская область своим густым населением обязана не столько историческим причинам, сколько своему центральному положению между двумя великими водными путями внутри России – Волгой и ее притоком Окой, и двойному соседству – прекраснейших лесных стран Севера и плодороднейших черноземных полей Юга»<sup>779</sup>.

Переходя к населению этой громадной страны, назначенной самой природой быть единым государством, автор задается вопросом: может ли эта страна быть великой нацией<sup>780</sup>, и разрешение этого вопроса начинается, по обычаю, с контрастов, противоречий.

В России – страшное разнообразие народностей, и она, кроме севера, со всех сторон открыта для вторжений. Но эта именно открытость и отсутствие внутренних естественных преград мешают многочисленным народам России держаться особо, образовать особые государства, и заставляют их входить во взаимные отношения, смешиваться и ослаблять свою индивидуальность<sup>781</sup>. Весь вопрос, следовательно, в том, какой национальный элемент должен давать главную окраску этому смешению, и вырабатывать главную национальность.

Леруа-Болье, как и всякий, при одном взгляде на этнографическую карту России видит, что эта главная, ассимилирующая сила – в русском народе, и затем, оставляя в стороне ничтожные по количеству или самые окраинные народности, как жиды или закавказские племена, старается уяснить: какие главные инородческие элементы вошли в этнографическое образование русской народности и какие качества внесли они в нее? При этом автор точно ставит научные требования, что-бы правильно определить и понять русскую народность. Он не довольствуется одним этнографическим признаком языка. Инородец может говорить по-русски, но это еще не делает его русским. Для полного обрусения нужно смешение крови. Поэтому автор изучает русскую народность шире, полнее – с археологической стороны, физиологической, и старается определить даже особые душевные качества на основании этнографических элементов,

вошедших в русскую народность. Самое большое его внимание вызывает прежде всего великорусское племя, образовавшееся из соединения славянской народности с инородцами.

Самую большую долю чужой примеси в великорусском племени автор находит в финской народности, которая отличается способностью принаровляться к условиям жизни, а также серьезностью, терпением и твердостью.

Вопреки мнению многих иноземцев автор отвергает смешение русских с монгольскими племенами, как такое ничтожное, о котором не стоит говорить; не много он дает в этом отношении значения и примеси татарской, которая, по его мнению, имела влияние на русских более историческое, чем этнографическое. Сводя все эти примеси в одно, автор решает вопрос, что же такое великорусский человек? Строение головы и всего тела великоруса приводят автора к убеждению, что это европеец, и в частности – славянин. Для большей убедительности автор старался дать понятие о народности вообще славянской. По автору, славяне – такой юный народ, что очень трудно определить их национальную индивидуальность<sup>782</sup>. Они не участвовали в начале Западноевропейской цивилизации ни через римлян, ни через греков, и, однако, раньше старых народов выставили великих двигателей этой цивилизации, таких как Коперник и Гус<sup>783</sup>, и множество разных ученых людей. Даровитость славян не подлежит сомнению. По особенностям своим славяне ближе подходят к французам, чем к близким своим соседям – германцам. Выдающиеся их черты, особенно у русских славян, – способность воспринимать и воспроизводить всякие идеи<sup>784</sup>.

Затем автор вглядывается в племенные особенности русского народа, и его поражает единство их образа жизни везде. Из этого единства выделяется малорусское племя, которому южные степи, наполненные кочевниками, не давали такого удобства колонизировать их, какое имели великорусы. По автору, малорусс – более чистой славянской крови, чем великорусс, более близок к Западу, хвалится более чистой своей кровью, более приятным климатом и более улыбающейся ему землей. В малоруссах более красоты, порывистости,

задумчивости, но в то же время больше лени, нерешительности, апатии<sup>785</sup>. Наконец, у автора выделяются, хотя гораздо менее, белоруссы. Белоруссов автор даже не характеризует особо, а говорит лишь вообще о них и малоруссах, что те и другие, как менее удрученные суровым климатом и восточным деспотизмом, сохраняют больше личного достоинства, независимости и индивидуальности, чем великорусы<sup>786</sup>.

Оба племени в совокупности составляют менее половины великорусского племени, которое выступает как главная русская сила. Великорус – это господин русской земли. Инородческая примесь дала ему особенную даровитость и энергию. Он похож на германского пруссака и на итальянского пьемонтца<sup>787</sup>. Но есть и великая разница между ними.

Страна великой России не завоевана военными отрядами из Новгорода и Киева. Она приобретена долговременной и медленной колонизацией славянских выходцев из этих стран – колонизацией, которая почти ускользала от внимания летописцев<sup>788</sup>. Другими словами, тут происходил племенной процесс этнографического смешения. Но кроме того, тут, по мнению Леруа-Болье, происходило еще одно явление, наблюдаемое и в других странах, где происходит европейская колонизация. Одно уже прикосновение, приближение русского к восточным инородцам дает господство первому над последними<sup>789</sup>. Не следует ли отсюда заключить, что в России славянская, т. е. индоевропейская, кровь имела над туранской кровью те же преимущества, как и в остальной Европе?<sup>790</sup>

«Итак, – замечает Леруа-Болье, – Россия своей расой, как и своей почвой, отличается от Запада, но она еще более отличается от старой Азии, – она есть европейское завоевание Азии. Русский народ по своей крови, как и по своим преданиям должен быть прямо причислен к самой благородной, прогрессивной, интеллигентной семье земли, но в то же время должен быть признан ее ветвью менее всего образованной, или, лучше, самой невежественной ветвью этой семьи. Из двух главных этнографических элементов России в ее гении самый европейский ее элемент – славянский – почти также неизвестен, как другой инородческий; мы не знаем, какую

неожиданность скрывает в себе для будущего особенный народ, происшедший из слияния этих элементов»<sup>791</sup>.

Этот особенный народ, скрывающий в своем гении еще неизвестные особенности, автор старается разгадать, и определить хотя бы некоторые черты его темперамента и характера.

Леруа-Болье выходит из того положения, что на молодой народ особенно сильно действует природа<sup>792</sup>, из которой автор и выясняет особенные черты русского народа.

Русский холод, необходимость жить в течение года долгое время в жилищах, в которых для тепла преграждается доступ свежего воздуха, производят в русском народе сонливость, апатию, а постоянная и часто безуспешная борьба с природой, господство случайностей приучают русского человека к деспотизму. Отсюда же автор выводит необыкновенный русский стоицизм без гордости и самосознания древних стоиков, русскую способность все переносить, преодолевать все трудности и умирать спокойно, смиренно. Но тут же автор с возмутительной самоуверенностью повторяет обычные западноевропейские мнения, что наши русские подвиги, доблести есть выражение нашей низкой цивилизации, нашего варварства<sup>793</sup>. Но даже и в этом случае автор старается, хотя бы несколько, высвободиться из западноевропейских предубеждений. Он говорит, что русский стоицизм, русская способность умирать спокойно, смиренно, согреваются религиозным чувством; что русский человек, хорошо знакомый с трудностями жизни, охотно помогает ближнему и сохраняет поразительное благодушие; что вообще он необыкновенно практичен и чрезвычайно ценит здравый смысл<sup>794</sup>. Из естественных же условий жизни автор выводит и ту особенность русского народа, что он не имеет страсти к завоеваниям; но если его тронуть, то он сильно защищается и в этом случае бывает жесток<sup>795</sup>.

В заключении, чтобы дать яснее понятие о русском человеке, автор изображает личность Петра, как истый образ великоруса. Черты для этого взяты главным образом у Соловьева<sup>796</sup>. Самая важная для нас часть первого тома

сочинения Леруа-Болье – это четвертая книга или глава, где излагается история России под заглавием «История и элементы цивилизации». К сожалению, это один из самых кратких трактатов в первом томе этого сочинения.

Автор и здесь, как не раз и выше, занимается, прежде всего, решением вопроса: принадлежит ли Россия по своей истории к Европе или к Азии? По его мнению, в Западноевропейской цивилизации три основных элемента: Христианство, классицизм и тевтонский или вообще варварский элемент. В основе Русской цивилизации лежит тоже Христианство, но не из Рима, а из Византии, и хотя автор не желает сказать, что с его точки зрения это – не чистое Христианство, а схизма, но этот взгляд его сквозит в его сочинении. Это видно из того, что он связывает принятие нами Христианства с упадком Византии. Еще сильнее этим упадком он оттеняет и нашу отличную от Западной Европы связь с греко-римским миром, от которого Западная Европа взяла свое классическое и правовое просвещение, а мы взяли Византийскую цивилизацию, где господствовали автократизм и чиновничество. Что касается тевтонского элемента, то и его мы не чужды, по автору, как и все западноевропейские государства, получившие от него свое начало. Автор этим самым уже дает свое согласие на принятие норманнской теории начала нашей государственности и даже теории в усиленном виде, т. е. он считает вероятным и норманнское завоевание России, и норманнские начала в нашей Русской Правде. Впрочем, автор признает, что норманнский элемент в действительности у нас вскоре претворился в славянский и вообще несравненно менее у нас действовал, чем в Западной Европе. Общий вывод автор делает тот, что у нас, как и в Западной Европе, хотя в различных степени и виде, но действовали те же элементы цивилизации, что и в Западной Европе. С этой точки зрения историческое движение, развитие нашей цивилизации автору естественно должно было представляться как восполнение этих начал до равенства с Западной Европой, или же как еще большее оскудение их. С этой именно точки зрения автор делит

нашу историю на три периода: домонгольское иго, монгольский период и период со времени Петра.

В домонгольском периоде автор видит совершенно естественное развитие нашей цивилизации. Мы были не только под влиянием Византии, но и в связи с Западной Европой. Наш древний Киев был не только воспроизведением Константинополя, но и торговым, цивилизованным центром в смысле Западноевропейской цивилизации. Особенное внимание автора вызывает время Ярослава I, когда в Киеве было много варягов и когда завязаны были родственные связи нашего княжеского дома почти со всеми западноевропейскими государями. На сами княжеские смуты автор смотрит, как на средства к объединению России, причем, как и в начале нашей государственности, он не упускает из виду, что у нас был один русский народ, составлявший общины и потом развивший до большой силы в некоторых местах свои веча. Вообще в дотатарский период мы, по автору, стояли ничуть не ниже Западной Европы по нашей цивилизации. Но в то время, как Западная Европа заканчивала свои темные времена, приближалась ко временам возрождения, на Россию надвинулись татары, и все с тех пор стало изменяться. Мы отодвинулись от Западной Европы, цивилизация наша пошла по другому направлению.

В этом втором периоде автор излагает историю Московского единогодержавия, и тут-то во всей ясности сказалась неспособность иноземца понять нашу историю, неспособность даже такого хорошего иноземца, как Леруа-Болье.

Нам известно, что все наши лучшие русские историки какого бы ни было направления сосредоточивали на этом периоде особенное свое внимание, как на таком времени, когда начала русской исторической жизни обнаружились ясно, и одни из писателей, как славянофилы, видели здесь все задатки дальнейшего самобытного развития России, другие, как западники, усматривали полную несостоятельность этих начал и все упования возлагали на сильно развитую власть, долженствовавшую вести Россию к усвоению Западноевропейской цивилизации. Автор, еще в начале этого



трактата осудивший славянофилов и явно снисходительно отнесшийся к западникам, не только держится направления западнического, но и усиливает его. Вся историю Московского единодержавия он рассматривает как историю порабощения, прогрессивно увеличивающегося. Татарское иго, по автору, было для русского человека школой терпения и самоотречения. Давление сурового русского климата и татарского ига сошлись и еще более усилили в русском человеке способность к абсолютизму, Московские князья могли успешно строить на этом фундаменте здание единодержавия. Здание это, впрочем, закладывалось и прежде. Русская жизнь, отличавшаяся от Запада, сосредоточенная на Востоке в великорусском племени, основалась на родовом начале. При этом у автора выступает даже чичеринский русский двор, а за ним кавелинская и чичеринская вотчинность. Все это в истории Московского единодержавия подкреплено не только татарскими, но и византийскими началами, поведшими к уничтожению областной самобытности, вечевых порядков, к принижению всех сословий. В этих же времена автор видит зарождение всех сословий. В этих же времена автор видит зарождение русского народно-религиозного патриотизма. Страшные бедствия вызывали и усиливали религиозное чувство, а господство иноземцев и сами подвиги терпения среди страданий возбуждали гордое сознание национального превосходства. В эти-то времена, по автору, явилось сознание России как Святой Руси.

Доискиваясь, что же сохранилось тогда на Руси от старого европейского времени, автор находит, что русские своей покорностью, выносливостью спасли свои семена для Европейской цивилизации. Для полноты этой мрачной картины Московского единодержавия автор, не находя положительных сторон в русской цивилизации того времени, а одни лишь отрицательные, усиливает мрачные краски еще тем, что перечисляет, чего России не доставало из начал Западной европейской цивилизации. Тут и отсутствие аристократии, среднего сословия, отсутствие наук, свободных учреждений, высших идей, словом, всего того, чем так заняты вообще западники, в частности Чичерин, и перекличку чего

иронически считал очень длинной Самарин. Автор и ссылается в этом трактате на Чичерина и Цыпина. Во всей московской цивилизации автор находит только две силы – общину и автократизм, и обе силы признает некультурными.

Из такого взгляда на Московский период нашей исторической жизни, само собой, следовало, что в Петровский период Россия должна была брать цивилизацию из Западной Европы. Дело Петра автор связывает, с одной стороны, с древней Россией и указывает подобные стремления в его предшественниках, как, например, в Иоанне III и других, с другой – указывает, что после Петра дело его было большей частью в ненадежных руках и, однако, не погибло. Из этого автор выводит заключение, что Западноевропейская цивилизация составляла потребность России как народа европейского, и потому не погибла, несмотря ни на какие препятствия.

Но когда Леруа-Болье переходит к оценке действительных плодов наших заимствований из Западной Европы, то картина выходит совсем иная. Автор признает, что в преобразованиях Петра недоставало нравственности, которая тогда была очень плоха и во всей Западной Европе. «В своей страстной заботе о прогрессе, – говорит автор, – Петр пренебрег одной вещью, без которой все другие хрупки. Он оставил в стороне нравственность, которая, может быть, не составляет одного из принципов цивилизации, но которой никакая цивилизация не может обходиться безнаказанно. Материальная культура составляет для Петра предмет особенных его желаний – ее-то он особенно желал заимствовать. Тут сказался реалистический дух великорусса; тут сказался и недостаток века. Запад в то время, когда Петр обратил к нему Россию, был для нее опасным образцом. Нравственная испорченность, умственная анархия XVIII века давали губительные примеры полуварварскому народу, который, как всегда, более был расположен перенимать пороки, чем хорошие качества своих чужеземных наставников»<sup>797</sup>. Автор даже говорит, что XVIII век был для России школой деморализации<sup>798</sup>.

Но это не составляло еще единственного зла. С нравственным развращением соединялось умственное. Устремившись на путь подражаний, русские бросались на все идеи, «делались попеременно учениками энциклопедистов и французских эмигрантов, Вольтера и Иосифа де-Местра, и часто кончали бессодержательным, отрицательным скептицизмом»<sup>799</sup>. Вместе с тем вырастало и социальное зло – разъединение классов, и в верхних слоях – потеря народности. «Большие города и господствующие жители составляли среди деревень как бы иностранные колонии». Автор в этом видит даже замедление русского прогресса, так как народ, от которого отделились образованные классы, оставлен был в своем варварстве. Наконец, автор указывает и на политическое зло. Русским вдруг навязана была чужая цивилизация, для которой в России не было корней. «Вся правительственная организация была делом внешним, чуждым народу. Большая часть законов были скороспелы, и походили на одежду, не идущую ни к стану, ни к привычкам народа»<sup>800</sup>. Автор при этом обращает внимание еще на одно обстоятельство, влиявшее на усиление этого зла. Новейшая цивилизация Европы имеет ту дурную сторону, что она развила злоупотребление законодательством, излишнюю веру в писанный закон. Это зло, по автору, нигде не развилось так, как в России, где было слишком много средств все переделывать, перестраивать<sup>801</sup>. Судя по законам, Россия не раз была переворачиваема сверху донизу, говорит автор... «Страна, двинутая в своих основаниях, не могла найти своего равновесия»<sup>802</sup>.

Таким образом, по автору, старорусская пустота наполнена со времен Петра такими западноевропейскими заимствованиями, которые тоже не дают ничего твердого и чаще всего приводят тоже к пустоте, к отрицанию всего. Автор это объясняет, между прочим, тем, что до освобождения крестьян преобразования производились правительством и усваивались лишь верхним классом, а после освобождения крестьян России предстоит идти к этому другим путем, идти с народом и усваивать не одну материальную культуру, но и западноевропейские вольности. Но кто же поручится, что и тут

не выйдет той же, а может быть и худшей пустоты, отрицания. Новейший цветок Западноевропейской цивилизации – социализм – слишком поучителен.

Вообще, в своей исторической части Леруа-Болье не только слабее, чем в других главах, но и часто противоречит себе. Когда он стоит в области естественных условий жизни, где все народы сближаются и объединяются, он смотрит беспристрастно и даже указывает особую, новую миссию русского народа. Но когда он входит в историю, где национальные особенности, начала, воззрения стоят выше всего, он поддается западноевропейским предубеждениям и становится более и более на сторону наших западников.

Эта же односторонность выдерживается автором и в последующих главах его первого тома – об образованных сословиях и крестьянах, где хотя встречается исторический материал, но над ним решительно преобладают теории автора касательно лучшего устройства дел. Самое большее внимание автор отдает крестьянам и подробно рассматривает русскую общину, русский мир. В конце концов он, как прежде, не усматривает и здесь прочного залога будущего развития России, напротив, усматривает даже удобства для развития в самом русском народе социалистических начал<sup>803</sup>. Тут же сказался не последователь наших западников, а французский буржуа.

**Живописная Россия.** В новейшее время и у нас в России предпринято подробное описание России с разнообразных сторон – археологической, этнографической, исторической, экономической, бытовой и т. п. Это так называемая «Живописная Россия», громадное с многочисленными, прекрасно выполненными рисунками издание (предположено 12 томов), предпринятое умершим петербургским книгопродавцем Вольфом. К участию в этом издании приглашены многочисленные русские писатели, в том числе и некоторые историки, такие как Д.И. Иловайский, И.Е. Забелин, Н.И. Костомаров. Некоторые части этого большого издания уже вышли из печати. С 1874 по 1884 г. изданы: том I – «Северная Россия», том II – «Северо-Западные окраины России (Финляндия и балтийские губернии)», том III – «Западная и

Южная Россия (Литва и Белоруссия)», том IX – «Кавказ», том XI – «Западная Сибирь». Внутреннюю Россию предполагается поместить в VI и VII томах; но по ускоренному изданию IX и XI томов видно, что издание томов, обнимающих внутреннюю Россию, отодвигается еще дальше, и является естественное предположение, что все окраины России, т. е. инородческие ее области, будут описаны, а внутренняя, самая русская часть России займет последнее по порядку издания место, если только явится когда-либо в «Живописной России».

Этот порядок описания способен поставить в недоумение всякого, кто здраво смотрит на неизбежные требования подобного рода работ. Внутренняя Россия, населенная цельным русским народом, есть зерно России и в смысле историческом, и в смысле этнографическом, и даже, как давно уже показывает опыт, в смысле экономическом. Казалось бы, всякому должно быть понятно, что для понимания жизни какой бы то ни было окраинной русской области, нужно понять прежде именно это зерно России, из которого выросли и исходят русская сила и жизнь во все эти окраины. Но издатели «Живописной России» поняли иначе свою задачу.

Нам известно, что значит, когда в каком-либо историческом труде отвлекалось в какую-либо сторону внимание от русского средоточия, от центра тяжести русской исторической и современной жизни. Это обыкновенно делали с Россией иноземцы и инородцы, бравшиеся за разъяснение в каком-либо отношении русской жизни. Неужели и это издание предпринято тоже в иноземных или инородческих интересах? Приходится так думать. В конце 1883 года появилась на польском языке брошюра, составленная одним из членов фирмы Вольфа – Либеровичем<sup>804</sup>, в которой с самой бесцеремонной откровенностью рассказывается, что издание это предпринято собственно для целей польских и что для этого, насколько было можно, подобраны писатели не строго русского направления, а так называемого либерального, благоприятного полякам. Конечно, при этом необходимо было сделать уступку. Такие писатели, как Д.И. Иловайский, И.Е. Забелин, С.В. Максимов не станут писать в польском духе. Но им и не предоставлено это.

Они могут писать в русском духе о внутренней России, когда это понадобится, а теперь о делах окраинных призваны писать такие писатели, которые или суть носители чисто окраинных идей, или весьма сочувствуют им. Вышедший третий том этого издания, несомненно, подтверждает и откровенные признания г. Либеровича, и наши пояснения их<sup>805</sup>. Он почти весь представляет воспроизведение польских воззрений и польских притязаний на Литву и Белоруссию, и так как подобные взгляды отразились на других вышедших томах «Живописной России» и, без сомнения, во всей силе будут воспроизведены в томе IV (Царство Польское) и томе V (Малороссийская нестепная область), то мы считаем не лишним остановиться несколько на III томе «Живописной России», составляющем первый, совершенно явственных опыт польских и вообще инородческих поползновений на уразумение России – опыт, предлагаемый вниманию всего русского образованного общества.

Главным автором этого тома, главным, так сказать, строителем путем науки польского здания в Литве и Белоруссии был г. Киркор, обладающий, как и г. Спасович, и русским, и польским образованием и у которого под видом гуманности и научности тоже везде видны великая неправда и фанатизм по отношению ко всему русскому, как это русское сложилось во времена московские и сохраняется во все времена послепетровские.

Г. Киркор сначала строит свое здание на основах, по-видимому, самых научных и гуманных. Он охотно допускает древнейшее единение племен – литовского и белорусского<sup>806</sup>, допускает сильное обрусение Литвы и даже влияние Рюриковой династии на Литовскую, особенно на Гедиминову династию<sup>807</sup>. Единственной препоной для научности и гуманности г. Киркора здесь оказывалось Православие. Он сначала дает и ему как будто подобающее место в среде белорусов в древние времена<sup>808</sup>; но как только заходит у него речь о распространении в Литве Православия, так он тотчас противопоставляет ему Латинство и теряет под собой и научную, и гуманную почву. Его, например, история Виленских мучеников и их мощей для всякого понимающего дело

представляется чудовищным извращением фактов<sup>809</sup>. И понятно, что вопрос о вере обнаружил действительные воззрения г. Киркора, чуждые всякой гуманности. Как Православие в Западной России было главнейшей опорной силой для Восточной России, так и Латинство – для Польши.

Для полного равновесия г. Киркору не доставало поляков в Западной России и стояло на пути народное единство Белоруссии с Восточной Россией.

Он преодолел, т. е. вообразил, что преодолел, и эти затруднения. Он разбил русское племя в Литве и Белоруссии на белорусов, черноруссов, вспомнил и древних кривичей, даже выдумал новое славянское племя дейновцев<sup>810</sup> и нашел в Западной России туземных поляков<sup>811</sup>. Мало того. У читателя сколько-нибудь невнимательного, а таковых будет немало, ибо книга имеет популярный характер, останутся эти разрозненные зерна народностей, брошенные и ранним, и задним числом, и будут постепенно вырастать и приносить польские плоды.

Дальнейшая судьба Литвы и Белоруссии представляется г. Киркору как постепенное, благотворное усвоение латинопольских начал и как варварское противодействие этому со стороны России. Он заботливо выставляет все хорошее польское и закрывает все дурное, а по отношению к России держится противоположного правила – закрывает совершенно историческую тягу Западной России к Восточной и с неутомимой заботливостью раскрывает русские жестокости, и особенно восстания против России<sup>812</sup>. Он до такой степени желал бы разорвать всякие связи Западной России с Восточной, что в одном месте даже негодует на иезуитов, зачем они ввели Унию, а не прямо обращали белорусский народ в Латинство, потому что если бы вводилось прямо Латинство, то народ Белоруссии был бы уже теперь польским. «Иезуиты много согрешили перед Польшей, – сокрушается г. Киркор. – Если бы они постарались обращать народ хотя постепенно прямо в Латинство, то в течение двух слишком столетий они всю Белоруссию сделали бы польской. Уния же принималась народом бессознательно, по приказанию владельцев. Обрядность, язык оставались прежние, и народ не замечал даже (?) или не понимал (?) основной

перемены, именно в признании главенства папы. Православное духовенство в то время было так грубо и необразованно, что не могло влиять благотворно (?!) на сельское сословие, не могло соперничать с иезуитами и по отношению к высшим сословиям»<sup>813</sup>. Понятно после этого, с каким вниманием автор останавливался на той части западнорусской интеллигенции, которая полячилась<sup>814</sup>. Он как бывший старожил Вильны собрал всевозможные сведения о польских людях Литвы и Белоруссии, и более видные из них красуются на особой картине с Мицкевичем и польским орлом на груди у него в середине<sup>815</sup>. Но ни на этой картинке, ни где-либо в другом месте нет ни Георгия Конисского, ни Иосифа Семашки с его сотрудниками; нет даже Мелетия Смотрицкого.

Воззрения г. Киркора имели такую силу в редакции «Живописной России», что даже главный редактор этого издания, П.П. Семенов, усвоил их на некоторое время и высказал в своих «Экономических обозрениях Литвы». Именно он признал культурным элементом этой области польскую народность. Вот странные суждения П.П. Семенова: «Вообще говоря, продолжительное и отчасти славное историческое прошлое Литовской области во время ее соединения с Польшей дало этой области такие культурно-исторические элементы и черты, которые не могли исчезнуть и сгладиться в одно столетие и не могут быть уничтожены искусственно. Польское или ополяченное дворянство и даже мелкое шляхетство со своим родным языком, находящим точку опоры в богатой и дорогой каждому поляку литературе, со своей религией и историческими преданиями, с высокой для своего времени и достаточно самостоятельной культурой, не может быть ни денационализировано (?!), ни уничтожено в крае, ни вытеснено из него, и надолго еще останется одним из важнейших культурно-исторических элементов области»<sup>816</sup>. Мало того. Даже г. Максимов, меньше всего податливый на уступки, пойман был на одной слабости и невольно послужил целям издания. Ему поручено было описать Восточную Белоруссию, сливающуюся с Восточной Россией. Г. Максимов, естественно, изобразил превосходство великоруса над белорусом. Это было



очень важно для г. Киркора. В общей картине выходит, что белорус резко отличен от великоруса и составляет пригодный элемент для польского строения.

Впрочем, в конце этого III тома «Живописной России» вышла дисгармония, без сомнения, совершенно неожиданная для г. Киркора и крайне ему неприятная. При обозрении экономического состояния белорусского Полесья П.П. Семенов освободился от воззрений редакции этого издания и вышел на свободу русской науки и русского понимания современного состояния Западной России. В своем обозрении экономического быта белорусского Полесья П.П. Семенов дает прекрасное экономическое и народное осмысление водного пути из Балтийского в Черное море и разделов Польши, и совершенно вразрез с мнениями г. Киркора оценивает богатые последствия освобождения крестьян и последней польской смуты. Вот выдающиеся места в конце этого трактата, которые мы приводим лишь с небольшими пропусками подробностей: «С падением Киева (с нашествием татар) совершенно изменилось и положение Белоруссии. Великий водный путь из Варяг в Греки почти утратил свое значение. Живительное влияние такого культурного центра, каким был для соседних белорусов Киев, исчезло. Взамен того усилилось значение соседнего Литовского государства, и Белорусская область очутилась на длинном гужевом пути между близкой Вильной и отдаленным Владимиром, а потому весьма естественно стала более тяготеть к литовской, чем к русской столице... Правда, что центр тяжести великой Руси с переходом своим из Владимира в Москву приблизился к Белоруссии, и восточная и западная оконечности Белорусской области очутились в одинаковом расстоянии от великорусской и литовской столиц, но это не улучшило положения Белоруссии... эта несчастная, обделенная природой страна должна была, можно сказать, разорваться в своих тяготениях; часть ее, лежащая к востоку от великого водного пути из Варяг в Греки, тянула к Москве, а часть, лежащая к западу – к Литве. Еще хуже стало положение Белой Руси с тех пор, как в XV (XIV) веке литовские князья сели на польский престол, вследствие чего Литва соединилась с

Польшей, а центр тяготения соединенного государства перешел в Варшаву. Вместо того, чтобы служить соединительным звеном между восточной и западной столицами славян, как в прежние времена она связывала северный и южный культурные русские центры – Киев и Новгород, Белоруссия сделалась только театром борьбы и яблоком раздора между Россией и Польшей, так как и самые отношения между ними были совершенно иные, чем между Киевом и Новгородом. Если Киев и Новгород и вступали иногда в столкновения, то эти столкновения и войны имели домашний, междоусобный характер и никогда не принимали, как отношения между Россией и Польшей, характера борьбы разноречивых и сделавшихся уже настолько разнородными народами, что весь строй их духовной культуры по слишком резкому своему различию не допускал (!) между ними добровольного слияния. Весьма естественно, что Белоруссия очутилась не между двух светлых точек, как это было во время существования Киева и Новгорода, но между двух огней, которые то с одного конца, то с другого жгли многострадальную Белоруссию»...

«С половины XVII века, т. е. со времени воссоединения малой Руси с великой Русью и возвращения России бывшего Смоленского княжества, положение Белоруссии начинает изменяться. В начале XVIII века, т. е. при Петре Великом, присоединение к России Балтийской области и окончательное упрочение русского владычества в Малороссии, после Полтавской битвы, окружило Белоруссию московскими землями с двух сторон, так что верховья и низовья двух главных белорусских рек Днепра и Двины принадлежали России, а на средних их течениях еще господствовала, хоть и отчасти – Польша. Такое положение было противозаконно и неустойчиво: первый раздел Польши положил ему конец: течения Днепра и Двины в 1772 г. присоединены были к России, а двадцать лет спустя, при втором разделе Польши, вошли в состав Русского государства вместе с Литвой, и Пинско-Березинское полесье и минская местность, т. е. все (!) остальные части Белоруссии. Но не скоро могло подняться возвратившееся в свое исконное отечество, загнанное и

поставленное самой природой в весьма трудные отношения белорусское племя. Между ним и единой ему соплеменной государственной властью стояло в большей, западной половине области польское или ополяченное высшее сословие, вооруженное своим могущественным крепостным правом, и иноплеменное, пришлое среднее сословие, состоящее по преимуществу из евреев, с чуждыми сельскому населению экономическими интересами, с чуждым его народному говору жаргоном».

«Только выход крестьян из крепостной зависимости в 1861 г. и события 1863 г. изменили к лучшему положение сельского населения в Белорусской области... результаты освобождения белорусских крестьян от крепостной зависимости выразились в громадном приросте населения, именно в тех частях Белоруссии, где крестьяне получали свои наделы на наиболее льготных условиях... Не только средний уровень благосостояния белорусских крестьян возвысился, но выдвинулись между ними такие зажиточные семьи, каких не было прежде. Проведение прекрасной сети железных путей еще более подняло экономическое благосостояние страны и *крепко связало* ее в ее экономических интересах с остальными частями России – великой и малой Русью. Народная школа должна довершить в деле умственного развития то, что уже совершилось в деле развития экономического, а как только умственное развитие будет идти рука об руку с экономическим, то для Белорусской области наступит лучшее время и, несмотря на скудость своей почвы, обделенность Белорусской области дарами природы, белорусс займет *в своей родной Русской земле* принадлежащее по праву происхождения место – не между ее пасынками (?), а между родными ее сынами»<sup>817</sup>.

Всякому, кто хотя бы немного знает историю и современное положение этнографической Литвы, ясно, что почти все сказанное здесь П.П. Семеновым о Белоруссии, относится к Литве, и непонятно, почему он ее привязал к Польше, а не к России вместе с Белоруссией.

В других томах инородческие тенденции не обнаруживаются с такой страстностью, как в III томе этого издания, но они там и

сами собой выступают при таком плане издания. Север России оказывается более финским и, главное, более объединенным в этой народности, чем это есть на деле. Усиливать изображение особенности Финляндии и балтийских губерний не было надобности, потому что эти области и сами, даже больше чем следует, выделяются из русских областей, и притом последняя описана местными писателями. Кавказ и Западная Сибирь тоже достаточно сильны в этом отношении своим многонародием.

Во всех этих томах важнее всего та слабая сторона, что недостаточно раскрыта в них русская этнографическая сила, да и не могла быть надлежащим образом раскрыта, когда все окраины России оторваны от своего исторического центра – внутренней России, которая теперь еще не существует в «Живописной России» и перед читателями, и перед многими из участников этого издания.

Насколько серьезные русские писатели, разобравшие работу для этого издания, преодолеют все эти странности, когда составят описание внутренней России, если только эти работы дождутся издания, мы не знаем; но повторяем уже высказанную мысль, что V том этого издания (Малороссия), которым будет замыкаться инородческий пояс России, по всей вероятности, не уйдет далеко от третьего тома по своим особенностям.

## Глава XIX. Федеративная теория

В истории нашей науки мы уже не раз встречали мнения об особенностях русских племен, входящих в состав русского народа. Так, Беляев высказывал, что славяно-русские племена, расселившиеся по нашей стране, находились на различной степени развития, и что, кроме полян, самыми развитыми были кривичи. Соловьев своими мнениями о движении русского населения на Восток и о понижении сообразно с тем нашей цивилизации дал основание для резкого различия между Восточной и Западной Россией. К.Д. Кавелин уже прямо выделил великорусское племя как самое некультурное в сравнении с населением Западной половины России, а Леруа-Болье обставил это различие условиями почвы и этнографическими особенностями, выводя отсюда даже умственные и нравственные особенности населения этих двух половин России.

Почти во всех этих воззрениях главное внимание сосредоточивалось на великорусском племени. Но в истории нашей науки есть теория, которая нашла другую точку опоры для разъяснения племенных различий русского народа, сосредоточила главное внимание на другом русском племени и думала было установить совсем иные взгляды на наше старое историческое время и вывести отсюда практические указания, противоположные установившемуся единству России. Это так называемая федеративная теория, выдвинутая нашими малороссийскими учеными.

В России, кроме великорусского племени, самое выдающееся по своим особенностям и числу – это малороссийское племя, населяющее большую половину Западной России и Южную Россию. Племя это имеет богатые бытовые особенности и богатую историю, особенно в средние и новые времена, когда оно отстаивало свою русскую самобытность от Польши и стремилось восстановить свое старое единство с Восточной Россией. Первые и самые видные малороссийские ученые, такие как Максимович и Бодянский,

направляли свои усилия главным образом на уяснение этого прошедшего Малороссии, и у них не могло быть речи о каком-либо сепаратизме и какой-либо федеративной теории. Вся особенность их воззрений состояла лишь в том, что они возвышали общерусское единство указаниями на общеславянское единство, причем сама собой выдвигалась и становилась как бы выше бытовая своеобразность Малороссии. Господство идеи единства русского народа над всеми племенными его особенностями яснее всего выразилось в сочинениях малоросса Гоголя, писавшего, как и оба вышеуказанные ученые, на общерусском литературном языке и рисовавшего такими яркими красками картину единой Великой Руси.

Но в 1845–1846 гг. в группе малороссийских литераторов обозначилось другое направление. Они дали большее значение славянскому единству, чем русскому, и еще больше выдвигали малороссийские особенности. Теория эта имеет несомненную связь с делами австрийских славян, и чем дальше, тем больше переходила к практическим вопросам.

Чсть малороссийского племени находится, как известно, за пределами Русского государства, в Австрии – в восточной Галиции и в Венгрии. В Австрии, состоящей из многочисленных народностей, особенно славянских, давно возникла идея равноправности ее народов и племен; но особенно она обозначилась в последних сороковых годах, а в первых шестидесятих годах она осуществлена и на деле в Австрийской конституции не с одинаковой, впрочем, выгодой для всех частей империи и с существенной переделкой впоследствии в пользу немцев и мадьяр, наконец, в пользу чехов и поляков. Оттуда-то и перешла к нам федеративная теория для изучения русской истории. В тех же шестидесятих годах она развивалась в издававшемся в Петербурге малороссийском журнале «Основа» (1862, 1863 гг.), где главнейшими двигателями ее были Белозерский, Кулиш и Костомаров, и где нашел себе убежище и поддержку талантливый, вышедший из народа малороссийский поэт Шевченко.

Мы оставляем в стороне практические требования этой теории, возобновляемые то и дело и в настоящее время как особая азбука, перевод на малороссийское наречие Священного Писания, правительственных актов, учебников, малороссийский язык в школах, развитие самостоятельной малороссийской литературы. Для нас важнее исторические труды этой школы, из числа которых самое видное место занимают труды Н.И. Костомарова<sup>818</sup>.

Известно, что наш начальный летописец, перечисляя славянские племена, расселившиеся по русской стране после того, как они были вытеснены от Дуная, показывает различные степени развития некоторых из них, и выше всех ставит племя полян. Поборники федеративной теории, разумеется, придают большое значение летописным особенностям наших племен и связывают с этим само разделение России на княжества в период удельный, причем областные веча и их договоры с князьями получали особенное значение<sup>819</sup>.

На этом пути наука не могла выработать ничего прочного, потому что разделение России на княжества развивалось часто вопреки племенному разветвлению восточнорусских славян<sup>820</sup>, уступало слишком легко объединительным стремлениям более выдающихся князей, и если давало что-либо осязательное, то разделение России на области или земли – земля Киевская, Новгородская, Полоцкая, Смоленская, Черниговская, Суздальская, и еще более осязательное и прочное разделение России на Восточную и Западную. Приходилось, таким образом, приняв факт только великорусской племенной особенности, противопоставлять ему что-либо соответствующее в западной половине России<sup>821</sup>. На этом пути Н.И. Костомаров обнаружил даже смелые завоевательные стремления, за что получил надлежащее вразумление от покойного Гильфердинга<sup>822</sup>. Не довольствуясь ясным и почти общепризнанным различием Западной России от Восточной в стремлениях ее князей, в сильном развитии в ней дружинного и вечевого начал, Н.И. Костомаров задумал связать этнографическими узами главнейшие племенные группы всей западной половины России – киевских полян и новгородских славян и доказывал, что

последние составляли как бы колонию, вышедшую из племени полян, и что потому новгородцы так тесно были связаны в дотатарские времена с Киевом, причем и Смоленская область, а за ней и Черниговская сами собой входили в эту дотатарскую федерацию<sup>823</sup>. Но не только филология, в которой, надобно заметить, Н.И. Костомаров оказался малосведущим, но и история восстала против такого объединения западной половины России. Пришлось север и юг этой половины России рассматривать отдельно.

На последнем, т. е. на малороссийской племенной территории и сосредоточивалось главное внимание наших федералистов, и в том числе Н.И. Костомарова. В этом отношении много труда положено им в сочинении «Богдан Хмельницкий», имевшем два издания: первое – в 2-х томах, вышедшее в 1859 г.<sup>824</sup> и второе – в трех томах, вышедшее в 1870 г. и составляющее IX, X и XI тома монографии Костомарова<sup>825</sup>. Оба издания существенно отличаются. Первое отличается живым изложением, но недостаточно научно; второе восполняет этот недостаток, но гораздо суше и менее занимательно для обыкновенных читателей, несмотря даже на то, что автор внес в свое исправленное исследование много народных песен и преданий. В обоих изданиях раскрывается высшее возбуждение казацкой силы в Южной России и отношение ее к народной массе. В казаках и в самом Хмельницком Н.И. Костомаров обличает значительную оторванность от народа; но не раскрывает смысла важнейшего явления во всей истории малороссийского восстания – неодолимой тяги простого малороссийского народа к Восточной России, тяги, увлекшей и Богдана Хмельницкого и разрушавшей все комбинации казаков, – то о подчинении Польше, то о подчинении Турции, то вообще в том или другом виде о создании политической самобытности Малороссии<sup>826</sup>. Последующие попытки к этому малороссийских казаков тоже вызывали Н.И. Костомарова на особые исследования. Таковы его исследования «Гетман Выговский», «Руина», или печатавшееся в «Русской Мысли» и изданное отдельно



исследование «Гетман Мазепа» и многочисленные его статьи о других казацких делах до и после Хмельницкого<sup>827</sup>.

Дела малороссийских казаков были связаны с делами всей Западной России, переходившей под власть Литвы, Польши и возвращавшейся к России. Поэтому Костомаров много занимался и делами западнорусского Православия, и Унии, и судьбой всего западнорусского населения. В последней области изысканий он изучал и малороссийскую поэзию, и литовскую мифологию<sup>828</sup>, и даже выводил из Литвы наших первых князей, о чем происходил в 1860 г. в здешнем университете публичный диспут между ним и Погодиным, напечатанный тогда же отдельной брошюрой. Исследования западнорусской исторической жизни вызывали неизбежно изучение истории Польши, которой и касается Н.И. Костомаров в большей части этих своих исследований, а в новейшее время Н.И. Костомаров написал особое, большое исследование по этому предмету о падении Польши под заглавием «Последние годы Речи Посполитой польской», изд. в 1870 г.<sup>829</sup> В этом сочинении – большое отступление от первоначальных взглядов автора. Здесь прославляется русское правительство за умные, решительные действия по отношению к полякам и явно выражается сочувствие объединительной русской политике, обличать грехи которой автор считал как бы своим призванием в других своих сочинениях<sup>830</sup>. Путь отступлений вообще яснее и яснее обозначался в деятельности Н.И. Костомарова по мере того, как он отходил от современных веяний и углублялся в область прошедшего.

Федеративная теория для собственного оправдания требовала не ограничиваться одной Западной Россией, а находить для себя основы и в Восточной России или вообще в России; а так как основы эти можно было найти в областной самобытности и вообще в самобытных проявлениях русской внутренней жизни, то этим обозначился целый круг исследований, и на этот путь тем естественнее вступил более видный представитель этой теории Н.И. Костомаров. С первых шагов его литературной деятельности в нем обнаруживалось призвание заниматься русской историей, и чем дальше, тем

больше возрастала в нем любовь к ней; нередко она далее брала решительный верх над всякими федерациями и сепаратизмами. В трудах Н.И. Костомарова можно легко проследить раздвоение – колебание и борьбу между русским историком и поборником малороссийских тенденций. Можно даже сказать, что сама сущность федеративной теории уже показывает тягу к единству русского народа и в этом отношении должна быть отделяема от так называемого малороссийского сепаратизма, который идет гораздо дальше всякой русской федерации, по крайней мере, так направляют его поляки.

По требованию федеративной теории, Н.И. Костомаров везде в русской истории приподнимает государственный, объединительный слой, на который естественно смотрит неблагосклонно, и изучает явления народной жизни, им придавленные. С этой точки зрения написана им «История Стеньки Разина», давшая возможность очертить и донское казачество, и крепостное право<sup>831</sup>. С этой же точки зрения написано им более обширное и научное сочинение «Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада», два тома, изд. 1863 г., в которых описывается вече́вая жизнь в областях Новгородской, Псковской и Вятской, павших под ударами Московского единодержавия. Московское единодержавие бывало в иные времена предметом особенной антипатии Н.И. Костомарова. В статье о единодержавии, напечатанной в «Вестнике Европы» за 1870 г., автор изображает московских князей татарского ига ханскими приказчиками, предпочитавшими всему благоволение татарских владык. Костомаров не пощадил при этом и древних первых русских; князей, при которых большей частью тоже удерживалось государственное единство России. Он их представлял разбойниками, которые были заняты лишь вымогательством дани. Не пощадил Костомаров даже Дмитрия Донского. В 1864 г., как мы уже указывали, русские люди с изумлением читали в Приложении к «Календарю Академии наук» статью, в которой Н.И. Костомаров доказывал, что Дмитрий Донской показал великую трусость в Куликовской битве и даже нечестно поступил с любимым своим боярином Бренком, одев его в свои

одежды и поставив таким образом вместо себя мишенью для татарских стрел. Статья эта вызвала бурю, и особенно сильные возражения писал покойный Погодин.

Так как единодержавие выработано русским народом Восточной России, то естественно, что вся Восточная Россия во всех слоях своих не могла вызывать сочувствия автора, особенно в высших слоях, более близких к правительственному центру. В этом направлении Н.И. Костомаровым написаны исследования «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях», изд. 1860 г., и «Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях», изд. 1862 г. То же направление с некоторыми, впрочем, оттенками господствует в его большом исследовании «Смутное время в Московском государстве в начале XVII столетия», три тома, изд. 1868 г.

В этом сочинении не только показывается несостоятельность русского правительственного механизма, но сильно и совершенно несправедливо развенчиваются в славе такие наши знаменитейшие люди того времени, как Скопин-Шуйский, Пожарский и Минин. В оценке самого русского народа Н.И. Костомаров двоится: то изображает его страдания от верхних людей, то грубость и жестокость самого этого народа. Тот же Погодин громил за это Н.И. Костомарова и издал целую книгу, в которой собрал свои возражения против разных мнений Костомарова (а также Иловайского), и которую даже озаглавил «Борьба не на живот, а на смерть», изд. 1874 г.<sup>832</sup>

С 1873 г. Н.И. Костомаров стал издавать «Русскую историю» в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. История эта начинается статьей о князе Владимире Святом и доведена до времен Анны Иоанновны, прерывается статьей о Феофане Прокоповиче, в шестом выпуске, издание в 1876 г. В «Вестнике Европы» за 1884 г. в книгах 8 и 9 напечатана статья Н.И. Костомарова «Фельдмаршал Миних», составляющая, очевидно, продолжение его «Русской истории».

Автор, как видим, исключил из числа замечательных наших людей не только малоизвестного Рюрика, но даже проходит мимо Олега, Игоря, Ольги и Святослава. Н.И. Костомаров в

объяснение такого странного пропуска говорит, что «наша история о временах, предшествовавших принятию Христианства, темна и наполнена сказаниями, за которыми нельзя признать несомненной достоверности»<sup>833</sup>. Можно предполагать, что автор вновь почувствовал силу поднявшихся тогда, как увидим, споров о призвании князей; но можно так же думать, что автора эти споры избавляли от необходимости изменять свои взгляды на первых наших князей, как на призванных из Литвы, или как на разбойников, почему он подвел под категорию недостоверных князей даже Игоря и Святослава, существование и главные дела которых не подвергались сомнению в спорах о призвании князей.

Но избежать в своей «Истории» необходимости изменять свои прежние взгляды автор не мог, и действительно изменяет их. Дмитрий Донской хотя и не оказывается в «Истории» автора храбрым, но о трусости его ведется речь осторожно, а нравственные его качества даже совсем не трогаются. Скопин-Шуйский, Пожарский и Минин оказываются более достойными внимания, чем в «Истории Смутного времени». Но, что особенно замечательно, автор находит в восточнорусской истории необыкновенно светлое время. Со всей ясностью этот свет выступает в делах Сильвестра и Адашева, которым автор, согласно с Погодиным, приписывает все лучшее при Иоанне IV<sup>834</sup>. Наконец, еще более неожиданная вещь. Автор прославляет самых видных самодержцев России – Иоанна III и Петра I<sup>835</sup>. Причина, впрочем, понятна. В своей «Истории» автор сильно ратует за Европейскую цивилизацию, и так усердно служит этому кумиру, что даже сближает с Петром I Киевского митрополита Петра Могила за его школьную систему, забывая при этом раскрыть рядом с хорошими ее сторонами значение ее схоластицизма, латино-польских приемов и идей и, главное, ту оторванность от народа, какую она производила и которую преодолевали лишь сильные свежие предания школ западнорусских братств и постоянное напряжение народного, русского, православного чувства.

Этим поклонением Западноевропейской цивилизации Н.И. Костомаров придвинул теорию федеративного устройства

России к теории Соловьева, по-видимому, совершенно противоположной ей. Эта странность объясняется тем, что суждения Соловьева о низменности русской народной цивилизации и русской отсталости, косности в главном русском племени – великорусском совпадали с предубеждениями малороссов против великорусов, против Москвы, совпадали и с их племенным тщеславием, что они лучше, развитее великорусов, между прочим, и потому, что ближе к Западной Европе, знакомее с ее цивилизацией. Н.И. Костомаров лишь усилил это направление теории и, по свойственной ему впечатлительности, довел ее до такой крайности, что стал возвеличивать более видных русских самодержцев, отчасти Иоанна III, и особенно Петра I и Екатерину II.

По странной случайности это неожиданное признание заслуг главной русской объединительной силы – самодержавия совпало с основным взглядом в сочинении одного весьма даровитого, но крайне изменчивого отступника от федеративной теории – упомянутого нами участника в журнале «Основа» и изобретателя малорусской грамоты Кулиша. Служба в Привислянском крае по крестьянскому делу, где приходилось бороться с польскими панам и ксендзами, проникнутыми всецело Западноевропейской цивилизацией, пересоздала многих последователей федеративной теории, в том числе и Кулиша, впрочем, пересоздала весьма своеобразно. Он издал три тома сочинения «История воссоединения Руси» (I и II т. в 1874 г., III т. в 1877 г.) и один том «Материалов» (в 1877 г.). В этой «Истории» и Приложении к ней Кулиш в самом корне разрушает федеративную теорию<sup>836</sup>. Он признает две самобытные и резко различные цивилизации – Русскую, т. е. собственно восточнорусскую, и Польскую. В той и другой находит и самобытные, и строительные начала. Автор пленяется красотами Польской цивилизации и жалеет, что не родился поляком в лучшие времена их жизни; но в то же время он признает, что в русской жизни, хотя и грубой, было более жизненных сил, и потому она восторжествовала<sup>837</sup>. Особенно автор восхищается мудростью русского государственного строя

и русских государственных людей – времен московских, в том числе и мудростью русских дьяков<sup>838</sup>.

Между этими двумя цивилизациями автор усматривает Западную Русь и показывает, как изменяло всему родному верхнее ее сословие и какими антигосударственными началами проникнуто было казачество, которое всякое государство на месте Польского должно было уничтожить, но Польша этого сделать не могла со своей испортившейся интеллигенцией, а Россия при своей государственной мудрости и опоре простого западнорусского народа, который лишь благодаря своему невежеству уберег от Польши свою народность, овладела казаками и самой Польшей.

Тут, очевидно, уничтожалась всякая федерация, и Кулиш примыкает не к Соловьеву, а к славянофилам. В этом случае он, впрочем, ввел не новость, а лишь разработал и осмыслил некоторые особенности, свойственные почти всем нашим федералистам.

Наши малороссийские федералисты или, как иначе их называли, сепаратисты, члены малорусской партии, хлопоманы, при всех предубеждениях против великоруссов невольно примыкали к славянофилам. Народная самобытность славянофилов неизбежно требовала глубокого изучения народного быта, как он есть, со всеми местными особенностями, следовательно, требовала изучения и малорусского быта, как естественного и не подлежащего насильственному пересозданию. На этом поприще трудились многие малороссы и немало разработали бытовую малороссийскую жизнь. На этом поприще, как мы уже говорили, работал немало Н.И. Костомаров. Работал и Кулиш задолго до своего отщепенства, в 1856 г., он издал 2 тома сочинения под заглавием «Записки о Южной Руси», в которых собрал и объяснил исторически народные предания – малороссийские думы и разные бытовые памятники и описания, такие как сказки, песни и некоторые записки.

Богатый материал по изучению быта малороссийского находится также в большом издании «Труды этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край России»,

собранные Чубинским, которого посылало в Малороссию Географическое общество<sup>839</sup>. Подобные издания предпринимались и некоторые осуществлены по другим областям Западной России, как «Описание Белоруссии в этнографическом отношении», предпринятое, но до сих пор не оконченное, известным описателем Севера – Максимовым, или «Описание Литвы» Кузнецовым, которого тоже посылало для этой цели Географическое общество и который собрал много материала, но еще не обработал его окончательно.

В связи с этими последними трудами, вызванными последней польской смутой, находятся следующие издания и исследования.

В области народного творчества, кроме многочисленных сборников малороссийских песен, достойны особенного внимания:

1. Песни галицкого и угорского народа – Сборник, составленный Я.Ф. Головацким<sup>840</sup>;
2. Памятники народного творчества Северо-Западного края, изданные П.А. Гильтебрандтом<sup>841</sup>;
3. Песни белорусские, изданные г. Шеиным<sup>842</sup>;
4. Песни литовского народа, изданные г. Юшкевичем;
5. Сборник памятников еврейских – Книга Кагала, составленная Брафманом<sup>843</sup>.

Для изучения литовского языка и белорусского наречия у нас есть замечательные труды. Таковы филологические исследования литовского языка Минуцкого<sup>844</sup> и Белорусский словарь И.И. Носовича<sup>845</sup>. Появились и новые исторические исследования, как, например, известные уже нам «Даниил Галицкий», сочинение г. Дашкевича, уясняющее историю Галиции и отчасти Литвы; «Очерк истории Литвы», сочинение г. Антоновича, представляющее замечательную критику источников древней истории Литовского княжества.

В последнее время появилось много обещавшее исследование по истории евреев в Западной России «Литовские евреи», сочинение г. Бершадского<sup>846</sup>. Сочинение это действительно весьма богато фактами, извлеченными автором из книг, и особенно из рукописей, но оно не может не вызывать

изумления во всяком, кто знаком с этим делом и даже просто с научными приемами исторического исследования. Автор обнаружил в этом сочинении поразительное неумение справиться со своим богатым материалом и допустил такой произвол в его распределении и в своих выводах, на какой могут быть способны, да простят нам это выражение, только юристы. Автор начинает свое исследование подбором фактов, большей частью позднейших, доказывающих страшное угнетение евреев христианами. Это значит явно подкупать читателей, отклонять их от свободного разумения дела. Но автор то же делает и в самом изложении истории евреев. Он знает, что самое больное место в еврействе – страшная корпоративность евреев, их кагальное устройство. К изумлению всякого здравомыслящего читателя автор отводит от евреев это зло и сваливает его тоже на христиан. Он доказывает чудовищную вещь, что евреи пришли в Польшу и в Литву без кагального устройства и развили его в этих странах под влиянием польской жизни. Автору в голову не приходит, что кагал старше и Литвы, и Польши, и что всегда так бывает, что, когда евреи только еще вступают в какую-либо страну, находятся в ней в разброде, как бы в качестве еще только соглядатаев, то сначала у них не видно никакого кагального устройства до первого упрочения в избранных пунктах. Автор заявляет, что он был и юдофобом, и юдофилом, а теперь как будто, желает быть беспристрастным. В действительности оказывается, что он все еще не установил твердого взгляда на евреев и установит его разве после, или, что вернее, он теперь чистейший юдофил.

Все эти описания и исследования русской территории, на которую прежде всего опиралась федеративная теория, открыли много местных особенностей, но рядом с ними открыли и коренное русское единство. Кулиш только последовательно шел к этому конечному выводу и смело разрушил искусственные перегородки федерализма. Таким образом, федеративная теория, совершенно не приложимая к объяснению исторического движения нашей страны и брошенная или подрываемая более видными ее



последователями, принесла пользу нашей науке именно тем, на чем она сходится со славянофильской теорией, т. е. тщательным изучением внутреннего быта народа, уяснением особенностей его духа.

Федеративная теория, кроме того, развила еще одно направление нашей науки. Связанная теснейшим образом с вопросами современной жизни, теория эта вызывала желание популяризовать научные данные, придавать им общедоступные формы. С этой целью издавался журнал «Основа»; это же направление выразилось почти во всех трудах Н.И. Костомарова, обладавшего необыкновенной способностью к этому. Но направление это сопровождалось и вредом для научности, тем более ощутительным, что к нему пристали и другие русские писатели, совсем далекие от федералистов или сепаратистов. В «Северорусских народоправствах», в «Смутном времени Московского государства», в «Последних годах Речи Посполитой польской» Н.И. Костомаров дает в начале этих сочинений список книг и рукописей, которые он изучал для этих сочинений, обозначает даже, что более и менее важно. Это весьма научно и полезно. Но, к сожалению, автор после этого признал себя вправе мало ссылаться на свои источники в самих своих сочинениях, так что лишь очень сведущие читатели могут знать, где основание для того или другого факта, рассказываемого автором, да и то не без труда. В главнейшем же сочинении Н.И. Костомарова «Русская история» цитаты встречаются еще реже, и впереди нет никакого предуведомления об источниках, что, впрочем, и естественно, потому что составить список источников по русской истории мудрено, а изложить литературу науки – еще труднее.

Популяризаторскую свою деятельность Н.И. Костомаров подвинул еще дальше – стал писать исторические романы, как например, «Кудеяр» из времен Иоанна Грозного, «Черниговка» из XVII века. Известно, что этот род произведений чрезвычайно у нас распространился и наводняет нашу литературу. Вероятно, мы не ошибемся, если скажем, что, с эстетической точки зрения, писать исторические романы или какие бы то ни было вещи по изящной словесности с историческим содержанием

позволительно только гениям и, пожалуй, крупным, поэтическим талантам. Тут неизбежное всегда искажение исторической истины будет искупаться, по крайней мере, пониманием событий, лиц и, главное, красотой поэтических форм, в каких они представляются. Но писание исторических романов, драм обыкновенными писателями – дело совсем иное. Тут будет и искажение исторической истины, и отсутствие изящного; а так как готовая историческая канва легко может быть найдена всяким писакой, то понятно, почему на этого рода канву кидаются многие. Во времена упадка поэтических талантов и чувства изящного исторические романы естественно чаще и чаще появляются. К этому присоединяется еще одно обстоятельство. Теперь время популяризации всех наук и, к сожалению, чаще всего – время проведения этим путем предвзятых, совершенно ненаучных идей. Исторические романы служат одним из самых пригодных средств для такой цели, причем искажение исторической истины идет еще дальше. Таким образом, с точки зрения нашей науки, исторические романы оказываются еще хуже, чем с эстетической, и вред от них для исторического знания не может окупиться никаким широким распространением немногих, неискаженных исторических данных. Писание же исторических романов, драм историком мы признаем просто непозволительным и ничем не оправдываемым делом. Никогда и ни в каком случае историк не должен забывать исторической истины, что бы ему ни подсказывала его догадливость и как бы ни увлекало сильное воображение, и раз он забыл это и отдался увлечению, хотя бы самому поэтическому, ему уже трудно верить и можно лишь посоветовать положить совсем историческое перо и взять перо беллетриста.

## Глава XX. Новые научные требования

**К.Н. Бестужев-Рюмин.** Как во времена споров и увлечений, возбужденных скептиками, Погодин выступил с требованием тщательного изучения нашего прошедшего и предложил математический метод, который, впрочем, сам не раз нарушал, так в новейшие времена, в разгар споров последователей родового быта, славянофилов, последователей федеративной теории выступило то же требование всестороннего изучения нашей истории и предложен подобный прием, строгая научность, т. е. второй раз в литературе нашей науки рядом с вопросом об отношении между общечеловеческой цивилизацией и национальностью возник вопрос об объективности и субъективности в изложении истории.

Принцип научности, объективности проведен именно в истории России профессора здешнего университета К.Н. Бестужева-Рюмина. Первый том этой «Истории», доведенный до Иоанна III, издан в 1872 г. Об этом томе мы писали в «Журнале Министерства народного просвещения» за тот же год, ч. CLXIII (т. е. месяц сентябрь). Существенные мысли, изложенные там, мы воспроизводим и здесь.

В «Русской истории» Бестужева-Рюмина восстанавливаются некоторые из лучших приемов Карамзина. В «Истории» Карамзина между прочим дорого то, что он дал нам не только им самим изученные и открытые вновь факты, но и все важнейшие данные предшествовавшего его «Истории» русского ученого труда – данные нашей литературы русской истории<sup>847</sup>. Прием этот после Карамзина, как мы знаем, слишком часто оставляем был у нас в стороне, что особенно ясно и чувствительно в «Истории» С.М. Соловьева. Сильная после Карамзина работа археографическая, богатые открытия в области рукописей заслоняли собой прошедший литературный труд и покрывали забвением многое, сделанное прежде. Это вредно отзывалось на нашей науке уже потому, что заставляло молодых ученых, занимающихся русской историей, да и не

только молодых, тратить много лишнего времени и труда на одно и то же дело.

«История» К.Н.Бестужева-Рюмина восстанавливает самым счастливым образом вышесказанный прием Карамзина и удовлетворяет насущную и первейшую потребность молодых тружеников по русской истории – знать прежде всего, что сделано по русской истории до настоящего времени.

В труде К. Н. Бестужева-Рюмина прежде всего видим ученый свод написанного по нашей науке. Почти половину его книги занимает литература русской истории и затем – в самой «Истории», в начале каждой главы перечислены главнейшие сочинения по предмету главы, и наконец, при самом изложении событий делаются ссылки на источники и исследования. Весь труд К.Н. Бестужева-Рюмина есть прежде всего самый полный в настоящее время свод всего написанного по русской истории. Ближайшее изучение этого свода открывает новые его достоинства.

Собирая в одно труды по русской истории, автор занимает по отношению к ним совершенно спокойное и беспристрастное положение. Он с уважением относится ко всем трудам, внесшим то или другое приобретение в науку русской истории, прилагает к оценке их только общепризнанные критические приемы, нередко даже уклоняется сам произносить суждение (например, об огнищанах), а чаще всего предоставляет собранным им в одно место писателям по русской истории, так сказать, ведаться самим с собой, сопоставляя их то по тому, то по другому вопросу, причем и читатель невольно вызывается принять участие в этом мирном междоусобии русских историков, сводимых трудолюбивым автором то на том, то на другом поприще в обширной области русской истории. Вот те общие для всех частей труда К.Н. Бестужева-Рюмина особенности, какие прежде всего бросаются в глаза.

Перейдем теперь к частям этого обширного труда, и прежде всего, к изложенной в нем литературе нашей науки.

При обозрении литературы нашей науки трудность не только в том, чтобы собрать написанное, но также и в том, чтобы в громадной массе написанного указать руководящие

нити, которые дали бы читателям возможность не затеряться. На одну память здесь нельзя рассчитывать; нельзя также при этом руководствоваться и одним тем соображением, что памяти поможет справка с книгой при встретившейся надобности. Литература нашей науки должна иметь цели выше простой любознательности или одной практической справки. Она должна быть своего рода историей русского самосознания, выразившегося в источниках и сочинениях по русской истории. Но дать полный свод данных по литературе русской истории и указать везде руководящие нити – дело в высшей степени трудное. Кто читал, а тем более кто изучал книгу К.Н. Бестужева-Рюмина, тот, без сомнения, согласится с нами, что автор гораздо больше был занят в своей литературе науки собиранием написанного, нежели указанием руководящих нитей, и что это особенно бросается в глаза в его обзрении трудов, более или менее прагматических, и особенно нового времени, – в обзрении, доходящем иногда до простого перечета имен авторов и заглавий книг, как, например, при обзрении сказаний иностранных писателей или в главе о научной обработке истории<sup>848</sup>. Это наше мнение, впрочем, требует пояснений.

В начале каждой группы памятников или пособий автор дает всегда общее понятие о них, и нередко его взгляды обнимают всю совокупность материала и вводят в понимание существенных его сторон. Во главе таких обзрений нужно поставить не только по месту, но и по достоинству обзрение летописей – самостоятельный труд автора, дающий известный, новейший результат изучения наших летописей – многосоставность не только позднейших летописей, но и первоначальной, известной под именем Временника Нестора. Достоинства и недостатки этого труда, составляющего здесь извлечение из особого исследования автора, мы уже показывали.

Другие главы литературы русской истории у автора хотя не представляют такого цельного и самостоятельного труда, как глава о летописях, но выдаются тоже многими крупными достоинствами – отчетливостью сообщаемых сведений и по

местам меткими указаниями достоинств и недостатков сочинений, особенно в области старой нашей письменности. Но нельзя не пожалеть, что в этой области автор, должно быть для более удобного изучения, разбив на особые группы такие сродные и связные вещи, как отдельные сказания, жития, записки и памятники словесности письменной, затруднил себе разрешение некоторых общих, но весьма важных вопросов, как, например, вопроса о постепенном историческом своде в одно всех этих памятников, дошедших через патерики, сборники до церковной энциклопедии, известной под именем Макарьевских Четых-Миней, рядом с которой вырабатывались также своды светских памятников, выразившиеся особенно в сводных летописях Московского периода, хронографах, степенных книгах. Этот вопрос, как мы знаем, тем более важен, что, следя за историческим развитием вышесказанных сводов, можно видеть хотя и медленное, но неоспоримое развитие у нас, задолго до Петра, ученых приемов к изучению нашего прошедшего. При этом вопросе получают значение даже такие, по-видимому, простые вещи, как справочные списки духовных и светских людей, русских, греческих и других стран, из которых иные попадают в очень старые времена и которые подвергались дальнейшей разработке в Посольском приказе и выразились в таких трудах, как обозрения государств, составлявшиеся при Алексее Михайловиче. Тогда бы, конечно, уяснилось, как могли явиться у нас до Петра такие умные сочинения, как «История Иоанна IV», составленная Курбским. Надлежащая постановка вопроса о постепенном развитии у нас исторического изучения нашего прошедшего, без сомнения, дала бы совсем другой вид последней главе в обозрении литературы русской истории нашего автора под заглавием «Научная обработка истории». Нам известно, что почтенный автор усматривает начало научной обработки русской истории во времена после смерти Петра и выводит его от наших ученых немцев – Байера и других, а Миллера считает даже отцом русской истории. Мы уже видели, что это совершенно несправедливо, и нам нет нужды доказывать это вновь.

Переходим к обозрению самой «Русской истории» К.Н. Бестужева-Рюмина, и прежде всего рассмотрим его введение в историю, в котором он высказывает свой взгляд на историю и ее задачи.

Понимание К.Н. Бестужевым-Рюминым истории принадлежит к числу самых современных и гуманных воззрений на прошедшие судьбы человечества. Отправляясь от понятия об истории, особенно развитого С.М. Соловьевым, как о науке самосознания, автор отвергает гордое воззрение немецких ученых на историю как на изображение дел высших, цивилизованных наций, и признает в историческом развитии цивилизации значение всех народов, даже неразвитых. «Всеобщая история, – говорит он, – тогда только станет в полном смысле всеобщей, когда она будет обнимать все народы, не пренебрегая и теми, которые почему-либо не успели развиваться»<sup>849</sup>. Мы видим, что тут как будто есть сходство со взглядами Полевого. Но в действительности это лишь кажущееся сходство. Полевой уничижал отдельные народы перед всемирным течением жизни человечества. Здесь, наоборот, выставляется значение живых народных организмов даже низшего развития, без которых всемирная история теряет свое значение. Автор принимает определение цивилизации не Полевого, а Н.Я. Данилевского, по которому «каждый тип (народ) выражает человечество с одной стороны, и прогресс или, если можно так выразиться, раскрытие совершается не в преемственной передаче цивилизации, а во внесении новых сторон. Таким образом, прогресс следует представлять не громадной прямой линией, а множеством мелких, расходящихся в разные стороны линий, чем усваивается постепенно человеческому сознанию все богатство содержания, заключающегося в человечестве, как совокупности всех племен и всех веков»<sup>850</sup>.

Нельзя не порадоваться, что этот научный и гуманный взгляд на историческое изучение человечества утверждается у нас и положен в основу такого серьезного труда, как книга К.Н. Бестужева-Рюмина. В нашем русском прошедшем мы не жили ни понятиями греков и римлян о варварстве всего остального

человечества, ни унаследованными от них понятиями западноевропейцев о всеподавляющем господстве интеллигенции страны над массой народной или одного народа над другим. Нам, русским, естественно и в науке нашей истории, как в нашей исторической жизни, проводить начала христианского братства для всей массы русских и для всех народов.

Из этого верного начала автор выводит другое, обуславливающее также верное изображение нашего прошедшего. Не отвергая значения в истории отдельных лиц, через посредство которых совершается движение в каждом народе, как в человечестве оно совершается посредством народов<sup>851</sup>, автор, однако, находит, что мысли и цели отдельных лиц скрываются в общественном сознании, что «лицам принадлежит более или менее удачное формулирование их – и только»<sup>852</sup>, что «лицо может понять, угадать, но ничего не может создать». «Вполне ясное сознание этой мысли совершенно изменяет, – говорит автор, – воззрение на историю: на первый план выступает сложное явление, называемое обществом. Его-то изучение и должно составлять серьезный предмет науки, называемой историей»<sup>853</sup>. Признавая всю важность такого воззрения на задачи истории, потому что при нем только возможно глубокое и всестороннее изучение исторических явлений, нельзя, однако, не сказать, что слишком логическое применение такого начала может так же мешать правильному пониманию этих явлений, как и поклонение личностям. Оно легко может вести к обезличению истории, что особенно может быть вредно в истории русского народа. Русская историческая жизнь выработала особое, своеобразное положение личности. При обыденном течении этой жизни личность в обществе совсем не видна; видны лишь стоящие вверху и вообще главные у дел, которым открывается широкий простор, потому изучение их нередко очень важно для истории, а изучение общества до крайности трудно. Но при необычайных событиях личности у нас вдруг выдвигаются из самого общества и тоже занимают необычайное положение, следовательно, достойны особого внимания истории, и тем более, что появление их



бывает иногда совершенно неожиданно, и без особого внимания к ним нельзя понять, как и почему они явились. С другой стороны, у нас бывали целые периоды, совершенно различные для деятельности лиц. В дотатарское время им был широкий простор, и они больше обозначались, в послетатарское время – меньше. Наконец, не верно, что личность может только понять, угадать и более или менее удачно формулировать цели общества, а ничего не может создать. Автор сам делает оговорку, признает значение выдающихся личностей, но смотрит на них, как на типы общества, т. е. опять как на нечто безличное, неживое.

Опасение за обезличение нашей истории находит себе особенное основание в книге автора. Он – поборник всестороннего изучения истории, строгого беспристрастного изучения фактов и враг философских теорий в истории; он указывает историку необходимость самого строгого воздержания в выводах, когда историк желает дойти до представления целости и единства народной жизни. Уклонения от этого, так называемые философские диссертации, автор признает наиболее вредными для самостоятельного развития науки и общества<sup>854</sup>.

Такому строгому пониманию обязанностей историка нельзя не сочувствовать, и мы немедленно стали бы на его сторону, если бы не видели оставленной им открытой одной опасной стороны дела. Автор слишком далеко заходит в требовании объективности и не признает неизбежного и слишком важного для развития науки и общества начала субъективного, т. е. личного, современного понимания исторических явлений: разумею, конечно, субъективизм здоровый. Вредны и нежелательны произвольные философские теории, вредны и нежелательны поспешные, поверхностные выводы, но вообще субъективное воззрение – и неизбежно, и необходимо, и желательно. Беспредельное развитие нашей науки обуславливается не только более и более полным и основательным изучением фактов, но и сменяющимся освещением их. Не признавать этого и ожидать полной объективности – значит, идеализировать дело, и

идеализировать вредно, особенно у нас. У нас отнюдь нельзя пожаловаться на избыток субъективного освещения исторических явлений; напротив, справедливее можно жаловаться на недостаток этого освещения, на непроглядный туман, покрывающий необозримую массу фактов нашей истории. Наши историки именно страдают прежде всего вольной или невольной неохотой освещать изученное; и множество основательнейших наблюдений, выводов пропадает в черновиках их трудов и чаще – в их головах с их смертью. Их преемники ничем из этого не пользуются и должны вновь работать, без облегчения, над сырым материалом. Наука замедляется в своем развитии, общество позже усвоит взгляды, которые должно бы усвоить давно. Весьма желательно, чтобы посредственность и легкомыслие не кидались к вершинам знания; но весьма нежелательно, чтобы талантливое, глубокое знание боялось этих вершин. Ниже мы укажем несколько крупных случаев того, как упущение нашим автором из вида угла зрения, под которым историки смотрели на события, привело его самого к ошибочной оценке фактов.

В «Русской истории» К.Н. Бестужева-Рюмина (разумею здесь вторую часть его труда, само изложение событий) бросается в глаза прежде всего новость, которой нужно желать как можно больше подражаний. События внешние строго отделены от внутренних явлений нашей исторической жизни, изложены в самом кратком, сжатом виде и основаны на самых первых источниках, строго сведенных и точно указанных, причем в примечаниях нашли себе место важнейшие толкования их историками прежнего времени и соображения самого автора. Затем самое большое место отведено явлениям внутренней жизни: формам жизни семейной, общественной, власти, управлению сословиям, суду, торговле, вере, литературе... Эта вторая часть собственно «Истории» К.Н. Бестужева-Рюмина составляет важнейшую его работу, и на ней, конечно, сосредоточивается главнейшим образом внимание читателя.

Все главы этого труда, обнимающие явления внутренней русской жизни, составляют особые исследования. В них с еще

большей полнотой, чем в обзоре литературы, собраны в начале каждой главы важнейшие источники и пособия, и затем при изложении дела везде указываются, сличаются и разбираются свидетельства источников и мнения историков.

Автор, по обычаю, налагает на себя поразительное воздержание, и терпеливо, беспристрастно выдвигает мнения своих предшественников и современников на историческом поприще. Все эти главы составляют, прежде всего, свод и критику фактов и понимания их учеными.

При таком способе изложения дела автор находился в зависимости от предшествовавшей работы ученых, и потому в древнейших временах его труд полнее, обширнее, в позднейших – короче. Богатство добытых данных и разнообразие высказанных о них мнений иногда вызвали автора занять особое положение – высказать ясно свое понимание дела. Так, в статье «Быт семейный и общественный у древних славян» автор излагал два противоположных рода данных и мнений – теорию родового и теорию общинного быта. Как ученик С.М. Соловьева он хорошо знал и, может быть, ощущал силу доводов своего учителя. Но удары этой теории, нанесенные славянофилами, были слишком тяжелы, чтобы их мог устранить такой серьезный и правдивый ученый. К.Н. Бестужев-Рюмин почти совсем переходит на сторону славянофилов – признает, как известно, общинное, задружное начало жизни древних славян, отвергает существование у нас настоящего родового быта, т. е. искусственного или фиктивного рода, но в то же время оставляет частицу теории родового быта Соловьева – род кровный как семью, с некоторыми признаками или остатками родового быта. Так, названия «вятичи», «радимичи», похищение жен, родовую месть он считает остатками рода, но не развившегося, а перешедшего в семью, а через соединение семей – в земельную общину. Автор полно и хорошо сгруппировал факты для доказательства, что земельные общины, развиваясь далее, выработали власть княжескую, выдвигали даже главных князей в роду меньших, и при этом обращается к истории других славян, особенно балтийских, у которых славянские формы жизни достигали большего

развития. Тут зависимость автора от предшествовавших писателей, очевидно, более внешняя, кажущаяся и повела его даже к отвержению основного положения его учителя. Но во многих других случаях зависимость нашего автора от предшествовавших трудов идет дальше, и влияние на него С.М. Соловьева сказывается яснее и яснее.

При всем богатстве своего знания, при всей строгости своих научных приемов автор во многих местах явно становится на сторону большинства писателей; и тут-то во всей ясности сказывается важность того, что автор мало придает значения субъективности и упускает из виду тот угол зрения, под которым вольно или невольно смотрело это большинство, хотя рядом с этим большинством стоит недавнее, еще неокрепшее меньшинство, далеко иначе освещающее важнейшие явления нашей исторической жизни. Возьмем, например, вопрос о нашем русском вече. Большинство исследователей прежнего времени настроены были мало видеть и мало ценить эту форму нашей жизни, расположены были противопоставлять ей личную власть старшего в роде, власть князя. Освещение веча в действительном его виде – дело недавнее и выражается в весьма немногих книгах – в сочинении И.Д. Беляева и В.И. Сергеевича. Наш автор становится на сторону первых исследователей и с сомнениями относится к последним, хотя слишком ощутимо, что правда на стороне последних. Чтобы в этом убедиться, стоит сопоставить лишь немногие места книги автора, а именно суждения его о значении веча и власти князя.

В статье о вечах за время уже князей автор говорит: «Подле князя по исконному славянскому обычаю стояло вече: новгородцы бо изначала, смольняне и кыяне и полочане, и вся власти якоже на думу на веча сходятся, на что же старейшии сдумают, на том же пригороды станут, – говорит летописец. Известия летописей вполне подтверждают эти слова: действительно упоминание о вечах встречается во всех русских городах»<sup>855</sup>. Всякому, знающему историю этого вопроса, очевидно, что этими словами автор признает всю силу изысканий И.Д. Беляева, В.И. Сергеевича; и естественно было бы ожидать, что он покажет, как развивалась вечевая форма,

как она из городской делалась в полном смысле областной, далее, обнимала иногда несколько областей, и, наконец, при Владимире Мономахе явилась попытка собрать общерусское вече. С другой стороны, можно было ожидать, что автор займется историей внутреннего развития веча – развития порядка дел, органов его деятельности, что отчасти уже было раскрыто в то время, когда автор оканчивал свою книгу, и что автору было известно<sup>856</sup>. Но наш автор решительно уклонился от этого рода изысканий. На особенное развитие веча в Новгороде он смотрит, как на счастливое исключение, на такое явление, которое «в других княжествах мы видим только в зародыше, в первоначальной форме»<sup>857</sup>. Саму повсеместность веча автор подрывает замечанием о своде вечевых пунктов, сделанном В.И. Сергеевичем, что «может быть иногда мятежное скопище напрасно принято за вече»<sup>858</sup>. Наконец, автор дает общее мнение о значении у нас веча. «В последнее время, – говорит он, – поднят вопрос о том, всегда ли вече было органом верховной политической власти народа. Вопрос этот едва ли мог существовать при более внимательном взгляде на жизнь древней Руси: если бы жизнь эта отливалась в формы юридически правильные, то мог бы еще быть вопрос о значении каждой из этих форм, а так как жизнь эта отличается отсутствием такой правильности, то, следовательно, мы не можем и приступать к ее изучению с понятиями, заимствованными из жизни народов, развитых иначе и по другой мерке»<sup>859</sup>. Мы видим, что в основе этого отзыва автора лежит мнение Погодина об отсутствии у нас определенности внешних юридических форм, мнение, которое развивали и славянофилы, и западники, те и другие со своей точки зрения. Приведенные слова нашего автора об исконном у славян обычае иметь вече, могут располагать думать, что наш автор в этом вопросе примыкает к славянофилам, но в действительности это далеко не так. В той же главе – о вече, несколько ниже, автор говорит: «Вече представляет собой самую первоначальную форму участия граждан в делах политических... форм для собрания веча не было никаких»... – и только одну черту организации автор видит в вечах, что на

основании одного летописного известия (и то можно сказать, очень ненадежного)<sup>860</sup> можно «думать, что право говорить принадлежало только домовладыкам»<sup>861</sup>. Эти суждения уже совсем не славянофильские, и в этом еще больше можно убедиться, если посмотреть, как автор судит о значении власти княжеской и отношении ее к общинам. «... С утверждением варяжских князей, – говорит автор в главе о состоянии русского общества при варяжских князьях, – начинается новый период не только во внешней истории России, но и во внутреннем развитии населяющих ее племен: до тех пор их интересы были разрознены: род вставал на род, и не было правды, т. е. не было ни такого установления, ни таких начал, которыми могла быть решена междуплеменная распря без обращения к последнему средству – суду Божию, т. е. войне. Теперь явилось такое установление в лице князя. Князь стоял выше всех племенных распрей: он не принадлежал ни одному племени в частности, а был князем всей Русской земли. Эта центральность его положения создавалась, конечно, не сознанием государственного значения его власти, а, с одной стороны, практической необходимостью иметь посредником постороннее лицо, а с другой – тем обстоятельством, что князь сам, предводитель дружины, стоял вне каждого из племен в отдельности, вне всяких связей с отдельными общинами. Эта отдельность князя особенно сильно чувствуется в первое время, когда сама дружина набиралась более из пришельцев. Сам князь более связывал себя с дружиной, чем с землей»<sup>862</sup>.

Здесь есть слабое отражение мнений славянофильских, как третейское положение князя, отдельность от земли его власти; но гораздо яснее и решительнее отражение мнений Соловьева, даже почти буквальное повторение его взгляда на значение призвания князей. Таким образом, мы имеем здесь уже, так сказать, три субъективности – Соловьева, славянофилов и самого автора; впрочем, две последние находятся в большом согласии, и чем дальше автор подвигается в своем рассказе о русских делах, тем яснее и яснее они сказываются, – сказывается именно преобладающее внимание автора к явлениям нашей государственности сравнительно с явлениями

внутреннего быта, вопреки программе самого автора. Укажем на несколько более выдающихся случаев.

История первых времен татарского ига представляет тот особенный интерес, что тогда явственнее обозначилась внутренняя народная борьба русской свободы с татарским рабством и постепенно развивавшаяся привычка к этому рабству, сделавшаяся затем нашим собственным внутренним злом. В этом отношении имеет особое значение подробное изучение самого татарского разгрома, из которого видно, что предки наши везде дорого продавали свою родную свободу, следовательно, высоко ценили свою дотатарскую цивилизацию. Автор наш дает надлежащие сведения о татарском разгроме, но на указанной стороне вопроса не останавливается.

Далее. Еще больший интерес представляет следующее. После татарского разгрома, когда громадное большинство лучших людей, сознающих высшие задачи жизни, было перебито, и все оставшиеся в живых неодолимо были направлены к исключительной заботе о сохранении своей жизни и куске хлеба, весьма важно знать, были ли у нас люди, которым трудно было подчиниться такому направлению, которые задумывали возвратить старую свободу, свергнуть татарское иго, и если были, то находили ли в народе готовность стать с ними заодно. Давно известно, что таким героем был Даниил Галицкий, а в последнее время в известной нам книге Борзаковского раскрыто, что рядом с южным князем Даниилом Галицким стоял восточнорусский князь – тверской Ярослав Ярославич. Наконец, известно, что во второй половине XIII века происходили в этом смысле волнения против татар не только в Новгородской, но и в Ростовской и Тверской областях, что в первой половине XIV века волнения этого же рода повторились в Тверской области, и в делах князей этой области как будто обозначилось направление свергнуть татарское иго; так, по крайней мере, думали татары, и подобный взгляд считал обязательным для всех русских тверской князь Александр Михайлович. На историка, естественно, налагается обязанность с особенным вниманием проследить эти проблески старой русской свободы, так как в них можно усматривать меру

исторического роста Русской цивилизации того времени, и потомки обязаны знать и ценить особенным образом, когда и как предки оберегали свою свободу. Но наш автор или мельком взглядывает на эти проблески, или даже совсем проходит мимо них, потому, конечно, что наша историческая литература прежнего времени мало этим занималась.

Наконец, упущение из виду того угла зрения, под которым историки смотрят на события, сказывается у автора с самой большей очевидностью при оценке явлений, способствовавших объединению Руси под Московским единодержавием. Объединение это так много имеет для себя оправданий в предшествовавших ему и последующих за ним обстоятельствах, что в настоящее время не нужно ни для науки, ни для общества с особенной заботливостью доказывать это, и пора уже приложить к нему всю строгость приемов науки и правил развитого, здорового общества. Это, впрочем, уже делалось, как мы знаем, и прежде. Карамзин, как нам известно, вообще очень высоко держал это знамя, и только при оценке Иоанна III неожиданно понизил его. Славянофилы же никогда не делают такой уступки. Никакой блеск личных качеств исторических деятелей, никакая слава народных дел не способны заслонить перед ними высших требований нравственности, правды. Это яснее всего видно в их суждениях об Иоанне IV. Он первый земский царь, но он тиран. В настоящее время требовательность эта должна идти дальше. Пора сознать, что московское объединение Руси сопровождалось страшной неразборчивостью в средствах и немалым развращением русского общества, что та дивная гармония доблести и смиренного, для блага народа, признания неодолимой силы татар, какая сказалась в делах Александра Невского, у московских князей реже всего встречалась и заменялась черствым служением практическим интересам. К удивлению, эта последняя точка зрения на исторические явления, это поклонение черствым, практическим интересам тверже и тверже стали устанавливаться в нашей науке – в сочинениях наших западников, особенно у юристов и последователей родового быта, выдвигающих принцип



государственности даже выше правды и нравственности. Эта-то точка зрения не раз обозначается и в труде К.Н. Бестужева-Рюмина. Так, у него московский князь Юрий Данилович, которого трудно отличить от коварного и кровожадного татарина, называется *знаменитым* противником князей тверских; Иван Калита – *достойным* преемником своего брата Юрия, и все это в смысле хорошем. Впрочем, рассказ автора, например о Калите, таков, что трудно уяснить, что хочет автор сказать: похвалу, или дать понять, что дела делались нехорошо. Вот его слова: «В 1327 г. представился, наконец, Ивану Даниловичу случай сделаться великим князем: Александр (Михайлович, Тверской) избил в Твери татар; Узбек поручил Ивану Даниловичу вместе с татарскими войсками наказывать непокорных. Тверь и вся ее волость были опустошены татарами; Новгород заплатил окуп, рязанский князь был убит, “точию соблюде и заступи Господь Бог князя Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину от пленения и кровопролития татарского”, – простодушно прибавляет летописец. С донесением о своем успехе поехал Иван Данилович в Орду и вывез оттуда ярлык на великое княжение». Затем автор приводит летописное известие, что после того 40 лет было мирно от татар в Русской земле, и продолжает: «Александр ушел во Псков, чтобы принудить псковичей выдать Александра, уговорили Митрополита Феоноста затворить церкви во Пскове. Средство подействовало».

Наконец, автор рассказывает о временном успехе Александра и далее – о его гибели в Орде. Автор допускает, что гибель эта последовала не без участия Иоанна Калиты, что совершенно верно, и сам автор, хотя не указывает на Софийскую летопись, которая прямо об этом говорит<sup>863</sup>, но знает это свидетельство. Непонятно, почему автор оставил в стороне великой важности дело, а именно: сознание тех русских современников этих событий, которые записали в летописях и речи Александра Михайловича Тверского, что русским князьям следовало бы не истреблять друг друга, а вместе действовать против татар, и явное осуждение Калиты за смерть этого тверского князя<sup>864</sup>.

Недоумение это, впрочем, разъясняется в дальнейшем рассказе, из которого видно, что автор расположен поклоняться успеху в политической сфере и не прилагать к нему нравственной мерки. После смерти Василия Дмитриевича, начался, как известно, длинный, печальный спор о праве на Московский престол – спор между вторым сыном Донского Юрием Дмитриевичем и сыном умершего князя Василия Дмитриевича – Василием Васильевичем, известным под именем Темного. В 1431 г. спорившие князья решились отдать свое дело на суд хана и оба поехали в Орду. «В орду, – говорит автор, – Василия Васильевича сопровождал *умный* боярин Иван Дмитриевич Всеволожский (потомок смоленских князей). Этот боярин, склонив на свою сторону разных ордынских вельмож, *очень умно* поставил вопрос перед ханом Улу-Махметом: Государь волный царю! – сказал он, – ослободи молвить к тебе мне холопу великого князя. Наш государь великий князь Василий Васильевич ищет стола своего великого княжениа, а твоего улусу по твоему цареву жалованью и по твоим девтерем (опись, реестр) и ярлыком, а се твое жалованье пред тобою; а господин наш князь Юрьи Дмитриевич, дядя его, хочет взять великое княжение по умертвыи и грамоте отца своего, а не по твоему жалованию волнаго царя». Дело было, разумеется, выиграно»<sup>865</sup>. Автор называет Всеволожского *умным* боярином, его речь – *умной* речью, хотя более существенный признак тут не ум, а развращающее унижение, и тем сильнее действовало оно, что услуга Всеволожского не была бескорыстна, а связана была с обещанием князя жениться на его дочери, и когда обещание не было исполнено, Всеволожский уехал к Юрию и поддерживал в нем вражду к племяннику. Строгая оценка действий тут была тем более нужна, что то время представляет нам поразительные примеры нарушения связей родства, клятвы; даже доблесть оказывалась ничего не значащей. И все это совершалось на глазах у всех и записывалось летописцами со спокойствием, им одним свойственным. Но и из среды смиренных иноков, бывших главными записывателями этих событий, вырвалось однажды наружу чувство, возмущенное этими делами. Этот человек и иночеством не очистился от

крови, сказал Пафнутий Бороский своим ученикам, когда пришел к нему сделавшийся иноком отравитель Дмитрия Шемяки<sup>866</sup>. Если мы имеем хотя бы некоторое освещение дурных дел от исторических свидетелей тех времен, то тем более нужно современное, наше освещение фактов, иначе история не будет выполнять той существенной задачи, которую ей указывает и наш автор – развивать народное самосознание.

По этим выпискам уже можно судить, что наш автор, в конце концов, обнаружил в себе последователя С.М. Соловьева во взгляде на историческое развитие нашей государственности. В одной из своих речей, сказанной в бывшем Славянском Комитете, К.Н. Бестужев-Рюмин высказался по этому вопросу еще яснее. Он сравнил Иоанна IV с Петром Великим. Оба они, по его мнению, стремились к одному и тому же, но один не имел успеха, а другой имел его.

В последнее, однако, время автор «Русской истории» более и более сближается со славянофилами. Так, в речи своей, сказанной 8 сентября 1880 г. в 300-летнюю годовщину Куликовской битвы, К.Н. Бестужев-Рюмин указал на одну совершенно самобытную черту наших предков, резко отделяющую их от Западной Европы, – ту именно, что они увековечивали память о славных событиях не монументами, а храмами. В этой же речи, как и в некоторых прежних своих статьях о колонизации русской, он выдвигает необыкновенные качества и исторические заслуги великорусского племени. Нам уже известно, что автор исправил свою ошибку и по отношению к образованным людям русским. В большом своем исследовании о Татищеве он оставляет свое мнение о начале научности в нашей науке от немцев и воздает должное Татищеву.

Какое бы, однако, ни избирал себе место наш автор между последователями родового быта и славянофилами, между объективистами и субъективистами, нет никакого сомнения, что его труды по русской истории внесли большой вклад, к которому отнесется с глубоким уважением всякий, серьезно занимающийся русской историей.

**Е.Е. Замысловский.** Подле К.Н. Бестужева-Рюмина нужно поставить другого профессора по русской истории в здешнем университете – Е.Е. Замысловского. Нам известен Исторический атлас России, составленный автором, а также новейший его труд о Герберштейне. В том и другом труде есть свод сведений и о древнейших временах славяно-русских, но главная и большая масса этих сведений касается исторического роста Московского государства. Е.Е. Замысловский давно занимается по преимуществу московскими временами, особенно в области рукописных богатств для истории этих времен. Об этих занятиях можно судить по сочинению Е.Е. Замысловского, составляющему, очевидно, начало большого труда – «Царствование Феодора Алексеевича», ч. 1. Введение. Обзор источников (1871 г.). Сочинение это представляет полное и тщательное обозрение источников для этого предмета, но показывает также, что автор подверг исследованию весь XVII век. Замечательно, что это исследование привело автора к признанию более прочной связи событий этого века с событиями XVIII века, нежели указанной С.М. Соловьевым, а это, в свою очередь, сблизило автора, как и К.Н. Бестужева-Рюмина, с воззрениями так называемых славянофилов, что он и сам признает<sup>867</sup>.

Изучая новые запросы научности, поставленные в этих сочинениях, особенно в «Истории» К.Н. Бестужева-Рюмина, естественно думать, что они влияют на молодых ученых, что есть сочинения, вызванные этими новыми запросами. В настоящее время это еще довольно трудно заметить. Есть, впрочем, два сочинения – ученые диссертации, защищавшиеся в здешнем университете, в которых можно найти отражение приемов и воззрений К.Н. Бестужева-Рюмина.

Это, во-первых, не раз упоминаемая нами «История Тверского княжества» Борзаковского, изд. в 1876 г.

В этом сочинении замечательно полное собрание сведений не только из внешней истории Тверского княжества, его политической судьбы, но также из внутренней истории. Особенно важны в этом отношении первая и последняя главы. Первая глава выясняет первоначальную колонизацию Тверской

области – главным образом из Новгородской и Смоленской областей<sup>868</sup>, чем, вероятно, можно объяснить весьма частые сношения и связи Твери с Новгородом и с Литвой; затем выясняются этнографические отношения русского населения к финскому, причем тщательно изучаются топографические названия. В последней главе рассматривается управление и состав общества в Тверском княжестве, причем много выясняется оседание дружинников, а также положение черных людей, закладней. С фактической стороны это одна из самых богатых книг. Но что касается начал тверской жизни, направления событий, то автор, кажется, сам считал это для себя делом совершенно посторонним. Он и начинает и оканчивает свое сочинение фактическим изложением без всякого предуведомления и без всякого окончательного вывода – начинает вопросом, какой народ жил в России и, в частности, в Тверской области в древнейшие времена, и оканчивает определением ценности тверской гривны!

В изложении внешней истории Тверского княжества несколько пробиваются наружу тенденции автора. Он показывает несостоятельность Тверского княжества в борьбе с Москвой. Он даже отвергает мнение, что в среде тверских князей была мысль о борьбе с татарами, и не придает значения делам Александра Михайловича Тверского<sup>869</sup>. Говоря о последних тверских князьях и останавливаясь на том, что современник Василия Темного тверской князь Борис Александрович не воспользовался смутами в Московском княжестве, автор, между прочим, говорит: «Как весь народ сжился с той мыслью, что великими князьями всяя Руси могут быть только собственно московские князья, а не галицкие или какие бы то ни было другие, так точно на основании того же взгляда и тверской князь не добивается чести быть великим князем»<sup>870</sup>. Это совершенно верно и тем более естественно, что Москва тогда слишком ясно заявила свое нежелание иметь чужого князя у себя или над собой. Понятно также, что последний тверской князь Михаил Борисович увидел, по словам автора, свое *изнеможение* перед Москвой и бежал в Литву. Но при всем том Тверское княжество имеет особое и весьма

важное значение в общем течении нашей исторической жизни, даже в смысле исторического сохранения внутреннего единства России. После татарского разгрома Южная Русь отрывается от Восточной, но Тверская область сохраняет с ней связь. Ее князь – Ярослав Ярославич – родственник Даниила Галицкого<sup>871</sup>, разделяет даже его планы бороться с татарами<sup>872</sup>. И, конечно, не он один в Твери лелеял эти мечты. Тверичи и вместе с жителями других областей, и сами особо поднимаются против татар<sup>873</sup>. Все это, как и планы Даниила, кончается неудачей, бедствиями, но для русского народного сознания это были важные дела, поддерживали старый дух народа и недаром записаны в летописях. Эти дела, напоминающие старую дотатарскую русскую жизнь, еще более закрепляют связи Твери и с Западной Россией – Литвой, и с Новгородом, и с Псковом. Тверь не удерживается на высоте своего призвания – напоминать эти старые времена и порядки дотатарской Руси; Тверь втягивается в водоворот княжеских честолюбий, наконец, даже в дружбу с татарами, и это должно было еще больше толкать московских князей в сторону татар; Тверь даже становится орудием Литвы и, что еще важнее, вредит Москве перед величайшим русским делом – борьбой с татарами на Куликовском поле, что возбуждает всеобщее в России негодование в 1374 г.; но даже и в это время сказывалась историческая служба Твери. Благодаря родству ее князей с литовскими и привычке русских из Литвы действовать заодно с русскими Восточной России, на Куликовском поле были и литовские князья с отрядами, и знаменитый вождь Боброк Волянец. Ввиду такой сложности событий, очевидно, нужно очень внимательно взвешивать зло и добро, выразившиеся в истории Тверского княжества.

Во-вторых, с подобным преобладанием фактической стороны, но с более ясным направлением написано другое сочинение, на котором можно видеть влияние К.Н. Бестужева-Рюмина. Это «О торговле Руси с Ганзой до конца XV века» М. Бережкова, изд. 1879 г.

Автор с таким же трудолюбием, как и г. Борзаковский, собрал богатые материалы для уяснения своего предмета, что

представляло, между прочим, ту особенную трудность, что приходилось разбирать много памятников на старонемецком языке. К этому автор присоединил изучение всего важнейшего, что написано у немцев и у нас по его предмету, и изложил свою оценку этого в Предисловии, которое составляет хорошую литературу предмета.

Затем в первой главе автор дает исследование о древнейшей торговле вообще в России, причем особенное внимание обращает на арабскую торговлю, которой пути раскрыты археологией посредством найденных кладов. Арабские монеты в кладах идут через Россию до Балтийского моря и затем по его побережьям, особенно южному, и далее через Данию до Англии. По времени они доходят до VII века.

Автору предстояло идти встречным путем, по которому рассыпаны англосаксонские и немецкие деньги, и показать, какие торговые сношения с Запада завязывались с нашим северо-западом и, главным образом, с Новгородом. На этом пути автор должен был рассмотреть дела славянского Балтийского побережья и уяснить, не там ли начались эти сношения и не славяне ли балтийские дали начало известной немецкой Ганзе, Ганзейскому союзу? Автор усваивает мнение немецких людей, что балтийские славяне больше занимались на Балтийском море пиратством, чем торговлей, и что прочные торговые сношения установили с нами лишь немцы<sup>874</sup>. Что же касается славянского происхождения ганзейского союза, то он решительно отвергает это мнение<sup>875</sup>.

Германское начало прочных торговых сношений с нами повело к признанию германским (сначала готским, потом немецким<sup>876</sup>) и пункта, ближайшего к нам на Балтийском море, – Готланда<sup>877</sup>, несмотря на то, славянское население оставило там свои следы даже в названии реки – Волжицы. Автор пошел и дальше по тому же пути<sup>878</sup>. Правда, он отвергает немецкое мнение о культурном влиянии на Россию ганзейской торговли<sup>879</sup>, но принимает мнение, что эта торговля «возбуждала по всей Новгородской земле живое промышленное движение»<sup>880</sup>. В действительности было иначе.

Археология, география и отчасти филология открывают нам, что в древности было живое славянское общение между Новгородом и балтийскими славянами. Но с усилением немецкого господства на южном Балтийском побережье славянские сношения с нами заменяются немецкими. Постепенно при этом прямые сношения Новгорода с этой страной заменяются немецким посредничеством на Готланде, затем в самом Новгороде. Словом, заморская торговля новгородцев более и более переходит в руки немцев, чего не отвергает и наш автор. Но он не хочет видеть того, что вследствие именно этого стеснения, а не иного какого-либо положительного возбуждения новгородская предприимчивость стала направляться на северо-восток. Упадок торговли новгородской на западе и усиление – на востоке находятся, как видим, не в той причинной связи, какую усматривает наш автор. Независимо от этой неправильной постановки главного вопроса, у автора находится много тщательно собранных фактов для уяснения истории немецких дворов на Готланде, в Новгороде и для уяснения торговых, правовых и бытовых отношений между немцами и новгородцами. В сочинении г. Бережкова подробно разобраны так называемые скры, т. е. правила внутреннего управления Немецкого двора в Новгороде и договорные грамоты Ганзейского союза с Новгородом. Кроме сношений между немцами и Новгородом автор рассматривает нашу иностранную торговлю по Западной Двине и значение торговых пунктов Полоцка и Смоленска. Наконец, он излагает торговые сношения новгородских и ливонских немцев с московским правительством до закрытия Немецкого двора в Новгороде при Иоанне III, в 1494–1495 гг.

Г-н Бережков в своем сочинении ссылается на подобное сочинение Аристова «Промышленность древней Руси», изд. в 1866 г. Оно включает обозрение промышленности всей России до XV века и расположено по предметам промышленности: 1) промышленность, удовлетворяющая потребности пищи и питья; 2) промышленность, касающаяся жилища, построек, орудий и удобств домашней жизни; 3) промышленность до одежды и обуви и 4) промышленность передаточная или сбыт



произведений промышленности. Сочинение это обнимает уже не только промышленное движение всей России, но и домашний быт наших предков. К обоим сочинениям, т. е. гг. Бережкова и Аристова приложены словари предметов, весьма полезные для справок.

Подобное собрание сведений, но с гораздо большей точностью, как мы знаем, находится во 2 томе «Истории» Погодина. Для позднейшего времени есть известное уже нам исследование о торговле Н.И. Костомарова «Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII в.», изд. в 1862 г. Автор, как обычно, самыми мрачными красками описывает скудость и забитость русской торговли того времени. В «Истории», в рассказе о митрополите Филиппе II, в котором автор, между прочим, описывает необыкновенное развитие хозяйства и даже изобретений в Соловецком монастыре во время игуменства Филиппа, ему пришлось совсем иначе говорить о русской практичности и изобретательности<sup>881</sup>.

С вопросом о торговле теснейшим образом связан вопрос о деньгах и весах. По этой части в нашей литературе есть образцовое сочинение г. Прозоровского «Монета и вес в России до конца XVIII века», изд. в 1865 г. Автор избрал особую систему для разъяснения самого запутанного у нас вопроса – о деньгах. Он старается изучить начала денежной системы – определить отношение веса, пробы и цены денег и для этого идет от позднейших времен к более и более старым временам.

**Сочинения по русской археологии.** В рассмотренных сочинениях, особенно в последнем, мы находим богатое собрание особого рода данных нашей науки, с которыми, впрочем, встречались и прежде, – с данными археологическими. Этого рода предметом давно у нас стали заниматься<sup>882</sup>. Сначала эти занятия были делом любопытства и даже тщеславия. С этой точки зрения отчасти смотрел на древности и Петр I, приказывавший собирать в кунсткамеру в Петербурге раритеты, но приказывавший также собирать и списывать и древние рукописи и охранять по местам остатки древних памятников. Первый, высказавший серьезное понимание значения вещественных памятников, был, как мы знаем,

Татищев. Академия наук, куда Татищев представил свой проект изучения России, между прочим, и в археологическом отношении, разослала его проект по областям, правителям и канцеляриям (Попов Н.В. Татищев и его время. – С. 439). Ненародное направление у нас в XVIII веке не могло давать серьезного практического осуществления мысли Татищева. Некоторое возбуждение внимания к этого рода занятиям было при Екатерине, перешедшее и в настоящее столетие. Внимание это направлялось главным образом на инородческие памятники. Академики путешествовали, особенно при Екатерине, по азиатским и вообще нашим северным окраинам, как Миллер, Паллас, Лепехин, Гмелин и другие<sup>883</sup>. Мусин-Пушкин, Румянцев, Московское и Одесское общество истории и древностей первые дали русское направление этому изучению. Поляк Чарноцкий, известный в литературе под именем Ходаковского, в двадцатых годах настоящего столетия изучал и описывал так называемые городища. В них он видел языческие святилища и кругом их отыскивал определенные урочища, имевшие, по его мнению, связь с этими святилищами<sup>884</sup>. В новейшее время изучением городищ занимается Д.Я. Самоквасов, издавший об этом сочинение «Древние города России» (1876) и доказывающий, что они имели военное значение. Ниже мы увидим, как расширилась археологическая задача автора и к каким важным выводам пришел он этим путем. Русское направление при императоре Николае Павловиче и устранение общества от современных вопросов вызвало особенное внимание к нашим древностям, по преимуществу к памятникам исторического гражданского и еще более – церковного быта. В эти времена (1846 г.) учреждено и Археологическое общество, действующее и в настоящее время. Но самое сильное возбуждение к археологическим изысканиям последовало в прошедшее царствование в тесной связи с освобождением крестьян и развивавшимся народным направлением. Народные представления в театрах, запросы на живописные и пластические изображения из нашего исторического прошедшего и народного быта требовали археологического знания. Даже промышленность стала

обращаться к археологии. Стали появляться предметы домашнего обихода и украшения в русском стиле; появились старинные украшения одежды, рисунки для вышивания из нашего народного быта.

Наука должна была отвечать на эти вопросы и тем спешнее идти своим путем. Появились описания и изображения памятников русских одежд как издания известных археологов: графа А.С. Уварова, А.П. Сонцова, В. Прохорова, П.И. Савваитова<sup>885</sup>. Устраивалась здесь в Петербурге даже Выставка археологических предметов, устроенная тем же Прохоровым (1871 г.). Археологи стали еще более группироваться, чтобы соединенными силами двигать дело. В 1864 г. в Москве основалось Археологическое общество, и там явилась мысль составлять археологические съезды, которых до 1884 г. было шесть (в Москве, Петербурге, Киеве, Казани, Тифлисе, Одессе).

## Глава XXI. Влияние археологических изысканий на дальнейший ход исторических работ

В историческом, научном развитии нашей археологии ясно обозначилось в новейшее время преобладающее стремление к доисторическим временам. Это понятно. И география, и этнография, и особенно филология в это новейшее время направились к тому, чтобы отодвинуть в глубь древности пределы исторические, дальше того времени, о котором говорят письменные памятники. Естественно, что по этому пути пошла и археология.

Все эти знания в новом их направлении произвели в нашей науке поворот к изучению опять наших древностей, в частности к новому переисследованию варяжского вопроса и даже к изложению целых систем русской истории с новой точки зрения.

В нашей Академии наук всегда были поборники норманнского происхождения нашей государственности, и нам известно, что эта теория закреплена лучшими нашими историками – Карамзиным, Погодиным, Соловьевым. Утвердилось мнение, что признавать эту теорию – дело науки, не признавать – ненаучно. Но в первых шестидесятих годах (1862–1863 гг.) совершенно, по-видимому, неожиданно явился сильный противник этого, казалось, неодолимого мнения – противник, вооруженный громадной, чисто академической научностью. Это покойный директор Эрмитажа и театров С. Гедеонов, который своими «Отрывками о варяжском вопросе», напечатанными в «Записках Академии наук» (№ 1–3), смутил самых ученых защитников норманнства наших призванных князей и заставил отказаться от некоторых положений, что прямо и заявил его оппонент академик Куник.

В этой полемике, между прочим, возник вопрос о тенденциозности и вообще о достоверности рассказа нашей Начальной летописи о призвании князей.

Два решения даны этому вопросу в ближайшее за его появлением время, а вместе с тем даны два своеобразные

решения варяжского вопроса.

1. В 1872 г. в «Русском Вестнике» появилось исследование Д.И. Иловайского, под заглавием «О мнимом призвании варягов». В исследовании этом автор воскрешает теорию скептиков, отвергает подлинность летописного рассказа о призвании князей, признает это сказание басней и уничтожает самое существование наших князей до Игоря. Вместе с тем он ниспровергает все доводы норманистов – исторические и филологические.

На место всего, что дают нам летописи о первых временах нашей государственной жизни до Игоря, и вместо всего, что выработали для уяснения этого периода норманисты, автор ставит полян – русь, как более цивилизованное, господствующее племя, из которого вышли и наши князья и выработалась наша государственность. Затем автор стал уяснять историческую силу этого племени в более древние времена и пришел к выводу, что не только болгары, давшие начало Болгарскому государству, но и гунны были славяне. Эти свои изыскания автор издал в 1876 г. в особой книге под заглавием «Разыскания о начале Руси», куда вошло и вышеуказанное его исследование о варягах<sup>886</sup>.

В основе этой оригинальности теории, явившейся у нас, как метеор, подобно костомаровской теории о литовском происхождении наших первых князей, лежит положение Гедеонова, что Русь, связанная у Нестора с варягами, как пришлый элемент, есть наше туземное население, носившее это имя с древнейших времен, с которым соединились князья с их дружинами из балтийских славян. Д.И. Иловайский отбросил, как миф, и славянство, и норманнство варягов и своеобразно развил мнение о туземном происхождении Руси.

В нашей литературе недостаточно понято и оценено действительное значение изысканий Д.И. Иловайского о начале Руси. Они поражали и поражают ученых двумя противоположными особенностями – отрицанием чужого элемента (варяжского) в образовании нашей государственности и слиянием нашего славянства с чужими (болгарским, гуннским) элементами в более старые времена. Но в действительности

тут нет ни противоположности, ни странности. Над всеми этими кажущимися противоречиями у автора возвышается стремление уяснить самобытное, русско-славянское начало и во времена варяжские, и еще более – во времена древнейшие. Со многими положениями автора нельзя согласиться; но нельзя не признать, что присутствие русского славянства у Черного и Азовского морей в VII и VI веках и важное значение его в V и IV веках при гуннах разработаны автором немало и составляют положительное приобретение науки. Подобный положительный результат мы видели у скептиков, дошедших путем своих отрицаний до балтийских славян. Увидим подобный положительный результат и ниже, в «Истории» профессора Голубинского.

2. Мнение Геденова и отчасти А. А. Куника о тенденциозности летописного рассказа касательно призвания князей и мнение Д.И. Иловайского о совершенной недостоверности этого рассказа, вызвали одного из усерднейших тружеников по нашей науке – Н.И. Ламбина на тщательное изучение летописного рассказа о призвании князей по всем имеющимся спискам<sup>887</sup>. Автор пришел к выводу, что это есть ничто иное, как вставленное в летопись донесение в Константинополь из Киева о перевороте, произведенном там в 882 г. Олегом, для ознакомления с которым сообщаются мельком сведения и о призвании князей в Новгород. Затем автор берется разъяснить самое призвание князей и, отвергая, на основании Геденова, строго норманнскую теорию, но не принимая и славянской теории, находит нечто среднее. В варягах он видит сборную морскую дружину, в которую входили и чужие, и наши славяне, но в которой был элемент шведский, откуда взято и само слово «варяг» (союзник, давший клятву в верности); но так как финны шведов называют ротси, руотси (жители гор), то к нам и перешло это двойное название морской дружины – шведское – варяги и финское – русь. Дружина эта, по автору, своими отдельными отрядами давно и много надоедала и финнам, и нашим славянам новгородским, и вызвала их на то, что они обратились к князьям этой дружины, и их призвали к себе.

Соображения автора о том, что были варяги-русь и как происходило само призвание, составляют явно искусственный компромисс прежних мнений и норманистов, и их противников и никого не могут удовлетворить. Но его обработка летописного текста – прекрасный труд и может служить образцом для подобных работ.

Все эти попытки подвергнуть новому пересмотру вопрос о призвании князей вызвали особую меру со стороны нашей Академии наук. Хотя еще первые поборники норманнской теории выдвигали, кроме европейских, и восточные, арабские свидетельства, но последние туго разрабатывались по малой доступности восточных языков. К рассматриваемому времени, к разъяснению этого дела явилась новая помощь – стали помогать наши ученые евреи. Так, Д.А. Хвольсон издал с комментариями в 1869 г. Сказания древнего арабского писателя Ибн-Даста, а в следующем, 1870 г. другой ученый-еврей Гаркави издал свод арабских известий под заглавием «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских с половины VII до X века». В этих изданиях то и дело выступали руссы как сильные многочисленные двигатели политических и торговых дел на востоке Европы. Это, естественно, могло подкреплять силу европейских свидетельств о норманнах. Объединить и выставить значение обоего рода этих свидетельств – европейских и азиатских, и было задачей, выполненной в нашей Академии наук. Известный ориенталист, покойный Дорн, и известный знаток исторических древностей А.А. Куник – оба академика соединились для защиты норманнской теории и в 1875 г. издали объемистую книгу под заглавием «Каспий» – о походах древних русских в Табаристан с дополнительными сведениями о других набегах их на побережья Каспийского моря. Из древних походов разумеются походы 880, 909–910 и 914 гг.

Издание это составляет сборник разного рода статей, заметок и ученых указателей обоим ученым касательно вопроса о норманнском происхождении нашей государственности, сборник, изданный с очевидной целью освежить данные для этого вопроса и уничтожить новейшие попытки поколебать

немецкое решение его. Основная, однако, мысль сборника находится в тесной связи с мнением Гедеонова о древнем туземном народе – русь и даже с мнением Иловайского о господственном племени полян-русь. В противовес этому в сборнике выясняется господство норманнов – руси на всем пространстве нашей страны, – господство, давшее им возможность предпринимать самые смелые походы и к Каспийскому морю, и к Черному. Сборник этот очень трудно читать, но как справочная книга он очень полезен. В нем сведены восточные и западные свидетельства по этому вопросу, и сведены с необычайной научностью. Но что касается самого дела, то оно в нашей науке пошло не по этому пути.

Особенная эта мера со стороны наших почтенных академиков вызвала другую, разрушавшую при самом начале ее предполагаемое действие. Известный нам Гедеонов в следующем – 1876 г. издал исправленное и дополненное свое исследование о варяжском вопросе под заглавием «Варяги и Русь» – два тома (печаталось в той же академической типографии, что и «Каспий»). В этом исследовании автор с новой силой доказывает, что варяги не были норманнами и что норманны не были русью, что русь составляла коренное наше население, а варяги-князья и их дружина призваны к нам из славянского Балтийского побережья. В новоизданном своем исследовании автор выдвигает новое доказательство – филологическое. Исходя из того положения, что язык балтийских славян, судя по сохранившимся остаткам, занимал середину между польским и чешским, автор из этих последних объясняет множество непонятных для нас, не встречающихся потом слов и выражений в наших старинных памятниках, как Русская Правда, «Поучение» Мономаха, Слово о полку Игоря и др. Против этого аргумента последовали возражения со стороны филологов, особенно профессоров Фортинского и Первольфа<sup>888</sup>. Возражения утверждаются на том главном основании, что в древности все славянские наречия были близки между собой. Но для всякого непредубежденного читателя, знакомого с нашими русскими памятниками, слишком очевидно, что собранные Гедеоновым данные составляют



особое наслоение в указанных им памятниках, очень большое, быстро потом исчезнувшее и, несомненно, связанное больше всего с западославянскими наречиями. Одно уже слово «пискуп», вошедшее в новгородское наречие, много говорит в пользу мнения Гедеонова.

1876 г. был особенно богат новой постановкой вопроса о наших древностях и вообще новыми приемами при изучении нашего прошедшего. Кроме упомянутых исследований Иловайского и Гедеонова в этом году появились две системы русской истории – обе вразрез с норманнской теорией, и обе под явным влиянием новейших археологических изысканий.

Одна из них принадлежит тому же Д.И. Иловайскому. В 1876 г. он издал первый том своей «Истории», обнимающий Киевский период нашей государственности, до падения киевского великого княжения в начале XIII века, а в 1880 г. издал второй том – Владимирский период, до начала XIV века. Во втором томе, впрочем, есть вещи, относящиеся к первому периоду. Это, собственно, обозрение внутренней истории всех областей России, из которых особенно выдвинулось Суздальское княжество и которые после татарского разгрома распались на Русь Северо-Восточную и Русь Юго-Западную.

В основе этой системы – тот же взгляд о господстве в древней Руси племени полян, какой высказан автором в его исследовании о начале Руси. Племя это, по автору, дает о себе знать Византии и восточным странам Европы своими шумными походами; в нем возникает Русская княжеская династия, исторически начинающаяся с Игоря; оно же разливает по всей русской равнине свою колониционную и государственную объединительную силу. Источник этих дел и свойств автор находит в самой природе славян-руси, в даровитости, в их сильной впечатлительности, соединенной с немалой выносливостью и способностью к государственному строению. При таком взгляде, очевидно, должна была выступить на первый план воинственность, дружинность восточнорусских славян, особенно полянского племени.

Дружинность этих славян-руси группировалась в многочисленных городах, составлявших, по автору,

первоначальных вид поселений этих славян. Автор, таким образом, берет мысль Погодина о военном характере русских первоначальных поселений и развивает ее на основании новых археологических данных, добытых раскопками и изучением древних наших городищ. Эту великую, дружинную силу, сосредоточивавшуюся в городах, автор должен был в государственное, княжеское время разделить на две части – земскую городскую с вечем и княжескую дружинную, и первую из них автор ставит в подчинение князю. В связи с этой организацией военных сил Руси автор ставит развитие сельских поселений, которым теперь было безопаснее существовать и в которых, однако, и города, и князья находили главную массу войска. Автор дает еще большее значение сельским жителям. Он находит у них земельные общины, которым князья покровительствовали, в видах более удобного сношения с группами, чем с каждым двором. Яснее всего этот взгляд автора на развитие древнего строя русской жизни высказан им в следующем месте второго тома: «Когда русское племя, – говорит он, – посредством собственных дружин распространило свое господство в Восточной Европе и когда эти дружины объединили восточных славян под властью одного княжеского рода, естественно, должны были уменьшаться и опасность от соседей, и взаимные драки между славянскими племенами. Русь, с одной стороны, обуздывала внешних врагов, которых нередко громила в их собственной земле; а с другой стороны, княжеская власть запрещала в своих владениях драки, возникавшие из-за обладания полем, лесом, пастбищем, рыбной ловлей или из-за похищенных женщин, а также нападений с целью грабежа, добычи рабов и т. п. Поэтому жители множества городов вследствие большей чем прежде безопасности могли постепенно расселяться по окрестным местам в неукрепленных хуторах и поселках, чтобы удобнее заниматься сельским хозяйством; сами городки нередко получали более мирный характер, постепенно превращаясь в открытые селения. Отсюда все более и более размножалось сельское население, преданное земледелию и другим хозяйственным занятиям...»<sup>889</sup> «По мере размножения этого

населения составлялись поземельные общины, носившие разнообразные названия: вервь, волость, погост и проч. Главной связью между селениями, входившими в состав такой общины, служило общее пользование землей, а также совокупная уплата даней и оброков в княжью казну...»<sup>890</sup> У этих общин автор видит сходки, подобные вечам городов. В этом случае автор явно отступает от родовой теории своего учителя С.М. Соловьева. Иначе чем Соловьев он представляет и усиление Северо-Восточной Руси. Киев, по автору, стал слабым от накопившихся у него богатств и развития изнеженности нравов, своеволия<sup>891</sup>, тогда как Северо-Восточная Русь крепла от защиты, какую власть давала колонистам, и от внутренней сплоченности общин, вызываемой уже самым поселением в чужой Финской стране<sup>892</sup>.

В изложении исторических событий автор держится приема, с каким писал свои учебники, т. е. излагает дело догматически, не любит часто делать ссылки на источники, но за то в немногих своих примечаниях дает богатое содержание и чаще всего – обстоятельную литературу вопроса.

Политическая история в этом сочинении представляет прежде всего ту выдающуюся особенность, что в ней оторвано начало нашей государственности до Игоря. Далее, в сочинении весьма обстоятельно описаны русские области в топографическом и правительственном отношениях, а также русские города и, в частности, русские памятники, особенно церковные. Наконец, весь рассказ событий представляет замечательную стройность изложения. Автор в Предисловии к первому тому своей «Истории» ставит требование художественно излагать историю и, очевидно, старается выполнить это требование. Мы лично усматриваем в «Истории» Д.И. Иловайского иную особенность. Автор, по нашему мнению, обладает замечательным умением угадывать потребности читателя видеть события в надлежащем освещении, и удовлетворяет этим потребностям. Это умение, без сомнения, немало выработано многолетней работой автора над учебниками по русской и всеобщей истории, наблюдениями над результатами этой работы. Теперь эти приемы изложения

перенесены в научную среду, и перенесены самым счастливым образом.

**И.Е. Забелин.** Еще более антинорманнской, если можно так выразиться, и еще более – археологической нужно признать другую новейшую систему русской истории. Это «История русской жизни» И.Е. Забелина.

Мы говорили, что новейшая постановка данных географических, этнографических, филологических и археологических раздвинула пределы исторического знания в глубь древности, далее и полнее письменных свидетельств. Перед глазами археолога, вооруженного и другими вышеуказанными знаниями, письменные свидетельства легко могут даже терять свое первостепенное значение и уступать место всем тем бытовым чертам, какие сохранились то в земле – в курганах, городищах, то в остатках других памятников, то в одеждах, утвари и обычаях современных людей.

Под влиянием такого воззрения И.Е. Забелин решился написать историю русской жизни, историю бытовую, которой до настоящего времени вышло два тома. Первый том вышел в 1876 г., второй – в 1879 г. Автор точно определяет свою задачу в Предисловии к первому тому. «Жизнь народа, – говорит он, – в своем постепенном развитии всегда и неизменно руководится своими идеями (мы знаем, что подобная мысль высказана Лешковым и, несомненно, предполагается во взгляде на «Историю» Данилевского), которые дают народному телу известный образ и известное устройство. Разработка истории стремится найти такие идеи в общей жизни народа, в его политическом или государственном и общественном устройстве. Но мелочный повседневный частный быт точно так же всегда складывается в известные круги, необходимо имеющие свои средоточия, которые иначе можно также именовать идеями. Если подобные мелкие круги народного быта не могут составлять предмета истории в собственном смысле, то для истории народной жизни они суть прямое и необходимое ее содержание. Раскрыть эти частные мелкие жизненные идеи – вот, по нашему мнению, – говорит автор, – прямая задача для исследователей народной жизни. Но само собой разумеется,

что попытаться до этих идей возможно только посредством разнородных и разнообразных свидетельств самой же исчезнувшей жизни. Здесь и представляется беспредельное необозримое поле для изысканий, на котором вдобавок не все то возделано, чего требует именно история жизни»<sup>893</sup>.

По этому плану автор и написал два тома своей «Истории русской жизни», она обнимает время с глубочайшей, чисто археологической древности и до смерти Ярослава I. И.Е. Забелин прежде всего дает понятие о русской природе. Мы знаем, что с этого начинает свою «Историю» и Соловьев; но Забелин ставит этот вопрос шире Соловьева и больше приближается к Леруа-Болье. Он и начинает свое исследование с указания отдельности, особенности русской равнины от Западной Европы, и постоянно указывает влияние русской природы на человека, как, например, влияние ее равнинности и расходящихся с алаунской возвышенности рек на русскую колонизацию, или влияние русской зимы на развитие той же колонизации и предприимчивости русского человека<sup>894</sup>, или влияние лесной местности на развитие способности защищаться, и степной – на развитие казацкой удали<sup>895</sup> и на более или менее прочное заселение; наконец, он показывает особенно важное значение рек, направлявших народонаселение к морям – Азовскому, Черному, Балтийскому, Белому, Каспийскому, причем, подобно Леруа-Болье, автор показывает важное значение угла, образуемого Волгой и Окой, т. е. Московской области.

Уяснив таким образом физическое поприще для своеобразной русской исторической деятельности, автор расчищает затем это поприще от ученых исторических заносов – от норманнской теории. С замечательной даровитостью И.Е. Забелин ударяет в самый слабый пункт немецкой учености, выработавшей у нас норманнскую теорию, – а именно в узкий, немецкий патриотизм, выразившийся в этой учености<sup>896</sup> и превративший всю нашу древнюю русскую жизнь в пустое место, пустое пространство, которое наполнял этот немецкий патриотизм только семенами немецкой цивилизации.

Устранив эти семена, автор ищет другие, и находит их как бы взамен немецких в балтийском славянстве, для чего прибегает к богатому запасу географических данных, доказывающих древнейшее общение балтийских славян и наших, даже прилагает к книге словарь слов, подтверждающих это общение. Это, впрочем, предварительное исследование. К нему автор возвратится еще во втором томе. Здесь оно нашло себе место только как часть топографического исследования страны.

Топографическое исследование России автор подвигает дальше в глубь древности и начинает с Геродота. Исследование это весьма замечательно. Автор находит, что Геродот не только с поразительной точностью описывает Южную Россию до пределов черниговских и галицких; но что он называет наши реки славянскими именами, как Днепр-Борисфен, от Березины, и еще замечательнее описывает наши славянские племена – вятичей и радимичей и финские племена – на восток от Днепра.

Древнейшие известия о славянах автор дополняет достоверными и точными свидетельствами о наших славянах-руси писателей византийских, западноевропейских и арабских IX–XI веков и, наконец, переходит к нашим летописям, которые предварительно подвергает критическому разбору. На основании всех сведений – чужих и своих – И.Е. Забелин дает известное уже нам понятие о родовом быте и переходе его к городской жизни. Этим заканчивается первый том «Истории русской жизни».

Во втором томе автор снова обращается к древним временам, даже более древним, чем прежде, – доисторическим, и на основании филологических и археологических данных уясняет заселение русской страны славянами. Здесь опять автор обращается к балтийским славянам, от них выводит колонию Новгородскую, точно так же, как им приписывает развитие славянского центра в Киеве. Естественным результатом того и другого поселения балтийских варягов в этих центрах русской жизни было объединение их под властью варяжских же князей. Известные шумные дела первых наших князей автор тесно связывает с особенностями русского народа.

Он ударяет не только на сильное развитие торговли у наших славян, но и на их воинственность. По автору, наше днепровское и донское казачество ведет свое начало от глубокой древности. Удадь этого рода сказала и в греческих походах, и в еще более смелых походах к Каспийскому морю.

Время Ольги и Святослава дают автору повод раскрыть еще больше и воинственность русскую, поразившую при Святославе ближайший к нам восточный мир и византийско-славянский и, с другой стороны, раскрыть мирные строительные силы русского народа, выразившиеся в мудром управлении Ольги и принятии ею Христианства в Византии. В этих исследованиях автор старается выставить тип древней русской женщины и тип древнего русского воителя. Затем автор изучает русское язычество, русское общество того времени, степень его образованности (бывалости) и, наконец, в делах Владимира и Ярослава изображает христианский склад Русского государства.

Самыми свежими по усидчивой работе и богатству собранных данных в «Истории» И.Е. Забелина нужно признать:

1. Необыкновенно смелое по замыслу и выполнению толкование древних свидетельств с целью открыть и расширить древнейшие поселения славян. Его разбор Геродотового описания Гипаниса – Буга Южного может быть признан образцовым (1, 219). Его объяснения, что под бастарнами скрываются славянские быстряне южной Угорщины, и в герулах – славянские горали Карпатских гор могут быть оспариваемы, но нельзя не признать их новости.

2. Еще тверже его данные для объяснения славянской балтийской колонизации в Новгородскую область. Все наше русское славянство автор разделяет на две группы: южную-понтийскую и на лесную в северной половине России, и утверждает, что Новгородскую колонию никак нельзя вывести с юга России, что житель южного климата, чернозема и степей никак не мог сделаться колонистом суровой, лесной, болотистой страны Новгородской. Автор даже утверждает, что эта последняя колонизация не была вызвана потребностями русской жизни, а явилась извне как выражение чужих потребностей. Ища этой потребности извне, автор по сродству

географических названий доходит до балтийских славян, и оттуда выводит население Новгорода<sup>897</sup>.

3. Но самым важным исследованием у г. Забелина нужно признать его главу о русском язычестве и вообще связанные с ней и разбросанные по всему сочинению бытовые черты русского народа. Автор расширяет прием, употребленный Афанасьевым, – восстановить древнейшие верования и обычаи по их остаткам в живом русском быте и сравнительным указанием подобных явлений у других народов. Ближко знакомая автору бытовая сторона России дала ему возможность широко воспользоваться этим приемом. Можно сказать, что этот прием выполняется во всей Истории русской жизни г. Забелина, т. е. прием воссоздавать древнюю русскую жизнь не только по прямым свидетельствам истории, но и по остаткам этой жизни в позднейшие времена, т. е. изучать русскую жизнь путем сравнительного изучения явлений ее всех времен и подходящих явлений у других народов.

С изысканиями в области русских древностей Д.И. Иловайского и И.Е. Забелина имеет тесную связь сочинение Д.Я. Самоквасова «История русского права», вып. 1, изд. 1878 г., и особенно вып. 2, изд. 1884 г. В первом выпуске автор разбирает мнения ученых о славянских древностях, а во втором рассматривает самое дело, раскрывает нам древнейшие времена – славянские и русские – на основании исторических и археологических данных. Д.Я. Самоквасов приходит к выводу, что прародиной славян была Скифия, в которой он находит не азиатский этнографический элемент, а славянский. Из этой прародины выделилась в первом христианском веке могущественная держава у южной части Дуная – Гетская или Дакийская (тоже славянская), а когда она к началу второго века была сокрушена волохами-римлянами, то составлявшие ее славяне расселились по странам, указываемым нашей Древней летописью. Этот вывод автор с особенной обстоятельностью основывает на кладах с римскими монетами, в большом числе и с большей точностью исследованными им. В этом же труде Д.Я. Самоквасов весьма обстоятельно подрывает научность Шлецера и высказывает весьма важное мнение, что Шлецер и



другие наши ученые немцы отклонили изучение и наших древностей от того правильного пути, каким его вели наши русские историки XVIII века.

## Глава XXII. Господство сравнительного приема при изучении истории

**Е.Е. Голубинский.** Новейший научный прием – сравнительный, на который мы выше указывали, сделал уже громадные завоевания в разных отраслях наук, особенно в области естествознания. Много он сделал и в истории. Довольно указать на разработку первобытной культуры народов. В истории он имеет не только то значение, что дает надлежащий смысл каждому историческому явлению, но и то более общее значение, что только при нем может уясниться и историческая индивидуальность народа, и та его историческая работа, которая составляет долю его участия и значения во всемирной жизни человечества. Но прием этот может приносить действительную пользу только при громадной научности, и научности, так сказать, равновесной во всех своих частях, т. е. чтобы все сравниваемые предметы одинаково научно были знакомы. При нарушении этого равновесия могут получаться чудовищные выводы при всех внешних признаках учености, обстоятельного знания дела<sup>898</sup>. У нас есть одно новейшее сочинение, близкое к нашему предмету, которое при всей громадной своей научности представляет именно такое злоупотребление приемом сравнительного изучения русской исторической жизни. Это «История Русской Церкви», профессора Голубинского. Она доведена до татарского ига и составляет один том в двух объемистых книгах. Первая издана в 1880 г., вторая – в 1881 г. Во многих местах этого сочинения, особенно в первой его половине, излагаются и дела гражданские, решаются вопросы о народах, обитавших в Скифии<sup>899</sup>, о призвании князей<sup>900</sup>, об Аскольде и Дире<sup>901</sup>, о Святославе<sup>902</sup> и вообще о Русской цивилизации того времени.

Чтобы яснее можно было видеть действительное значение истории профессора Голубинского, мы сообщим самые краткие сведения о предшествовавших главнейших трудах по русской церковной истории и о направлении в разработке этого предмета.

Мы упоминали уже о первом опыте «Истории Русской Церкви» митрополита Платона<sup>903</sup>. Сочинение это представляет осмысленное изложение фактов русской церковной жизни и в некоторых местах даже поражает глубиной понимания фактов, как в вопросе о степени развития русского язычества (отсутствие храмов и жрецов) или в вопросе о происхождении первого Самозванца (орудие иезуитов). Но, кроме того, в нем видно старание автора уяснить значение в России высшей иерархии, и автор с особенным вниманием останавливается на тех событиях, из которых видно, что это значение было немалое, как например, при Иоанне III, при венчании на царство его внука и сына, особенно при Иоанне IV (Митрополит Филипп), в смутные времена, при Алексее Михайловиче и Феодоре Алексеевиче. В некоторых из этих случаев автор касается и состояния самого русского общества, его благосостояния и отношения к иерархии. Но вообще история эта близко стоит к летописям и по их образцу хронологически излагает события.

В первый раз приложены научные приемы и в выборе фактов, и в расположении их, и в указании источников – в «Истории Русской Церкви» архиепископа Филарета<sup>904</sup>. «История» эта изложена по схоластической системе. События разбиты по предметам и даже параграфам, а в примечаниях указаны источники.

Что касается основных воззрений автора, то в его «Истории» излагаются главным образом и излагаются обстоятельно, стройно, два, так сказать, крайние проявления религиозной жизни – самые светлые и самые мрачные. Добрые дела и злые, святые люди и грешники, раскольники, еретики выделяются ясно и отчетливо. Но та середина, из которой выходят добрые и злые люди, и праведники, и разного рода грешники, т. е. русское общество в «Истории» архиепископа Филарета отсутствует, как предмет особого, постоянного внимания, и является лишь случайно, в особенно выдающиеся времена, как, например, во времена еретиков жидовствовавших или во времена раскола. Вместо всего этого автор указывает русским идеалы в виде поучительных, назидательных замечок.

Сущность этой системы архиепископа Филарета в построении истории сохранена и в новейшей церковной истории – митрополита Макария<sup>905</sup>, т. е. здесь факты тоже распределены по особым, заранее определенным рубрикам. Но в «Истории» митрополита Макария есть и многие особенности. Рубрики иногда изменяются сообразно требованиям самых событий, а в истории Унии даже совсем почти разрушаются, так как разные события тогда слишком тесно сближались около какого-либо одного главного события или лица. Это же нарушение системы видно и в изложении событий времен Никона и по той же причине.

Но самое большое различие «Истории» митрополита Макария от «Истории» архиепископа Филарета заключается в чисто научной стороне – в полноте и тщательности фактической части истории. Кроме «Истории» Карамзина у нас нет ни одного курса русской истории, в котором эта задача была бы выполнена с таким совершенством.

При поражающем богатстве собранного автором материала у него были богатые данные для разнообразных выводов и суждений касательно нашей церковной жизни. Но автор и по условиям нашей печати, и по личным своим особенностям устранился от всяких жизненных вопросов, даже от назиданий, и заменил эту роскошь простором в области археологической, археографической и отчасти критической. Есть, впрочем, у него руководящее начало и для решения жизненных вопросов, когда предстояла необходимость решать и их. В таких случаях он обыкновенно становится на точку зрения официальных памятников и решает дело по их указаниям. Так, например, он признает справедливым осуждение новгородского архиепископа Серапиона, недовольного Иосифом Волоколамским за переход его под власть Московского митрополита, дает большее значение Иосифу Волоколамскому, чем Нилу Сорскому; признает справедливым осуждение Максима Грека. Иногда эта точка зрения заставляла автора с особенной тщательностью изучать дело и открывать новые его стороны. Так, старание оправдать образ действий митрополита Даниила побудило автора раскрыть с новых сторон замечательную книжность и

Даниила, и его учителя Иосифа Волоколамского. Вообще внимательное изучение официальной стороны русской церковной жизни дало автору возможность раскрыть смысл многих религиозных явлений и выяснить достоинство русской церковной власти. Но иногда официальная точка зрения вводила автора и в большие заблуждения. Так, он ищет прототипа Устава Владимира в обширных, а не кратких редакциях его на том основании, что позволительнее было сокращать законы, а не создавать их в большем числе. Так, из официальных документов положение западнорусского Православия представлялось автору более светлым, чем было на деле, потому что упущено из виду бессилие правительственной власти в Польше и господство латинского общества.

Наконец, в «Истории» митрополита Макария, хотя так же, как и в «Истории» Филарета, мы не видим ясно русского общества; но у митрополита Макария видны попытки внести хотя бы некоторый свет в эту область. У митрополита Макария главы о состоянии веры и нравственности часто гораздо содержательнее, чем у архиепископа Филарета, а также более выдержаны рубрики, посвященные отношению Русской Церкви к другим церквям и обществам. Наконец, все это восполняется многочисленными памятниками, приведенными как в подлинном виде, так и в подробном пересказе.

Труднейшая задача истории – изобразить общество, в котором воспитываются и хорошие и дурные люди, поставлена прямо и выполнена с большим талантом в небольшой книге, названной и признанной учебником, но имеющей несомненные признаки цельной, научной системы и научной работы. Это «История Русской Церкви» профессора П. Знаменского<sup>906</sup>, известного и чисто учеными трудами о приходском духовенстве (1873 г.) и о духовных училищах XVIII и начала XIX века. Как в своем учебнике, так и в сейчас указанных трудах автор прежде и больше всего старается доискаться тех основ в самом русском обществе, которые были причиной тех или других религиозных явлений. Выполняя эту весьма трудную задачу, автор не избежал, однако, односторонности, какой при этом

весьма легко подвергнуться. Он придает слишком много значения умственному началу в религиозной жизни народа. С этой точки зрения ему, например, представляется не бесполезным влияние философского века (XVIII) на церковные дела, которое в настоящее время не может быть признано таким даже по отношению к гражданским делам.

Широкая постановка вопроса о состоянии религиозного общества в нашем прошедшем во всей научной аргументации сделана в указанном уже нами сочинении профессора Е.Е. Голубинского.

Автор в своем Предисловии дает ясное понятие об идеале истории – воспроизводить прошедшее в живых образах; но для русской истории, особенно дотатарского периода, он считает невозможным хотя бы то самое малое осуществление этого идеала, потому что, по его мнению, для этого времени мало источников, и они мало говорят. Отсюда автор в Предисловии же заключает, что мы, русские, не писали своей истории удовлетворительно, «потому что были не способны написать. А были не способны написать потому, что были не способны, потому что в нашем прошлом, грустный или не грустный, но действительный факт – мы представляли из себя исторический народ весьма невысокого достоинства»<sup>907</sup>. К этому достаточно уже решительному заявлению автор прибавляет вывод еще более решительный. «В этом последнем обстоятельстве (т. е. нашем русском невысоком историческом достоинстве) заключается весь простой секрет (почему мы не записали в дотатарское время своей истории), ибо всякий народ ровно настолько обладает способностью писать свою историю, насколько обладает способностью или насколько проявляет способность жить исторически»<sup>908</sup>. Выходит, по автору, что старые народы обладают самой большей живучестью, а молодые – самой малой и, следовательно, должны помириться с тяжелой долей быть в раболепии у старых народов.

В самой «Истории» автор с такой же решительностью отвергает мнение, что наша цивилизация в дотатарское время была не слаба, но что в татарский погром погибло много ее задатков и, в частности, много исторических памятников. Автор

утверждает, что если бы у нас тогда была действительная образованность, она не могла бы погибнуть ни от какого разгрома. Автор при этом забыл темные века Европы после варварских нашествий, которые, без сомнения, были бы еще продолжительнее, если бы греки, сберегшие у себя просвещение, не обновили им Европы. Он забыл даже хорошо ему известные, как автору, истории славянских церквей, факты страшного падения просвещения в южнославянских странах после турецкого порабощения, несмотря на гораздо большие, чем у нас, удобства сберегать остатки своего просвещения в каменных зданиях и ущельях гор. Выше всего этого стоит у автора пример торгового, деревянного Новгорода, не сохранившего особенно выдающихся следов цивилизации, несмотря на то, что он не знал татарского разгрома. Наконец, с такой же решительностью автор отвергает или умаляет факты, свидетельствующие о выдающемся образовании некоторых наших дотатарских людей. Татищев, сообщающий летописные известия о высокой образованности смоленского князя Романа Ростиславовича (второй половины XII в.), ростовского князя Константина Всеволодовича (начала XIII в.) и других лиц, подвергается бесцеремонному обвинению во лжи. Даже такой неоспоримый факт, что отец Мономаха знал пять языков, считается не особенно важным. Сам Мономах признается подававшим надежды в литературе, и его «Поучение» признается как *нечто* заслуживающее внимания. Однако Митрополита Иллариона автор признает выдающимся явлением нашей дотатарской жизни.

Но что же после этого может составлять предмет нашей истории дотатарского времени? «Безличная история учреждений», – говорит автор. «Невозможно говорить об отдельных лицах, когда нет о них никаких сведений; но возможно до некоторой степени воссоздать историю учреждений, как безличных механизмов, хотя бы и отсутствовал исторический материал или был только очень, очень скуден. В этом случае, – продолжает автор, – оказывается возможным обращение к помощи двух средств: аналогии обратных заключений от позднейшего времени»<sup>909</sup>. Для уяснения наших

русских учреждений автор действительно обращается не только к позднейшим и даже современным явлениям русской религиозной жизни, но еще более – к греческим, которые, в свою очередь, сравнивает с римскими, и все это сопоставляет с нашими русскими порядками церковной жизни.

Многовековая, величественная жизнь древней Вселенской церкви в обеих ее половинах, Восточной и Западной (до разделения церквей), богато разработанная тоже многовековыми усилиями всех образованных народов и хорошо изученная автором, показала всю скромность, чтобы не сказать более, нашей русской религиозной жизни, и скромность эта еще более увеличилась от того, что автор в основу своего сравнения религиозной жизни, греческой и нашей, положил степень знания веры. Наша русская религиозная мудрость, разумеется, должна была совершенно поникнуть перед богословской мудростью не только церкви Восточной, ставшей в этом особенно отношении выше всего в христианском мире, но даже перед церковью Западной.

Нет спора, что сравнительное изучение нашей религиозной жизни весьма нужно, и автор в этом отношении внес в нашу русскую науку большой вклад и не без основания обличает нередко сказывающееся у нас религиозное тщеславие и непонимание многими разных односторонностей и крайностей. Его главы о церковном управлении, богослужении, монашестве так богаты фактами из древней церковной истории, сопоставленными с нашими русскими однородными явлениями, что могут много содействовать уяснению нашего религиозного сознания и направлять его к высшим церковным идеалам. Но автор и на этом пути дошел до крайностей, при которых он иногда совсем забывает сущность дела и берет для сравнения предметы, никак не совместимые. Наше русское уничижение в этом отношении так велико в глазах автора, что он поставил петербургский период нашей жизни периодом высшего развития у нас религиозной жизни – именно религиозного знания.

Уже этого одного достаточно, чтобы понять, что в сравнительном приеме автора что-то не так, что допущено что-то совсем несообразное. Несообразность вот в чем. И в



гражданской, и тем более в религиозной исторической жизни нельзя ставить знания единственным мерилom цивилизации народа, и особенно народа молодого, да еще славянского, который в своей природе представляет совсем иное соотношение умственной и нравственной или, точнее, сердечной силы, чем это сказалось в истории греко-римского мира и сказывается в истории германского мира. Чтобы не вдаваться в теоретические рассуждения об этом, обратимся к некоторым данным из «Истории» Е.Е. Голубинского, столь же странным, как и высшее религиозное развитие у нас в петербургский период. Занявшись, например, изучением у нас монашества как учреждения, автор, разумеется, нашел его во всех отношениях ниже греческого. Только преподобный Феодосий как организатор нашего монашества вызывает внимание его и похвальные отзывы. Но первейший основатель нашего монашества силой примера – преподобный Антоний остается у него в тени, а тем более, целый сонм печерских подвижников – этих богатырей религиозных, до сих пор привлекающих неодолимой своей силой массы не только русского народа, но и других славянских племен. Эта сила не поддается археологическому исследованию и потому оставлена в стороне<sup>910</sup>. Наш автор даже странным образом закрыл это исследование особого рода завесой. Найдя в писцовых книгах XV–XVI веков указание, что при приходских церквях устраивались монашеские кельи, автор пришел к заключению, что то же было в самом начале нашего монашества в Киеве, что этим путем выросло наше монашество, а путь этот реже всего был путем стройной нравственной жизни. Это очень остроумно, но и крайне произвольно. Точно так же, в отделе о нравственном состоянии русского общества в домонгольский период, автор показывает самый низкий уровень нравственности того времени и оставляет необъяснимым, каким образом могли воспитаться такие высокоразвитые люди, как Владимир Мономах, оба Мстислава – Храбрый и Удалой, Даниил Галицкий, Александр Невский и немало других, которыми именно дотатарское время особенно богато и которые, судя по летописным известиям, имели великую

воспитательную силу, которой, как например, памятью о Владимире Мономахе и Александре Невском, даже в области гражданских дел, наши предки жили целые века. Тут мы ясно уже видим, что не отсутствие сведений заставило автора устраниваться от воссоздания живых образов, а прием его, выводящий наружу лишь мертвые остатки прошедшего, как их добывает археология. У автора есть даже особенная антипатия ко всему живому. Он, например, не может себе уяснить такого цельного и в то же время несомненно исторического образа, как образ Святослава, и вот что он с ним делает. «Преемником Игоря, – говорит он, – был Святослав. Это был, если угодно, отважный и блестящий рыцарь, а если угодно – пустой искатель приключений, во всяком случае – всего менее государь»<sup>911</sup>. Если отбросить балагурность тона, то тут – взгляд Соловьева на Святослава – взгляд старый уже. И войны Святослава на Востоке оказываются делом глубокого знания русских потребностей, и даже увлечение его византийскими интригами против Болгарии направлялось к целям русским и содействовало успехам того самого Христианства, от которого отказывался Святослав. Владимир Святой шел по следам своего отца и на Востоке, и на Юге. Тут еще, кроме того, сказалась у автора сила научных предубеждений. Сравнивая величественное, давно развившееся Христианство Востока с недавним его насаждением в России, автор самым свойством своей задачи легко мог быть настроен видеть в России слабосилие или даже пустоту. Немецкие книги расположили его видеть пустоту решительно во всем – даже в гражданской жизни и наполнять ее тоже иноземным. Автор прямо и заявляет, что он самым решительным образом принадлежит к числу норманистов<sup>912</sup>. Святослав для этих сторонников – весьма неудобное, неприятное лицо, потому что это чистый тип славянина, и найти в нем норманство очень мудрено. Отсюда и легкомысленные отзывы о нем. Так же неприятны для этих сторонников Аскольд и Дир, так как они в первые же годы после призвания князей и независимо от них оказываются сильными правителями Руси и с большими ее силами совершают поход на Константинополь. По примеру других норманистов, наш автор

отвергает Сказание нашей летописи о походе Аскольда и Дира на Константинополь и приписывает этот поход руссам черноморским, которых объединяет с норманнами. Вся сила этого положения держится на шатких сказаниях арабских писателей о черноморских руссах и на ничего не значащем свидетельстве одной венецианской хроники, упоминающей о нападении в те времена на Константинополь норманнов<sup>913</sup>. С такой же смелостью автор отстаивает утверждение норманнов на другом конце торгового греческого пути в Новгороде – норманнское призвание князей или собственно завоевание ими России, и подобно Эверсу и Ламбину с особенной силой опирается на финское название шведов – ротси, руотси. Впрочем, сам автор заявляет, что не компетентен в этой части. Но эту некомпетентность в области гражданской он вознаграждает по части церковной, но вознаграждает еще более странным образом. Он самым решительным образом приписывает варягам-норманнам и начало, и утверждение у нас Христианства. У него и Ольга была норманнка, и Владимир принял Христианство от киевских христиан-норманнов. Пристрастие автора к норманнскому или, точнее, шведскому влиянию у нас даже в области религиозной доходит иногда до геркулесовых столбов. Найдя известие, что в конце XV века в Устюге была построена новая деревянная церковь о 20 стенах (изгибах) на месте такой же старой, и в одной Псковской летописи известие о сожжении в Навережской губе церкви о 25 углах, автор не находит возможности признать эту сложную, своеобразную постройку русской, а выводит ее от варягов киевских или прямо из Скандинавии, потому что Кольский Воскресенский собор, построенный в 1684 г. и бывший о десяти углах, напоминает шведскую постройку церквей<sup>914</sup>. Это явное пристрастие видеть у нас все иноземного происхождения тем более удивительно, что в нашей литературе есть обстоятельное исследование И.Е. Забелина об основных, народных началах наших построек, в том числе и многоугольных деревянных церквей<sup>915</sup>, и автор мог знать это исследование, когда издавал свою «Историю Русской Церкви», особенно второй том ее (изд. 1881 г.), в котором и находится эта его скандинавомания, если

выразиться языком Венелина. Тут мы открываем новый недостаток сравнительного приема нашего автора – большее знание чужого, чем своего. Это самая большая опасность сравнительного метода при изучении нашего прошедшего, которой необходимо противопоставлять тем более тщательное изучение своего.

**Профессор Ключевский.** Этим именно последним качеством отличается новейшее исследование по русской истории профессора Ключевского «Боярская дума древней Руси», заключающее в себе целую систему научного изложения русской истории с древнейших времен и до Петра I. Исследование это сначала было напечатано в журнале «Русская Мысль» за 1880 и 1881 г. Затем оно было издано особой книгой в 1882 г., а в 1883 г. вышло второе издание ее. Между двумя последними изданиями мы не заметили разницы; но оба они значительно отличаются от того, что под тем же заглавием было напечатано автором в «Русской Мысли». Особенно важны разницы в начале и конце исследования. В начале три главы в особом издании переделаны и сокращены. Важнейшее исключение касается истории славянорусских племен до призвания князей. В конце исследования прибавлено семь глав, в которых большей частью – новые изыскания о составе Думы в Москве и делах ее по областям, по преимуществу в XVII веке<sup>916</sup>. Мы будем рассматривать все исследование г. Ключевского, как оно изложено и в «Русской Мысли», и в особом издании, так как это даст нам возможность яснее представить главнейшие особенности этого нового труда по русской истории.

Нам известно, что К.Н. Бестужев-Рюмин поставил главнейшей задачей историка излагать всесторонне не историю лиц, а историю того сложного исторического явления, которое называется обществом. Е.Е. Голубинский, прилагая то же требование к истории дотатарского времени, пришел к выводу, что для этого времени и невозможно живое изображение исторических личностей, что можно лишь изучать тогдашние учреждения и то не иначе, как обращаясь к сравнительному изучению таковых же учреждений у других народов. Таким

образом, весьма сложное и разнообразное историческое явление – общество понято здесь более внешним образом – в виде учреждений. Мы знаем, что в результате у Е.Е. Голубинского оказалось, что в России были самые незрелые воспроизведения чужих учреждений и полное отсутствие своего, самобытного. В этом отношении Е.Е. Голубинский совершенно сошелся с большей частью наших юристов западнического направления, которые, придавая слишком большое значение внешним формам государственной жизни и сравнивая наши формы с западноевропейскими образцами, приходят к отрицанию самого вопроса о существовании в нашей древней Руси каких бы то ни было стройных учреждений, место которых занимало, по их мнению, частное хозяйство, так называемая вотчинность. Но нам известно, что некоторые из наших юристов, такие как Лешков, Беляев, понимали и наши учреждения, и наши законы совсем иначе. Смысл их они искали в народном строе жизни, в народных обычаях, народных воззрениях, так что государственные, общественные учреждения, само даже общество являются, по их взгляду, только внешним выражением внутренней жизни народа.

Профессор Ключевский с этой именно точки зрения изучает историю Боярской думы старой, допетровской Руси, что дало ему возможность расширить свой кругозор и изложить историю вообще внутреннего развития русской жизни.

В нашей литературе есть однородные исследования, т. е. о том же предмете. Кроме известного нам сочинения г. Чичерина, предмет которого только частью входит в область изысканий профессора Ключевского, у нас есть упомянутые уже нами труды профессора Загоскина, которые обнимают почти всю ту область, *какую* изучает наш автор. Так, сочинение г. Загоскина «Очерк истории служилого сословия» касается и старых, домосковских времен, и рассматривает тот состав служилых Московского периода, верхние слои которых составляли Думу, а первый выпуск второго тома его «Истории права Московского государства» весь посвящен исследованию о Боярской думе.

Сочинение г. Ключевского находится в несомненной связи с первым сочинением г. Загоскина. Элементы служилых –

иноземные, сословные, чем занимается и г. Ключевский, распределены раньше г. Загоскиным, и сходство этого распределения в обоих сочинениях совершенно ясно, хотя несомненно, что г. Ключевский дальше подвинул эту работу, произвел ее в области рукописей, чаще всего впервые им разработанных. В других вопросах различие у них гораздо больше и, можно даже сказать, совсем закрывает черты сходства. Г. Загоскин рассматривает склад домосковского и московского правительства со всех сторон, во всей сложности составляющих его элементов. Он рассматривает в старые времена и дружину с князем во главе ее и рядом с ними вече, а в московские времена рассматривает Думу, и имеет в виду рассмотреть рядом с ней приказы<sup>917</sup>, и рядом с Думой и приказами ставит Земские соборы<sup>918</sup>. Наконец, он везде имеет в виду политические обстоятельства, влиявшие так или иначе на все эти силы правительственного и общественного строя. Г. Ключевский большей частью устраняется от всей этой широты вопросов; но зато он больше г. Загоскина идет в глубь нашего правительственного и общественного строя. Он берет собственно Боярскую думу, как она была с древнейших времен, и рассматривает только те элементы, которые привходят в нее или имеют к ней более или менее близкое отношение. Поэтому вече у него совсем бледнеют, Земские соборы – еще больше, и даже приказы не видны в надлежащей их ясности и силе, а политические условия упоминаются им только вскользь. Но зато те элементы, которые он находит нужным показать, исследованы им со всей тщательностью, и он доискивается их в русском складе жизни на большой глубине. Чтобы уяснить себе такое направление исследования г. Ключевского и его приемы при этой большой работе, мы должны обратиться к его собственным объяснениям, которые он изложил в начале своих статей в «Русской Мысли» и которые выпустил в отдельном издании своего труда. При разборе сочинения г. Ключевского нам нет надобности высказывать наше мнение по каждому его пункту. Внимательный читатель этой книги, даже неопытный в разборе книг по русской истории, уже сам может видеть, с какими явлениями в истории нашей науки совпадают или нет

основы и частные особенности этого сочинения. Такому читателю мы будем лишь помогать группировкой выдающихся мест исследования г. Ключевского и лишь немногими нашими указаниями и, наконец, общим сводом наблюдений, сделанных нами при изучении этого сочинения.

Автор начинает свое исследование указанием на ту разрозненность между внешней, политической нашей историей и внутренней – историей народа, какая у нас существует вследствие установившегося, как он выражается, *технического* взгляда на наши учреждения, т. е. посылает укор прямо по назначению гг. юристам. «Механизм правительственных учреждений вместе с главным управителем машины были, – говорит автор – любимыми темами изысканий в области нашей политической истории; понятия и нравы, характер, домашняя обстановка и даже генеалогия этого управителя подвергались тщательному разбору; машина, которой он правил, описывалась и в вертикальном и в горизонтальном разрезе; изображались и ее действия, особенно неправильные. Административные недостатки и злоупотребления XVI и XVII веков особенно поражали наших исследователей: можно сказать, что едва ли в какой стране так досталось чиновнику от историка, как у нас древнему приказному человеку, воеводе, дьяку и подьячему. Такой технический взгляд на наши древние учреждения сопряжен с важными научными неудобствами». Автор затем показывает эти неудобства. «Каждая внешняя перемена нам тогда будет представляться, – говорит он, – преобразованием России. Но мы заставляем Россию столько раз умирать, переживать столько метапсихозов только потому, что сосредоточиваем свое внимание исключительно на технике ее правительственной машины, надеемся разглядеть общество, смотря на него сквозь сеть правивших им учреждений, а не наоборот»<sup>919</sup>. Другое неудобство то, что ряд отменяемых, заменяемых учреждений старых представляет с точки зрения новых учреждений очень печальную картину. «Но, – опять замечает автор, – как бы живо и наглядно ни представляли мы себе все эти (дурные) качества, мы через них не добьемся от наших старинных учреждений ответа на вопрос, довольно

занимательный в научном отношении: неискусные по своему устройству, дурные по своему действию, откуда взялись они, как состроились и почему так долго держались, даже умели переживать тяжелые кризисы, способные, по-видимому, сокрушать более их искусные правительственные механизмы»<sup>920</sup>. Доискиваясь причины этого, автор осуждает механическую оценку сравнительного достоинства наших старых и новых учреждений.

Во-первых, он не довольствуется обычным объяснением образования Московского государства, что частное право возведено было в государственное, или что удельная вотчина московских князей превращена была во всероссийское государство. «Легко видеть, – говорит автор, – что это формула, метко схваченная на глазом, изображающая ход явлений более диалектически, чем исторически: ее надобно еще раскрыть и доказать сложным анализом многих исторических явлений, чтобы сделать понятным скрытый в ней исторический процесс»<sup>921</sup>. Указав на обычное объяснение, что процесс этот совершался покорением Москве удельных областей и объединением их под одной властью московского государя, автор находит и это недостаточным. «Остается, – говорит он, – не разъясненным вопрос, столь же важный в истории образования нашего государства: как и из каких элементов складывался этот порядок, движущую силу, душу которого составлял в XVII в. бывший удельный вотчинник, потом начавший сознавать себя государем?»<sup>922</sup>.

Во-вторых, автор недоволен и тем объяснением, как совершился переход от московских к петровским порядкам, т. е. что «старая Русь отжила свой век, что русское общество совлекло с себя (тогда) свою ветхую одежду – скинуло не только износившиеся административные формы, но и обветшавший государственный порядок, и новая Россия вышла из преобразовательного горнила Петра если не как античная богиня из морской пены, то, по крайней мере, как расслабленный из возмущенной воды иерусалимской Вифезды. При невозможности окружить рождение нового исторического периода мифом, мы окружаем его чудом».



«Достаточно ли, – заключает автор, – внимательны мы в своем историческом диагнозе, приписывая такую скоропостижную смерть нашим старым государственным учреждениям, и не хороним ли живого, не преувеличиваем ли творческих сил поколения, которое действовало после этой апоплексии московского государственного порядка»<sup>923</sup>.

Все эти недоумения, все эти недочеты для научного изучения наших старинных учреждений происходят, по мнению автора, оттого, что при изучении их мы забываем, что это не механизм только, что не следует ограничиваться лишь изучением частей этой машины и того, как они свинчены, что перед исследователем разложенной, разобранный машины останется еще социальный материал, из которого эти части построены. В доказательство, как важно изучать этот социальный материал, автор предлагает представить, как это и было в Смутные времена, что все члены Думы, управители приказов, воеводы, губные старосты и прочие власти отставлены от должностей. «Многочисленные отставные, – говорит автор, – не все потеряют, не превратятся в ничто: они останутся боярами, дворянами московскими или городовыми, и в этих званиях будут действовать... Создание класса людей, которые ничего не значат, как скоро снимут с них должностной мундир, принадлежит уже позднему времени. В истории политических учреждений строительный материал часто важнее строя»<sup>924</sup>. В этом отношении наша Боярская дума способна привлечь к себе, говорит автор, самое живое внимание исследователя... «Любознательный наблюдатель найдет, – говорит он, – в ее истории много поучительного, даже найдет, может быть, что перемены в составе руководящего класса древнерусского общества, смена господствовавших в нем интересов ни в каком древнерусском учреждении не отразились так наглядно и верно (как в думе)»<sup>925</sup>. Автор даже полагает, что когда мы изучим этот строительный материал государственных наших учреждений, эти основания государственного механизма, скрытые внутренние связи его частей, то, может быть, и процесс образования нашего государственного порядка предстанет перед нами несколько в ином виде, нежели как представляется

теперь<sup>926</sup>. У автора он действительно представляется значительно иначе. У него этот строй развивается с замечательной логичностью, вырастает из народных элементов, и в частности, у него с новой точки зрения раскрывается и история нашего самодержавия, и развитие политического сознания в нашей древней Руси. То и другое составляет большую новость в литературе нашей науки.

Таким образом, автор в своем исследовании поставил задачу написать историю социальных элементов нашего государственного строя или историю руководящего класса древнерусского общества. В нашей литературе мы знаем подобное исследование, вышедшее из-под пера юриста Хлебникова «Общество и государство в домонгольский период» и «О влиянии общества на образование государства в царский период».

Мы знаем, что Хлебников берет для этого теорию родового быта и освещает ее явлениями первобытной жизни народов и явлениями высшей Западноевропейской цивилизации. В результате у него вышла несостоятельность русского общества и необходимость организаторской деятельности правительства, т. е. вышли основные положения С.М. Соловьева. Г. Ключевский, ученик Соловьева, идет совсем другим путем. Он становится в стороне от последователей и родового быта, и общинной теории и берет нужные данные из той и другой теории. Сравнительное изучение этих данных приводит автора к заключению, что эти теории будто бы больше отличаются терминологией, нежели сущностью дела, что они имеют много точек соприкосновения, что в каждой из них чутко угадана какая-нибудь черта древнерусской жизни, каждая имеет свою научную цену, «и тот, кто находит нужным все эти теории или которую-нибудь из них вычеркнуть из русской исторической науки, обнаруживает не столько ученой строгости, сколько научной расточительности, на которую не дает права наличное богатство литературы по отечественной истории»<sup>927</sup>, т. е. автор принимает смешанную теорию древнего нашего быта, начала которой лежат в «Истории» профессоров Бестужева-Рюмина,

Замысловского и Сергеевича. Мы, однако, увидим, что в действительности автор не стоит на этой середине.

Несколько иначе автор относится к сравнительному изучению наших и западноевропейских учреждений. Он очень редко обращается к этому сравнению. Он сознает, что наши учреждения недостаточно изучены, что на это изучение нужно сосредоточить все наше внимание, хотя и принимает некоторые воззрения на наш быт юристов западников, как, например, чичеринскую вотчинность управления, только отодвигает ее назад, в более раннее время.

Воздержность сравнительного метода у нашего автора идет дальше. Он почти совсем отстраняется от археологического изучения наших древних времен. Он отрезает эти древние времена, редко туда заглядывая, и ведет свое исследование собственно с VI, VII веков по Р. Х., т. е. автор желает изучить историю России в пределах более прочных исторических свидетельств<sup>928</sup>. В этих пределах он отдается самому тщательному изучению и смело разворачивает сравнительный метод. Особенности этого метода у него определились уже довольно давно. Еще в 1871 г. автор издал сочинение «Древнерусские жития святых» как исторический источник. В этом сочинении автор обнаружил не только большое трудолюбие, но и замечательную способность усматривать различные наслоения в нашей агиографии, снимать позднейшие слои и обнаруживать под ними действительное историческое содержание. Тот же прием автор употребляет и при изучении исторического развития Боярской думы древней Руси. В этой многотрудной работе у него собственно три отдела.

1. Он сопоставляет летописные, географические и отчасти археологические данные и уясняет этим путем древнейшее состояние русского общества.

2. Путем сличения летописных и актов данных выясняет склад правящего общества в удельные времена.

3. Сличение актов, разрядных списков, генеалогий русских людей дает ему возможность определить состав и исторические видоизменения в Боярской думе времен московских.

Чтобы выяснить существенные черты в историческом развитии правящего класса русского общества, автор прежде всего останавливается, так сказать, на двух крайних моментах этой истории – древнейшем периоде X–XI веков и московском – XVI–XVII веков. На том и другом пункте правящий русский класс представляется ему с преобладающим аристократическим характером – бояре времен московских и бояре – старшие дружинники древних князей. Но в то же время на том и другом конце оказываются существенно различные элементы. Тогда как в древние времена подле старших дружинников древних князей, оказываются городские старшины – градские старцы, старцы людские, в московские времена аристократизм Боярского совета ослабляется вступлением в него низших слоев – думных дворян, думных дьяков, т. е. происходит развитие, усиление служилого класса, а представители городов совсем отсутствуют, и для них становится даже невозможным вступление в Думу. Автор объясняет это различие тем, что в старину представители городов были ближе к дружине и дальше от сел, тогда как в позднейшие времена они отрезаны были от служилого сословия, сближены с жителями сел и поставлены в один разряд неслужилых людей. Таким образом, история служилого сословия есть, по мнению г. Ключевского, история учреждения развивающегося, а история городского представительства есть история учреждения ослабевающего, уничтожаемого. Сообразно с этим в древние времена было большее разъединение между городом и селом, большая власть города над селом, а в позднейшее время происходило объединение их под властью правящего служилого класса. Тут, очевидно, в основе лежит мысль М.П. Погодина и Д.И. Иловайского о господствующем значении города в наши древние времена и мысль С.М. Соловьева о значении села в позднейшие времена. Но у нашего автора обе эти мысли развиты самостоятельно и весьма оригинально.

В рассказе нашей Начальной летописи о древнейших временах автор находит очевидный пропуск. Летопись говорит о расселении племен, их обычаях, даже о княжениях у них, и затем о призвании князей, при которых сейчас же

обнаруживаются города, такие как Новгород, Изборск, Полоцк, Смоленск, Любеч. Только о происхождении Киева до летописца дошли смутные известия. Между тем и по летописи, и еще яснее из договоров с греками Олега обнаруживается, что русские города были очень развитыми пунктами, составляли своего рода средоточия для областей. Присматриваясь к географическому положению этих городских средоточий и сравнивая их распределение с племенными границами, автор открывает, что города почти все не были племенными центрами, а развивались независимо от племенного расселения восточных славян, притягивая к себе чаще всего части нескольких племен. Так, Новгород стягивал ильменских славян, часть кривичей и даже некоторые чудские племена; Смоленск – часть кривичей, северян, вятичей; Любеч – северян, радимичей и, по всей вероятности, часть дреговичей. Эти областные средоточия были настолько сильны в X, XI веках, что вводятся, как части России, в договоры с греками, упоминаются тоже, как центры, в описании России Константина Багрянородного и отчасти служат основанием для Владимира при назначении его сыновей по областям и еще решительнее – при разделении России между сыновьями Ярослава<sup>929</sup>.

Процесс образования этих внеплеменных областных средоточий, очевидно, был долговременный, давний. Он, по автору, предшествовал призванию князей, составляет независимое от них культурное явление нашей древней исторической жизни, на которое призванные князья опирались и, благодаря ему, могли строить дальше нашу государственность.

Для уяснения этого процесса образования у нас городских средоточий по областям, автор берет мысль Беляева о различной степени развития восточнославянских племен, но развивает ее опять самостоятельно. Он обращает внимание на то, что у некоторых племен городские средоточия не достигли надлежащего развития, не были областными средоточиями, как например, у древлян, у которых были отдельные городские миры или даже просто округа, или как у дреговичей, у которых Туров примыкал к Киеву. У некоторых же племен, как у вятичей и радимичей, городов вовсе не видно. Общий вывод автор

делает такой: «Ряд признаков, – говорит он, – указывает на то, что политическое значение больших городов завязалось незадолго до появления князей-объединителей (призванных князей) и что образование городских волостей из прежних племен нельзя отодвигать слишком далеко в древность от половины IX века: 1) летописное сказание помнит перед призванием князей деление восточного славянства на племена, а не на городские волости; 2) города не успели вобрать в свои волости всего славянского населения Руси, хотя и начали уже завоевание окрестных племен, не имевших своих городских средоточий; 3) городские волости довершают свое образование, достигают окончательных очертаний уже при князьях и при их содействии»<sup>930</sup>...

Когда же именно начался этот культурный русский процесс развития городов? Для решения этого вопроса автор обращается к древней русской истории и воссоздает ее по некоторым осколкам нашей старины, сохранившимся в летописи, и по некоторым археологическим данным. Наши предки, по автору, не помнили ни своего прихода из Азии, ни перехода через Дон, Днепр к Дунаю, но помнили свое удаление от Дуная и поселение у Среднего Днепра. По летописи киевлянин помнил себя колонистом у Днестра, пришедшим с Дуная. Автор и здесь находит в летописи пропуск промежуточных событий, случившихся со славянами на пути от Дуная к среднему течению Днестра, и старается воссоздать эти промежуточные события по немногим сохранившимся намекам на них. Славяне наши на пути от Дуная, естественно, должны были, думает автор, идти вверх по Южному Бугу и Днестру к северным отгорьям Карпат. Во время этого движения между ними произвели смуту в VI веке авары. Предание об аварских насилиях славянам наша летопись сохранила и приурочивает их к славянским поселениям, именно у верховьев Южного Буга – дульбам. Затем Иордан, VI века, сам уроженец Нижнедунайского края, знает на Юге славянское поселение только у самого Черного моря, между Днестром и Днепром, а на северо-восток знает их только по Днестру и на север от Вислы. Отсюда, т. е. с верховьев Вислы выводят расселение славян и

позднейшие писатели, такие как Константин Багрянородный и Массуди, и это подкрепляется одинаковыми названиями славянских племен у Карпат и в разных других местах. И наш летописец от славянских поселений этих мест, а именно хорватов и сербов, выводит тоже расселение славян в разные стороны и в том числе, полагает автор, и наших славян. Само имя киевских полян, занимавших в действительности лесистое место у Днепра, вернее всего, думает автор, получено ими от открытых мест у северо-восточных склонов Карпат, где они, вероятнее всего, отделились от тамошних славян хорватов и сербов. Все это заставляет автора думать, что первоначальным местом поселения наших славян на пути от Дуная были именно места у северо-восточных склонов Карпат, и что, может быть, шумное движение, поднятое за Карпатами чешским воителем Само, было новым толчком, двинувшим наших славян далее на восток и север России в их колонизационном движении от Дуная к Днепру.

На этом длинном и долговременном пути у наших славян произошло, думает автор, немало и внутренних перемен. И при аварях, и после разрушения их державы у славян составлялись союзы для походов на Византию и, конечно, для внутренней своей безопасности. Об этих союзах упоминают такие византийские писатели, как Прокопий, но особенно ясно и решительно говорит араб Массуди, по словам которого племя Вальнана (Вальняне?) объединило под властью своего царя многие другие славянские племена, но потом это объединение распалось, и пошли раздоры между племенами. Наш автор видит в рассказе летописи об обидах полянам от древлян предание о расторжении этого именно союза прикарпатских славян.

Еще больше внутренних перемен должно было произойти у славян, полагает автор, от самого колонизационного их движения на Восток, к Днепру и далее. Колонисты неизбежно должны были разбрасываться семьями и в семьях сосредоточивать ограду, защиту себя. Следы этого – так называемые городища. Власть родоначальника при этом должна была затрудниться на практике, родовые начала

должны были падать. Сильнейшим доказательством этого автор признает сохранившиеся древние наши законы о наследстве по завещанию, которые при родовом быте не могли иметь места. При этом автор дает остроумное объяснение, почему в нашей исторической литературе так различно разрешается вопрос о родовом быте у русских славян, именно, потому, что «изучение остатков древнейшего права склоняет исследователей к отрицательному решению (вопроса о родовом быте), тогда как в остатках домашнего культа и в языке можно еще найти достаточно оснований для утвердительного ответа»<sup>931</sup>. Автор полагает, что к тому далекому времени, когда разрушался род, нужно отнести «превращение рода, родового божества в Шура, Деда, и потом более узкое определение этого древнего Деда, прозвищем Домового»<sup>932</sup>. Признак подобного разрушения и в более крупном союзе, образовавшемся на родовом же начале, разрушения в союзе племенном, автор видит в том, что летопись сохранила предание о племенах, но уже забыла о племенных князьях, и происхождение киевского княжения связала с жизнью трех братьев, поставивших у Днепра три двора, из которых потом вырос Полянский город Киев<sup>933</sup>.

Таким образом, то разрушение рода, которое Соловьев приписывает призванным князьям, г. Ключевский отодвигает назад ко временам переселения наших славян от Дуная к Днепру, и в этом отношении сходится с Беляевым, который первоначально утверждал то же, и с Д.И. Иловайским, который ставит это разрушение и образование общины в связь со славянской колонизацией в Финской стране.

Точно так же г. Ключевский отодвигает назад, в древность, и те положительного свойства явления, которые зародились на развалинах родового быта. На место родового быта и в подкрепление жизни по семьям явились союзы сожителства, вызванные земельными и промышленными интересами<sup>934</sup>. Отсюда славянофилы выводят сельскую общину. Наш автор в этом случае расходится со славянофилами, как и с последователями родового быта, и идет своим путем. Он раскрывает нам торговое развитие славян, расселившихся по обеим сторонам Верхнего и Среднего Днепра, и из этого



развития выводит новую группировку населения наших славян. «Прилив массы восточного славянства в область Днепра был, – говорит автор, – не только территориальным передвижением, но и важным экономическим переворотом. Днепр, захватывая чуть не всю западную половину европейской Руси своими далеко идущими в обе стороны ветвями, был для народного хозяйства такой питательной артерией, с которой не могли равняться ни Днестр, ни оба Буга: он вызывал пришлое население к более оживленной хозяйственной деятельности и даже изменил ее направление, указывая ей новые пути и промыслы»<sup>935</sup>.

Это географическое условие нашло, по мнению автора, содействие в историческом условии. Передвигаясь к Днепру, наши славяне шли, полагает автор, от аварского ига к другому – к игу хазар, которые в конце VII в. пришли по следам авар и утвердили свою власть на пространстве между Волгой и Днепром<sup>936</sup>. Автор справедливо утверждает, что иго хазар было легкое, что в Хазарском царстве преобладало торговое развитие. Таким образом, наши славяне еще более были этим вызваны на торговое развитие, и не только на главных речных пунктах, но и вообще по всей заселенной ими стране – в их лесах, богатых всяким зверем и пчелами. Торговое развитие, естественно, выдвигало пункты, куда свозились и обменивались предметы торговли. Этим именно путем, по мнению автора, образовались так называемые погосты, которые самым своим названием – гость, торговец, указывают на их торговое происхождение. Судя по исторической устойчивости погостов, которые сделались местом остановок князей при сборе дани, и обычным местом, где строились церкви, автор заключает, что они древнее призвания князей. В более важных погостах имели место и в хазарские времена сбор дани и судебно-полицейские дела. Поэтому они делались и округами этого последнего рода. Этими административными и судебными округами автор признает сельскую вервь Русской Правды. В круговой поруке по делам уголовным, какая была в верви, автор видит правительственный характер ее; но в том, что сила поруки не была обязательна для всякого члена верви и что, выступая из

этой круговой поруки, он не устранялся от земельного владения в верви, автор видит народное, самобытное начало верви и полагает, что и она также более раннего происхождения, чем призвание князей. «Возникновение верви надобно относить, – говорит автор, – к тому времени, когда не было еще внутреннего централизующего правительства, а родовое общество начало заменяться поземельным соседством, но поземельные отношения имели второстепенное значение перед лесными и другими промыслами и не успели стать главной основой сельского общества»<sup>937</sup>.

Наконец, самые главные погосты, благодаря выгодам места и хазарским сношениям, выросли в города. Что торговым путем стали выдвигаться наши города и во времена именно хазарского владычества, автор основывает это главнейшим образом на археологических данных – на монетных раскопках. «...Кроме литературной летописи, у нас, – говорит автор, – сохранилась еще металлическая, страницы которой долго скрывались под землей и частью скрываются доселе: это известные древние монетные клады. Топография их и хронология найденных в них денег привели исследователей к заключениям, которые идут прямо навстречу воспоминаниям киевского летописца, не опровергая, но дополняя их и поясняя. По главным речным дорогам России, по Днепру, Оке, Волге, Ловати, Волхову и др. идет один и тот же слой восточных монет, и тот же слой оказывается в Лифляндии, Эстляндии, на Неве и по всем побережьям Балтийского моря, в Швеции, Померании и проч.»<sup>938</sup>. Автор указывает далее, что самое большее число этих монет относится к концу IX и началу X в., т. е. падает на то время, в которое по нашим и чужим известиям были самые живые торговые отношения Руси с восточными и южными рынками, но что попадаются и такие клады, в которых монеты относятся: самые поздние – к началу IX в., а самые ранние – к началу VIII в. «Вообще монеты этого последнего века встречались в значительном количестве; но между ними чрезвычайно редки монеты VI в. и притом только последних его лет»<sup>939</sup>.

На основании этих данных автор полагает, что возникновение наших городов нужно видеть в VIII веке во времена хазарской власти, а в конце IX и начале X века они были уже руководителями торговых отношений<sup>940</sup>.

Были ли эти средоточия торговых отношений и политическими руководителями областей во времена хазарские, подобно тому, как торговые погосты превращались в судебно-полицейские округа, автор не может этого сказать «по недостатку данных»<sup>941</sup>. Таким образом, защитник мнения, что города имели первенствующее значение в самые древние времена, вынужден дать такой результат своего исследования, что средоточия более близкие к селам – торговые погосты развивались до судебно-полицейских вервей, а более видные торговые средоточия областей – города не представляют данных для суждения об их политическом значении. Торговля в те времена неизбежно связывалась с военным делом как необходимым средством защиты, так что даже в погостах, а тем более в главных из них, давших начало городам, должна была необходимо развиваться военная дружина, и развиваться гораздо раньше хазарского владычества. Кроме торговых дорог, устланных арабскими монетами, из русских же кладов открываются еще другие дороги, гораздо древнее арабских, – это пути греко-римских монет. Один из этих путей и в наши летописные времена долго сохранял свою силу – это греческий путь по Днепру, Западной Двине. Автор, конечно, знает эти клады, знает и то, что упоминаемый греческими и арабскими писателями древний город Самватион или Самватас, по всей вероятности, есть наш Киев. Но эту седую древность он отрывает от наших городов хазарских времен и на основании нашего летописного предания о поселении Кия, Щека и Хорива в лесистом месте, о какой-то укромности полян в тех же лесах при покорении их хазарами и, наконец, о незначительности будто бы Киева даже при покорении его Олегом полагает, что древний Самватион запустел, место его обезлюдело и заросло лесом<sup>942</sup>.

Связав возникновение наших городов слишком тесно с хазарским владычеством, автор и дальнейшее их развитие

также излишне связывает с последующими внешними событиями – с разрушением хазарского могущества в IX в. от наплыва новых кочевников – печенегов и болгар, для сдержки которых хазары вынуждены были построить около 830 г. на Дону крепость Саркель и против которых, по Никоновской летописи, вели войну Аскольд и Дир<sup>943</sup>. Для доказательства, что наши древние города получили военное устройство в эти именно времена, автор обращается к многочисленным аналогическим явлениям позднейших времен. Он опирается на то общеизвестное явление, что в X, XI веках в наших русских городах было прочное военное устройство, были, например, десятские, сотские, которых Владимир приглашал на свои пиры вместе с дружинниками, и тысяцкие городов, с которыми Владимир Мономах совещался при исправлении «Русской Правды». Сами города, говорит автор, назывались иногда тысячами такими-то, например сновская тысяча (XII век)<sup>944</sup>, подобно тому как в позднейшие времена были малороссийские полки по городам и тоже заключали в себе тысячи в смысле не арифметическом, а в смысле военной группы. Явления эти, полагает автор, нельзя признать недавними для X–XI веков, а необходимо признать очень старыми, упрочившимися до призвания князей. Владимир с великой легкостью устраивает на юге Киевской области города – военные поселения из переселенцев с разных мест. Олег, Аскольд и Дир находят тоже с легкостью большие военные отряды для своих походов. Эти военные силы, по мнению автора, сосредоточивались в городах, которые только и знали деление на сотни, десятки и составляли тысячи, а села подобного деления долго не знали и группировались около погостов. Сотни переходят в пригородные села, а затем и вообще в села уже в позднейшие времена, – во времена удельные и особенно в XVI столетии при развитии земства во времена Иоанна IV. Этим утверждает автор, наше сотенное устройство отличается от германского<sup>945</sup>.

Развитие в городах военной силы автор выводит из потрясения, испытанного Русской землей в половине IX в. «Потрясение это, – говорит он, – началось упадком хазарского владычества и продолжалось на севере страны нападением

варягов из-за моря, на юге – появлением новых неприятелей в степи... Эта двусторонняя невзгода разорвала нити экономических и общественных отношений, успевшие завязаться в продолжении VIII века, и начала сбивать русскую жизнь с протоптанных ею путей. Особенно тяжело было закрытие торговых путей и рынков для главных промышленных городов Руси и, чтобы защитить или прочистить их, они с тянувшими к ним промышленными районами начали сжиматься, собираться с силами, опоясываться стенами и отовсюду стягивать за эти стены боевых людей»<sup>946</sup>.

В составе этих боевых людей автор видит самые разнородные элементы даже по народности. Он указывает, что, по летописи, все шумные походы князей осуществлялись при участии варягов-руси, что их немало жило в Новгороде, так что Ярослав в 1036 г. вел их в поход на Мстислава даже без призыва из-за моря; что при Олеге новгородцы платили отряду варягов 300 гривен для охраны (так понимает автор это свидетельство летописи); что по Русской Правде варяг был обычным обывателем Русской земли<sup>947</sup>. Эти свидетельства автор дополняет свидетельством Титмара Мерзебургского, получившего известия от немцев, бывших в походе на Киев Болеслава Храброго, в 1018 г. – свидетельством, что главную массу в населении Киева, как и всей его области, составляют беглые рабы, стекающиеся сюда со всех сторон, а всего более – проворные даны (варяги), и что все это сборное население отбивалось от печенегов<sup>948</sup>...

Очевидно, что этот процесс развития русских городов, как его изображает автор, не мог не захватывать весьма многих сторон русской жизни. Города, столь усилившиеся военными дружинами, даже инородными, имели возможность производить еще более сильное давление на волости, давали населению их защиту в случае опасности, но в случае столкновения могли показать свою силу. По мнению автора, главные города теперь стали не только торговыми центрами, но и властями для волостей, по выражению летописца, т. е. получили и политическое значение<sup>949</sup>.

Автор указывает еще более глубокое значение этого переворота. Он полагает, что потрясение всюду отзывалось, что рвались прежние общественные связи, что в эти тревожные времена русские племена хватились за остатки старого своего родового строя, и что таков смысл рассказа летописи о смутах в Новгородской земле после изгнания варягов, когда начались усобицы и встал род на род<sup>950</sup>. В этом автор находит объяснение и призвания князей.

В варягах, призванных новгородцами, автор видит главный элемент норманнский<sup>951</sup>; но усматривает в них особенности, отличавшие их от норманнов, делавших завоевания в других странах Европы. У нас норманны, по автору, необходимо должны были еще до призвания князей сближаться с коренным населением и встречать и с его стороны расположение. Для русских, как и для наших норманнов, было важно расчистить торговые пути. Согласия, единодушия требовала сама трудность этих длинных путей. Но от этого единения было еще далеко до государственного единства Руси. Автор дает неясные указания на раздробленность России по городovým волостям и при князьях призванных; предполагает даже, что приходили варяжские правители городов и помимо призвания. Он тут понимает полоцкого Рогволода, но можно разуметь и Аскольда и Дира. Даже Новгород, замечает автор, призывает не одного, а трех князей, которые рассаживаются по разным городам, соответственно трем важнейшим частям новгородской территории. Городовые волости действительно могли преследовать свои особые интересы и мало думать об общем единстве. Это открывало путь к соперничеству и раздорам между областными князьями, на что и указывает автор; но он при этом недостаточно раскрыл, что вместе с тем были и существенные побуждения к объединению городových волостей. Их объединяли водные пути. Новгороду нельзя было допустить, чтобы оторвались от него Ростов или Изборск. Естественно, что из того же Новгорода вышло и стремление соединить с собою и юг России.

Особенную важность для Новгорода и других городов, таких как Смоленск, Любеч, имел торговый путь, давно знакомый и

варягам, – днепровский путь, путь из варяг в греки. Важностью этого пути автор справедливо объясняет то явление, что вскоре после утверждения в Новгороде призванных князей силы нового государства при первом энергичном князе (Олеге) направляются на Юг, в Киев, при несомненной поддержке городов. И силы эти не останавливаются на Киеве. Олег воюет славянские племена, сидящие у устья Днепра, воюет и с греками, но сейчас же заключает договор, выгоды которого распределяются между главными русскими городами – Киевом, Черниговом, Переяславлем и др.<sup>952</sup> Все это были дела обоюдно выгодные и для призванных князей, и для русских городов, поэтому единение тех и других совершенно естественно.

Но как только упрочилась государственная власть призванных князей, особенно когда последовало государственное объединение большей части русских областей, так должно было начаться, по автору, разделение военных сил городов. Часть этих сил отошла к князю, составила его дружину; другая оставалась в составе городского населения и представители ее продолжали руководить местными обществами. «Это и были те нарочитые мужи, старцы градские, старейшины по всем градом, которые, говорит автор, являлись в X веке в торжественных или важных случаях при князе рядом с боярами»<sup>953</sup>.

Между обоими слоями этих советников больше и больше стало обозначаться разъединение. Дружина ближе и ближе примыкает к князю, старшины выходят из Княжеского совета и стараются усилить себя вечами, которые становятся в недружелюбные отношения к князьям. По мнению автора, благодаря этому волости обособляются не только потому, что было много князей, но и потому, что веча стараются восстановить прежнее, самостоятельное свое значение<sup>954</sup>.

Вся эта теория устройства древнего русского общества и процесс его развития разработаны автором с глубоким знанием источников, изложены замечательно стройно, и некоторые ее части, без всякого сомнения, займут в нашей науке прочное положение, как, например, то положение, что еще до призвания князей в нашей русской жизни выработаны были некоторые

положительные культурные начала – союзы городские для торговых и военных целей. Но многие части в этой теории – весьма непрочного свойства. Кроме указанной уже нами малой основательности мнения, что города развились у нас только в VIII в., во времена хазарского владычества, можно указать еще на следующие недостатки. Доказательства автора о разъединении между русским городом и селом и о решительном господстве города над селом не выдерживают критики. Уже та легкость, с какой возникали города при умножении князей и весьма слабая борьба между главными городами и пригородами опровергают эту теорию. Точно так же не может выдержать критики мнение автора, что смерды были в каком-то полусвободном состоянии. Самим же автором хорошо раскрытое устройство древней русской сельской верви доказывает, как самобытно было положение смерда, пока он был в общине. Это также подтверждается существованием изгоев, и особенно рабов. Ни то, ни другое сословие не развивались бы на Руси, если бы положение смерда не было свободным. Свобода эта, наконец, была так сильна, что решала судьбу тогдашних княжеств. Аристократическое направление в юго-западной России погнало смердов на северо-восток России, и они дали последней восторжествовать над первой.

Из этого уже можно видеть, что в теории автора упущено важнейшее преобладающее значение в древней русской жизни земледелия. Автор, очевидно, смотрит на древнерусскую жизнь с точки зрения жителя лесной, водной, т. е. торговой полосы России. Но сам же он потом, как увидим, становится на другую точку зрения и раскрывает решающее значение землевладения. Да и теперь, при изучении древних времен, он должен был признать, что в Древлянской земле почти не было городов, однако древляне брали верх над полянами, и сама Ольга засвидетельствовала, как важно было у них земледелие.

Неверно мнение автора и об антагонизме между вечами и князьями как систематическом направлении. По самой неразвитости органов тогдашней княжеской власти веча им были необходимы. Точно так же и веча очень нужен был в лице князя не только защитник от внешних врагов, но и



беспристрастный судья в борьбе вечевых партий. Лучшие русские князья дотатарской Руси и были чаще всего в дружеских отношениях с вечами, а Владимир Мономах может быть даже назван вечевым князем. Нельзя не пожалеть, что автор не приложил надлежащим образом своих научных приемов и своего обычного усердия к изучению личности Владимира Мономаха и того типа государственного устройства, какой был намечен и отчасти осуществлен этим необычайным государем. Вся жизнь его посвящена была служению целой, единой Руси и во имя высших ее благ. Мы уже очерчивали личность этого необыкновенного нашего князя. Считаем нужным разъяснить еще подробнее его дела, далеко не уясненные в нашей науке. Еще задолго до того времени, когда Владимир Мономах сделался великим князем Киевским, он объединял лучшие русские силы для отражения половцев и для внутреннего порядка. Он выдвинул меру, ограничивавшую властолюбие и неусидчивость князей – держаться родных волостей, какие распределены были между сыновьями Ярослава; но меру эту, как и другие, он думал освятить авторитетом представителей Руси, и требовал князя Олега как бы на суд этих представителей. Только настойчивости киевского веча и сам он уступил, когда ему приходилось занять Киевский стол. Но, что еще важнее, он преследовал интересы не одних видных представителей веча. Его заботы об уменьшении денежной зависимости бедных от богатых, об ограждении полусвободных людей от поступления в рабы, его заботы о защите вообще народа от разорения из-за дурного управления, из-за княжеских смут и нападений половцев, несомненно, направлены были к тому, чтобы остановить народное оскудение Южной Руси, охранить русскую земельную общину и приостановить бегство народа в разные стороны. Это была программа, достойная величайшего народного сочувствия, недаром на Руси так много и долго любили и славили Владимира Мономаха, – программа, которую и осуществляли более умные его потомки и в Южной, и Восточной России. Известно, что после Владимира Мономаха происходило сильное сближение южных князей с вечами. Лучшие южные

князья постоянно опираются на вече в борьбе с другими князьями. Действительный общерусский и даже народный смысл этого союза в делах некоторых из этих князей совершенно ясен. Так, Мстислав Храбрый был признаваем восстановителем правды в русских областях. По его следам шел его сын Мстислав Удалой, который в 1213 г., во время войны новгородцев с Ярославом Всеволодовичем, обнаружил необычайное для того времени самообладание – не позволил опустошать землю побежденного врага. Таким образом, при содействии вечей обуздывались беспокойные князья.

Известно, с другой стороны, что и в Суздальской области более умные князья в первые времена, как Андрей Боголюбский и брат его Всеволод, не только стояли за простой народ, но и были в соединении со своими вечами; но, к сожалению, не стояли на высоте служения России своего деда, а пользовались своими вечами для подавления не только других князей, но и других вечей, отчего и произошло такое чудовищное явление в дотатарской Руси, как разграбление Киева войсками Андрея Боголюбского в 1169 г., от которого Киев уже не мог оправиться.

Таким образом, в XII и начале XIII века обозначались на Руси две политические системы или, точнее сказать, два различных понимания Владимировой системы объединения Руси, на Юге – сдерживание князей и охранение порядка при содействии вече, и на северо-востоке – посредством вечевых сил обуздание и князей и чужих вечей.

Но естественное развитие и взаимное уравнивание этих систем было насильственно остановлено татарским нашествием. Все это, очевидно, составляет весьма важный процесс нашей русской жизни, и если бы автор изучил его надлежащим образом, то ему пришлось бы отказаться и от разъединения городов и сел в древней Руси, и еще более – от непомерного господства городов и непомерного принижения сел. Явления нашей внутренней жизни в так называемые удельные времена автор разъясняет тоже с большой самостоятельностью и оригинальностью. Удельный период он приурочивает к XIII, XIV и даже к XV векам. В эти именно времена он видит главные характерные особенности

удельности, которые выражались, по его мнению, в большей и большей обособленности князей, в понижении у них политического уровня и в падении силы и значения как дружины, так и городов.

Мы видели, что этот упадок, по мнению автора, начался оттого, что разъединялись и обособлялись не только князья, но и главные слои правящего класса – дружина и представители городов. В XIII и XIV веках все это пошло развиваться еще дальше, и автор дает нам самую печальную картину тогдашнего состояния России. Еще у южных князей он видит остатки старых преданий. Они еще помнят свое единство, единство Русской земли и сознают необходимость, даже обязанность общими силами защищать русскую землю, не давать поганым нести ее розно<sup>955</sup>.

Но восточнорусских князей он представляет совершенно забывшими старые предания. Они, сидя по своим удельным гнездам, дичали и «отвыкали от помыслов, шедших дальше заботы о птенцах», т. е. детях<sup>956</sup>. «В удельном князе XIV века, – говорит автор, – меньше земского сознания и гражданского чувства; в этом отношении он более варвар, чем его южный предок... и если он меньше последнего дерется, то лишь потому, что он по воспитанию и вкусам больше мужик, мало привычный ко всякому бою, в сравнении со старым южным князем, еще сохранявшим наследственные привычки витезя»<sup>957</sup>! «Замутилось понятие о единой Русской земле, воспитанное в обществе политическими, экономическими и церковными связями прежнего времени. По крайней мере, с половины XIII века, литературные памятники, особенно летописи, употребляют выражение «русская земля» далеко не так часто и не с такой любовью, как это было в XII веке. Общественные понятия людей сузились и локализовались, как те малые областные миры, на которые внешние и внутренние удары разбивали русскую землю Ярослава Старого и Мономаха»<sup>958</sup>.

Мы знаем, что мысль о понижении Русской цивилизации вместе с движением русского народа на Восток проводится в «Истории» С.М. Соловьева. Знаем мы также, что положение это

приурочивается не только к местности, но и к особенностям великорусского племени К.Д. Кавелиным, который при этом тоже сравнивает Восточную и Западную Русь, отдавая везде предпочтение Западной Руси. Наш автор, видимо, сближаясь с Соловьевым и даже с Кавелиным, в действительности и здесь идет своим путем. Он обращает главное внимание на экономическое состояние России и из него, главным образом, выводит упадок и политического и общественного сознания в ней в XIII и XIV веках. В этом вопросе он опять ближе всего сходится с юристами западнического направления. Вотчинность Чичерина у него развита во всей широте, но и здесь он привнес очень много своего, нового. С замечательным трудолюбием и умением автор пересматривает акты и вообще известия для того времени и, снимая с московского строя жизни позднейшие наслоения, открывает в нем порядок дел общий, по его мнению, всем удельным княжествам.

Раздробившиеся на особые ветви, уединившиеся по областям и потерявшие, по мнению автора, сознание единства и своего, и своих областей, русские удельные князья, особенно Восточной России, более и более занимали положение частных владельцев, вотчинников, дробивших свои владения в завещаниях по своему усмотрению, завещавших части княжений даже лицам женского пола. Все тогда было в движении – дружинники, народ. Одна земля была неподвижна и потому на ней-то князья вотчинники сосредоточивали все свое внимание. Уметь извлекать из нее выгоды, уметь вести хозяйство, т. е. держать при земле рабочие руки было главнейшим их принципом. Холопы, занимавшие и прежде должности, требовавшие большей надежности, как должности ключника, тиуна, сделались теперь особенно ценными людьми. Более видные из них делались более прежнего близкими к князьям в их дворце, а рядовые холопы рассаживаемы были на дворцовую землю и назывались страдниками<sup>959</sup>. Затем князь старался привлечь свободных поселенцев на земли и угодья, особенно нужные для обихода княжеского дворца. Этим путем составлялся разряд поселения, пользовавшегося землей и угодьями князя под условием доставления известных продуктов

во дворец и исполнения определенных работ для дворца же. Это так называемое владение издельное<sup>960</sup>. Далее следовали оброчные поселенцы, занимавшие княжеские земли под условием уплаты оброка<sup>961</sup>. Наконец, в княжестве были земли частных владельцев от старых времен и чрез пожалование от князей, земли церковные и дружинников, которые можно назвать служилыми<sup>962</sup>.

Государственное значение князя вотчинника поддерживалось тем, что и с частных владений шла ему дань, и в них, как и во всех других родах владения, ему принадлежал суд по главнейшим преступлениям; наконец, все должны были давать военную силу для городского сидения в случае нападения, а также и в походах на врагов. Но и эта сторона государственности сильно заслонялась, по мнению автора, экономической, финансовой. Князь и на суд смотрел с финансовой стороны и делился этой статьей, в большей или меньшей степени, с частными владельцами своего княжества. С прекращением связи между князем и населением прекращалась и политическая зависимость этого населения от князя<sup>963</sup>. Автор рисует живую картину неустойчивости дел в княжествах того времени. Прилив и отлив населения были, по его мнению, весьма неожиданны и случайны. Никакое княжество не могло обещать в будущем прочного, сильного развития. Случайность, неожиданность особенно благоприятствовала образованию множества малых княжеств и развитию личной предприимчивости князей Восточной Руси.

Стараясь уловить хотя бы некоторые признаки, где и почему могла находить опору эта предприимчивость, автор указывает, что население Восточной России некоторое время сдерживалось в углу, образуемом Окой и Волгой – в области Владимирской и прилегавших к ней Нижегородской, Московской<sup>964</sup>. Кочевники юга и татары удерживали здесь население. Но уже в XIV веке население прорывается и за Оку и на правый берег Волги ниже Оки, а также сильно подвигается на север России в новгородские владения. Сообразно с этим развиваются в этих местах и княжества удельные, особенно на севере России<sup>965</sup>.

Неустойчивость, нужда заставляют понижаться и погружаться в сферу насущных потребностей и старые правящие классы. Дружинники чаще и чаще находят недостаточным денежное вознаграждение и обращаются к землевладению, поэтому более и более оседают на постоянное жительство в княжествах, где у них земля. При этом автор показывает, как вздорожали тогда русские деньги, и дает новое объяснение одному из весьма запутанных монетных вопросов. Известно, что так называемая гривна и в цельном виде, и в мелких монетах – весьма различной ценности. Обыкновенно полагают, что различие это зависело от местностей. В торговых областях гривна была больше, в неторговых – меньше. Автор утверждает, что различие зависело не от местностей, а от времени. Старые гривны – больше, позднейшие – меньше<sup>966</sup>.

Обеднение страны еще чувствительнее отражалось на городах. Они еще быстрее теряли свое прежнее влиятельное значение и сближались по своему положению с селами. «Вместе со вздорожанием денег, – говорит автор, – падала политическая цена посадского человека сравнительно с горожанином Киевской Руси. Последний в X веке стоит высоко над сельским смердом и приближается к мужам княжьим, к большим людям общества. В XIV веке «посажанин» сливается в один класс с поселянином под общим названием «черный человек»<sup>967</sup>... «После, когда Московское государство устроилось, уездные и посадские люди, т. е. сельские и городские обыватели, в иных местах соединялись в одном и том же областном учреждении, в *земской избе*, сливались в один уездный тяглый мир»<sup>968</sup>. «Язык московских канцелярий довольно выразительно отметил тяговое и экономическое различие и одинаковое политическое положение обоих этих элементов, назвав одних *черносошными* людьми, других – людьми *черных сотен и слобод*»<sup>969</sup>.

Это общее обозрение состояния России в XIII и XIV веках составляет у нашего автора как бы введение к изучению правительственного строя в удельный период и качества тех общественных элементов, из которых он слагался. Тут положены основания для дальнейших изысканий. Нет спора, что

в главном основания эти верны. Понижение русского благосостояния в эти времена, понижение политического уровня известны всякому, кто внимательно изучал русскую историю, и мы знаем, как в этом пункте сходятся наши историки как Соловьев, Кавелин и др., хотя весьма различно понимают это понижение и его причины. В большинстве эта разница происходит от того, что упускается из виду громадный переворот, происшедший у нас около половины XIII века, именно: татарский разгром и татарское иго, как мы уже замечали. К великому нашему изумлению, и наш автор, хотя не раз упоминает об этом перевороте, но так же, как Соловьев, не дает ему надлежащего значения, которое было слишком велико и главнейшим образом определяло то печальное состояние России, которое так живо изобразил наш автор. Два противоположных течения встретились с ужасающей силой на равнинах России около половины XIII века и покрыли нашу родину трупами и развалинами. Татары пришли не только с большими, подавляющими силами, но и с особой, занятой ими у китайцев, системой расправляться с завоевываемыми странами – с системой истреблять население настолько, чтобы оно не могло потом выставить ничего, кроме безусловного повиновения. С другой стороны, наши предки везде дорого продавали свою политическую свободу и нередко приводили в изумление самих татар. Богатырь Коловрат со своими сотоварищами, мстя татарам за разорение Рязани, произвел такую смуту в татарском войске, врезываясь в него сзади, что заставил громадные татарские силы оборачиваться назад. Неважный город Козельск даже не мог быть взят татарами и получил название злого города. Знаменитый киевский воевода Даниила Галицкого – Дмитрий вызвал в Батые такое уважение доблестной защитой Киева, что жизнь Дмитрия была пощажена, и Батый ласкал его своей милостью. При такой упорной борьбе жертвы ее были неисчислимы. Перебито было почти все лучшее, доблестное население в России, разрушены были почти все центры русской жизни с их многовековым трудом. Дружины, представители вечей сметены были с лица русской жизни в большей части ее областей. Остались недобитые, разорванные

по клочкам группы прежнего русского общества и народа, и все они направлены были теперь неодолимой силой на заботу о первейших потребностях человека – спасти жизнь и найти хлеб. Но и эта забота затруднена была новой нуждой – добыть средства еще на уплату немилосердной татарской дани.

Вот где главнейшая причина обеднения России того времени и понижения в ней политического уровня. Отсюда понятно, что та княжеская область, в которой обедневшие и приниженные русские люди находили больше средств к сколько-нибудь сносной жизни, должно было сильно потянуть к себе население и выдвинуться из ряда других княжеств. Таким и было Московское княжество, создавшееся на дружбе с татарами и на большем сравнительно с другими княжествами спокойствии и благосостоянии его населения.

Но такое положение выработалось не вдруг. Долго русские люди жили еще старыми преданиями и пытались удержаться на значительной высоте политического уровня. На юго-западе России в стране Галицко-Волынской и на северо-западе в Новгородско-Псковской стране образовались опорные пункты для государственного русского строения после татарского разгрома, и всем известно, какое богатство русских сил сказалось в первых строителях на этих опорных пунктах – Данииле Галицком и Александре Невском. Известно тоже, что это строение не было лишь их личными замыслами. Попытка Даниила свергнуть татарское иго находила поддержку в населении и прославлена в летописи. Так же хотел народ Восточной России понимать и дела Александра Невского. Можно даже сказать, что народ больше князей рвался к своей старой свободе и что в этом отношении в Северо-Восточной России сказалось даже больше энергии, чем в южной. Известно, что почти вся северная Россия поднималась против домогательств татар ввести личную подать и этим изменить старинный славянский обычай платить дань с земли и торгова, а не с лица. И тут опять разгадка усиления Москвы, которая, не восставая прямо против этой системы, тем не менее, отстранила ее. Юг России в этом отношении был в худшем положении. Татары у Днепра, – как в Курской области не только



ввели личную подать, но и сами управляли областью, а на юго-западе Волыни – так называемую область загадочных болоховских князей обратили в издельную – «да оруть им просо и пшеницу». Известно, наконец, что мысль о воссоздании старого политического строя в России и свержении татарского ига жила долго в Тверском княжестве и что та же причина была и одной из главных причин быстрого роста Литовского княжества и его вмешательств в дела Восточной Руси. Гедимин и Ольгерд строили свое могущество на силе старых русских преданий – дружинных, вечевых и на непримиримости русских с татарским игом. Известно, что власть литовская не только прочно утвердилась в Западной Руси, но что Ольгерд сильно притягивал к себе и Псков, и Новгород, и Тверь и даже Нижний Новгород.

Таким образом, мы видим, что наш автор, с одной стороны, упустил из виду главнейшую причину обеднения России в материальном смысле; с другой – усилил ее политическое понижение больше, чем оно было на самом деле. Эти недостатки автора при оценке им общего положения дел в очерченный им удельный период не оказывало, впрочем, особенно сильного влияния на его специальное изучение правительственного строя того времени. Более отразился второй из этих недостатков – понижение политического уровня, что как бы сознает и сам автор<sup>970</sup>.

Исследование г. Ключевского «Управления в удельный период» составляет весьма ценную работу. Это весьма усидчивое, кропотливое изучение актов, и в том числе многих из них – неизданных. При издании своего труда особой книгой автор подверг эту главу новому пересмотру, немало мест исключил или перенес в примечания, в приложения и, с другой стороны, дополнил свои изыскания новыми фактами. Исключению подверглись по преимуществу те места, в которых автор показывал, как он доходил до своих выводов или делал оценку чужих мнений. Более выдающимся изменением представляется то, что автор перенес в сокращенном виде в Приложение (IV) свое исследование о путных боярах. В нашем обзоре этой главы мы будем сводить оба изменения

сочинения автора. Мы знаем, что в удельном княжестве автор разделяет землевладение на три разряда: дворцовое, черные земли или волости и земли частных владельцев или служилые. Сообразно с этим и управление в уделах было, по автору, трех родов: дворцовое, черных волостей и служилых людей.

Центром в уделе был княжеский дворец. Для ведения дел во дворце был дворецкий. Кроме него были придворные слуги по специальным занятиям, подчиненные или нет дворецкому, такие как конюший, чашник, стольник, сокольничий и др. На содержание всех этих статей были особые угодья, разбросанные кругом дворца и по всему княжеству. Некоторые из них, кроме управления или даже независимо от него, давались в кормление придворным слугам. Эти угодья в старину назывались *путем*, и придворные лица, владевшие ими, назывались *путными*, как бояре *путные*, или чашник с *путем*, стольник с *путем* и проч.<sup>971</sup> Эти *путные* бояре или придворные чины с *путем* составляют одно из весьма запутанных и неясных по своему значению явлений в нашей старой русской администрации. В позднейшие московские времена *путными* назывались бояре и чины, сопровождавшие государя в путешествиях. Наш автор говорит, что это только новейшее видоизменение старого явления, и в московской терминологии – чашничий, сокольничий *путь* – открывает остатки другого, а именно вышеуказанного значения *пути*. Так, у того же Котошихина, который, как по ходу речи видно, полагал, что *ключники* и *стряпчие* *путные* так назывались потому, что ходили с государем в походах, рассказывается также, что они бывают по селам, по переменам, т. е. на кормлениях<sup>972</sup>. «С XV в., – говорит автор, – и до времен Котошихина в актах встречаем несколько указаний на то, что *путями* в эти века назывались дворцовые волости, села и даже города, которые давались в кормление в виде жалования или пенсии лицам, занимавшим должности по дворцовому ведомству<sup>973</sup>. Но это кормление, – указывает автор, – было отлично от обычного кратковременного кормления в черных волостях. Оно было более продолжительным и прочным видом административного пользования, было скорее владением, а не кормлением или

управлением, почему тогда давалось в прибавку к обычному кормлению»<sup>974</sup>. С земель, отданных во владение придворным слугам, поступали, однако, некоторые доходы в казну (судебные пошлины, дани). Кроме того, нерозданные земли дворцовые требовали управления. Наконец, в пользу дворца шли доходы с черных волостей и даже в частных имениях бывали княжьи статьи, как, например, бортный лес, бортное деревье<sup>975</sup>. Вообще дворцовые земли, слободы, села и другие, несшие какие-либо повинности для дворца, были распределены по отраслям дворцового хозяйства и назывались землями, слободами ловчего, сокольничьего, конюшего пути. «Администрация каждого пути, – говорит автор, – слагалась из двух главных отправлений: она заведовала эксплуатацией известного хозяйственного угодья на дворцовых землях князя и взиманием известных налогов и повинностей, падавших на недворцовые земли, если они не были освобождены от того особыми льготными грамотами»<sup>976</sup>.

Управление владениями дворцовыми и отчасти черными и частными сосредоточивалось у сказанных придворных чинов, и когда разрасталось, то нужно было вести письмоводство и иметь для этого людей. Явились дьяки для ведения дел, лари для хранения их<sup>977</sup>. Это и было началом так называемых приказов, разросшихся до размеров министерств новейшего времени. «Администрация Московского государства, как известно, была, – говорит автор, – развитием удельной, и некоторые учреждения первой остаются для нас непонятными только потому, что мы не видим корней их в последней. Пути удельного времени преобразились потом в московские приказы, и в истории этих приказов можно найти некоторые указания на сравнительное значение и административные отношения старых путей. Так, в начале еще XVII века существовали особые приказы Сокольничий и Ловчий»<sup>978</sup>. Дела этих приказов иногда были в подчинении приказа Большого дворца, куда подавался счет ловчего пути, и под ловчим путем разумелись ведомства и соколиного и ловчего приказа, а потом при Алексее Михайловиче сокольничий приказ подчинен приказу Тайных дел, а ловчий (т. е. со звериной охотой) – Конюшенному приказу<sup>979</sup>. В

XVI столетии ведомства чашника и стольника «еще носили старые удельные названия – чашнича и стольнича пути; область каждого из них делилась на части, называвшиеся по именам городов или уездов, в которых находились земли и поселения, принадлежавшие тому или другому пути; так был стольничь путь костромской, переяславский»<sup>980</sup>. Все эти отдельные ведомства в удельные времена связывались, по словам автора, друг с другом общими хозяйственными задачами, надзором одного верховного хозяина – князя, но не административным подчинением главному управителю дворца, дворецкому, который и не был первым лицом, а был вторым, т. е. после конюшего, занимавшего по чину и чести первое место.

По образцу княжеского дворца устроилось управление частных имений – церковных, вотчинных, в которых тоже на плане был хозяйственный принцип и под него подводились дела, ставшие впоследствии государственными. И в церковных, и в вотчинных имениях владельцы ведали не только хозяйственные дела, но по пожалованию князя – и административные, и в известной степени судебные. Они тоже имели не только своих ключников для дел хозяйственных, но и приказчиков для ведения и таких дел, которые составляли круг власти административной и судебной. Но так как за вычетом владений дворцовых и частных были еще земли княжеские черные – города, села и деревни, то и в них устроилось управление. В такие владения посылались наместники в города, и волостели в волости. Они сами набирали из своего двора низшие органы, такие как тиуны, доводчики, и пользовались данями и судебными доходами по наказу. Таким образом, даже в эту область управления – наместнического и волостельского, которая больше всего могла представляться государственной, входил элемент частный, финансовый, и это тем резче бросалось в глаза и тем ощутительнее объединяло наместников и волостелей с частными лицами, что они или вовсе не имели права простирать свою власть на привилегированные частные имения, не говоря уже о дворцовых, или имели эту власть в немногих, редких случаях. Нужно еще при этом припомнить, что и дворцовое управление,

и наместничье, и частных владельцев держалось главным образом рабами, которым, как тиунам, поручались даже судные дела<sup>981</sup>.

Во всех этих видах землевладения и управления ими автор видит основное начало – начало частного владения сверху донизу. «Изучение характера удельного княжеского владения привело нас, – заключает автор это свое исследование, – что оно сложилось по юридическому типу частной земельной вотчины. Рассматривая политическое устройство княжества удельного времени, находим в этом устройстве такое же сходство с хозяйственным управлением той же боярской вотчины. Дворцовое ведомство удельного княжества соответствовало дворцу боярской вотчины с его боярской запашкой и дворовыми рабочими «делюями», а областное управление – боярским землям, сдаваемым в аренду обыкновенно крестьянам, с заведовавшими этим населением приказчиками; наконец, земли частных привилегированных землевладельцев некоторыми чертами своего положения в княжестве напоминали те участки в составе крупной древнерусской вотчины, которые отдавались во владение дворянам, приказчикам или тиунам и тому подобным дворовым слугам вотчинника за их службу»<sup>982</sup>.

Не достает в этом сравнении черных волостей, где народ сидел на своих землях. Эти волости разрушили бы все сравнение. Но, кроме того, здесь не достает еще одной живой струи старой русской жизни, которая еще более разрушает это сравнение, и упущение ее из виду нашим автором тем страннее, что она ему известна, и он в нее вдумывался. Выше, в одном месте он разбирает, что такое загадочный термин – боярский суд, право на который давалось не всем наместникам, а лишь некоторым. На основании довольно ясного толкования Судебником 1550 г. этого термина г. Ключевский делает вывод, что это был суд о холопстве, т. е. о переходе в холопство свободных людей и обратно<sup>983</sup>. Если это так, то в Боярском суде скрывается не только чисто государственная вещь, весьма далекая от интересов частного хозяйства, но скрывается и такое государственное разумение дел, которым наша старая Русь по

всей справедливости могла бы гордиться перед другими народами. По указанному сейчас смыслу Боярского суда, государство русское держало в своих руках вопрос о холопстве, и держало его с особенной тщательностью. Оно вдвойне ограничивало право им пользоваться даже в своей среде – не всем наместникам давало это право, а только некоторым, и даже этим последним не давало право по самому трудному вопросу холопства – распоряжаться судьбой лица, отыскиваемого как раба. Нужно представить себе, сколько свободных людей заключало условий с землевладельцем, сколько-нибудь значительным, сколько могло быть случаев недоразумений, нарушений условий, бегства крестьян и с ними холопов, чтобы сейчас видеть, что Боярский суд, как он определен Судебником, был великой сдержкой для всех охотников увеличивать число своих рабов правым и неправым способом. Это в Северо-Восточной Руси было то же, что в Южной Руси составляли охранительные для наймитов и закупней прибавочные постановления Русской Правды времен Владимира Мономаха.

Сближая обе эти охраны русского простого человека от порабощения с указанием обоих судебников, что суд всем должен быть общий и равный, мы должны признать, что таким образом через всю нашу древнюю историю проходит правительственная забота о защите свободных людей от незаконного порабощения их, а это существеннейшим образом должно изменить и вообще западнические взгляды на эту нашу старую Русь, и, в частности, взгляд нашего автора, что в этой Руси все будто бы было построено по началам частного хозяйства.

Довольно ясно можно видеть причину, почему наш автор не выяснил вышеуказанной драгоценной особенности нашей старой Руси. Он отдался самой трудной работе – выяснить обыденный строй социальной жизни древней Руси. При таком направлении занятий, естественно, ускользали из виду исключительные явления, которые, однако, нередко составляли отражение существенного склада этой жизни и должны стоять впереди всего. Мы не раз еще увидим эту самую причину и

других странных взглядов автора. Так, прежде всего, при изучении нарисованной г. Ключевским картины всеобъемлющей вотчинности в нашей старой Руси возникает вопрос: а куда же девались прежние дружинники – старшие и младшие, которые в старые времена наполняли двор княжеский, служили князю по доброй воле, и первые из них были непременно членами его Совета, знали всякую его думу? Автор показывает нам их как частных владельцев, как наместников. Они же мало-помалу вторгались в княжеский дворец и, вытесняя невольных людей, занимали их места. Особенно открывает их наш автор в другом, тоже весьма загадочном, как и путные бояре, сословии бояр, так называемых введенных.

Наш автор не разделяет мнения Соловьева<sup>984</sup>, что введенными боярами были такие большие бояре, которые держали не дворцовые имения, как путные бояре, а держали города и волости княжества в кормлении и были выше бояр и чинов путных. Автор справедливо обращает при этом внимание на ту странность, что в таком случае областные бояре были старше бояр, находившихся при князе. Затем он собирает из актов указания, намеки, по которым видно, что введенные бояре были совсем иное. Так, бояре введенные и путные не садились в городовую осаду, подобно другим, в тех городах их уезда, которые подвергались неприятельскому нашествию. Очевидно, те и другие, введенные и путные бояре были ближе к князю, чем к своим уездам<sup>985</sup>. Далее, он указывает, что введенные бояре обыкновенно пользовались и путными пожалованиями, но не все путники назывались введенными. Очевидно, введенные бояре – высший разряд путников, т. е. высший класс бояр, бывших при князе. Это еще яснее открывается из того, что им поручались особенно важные дела. Касательно особенно важных исков в жалованных грамотах говорится: сужу его аз, великий князь или мой боярин введенный<sup>986</sup>.

В делах этих классов бояр введенных и путных автор и видит зарождение организованной правительственной администрации и Княжеской думы. Из этих лиц, а нередко – из низших составлялась Княжеская дума удельного времени. Состав этого Княжеского совета, впрочем, трудно и назвать

Думой, по мнению автора. Автор перебирает многочисленные акты по завещаниям, пожалованиям, даже по договорам с иноземцами, например смоленские договоры с Ригой, договоры галицко-волынских князей с немцами, из которых видно, что в Княжеской думе тогда участвовали весьма немногие лица, и притом не одни и те же. Встречаются семь, шесть лиц, но чаще всего два, три, четыре. По чинам это бывали тысяцкие, наместники, окольные, и рядом с ними – сокольничие, чашники, тиуны, княжий печатник и даже писец<sup>987</sup>.

От XIV века мы имеем как бы регламент, хотя бы чисто внешний, Княжеской думы. Это местнический распорядок в заседании членов Думы нижегородского князя Дмитрия Константиновича, данный по просьбе самих этих членов. Тут перечислено восемь лиц<sup>988</sup>. Это единственный для того старого времени документ, похожий на Думский регламент. Но из него не видно, чтобы всегда в таком составе заседала Дума нижегородского князя; притом и сам документ сохранился в поздней копии (в бумагах известного Волынского). В том же веке еще больше было бояр у серпуховского князя, известного героя в Куликовской битве и по отражению полчищ Тохтамыша. У него было 10 бояр, введенных и путных. Но также неизвестно, чтобы они все постоянно заседали. Большинство случаев, по автору, показывают, что князь решал дела с весьма немногими лицами и не одними и теми же, а или сообразно делам, какие предстояло решать, или по своему княжескому усмотрению, кому князь прикажет, как говорилось в московские времена. «Объясняя, – говорит автор, – почему состав Боярской думы удельных веков был так изменчив, надобно коснуться политического значения тех актов удельного времени, которые исходили от князя с его Боярским советом. Акты эти в большинстве частного характера: это все жалованные, докладные и т. п. грамоты. Но в таких именно актах и выражалось княжеское законодательство того времени. Оно не знало основных законоположений, общих регламентов; точнее говоря, при установлении правительственного и общественного порядка оно шло не от таких законоположений и регламентов, определяя ими частные случаи, а наоборот (мнение Погодина).



Каждый частный случай, разрешенный в известном смысле, по указанию опыта или потребности данной минуты, становился прецедентом... служил примером, образцом на долгое время. Так мозаически складывается общий порядок... Читая все эти жалованные, докладные и т. п. грамоты, в значительном количестве уцелевшие от удельного времени, мы присутствуем при строении удела, следовательно, при закладке оснований правительственного и общественного порядка в Московском государстве, строй которого был последовательным развитием удельного»<sup>989</sup>.

Автор затем и старается выяснить, как Княжеская дума из этого первоначального, еще неутвержденного состояния, «из случайного и изменчивого по составу и кругу дел Совета превращается в учреждение с твердыми формами и определенным ведомством»<sup>990</sup>.

Автор делает остроумные попытки выяснить, что случайное, по-видимому, присутствие боярина или вообще слуги при решении дела, было далеко не случайным. Так, например, случайное, по-видимому, присутствие чашника при пожаловании (собственном утверждении пожалования) рязанского князя Ивана Феодоровича служилым людям Бозовлевым объясняется тем, что к селу пожалованному принадлежала земля бортная, а такими землями ведал чашник<sup>991</sup>. Это-то более или менее постоянное распределение дел по родам, заведывание ими особыми лицами и было зарождением организации Думы, потому что в особенно важных случаях, или когда дело касалось нескольких других дел, требовалось присутствие нескольких придворных чинов<sup>992</sup>. Но кроме постоянных должностных лиц иногда требовалось участие бояр, не занимавших постоянных должностей и исполнявших временные поручения, как наместники городов, если возникали дела, им известные<sup>993</sup>. Нам уже известно, что действительно некоторые областные дела были в руках князя и решались им при участии боярина введенного. К числу таких принадлежали дела по размежеваниям или о так называемом разъезде<sup>994</sup>. Наконец, автор указывает на некоторые случаи чисто политического значения Боярской думы, когда, например, Борис

Нижегородский в 1390 г. просил своих бояр быть ему верными в борьбе его с московским князем Василием Дмитриевичем, или когда Шемяка советовался со своими боярами об освобождении захваченной им в плен матери Василия Темного, Софии<sup>995</sup>.

Но действительное развитие Думы в постоянное учреждение, по мнению автора, созрело только в Московском княжестве, а в других было захвачено московским объединением<sup>996</sup>. На следующие особенности Московского княжества автор обращает внимание. В нем быстро накапливались дела, выходившие за пределы дворцового, хозяйственного управления<sup>997</sup>. Увеличение в Московском княжестве земельных владений и служилых людей усиливало заботы об управлении и распределении земель, и служилых. Возникал и приобретал большое значение тот круг дел, который дал начало так называемому Поместному приказу. Вместе с тем в Москве по мере ее возвышения усложнялись дела военные и заставляли сосредоточивать их в так называемом Разрядном приказе. Наконец, умножались и усложнялись политические сношения, требовавшие столь же напряженного внимания. Они сосредоточились в так называемом Посольском приказе<sup>998</sup>. Автор в этих именно приказах открывает следы того, что Боярская дума получала значение постоянного учреждения. В приказах этих, за немногими исключениями, до позднейшего времени управляли не бояре, как в других приказах, а дьяки, получившие звание думных дьяков. Автор объясняет эту особенность тем, что приказы эти составляли собственно канцелярии Боярской думы, и дьяки этих приказов были как бы докладчиками, государственными секретарями Думы, т. е. что дела этих приказов направляла Дума и, следовательно, должна была принимать в них постоянное участие<sup>999</sup>. Есть и прямые свидетельства о том, что в Москве, еще в XIV и начале XV века Боярская дума имела большое и явно политическое значение. Симеон Гордый завещает брату своему Иоанну слушаться митрополита Алексия и старых бояр. Димитрий Донской, по свидетельству его жизнеописателя, приказывал детям своим любить бояр и без воли их ничего не делать. Известно, наконец, что сын Донского Василий Дмитриевич заслужил укор даже от

крымского хана Эдигея за то, что не слушался совета старых бояр, а следовал советам молодых слуг<sup>1000</sup>.

Важнейшей опорой для Московской боярской думы было то, что служба в Московском княжестве была выгодна, как справедливо указывает автор, и, кроме того, вообще открывала служилым людям более широкое поприще деятельности, поэтому они здесь более оседали и приобретали прочнее, влиятельное положение<sup>1001</sup>.

Говоря об этом, автор совершенно неожиданно сам открывает недочет в своем исследовании, а именно говорит, что подобное прочное положение бояре занимали в XV веке и в Тверском, и в Рязанском княжестве, но не изучает особо положения дел ни того, ни другого княжества. Пропуск этот тем резче бросается в глаза, что исследование Д.И. Иловайского о Рязанском княжестве и особенно исследование г. Борзаковского о Тверском княжестве могли доставить автору немалую сумму данных для истории Боярской думы и в этих областях, и история эта была бы еще полнее, если бы автор собрал данные из истории московских смут при Василии Темном. Тогда бы ему пришлось и здесь изменить свой взгляд на понижение политического уровня в наш удельный период.

Автор обратился только к изучению, так сказать, крайностей другого порядка. Минуя промежуточные ступени в дальнейшем развитии Думы, т. е. Думы в больших удельных княжествах, он обращается к изучению верхнего, правящего класса в Новгороде и Пскове<sup>1002</sup>. Он рассказывает нам историю правящего класса в этих общинах и дает несколько остроумных соображений для объяснения, почему в них правящий класс городской сохранился в большой силе и не поник перед княжескими дружинами, как в других княжествах. По его мнению, это происходило, между прочим, оттого, что дружинникам, оседавшим в других княжествах через приобретение земельных владений, неудобно было утверждаться в Новгородской области, где не землевладение давало главную силу, а торговля<sup>1003</sup>. Но, конечно, еще больше влияло на это высокое сознание новгородцами своей независимости, по которой они в XIII веке договаривались с

князьями, чтобы те управляли новгородскими областями не через своих дружинников, а через новгородских мужей. Начало высшего новгородского и псковского класса автор связывает с древними городскими старцами; но действительное развитие его он выводит из княжеских времен. Звание боярина, имевшее место и в Новгороде, получило начало, по автору, от тех новгородцев, которых князья назначали посадниками, тысяцкими и которые после Мономаха сделались выборными. Автор вообще не допускает земского происхождения бояр и в этом отношении расходится с Беляевым<sup>1004</sup>.

Этим-то путем выработалось новгородское боярство, которое состояло из богатых торговых людей, занимавшихся не столько непосредственно торговлей, сколько оборотом капитала, раздаваемого меньшим торговцам<sup>1005</sup>. Самым важным сановником в Новгороде был посадник. Смена его не значила, что он лишается всякого значения. Он лишь переставал быть степенным посадником, оставался в звании старого посадника, участвовал в Совете и бывал в нем при особенно важных делах выборным кончанским, от того конца города, в котором жил. Затем следовал сановник тысяцкий, глава низших людей в Новгороде, и тоже сохранял важное значение и после своей смены. В Пскове тысяцкого не было, а бывало обыкновенно два посадника. Кроме этих лиц, важное значение имели в Новгороде сотские от сотен города и старосты от купеческих корпораций (сотские и старосты – часто одно и то же). При них, в среде высших чинов, был еще биричь – управлявший полицейской, исполнительной частью на вече и в Совете. Существовал еще вечевой или вещный дьяк, но неизвестно, бывал ли он в Боярском совете.

В важнейших случаях все эти чины действовали вместе с князем и вечем. Но часто они действовали сами, в своем Боярском совете; наконец, нередко вели дела лишь посадник и два, три боярина, так же, как и в удельных княжествах. Местом собрания этого Совета в Новгороде были княжеский двор, а чаще всего владычный дом, в Пскове – княжеский двор.

Политическое и общественное положение правящего класса в Новгороде и Пскове автор определяет следующим образом.

«Политически, – говорит он, – этот правительственный Боярский совет вполне зависел от народной массы, собиравшейся на вече. Но покорное, по-видимому, орудие вечевой площади, боярство вольных городов правило местным рынком, посредством своих капиталов руководило трудом той самой массы, перед которой отвечало по делам управления на вече»<sup>1006</sup>.

Весь этот трактат у автора и очень краток, и по достоинству обработки ниже других и много уступает исследованию о том же предмете г. Никитского. Очевидно, это очень спешная работа автора.

Поспешность, вероятно, зависела и от самого взгляда нашего автора на Думу. Советы Новгородский и Псковский у него как бы сами собою выпадают из его системы, по которой он изучает только княжескую или царскую Думу. Но не так было на деле. Порядки жизни в вольных городах не были оторванными от жизни других областей и не пропали даром для позднейших явлений общерусского исторического развития. И земские преобразования при Иоанне IV, и многие явления Смутного времени имеют теснейшую связь с историей Новгорода и Пскова. Старая вечевая Русь не раз оживала и сказывалась в делах московских. Но автор сам загородил себе дорогу к разъяснению этой связи между вечевой и думской Русью.

Гораздо больше основательности представляет исследование автора московского правительственного строя, больше даже, чем его исследование княжеств удельного периода. Это зависело и от гораздо большего количества исторического материала, каким мог располагать автор, и от самой его задачи. Все прежние исследования его составляли собственно введение к его главному исследованию о Боярской думе, которая вполне сложившимся учреждением является только во времена Московского единодержавия. В этом главном исследовании автор показывает не только то, как складывалась Дума в постоянное, прочное учреждение, но и то, как и насколько в ней зарождалось политическое сознание, причем дает остроумное объяснение исторического развития идеи самодержавия.

Два периода автор видит в историческом развитии московского правящего класса: первый – с XIV века до времен Иоанна IV и Смутного времени, когда этот правящий класс сложился в сильную корпорацию путем обычая, практики; и второй – когда возникла мысль о политическом договоре, но когда сам правящий класс был расшатан бурями времен Иоанна IV и Смутного времени и когда затем выступило значение не корпорации, а личной службы, личной заслуги.

Мы видели у нашего автора, что более прочное положение правящий класс занял в Московском княжестве и что еще в XIV столетии этому классу иногда как бы вверялась судьба Московского княжества умиравшими князьями. Но тогда же, с XIV века этот класс старых московских бояр стал подвергаться великому крушению. По мере того, как возвышалось Московское княжество, к нему стремились на службу и русские дружинники других князей и областей и даже иноземцы, и вступали в ряды старых московских бояр. Известно, что особенно часто переходили на службу в Москву русские из Западной России и даже литовские князья – Гедиминовичи. При Иоанне III этот наплыв еще более усилился и, наконец, завершился при нем и его сыне Василии Иоанновиче уничтожением уделов. Тогда уже невольно передвигались на службу в Москву и удельные князья и их дружинники, вместе с ними или независимо от них. Вся эта пришлая масса тоже вступала в ряды прежних служилых и занимала места<sup>1007</sup>.

Г-н Ключевский старается выяснить, как именно все эти новые лица занимали места. Он указывает, что, судя по делам местническим, время Иоанна III было главнейшим временем, когда происходил этот распорядок, на который служилые потом ссылались, а именно на то, кто какую службу занимал тогда<sup>1008</sup>. Но распорядок этот и при Иоанне III устроился не столько по его личной воле, сколько по особому принципу – по так называемому местничеству. На основании местнических тяжб автор открывает нам законы местничества.

Автор указывает следующие слои в иерархии московских служилых людей: «Первый разряд, – говорит он, – который тонким слоем лег на поверхности московского боярства,

составили высшие служилые князья, предки которых приехали в Москву из Литвы или с русских великокняжеских удельных столов. Таковы были потомки литовского князя Юрия Патрикевича, также князья Мстиславские, Вельские, Пенковы, Ростовские, Шуйские и др.; из простого московского боярства одни Кошкины с некоторым успехом держались среди этой высшей знати. Затем следуют князья, предки которых до подчинения Москве владели значительными уделами в бывших княжествах Тверском, Ярославском и других, князья Микулинские, Воротынские, Курбские, старшие Оболенские; к ним присоединилось и все первостепенное нетитулованное боярство Москвы – Воронцовы, Челяднины и др. В состав третьего разряда вместе со второстепенным московским боярством, с Колычевыми, Сабуровыми, Салтыковыми вошли потомки мелких князей удельных или оставшихся без уделов еще прежде, чем их бывшие вотчины были присоединены к Москве: князья Ушатые, Палецкие, Сицкие, Прозоровские и др.»<sup>1009</sup>. Таким образом, объединение Руси под знаменем Москвы переносило в Москву порядки удельных княжеств. Они устанавливались в Москве и укреплялись. Это, очевидно, была немалая сила русского правящего класса, а именно сила старых преданий, собранная теперь воедино в Москве. Другая столь же значительная сила правящего класса заключалась в его земельных привилегиях. В удельное время при подвижности служилого сословия служилые редко занимали сильное земельное положение. Но и тогда уже некоторым из них князья жаловали земли и привилегии по землевладению. Теперь все оседали, все, так сказать, имели право на земельные привилегии, как постоянные слуги московского князя, и в числе их – бывшие удельные князья, владевшие целыми областями. Это была новая и весьма существенная сила, которая сама собою вырабатывала значение служилых и при князе, и в местах их имений. Таким образом, в составе московских служилых людей оказался сильный родословный и сильный землевладельческий элемент<sup>1010</sup>. Автор полагает, что это было неожиданное, не предусмотренное явление, иначе собиратели русской земли не пожелали бы его иметь<sup>1011</sup>.

Далее автор точнее выясняет действительный состав московской Боярской думы XV–XVI столетий по спискам служилых людей и показывает, какие роды были в боярах, какие – в окольничьих. Изучение это приводит его к таким выводам, что многие части родов и даже целые роды исчезают или худеют и что из этих захудалых родов образуются так называемые боярские дети и из них в XVI столетии некоторые пробираются в Думу в звании думных дворян, а остальные теряются в звании дворян московских, городских или остаются в звании боярских детей. «Звание бояр, окольничьих и думных дворян, – заключает автор, – не были замкнутыми, неподвижными политическими состояниями: члены одной и той же фамилии и в одно время служили в разных думных чинах; думный дворянин повышался в окольничьи, окольничий дослуживался до боярства. Но думные чины еще не превратились в простые служебные ранги; между ними заметно в XVI столетии некоторое социальное различие, уже начавшее исчезать в следующем столетии. За каждым из них стоял особый генеалогический круг. Бояре выходили преимущественно из знатнейших княжеских родов, к которым примыкали не многие нетитулованные фамилии старинного московского боярства. Окольничество принадлежало преимущественно тем фамилиям этого боярства, которые успели спасти свое положение при наплыве новых титулованных бояр; к ним примкнуло второстепенное княжье с немногими фамилиями удельного боярства. Наконец, думное дворянство было убежищем выслужившихся лиц смешанного класса, который составлялся из упавших московских фамилий, из массы пришлого удельного боярства, даже частью титулованного и некоторых других элементов»<sup>1012</sup>.

Вглядевшись внимательнее в генеалогическое значение чинов Думы, автор точно так же подвергает более тщательному изучению другую силу боярства – земельную и показывает, какими большими имениями владели некоторые из них, как и в областях на их старых местах, и в Москве на их дворах все напоминало им старую жизнь. Само московское правительство оставляло их долго при этих остатках старины. Многие князья



по-прежнему владели землями своих уделов и даже стояли во главе своих особых отрядов. Многие удельные бояре числились при своих удельных княжеских дворцах – рязанском, тверском, даже просто сохраняли знание бояр удельных<sup>1013</sup>.

Но с этими остатками старины, постепенно исчезающими, вырабатывалось и новое. Менее думая или переставая считать себя самобытными правителями своих прежних владений, князья удельные, а за ними и бояре тем более привыкали считать себя правящими всей Русской землей все вместе, расстановливающимися в известном порядке старшинства у главных колес правительственной машины. «Окруженные, – говорит автор, – остатками удельных отношений, не видя со стороны московского государя решительного отрицания удельных преданий, встречая, напротив, прямое признание их во многом, эти люди взглянули на свое общество, как на собрание подчиненных государю властей Русской земли, а на Боярскую думу – как на сборное место, откуда они будут продолжать править Русской землей, как отцы их правили ею, сидя или служа по уделам»<sup>1014</sup>.

После этого естественно ожидать, что автор будет показывать нам, как созревало в правящих классах русского общества сознание того, что они – власти Русской земли, и как они будут упрочивать свое положение. Автор видит важность этих вопросов и вообще важность времен Иоанна III и Иоанна IV, при которых эти вопросы разрешались. Он, очевидно, ясно видит, что решить надлежащим образом эти вопросы – значит уяснить тот важнейший момент нашей русской истории, когда наша государственность сложилась прочно, держала этот строй до Петра и сберегла его остатки даже во времена петровской его ломки. Припомним, что все лучшие наши историки сосредоточивали большое внимание на этом, так сказать, центре тяжести нашей истории, и что большая часть из них видела в это время высшее развитие власти – понимая ее то как начало прогрессивное, просветительное, то как народное начало, рядом с которым развивалась и сила русской общины.

У нашего автора, как мы знаем, своеобразная постановка. Он показывает, как ко временам Московского единодержавия

образовался аристократический склад правящего русского общества. В чем же сказалось развитие этого аристократизма? Автор уже прежде показывал и теперь опять вынужден показывать то отсутствие, то падение этого аристократизма, и рядом с этим – такие явления, которые стояли неизмеримо выше всяких узких, сословных стремлений. Он делает сближение государственных и этнографических границ собранной Иоанном III Руси и показывает, что эта объединенная Русь оказалась национальным государством, что границы ее совпали с границами великорусского племени и что это одно уже сильно подняло значение этого государства. Это естественно объединяло московского государя и его служилых. При этом автор дает особенное значение князьям литовским и других областей, добровольно перешедшим на службу московского князя и добровольно помогавшим ему в его объединительных делах. Сами московские князья расположены были благодушно смотреть на окружавших их бывших удельных князей, терпели остатки их старины и привыкали к их участию в делах<sup>1015</sup>. Автор при этом далее излагает своеобразную теорию самодержавия московских государей. По мнению его, самодержавие московских государей значило их независимость внешнюю, по отношению к другим государям, но не в смысле безусловной власти по внутреннему управлению. Последнего, по его мнению, они долго не признавали и не представляли себе возможным править государством без Совета бояр, и даже когда стали признавать силу своей личной власти, то и тогда проявляли ее над лицами бояр, а не над их институтом. В этом случае автор понимает время Иоанна IV и на нем останавливается с особым вниманием. Он признает, что Иоанн IV понимал и внутреннее значение самодержавия, что он прямо заявлял, что самодержец тот, кто сам, своей волей управляет, но что даже и Иоанн IV, казнивший бояр, не уничтожал их института и, заводя опричнину, считал необходимым оставить земское боярское управление Россией<sup>1016</sup>.

Такое же отсутствие последовательности автор показывает и в боярстве. Оно признавало или, лучше сказать, путем

привычки выработало свое право участвовать в Совете, Думе, но не добивалось олигархического положения. Для доказательства этого автор обращается к идеалам земского строения, высказанным тогдашними публицистами Берсенем, старцем Вассианом Патрикеевичем, авторами «Беседы валаамских чудотворцев» и особенно Курбским<sup>1017</sup>. Они осуждали Иоанна за самовластие, за устранение от совета с боярами, возвышали значение этого Совета; Курбский притом очень гордился своим княжеским происхождением, однако тот же Курбский и его единомышленники не поднимали вопрос об ограничении власти царя, и, с другой стороны, даже проповедовали важность Земского собора. Известно, что не один Курбский и его единомышленники-публицисты так думали. Когда в 1553 г. Иоанн IV поручил боярам обсудить земские дела, они прежде всего отменили кормления и поручали самим земским общинам ведать свои дела. Далее автор справедливо говорит, что бояре не заботились о том, чтобы взять в свои руки почин законодательный, который, по старым русским обычаям, шел снизу, возникал из частных случаев в самой русской жизни<sup>1018</sup>. Наконец, что особенно важно, бояре не позаботились связать должности с боярством и затруднить вступление в Думу низших званий. В истории Думы мы видим, напротив, систематическое вторжение в нее людей нетитулованных<sup>1019</sup>. Так, нам известно, что в Думе кроме бояр стали показываться думные дворяне. В XVI веке у обоих этих слоев оказываются прибавочные части – у каждого из низших классов. Боярство распадается на две части – просто бояр и окольничьих, и в число последних чаще и чаще вступают думные дворяне, а не одни знатные люди. С другой стороны, под думным дворянством нарастает новый слой думский – думные дьяки.

«Напряжение политической мысли, – говорит автор, – заметное в боярской среде по ее литературным представителям, не привело в XVI веке к разработанному в подробностях плану государственного устройства, в котором были бы полно и последовательно выражены и надежно обеспечены притязания класса. Боярство как будто не понимало возможности или надобности этого. В его руках была власть; но

в его правительственной практике не заметно сословного направления, стремления законодательным путем провести и упрочить свои политические права. Московский государственный порядок, казалось, строился боярскими руками, но не во имя боярских интересов. Боярство XVI века является какой-то аристократией без вкуса к власти, без умения или охоты влиять на общество, зная, которую больше занимали взаимные ссоры и ссоры ее членов, чем отношения к государю и народу»<sup>1020</sup>.

В этом выводе автора неоспоримо верно то, что аристократизм к нашей Боярской думе не приложим; но все другие части его вывода требуют, по нашему мнению, иной постановки. Потому московский строй и удержался так долго, что сложился прочно. В старые русские времена – дружинный Совет и веча составляли гармонию русской жизни и долго держались. В московское время гармония эта выразилась в Думе и в Земском соборе, и, как при оценке древней русской жизни, ошибка автора состояла в том, что он не видел гармонии дружинного совета и веча, так и теперь московский строй ему представился неустановившимся потому именно, что с развитием Думы он не сопоставил развития Земского собора. Об этой ошибке тем более нужно жалеть, что тут же автор как бы мельком сделал новое освещение начала Земских соборов. Он свел мнения тогдашних публицистов о вызове выборных для совещания с ними и поднимает вопрос, что если бы можно было доказать, что эти публицисты говорили это до созвания первого Земского собора, то это получило бы «высокий исторический интерес»... «и можно было бы думать, что самая мысль об этом учреждении вышла из круга людей, к которому по своим взглядам принадлежали Василий Патрикеев, в иночестве Вассиан, и потом князь А. Курбский»<sup>1021</sup>. Список таких лиц следовало бы увеличить именами Сильвестра и Адашева, и митрополита Макария, и в сходстве многих постановлений Стоглава с новгородскими порядками жизни можно было бы найти еще новое освещение начала Земских соборов. Наконец, при этом списке и этом освещении нужно, по нашему мнению, иметь в виду «испомещенных» средних и низших служилых.

Потомки бывших младших дружинников, отделенные московским «испомещением» от своих областных князей и старших дружинников, подступали к ним в Москве, в Думе в звании думных дворян, а по областям вместе с жителями городов и черных волостей, особенно в бывших новгородских областях, воодушевлялись старыми преданиями о вечах и вместе с этими жителями подошли к боярам другим путем – на Земских соборах. События Смутного времени, особенно в северной половине России, с поразительной ясностью показывают этот путь объединения всех слоев русского народа.

Но как при оценке старого строя, так и теперь внимание нашего автора обращено в другую сторону. Он старается объяснить эту, по его мнению, косность правящего класса, и видит причину этого в экономическом положении боярства.

Нам уже известно мнение автора, что русское население, как бы запертое в углу Оки–Волги, стало прорываться еще в XIV веке за эти пределы на юго-восток, и особенно на север. В XV веке автор видит как бы некоторую остановку движения и усиление земледелия в средней волжской полосе России. Само правительство принимает меры против подвижности установлением Юрьева дня<sup>1022</sup>. Но затем, особенно в XVI веке, происходит сильное колебание. Народонаселение прорывается на юго-восток к Дону и за Дон, даже стремится в Литву. Автор почему-то не говорит о движении русского народа к Уралу, начавшемся задолго до появления на сцене Ермака. Причину возобновившегося движения народа автор видит в хищническом хозяйстве, – в неразумном истощении земли. «Уже во второй половине XVI века, – говорит он, – остатки поземельных описей поражают обилием пашни переложной и лесом поросшей, количеством пустошей, «что были деревни», в ближайших к столице уездах». Почти в каждом имении, даже при каждом крестьянском поселении, сверх трех полей пашни паханой, существовал перелог, обыкновенно гораздо более обширный, часто – втрое или вчетверо. Независимо от этого являлись большие сплошные пространства «порожних земель», которые отмечались в писцовых книгах словами: «лежат впусе и не владеет ими никто». Лишь по местам на этих брошенных

залежах поддерживались отхожие пашни, вспаханные «наездом». Наконец, теперь стали покидать на неопределенное время и существовавшие трехпольные пашни, превращая их в бессрочный перелог; сами населения со всем их хозяйством переносились из старых срединных областей в другие, иногда очень отдаленные места, на более плодородные нови. «Так ход сельского хозяйства в Московской Руси XVI века представлял, можно сказать, – говорит автор, – геометрическую прогрессию запустения»<sup>1023</sup>... «Кажется, еще бы по одной сильной волне колонизации из центра к окраинам на Юг и на Север, – и Москве предстояла бы опасность, уже испытанная ее предшественником Киевом, опасность превратиться в столицу-пустыню»...

Автор сделал в высшей степени удачное сравнение Москвы с Киевом; но, к крайнему сожалению, не остановился на существенных сторонах этого сравнения. Если бы он взял во внимание существенное между ними сходство по этому вопросу, то сейчас же увидел бы ясно, что не одно хищническое хозяйство обезлюдило ближайшие окрестности Москвы, но и другие причины, гораздо более важные. Как только Москва выступила на борьбу с татарами и затем с Литвой, жить около Москвы народу стало так же трудно, как трудно было жить в старину около Киева. К этому, как и в Киеве, нередко присоединялись внутренние смуты. Но кроме этих причин были еще другие причины, составлявшие преимущественную принадлежность Москвы. Замечательно, что пустыли места больше около Москвы, чем в отдаленных от нее областях. Замечательно также, что рост Московской государственности сопровождался развитием казачества на побережьях Дона и Урала. Очевидно, что русской общине особенно тяжело было жить около Москвы, как в старину – около Киева, и что в те времена особенно часто подвергалась опасности свобода русского простого человека. На последнее, впрочем, автор обращает внимание несколько ниже. «Такое тревожное, – продолжает автор, – для правительственного класса направление принимал земледельческий труд. В то самое время, когда боярство складывалось в правительственную

аристократию, его вотчинное благосостояние становилось вопросом. Только что оно устроилось было по переезде в Москву, спасши большую часть своих вотчинных усадеб в исчезнувших уделах, как стала грозить необходимость перенесения самых усадеб в другие края. Все добытые землевладельческие привилегии стали терять свою цену, потому что плохо обеспечивали привилегированному землевладельцу главную силу, на которой могло основаться надежное вотчинное хозяйство, надежные рабочие руки»<sup>1024</sup>. Именно это обстоятельство, хотя и не исключительное, повернуло внимание боярства от устройства высшего управления к заботам о земельном хозяйстве<sup>1025</sup>.

Заботы эти, по автору, выразились в следующих печальных явлениях.

Землевладельческий класс принялся кабалить вольных людей посредством долговых обязательств. Этим кабальных, закладней сажали на земли в вотчинах и устраивали из них в пригородах целые слободы. В том и другом случае выгода была та, что не только приобретался контингент постоянных рабочих, но и рабочих, свободных от податей, потому что рабы не платили их.

Подобная система прилагалась и к крестьянам. «Поземельные отношения между крестьянами и крупными землевладельцами почти всегда осложнялись долговыми обязательствами крестьян, вытекавшими из ссуды деньгами, хлебом и т. п., взятой у землевладельца при поселении на его земле»<sup>1026</sup>. Таким образом, происходило фактическое прикрепление крестьян у богатых землевладельцев и, что особенно важно, по Судебнику 1550 года крестьянин мог порвать всегда свои обязанности по отношению к помещику, продавшись с пашни в холопы<sup>1027</sup>.

Как, по мнению автора, боярство поглощено было материальными, денежными интересами, это показывают следующие явления. Боярство, вопреки очевидным политическим своим интересам, не заботится упрочить свое влияние в областях, а, напротив, рвет еще и существовавшие связи. Оно устраняется от должности губного старосты, в руках

которого была судебная власть уезда, и он был выборным<sup>1028</sup>. Оно даже устраняется от наместничества – предлагает общинам выкупать кормления и за особый взнос денег брать в свои руки финансовое и административное управление уездом<sup>1029</sup>. Автор даже полагает, что и проект Василия Васильевича Голицына освободить крестьян, о котором сообщает известия иноземец Навил, имел тот смысл, чтобы крестьяне выкупили поместные права служилых, т. е. чтобы служилые вместо поместий получали деньги<sup>1030</sup>. Здесь опять, как и прежде, автор упустил из виду «испомещение» меньших служилых, подрывавшее, по нашему мнению, больше всего силу боярства по областям еще до закрепощения крестьян.

Но одновременно с тем, как боярство устранялось от влияния на дела провинции, значение его колебалось в самой Москве. Рядом с Думой образуется подле московского государя Особый совет ближних людей, который при Иоанне IV вырастает, по автору, в целое учреждение – опричнину. Автор полагает, что первые следы этого Особого совета видны при сыне Иоанна III, Василие Иоанновиче, на которого современники жаловались, что он решает дела не в Думе, а у своей постели, сам третей, со своими любимцами. Но еще при Иоанне III заметно было подобное явление. При свержении татарского ига современники тоже жаловались, что Иоанн слушается дурных своих советников, проповедовавших дружбу с татарами. При Иоанне IV, ближние тайные советники то и дело упоминаются и в иностранных известиях, и в жалобах Курбского. Автор наш, впрочем, не видит в этом Совете подрыва Думе, а естественное орудие ее, как бы Государственный совет. Еще более странно его суждение об опричнине.

Автор не раз показывал, что Дворцовое ведомство, из которого выросла Дума, более и более заслонялось государственным значением Думы, а вместе с тем заслонялись членами Думы и чины придворные. Дворецкие, стольники, чашники, сокольники вытеснялись из Думы удельных времен, и при Московской боярской думе сосредоточивались в кругу своих придворных обязанностей. Ближний Совет московских государей был, по автору, попыткой выдвинуть значение



придворных. Совет этот и обозначился, прежде всего, участием в делах, ближайшим образом касавшихся государей, а именно в деле о завещаниях Василия Иоанновича и Иоанна IV. Иоанн IV задумал восстановить полнее старое значение дворцовых чинов и учредил опричнину, которой назначал в кормление именно города и волости, составлявшие старые вотчины московских князей, такие как Можайск, Устюг, Медынь, Ярославец, или недавние приобретения московских государей, такие как Двина, Вага, Вязьма, Белев. Подобно разбросанности дворцовых имений, разбросаны были и кормления опричников, напоминавших собой слуг уделов княжеского рода. В этом отношении, по мнению автора, опричнина не отличалась от слуг удельных князей и княгинь. Но она отличалась своей политической целью, как учреждение для вывода измены.

Каким образом могла быть поставлена такая цель, – автор решает этот вопрос совсем не так, как Соловьев. Разбирая переписку Иоанна с Курбским, он показывает, что ни вопрос о самодержавии, ни вопрос о действительной государственной измене бояр не вызывали такой цели учреждения опричнины. Действительная причина вражды, по мнению автора, была проще и понятнее общих политических принципов. «С половины XV века, – говорит автор (нужно бы сказать с последней четверти XV века), – эта вражда дважды обнаруживалась с особенной силой и каждый раз по одинаковому поводу – по вопросу о престолонаследии. В первый раз, когда великий князь Иван III развенчал внука и назначил сына, первостепенное боярство стояло за первого, и его противодействие великому князю в этом деле сопровождалось казнями и насильственными пострижениями. Нерасположение великого князя Василия к боярству было естественным чувством государя к людям, которые не желали видеть его на престоле и неохотно терпели его. Первые сильные столкновения при Московском дворе, какие помнил Иоанн IV, были связаны с этим вопросом о престолонаследии. Он напоминал Курбскому, что отец его, князь Михаил, с великим князем Дмитрием, внуком, на его государева отца «многие пагубные смерти умышляли». Другой случай был при самом Иоанне IV в 1553 г., когда царь опасно

занемог и потребовал от бояр присяги своему новорожденному сыну, а его двоюродный брат, удельный князь Владимир, заявил притязания на престол»<sup>1031</sup>. Бояре, как известно, иные даже прямо не хотели целовать креста младенцу, другие держали себя двусмысленно. «С тех пор, – повторяет автор слова летописца, – и пошла вражда»<sup>1032</sup>. Иоанн вообразил, что и он ненадобен боярам, и это преувеличенное опасение сделало то, что Иоанн действовал «во время опричнины, как не в меру испугавшийся человек, который, закрыв глаза, бил направо и налево, не разбирая своих и чужих»<sup>1033</sup>. «Словом, по мнению автора, с которым нельзя не согласиться, борьба московских государей с боярством имела не политическое, а династическое происхождение»<sup>1034</sup>. «Государь признавал бояр прямыми и необходимыми своими сотрудниками в Земском строении и разных делах, правящим классом в пределах существующего порядка... Боярство, со своей стороны, видело в государе необходимого носителя Верховной власти, как тогда ее понимало, и не простирало своих политических желаний далеко за пределы существующего порядка. Коренного изменения последнего, нового государственного строя, не добивается ни та, ни другая сторона»<sup>1035</sup>... «Над талантами, идеями, капризами и страхами обеих сторон высился порядок, державшийся на обычае, предании, поколебать который они были бессильны, пока он сам не поколебался под действием новых обстоятельств»<sup>1036</sup>.

Обстоятельства эти автор излагает далее в XX главе по изданию «Русской Мысли»<sup>1037</sup> и в XVIII главе по особому изданию<sup>1038</sup>. Жестокая расправа Иоанна с боярством, сильно истреблявшая его, а тем более начавшаяся затем самозванческая Смута заставили, по автору, боярство думать о спасении своих остатков. Сношения с Западной Европой и бегство в Польшу выдвинули вопрос о вольностях боярства. Наконец, это направление еще более усилило прекращение старой Рюриковой династии. Автор видит признаки договора бояр с царем еще при Годунове, хитро уклонившемся от этого вызовом всенародной воли на его избрание. Со всей ясностью договор Думы с царем обозначился при избрании Шуйского в

1606 г. Договор этот касался только Думы. Попытка Шуйского призвать к участию и Земский собор, по автору, была устранена. Последнюю мысль, т. е. о договорном участии и Думы, и Земского собора в управлении, проводил известный приверженец польского королевича М. Салтыков со своими единомышленниками в 1610 г. По этому плану Верховная власть ограничивалась Думой и Земским собором, и определялись права не одних бояр, а всех свободных сословий: без суда никого не казнить, и за вину одного не казнить семью и род, если они не виноваты. Наконец, автор разбирает свидетельства об избрании на престол Михаила Феодоровича, из которых видно, что и с него брали запись, хотя трудно составить точное понятие о содержании ее. Однако известно, что и Дума при нем имела большое значение, и Земские соборы.

По существу дела, все эти договоры были, по мнению автора, только узаконением установившегося обычая – узаконением, вызванным исключительными обстоятельствами, и когда эти обстоятельства прекратились, то и узаконение потеряло значение и не возобновлялось. Действовал старый обычай, и силой его Дума жила, как и прежде. Но в самих элементах Думы произошли важные перемены. Правящий класс сильно изменился. Погибли многие родовитые ветви; многие обеднели и захудали на службе. Чаще и чаще стали выдвигаться и занимать места в Думе люди средней руки, люди таланта, заслуги. Выработалась поговорка: велик и мал живет государевым жалованием. Сила преданий правящих родовитых классов подрывалась, спутывались местнические счеты. Прикрепление крестьян еще больше этому помогало. Среднее дворянство выступает успешным соперником боярства в устройстве своего сельского обеспечения. «Эти экономические превратности, – заключает автор свое исследование, – ускорили генеалогическое разрушение прежнего правительственного класса, начавшееся с конца XVI века, а совокупным действием обоих этих процессов довершено было и его политическое разрушение». «Целые века боярство работало внизу общества над обеспечением своего экономического

положения; все это время, за исключением каких-нибудь 40 лет, его политическое положение наверху оставалось неупроченным, держалось на одном обычае. В XVII веке, когда оно после потрясений достигло уже значительных успехов в своей экономической работе, оно исчезло как политическая власть, теряясь в обществе при новом складе понятий и классов, растворяясь в служилой дворянской массе. Отмена местничества в 1682 году указывает довольно точно исторический час смерти его как правительственного класса, и политическую отходную прочитал над ним, как и подобало по заведенному чину московской правительственной жизни, выслужившийся дьяк. В 1687 г. Шакловитый уговаривал стрельцов просить царевну Софию венчаться на царство, уверяя, что препятствий не будет. «А патриарх и бояре?» – возразили стрельцы. «Патриарха сменить можно, – отвечал Шакловитый, – а бояре – что такое бояре? Это зяблое, упавшее дерево»<sup>1039</sup>.

В «Русской Мысли» этим и заканчивается исследование г. Ключевского о Боярской думе. Но в особом издании, как уже нам известно, автор счел нужным подробнее выяснить историю Боярской думы в XVII веке и в первые годы XVIII века, когда она кончила свое существование и на ее развалинах вырос Сенат.

В исследовании нашего автора, начало и конец этого периода в истории Боярской думы весьма печальны. В первой прибавочной главе, т. е. XX по порядку глав в особом издании, г. Ключевский показывает, что, хотя после Смутного времени сохранились еще значительные остатки знатных русских родов в Думе, она более и более наполнялась новыми, неродовитыми людьми, которые пробирались в нее, главным образом, двумя путями – финансовым и дипломатическим, и более и более заслоняли своими талантами родовитых людей<sup>1040</sup>. В то же время приказы так развивались и усиливались, что их начальники, естественно, оказывались самыми сведущими и деятельными лицами до такой степени, что иногда заседание Думы состояло в большинстве из них<sup>1041</sup>. «Курбский, – говорит автор, – не совсем был прав, когда писал, что после ужасов опричнины у Грозного остались от старого боярства только

калики. Но такое замечание вполне идет к московской знати с половины XVII века. То были жалкие остатки стародавних честных родов, как выражался царь Алексей. Под руками у этого царя был разбитый класс со спутавшимися политическими понятиями, с развратным правительственным преданием, он падал генеалогически и даже экономически»<sup>1042</sup>.

Еще более печальными были последние времена Боярской думы при Петре, описанные нашим автором в XXIII главе особого издания его исследования. Государь большей частью отсутствовал, что при исторически сложившейся близости Думы к государю или, лучше сказать, слитности ее с ним уже само собой подрывало ее жизнь. Вместе с отсутствующим из Москвы Петром отсутствовали и многие из членов Думы. Недочет этот, правда, нередко восполнялся, но это еще более разрушало обычаи Думы. Петр поручал дела совсем не думским людям и вводил их в Думу<sup>1043</sup>. С другой стороны, и те старые московские порядки, которые и прежде не раз ослабляли думскую деятельность, выдвигались теперь более и более и врывались в нее. Так называемые ближние люди царя выступали теперь уже как будущие министры, а сила приказная подступала с другой стороны, – сосредоточилась, образовала так называемую Ближнюю канцелярию и втянула в себя саму Думу, которая в ней и собиралась<sup>1044</sup>. Совершенно естественно затем случилось, что Дума была оторвана от военных и политических дел, а предоставленные ей дела стали облекаться в канцелярские формальности и подлежали ответственности<sup>1045</sup>. «Боярская дума при Петре стала, – говорит автор, – тесным советом с разрушившимся генеалогическим и даже чиновным составом старой Думы; даже люди недумных чинов теперь имели в ней место. Существенной ее особенностью было то, что она действовала вдали от государя и была перед ним ответственна, руководя внутренним управлением и исполняя особые поручения государя, но не мешаясь в военные действия и внешнюю политику. Читая первые указы об учреждении Сената в 1711 г., можно заметить, что он имел близкую родственную связь с Боярским советом, собиравшимся в Ближней канцелярии и наследовал все ее особенности... Так,

идея и форма Сената, – заключает автор, – создались прежде, чем явилось его название»<sup>1046</sup>. Автор даже для Табели о рангах находит зародыши в допетровской Руси. «В XVII веке чин уже совершенно отрывается от *отечества*» – говорит автор, – показав перед тем, как пробирались в Думу неродовитые люди, подвигаясь к ней службой по финансовой и дипломатической части, т. е. по гражданской части, и заключает: «Так еще до Петра, задолго до его Табели о рангах, отделившей должности военные от гражданских, в московской приказной администрации обозначилась сфера, которую можно назвать тогдашней штатской службой»<sup>1047</sup>.

В середине между этими крайними, по времени и существу дела, проявлениями упадка Думы автор дает нам в XXI, XXII, XXIV и XXV главах его труда картину совсем иного рода – картину, на которой немало света и даже яркого блеска нашей старины. Он дает нам подробное исследование об обычных и необычных делах Думы в XVII веке, т. е. о ее составе, роде дел, центральных и областных, подлежавших Думе, и о порядке делопроизводства, причем особенный интерес составляют способы возбуждения дел в Думе и так называемые подписные челобитные<sup>1048</sup>. Тут раскрывается и известная московская волокита, но также и широкое старорусское право жалобы. Особенное внимание автор обращает на законодательный характер деятельности Думы и раскрывает в XXIV главе громадный объем вызывавших эту деятельность вопросов и теснейшую связь Думы с государем. «...Боярская дума древней Руси, – говорит он, – была учреждением, привыкшим действовать только при государе и с ним вместе... Давний обычай неразрывно связал обе эти политические силы, и они не умели действовать друг без друга, срослись одна с другой, как части одного органического целого. Эпохи, когда они разрывались, когда Боярская дума оставалась одна без государя, как в Смутное время, или когда государь отделялся от Думы, как во времена опричнины Грозного, такие эпохи были ненормальными кризисами, болезненными состояниями государства. Точно так же и древнерусское общество не привыкло отделять эти силы одну от другой, видело в них

нераздельные элементы единой Верховной власти: закон являлся перед управляемыми в виде государева указа и боярского приговора, и как в боярском приговоре они видели государев указ, так и за государевым указом предполагался боярский приговор. Вот почему, собственно, нельзя говорить о правительственном ведомстве Боярской думы, как о чем-то точно определенном, о ее политическом авторитете, как о чем-то отличном от государевой власти. Пространство действительности Думы совпадало с пределами государевой Верховной власти, потому что последняя действовала вместе с первой и через первую»<sup>1049</sup>. В нескольких местах этой главы автор и очерчивает широкий круг этих совместных дел государя и Думы. «...Крупные и мелкие административные реформы этих веков (XVI и XVII) шли из Думы и через Думу», – говорит он в одном месте. «По актам XVI и XVII веков видим, что Дума устанавливала областное административное деление, разграничивала ведомства центральных и областных учреждений, определяла порядок делопроизводства в них, особенно порядок суда уголовного и гражданского, давала общие правила для назначения областных управителей, указывала пределы их власти, вводила новые должности или отменяла старые, предметы ведомств закрываемых приказов вместе с книгами передавала другим учреждениям и т. п.»<sup>1050</sup>. В другом месте автор говорит: «Создавая закон, Дума строила и государственный порядок, обеспечивавший его действие. Она с государем вела дела внешней политики и народной обороны, делала распоряжение о мобилизации войск, составляла планы военных операций и т. п. Она же ведала и тесно связанное с этими делами государственное хозяйство. Новые налоги, постоянные и временные, прямые и косвенные, вводились обыкновенно по приговору бояр»<sup>1051</sup>.

Дума выражала в своей деятельности то единение гражданских и церковных дел, какое проходит через всю почти нашу историю и особенно сильно сказывалось в нашей допетровской Руси. В разнообразных случаях – то особенной государственной важности, то по преимуществу касавшихся дел Церкви, лица духовного, освященного Собора соединялись с

членами Думы и составляли одно заседание. Наш автор в XXV главе перечисляет случаи такого общего заседания и показывает, что духовные лица, устранившись обыкновенно от обсуждения дел чисто гражданских, далеко не всегда были пассивными членами Думы. Особенно деятельным участником в думских совещаниях автор представляет нам, и совершенно верно, патриарха Иоакима. Совещания совместных духовных властей и чинов Думы обыкновенно назывались соборами. Недавно в нашем журнальном мире возникло большое недоумение касательно этих соборов. Многие полагали, что дела этих соборов и есть протоколы Земских соборов. Г-н Ключевский дает теперь достаточное количество данных для разъяснения этого недоумения.

Следя постепенно за расширением дел Думы, особенно раскрывая дела Думского собора, автор, естественно, был вызываем на изучение дальнейшего расширения деятельности Думы, на изучение дел Земских соборов. Мы и находим у него упоминания о некоторых Земских соборах. Но надлежащей оценки Земских соборов у автора нет, да едва ли она и могла быть. Как веча поникли у автора перед дружиной, так и Земским соборам естественно было поникнуть перед Московской думой. В исследовании г. Ключевского не видим ясно даже того целого ряда Земских соборов или, правильнее, того непрерывного почти Земского собора, который, начавшись под Москвой в 1611 г. при Ляпунове, привел потом к ней князя Пожарского, избрал Михаила Феодоровича, устроил и закрепил его власть в России и даже высылал свои комиссии по областям для нравственного подавления поднимавшихся вновь самозванческих смут. Наш автор вообще уменьшает значение Земских соборов, действовавших всегда сильно нравственной стороной своего мнения, и излишне разъединяет Думу и Земский собор, когда они сходились. «Дума, – говорит он, – редко входила в прямые отношения к обществу, даже как будто избегала этого. В XVII веке довольно часто призывали выборных от разных классов, чтобы выслушать их мнения о вопросах, возбужденных в Думе и их касавшихся. Но этих представителей не вводили прямо в Думу: она не выслушивала их сама, а обыкновенно поручала



расспросить их в известном приказе, либо составляла для того Особую комиссию из своих членов. Она и на Земском соборе выделялась из ряда представителей земли. Вопрос, подлежавший обсуждению, предлагался от царя выборным людям при боярах, но не боярам вместе с выборными людьми. Бояре с государем обыкновенно уже до Собора обсуждали этот вопрос; по их приговору с государем созывались выборные, как и распускались. Думные люди являлись на Соборе не представителями земли, призванными правительством, а частью правительства, призвавшего представителей земли; члены Думы назначались и руководить совещаниями этих представителей, сидеть с выборными людьми»<sup>1052</sup>. Последнее выражение, приведенное автором, и ослабляет резкую раздельность Думы и Земского собора; а если вспомнить необычайные Земские соборы, как 1611, 1612–1613 г. и даже Собор 1648 г. по делу о составлении Уложения, то придется еще больше ослабить эту раздельность или даже совсем ее уничтожить.

В новейшее время в нашей литературе появилось небольшое исследование г. С. Платонова «Заметки по истории московских земских соборов»<sup>1053</sup>, в котором находится довольно полный обзор сочинений о Земских соборах, сделан очерк самих этих соборов и даже приведены новые данные для истории некоторых из них, как например, для Земского собора 1653 г. по делу о присоединении Малороссии.

Связав так крепко деятельность Думы со всем кругом государственной московской деятельности, г. Ключевский, естественно, должен был останавливать свое внимание на том, каковы были люди, двигавшие этот сложный, по родам дел, правительственный механизм нашей старой Руси, и какими живыми узами они были связаны с русским обществом? На эти вопросы автор отвечает во многих местах своего труда талантливymi картинами, разрушающими в корне его собственное мнение о резкой раздельности Думы и выборных земли. Укажем на существенные части некоторых из этих картин. Составив в одном месте как бы примерный послужной список стольника и московского дворянина и показав

разнообразнейшие обязанности, какие выпадали обыкновенно на долю этих чинов, пока они лет через 30, иногда более, иногда менее, добирались до Думы, автор заключает: «Такова была школа, сообщавшая политическую выправку древнерусскому государственному советнику из природного боярства. С детства он вращался во дворце на глазах у государя, узнавал все дворцовые покои, жилые и приемные, «комнаты» и «палаты», узнавал людей, порядки, и сам становился всем известен. Исполняя разнообразные поручения правительства, он близко знакомился с правительственным механизмом и управляемым обществом, с приемами управления. В Думу вступал он «думцем и правителем», которому, по выражению боярина М.Г. Салтыкова, «московские обычаи были староведомы», с большим навыком «во всех делах»<sup>1054</sup>. Или в другом месте: «Вместе с государем они (члены Думы) не только законодательствовали, но и правили обществом, не только определяли общественные отношения, но и непосредственно на самых местах наблюдали за действием своих определений. Словом, московские государственные советники не только руководили всем правительственным механизмом государства, но и главными его колесами. Потому думный человек действовал всюду на самых разнообразных путях государственного управления, как и ходе церковной (центральной?) жизни, в центре, так и в провинции, в гражданской администрации и во главе полков»<sup>1055</sup>. «Две правительственные сферы всего чаще отвлекали членов Думы от их думных занятий. Это было воеводство городское и полковое»<sup>1056</sup>. То и другое воеводство устанавливало постоянное и живое движение правительственного класса из столицы в провинцию и обратно, и на этом движении держалась та московская политическая и административная централизация, в дальнейшем развитии которой XVIII век, при всех своих средствах и усилиях, сделал очень мало успехов, если только сделал сколько-нибудь. В этом движении Боярская дума, действуя с помощью необильного, даже скудного сравнительно административного персонала, ей подчиненного, имела значение главного ткацкого челнока, который, на основе

национальных, церковных и географических связей выводил редкую и грубую, но крепкую и выносливую ткань государственного порядка, умевшую выдерживать общественные потрясения, каких не пришлось испытывать XVIII веку»<sup>1057</sup>.

Автор, очевидно, дает подобающее значение устойчивости московского строя. Но он, как тоже подобало, не закрывает глаз и перед его недостатками. Навык, опыт, говорит он, часто заменяли «ум, талант, размышление»<sup>1058</sup>, и затем показывает, как «новые задачи правительства все настойчивее возбуждали потребность в государственных людях с умом, талантом и склонностью к размышлению», и раскрывает тот путь, которым, в силу этих потребностей, выходили на высоту государственного служения такие люди, как Ордин-Нащокин, Матвеев<sup>1059</sup>.

В последней, XXVI главе автор собирает существенные, рассеянные в его сочинении черты исторической жизни Боярской думы, чтобы показать, что в этом учреждении «отразился основной факт истории Московского государства». «Единственной постоянной опорой устройства и значения Боярской думы как аристократического учреждения был, по его мнению, обычай, в силу которого государь призывал к управлению людей боярского класса в известном иерархическом порядке»<sup>1060</sup>. «Крепость этого обычая создана была историей самого Московского государства. Оно было не произведением какой-либо политической теории, как смутно помышлял царь Иван Грозный, и не следствием удачного хищничества его предков, как решительно утверждали его политические противники. Оно было делом народности, образовавшейся в XV веке в области Оки и Верхней Волги. Народность эта образовалась по отступлении старинного русского населения в глубь нашей равнины с южных и юго-западных окраин перед торжествовавшими врагами. Разделенная политически, угрожаемая гибелью с разных сторон и с одной (татарской) раз уже завоеванная, эта народность начала устраиваться в обширный лагерь. Средоточием этого лагеря стал центральный город тогдашней Великороссии, а

вождем – князь этого города. Все национальные, церковные, экономические и другие условия, содействовавшие государственному объединению Великороссии, связались с судьбой Москвы только потому, что она была таким центральным городом боевой, готовившейся к борьбе Великороссии XIV–XV веков, только благодаря ее стратегическому отношению к тогдашнему театру военных действий»<sup>1061</sup>. Автор наш дает даже второстепенное значение дарованиям московских князей. Вся сила Московского государства была в том, что «оно было народным лагерем, образовавшимся из боевой Великороссии – Оки и Верхней Волги и боровшимся на три фронта: восточный, южный и западный. Оно родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты»<sup>1062</sup>.

Яркие краски этой картины, которую автор рисовал нам и прежде, следует и здесь, как и там, усилить. Народное, боевое государство Московское, несомненно, заложенное преимущественными трудами великорусского племени, потому было крепко и разрослось, что все русские племена – не только великорусское, но и малорусское и белорусское, смотрели на него просто как на русское, родное им, и всегда шли к нему, как к своему родному, многообещавшему в будущем, так, без всякого сомнения, смотрели на него истые малороссы – митрополит Петр, знаменитый Боброк-Волынец, обелорусевшие литвины Андрей и Димитрий Ольгердовичи и множество людей литовской Руси и княжеского и не княжеского рода, и малороссийского и белорусского племени.

Это то военное по происхождению Московское государство и устроилось по военному, полагает автор, и в основу его легло «деление общества на служилых и не служилых». Это строевое общество составилось из прежних удельных военных дворов, в том числе и московского, с вождями их, во главе которых был московский князь, державшийся долго в отношении к ним договорного права и долго дававший существовать их особому военному распорядку и даже их дворам. «Из сочетания власти этого военачальника с правительственными понятиями и привычками хозяина-вотчинника удельных веков и вышел, –

говорит автор, – своеобразный политический авторитет московских государей, как он обнаружился в правительственной практике, а не как пытались его изобразить древнерусские публицисты, царственные и простые», т. е. Иоанн IV и его противники. «Неограниченно распоряжаясь лицами, эти государи в делах общего порядка привыкли действовать вместе и по совету с потомками тех местных воевод, которые некогда были военными товарищами их предков»<sup>1063</sup>. «Сначала эти военные советники имели широкие правительственные полномочия в местах расположения своих удельных дворов – остаток их прежней удельной самостоятельности. Они и в общем строе государственного управления, т. е. лагерной и походной администрации, расставлялись по степени важности своих местных полков, т. е. дворов, если были удельные князья, или по своему иерархическому положению в этих полках, если были простые удельные бояре»<sup>1064</sup>. Отсюда автор выводит местничество как естественное явление. «Но потом с военно-административной перестройкой государства и с землевладельческой перестановкой титулованных и простых бояр их местное полковое значение постепенно исчезло, прежние политические и экономические связи порвались, удельные станы и усадьбы развалились»<sup>1065</sup>. Затем следовали разгромы Иоанна IV и Смутного времени, так что, по автору, «боярство царя Алексея можно назвать в полном смысле слова аристократией воспоминаний»<sup>1066</sup>. «Так не боярство умерло потому, – говорит ниже автор, – что осталось без *мест*, чего оно боялось в XVI в., а *места* исчезли потому, что умерло боярство и некому стало сидеть на них»<sup>1067</sup>. Автор заключает эту печальную повесть следующей, бьющей в глаза картиной. «Если бы сторонний наблюдатель, не зная, что случилось с боярством, внимательно посмотрел на Боярскую думу во второй половине XVII века, она показалась бы ему торжественной палатой, устроенной и убранной для великородных и властных посетителей, товарищей хозяина; но такие посетители почему-то перестали являться в палату, а пришли туда невзыскательные рабочие люди, простые исполнители хозяйской воли, которым нужна была не такая

палата, а простая рабочая канцелярия, «изба», как назывались приказы в XVI в.»<sup>1068</sup>.

Можно предполагать, что если бы такой сторонний наблюдатель ознакомился с историей этой Думы по исследованию г. Ключевского, то он все-таки не освободился бы от самого докучливого недоумения: каким образом случилось так, что московское родовитое дерево, у которого после всех ломавших его бурь осталось все-таки немало целых и здоровых ветвей, не возросло вновь, и каким образом «невзыскательные, рабочие люди», – приказные не знали такой ломки, а, напротив, возрастали и усиливались до такой степени, что смелее и смелее подходили к «торжественной боярской палате» и, наконец, совсем в ней засели? Эти недоумения может разъяснить прежде всего тщательно исследованная история приказов. У г. Ключевского положено прекрасное начало для этой истории. Мы у него видим возникновение приказов и первоначальную зависимость от Думы. Но их развития с XVII века и вторжения в Думу с решающим значением не видим. Об этом тоже, как и по вопросу о Земских соборах, нельзя не жалеть. Где только автор касается приказов, там ясно видно, что это дело тоже вызывало его на архивные изыскания, и он обладает богатыми данными. Затем, действительная смерть боярства находится в связи не только с историей приказов, но, как мы уже показывали, с историей помещного права, а также с историей нашего русского закрепощения и холопства. Истории закрепощения тоже нет у нашего автора, а что касается истории нашего русского холопства, то ее нет не только у нашего автора, но и ни у кого из наших историков; даже мало надежды на скорое ее появление, так как дела холопьего приказа истреблены в стрелецкие бунты 1682 г., и материалы для этой истории нужно собирать лишь по клочкам, сохранившимся по областным архивам и в других памятниках.

Сочинение г. Ключевского «Боярская дума» есть новейший крупный труд по русской истории. В нем совмещены, как мы и показывали, и добытые уже прежде результаты нашей науки, и новые приобретения весьма ценного свойства, привнесенные самим автором. Постараемся выделить те и другие.

Г-н Ключевский в постановке дела русской истории по всем важнейшим вопросам – ученик и последователь С.М. Соловьева, но ученик и последователь, много работающий сам и потому многое изменивший и в фактической, и в теоретической части труда своего учителя. Он, подобно Соловьеву, сосредоточивает культурное историческое движение России в верхней среде и так же, как Соловьев, видит ослабление и ухудшение этого движения с усилением направления русской колонизации на северо-восток России. Но г. Ключевский гораздо крепче и яснее Соловьева связывает правительственную культурность с культурностью верхнего русского общества, и, хотя подобно Соловьеву, отрывает это общество от весьма важных его проявлений, как веча, Земские соборы, и, кроме древних времен, проходит молчанием русскую общину и ее исторический труд в деле русской культуры, но гораздо больше Соловьева связывает правительственный русский класс с русским обществом вообще и даже с русским простым народом. Точно так же положение Соловьева о большом влиянии природы на развитие русской цивилизации у г. Ключевского развито гораздо больше. В этом отношении он дает даже новое и весьма важное разъяснение экономических переворотов в исторической судьбе правящих и неправящих русских классов, причем у него выступает с особенной яркостью не только зависимость от этих переворотов правительственного значения высших классов русского общества, но и решающее в этом отношении значение простого народа<sup>1069</sup>.

Следуя своему обычному приему – снимать позднейшие или вообще посторонние для его задачи наслоения в исторических данных, исторических явлениях, автор отделяет в предмете своих изысканий временные, случайные влияния и представляет нам обыденный, обычный строй жизни Боярской думы. Это привело, как мы уже знаем, и к некоторым ошибочным результатам, но привело также и к таким результатам, которые нужно признать драгоценным приобретением нашей науки. Ни в каком другом новейшем сочинении по русской истории не раскрыта с такой обстоятельностью и убедительностью разумность и

целесообразность правительственного склада нашей древней Руси, как в «Боярской думе» г. Ключевского. Нашим русским западникам, привыкшим видеть в нашей старой Руси одно варварство, приходится после этого сочинения сомкнуть свои уста по многочисленным вопросам этого рода, и сомкнуть тем крепче, что сам г. Ключевский немало сгустил исторические краски для изображения этого самого варварства; однако при всем том он показывает, что какой-нибудь удельный князь Северо-Восточной Руси – настоящий мужик, как однажды выразился автор, поступает весьма разумно в своей правительственной среде и что даже невообразимая, по-видимому, пестрота и спутанность разнородных земельных единиц его княжества имели свой смысл и разумность. Но в труде г. Ключевского есть еще более важная особенность.

В обыденном, обычном строе исторической жизни Думы отсутствует политика с ее раздирающими партиями и их страстями и царствуют теснейшее единение Думы с Верховной властью государя и совершенное спокойствие и правда в решении русских дел. В этом строе никнут даже ужасы времени Грозного и раздражающее вторжение в Боярскую, аристократическую думу худородных людей. Во всем этом весьма много трагизма, далеко не раскрытого автором, но еще больше исторического, народного величия Боярской думы, талантливо подмеченного и раскрытого г. Ключевским.

Когда мы вдумываемся в эту часть изысканий г. Ключевского, приходится невольно забывать, что это писал один из самых последовательных учеников С.М. Соловьева; представляется, что это писал один из давних и постоянных сотрудников в изданиях общепризнанного ныне главы русских славянофилов И.С. Аксакова.

Нам известно, что такое новейшее явление в истории нашей науки имеет немало аналогичных явлений в трудах других наших историков. Мы знаем, что и более видные из наших русских юристов приходили к выводам славянофилов. Мы знаем, что вновь поставленный вопрос о научности, объективности в трудах К.Н. Бестужева-Рюмина и Е.Е. Замысловского привел их к тому же рубежу и нередко



заставляет и переходить его. Мы знаем, что даже С.М. Соловьев, в конце концов, вступил на ту же дорогу. Теперь мы видим, что его ученик и преемник по кафедре входит в ту же славянофильскую область, несмотря на верность своему учителю по всем важнейшим вопросам, несмотря даже на собственное, заявленное в начале труда желание стоять выше и западной, и славянофильской теорий. Над всем этим стоит задуматься и молодым и старым русским историкам, а еще больше следует им задуматься над тем, сколько напряженных усилий, сколько самоотверженного труда, нередко с вознаградимыми потерями, положено русскими историками на то, чтобы пробиться к русскому разумению своей истории, которое и прежде нередко оказывалось более научным разумением, а теперь, по всей справедливости, может быть признаваемо уже и научным русским торжеством. Русское самосознание может теперь опираться не только на родное чувство, но и на основания научные.

Заканчивая мой курс истории науки русской истории, я обыкновенно прочитывал моим студентам список моих сочинений и изданий, удерживаясь, конечно, от всяких суждений о них. Прилагаю его и здесь.

1858 г. – Разбор сочинения Вердье о начале Католичества в России (напечатано в «Христинском Чтении» за этот год. – Ч. 1. – С. 33 и 185).

1859 г. – «Литовская церковная уния», том первый.

1862 г. – «Литовская церковная уния», том второй.

1862 г. – «Лекции о западнорусских церковных братствах».

1864 г. – «Лекции по истории Западной России». В конце 1883 г. напечатано новое, переработанное издание этих «Лекций» под заглавием: «Чтения по истории Западной России». В настоящем году изданы третье и четвертое издания этих чтений. Ко всем новым изданиям приложена Этнографическая карта с пояснениями ее.

1865 г. – «Документы, объясняющие историю Западной России и ее отношения к Восточной России и к Польше». Изданы по поручению Археографической комиссии с переводом на французский язык.

1867 г. – «Летопись осады Пскова Баторием». Издана по поручению Академии наук.

1869 г. – «Дневник Люблинского сейма 1569 г.». Издан по поручению Археографической комиссии по двум редакциям и с переводом на русский язык.

1872 г. – «Русская историческая библиотека», том первый. Издана по поручению Археографической комиссии. В этом издании польские дневники Смутного времени изданы с переводом на русский язык.

1873 г. – «История воссоединения униатов старых времен», до 1800 г.

1874 г. – Вторая половина выпуска Макарьевских Четых-Миней, месяц октябрь с 4 по 19 число.

1880 г. – Конец месяца октября Макарьевских Четых-Миней с 19 по 31 число. Оба выпуска изданы по поручению Археографической комиссии. В обоих из них, особенно во втором, текст Макарьевских Четых-Миней сличен с имеющимися греческими и латинскими подлинниками и с более древними русскими рукописями Новгородской и Кирилло-Белозерской библиотеки, хранящимися в Петербургской Духовной Академии.

1880 г. – Три подъема русского народного духа для спасения русской государственности в Смутные времена. Напечатано в «Христианском Чтении» за этот год и в небольшом числе оттисков.

1880 г. – «Куликовская битва». Напечатано в «Церковном Вестнике» за этот год (№ 39) и в небольшом числе оттисков.

1883 г. – «Историческая живучесть русского народа и ее культурные особенности» – публичная лекция, прочитанная в Славянском Обществе<sup>1070</sup>.

## Примечания

<sup>1</sup> - Речь, произнесенная проф. И.С. Пальмовым в торжественном общем собрании Славянского Благотворительного Общества 1 декабря 1891 г.

<sup>2</sup> - См. протокол общего торжественного собрания Славянского Общества 25 ноября 1890 г. в «Славянских Известиях» (1891. – № 12. – С. 204). Упоминая о «чтениях» М.О. Кояловича в Славянском Обществе, председатель разумел главным образом следующие его сообщения и речи, произнесенные в общих собраниях членов Славянского Общества: 1) Разбор сочинения Ф.М. Уманца «Вырождение Польши» (14 февраля 1872 г.); 2) Эпизод из истории Западнорусской церковной унии начала нынешнего столетия (11 мая 1874 г.); 3) По поводу кончины Ю.Ф. Самарина (28 марта 1876 г.); 4) В память в Бозе почившего Государя Императора Александра II (22 марта 1881 г.); 5) Историческая живучесть русского народа и ее культурные особенности (23 января 1883 г.); 6) О положении русских галичан (23 апреля 1883 г.). Все эти сообщения и речи напечатаны, между прочим, в сборнике «Первые 15 лет существования Санкт-Петербургского Славянского Благотворительного Общества 1868–1883 гг.» (Спб., 1883. – С. 197–200, 270, 271; 371–378; 669–671; 746–755; 774–777), некоторые же (как, например, 3, 5 и 6) – отдельными брошюрами; 7) Об «Апелляции» к папе галицкого униатского священника Иоанна Наумовича, отлученного от Церкви по обвинению в схизме, и о значении этого памятника с русской и общеславянской точки зрения (17 ноября 1883 г.; напечат. в «Известиях Санкт-Петербургского Славянского Благотворительного Общества». – 1883. – Декабрь. – № 3.); 8) О Грюнвальдской битве 1410 года (Там же. – 14 февраля 1885 г. – № 3); 9) Несколько данных из литературной истории Паннонских житий святых Кирилла и Мефодия и Церковнославянской грамоты (7 апреля 1885 г. Там же. – 1885. – Апрель. – № 4); 10) Историческое разъяснение вопроса, что делать теперь нашему Славянскому Благотворительному

Обществу (Там же. – 1887 – 6 апреля. – № 5–6. – Май–июнь); 11) Речь, посланная в Киев по случаю празднования в 1888 году девятисотлетия со времени Крещения Руси (Там же. – 1888. – Июнь–июль – № 6–7,); 12) Пятидесятилетие воссоединения униатов в 1839 г. и историческое значение этого события (11 мая 1889 г., напечат. в «Славянских Известиях». – 1889. – № 22) и некоторые другие.

<sup>3</sup> - См., например, некролог в «Церковном Вестнике» (1891. – 29 августа. – № 35). Ср. с этим некрологом биографические сведения о М.О. Кояловиче, напечатанные по случаю празднования 35-летия его службы (в прошлом (1890) году, 6 ноября) в «Церковном Вестнике» (1890. – 8 ноября. – № 45). В «Церковном Вестнике» (№ 35 за текущий год) вместе с некрологом о М.О. Кояловиче помещены и надгробные речи, сказанные его сослуживцами, слушателями и почитателями, прекрасно характеризующие его как профессора, общественного деятеля и человека (см., например, речь преосв. Антония, ректора Академии и др.). См. также тщательно написанный г. Бершадским некролог о М.О. Кояловиче в Журнале Министерства народного просвещения (1891, октябрь); статью проф. И.П. Филевича в «Варшавском Дневнике» (1891. – 27 августа. – № 190) и в других изданиях.

<sup>4</sup> - Это некто Ярослав Михайлович Онацевич, «умный и хороший человек», замечает М.О. Коялович на копии своего письма, «не отставший, однако, от полонизма». Копия этого письма (без конца) также любезно предоставлена мне наследниками – сыновьями покойного М.О. Кояловича.

<sup>5</sup> - Ибо в копии имеющегося у меня письма к Я.М. Онацевичу М.О. Коялович упоминает уже о предложении ему академической кафедры со стороны ректора Академии.

<sup>6</sup> - В том же письме к Я.М. Онацевичу М.О. Коялович указывает, например, на неудачу переговоров с обер-гофмаршалом двора Его Императорского Величества Олсуфьевым относительно поступления в преподаватели и гувернеры к 12-летнему его сыну и о других неудачах.

<sup>7</sup> - Заимствовано из собственноручной записи М.О. Кояловича, писанной им 15 августа 1855 г. и представляющей как бы жизненный завет самому себе при вступлении в общественную жизнь и на службу.

<sup>8</sup> - До 1869 г. М.О. Коялович преподавал в Академии русскую церковную историю и гражданскую, т. е. обе половины русской истории; а с 1869 г. вследствие разделения этих двух половин и приурочения каждой из них к особой самостоятельной кафедре занимал кафедру русской гражданской истории вплоть до самой кончины.

<sup>9</sup> - В этом отношении не лишен интереса по искренности и правдивости чувства Адрес студентов-слушателей М.О. Кояловича, поднесенный ему в день исполнившегося 25-летия его службы 6 ноября 1890 г. «Ваши лекции, – писали студенты, обращаясь к М.О. Кояловичу, – заставляли нас с живым интересом вникать в события родной истории, видеть поражающую мощь и доблесть русского народа и его замечательные зиждительно государственные способности, и тем научили нас сознавать себя русскими людьми, обязанными ценить все хорошее русское, относясь вместе с тем беспристрастно и к плодам Европейской цивилизации. Представляя в делах лучших русских людей живую историю русского народного самосознания, Вы стремились образовать в нас просвещенный взгляд на исторические судьбы Родной земли, чтобы тем побудить сознательно проводить в жизнь народные начала и отстаивать русское дело, и в этом отношении Вы дали нам превосходный образец: и в профессоре-теоретике и в практическом деятеле в Вас был всегда виден один и тот же истинно русский человек, неуклонно проводящий и твердо отстаивающий основные принципы русской исторической жизни – Православие и народность». Полный текст Адреса напечатан в «Церковном Вестнике» – 1890. – № 45.

<sup>10</sup> - Для подтверждения этого можно опять сослаться на Адрес студентов-слушателей, поднесенный ему в день исполнившегося 35-летия его службы.

<sup>11</sup> - Журнал Министерства народного просвещения. – 1891. – Октябрь.

<sup>12</sup> - См. указатель разных его статей в примечании 13.

<sup>13</sup> - Указывая в этом и других следующих примечаниях ряд статей М.О. Кояловича, напечатанных им в разных периодических изданиях, мы, конечно, не претендуем на полноту своего списка, который может быть пополнен еще другими статьями, почему-либо не вошедшими в настоящий список. В «Церковном Вестнике», изд. с 1875 г., М.О. Коялович был постоянным деятельным сотрудником до самой своей кончины. В период с 1875 по 1891 г. им были там напечатаны, например, следующие статьи: в 1875 г. – Воссоединение с Православной Церковью холмских униатов (№ 16, 18 и 20), Новые взгляды на православные западнорусские братства (№ 40); в 1876 г. – Новейшие известия о делах в Холмско-Варшавской епархии (№ 17); в 1877 г. – По поводу известия из Праги о принятии Православия Сладковским; в 1879 г. – О почившем архиепископе Василии Лужинском (№ 5), О покойном русском историке С.М. Соловьеве (№ 41), Вопрос о примирении с поляками (№ 48); в 1880 г. – Измена Варлаама Шишацкого, архиепископа Могилевского (№ 24), Куликовская битва и ее значение в истории Русской государственности и Русской Церкви (№ 39), Глумление над русским и православным делом в Западной России (№ 45), Свислочская смута (№ 47 и 48); в 1881 г. – Вероисповедные обращения и соращения в Западной России (№ 12), Виленские раскопки у Пречистенского собора по документам (№ 19), Значение латинского прославления наших славянских апостолов святых Кирилла и Мефодия (№ 36), Как восстает наше русское общество из своего нравственного падения (№ 46, 47, 48 и 50); в 1882 г. – Воспоминание о 19 февраля 1861 г. на лекции по русской истории в Сибирской Духовной Академии (№ 9), Идеальные религиозные требования и русская религиозная действительность (№ 11–13), Прежние взгляды Кулиша на Россию и Польшу, на Православие, Унию и Латинство (№ 21–23), Разъяснение папских замыслов касательно русского народа (№ 27 и 29), Церковные перемены в Галиции и их значение для нас (№ 38 и 39), Состояние

православного духовенства на Западной окраине России в связи с некоторыми вопросами, касающимися всего русского духовенства (№ 42–44), Недуги нашего времени и общественное сознание их (№ 50); в 1883 г. – Наши русские исторические знамена веры и народности (№ 8, 9, 11, 13 и 14), Оценка деятельности в Западной России графа М.Н. Муравьева (№ 22), Новое положение латинского духовенства в России (№ 29 и 30), Наша русская общественность и ее воспитательное влияние (№ 37, 38 и 39), Соединение церквей Восточной и Западной в действительной жизни униатов (№ 43, 45, 47 и 50); в. 1885 г. – Современные вопросы русской науки, особенно духовной (№ 10 и 11), По поводу посещения Митрополитом Платоном латинского костела в м. Коростышеве (№ 32), Предстоящее (в 1885 г.) тысячелетие кончины славянского апостола Мефодия (№ 49), в 1885 г. – Еще о праздновании тысячелетия святого Мефодия (№ 5), Латино-польская ловля русского человека в Холмской Руси (№ 18), Папское умиротворение смущенной совести верующего (№ 23); в 1886 г. – Несколько слов об И.С. Аксакове (№ 5), Поездка в Западную Россию (№ 45–52); в 1887 г. – Продолжение описания путешествия (№ 3–6, 8, 10, 11), Современное папство и наше сильное оружие против него в Западной России (№ 38), Польский отзыв о церковнославянском богослужении в костелах Западной России (№ 38), Новые задачи и новые трудности нашему русскому духовенству (№ 40), Естественные ожидания от Папы в дни его юбилея (№ 46), Судьбы русского просвещения и русской религиозной жизни на окраинах России (№ 49 и 50); в 1888 г. – Разгадка современного кризиса в папстве (№ 11), Старое и новое русское понимание Латинства и отношение к нему России (№ 16, 19 и 20), По поводу предстоящего соглашения с Римом (№ 23), Сила влияния нашего равноапостольного Владимира на латинский мир (№№ 36–38); в 1889 г. – К предстоящему пятидесятилетию воссоединения западнорусских униатов 1839 г. (№ 9–13), Заметка М.О. Кояловича об ответе ему П.О. Бобровского по вопросу о воссоединении униатов (№ 19), Историческое значение воссоединения с Православной Церковью

западнорусских униатов в 1839 г. и естественные особенности празднования его пятидесятилетия (№ 20–22), Новый вопль из Галиции (№ 33), Новый папский призыв к религиозной вражде (№ 36, 37 и 45), История проектов об учреждении в Вильне Духовной Академии и современная нужда в ней (№ 47–49); в 1890 г. – Заметка по поводу проекта г. Струнникова о новой Академии (№ 1), Проект Православной Духовной Академии в Вильне Митрополита Макария (№ 2), Новые усилия развенчать приснопамятного Митрополита Иосифа Семашку к славе и чести (№ 11–12), Призывал ли император Николай I Иосифа Семашку к Православной вере (№ 21) и др. В «Христианском Чтении» были напечатаны, между прочим, следующие статьи: Замечания об источниках для истории Литовской церковной Унии (1858 г., ч. 2); Разбор сочинения Вердые о начале Католичества в России (1858 г., ч. 1), Об отношениях западнорусских православных к литовско-польским протестантам во времена унии (1860 г., ч. 2), Борьба Униатского митрополита Ипатия Поцея с литовско-русскими православными в 1599–1613 гг., (1860 г., ч. 2), Две критико-библиографические статьи (1861 г., ч. 2), О почившем Митрополите Литовском Иосифе (1868 г., ч. 2, 1869 г., ч. 1), Церковно-исторический памятник из времен Первого раздела Польши с Предисловием М.О. Кояловича (1872 г., ч. 2), Деятельность Георгия Конисского после Первого раздела Польши (1873 г., ч. 1), Три подъема русского народного духа для спасения нашей государственности во времена самозванческих смут (1880 г., ч. 1), Разбор критики К.Н. Бестужева-Рюмина на сочинение М.О. Кояловича «История русского самосознания» (1885 г., ч. 1).

<sup>14</sup> - В Журнале Министерства народного просвещения напечатаны, между прочим, следующие статьи: Рецензия по поводу 3-го тома Археографического сборника - документов, относящихся к истории северо-западной Руси (1868 г., ч. 139), О заслугах покойного Митрополита Литовского Иосифа в деле русского образования в Западной России (1868 г., ч. 140), Трехсотлетняя годовщина Люблинской унии (1869 г., ч. 143), Рецензия на статью Трачевского «Польское бескорольеве и



румынская неурядица во 2-й половине XVI в.» (1869 г., ч. 146), Рецензия на статью М.И. Смирнова «Ягелло–Яков– Владислав и первое соединение Литвы с Польшей» (1869 г., ч. 146); по поводу Книги кагала – Материалы для изучения еврейского быта и Описание дел, хранящихся в архиве Виленского генерал-губернаторства (1870 г., ч. 152); О разделах Польши (1871 г., ч. 158), Рецензия по поводу издания Каталог древним актовым книгам губерний: Виленской, Гродненской, Минской, Ковенской и проч. (1872 г., ч. 164), Просьба жителей Западной Малороссии о принятии в русское подданство 1773 г. (1872 г., ч. 163), Яков Смогоржевский – полоцкий униатский архиепископ, впоследствии Униатский митрополит (1873 г., ч. 165), Прежние воззрения польского писателя Крашевского на бывшее Литовское княжество, т. е. Западную Россию (1883 г., ч. 225), Рецензия на «Записки» Иосифа Митрополита Литовского (1884 г., ч. 231), Разбор сочинения П.О. Бобровского «Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I» (1890 г., июнь).

<sup>15</sup> - В газете И.С. Аксакова «День» с 1861–1862 гг. напечатаны, например, следующие статьи: в 1861–1862 гг. – Несколько слов по поводу болгарского вопроса – Письмо к редактору (№ 6), Люблинская уния Литвы с Польшей (№ 10–12), Заметки о проекте ксендза-иезуита (№ 20), Своекоштные студенты и вольнослушатели Сибирской Духовной Академии (№ 21), О западно-русских церковных братствах (№ 36–42), Сведения о современном состоянии западнорусских братств (№ 44–45), Известия из Белоруссии (№ 46); в 1863 г. – Письмо к редактору о братствах (№ 3), Давайте книги для западно-русского народа или бросьте все заботы об открытии для него школ (№ 6), Что нужно Западной России? (№ 10), По поводу указа Сенату (31 марта) о даровании амнистии поднявшим оружие против правительства в Западных губерниях (№ 15), Народное движение в Западной России (перепечат. из «Русского Инвалида», № 81), О расселении племен Западного края России (№ 20), Встреча народности Западной России с Русской государственностью и великорусской народностью (№ 23, перепечат. из «Русского Инвалида», № 117), Спор униатов с

латинянами – Исторический документ (№ 26), Об отношении русского общества к Западной России (№ 27), Пора собираться домой (№ 28), Три мученические кончины (№ 29), Где наши силы? (№ 31), Верноподданничество поляков (№ 39), Приглашение записываться в церковные братства Западной России (№ 46), О церковных братствах (№ 52); в 1864 г. – О разных недоумениях и странных суждениях по поводу западнорусских братств (№ 8), Несколько слов о графе Д.Н. Блудове: Западной России на память, (№ 9), Лекции по истории Западной России (с № 14 по № 29 включительно), Желают быть русскими и православными (№ 36), Нужны промыслы, нужны ремесла в западнорусском народе (№ 46), О холмских униатах (№ 48), Заметка о материалах для этнографии Царства Польского (№ 50); в 1865 г. – Настало ли время мириться с поляками? (№ 1), Разбор сочинения Д.А. Толстого о Католицизме в России (№ 2, 6 и 18), Новые сведения о почитании нового латинского мученика Андрея Бобола (№ 3), По поводу вновь изданного иезуитом отцом Мартыновым сочинения Якова Суши о жизни и подвигах Иосафата Кунцевича (№ 14), Как устроить нормальное положение в Западной России (№ 20), Ответ газете «Голос» по поводу критики «Лекций по истории Западной России» (№ 44), Разъяснение газете «Голос» (№ 49) и др.

<sup>16</sup> - «Русский Инвалид» 1863 года (№ 91, 117). См. в предыдущем примечании.

<sup>17</sup> - В «Гражданине» 1872 г. помещены, например, следующие статьи: Исторические письма – Дотатарская Русь (№ 1, 3, 6, 13, 14, 18), По поводу столетия со времени первого раздела Польши (№ 18), Новая политика польской эмиграции (№ 23), Старокатоличество в польском мире (№ 25 и 27) и др.

<sup>18</sup> - В «Правде» за 1888–1889 гг. М.О. Коялович напечатал множество статей, из которых мы укажем, например, следующие: в 1888 г. – К Западной России – статьи по еврейскому вопросу (№ 2, 36), Русские историки провинились – по поводу исследования иезуита Пирлинга о браке Иоанна III с Софией Палеолог (№ 3–8), О XIV томе Актов Виленской Археографической комиссии (№ 9–10), Чего хочет от нас

Западная Европа (№ 22), Об изд. П.Н. Батюшкова «Волынь» (№ 23–24), Владимиромы дни (№ 28), В защиту славянофилов (№ 29–31), Об «Истории Польши» М. Бобржинского в русском переводе (№ 32–33, № 40–48); в 1889 г. – Новогодние заметки (№ 1), Русский народ, его инородцы и наплыв иноземцев (№ 5–9), К пятидесятилетию воссоединения западнорусских униатов 1839 года (№ 12) и мн. др.

<sup>19</sup> - Несколько статей напечатано в «Новом Времени», например: Новые явления в русско-польском вопросе (1880. – № 1725 и 1755) и мн. др.

<sup>20</sup> - См. примечание 2.

<sup>21</sup> - Это приглашение было сделано в письме от 13 сентября 1861 г. Ввиду важности и общего интереса этого письма для характеристики того литературного направления, с которым приходилось теперь ближе стать покойному М.О. Кояловичу, мы позволим себе привести в целом письмо И.С. Аксакова: «Милостивый государь Михаил Иосифович, В.И. Ламанский подал мне приятную надежду иметь вас сотрудником. Не будучи знаком с вами лично, хотя и коротко знаком с вашими сочинениями, я не решался обратиться к вам прямо с предложением принять участие в моем издании, тем более, что настоящая программа моя, где объяснялось направление газеты, осталась не напечатанною. Тем более рад я обязательному посредничеству Ламанского, дававшему мне возможность стать с вами в прямые отношения. Я нисколько не намерен стеснять вас в выборе предмета, но желаю, однако же, откровенно объяснить, какой именно помощи жду я от вас в настоящую минуту, или, вернее, какой именно темный вопрос требует если не разрешения, то освещения от ваших знаний и дарований. Для нас теперь всего важнее вопрос Польский, и именно о границах польских. Я уже давно, года три тому назад, хотел поднять этот вопрос в литературе, с тем, чтобы полюбовно размежеваться с поляками (в области литературы), но тогда мне это не удалось. Думаю, что теперь удастся. Отношение Литвы и Белоруссии к Польше может быть настоящим образом определено только с помощью исторических, статистических и этнографических данных.

Русская так называемая образованная публика отличается совершенным невежеством во всем, что не заключается в учебниках исторических Вебера или в географии Бальби и Риттера, следовательно, во всем, что касается истории и географии Польши, Литвы, Белой и Червонной Руси и всех славянских племен. А как моя газета со всею искренностью, серьезностью и строгостью убеждения посвящена делу нашего народного самосознания, то содействие таких людей, как вы, для нее драгоценно. Вы, может быть, по слухам, составили себе ложное понятие о моем патриотизме и о славянофильстве вообще. Смеем вас уверить, что мы умеем сочетать любовь и веру в народ русский со строгим и беспристрастным судом над древней и современной Русью и способны глядеть в лицо истины без страха, а потому в этом отношении вам нечего опасаться».

<sup>22</sup> - Не разумеется ли здесь начало тех статей («Люблинская уния Литвы с Польшей»), которые помещались в газете «День» (1861–1862 гг.) не с № 7, как обещал И.С. Аксаков в своем письме, а с № 10?

<sup>23</sup> - См. примечание 15.

<sup>24</sup> - Не разумеется ли здесь критическая статья, напечатанная в № 1 «Дня» (за 15 октября 1861 г.) под заглавием «Киевская комиссия дня издания древних грамот и Актов Юго-Западной России и польские патриоты. Немецко-австрийские тенденции»?

<sup>25</sup> - Дневник Люблинского сейма 1569 г.

<sup>26</sup> - По поводу указа Сенату (31 марта) о даровании амнистии поднявшим. оружие против правительства в Западных губерниях. — День. — 1863. — 15 апреля. — № 15.

<sup>27</sup> - Сохранившаяся переписка обнимает главным образом период времени с 1861 по 1865 г. Сохранилось, впрочем, одно письмо от 1884 г., в котором И.С. Аксаков благодарит за присланную ему в дар М.О. Кояловичем книгу «История русского самосознания» («это — превосходнейший и крайне полезный труд» — писал И.С. Аксаков) и сообщает о своем намерении приостановить на время издание газеты «Русь», а

потом возобновить ее в «преображенном и усиленном виде» (т.е. в виде еженедельного издания). Последнее письмо (из имеющихся у меня, по крайней мере, в руках) И.С. Аксакова к М.О. Кояловичу написано 15 апреля 1885 г. (из Ялты) по поводу совершившегося чествования тысячелетия со времени блаженной кончины святого Мефодия 6 апреля 1885 г., причем И.С. Аксаков писал М.О. Кояловичу: «Читаю всё ваши речи, и всегда читаю их с искренним удовольствием и умилением: так неослабно горит ваше священное пламя любви к Руси и к Родине; никакие личные несчастья и испытания, никакие недуги и жестокие удары судьбы не ослабили вашей энергии».

<sup>28</sup> - Речь эта произнесена была в общем собрании членов Санкт-Петербургского Отдела Московского Славянского Благотворительного Комитета 28 марта 1876 г. (см. выше примечание), напечатана и в брошюре «В память Юрия Федоровича Самарина. Речи, произнесенные в Петербурге и в Москве по поводу его кончины». – СПб.: Издание Славянского Общества, 1876.

<sup>29</sup> - Речь эта напечатана также и отдельной брошюрой (28 с). – Сибирь, 1883.

<sup>30</sup> - См. примечание 2.

<sup>31</sup> - См. примечание 2.

<sup>32</sup> - Апелляция к папе Льву XIII русского униатского священника местечка Сталат (Львовской митрополии в Галиции) Иоанна Наумовича против Великого отлучения его от Церкви по обвинению в схизме (в переводе с латинского подлинника), 1883 г. Ср. выше, примечание 1.

<sup>33</sup> - В деле духовного объединения Славян М.О. Коялович возлагал твердые упования на наше духовенство, ссылаясь, например, на его незабвенные пастырские заслуги и дела христианской любви во время прошлой русско-турецкой войны. Говоря о значении Православия, «того великого живительного славянского начала, которое так высоко подняло дух нашего народа в настоящие времена» (т. е. во время русско-турецкой войны), М.О. Коялович писал: «Нельзя при этом не указать как на великое знамение времени на то положение, какое занимает

наше духовенство в деле... объединения всех Славян. Когда у нас началось народное движение на помощь южным Славянам, то наше духовенство поняло своим историческим чувством, подобно народу, своим разумением действительного папства, что настало великое время православной славянской деятельности, и, никем не понуждаемое, заговорило о милосердии и любви к ближнему. Все уже теперь знают, что религиозная сторона сильнее всего в отношениях нашего народа к южным Славянам: кто же теперь может сказать, что наше духовенство не поняло своего дела? Оно, очевидно, поняло его лучше других, а со временем, может быть, откроется, что его понимание привлечет к нам и западных Славян». См.: Церковный Вестник. – 1877. – № 4.

<sup>34</sup> - Текст выделен автором.

<sup>35</sup> - Церковный Вестник. – 1877. – № 4.

<sup>36</sup> - См. выше, примечания 2, 18.

<sup>37</sup> - Текст выделен автором.

<sup>38</sup> - Так, например, в русском естествознании любопытным предметом изучения могло бы быть постоянное стремление его заходить в область предметов, стоящих вне пределов естествознания. В этом сказывается и чисто русская несдержанность, и в то же время чисто русская потребность цельного мирозерцания. Точно так же в истории русской математики могли бы быть предметом любопытного исследования четвертое и даже больше четвертого измерения. Наконец, могло бы быть еще более любопытным исследование теории нашего русского спиритизма в связи с теориями указанных наук и разного рода явлениями нашей русской жизни.

<sup>39</sup> - Так, например, много лет находится у меня загадочная книга Иванова о хронографах, и много раз я в нее вчитывался; но только недавно уяснил себе, что главная особенность этой книги – не только не хронографы, о которых он больше всего говорит, а разбор научности Байера и Шлецера и программа тех вопросов по русской истории, которые у нас запущены благодаря этим ученым немцам.

<sup>40</sup> - В конце XV века у нас был случай, что даже древнейшая хронологическая дата подверглась чисто субъективной критике. Когда пришлось решать, будет ли Кончина мира с окончанием семи тысяч лет от Сотворения мира, что падало на 1492 год, то даже Иосиф Волоколамский, как бы с трудом расставаясь с укоренившимся мнением, обращал внимание на то, что есть разные счисления годов от Сотворения мира.

<sup>41</sup> - Вот это свидетельство: «Общий курс (С.М. Соловьева) 1848–1849 г., – говорит К.Н. Бестужев-Рюмин, – начинался понятием об истории как народном самосознании, затем, охарактеризовав разные виды летописей краткими, но меткими чертами, профессор переходил к изложению историографии, причем останавливался и на записках современников. Изложение историографии кончается на Полевом». – Биографии и характеристики. – Сибирь, 1882. – С. 262.

<sup>42</sup> - Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. – Изд. Н.В. Калачова. Кн. 2, 1-я пол., отд. 3. – С. 3–82; Русский Вестник. Т. II. –1856; Т. VIII. – 1857.

<sup>43</sup> - Пособие к изучению русской истории. – Киев, 1870.

<sup>44</sup> - Лекции по русской истории. Изд. П. Гайдебурова (Обзор летописей). – Сибирь, 1862.

<sup>45</sup> - Более богаты историческим содержанием: 1) История русской словесности – лекции профессора Шевырева, 4 части (до начала XVI в.). – М., 1859– 1860. Недавно изданы лекции того же профессора Шевырева, читанные в Париже в 1862 г., включающие сокращение большого его труда и краткое изложение дальнейшей истории русской литературы. Оканчивается началом разбора исторических сочинений Карамзина; 2) Летописи русской литературы и древности профессора Тихонравова. 5 том. – 1859–1863; 3) Наука и литература в России при Петре Великом – исследование П. Пекарского. 2 тома. – Сибирь, 1862 (сочинение драгоценное по богатству фактов, но, к сожалению, проникнуто западническими воззрениями); 4) Исторические хрестоматии и курсы «Истории словесности» профессоров Буслаева и Галахова, особенно

Исторические очерки русской словесности и искусства профессор Буслаев; 5) История русской словесности – профессора Порфирьева, 2 части (вторая часть 1 вып.). – 1879 и 1881. Другие важные для нас сочинения этого рода, например профессора О.Ф. Миллера и А. Незеленова, увидим ниже.

<sup>46</sup> - Обзорение славяно-русской библиографии. – Сибирь, 1849.

<sup>47</sup> - Многочисленные его библиографические труды печатались в «Москвитянине» (1845 г.) и в «Чтениях Московского общества истории и древностей» (1846–1848 гг.). Его очерк славяно-русской библиографии с дополнениями А.Ф. Бычкова и А.Е. Викторова (1871 г.).

<sup>48</sup> - Описание старопечатных книг библиотеки Царского. – 1836; Описание старопечатных книг библиотеки графа Ф.А. Толстого, 1841.

<sup>49</sup> - Хронологическая роспись славянских книг. – Сибирь, 1861. Недавно (1883 г.) стало выходить новое издание.

<sup>50</sup> - Опыт русской библиографии. – Сибирь, 1813–1821.

<sup>51</sup> - Сибирь, 1828.

<sup>52</sup> - Литература русской истории за 1859–1864 гг. включительно. Т. I. – Сибирь, 1866.

<sup>53</sup> - Пыпин А.Н., Спасович В.Д. История славянских литератур. Т.2. – С. 449.

<sup>54</sup> - Там же. – С. 777.

<sup>55</sup> - Там же. – С. 1119, 1120.

<sup>56</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Изд. Кожанчикова Д.Е. Т. 1. – Петербург, 1872. Литература науки занимает в этом томе 246 с.

<sup>57</sup> - См.: Предисловие к первому тому Полного собрания летописей, изданному в 1846 г.

<sup>58</sup> - Никоновская летопись Т. V. – С. 28. Под 1409 г

<sup>59</sup> - Полное собрание летописей. Т. II. – С. 225.

<sup>60</sup> - Воскресенская летопись. – Полное собрание летописей. Т. 8. – С. 96.



<sup>61</sup> - Софийская летопись. – Полное собрание летописей. Т. 6. – С. 192.

<sup>62</sup> - См.: Предисловие к светописному изданию первой Новгородской летописи. – 1875.

<sup>63</sup> - Взгляд этот высказал Н. И. Костомаров в своих вышеупомянутых «Лекциях».

<sup>64</sup> - Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. 4.

<sup>65</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. – С. 18–30.

<sup>66</sup> - Например, в отзывах об Изяславе Мстиславиче – сопернике Юрия Долгорукова.

<sup>67</sup> - Преподаватель Антоний из Любеча, преподаватель Феодосий из Курска, Арефа из Полоцка, Исаакий из Тороица купец, Евстраний и Никон были в плену у половцев; Моисей-угрин из Угорской страны был в плену в Польше; Иеремия помнил Крещение Русской земли; Варлаам и Ефрем были из придворных; наконец, иноки, выходившие на игуменные и епископские места, сохраняли связь со своим монастырем, как видно из примера Симона, епископа Владимирского.

<sup>68</sup> - Ян Вышатич и его род были друзья и почитатели иноков Печерского монастыря. Близость к Печерскому монастырю князя Изяслава, особенно Святослава – известна.

<sup>69</sup> - См.: Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. 5 (1871 г.). Отд. IV. – С. 113 (в моей записке, которая там указана глухо, показано, что места, обставленные особым рода четырехточием, несомненно, составляют вставки).

<sup>70</sup> - Говорим: с возможной для фотографии точностью, потому что свет не все воспроизводит при этом. По засаленным местам рукописи он как бы скользит, не воспроизводит их. Приходится рукой поправлять ошибки светописи. Это очень важно знать, потому что где только прикасается рука человека, там сейчас возникает вопрос, верно ли она сделала свое дело. Следовательно, и светописное издание летописей не может вполне заменить подлинных летописных списков при их научном изучении.

<sup>71</sup> - История России. Т. 3. – С. 118 по изд. 3-му.

<sup>72</sup> - 2 В статье Н.И. Ламбина «Источник летописного сказания о происхождении Руси» (Журнал Министерства народного просвещения. – 1874. – Июнь–июль) – новейший и весьма обстоятельный опыт сличения разных текстов летописи по вопросу о начале Руси.

<sup>73</sup> - Подробно они перечислены у Соловьева. – 3 т. – С. 118–135 по 3-му изд., а еще подробнее – в 1 и 3 частях исследования К.Н. Бестужева-Рюмина «О составе русских летописей». Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. 4.

<sup>74</sup> - Рассказывая о расселении славян, летопись постоянно упоминает, что и такие-то племена – словени, и такие-то – тоже словени. В небольшом отрывке об этом слово «словени» употребляется восемь раз и, кроме того, в начале рассказа употребляется выражение, что от Яфетова племени «бысть язык словенск» и в конце его говорится: «тако разндеся словеньский язык, тем же и грамота прозвася словеньская». – Лаврентьевская летопись. Изд. 1872 г. – С. 506.

<sup>75</sup> - Там же. – С. 25–28.

<sup>76</sup> - «... и книгам (Ярослав Мудрый) прилежа и почитая е часто в нощи и в дне; и собра писцы многы, и прекладаше от грек на словеньское письмо, и списаша книги многы, и списка, имиже поучающесе вернии людье наслажаются ученья божественнаго... Велика бо бывает полза от ученья книжного, книгами бо кажеми и учими есмы пути покаянию, мудрость бо обретаем и вздержанье от словес книжных; се бо суть реки, напаяющи вселеную, се суть исходища мудрости, книгам бо есть неисчетная глубина...» – Там же. – С. 148.

<sup>77</sup> - Описав тягостное путешествие Даниила к Батыю на поклонение и прием у него, сопровождавшийся угощением кумысом и затем присылкой Даниилу вина, летописец продолжает: «О злее зла честь Татарская! Данилови Романовичу князю бывшу велику, обладавшу рускою землею, Киевом и Володимером и Галичем, со братом си, (и) иными странами: ныне селить на колону и холопом называешься, и дани хотять, живота не чаешь и грозы приходять. О злая честь

татарская!... и прииде в землю свою и сrete его брат и сынове его, и бысть плачь обиде его, и большая бе радость о здравьи его». – Ипатьевская летопись. Изд. 1871 г. – С. 536, 537.

<sup>78</sup> - Творения св. отцов. Кн. 4. – 1881. – С. 602–649.

<sup>79</sup> - Тверская летопись. – С. 465.

<sup>80</sup> - Под 1175 г. говорится: «Андрею, княже великий! молися помиловати князя нашего и господина Ярослава своего же приснаго и благороднаго сыновца, и дай же ему на противныя и многа лета с княгинею и прижитие детей благородных» (Предисл. – С. 1). Первый ли брак здесь разумеется, заключенный в 1206 г., и от которого у Ярослава не было детей, или второй, 1214 г., после которого у Ярослава было много детей, во всяком случае, летопись писана между 1206 и 1215 г.

<sup>81</sup> - 1 Соф. 5, 94.

<sup>82</sup> - 1 Соф. 5, 99.

<sup>83</sup> - 1 Соф. 5, 113.

<sup>84</sup> - 1 Соф. 5, 125, 128, 146.

<sup>85</sup> - 1 Соф. 5, 176.

<sup>86</sup> - 1 Соф. 5, 182; Ник. 3, 19.

<sup>87</sup> - 1 Соф. 5, 207; Воскр. 7, 188; Ник. 3, 116, 4, 285.

<sup>88</sup> - 1 Соф. 5, 227; Воскр. 7, 216, Ник. 3, 198.

<sup>89</sup> - 1 Соф. 6, 1; Воскр. 8, 159 (подробн.); Ник 6, 15–36, 65–105.

<sup>90</sup> - 1 Соф. 6, 25.

<sup>91</sup> - 1 Соф. приб. 6, 57.

<sup>92</sup> - 1 Соф. приб. 6, 69.

<sup>93</sup> - 1 Соф. приб. 6, 82.

<sup>94</sup> - 1 Соф. приб. 6, 87; Воскр. 7, 212.

<sup>95</sup> - 1 Соф. приб. 6, 90; Воскр. 8, 34; Ник. 4, 86.

<sup>96</sup> - 1 Соф. приб. 6, 98; 2 Соф. 6, 42.

<sup>97</sup> - 1 Соф. приб. 6, 104; Воскр. 8, 53; Ник. 4, 184.

<sup>98</sup> - 2 Соф. 6, 119, Ник. 4, 203.

<sup>99</sup> - 2 Соф. 6, 129.

<sup>100</sup> - 2 Соф. 6, 135, 325.

- <sup>101</sup> - 2 Соф. 6, 135.
- <sup>102</sup> - 2 Соф. 6, 144; Ник. 5, 110.
- <sup>103</sup> - 2 Соф. 6, 151; Ник. 5, 128. В Ник. затем выписки из разн. соборных постановлений против латинян 160–191.
- <sup>104</sup> - 2 Соф. 6, 225; Воскр. 8, 207.
- <sup>105</sup> - 2 Соф. 6, 255; Воскр. 8, 255; Ник. 6, 196.
- <sup>106</sup> - 2 Соф. 6, 267; Воскр. 8, 285.
- <sup>107</sup> - 2 Соф. прилож. 6, 306.
- <sup>108</sup> - 2 Соф. прилож. 6, 330.
- <sup>109</sup> - Воскр. 8, 125; Ник. 5, 222.
- <sup>110</sup> - Воскр. 8, 128; Ник. 5, 221.
- <sup>111</sup> - Воскр. 7, 253.
- <sup>112</sup> - Воскр. 7, 256.
- <sup>113</sup> - Ник. 3, 141.
- <sup>114</sup> - Воскр. 8, 26; Ник. 4, 66.
- <sup>115</sup> - Воскр. 8, 100.
- <sup>116</sup> - Воскр. 8, 205.
- <sup>117</sup> - Ник. 4, 258.
- <sup>118</sup> - Ник. 5, 59.
- <sup>119</sup> - В настоящее время уже в значительной степени возможно изучение этого богатейшего рукописного материала. Есть уже немало описаний рукописей, в том числе необыкновенно тщательные. Таковы, кроме старого, известного «Описания Румянцевского музея», составленного Востоковым, «Описания рукописей Московской Синодальной библиотеки» (Горского и Невоструева), к сожалению, далеко не оконченного, «Описание церковнославянских и русских рукописных сборников Императорской Публичной библиотеки», составлено А.Ф. Бычковым, три выпуска – 1878, 1880 и 1882 гг.; многие части в описаниях рукописей, составленных покойным Викторовым; в «Описаниях рукописей Казанской и Киевской академий» и «Описание рукописей Виленской Публичной библиотеки», сост. Ф. Добрянским, 1882 г. Некоторые отделы рукописных сборников С.-Петербургской Духовной Академии были предметом научных сочинений и часть одного из них

напечатана в Летописи занятий Археографической комиссии. Вып. 3. – 1865.

<sup>120</sup> - Феодор Студит был по Седьмом Соборе за седьм сот лет без два-десятых до скончания седьмая тысячи (т. е. 6320 г.), а до сих времен за седьм сот лет, как был Феодор Студит (6320 + 700 = 7020 – 5508 = 1512). Хроногр. Попова, 1.162; 2,2.

<sup>121</sup> - Это видно из перемен чисел вышеуказанного исчисления. Феодор Студит, показано, жил по Седьмом Соборе в лето 6342, а до сих времен за 783. Попов 2, 70.

<sup>122</sup> - Первый выпуск издан в 1866 г., а в 1869 г.– второй выпуск и «Изборник статей».

<sup>123</sup> - Собрание законов. – № 3908.

<sup>124</sup> - Полнейшее указание исследований о летописях сделано М.И. Сухомлиновым в указанном сочинении и К.Н. Бестужевым-Рюминым в его «Истории России». – С. 1–19, прим.

<sup>125</sup> - Предисловие к 1 изд. «Вивлиофики».

<sup>126</sup> - Издания этого Общества: 1) Русские достопамятности – 3 ч.; 2) Труды и летописи Общества – 8 ч.; 3) Русский исторический сборник – 7 т.; 4) Чтения 1846 г. – 6 т.; 1847 г. – 9 т.; 1848 г. – 9 т.; 1849 г. – 1 т.; 5) с 1849 г. – 8 «Временник» – 25 кн.; 6) с 1868 г.– Чтения – по 4 кн. Кроме того, Общество это издало много отдельных книг – летописей, исследований, и в том числе 2 т. книг Посольской метрики Великого княжества Литовского за время Сигизмунда Августа и Стефана Батория, т. е. второй половины XVI ст.

<sup>127</sup> - Барсуков. Жизнь и труды П.М. Строева. – С. 67, 68. Иванов – о хронографах. – С. 255.

<sup>128</sup> - Письма русских государей. Изд. 1848 г.; Переписка Алексея Михайловича. – Изд. Бартенева, 1856; Бумаги Петра. – 1873. Подробное указание этого рода изданий см.: Бестужев-Рюмин К.Н. История России. – С. 76–86.

<sup>129</sup> - Его «История» обнимает время от вступления на престол Романа младшего до Цимисхия (о войне со Святославом см. главы V, VIII и IX).

<sup>130</sup> - Макушев. Быт славян. – С. 47, 50.

<sup>131</sup> - Дитмар. Кн. 7, § 52. В нашей литературе есть исследование о Дитмаре – «Титмар Мерзебургский и его хроника» Ф.Я. Фортинского. – Петерб., 1872.

<sup>132</sup> - См.: Белевского «Monumenta». Т. 1. – С. 381. Галл принадлежал к идскому ордену, члены которого вызваны были Владиславом Германом с тем, чтобы они испросили ему у Бога чадородие. По их будто бы молитвам у Владислава родился Владислав Кривоустый. Галл решился описать дела этого Владислава, столь тесно связанного с его орденом. Эта часть его хроники особенно важна. Все остальное рассказывается с целью дать нравоучение этому Владиславу.

<sup>133</sup> - По изд. Белевского. Т. 1, кн. 1, § 8 и 10 о войне между Болеславом Храбрым и Ярославом; кн. 1, § 23 о делах в России другого Болеслава – Смелого при нашем князе Изяславе Ярославиче.

<sup>134</sup> - Предание, что не Кадлубек, а другой писатель был первым хроникером, существовало и прежде. См.: Белевский. Предисловие к «Хронике» Галла.

<sup>135</sup> - Недавно в нашей литературе появилось сочинение, в котором рассматриваются польские хроникеры до половины XIV века. Это сочинение г. Линниченко «Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV столетия». Ч 1. – Киев, 1884. К сожалению, автор не обратил внимания на тот важный вопрос, как польские хроникеры понимали отношение Польши к немцам.

<sup>136</sup> - Немецкие хроники касательно Ливонии, и особенно хроника Генриха Латыша, обстоятельно исследованы в недавно появившемся сочинении г. Трусмана «Введение христианства в Лифляндию». – Петерб., 1884. Во введении этого сочинения изложена литература предмета.

<sup>137</sup> - Литвин М. – С. 47, 49.

<sup>138</sup> - Там же. – С. 47.

<sup>139</sup> - В новом польском изд. (1857 г.) с 281 с. 1 т. и до 131 с. 2 т.

<sup>140</sup> - Гейденштейн Р. История Польши. Т. 2. – С 169.

<sup>141</sup> - Там же. – С. 195.

<sup>142</sup> - «Путешествие... Даниила» издано Археографической комиссией под ред. А.С. Норова в 1864 г.; в новой обработке издано Палестинским обществом в 1883 г. В 1877 г. Археогр. ком. издала исследование этого «Путешествия», составленное М. А. Веневитиновым. «Путешествие... Антония» издано в 1872 г. той же Археографич. ком. под ред. П.И. Савваитова. «Путешествие... Лукьянова» изд. в «Русском Архиве» за 1863 г. «Хождение в Индию Аф. тверитина» – в Приложении ко 2-й Софийской летописи.

<sup>143</sup> - Повесть о Флор. соборе. Изд. в Софийской и Никоновской летописях «Проскинитарий» Суханова изд. – Казань, 1870.

<sup>144</sup> - «Catalogue de la section des Russica ou ecrits sur la Russie en en langues etrangeres». 2 т. – Петерб., 1873.

<sup>145</sup> - Сказания иностранцев о быте и нравах славян. – Петерб., 1861.

<sup>146</sup> - Москва, 1866.

<sup>147</sup> - Древняя и Новая Россия. – 1875.

<sup>148</sup> - Вольга Святославич, ехавший принимать в свое управление города, пожалованные ему Владимиром, увидел по пути ратая, пахаря; насилу в третий день доехал до него и увидел все необыкновенным – и ратая, и лошадь его, и соху, и работу. Богатыри сошлись, и пахарь согласился ехать с Вольгой Святославичем; но потом вспомнил, что оставил соху в поле и что ее лучше бы спрятать в ракитов куст. Но когда послали это сделать, то никто из дружины Вольги не смог двинуть сохи, даже вся вместе дружина; сделал это только сам пахарь. Дальше и конь пахаря оказался лучше коня Вольги. (Рыбников. Т. 1. – С. 17–22).

<sup>149</sup> - Вот эта песня былинная: Быв на Руси Чорный Бог, Пред ним стояв Туров рог; И он, на Киев поглядав, Гомон ведьмам подавав. А Владимир наш Святый, Чорна Бога скелотыв, А мученица Варвара Усе ведьмы разогнала, Ведьмы что у ночну пору Слетались на Лысу Гору...(Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае. – Вып. 1. – № CXVIII).

<sup>150</sup> - Вестник Европы. – 1868. – № 1–4, 6, 7, а также в газетах того времени, например: Сибирские Ведомости. – № 318, 319.

<sup>151</sup> - Литература указана: Журнал Министерства народного просвещения. – 1876. – Сент., окт.; еще новее: Киевск. универс. изв. – 1880. – № 7.

<sup>152</sup> - Из изд. Тихонравова.

<sup>153</sup> - Она носит и название, подобное ему, именно: «Слово о великом князе Димитрие Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, яко победили супостата своего, царя Мамаю». Выписки, подтверждающие подражание «Слову о полку Игореве»: «уже, братья, не стук стучит, не гром гремит в славном граде Москве: стучит рать великаго князя Дмитрия Ивановича... На том поле сильные тучи ступишася, а из них часто сияли молыньи и загремели громаы велицыи: то ступишася русские удальцы с погаными татарами за свою великую обиду, а в них сияли сильные доспехи злаченные, а гремели князи русские мечами булатными о шеломы хиновские».

<sup>154</sup> - Приложение к «Календарю Академии наук» за 1864 г.

<sup>155</sup> - История России в жизнеописаниях главнейших ее деятелей. Т. 1. – С. 207, 208; 220–223, особенно примеч. 2 к с. 223.

<sup>156</sup> - Уже само заглавие сочинения дает понять и воззрения, и приемы автора. Вот оно «История в память предыдущим родом, да незабвена будут благодеяния Божия, иже показа нам Мати Слова Божия, от всей твари благословенная, приснодевая Мария, и како соверши обещание свое к преподобному Сергию, еже яко нетступна буду от обители твоя. Писано же бысть тояже великия обители живоначальные Троицы Сергиева монастыря келарем Авраамием Палицыным. И ныне всяк возраст да разумеет и всяк да приложит ухо слышати, како грех ради наших попусти Господь Бог наш праведное свое наказание от конец до конец всея России, и како весь словенский язык возмутися и вся места по России огнем и мечем поядены быша» События описаны от смерти Иоанна IV или собственно со смерти Феодора, т. е. с 1598 г. до 1613 г.



<sup>157</sup> - Степенная книга. Изд. 1775 г.; Указатель к ней изд. Археографической комиссией в 1883 г.

<sup>158</sup> - Жизнь и значение князя Курбского, 1858 г. Здесь содержатся и сведения о жизни Курбского.

<sup>159</sup> - Жизнь князя Курбского и окружавшие его влияния в Западной России (в нынешней Волынской губ., именно в Ковле), исполненные великих треволнений, изложены с документами в изд. Киевской Археографической комиссии под заглавием «Жизнь князя Курбского». 2 части. 1849; Сочинения князя Курбского изданы Устряловым под заглавием «Сказания князя Курбского». Было три издания, последнее – 1865 г., первое – 1833 г., второе – 1843 г.

<sup>160</sup> - К русскому подлиннику сделана приписка: «Григория Карпова Котошихина Польского приказа подьячего, а потом Александром Селицким зовомого, работы в Стохолме 1666 и 1667 гг.» (Пред. ко 2 изд. – 4).

<sup>161</sup> - Археографическая комиссия предпринимает новое издание сочинения Котошихина.

<sup>162</sup> - В Предисловии к шведскому переводу Котошихина есть сведения о том, что заставило написать это сочинение. «Первая мысль и желание, – говорится там, – описать нравы, обычаи, законы, управление и вообще настоящее состояние своего отечества родилась у него тогда, как он во время бегства своего из России, посещая разные области и города (Польшу, Любек, Нарву), имел случай замечать в них отличное от Московии устройство политическое, преимущественно же в той стране (Швеции), в которой он остался на постоянное жительство. Важнейшей же побудительной причиной к продолжению уже начатого им труда служило ободрение государственного канцлера, высокородного графа Магнуса Гавриила Де-ля-Гарди, который, узнав острый ум Селицкого и его особенную опытность в политике, дал ему средства и возможность окончить начатый труд» (Предисл. – С.11:12). Недавно в «Записках Академии наук» (за 1882 г.) появилось исследование о Котошихине Я.К. Грота, во многом изменяющее мнение об этом беглеце из России.

<sup>163</sup> - Рядом с указанием бить легко, наедине, говорится: а про всякую вину по уху и по лицу не бить, ни кулаком под сердце, ни пинком, ни посохом не колоти, никаким железным, ни деревянным не бить. – С. 100.

<sup>164</sup> - Работных своих всех свободих и наделих; и иных (от?) окупих из работы на свободу попущах. И все те работные наши свободны, и добрыми домами живут, яко видиши, молят за ны Бога и доброхотают нам всегда, а кто забыл нас, – Бог его простит во всем. А ныне домочадцы наши все свободне живут у нас по воли. (Далее– описание, скольких Сильвестр вывел в люди; изд Яковлева. – С 150).

<sup>165</sup> - Литература о Домострое – у Порфирьева, 516, 517. Светское содержание в Домострое начинается с 15 главы. Всех глав 64 и прибавочные статьи о яствах и брачном праздновании Новейшее издание – В. Яковлева, 1867 г. и в Чт. Моск. общ. ист. и древн. 1881, кн. II и 1882, кн. I.

<sup>166</sup> - Рассказы И.Д. Беляева. Кн. 2. – С. 378.

<sup>167</sup> - Беляев И.Д. Крестьяне на Руси. По изд. 1860 г. – С. 165, 166.

<sup>168</sup> - Самое лучшее и полное перечисление памятников этого рода, а также подробное указание того, что из них издано – у Бестужева-Рюмина, вторая половина отдела – акты. С. 102–108.

<sup>169</sup> - У Буткова – Оборона Нестора. С. 456, примеч. 52 – указываются акты из времен Иоанна III (см. также Ак. арх. экспед. Т. 1. – № 336, 337), в которых упоминается о чертежах или географич. картах. См. также у Татищева, т. 1. – С. 506.

<sup>170</sup> - Описание Румянцевского музея. – № LXXXIII.

<sup>171</sup> - В «Описании Румянцевского музея» нет выписок из этой «Истории», а только Предисловие и Послесловие.

<sup>172</sup> - Соловьев С.М. История России. – Т. 13. – С. 183.

<sup>173</sup> - Полное собрание летописей. Т. 2. – С. 233.

<sup>174</sup> - Словарь Евген., под словом Феодосии Сафонович.

<sup>175</sup> - IV. – С. 159. По Каталогу рук. графа Толстого. Отд. 1, № 237. Предисловие к этой «Истории» напечатано в Приложении к

соч. Е.Е. Замысловского – Царствование Феодора Алексеевича. Прилож. IV. – С. XXXV.

<sup>176</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 16. – С. 18 и 316; Пекарский П.П. Наука и литература при Петре. Т. I. – С. 317.

<sup>177</sup> - Соловьев. Указ. соч. Т. 16. – С. 316.

<sup>178</sup> - Обзорение духовной литературы арх. Филарета. Т. 2. – С. 22.

<sup>179</sup> - Пекарский П.П. Указ. соч. Т. 1. – С. 319.

<sup>180</sup> - В посвящении говорится, что этот труд вызван величием дел Петра.

<sup>181</sup> - Посвящение Петру подписано этим годом. Архив Н.В. Калачова. Т. 1. Кн. 2-я. – С. 4. Описание Румянцевского музея. № CCLXX.

<sup>182</sup> - Байер писал свои сочинения на латинском языке, на котором печатались тогда «Комментарии Академии наук». Некоторые из сочинений Байера переведены были на русский язык. Список тех и других помещен в «Истории Академии наук», сост. П. Пекарским. Т. 1. – С. 194–196.

<sup>183</sup> - За 1855 г. Т. 2, 1-я половина. – С. 15–40.

<sup>184</sup> - М., 1861.

<sup>185</sup> - Новые известия о В.Н. Татищеве, 1864 г. Приложение к т. IV «Записок Академии наук».

<sup>186</sup> - № 1, 2, 3, 5, 8 и 12; перепечатано в соч.: Бестужев-Рюмин К.Н. – Биографии и характеристики. Изд. 1882.

<sup>187</sup> - Т. 47, кн. 1.

<sup>188</sup> - Содержание глав кн. 1 Татищева изложено у Соловьева. – Архив Н.В. Калачова. Т. 2, 1-я половина.

<sup>189</sup> - Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. 4. – С. 71.

<sup>190</sup> - Первый том соч. Посошкова изд. в 1842 г., второй – в 1863 г. – М.

<sup>191</sup> - Архив Н.В. Калачова. Т. 2, 1-я половина. – С. 35, 36.

<sup>192</sup> - Древняя и Новая Россия. – 1875. – № 12. Новый поворот к осуждению Татищева мы уже указывали. Это речь профессора Голубинского и Иоакимовской летописи. Творения

святых отцов. 1882 г. № IV. – С. 602–642. Однако в 1884 г. обнаружены новые данные, восстанавливающие значение Татищева. В указанном уже нами сочинении г. Линниченко «Взаимные отношения Руси и Польши» во многих местах показывается, что только Сводная летопись Татищева дает возможность восстановить смысл тех или других событий, рассказанных неверно польскими хроникерами.

<sup>193</sup> - Записки Академии наук. Т. 48. Кн. 1.

<sup>194</sup> - Пекарский П.П. История Академии наук. Т. 1. – С. 360.

<sup>195</sup> - Пекарский П.П. Указ. соч. Т. 1. – С. 247.

<sup>196</sup> - Там же. Т. 2. – С. 901.

<sup>197</sup> - Там же. – С. 611.

<sup>198</sup> - Пекарский П.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 208.

<sup>199</sup> - Там же. – С. 230, примеч.

<sup>200</sup> - Изданы эти три рассуждения в 1773 г. – СПб. Об этих рассуждениях упом. в «Истории Академии наук» Пекарского. Т. 2. – С. 209, 230.

<sup>201</sup> - Впрочем, есть известие, что этого ученого немца подвел тут тогдашний его ментор по русскому языкознанию, сейчас указываемый Тредьковский, осмеивавший затем Байера за эту самую филологию. Пекарский. История Акад. наук. Т. 1. – С. 190, прим. 1.

<sup>202</sup> - Будилович А.С. Ломоносов как писатель. Соч. Изд. 1871 г. – С. 53, 54. Судьба бумаг в Академии наук Татищева и Ломоносова могла бы быть предметом любопытных изысканий. К сожалению, она совсем не разъяснена в «Истории Академии наук», составленной П. Пекарским. Значительные материалы для этих изысканий, кроме указанного сочинения А.С. Будиловича, собраны в изысканиях о трудах Ломоносова Билярского и В.И. Ламанского. Но остается сделать еще многое, например проследить, что брали у Татищева и Ломоносова Миллер и Шлецер.

<sup>203</sup> - Архив Н.В. Калачова. Т. 2, 1-я пол. – С. 42.

<sup>204</sup> - Архив Н.В. Калачова. Т. 2. 1-я пол. – С. 43.

- <sup>205</sup> - Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand, par Voltaire, 1775 an avec portrait. Сведения о составлении этой «Истории» – у С.М. Соловьева Т. 24. – С. 223–227. Хлопоты Вольтера начались еще в 1745 г. Согласие дано в 1757 г.
- <sup>206</sup> - Пекарский П.П. История Академии наук. Т. 1. – С. 388.
- <sup>207</sup> - Там же. – С. 378.
- <sup>208</sup> - Пекарский П.П. Указ. соч. Т. 1. – С. 374, 375.
- <sup>209</sup> - С.М. Соловьев о Шлецере // Русский Вестник. – 1856. – С. 500.
- <sup>210</sup> - Пекарский П.П. Указ. соч. Т. 1. – С. 379.
- <sup>211</sup> - Там же. – С. 381.
- <sup>212</sup> - Соловьев о Шлецере. – С. 501.
- <sup>213</sup> - Соловьев о Шлецере. – С. 533.
- <sup>214</sup> - Там же. – С. 518.
- <sup>215</sup> - Шлецер. Нестор. Т. 1. – С. 325.
- <sup>216</sup> - Пекарский П.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 835.
- <sup>217</sup> - Соловьев о Шлецере. – С. 518.
- <sup>218</sup> - Шлецер. Указ. соч. Т. 1. Предисловие. – С. 33, 34.
- <sup>219</sup> - Пекарский П.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 835, 836. Там указаны первоначальные сочинения Ломоносова; Соловьев. История России. Т. 26. – С. 307.
- <sup>220</sup> - Т. 1. – С. 405.
- <sup>221</sup> - История Акад. наук. Т. 2. – С. 829, 830. Сам Шлецер сознается и в том, что в 1764 г. он задумал оставить Россию и в Германии издать свои *Rossica*, т. е. приобретенные материалы по русской истории и статистике. – Соловьев. История России. Т. 26. – С. 305.
- <sup>222</sup> - Соловьев о Шлецере. – С. 524. Чтобы судить об искренности верноподданических чувств Шлецера, нужно вспомнить, что когда Академия наук предлагала ему навсегда остаться в России, он никак на это не соглашался.
- <sup>223</sup> - Пекарский П.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 840, 841.
- <sup>224</sup> - «Нестор есть первый и единственный отечественный источник русской истории до 1154 г. Нестор есть первый, древнейший, единственный, по крайней мере, главный источник

для всей славянской, детской и скандинавской истории сего периода». Признавая некоторое значение только за Иорданом и Прокопием, Шлецер о других писателях говорит следующее: «Писанное Дитмаром и даже современником Несторовым Адамом (Бременским) есть не иное что, как отрывки, и не значит ничего. Византийцы узнали Русь только со времени Игоря. Польские хроники все недавние, а древнейшие из них не имеют смысла; истина, какую только можно отыскать в них, выкрадена из Нестора, а бессмыслица принадлежит им собственно». – Шлецер. Указ. соч. Ч. 1. – С. 423 и далее.

<sup>225</sup> - Т. 1. – С. 418, 419; т. 2. – С. 178–180.

<sup>226</sup> - В недавно появившемся втором выпуске «Истории русского права» Д.Я. Самоквасова собраны богатые данные, ниспровергающие прославленную научность Шлецера. Немало их есть и в первом томе «Истории русской жизни» И.Е. Забелина.

<sup>227</sup> - Записки Долгоруковой изданы в «Русском Архиве» за 1867 г.; записки Нащокина и Шаховского – в «Современнике» за 1875 г. в 52 т.; записки Болотова в – «Русской Старине» и особым изданием.

<sup>228</sup> - Издано по подлинной рукописи в «Русской Старине» за 1870–1871 гг.

<sup>229</sup> - Это жестокая критика, можно сказать, всей нашей жизни в прошедшем столетии с Петра до 1788–1789 гг., когда Щербатов писал это исследование. Лица царские и все главнейшие правительственные очерчены весьма откровенно и...резко.

<sup>230</sup> - См.: Щербатов М.М. Русская история. Т. 1. Предисловие. – С. XIV.

<sup>231</sup> - Т. 1. – С. 87.

<sup>232</sup> - Т. VII. Кн. 15. – С. 205.

<sup>233</sup> - 5 частей в 15 т. изданы в 1770–1792 гг.

<sup>234</sup> - Указатель под словом «Россия».

<sup>235</sup> - «Варяги и варяго-русы. Первые – финны, а последние – финны же с русскими помешанные. До Рюрика финские короли руссами владели, и Гостомыслова отца Боривая

(Иоакимовская летопись) победа, на славян дань наложили». – Т. 1. – С. 43.

<sup>236</sup> - «Варяги не просвещеннее были русских, они, живучи в соседстве с ними, общие и одинаковые имели с ними познания». – Т. 2. – С. 110.

<sup>237</sup> - Болтин И.Н. Т. 2. – С. 474, 475.

<sup>238</sup> - Там же. – С. 478.

<sup>239</sup> - Премия в 100 червонцев деньгами и медаль в 25 червонцев была назначена в 1766 г. за решение такой задачи: что болезненнее для общества: чтоб крестьянин имел в собственности землю, или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение простираться должны? (Премия предложена Екатериной под именем неизвестной особы.) // История вольного экономического общества. – С. 367, 368. Ответ Поленова на этот вопрос напечатан в «Русском Архиве» за 1865 г.

<sup>240</sup> - Болтин И.Н. Т. 2. – С. 355.

<sup>241</sup> - Там же. – С. 235, 236.

<sup>242</sup> - Там же. – С. 240.

<sup>243</sup> - Болтин И.Н. Т. 2. – С. 383.

<sup>244</sup> - Там же. – С. 60.

<sup>245</sup> - Щербатов. – Т. 1. – С. 2.

<sup>246</sup> - Болтин И.Н. Т. 1. – С. 268.

<sup>247</sup> - Болтин И.Н. Т. 1. – С. 16–19.

<sup>248</sup> - Там же. – С. 29, 30.

<sup>249</sup> - Олег вещий – значит, привез много вещей. Ходили до Юрьева, т. е. дня, – значит, будто бы до города Юрьева и т. п.

<sup>250</sup> - Перемена эта произошла в Миллере еще в 1760 г., по всей вероятности, под влиянием исторических изысканий Ломоносова. Он высказал это мнение в «Summlung Geschichte», 1760 г. Т. 5. – С. 385. Затем он его повторил в 1772 г. в своем русском сочинении «О народах, издревле в России обитавших». Соч. переизд. и в 1778 г. (Шлецер. Указ. соч. Т. 1. – С. 373).

<sup>251</sup> - Русский Архив. – 1866; Заря. – 1870. – № 3. – С. 20; ст. П.К. Щербальского.

<sup>252</sup> - Полн. собр. соч. Екатерины. Т. 1 – С. 297; 339; 395.

<sup>253</sup> - В 1786 г. Екатерина много занималась драмами – Рюрик и Олег. (Храповицкий под этим годом. – С. 8–16). Под 1788 г. 31 августа – занятия русской историей. 1788 г. 18 августа: «Пред обедом поднес реестр собранным мною из библиотеки и сундуков историческим книгам и манускриптам. Почти все читала». 1791 г. под 22 июня: «Принялись за российскую историю; говорили со мной о Несторе». 1791 г. под 23–24 того же месяца: «Упражняются в продолжении истории российской; поднес книги и выписки к тому принадлежащие». 1791 г. сентября 21–22: «Во время разговоров об истории российской сказано мне, что Александр Невский был герой; нашли то, чего никто здесь не написал, т. е. что папа, отправляя народного легата, поощрял в Норвегии, Дании и Швеции составить кроасаду (Крестовый поход) против Александра Невского, но намерение сие осталось бездейственным».

<sup>254</sup> - Спб., 1863.

<sup>255</sup> - Полн. собр. соч. Екатерины. Т. 3; Заря. – 1870. – № 3. – С. жд323–29.

<sup>256</sup> - Спб., 1793–1801.

<sup>257</sup> - Ипатьевская летопись по старому изданию – т. 2, с. 5; по новому – с. 200.

<sup>258</sup> - Шлецер. Нестор. Т. 1. – С. 156, счет славян. букв.

<sup>259</sup> - Там же. – С. 169, счет славян. букв.

<sup>260</sup> - Там же. – С. 157, счет славян. букв.

<sup>261</sup> - Там же. – С. 173, счет славян. букв.

<sup>262</sup> - Там же. – С. 373–375.

<sup>263</sup> - Там же. Т. 2. – С. 613, 660, 710, 721, 726 и 728.

<sup>264</sup> - Шлецер. Нестор. Т. 1. – С. 175.

<sup>265</sup> - «Сознавая пользу исторических наук (Платон, в мире Петр Егорович), сам собой научился географии и истории, которую любил во всю свою жизнь», – говорит его жизнеописатель, близко его знавший, Снегирев. – Жизнь Митрополита Платона. Ч. 1. – С. 7 по изд. 1856 г.



<sup>266</sup> - Словарь достопамятных люд. – Под слов. Бантыша-Каменского.

<sup>267</sup> - Снегирев. Ч. 1. – С. 52, 53.

<sup>268</sup> - Бантыш-Каменский, между прочим, имел влияние и на Евгения, впоследствии Митрополита Киевского. Святитель Воронежский Тихон поручал его вниманию Бантыша-Каменского, когда отправлял Евгения в Московскую Академию. Воронежские Епарх. Ведом. – 1868. – № 2.

<sup>269</sup> - Новиков. Сочинение А. Незеленова (1875 г.) – С. 153. И другие выдержки из журналов новиковского времени мы указываем по тому же прекрасному наследованию г. Незеленова как более доступному читателям для проверки и дальнейших разъяснений, могущих понадобиться.

<sup>270</sup> - Там же. – С. 308.

<sup>271</sup> - Там же. – С. 310.

<sup>272</sup> - Незеленов. Указ. соч. – С. 35.

<sup>273</sup> - Там же. – С. 396.

<sup>274</sup> - Там же. – С. 397, 398.

<sup>275</sup> - Последний XX т. «Вивлиофики» изд. в 1791 г.

<sup>276</sup> - Погодин М.П. Н.М. Карамзин. Сочинение. Т. 1. – С. 148; по новому изданию А.С. Суворина. Т. 2. – С. 150.

<sup>277</sup> - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 1, 2; по изданию Суворина – т. 2 – С. 146, 147. Выдержки из сочинений Карамзина за это подготовительное время мы указываем по Погодину, а для желающих читать их в самих сочинениях Карамзина указываем номера по Хронологическому списку сочинений Карамзина, составленному С. Пономаревым («Записки Академии наук». Т. 45). Там указаны разные издания этих сочинений.

<sup>278</sup> - Погодин М.П. Указ. соч. Т. I. – С. 3. Список С. Пономарева № 76.

<sup>279</sup> - Там же. – С. 3, 4. Список С. Пономарева № 86.

<sup>280</sup> - Письма Карамзина к Дмитриеву. – С. 95.

<sup>281</sup> - Письма Карамзина к Дмитриеву. – С. 116.

<sup>282</sup> - Там же. – С. 122, 205.

<sup>283</sup> - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 17.

- 284 - Там же. – С. 7; Список С. Пономарева № 237.
- 285 - Там же. – С. 9, 10; Список С. Пономарева № 266.
- 286 - Там же. – С. 12–14; Список С. Пономарева № 277.
- 287 - Там же.
- 288 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 8; Список С. Пономарева № 243.
- 289 - Там же. – С. 8, 9.
- 290 - Там же. Т. 1. – С. 148; Список С. Пономарева № 192, 208, 362.
- 291 - Там же. – С. 328; Список С. Пономарева № 216.
- 292 - Там же. – С. 330, 331.
- 293 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 1. – С. 331; Список С. Пономарева № 216.
- 294 - Там же.
- 295 - Замечательная у него картина. «Воображение мое, – говорит он, – не может представить ничего величественней сего дня, когда в древней столице нашей соединились обе гемисферы (полушария) Земли, явились все народы, рассеянные в пространствах России, языков, обычаев и вер различных: потомки славян победителей, норманнов, ужасных Европе, и финнов, столь живо описанных пером Тацитовым, мирные пастыри южной России, лапланские ихтиофаги и звериными кожами одеянные камчадалы. Москва казалась тогда столицей вселенной и собрание российских депутатов – сеймом мира. Им торжественно объявили волю монархии (чтобы составили законы России), – и самоед удивился, слыша, что нужны законы людям» (анекдот в комиссии). – Там же. – С. 334.
- 296 - Там же. – С. 328, 329.
- 297 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 207.
- 298 - Там же.
- 299 - Там же. – С. 329.
- 300 - Там же. Т. 2. – С. 17–19.
- 301 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 1. – С. 388, 389.

302 - О трудах Круга см.: Журнал Министерства народного просвещения. Ч. LXVI, критика А.А Куника.

303 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 21.

304 - Выбираем более выдающиеся места из довольно обширной характеристики трудов Карамзина, сделанной Погодиным.

305 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 185, 186.

306 - Там же. – С. 188.

307 - Там же. – С. 194, 195.

308 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 68.

309 - Там же. – С. 85.

310 - Там же. –С. 128.

311 - Там же. –С. 87.

312 - Карамзин хотел довести русскую историю до Романовых, т. е. до Михаила Феодоровича.

313 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 188, 189.

314 - К началу 1820 г. кончено было 2-е издание этих 8 томов, 9-й том вышел в 1821 г., 10 и 11 – в 1824 г., 12-й (до 1611 г.) писан в 1825 г., а издан уже после смерти Карамзина в 1826 г.

315 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 197.

316 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 295.

317 - Там же. – С. 141, 142.

318 - Предисловие к «Истории». – С. 1.

319 - Карамзин Н.М. История государства Российского. – С. 199, 200.

320 - Там же. – С. 204.

321 - Кропотков Д. Муравьев М.Н.– С. 123, 124.

322 - Там же. – С. 169, 170.

323 - Министр внутренних дел Кочубей хлопотал о дозволении иезуитам распространять Христианство между магометанами и язычниками Восточной окраины России. – Кропотков Д. Указ. соч.– С. 173. Многие государственные люди того времени плохо знали по-русски, и даже официальные

бумаги в иных ведомствах нередко писались на французском языке. – Кропотов Д. Указ. соч. – С. 174, 175.

<sup>324</sup> - Богданович М.И. История царствования Александра I. Т. 2. – С. 408–414 (на с. 410 напечатана речь импер. Александра).

<sup>325</sup> - Оно устроено еще при Павле Петровиче (Богданович М.И. Указ. соч. Т. 1. – С. 42).

<sup>326</sup> - Богданович М.И. Указ. соч. Т. 6. – С. 80–82.

<sup>327</sup> - Кропотов Д. Указ. соч. – С. 207–211.

<sup>328</sup> - Кропотов Д. Указ. соч. – С. 208, 209.

<sup>329</sup> - Записка. 1811 г. По изд. «Русск. арх.» 1870 г. – С. 2238.

<sup>330</sup> - Записка. – С. 2241.

<sup>331</sup> - История. Т. 9. – С. 98.

<sup>332</sup> - Записка. – С. 2246, 2247.

<sup>333</sup> - Записка. – С. 2343.

<sup>334</sup> - Ссылка на Французскую революцию.

<sup>335</sup> - История. Т. 9. – С. 269.

<sup>336</sup> - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 236–238.

<sup>337</sup> - История. Т. 5. – С. 35, 36.

<sup>338</sup> - История. Т. 6. – С. 212, 213.

<sup>339</sup> - Там же. Т. 2. – С. 198, 199.

<sup>340</sup> - Записка 1811 г. – С. 2344.

<sup>341</sup> - Там же. – С. 2300–2302.

<sup>342</sup> - Там же. – С. 2302.

<sup>343</sup> - Там же. – С. 2304.

<sup>344</sup> - История. Т. 10. – С. 120, 121.

<sup>345</sup> - Там же. Т. 11. – С. 51.

<sup>346</sup> - Записка 1811 г. – С. 2350.

<sup>347</sup> - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 236.

<sup>348</sup> - Там же. – С. 238.

<sup>349</sup> - Там же. – С. 239, 240.

<sup>350</sup> - У Погодина. Торж. собр. Акад. наук. – С. 44 и в речи Петровского. Казан. универ. известия. 1867. – № 3. – С. 107.

- 351 - Торж. собр. Акад. наук. – 1866.
- 352 - Моск. универс. известия. – 1866–1867. – № 3. – С. 179.
- 353 - Там же. – С. 183, 184.
- 354 - Моск. универс. известия. – 1866–1867. – № 3. – С. 220, 221.
- 355 - Ученые записки Казан. универс. – 1867. – Т. 3. – С. 99.
- 356 - Там же. – С. 28–51.
- 357 - Записки Академии наук. – 1883. – Т. XLV. – С. 85–130.
- 358 - Мнения скептич. школы изложены: в «Вестнике Европы» с 1818 г. и до первых тридцатых; в «Ученых записках Московского университета»; в «Телеграфе» Полевого и во многих других журналах двадцатых и тридцатых годов; в «Обороне Нестора», Буткова; в сочинениях Иванова «О русских хронографах» и в «Лекциях» Погодина, особенно специально в 1 т. его «Лекций», в статье о скептическом поветрии. – С. 325–469; в новейшее время: Киевск. универс. известия. – 1871. – № 9, 10 и 11, ст. проф. Иконникова «Скептическая школа из русской историографии и ее противники».
- 359 - Погодин М.П. Указ. соч. Т. 2. – С. 199.
- 360 - Начал издавать свои исследования с 1811 по 1832 г.
- 361 - Вестник Европы – 1828. – № 13–16.
- 362 - Ученые записки Моск. универс. Кн. 1. – С. 278–298.
- 363 - Свод этих мнений можно прочесть: Киевск. универс. известия. – 1871. – № 9. – С. 37; № 10. – С. 6, 7, в исследовании о скептиках проф. Иконникова.
- 364 - Вестник Европы. Ч. CXVIII. – С. 278; ч. CXX. – С. 126, 184.
- 365 - Книга 5.
- 366 - Полевой Н. История русского народа. Предисловие. – С. XXXVII–XXXVII. Там же, на с. XXXV указана критическая статья Полевого, напечатанная в «Московском телеграфе» в 1829 г.
- 367 - Это место и нижеследующие напечатаны в «Телеграфе» за 1829 г. Т. 27.
- 368 - Полевой Н. Указ. соч. Предисловие. – С. XI–XXI.

369 - Полевой Н. Указ. соч. Предисловие. – С XXIX.

370 - Там же. – С. XLV.

371 - Полевой Н. Указ. соч. Т. 1. – С. 57.

372 - Там же. – С. 53.

373 - Там же. – С. 59, 60.

374 - Полевой Н. Указ. соч. Т. 1. – С. 52–56, 69 и далее.

375 - Описав поход Олега на Царьград, Полевой писал: «...как ярко отражается здесь X век, нравы, обычаи руссов и политика греков! Рассмотрите «Договор» Олега и вы поймете тогдашнее состояние Киева и Царьграда... Сей достопамятный «Договор», первый драгоценный письменный памятник русской истории, сохранился для потомства и вполне вписан в наши летописи. Он составлен был на славянском языке, известном грекам, имевшем письма для выражения слов и, вероятно, входившем уже в общее употребление между варягами» (Т. 1. – С.127:128). Это должно было приводить в ужас скептиков.

376 - «Туземцы, покорные варягам, были рабы. Право жизни и смерти принадлежало князьям, равно как имение туземца, сам он и семейство его. По приказу князя туземцы принимались за оружие и шли в поход, предводимые варягами» (т. 1. – С. 73). В другом месте: «Варяги должны были налагать иго тяжелого военного деспотизма на покорившиеся власти их народы. Каждый варяг долженствовал быть полновластным повелителем туземца и видеть в нем безоружного раба» (т. 1. – С. 70).

377 - Т. I, с. 270, особенно прим. ч. 209. Полевой говорит, что Русская Правда есть собрание заметок о законах русских, составленное в Новгороде разными посадниками, в разное время, чем руководствовались новгородцы при судопроизводстве, т. е. что Русская Правда есть сборник того, что прежде сохранялось в преданиях словесных, что сборник сей дополнялся и изменялся, но что основание его древнее. Во втором томе при специальном рассмотрении Русской Правды (т. 2. – С. 151–153, прим. 150) он сближает ее с законами других стран Европы. Тут он даже нападает на отвергающих древность этого памятника. «Есть еще люди, – говорит он, – вовсе

отвергающие древность Русской Правды. Они видят в ней уложение, в позднейшие времена, после Ярослава, составленное. Таким людям надобно забыть прежде всего слово «уложение» и заменить его словом «сборник». Тогда они увидят всю нелепость предположения своего. Пусть сообразят они простоту, грубость, малосложность Русской Правды и идут от нее постепенно до Судебника и Уложения. Они поймут постепенность переходов, которой не знали наши летописцы, но мы знаем и должны знать».

<sup>378</sup> - Полевой Н. Указ. соч. Т. 2. – С. 277.

<sup>379</sup> - Там же. Т. 1. – С. 224–227; Т. 2. – С. 195, 196. «Приняв веру христианскую по повелению, видя в сановниках духовных особого рода властителей, не понимая таинств религии, ужасаемые в будущем страшными карами за малейшее помышление, руссы не могли найти в религии крепкой утешительницы и спасительности своей». – Т. 2. – С. 195.

<sup>380</sup> - Там же. Т. 2. – С. 200, 201. «Нравственные предписания веры терялись для народа в обрядах, соблюдении форм, внешнем уважении к Церкви и священникам. И в духовных требах и верованиях, не в одном суде церковном, повиновались священнику, как тиуну, в делах гражданских. От сего должно было произойти двум крайностям: лицемерному безбожию и неограниченному религиозному восторгу» (о монашестве ниже).

<sup>381</sup> - Там же. Т. 2. – С. 31–40.

<sup>382</sup> - Там же. Т. 2. – С. 365, 374.

<sup>383</sup> - «История русского народа» Полевого вызвала много сочувствия в несведущих людях и злых насмешек в понимающих дело. Мнения сведены: Иконников. Киевск. универс. известия. – 1871. – № 11. – С. 14 и примеч. на 15 с. «Полевой, – говорит Погодин, – прочел кое-как Гизо, Тьерри, Бيرانта и напутал историю русского народа, уже забытую автором еще более, чем читателями (писано около 1846 г.), приставляя к прежним формулярным спискам, на телеграфский язык переведенным, по несколько слов о развитии, проявлении, требованиях века и вот говорят: «Философское направление!»

Исследователи о частных предметах никогда с ним не соглашались (ибо его путание обнаруживается не только при подробных исследованиях, но и в простом чтении), и однако ж считают долгом сказать: Карамзин полагает вот как... Полевой – вот как... Перестаньте стыдить себя, господа!» Лекции, исслед. Т. 1. – С. 332, примеч.

<sup>384</sup> - Лекции. – Т. 1. – С. 329. «Они (рассуждения о русских древностях) подействовали и на меня, хотя я с 1820-х годов ратовал и против Эверса, и Каченовского, и в магистерской своей диссертации (1825 г.) разобрал подробно сочинение первого. Связь этнографическая Новгорода с Балтийским поморьем мне нравилась, а таинственные намеки о происхождении Русской Правды, тогда не слишком еще для меня знакомой, возбуждали мое любопытство».

<sup>385</sup> - Погодин М.П. Нестор. – С. 11–14. «Представим себе, что кто-нибудь хочет начинать ее (русскую историю) с XII столетия. Очень хорошо. Слушайте. В XII столетии являются на сцене следующие действующие лица: Святополк Изяславович, Владимир Всеволодович, Олег Святославович, Давид Игоревич, Володарь Ростиславович, Василько Ростиславович, Рюрик Ростиславович, Мстислав Святополкович и проч. Все они двоюродные братья и дяди между собой, как замечаю я при первых их взаимных отношениях, допускаемых вами. Следовательно, рассуждаю я далее (по образу геометрической пропорции, в коей тремя известными членами отыскивается четвертый неизвестный), страна наша исконно принадлежала одному роду». – С. 11, 12. ... «Иностранные свидетельства, математические заключения от известного бесспорного о неизвестном и наши летописи говорят одно. Какую историко-критическую силу имеет это согласие!» – С. 13.

<sup>386</sup> - Погодин М.П. Нестор. Глава I. О достов. древней русской истории. – С. 1–4.

<sup>387</sup> - Там же. Глава VI. О договорах русских князей Олега, Игоря и Святослава с греками. – С. 113.

<sup>388</sup> - Погодин М.П. Указ. соч. – С. 91–102, особенно 96, 97 и 101. «Вспомним, – говорит Погодин, – что христианство в Киеве



начинается со времен Аскольда и Дира, а христианство без грамоты быть не может (грамота же именно и была тогда изобретена для соседей-болгар); вспомним, что при Игоре была Соборная церковь, что при Ольге был священник и переводчики, засвидетельствованные императором Константином Багрянородным (с. 91). Грамота началась за 300 лет до Нестора: мудрено ли, что между ними задолго до него явились летописатели, переводчики, которые перевели на свое болгарское, т. е. наше церковное наречие разные греческие исторические и богословские книги? Мудрено ли, что болгарские духовные приходили к нам в Киев, имевший частое и непрерывное сообщение с Константинополем и самою Болгарией, даже с целью распространить у нас христианскую веру точно так, как за сто лет пришли к ним бессмертные Кирилл и Мефодий? Мудрено ли, что болгаре принесли с собой книги, которыми Нестор воспользовался, сделав из них свои выписки в свою летопись...» и т. д. (с. 96). Затем Погодин показывает, что Нестор мог получать сведения и от самих греков (с. 101).

<sup>389</sup> - Там же.

<sup>390</sup> - Там же. – С. 173–297.

<sup>391</sup> - Все это тем большую получало силу, что такие выводы по русской истории делал профессор, читавший и всеобщую историю; но тут дело было не в одной профессорской авторитетности. Погодин и на деле обставлял свои исследования по русской истории данными из истории всеобщей. Он и начинал свое исследование с иностранных свидетельств (с. 1–8). Особенно победоносно сделано это сопоставление, главным образом на основании Эверса, при разборе договоров с греками, где каждая статья договоров сопоставляется с дипломатическими данными тех времен других народов (с. 11–154).

<sup>392</sup> - Погодин М.П. Указ. соч. – С. 226–229.

<sup>393</sup> - Погодин М.П. Лекции. Т. 1. – С. 470: «Хотя она (Оборона русской летописи Буткова) вышла через пять лет после моих исследований о Несторе, – говорит Погодин, – и

через два после полного исследования, но долг справедливости требует сказать, что автор шел совершенно своим путем, делал исследования со своей точки зрения и представил доказательства своим собственным, ему принадлежащим образом».

<sup>394</sup> - Бутков П.Г. Оборона русской летописи Несторовой от навета скептиков. Предисловие. – С. 2, 3.

<sup>395</sup> - Мнение это приведено Ивановым. – С 3.

<sup>396</sup> - Там же. – С. 4–6.

<sup>397</sup> - Иванов Н. Общее понятие о хронографах... – С. 7, текст и примеч. к нему.

<sup>398</sup> - Иванов Н. Указ. соч. – С. 23, 24.

<sup>399</sup> - В Словаре областных наречий показано: хизнуть – убивать, увядать в здоровье. Заканской, Нижегородской и Пермской губернии.

<sup>400</sup> - Приводятся ложные его показания о Татищеве и ссылка делается на сочинение «Известия о древнейших историках польских» и в особенности о Кадлубке в опровержение Шлецера. – С. 28. Яснее на с. 4142: «Разбирая Кадлубка, утаил, что разбирал не Кадлубка, а его комментатора».

<sup>401</sup> - Иванов Н. Указ. соч. – С. 25, 26.

<sup>402</sup> - Там же. – С. 28. Иванов во многих местах говорит о Татищеве и, между прочим, на с. 41 дает любопытные известия и догадки об искажении текста Татищева при его издании и об искажении рукописи его истории.

<sup>403</sup> - Иванов Н. Указ. соч. – С. 43.

<sup>404</sup> - Там же. – С. 36.

<sup>405</sup> - Погодин М.П. Т. 1. – С. 325, 394, 402–407. В одном месте своих исследований (т. 1, с. 325) Погодин даже выразился, что быстро исчезнувшая скептическая школа уступила место другой и, надо признаться, говорил он, еще более нелепой, школе славянской.

<sup>406</sup> - Бутков П.Г. Оборона русской летописи Несторовой от навета скептиков. – С. 132–147.

<sup>407</sup> - «Связь этнографическая Новгорода с Балтийским поморьем (указываемая Каченовским) мне нравилась», – говорит Погодин в 1 т. своих исследований (с. 329). В одном примеч. 2 т. исследований Погодин гораздо больше говорит об этом своем увлечении. «Я сам был, – говорит он, – несколько времени эпизодически, среди моих двадцатилетних разысканий об этом предмете (призвании князей), под влиянием этого мнения (о славянском происхождении наших князей) вместе с «Вагирством» Каченовского. – Т. 2. – С. 184, примеч. 288.

<sup>408</sup> - С. 146, 147, 150–152. Даже о немецкой цивилизации Бутков однажды выразился едко по поводу мартовского календаря: «Им (скептикам) угодно весть руссов наших от турков, а все постановления наши брать от немцев» (с. 242).

<sup>409</sup> - Бутков П.Г. Указ. соч. – С. 3, внизу.

<sup>410</sup> - Шлецер. Нестор. Т. 1. – С. 327, 328. Тунман писал. «Древности северные и восточные» Untersuchungen über die alte Geschichte der nordischer Volker. Berlin, 1772. – Ostlicher, Leipzig, 1774.

<sup>411</sup> - Мнения этих немцев приведены Погодиным. Лекции. Т. 2; Крузе. – С. 157– 162; Гольман – С. 162–165.

<sup>412</sup> - Сочинения Эверса стали появляться с 1814 г. и продолжали появляться до последних двадцатых годов. Главнейшие из них переведены и на русский язык. Это «Предварительные критические исследования для российской истории». – М., 1826 и «Древнейшее русское право», пер. – М., 1835.

<sup>413</sup> - О Сартории у Бережкова в Предисловии; о Напьерском – там же и в Предисловии к «Русско-ливонским актам».

<sup>414</sup> - Опыт истории рос. закон., перевод 1836 г., сделанный Морошкиным. – С. 342.

<sup>415</sup> - Розенкампф. Обзорение кормчей книги. – С. 100–104. Розенкампф считает Русскую Правду сборником однородным с законами северных народов. Вопрос о византийском влиянии на Россию имеет уже значительную литературу В «Истории Русской Церкви» митрополита Макария, особенно в 1 т, влияние это представляется самым светлым и благотворным. В сочинении

профессора Иконникова «Византийское влияние на Россию» Византия времен принятия нами от нее Христианства представляется лишенной всякого творчества, занимавшейся только компилятивной работой, следовательно, влияние ее на Россию могло быть дурным, искажающим русскую первобытную природу. Подобный взгляд проходит и через более серьезное сочинение профессора Терновского «О тенденциозном усвоении нами византийских воззрений». В сочинении Забелина «Жизнь русских цариц» делается различие между чистым Христианством и византийскими особенностями, пришедшими к нам из Византии.

<sup>416</sup> - Рейц. Предисловие. – С. 2.

<sup>417</sup> - Там же. – С. 6–8.

<sup>418</sup> - Рейц. – С. 2.

<sup>419</sup> - Там же. – С. 28, 29.

<sup>420</sup> - Там же. – С. 95, 96.

<sup>421</sup> - Некоторые, впрочем, как И. Забелин, недоумевают, серьезно ли это делал Сеньковский или шутил. «Искренно ли он верил своим заключениям, или это было одно только его журнальное остроумие – неизвестно», – говорит Забелин. – История русской жизни. Т. 1. – С. 100.

<sup>422</sup> - Приведено у М. Погодина. Исследования. Т. 1. – С. 288.

<sup>423</sup> - Приведено у И. Забелина. Т. 1. – С. 100.

<sup>424</sup> - Приведено Погодиным М.П. Лекции. Т. 1. – С. 291, 293.

<sup>425</sup> - Погодин М.П. Лекции. Т. 1. – С. 292.

<sup>426</sup> - Там же. – С. 292.

<sup>427</sup> - Там же. – С. 297.

<sup>428</sup> - Грановский в своих «Лекциях», особенно публичных, искусно делал указания на современные явления, не выходя, по-видимому, из рамок научности. Вот как говорит об этом один из самых сведущих в тогдашних нравах людей, Анненков, по поводу публичной лекции Грановского о Карле Великом: «Лекции профессора особенно отличались тем, что давали чувствовать умный распорядок в сбережении мест, еще

недоступных свободному исследованию. На этом-то замиренном, нейтральном клочке твердой земли под собой, им же и созданном и обработанном, Грановский чувствовал себя хозяином; он говорил все, что нужно и можно было сказать от имени науки и рисовал все, чего еще нельзя было сказать в простой форме мысли. Большинство слушателей понимало его хорошо. Так поняло оно и лекцию о Карле Великом. Образ восстановителя цивилизации в Европе был в одно время и художественным произведением мастерской кисти, подкрепленной громадной, переработанной начитанностью, и указанием на настоящую роль всякого могущества и величества на земле». Затем Анненков говорит, что в заключении лекции Грановский обратился к публике, напоминая ей, какой необъятный долг благодарности лежит на нас по отношению к Европе, от которой мы даром получили блага цивилизации и человеческого существования, доставшиеся ей путем кровавых трудов и горьких опытов. Воспоминания Анненкова. Т. 3. – С. 74, 75.

<sup>429</sup> - Старые немецкие воззрения на земельную у германцев общину и подвижную военную дружину подверг критике Зибель и в 1844 г. издал об этом сочинение, в котором доказывал существование у германцев уже в исторические времена родового устройства в смысле искусственного соединения людей и связанных, и не связанных родством под главенством родоначальника. Грановский разобрал все эти теории, давая, конечно, предпочтение Зибелю, и напечатал об этом статью в Архиве историко-юридических сведений, – Сборнике последователя Эверса – Н.В. Качалова (1-я половина 2-го т.), и, кроме того, посвятил ее тоже последователям этой теории – Соловьеву и Кавелину. В статье этой Грановский, между прочим, говорит: «Едва ли найдем у кого другого (кроме Зибеля) более верное и отчетливое определение родового государства. Зибель находит совершенно бесплодным спор, когда-то поднятый, о различии рода естественного от искусственного, ибо эти формы равно часто встречаются нам в истории и основаны на одном и том же начале. Главное здесь состоит в правильном понимании рода вообще и в умении отличить

значение родового старшины от власти отца семейства. В таком смешении заключается основной недостаток книги, впрочем превосходной, в которой впервые и притом непревзойденным до сих пор образом сближены для взаимного уяснения древности славянского и германского права. Эверс начинает везде с отца семейства, у которого рождаются сыновья и внуки, и таким образом расширяют домашний круг; но он опускает из виду, что семейство до или вне государства основано на нравственном, а не на юридическом законе, и потому развивает нравственные, а не юридические отношения. Государства никак нельзя вывести из семьи, тем более что последняя является вполне только в государстве, от которого она получает нужные для ее внешнего существования юридические определения. Семейство превращается в государство не вследствие увеличивающегося числа членов, а через духовное усиление понятия о праве, сознательную или бессознательную волю участников руководствоваться не одной родственной любовью, но и гражданскими постановлениями. Такое стремление предполагается в роде, и потому мы можем назвать его прямо государством; мы знаем, что родовая связь часто основана на вымысле, но родовые отношения через это нимало не слабеют» (с. 163, 164). Статья эта тем сильнее могла действовать в смысле западничества, что в ней осуждаются патриотические предрассудки немцев, не допускавших до времени Зибеля родового у них устройства в исторические времена и отделявших от него земельную общину.

<sup>430</sup> - У Шафарика писатели этого рода часто указываются. Между ними особенно видное место занимает знакомый и нашему Карамзину – Гебгарди, писавший о вендах и об уграх 1790 г. (Шафарик. Т. 1. – С. 39). Западноевропейские мнения, особенно новейшие о славянах, собраны в соч. В.И. Ламанского – «Греко-славянский мир».

<sup>431</sup> - Добровский написал не одни свои знаменитые *Institutiones Linguae slavicae* (изд. 1822 г.). Он писал много исследований о древностях славянских. Перечислены у Шафарика. Т. 1. – С. 40. О Добровском недавно написано у нас особое исследование – «Иосиф Добровский, его жизнь, учено-

литературные труды и заслуги для славяноведения», соч. Снегирева. Уч. записки Казанск. унив. за 1882–1883 гг. Есть и отдельное издание этого сочинения. – Казань, 1884.

<sup>432</sup> - Биографические и библиографические сведения о Венелине помещены в начале II т. его «Историко-критических изысканий».

<sup>433</sup> - Шафарик П.-И. Славянские древности. Т. 1. – С. 4.

<sup>434</sup> - Шафарик П.-И. Указ. соч. Т. 1. – С. 3.

<sup>435</sup> - Там же. – С. 2, 3.

<sup>436</sup> - Там же. Т. III. – С. 5.

<sup>437</sup> - Там же.

<sup>438</sup> - Там же.

<sup>439</sup> - Там же. – С. 4.

<sup>440</sup> - Там же. Т. II. – С. 416, 417.

<sup>441</sup> - «Карамзин в древней истории славян – неопытный и сбивчивый руководитель, вышедши из нее на чисто русскую почву, стал дееписателем, которому до сих пор нет равного между русами и не скоро найдется, судя по произведениям непризнательных его соотечественников, которые, опираясь на его рамена и черпая из его сокровищницы, вовсе не стараясь о распространении и новом позднейшем исследовании источников, безрассудно силятся унизить заслуги великого мужа» – Там же. Т. III. – С. 123, 124.

<sup>442</sup> - Шафарик П.-И. Указ. соч. Т. III. – С. 111.

<sup>443</sup> - Там же. – С. 119.

<sup>444</sup> - Погодин М.П. Нестор. – С. 160.

<sup>445</sup> - Там же. Т. 1. – С. 375, 376.

<sup>446</sup> - Погодин М.П. Лекции. Т. II. – С. 321, 322.

<sup>447</sup> - Там же. – С. 395, 396.

<sup>448</sup> - Там же. – С. 399.

<sup>449</sup> - Там же. – С. 400.

<sup>450</sup> - Там же. – С. 396.

<sup>451</sup> - Погодин М.П. Лекции. Т. 1. – С. 1.

<sup>452</sup> - Погодин М.П. Лекции. Т. 1. – С. 339.

- 453 - Там же. – С. 339, 340.
- 454 - Погодин М.П. Лекции. Т. 1. – С 361, 362.
- 455 - Там же. – С. 362, 1, внизу.
- 456 - Там же. – С. 408, 409.
- 457 - Там же. – С. 409.
- 458 - Погодин М.П. Лекции. Т. 1. – С. 393.
- 459 - Там же. – С 432, 433.
- 460 - Там же. – С 433.
- 461 - Там же. – С. 433, 434.
- 462 - Погодин М. П. Лекции. Т. 1. – С. 421.
- 463 - Воспоминания и критические очерки И.В. Анненкова. Т. III. – С. 147.
- 464 - Там же. – С. 148.
- 465 - Там же. – С. 148, 149.
- 466 - Для проверки взглядов г. Пыпина на время Александра I полезно читать соч. полковника Д Кропотова – «Жизнь графа М.Н. Муравьева в связи с событиями его времени» (1874 г.) и статьи покойного А. Н. Попова в «Русском Архиве» и «Русской Старине» за 1876 и 1877 гг.: «Россия пред 1812 и в 1812 году». Наконец, фактическая сторона всего времени Александра I изложена без всяких притязаний на теорию в сочинении генерала Богдановича – «История царствования Александра I», 6 томов (1869–1871 гг.).
- 467 - «Вестник Европы» за тот же 1867 г.
- 468 - Киевск. универс. известия –1864.
- 469 - Исследование. Изд. 1846 г. – М., Текст «Русской Правды». – Последнее, 3-е изд. – Сибирь, 1881.
- 470 - Журнал «Атеней». – 1859. – Ч. 1. – С. 165–197.
- 471 - В «Русском Архиве» помещена статья Хомякова о сельской общине. В статье этой, между прочим, показывается связь общины и артели. – 1884. – № 4. – С. 268.
- 472 - Вече и князь. Изд. 1867 г. Сочинение это вошло в курс «Истории русского права».



<sup>473</sup> - Исследование это напечатано во 2 т. Сборника государственных знаний. Исследование это тоже вошло в сокращении в курс профессора Сергеевича.

<sup>474</sup> - Лекции и исследования по истории русского права. – Сибирь, 1883. – С. 764–819.

<sup>475</sup> - Лекции и исследования по истории русского права. – С. 26, 28.

<sup>476</sup> - Там же. – С. 988.

<sup>477</sup> - Очерк организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси. 1876 г. История права Московского государства. – 1877; 1879.

<sup>478</sup> - Немецкое право в Польше и Литве. – 1868.

<sup>479</sup> - Русская Правда и Литовский статут. – Киевск. универс. известия за 1863 г.; Задруга – Журнал Министерства народного просвещения. – 1874.

<sup>480</sup> - Вот некоторые мысли об этом К. Аксакова: «На Западе... дело начинается с темного насилия, где один поработен другим; при этой неравной борьбе самое естественное чувство есть – столкнуть победителя и сесть на его место. Внешнее начало, закон, сперва жестокий, почти непременно действующий при завоевании и поработении, должен был усилиться, развиться и один стать высоко в глазах человека. Так и случилось. Вопрос жизни и истории был решен для западных народов: государство, учреждение (институт), централизация стали их идеалом; народ(земля) отказался от внутреннего, свободного, нравственного общественного начала и вкусил плоды начала внешнего, государственного; народ (земля) захотел государственной власти. Отсюда революции, смуты и перевороты, – отсюда насильственный, внешний путь к насильственному внешнему порядку вещей. Народ на Западе пленяется идеалом государства. Республика есть попытка народа быть самому государем, перейти ему все в государство, следовательно, попытка бросить совершенно нравственный свободный путь, путь внутренней правды и стать на путь внешний, государственный». – Аксаков К.С. – Сочинения. Т. 1. – С. 57.

- 481 - Аксаков К.С. Указ. соч. – С. 1.
- 482 - Анненков П.В. Собр. соч. Т. III. – С. 86.
- 483 - Там же. Т. II.
- 484 - Там же. Т. III. – С. 88.
- 485 - Там же. Т. III. – С. 90, 91
- 486 - Об изгоях в смысле людей, выброшенных из рода, – в Архиве Н.В. Калачова в 1 кн. и в 1-й половине 2 кн. К. Аксаков написал статью, в которой доказывал, что изгои выходили из общины. – Собр. соч. Т. 1. – С. 25.
- 487 - Напеч. во «Временнике Московского общества истории и древностей российских» за 1850 год. Кн. VIII.
- 488 - Аксаков К.С. Собр. соч. Т. 1. – С. 415–528.
- 489 - Крестьяне в царствование Екатерины II. Т. 1. – Сибирь, 1881.
- 490 - Написал несколько статей. – Собр. соч.
- 491 - *Secrets d'etat de Venise...* – Сибирь, 1884.
- 492 - Аксаков К.С. Собр. соч. Т. 1. – С. 19.
- 493 - Русь. – 1881. – № 26, 27.
- 494 - Там же. – № 26. – С. 12, 2.
- 495 - Том этот состоит из одиннадцати рассказов: 1) Русская земля (т. е. до призвания князей). 2) Первые князья из племени Варягов Руси. 3) Русская земля при первых князьях варяжских. 4) Владимир и Ярослав. 5) Русская земля при Владимире и Ярославе. 6) Сыновья Ярослава. 7) Русская земля при Ярославичах. 8) Внуки и правнуки Ярослава. 9) Русская земля при внуках и правнуках Ярослава 10) Суздальщина. 11) Русская земля во время Суздальщины.
- 496 - Беляев И.Д. Рассказы по русской истории. Т. 1. – С. 183, 184.
- 497 - Беляев И.Д. Указ. соч. Т. 1. – С. 195, 196 и 209, 210. Последнее величие Мономаха в глазах Беляева придало особенное значение Суздальщине. Необходимость опираться на земщину заставляла князей оседать в областях и крепче единиться с земством. В Суздальской области, по Беляеву, и

князя, и дружинники более сближались с земством и оттого становились более и более сильными (с. 310–315).

498 - Там же. – С. 384.

499 - Там же. – С. 385.

500 - Там же. – С. 394.

501 - Там же. Т. 2. – С. 517.

502 - Беляев И.Д. Указ. соч. Т. 3. – С. 344–350.

503 - Там же. Т. 4. – С. 162–165. В настоящее время есть сборник как бы оправдательных документов для сочинения Беляева – «Витебская Старина», сочин. А.П. Сапунова. – Витебск, 1883.

504 - Там же. – С. 7–12.

505 - Там же. – С. 2.

506 - Лешков В.Н. Русский народ и государство – история русского общественного права до XVIII века. – С. 93.

507 - Лешков В.Н. Указ. соч. – С. 5, 6.

508 - Там же. – С. 84–88.

509 - Там же. – С. 89.

510 - Там же.

511 - Лешков В.Н. Указ. соч. – С. 91. «Летописи и акты потому важны для русского, способного понимать их, что летописи признают, – говорит Лешков, – деятелями истории не отдельные лица, не частные личности с их плотью и кровью, а целый народ, а акты самой своей неопределенностью говорят в пользу общинного устройства, которое, не воплощаясь в отдельные личные органы, не требует буквальной обязательности, не терпит формальных актов, и поддерживается живым участием народа и всегдашним его присутствием пред судьбами государства и пред деятельностью всякой личности» (с. 91, 92).

512 - Там же. – С. 92.

513 - Там же. – С. 93, 94.

514 - Лешков В.Н. Указ. соч. – С. 94, 95.

515 - Там же. – С. 115. «Верст 20 в длину и ширину судя по пространству погоста в Новгородской области».

- 516 - Там же. – С 118.
- 517 - Там же. – С. 129, 130.
- 518 - Там же. – С. 153, 154.
- 519 - Лешков В.Н. Указ. соч. – С. 281, 282.
- 520 - Там же. – С. 244.
- 521 - Лешков В.Н. Указ. соч. – С. 245, 246.
- 522 - Там же. – С. 292.
- 523 - Там же. – С. 276–278.
- 524 - О Соловьеве – моя заметка в «Церковном Вестнике». – 1879. – № 41.
- 525 - Автор издал 28 т. Последний 28-й заканчивается первым разделом Польши, т. е. 1772 г. 29-й издан уже после смерти автора и включает обзор внешних и внутренних дел за 1773 и 1774 гг. и в Приложении – обзор дипломатических отношений с 1775 по 1780 г.
- 526 - Список его статей приложен к первому тому его Сочинений, изданному в 1882 году.
- 527 - Соловьев С.М. История России. – С. 111.
- 528 - Там же. – С. 257.
- 529 - Важнейшие из этих возражений принадлежат К.С. Аксакову и изданы в 1 т. его полн. собр. соч.
- 530 - Соловьев С.М. Указ. соч. – С. 7.
- 531 - Соловьев С.М. Указ. соч. – С. 7, 8.
- 532 - Там же. Предисловие. – С. 5 по порядку.
- 533 - Там же. – С. 6, 7.
- 534 - Там же. – С. 5, 6.
- 535 - Там же.
- 536 - Там же. – С. 7.
- 537 - Соловьев С.М. Указ. соч. – Т. 13. – С. 1.
- 538 - Там же. – С. 2.
- 539 - Там же.
- 540 - Там же. – С. 2, 3.
- 541 - Там же.
- 542 - Соловьев С.М. Указ. соч. – С. 3, 4.

- 543 - Там же. – С. 5.  
544 - Там же. – С. 8.  
545 - Там же. – С. 13, 14.  
546 - Там же. – С. 14, 15.  
547 - Там же. – Т. 13. – С. 52.  
548 - Там же.  
549 - Соловьев С.М. Указ. соч. – С. 439, 440.  
550 - Там же. – С. 19.  
551 - Там же. – С. 4.  
552 - Там же. Т. 18. – С. 249.  
553 - Там же. – С. 250.  
554 - Там же.  
555 - Соловьев С. М. Указ. соч. – С. 139, 196.  
556 - Там же. Т. 1. Предисловие. – С. 12; «В наше время, – говорит он, – просвещение принесло свой необходимый плод: познание вообще привело к самосознанию».  
557 - Соловьев С.М. Указ. соч. Т. 13. – С. 5.  
558 - Там же. – С. 8, 9.  
559 - Там же. Т. 7 – С. 438, 439.  
560 - Там же. Т. 13. – С. 13.  
561 - Там же. Т. 7. – С. 439.  
562 - Там же. Т. 13. – С. 16.  
563 - Там же. – С. 6, 7.  
564 - Там же. – С. 12, 12–13.  
565 - Там же. – С. 57.  
566 - Соловьев С.М. Указ. соч. – С. 16.  
567 - Там же. – С. 19.  
568 - Там же. – С. 17, 18.  
569 - Там же. – С. 18.  
570 - Соловьев С.М. Указ. соч. – С. 20, 21.  
571 - Там же. Т. 12. – С. 24.  
572 - Там же. Т. 7. – С. 441.  
573 - Там же. Т. 1. Предисл. – С. 9, 10.

- 574 - Там же. Т. 13. – С. 28.
- 575 - Там же. Т. 7. – С. 440, 441.
- 576 - Соловьев С.М. Указ. соч. Т. 13. – С. 48.
- 577 - Там же. – С. 24, 25.
- 578 - Соловьев С.М. Указ. соч. – С. 24–26.
- 579 - В сочинении С.М. Соловьева «История падения Польши», изданном в том же 1863 г., в котором издан 13 том, заключающий в себе самую безотрадную картину отсталости русского народа, удалившегося на северо-восток России, указана светлая сторона этого удаления, и сторона весьма важная. «Уход русского народа на дальний северо-восток важен в том отношении, – говорит здесь Соловьев, – что благодаря ему Русское государство могло окрепнуть вдали от западных влияний: мы видим, что славянские народы, которые преждевременно, не окрепнув, вошли в столкновение с Западом, сильным своей цивилизацией, своим римским наследством, поникли перед ним, утратили свою самостоятельность, а некоторые даже и народность». – Соловьев С.М. История падения Польши. – С. 3.
- 580 - Соловьев С.М. История России. Т. 13.– С. 42.
- 581 - Там же. – С. 45.
- 582 - Там же. – С. 130.
- 583 - Там же. – С. 131.
- 584 - Соловьев С.М. История России. – С. 35.
- 585 - Там же. – С. 36.
- 586 - Там же. – С. 161.
- 587 - Соловьев С.М. История России. – С. 162, 163.
- 588 - Там же. – С. 174. Само слово «подвиг» Соловьев выводит из слова двигаться – движение и ставит его в связь с подвижностью богатырей-казаков, что совершенно неверно. Подвиг – дело трудное, требующее большого напряжения, чтобы его сделать, чтобы его двинуть, подвинуть.
- 589 - См.: Предисловие к «Дневнику Люблинского сейма 1569 г.», изд. Археогр. комиссии.
- 590 - Соловьев С.М. История России. Т. 6. – С. 142.

<sup>591</sup> - Там же. – С. 144. И надобно прибавить, когда уже не раз Крым и Турция имели на своей стороне союзную казацкую партию, образовавшуюся как отчаяние, вызванное замедлением и неправильным разрешением русских вопросов.

<sup>592</sup> - Там же. – С. 395.

<sup>593</sup> - Там же. – С. 283, 395.

<sup>594</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 7. – С. 29.

<sup>595</sup> - Там же. – С. 30.

<sup>596</sup> - Там же. – С. 140.

<sup>597</sup> - Соловьев С.М. История России. – С. 211, 212.

<sup>598</sup> - Добросовестность его так велика, что он, говоря о вышеуказанном нечестном соглашении панов касательно вольных людей, припоминает, что при литовском князе Александре, т. е. в конце XV столетия, такое соглашение было в Бельзской области (в Польше), а в 1551 г. сделано землевладельцами в Витебском повете, значит, зло это шло с Запада на Восток вместе с польскими культурными началами.

<sup>599</sup> - В старые времена привилегированное и особое положение дружины ослаблялось свободой поступления в нее и выхода, и особенно городским или земским войском. Все свободные люди могли быть воинами и служить государству. Мнение Погодина, что народ платил, а не воевал, ничем не доказывается

<sup>600</sup> - Замечательно, что первоначальное западнорусское образование – в братских школах было в тесной связи с греческим элементом. Петр Могила в устройстве своей Киевской Академии изменил эту прекрасную постановку западнорусских братских школ, дав преобладание в ней латинскому элементу. В Москве в призыве Лихудов сказалось усилие возвратиться к началам братских западнорусских школ.

<sup>601</sup> - Заметим, что это была вторичная измена нанятых иноземцев перед лицом всей России, и без того раздраженной против иноземства. Раз изменили под Клушиным иноземцы, нанятые Скопиным-Шуйским; теперь изменяли под Смоленском вторично нанятые толпы их.

<sup>602</sup> - В нашей литературе есть одно сочинение религиозного характера, которое имеет весьма важное значение для изучения у нас количества и отдельных групп иноземцев по разным местам России. Это «Отношение протестантизма к России в XVI и XVII в.» сочинение доцента Московской Академии Ивана Соколова, изд. в 1880 г. Еще более обстоятельные сведения сообщаются в начатых изысканиях Д.В. Цветаева, печатающихся в «Русском Вестнике».

<sup>603</sup> - Соловьев С.М.. История России. Т. 11. – С. 93 и далее.

<sup>604</sup> - Патриарх Филарет вынес из польского плена, т. е. из сближения с православными западнорусами, убеждение в важности западнорусского просвещения и заводил подобное учение в Москве. Время господства этого образования было не короткое, а полстолетия с лишним до Петра.

<sup>605</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 13. – С. 141.

<sup>606</sup> - Там же. – С. 141, 142.

<sup>607</sup> - Там же. – С. 217, 218.

<sup>608</sup> - Там же. – С. 37.

<sup>609</sup> - Там же.

<sup>610</sup> - Там же. – С. 149.

<sup>611</sup> - Соловьев С.М. История России. – С. 149.

<sup>612</sup> - Там же. – С. 227.

<sup>613</sup> - Там же. – С. 218.

<sup>614</sup> - Соловьев С.М. История России. – С. 219.

<sup>615</sup> - Там же. Т. 14. – С. 125.

<sup>616</sup> - Там же. – С. 125, 126.

<sup>617</sup> - Там же. – С. 126.

<sup>618</sup> - Там же. – С. 129, 130.

<sup>619</sup> - Соловьев С.М. История России. – С. 257.

<sup>620</sup> - Там же. – С. 255, 256.

<sup>621</sup> - Там же. – С. 107.

<sup>622</sup> - Там же. Т. 18. – С. 111.

<sup>623</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 15. – С. 101.



<sup>624</sup> - Тайная переписка этих иезуитов, по поручению Археографической комиссии, издана автором. Для изучения вообще притязаний папства на господство в России можно читать: «Католичество в России», сочинение графа Д.А. Толстого, а также сочинение, вышедшее из иезуитской среды Demetrius – труд Пирлинга, изд. 1878 г. Позднейшие дела иезуитов изложены в сочинении священника М. Морошкина «Иезуиты в России», 2 тома.

<sup>625</sup> - Только великий народ способен иметь великого человека; сознавая значение деятельности великого человека, мы сознаем значение народа. Великий человек своей деятельностью воздвигает памятник своему народу. Сочинения С.М. Соловьева. – Птб., 1882. – С. 98.

<sup>626</sup> - Костомаров Н.И. История России. – С. 780–785, особенно 784, 785. В «Лекциях о Петре» Соловьев отвергает, что Петр любил отвлеченную Россию. Собрание сочинений Соловьева. – С. 131.

<sup>627</sup> - Эта сторона жизни Петра с замечательной талантливостью изображена Соловьевым, особенно в его «Лекциях о Петре». См., между прочим, Собрание сочинений Соловьева. – С. 124–126. Но и здесь допущена крайность и не уяснена одна сторона дела, по нашему мнению, весьма важная. Неутомимая деятельность Петра не лишена односторонности. Он слишком отдавался физической работе, явно отражая в ней влияние на него иноземцев ремесленников, и пренебрегал многим, что было гораздо важнее ремесленности. Так, он мало занимался управлением России, законодательством, даже мало знал эти дела и потому так часто делал опрометчивые шаги. Не понять значения писцовых книг и подворных повинностей, не понять значения обыска и состязательного суда можно было только при великом незнании русских порядков. Мы уже не говорим о безрассудном нагромождении в правительственном механизме России иноземных должностей и их названий.

<sup>628</sup> - Соловьев, конечно, совершенно иначе смотрит и даже приписывает Петру необыкновенную нравственность. Но все это более талантливо и красноречиво, чем справедливо и научно. «Петр обладал, – говорит Соловьев в своих «Лекциях о Петре»,

– необыкновенным нравственным величием: это величие выражалось в том, что он не побоялся сойти с трона и стать в ряды солдат, учеников и работников... Необыкновенное нравственное величие Петра выражалось в способности уважать нравственное величие в других и сдерживаться им; как бы он ни был раздражен, он умел всегда преклониться перед подвигом гражданского мужества, пред резким, но правдивым словом подданного, которое противоречило его собственному взгляду». Собрание сочинений Соловьева. – С. 144. Под эту характеристику никак не могут подойти ни расправа со стрельцами, ни отвержение жены, ни тем более расправа с сыном. Впрочем, и сам Соловьев ослабляет эту характеристику дальнейшими, непосредственно за тем следующими словами. «Но в то же время Петр был человек в высшей степени страстный, и там, где он видел явную ошибку, злонамеренность, преступление, там он уже не сдерживался, выходил из себя, становился свиреп, употреблял материальные средства для прекращения зла и верил в их действительность, там он схватывался с человеком, как с личным врагом своим, и позволял себе терзать его. Петр умел сдерживаться уважением к хорошему человеку, и от этого проистекали бесчисленные благодетельные последствия; но он не умел сдерживаться уважением к человеку, как человеку». – Там же.

<sup>629</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 13. – С. 218. Мы приводили уже это место. Процесс движения и здесь занимает Соловьева просто своей внешностью. «Возможность возбуждения, – говорит он, – условливалась именно всесторонним движением, всесторонним преобразованием, необходимым при том состоянии, в каком находился русский государственный организм, страдавший застоєм, отсутствием средств к развитию». – Там же. Т. 18. – С. 256. Немного выше Соловьев дает нам еще более убедительное доказательство своего пристрастия к процессу движения. «Различные толки и суждения за и против, – говорит он, – толки о том, как быть с тем или другим делом, оставшимся от эпохи Преобразования, были именно тем благодетельным последствием умственного возбуждения, которое дало русскому народу возможность жить

новой жизнью и выполнять программу Преобразователя». – Там же. – С. 255, 256. Так и вспоминается при этих словах Соловьева, что после опустошительной бури, пожара и вообще большего несчастья люди бывают тоже сильно возбуждены и сильно озабочены вопросом как быть?

<sup>630</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 24. – С. 420.

<sup>631</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 21. – С 10, 11.

<sup>632</sup> - Там же. Т. 24. – С. 420.

<sup>633</sup> - Там же.

<sup>634</sup> - Там же. – С. 419.

<sup>635</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 25. – С. 68–87 и далее.

<sup>636</sup> - Там же. Т. 21. – С. 181, 182.

<sup>637</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 25. – С. 114.

<sup>638</sup> - Соловьев проповедь Амвросия подрывает тем, что Амвросий сам усердствовал в пользу Анны Леопольдовны (Т. 21. – С.179:180), а значение Манифеста ослабляет спешностью его составления (Т. 25. – С. 114).

<sup>639</sup> - Там же. Т. 15. – С. 148, 149.

<sup>640</sup> - Василий Владимирович. – Соловьев С.М. История России. Т. 17. – С. 203, 207, 208.

<sup>641</sup> - Иван Нарышкин. – Соловьев С.М. Там же. Т. 17. – С. 199, 200.

<sup>642</sup> - Соловьев С.М. Там же. Т. 17. – С. 216.

<sup>643</sup> - Соловьев совершенно неправильно оценивает эти изменения. «Некоторое противодействие, – говорит он, – петровским началам обнаружилось в усилении личного управления в областях, в надстройке лишнего этажа над Сенатом то под именем Верховного тайного совета, то под именем Кабинета». – Т. 24. – С. 419. Теперь едва ли может подлежать спору, что основная мысль во всех важнейших петровских учреждениях – та, чтобы правительственные лица сверху донизу стояли не единолично, а коллегиально, и чтобы только единоличность самодержца стояла особо, возвышалась над всеми. Следовательно, никак нельзя сказать, что

единоличность в управлении областей или Верховный совет или Кабинет, прокладываявшие тоже путь к единоличности государственных людей, были неважными переменами петровских начал.

<sup>644</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 18. – С. 288, 289.

<sup>645</sup> - Там же. – С. 290, § I.

<sup>646</sup> - Там же. Т. 19. – С. 80.

<sup>647</sup> - Там же. – С. 79, 80.

<sup>648</sup> - Там же. – С. 81, 82.

<sup>649</sup> - Мысль о выделении завоеванных Петром балтийских областей, особенно Лифляндии, по характеру управления, высказывал еще в 1726 г. принц Гольштинский. – Соловьев С.М. Т. 18. – С. 296.

<sup>650</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 20. – С. 175. Все эти вещи гораздо полнее, обстоятельнее, чем у Соловьева, изложены в сочинении г. Корсакова «Воцарение императрицы Анны Иоанновны». – Казань, 1880. Подробная и суровая критика этого сочинения сделана была профессором Загоскиным. Казанские университетские известия. – 1882. – № 1. – Отдел критики. – С. 1–71.

<sup>651</sup> - Известно, что Бирон мечтал стать еще выше. Когда Анна Ивановна задумала сохранить русский престол в своем роде и стала выдвигать свою племянницу Анну Леопольдовну, дочь Екатерины Ивановны Мекленбургской, и начались хлопоты, чтобы выдать ее замуж за принца Антона Брауншвейгского, то Бирон затеял устранить этого жениха и женить на Анне Леопольдовне своего сына. См.: Соловьев С.М. Указ. соч. Т. 20. – С. 430, 431.

<sup>652</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 21. – С. 123.

<sup>653</sup> - Там же. – С. 120.

<sup>654</sup> - Там же. Т. 27. – С. 77.

<sup>655</sup> - Там же. Т. 24. – С. 420, 421.

<sup>656</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 26. – С. 204. В нашей литературе есть сочинение, которое представляет поражающую картину пересоздания целого русского рода из

русского в западноевропейский, да еще каких русских! – чистейших малороссов из простой среды. Это семейство Разумовских, сочинение А. Васильчикова в 3 т. – Сибирь, 1880–1882.

<sup>657</sup> - Весьма недавно (в сентябре 1881 г.) в Варшавском университете одно заявление русского профессора (А.С. Будиловича), что церковно-славянский язык – основа всех славянских языков и русский язык и литература богаче их всех, вызвало взрыв негодования в польских студентах, в польском обществе, повело к недостойной демонстрации, потребовавшей вмешательства жандармов.

<sup>658</sup> - В первые дни своего царствования, именно 3 июля 1762 г., Екатерина по поводу крестьянских волнений, повторила Указ Петра III (см.: Беляев «Крестьяне на Руси». – С.304:306), в котором говорила: «Понеже благосостояние государства, согласно Божеским и всенародным узаконениям, требует, чтобы все и каждый при своих благонажитых имениях и правостях сохраняемы были, так как и напротив того, чтобы никто не выступал из пределов своего звания и должности, то и намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять и крестьян в должном им повиновении содержать». – Соловьев С.М. История России. Т. 25. – С. 145, 146. Перед самым созывом законодательной Комиссии, в 1765, 1766 гг. Екатерина дала помещикам право ссылать крестьян в Сибирь и даже в каторжные работы, т. е. лишать части или всех прав гражданских (Беляев. – С. 307), и при этом запрещено всем вообще крестьянам подавать государыне жалобы на помещиков (Там же. – С. 308). В самый год созвания Комиссии (1767 г.) обнародовано, чтобы помещичьи люди и крестьяне не верили слухам о перемене законов и имели бы к помещикам своим должное повиновение и беспрекословное послушание (Там же. – С.308:309). После Комиссии положение крестьян стало еще хуже. Грамота Петра III о свободе службы дворянства утверждена Екатериной в 1785 г., а крестьяне даже открыто признаны в 1792 г., такой же принадлежностью помещичьего имения, как другие его части, даже подведены под категорию движимого имения и могли быть описываемы и

продаваемы, только запрещено при продаже крестьян за долги помещиков употреблять молоток, вероятно, чтобы не допустить совершенного уже сходства русских крестьян с невольными неграми. – Там же. – С. 313). После этого не может быть спора, твердо ли Екатерина стояла в своих отвлеченных принципах касательно свободы крестьян.

<sup>659</sup> - Все эти лица и их мнения указаны профессором Сергеевичем в его «Лекциях по истории русского права». – С. 645–650.

<sup>660</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 27. – С. 118.

<sup>661</sup> - Там же. – С. 119–121.

<sup>662</sup> - Соловьев С.М. История России. Т. 27. – С. 117, 118.

<sup>663</sup> - Там же. – С. 108.

<sup>664</sup> - Теоретическое рассуждение о равенстве всех людей по происхождению и, следовательно, о равенстве крестьянина с помещиком, конечно, делает честь Щербатову (подобное мнение Екатерины. Соловьев С.М. Указ. соч. – Т. 27, прим. 74); но оно могло иметь значение только в среде лучших русских людей, а никак не в массе их. Известный писатель Сумароков, восставая в своих замечаниях на Наказ против освобождения крестьян, между прочим, заявил: «Наш низкий народ никаких благородных чувствий не имеет». На это Екатерина заметила: «И иметь не может в нынешнем его состоянии». – Соловьев С.М. Т. XXVII. – С. 39. Еще мнение Сумарокова о малороссийском народе: «Малороссийский подлый народ от сей воли почти несносен». – Там же.

<sup>665</sup> - Впрочем, по новейшим исследованиям в делах екатерининской Комиссии открывается одна светлая сторона. Профессор Сергеевич, как мы уже указывали, пришел к выводу, что депутаты, говорившие в пользу улучшения быта крестьян, приобретали большее и большее сочувствие и при выборе в частные комиссии получали значительное большинство голосов. «Это дает повод думать, – заключает профессор Сергеевич, – что большинство депутатов было в пользу если не освобождения крестьян, то ограничения помещичьей власти». – Лекции. – С. 651.

<sup>666</sup> - Соловьев С.М. Падение Польши. – С. 6.

<sup>667</sup> - О падении Польши есть еще несколько сочинений. Таково сочинение Н.И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой польской» (изд. 1870 г.), о котором у нас будет речь ниже. Таково сочинение г. Уманца «Вырождение Польши» (изд. 1872 г.), в котором разложение Польши раскрывается в предшествовавших временах, собственно, в первое время после смерти Сигизмунда Августа. Таково сочинение Д.И. Иловайского «Гродненский сейм» (изд. 1874 г.), в котором автор старается стать на объективную точку зрения и, что еще важнее, пользовался новыми источниками. Наконец, сюда же нужно отнести сочинение Кулиша «Воссоединение Западной Руси» (изд. 1874–1877 гг.), о котором тоже будет у нас речь ниже.

<sup>668</sup> - «Замечательно, – говорит К.Н. Бестужев-Рюмин, – что во многом расходясь со славянофилами, он (С.М. Соловьев) сходил с ними во взгляде на Православие и протестантизм: его оценка Лютера в «Курсе новой истории» могла бы быть подписана и каждым из славянофилов. Сходится он с ними и в любви к России, и в вере в историческое призвание русского народа, хотя и расходил в оценке реформы Петра; но, ценя западную науку, он знал и ее недостатки и, конечно, не менее славянофилов понимал вред чистого материализма». Биографии и характеристики. – С. 271. – Курс новой истории Соловьева, изд. 1869, две части. См. также: Собрание сочинений Соловьева. Т. 1. – С. 276–293, статью «Прогресс и религия».

<sup>669</sup> - Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории. Т. 1. – С. 311, 312.

<sup>670</sup> - Там же – С. 320.

<sup>671</sup> - Там же. – С. 322.

<sup>672</sup> - Там же. – С. 324–326.

<sup>673</sup> - Там же. – С. 326, 327.

<sup>674</sup> - Там же. – С. 329.

<sup>675</sup> - Там же. – С. 328, 329.

<sup>676</sup> - Там же. – С. 330.

<sup>677</sup> - «Общинное начало, вызванное на время к политической деятельности, опять сходит со сцены. Веча постепенно теряют государственный характер. Утверждается постоянная, близкая власть князей, владевших уделами наследственно как вотчинами. Самое управление областей получает иное значение. Из неопределенного, каким было сначала, когда князь сажал в область своих сыновей, оно более и более становится домашним, вотчинным. Князю нужно удерживать в службе своих слуг; прежде они жили вместе с ним войной и добычей; теперь им нужно содержание, и князь отдает им в кормление области. Слуги кормленщика управляют ими и получают с них доход. При отсутствии правильной государственной администрации эта система управления падает страшным разорением на области; произвол и корыстолюбие правителей, ничем необузданные, возрастают до безмерности».

– Кавелин К.Д. Указ. соч. Т. 1. – С. 345.

<sup>678</sup> - Там же. – С. 353.

<sup>679</sup> - Там же. – С. 351.

<sup>680</sup> - Кавелин К.Д. Указ. соч. – С. 352.

<sup>681</sup> - Там же. – С. 353, 534.

<sup>682</sup> - Там же. – С. 354.

<sup>683</sup> - Там же. – С. 355, 356.

<sup>684</sup> - Там же. – С. 363.

<sup>685</sup> - Там же. – С. 363.

<sup>686</sup> - Дума ослабляется и дьяки прямо исполняют волю государя; местничество уничтожается; в гражданском быту юридические формы ставятся выше обычая (Там же. – С.365:366).

<sup>687</sup> - Там же. – С. 368.

<sup>688</sup> - Кавелин К.Д. Указ. соч. – С. 377, 378.

<sup>689</sup> - Там же. – С. 378.

<sup>690</sup> - Вестник Европы. – С. 330, 331.

<sup>691</sup> - Там же.

<sup>692</sup> - Там же. – С. 348.

<sup>693</sup> - Кавелин К.Д. Указ. соч. – С. 349, 350.



- 694 - Там же. – С. 351.
- 695 - Там же. – С. 357.
- 696 - С. 379, 380.
- 697 - С. 380.
- 698 - С. 387.
- 699 - Там же. – С. 331.
- 700 - Там же. – С. 381, 382.
- 701 - Там же. – С. 383.
- 702 - Кавелин К.Д. Указ. соч. – С. 404.
- 703 - Все эти общие положения сведены в обширном введении автора. – С. 1–57.
- 704 - Областные учреждения России. – С. 58–65; Русская Беседа. – 1856 – III. – С. 82, 83; Кв. т. III. – С. 407.
- 705 - Там же. – С. 30–33; 43–49; 521, 522.
- 706 - Гакстгаузен (Вестфальский барон) ездил по России в 1842 и 1843 гг. Сочинение свое он издал в 1847 г. под заглавием «Studien über die inner Zustände, das Uolkleben und insbesondere die landleichen Einrichtungen Russlands».
- 707 - Русская Беседа. – 1856. – I. – С. 125, 126.
- 708 - Там же. – С. 127, 128.
- 709 - Крылов привел, между прочим, новую грамоту из времен Михаила Феодоровича, доказывающую тоже передел земли в крестьянской общине. // Русская Беседа. – IV. – С. 103.
- 710 - Там же. – № 4. – С. 114.
- 711 - Русская Беседа. – 1857. – № 1. – С. 113, 114.
- 712 - Русская Беседа. – 1857. – № 1. – С. 112.
- 713 - Там же. – С. 115.
- 714 - Забелин И.Е. Т. 1. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII в.» изд. в 1862 г.; Т. 2. «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII в.» – в 1869 г. Оба тома вышли вторым изданием в 1872 г.
- 715 - Наша древняя община была в собственном смысле общиной родов или еще ближе – общиной хозяйств, дворов, а

не общиной независимых личностей. – Забелин И.Е. Указ. соч. – С. 11, 12.

<sup>716</sup> - «Земская община, было ли то в деревне, в городе, в целой области, являлась в существенном своем смысле общиной хозяйств, а не людей, а именно общиной дворов, совокупностью домовладык как представителей частных, отдельных хозяйств. В ней лицо рассматривалось лишь с имущественной земской точки зрения, с точки зрения владения землей, сиденья на общей земле. Ясно, что здесь не было места для нравственных определений личности, для личности самой по себе, для свободной личности в нравственном ее значении и смысле, а следовательно, не было и нравственного равенства лиц... Здесь существовало одно только имущественное равенство лиц... Здесь наиболее независимое положение, собственно не свободное, а своевольное, личность могла приобрести лишь посредством богатства... сравнительно с другими». – Забелин И.Е. Указ соч. – С. 23, 24.

<sup>717</sup> - «Старшие, т. е. почему-либо властные, идеализировали себя или свое общественное положение характером отцов, свою власть характером власти отеческой; младшие, т. е. подвластные в каком бы то ни было смысле, идеализировали свое положение характером детей, вообще малолетних, несовершеннолетних». – Забелин И.Е. Указ соч. – С. 31.

<sup>718</sup> - Там же. – С. 54.

<sup>719</sup> - Там же. – С. 25.

<sup>720</sup> - Там же. – С. 58.

<sup>721</sup> - Забелин И.Е. Указ соч. – С. 56.

<sup>722</sup> - Там же. – С. 67.

<sup>723</sup> - Там же.

<sup>724</sup> - Там же. – С. 20.

<sup>725</sup> - Там же. – С. 25.

<sup>726</sup> - Там же. – С. 35.

<sup>727</sup> - Там же.

<sup>728</sup> - Забелин И.Е. Указ соч. – С. 70.

- 729 - Там же.
- 730 - «Любовная родственность в отношениях, непосредственно родственные, братские отношения». – Забелин И.Е. Указ. соч. – С. 30.
- 731 - Там же. – С. 25.
- 732 - Там же. – С. 70.
- 733 - Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. – Т. 1. – С. 518, 519.
- 734 - Там же. – С. 521.
- 735 - Там же. – С. 519, 520.
- 736 - Там же. – С. 520, 521.
- 737 - Там же. – С. 522, 523.
- 738 - Там же. – С. 525, 526.
- 739 - Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. – С. 526.
- 740 - Никитский А. Очерк внутренней истории Пскова. – С. 8, 9.
- 741 - Там же. – С. 26.
- 742 - Там же. – С. 12.
- 743 - Там же. – С. 25.
- 744 - Хлебников Н. Общество и государство в домонгольский период русской истории. – С. III, IV.
- 745 - Там же. – С. VII.
- 746 - Там же.
- 747 - Там же.
- 748 - Там же. – С. VII, VIII.
- 749 - Там же. – С. XI, XII.
- 750 - На посвящение имели бы также право Устрялов и Пекарский, из которых г. Брикнер тоже много почерпает для своей «Истории Петра».
- 751 - Брикнер А.Г. История Петра великого Т. 1. – С. 5.
- 752 - К византийскому аскетизму г. Брикнер особенно не расположен и не раз возвращается к нему в дальнейшем изложении «Истории Петра». «Особенно ненавидел он, –

говорит г. Брикнер о Петре, – ханжество и был завзятым противником средневековых, византийских воззрений, господствовавших в народе. Монашеский аскетизм ему казался чудовищным, болезненным и достойным резкого порицания явлением». – Брикнер А.Г. Указ. соч. Т. 2. – С. 621. «...Несмотря на многие неудобства светских приемов, господствовавших в образованном обществе Западной Европы, салонная уточненность, служившая образцом для русского общества, была менее опасной, чем замкнутость византийско-средневекового аскетизма, которая служила правилом до Петра». – Там же. – С. 651.

<sup>753</sup> - Брикнер А.Г. Указ. соч. Т. 1. – С. 7, 8.

<sup>754</sup> - Там же. – С. V, VI.

<sup>755</sup> - Брикнер А.Г. Указ. соч. – Т. 2. – С. 393.

<sup>756</sup> - Там же. – С. 553.

<sup>757</sup> - Там же. – С. 644–646.

<sup>758</sup> - Там же. – С. 554.

<sup>759</sup> - Брикнер А.Г. Указ. соч. – С. 650.

<sup>760</sup> - Там же.

<sup>761</sup> - Петербург, 1880. П.О. Морозова не следует смешивать с И. Морозовым, поместившим исследование о Западной России в 1 и 2 книгах журнала «Русская Речь» за 1882 г. Автор книги «Феофан Прокопович» П.О. Морозов сам боится этого смешения и заявил в № 2133 газеты «Новое Время» за 1882 г., что не он писал исследование о Западной России (исследование написано в русском направлении), и что он не разделяет «ни основного взгляда автора на предмет его статей, ни отдельных высказанных им мыслей».

<sup>762</sup> - Кавычки у автора.

<sup>763</sup> - Морозов П.О. Феофан Прокопович как писатель. – С. 7.

<sup>764</sup> - Там же. – С. 7, 8.

<sup>765</sup> - Там же. – С. 9.

<sup>766</sup> - Там же. – С. 10.

<sup>767</sup> - Там же. – С. 11.

<sup>768</sup> - Там же. – С. 10.

- 769 - Там же. – С. 19, 20.
- 770 - Там же. – С. 8.
- 771 - Морозов П.О. Указ. соч. – С. 18.
- 772 - Христианское Чтение. – 1876.
- 773 - Морозов П.О. Указ. соч. – С. 402.
- 774 - СПб. – первое издание – 1872 г., второе – 1879 г.
- 775 - Петербург, 1884. К этому сочинению приложены материалы для Историко-географического атласа России XVI века.
- 776 - Напечатано в «Русском Вестнике» за 1868 г.
- 777 - Леруа-Болье. Империя царей и русские. Страна и ее жители. Т. 1. – С. 34.
- 778 - Леруа-Болье. Указ. соч. Т. 1.
- 779 - Там же. – С. 38.
- 780 - Там же. – С. 50.
- 781 - Там же. – С. 54, 55.
- 782 - Леруа-Болье. Указ. соч. Т. 1. – С. 92.
- 783 - Там же. – С. 93, 94.
- 784 - Там же. – С. 96.
- 785 - Там же. – С. 108.
- 786 - Там же.
- 787 - Там же. – С. 103.
- 788 - Там же. – С. 104.
- 789 - Там же. – С. 105.
- 790 - Там же. – С. 105, 106.
- 791 - Там же. – С. 108.
- 792 - Там же. – С. 118.
- 793 - Леруа-Болье. Указ. соч. Т. 1. – С. 133–145.
- 794 - Там же. – С. 137, 138.
- 795 - Там же. – С. 135, 136.
- 796 - Там же. – С. 162, 163.
- 797 - Леруа-Болье. Указ. соч. Т. 1. – С. 254
- 798 - Там же. – С. 255.

- <sup>799</sup> - Там же. – С. 257.
- <sup>800</sup> - Там же. – С. 258.
- <sup>801</sup> - Там же. – С. 258–260.
- <sup>802</sup> - Там же. – С. 21–26.
- <sup>803</sup> - Леруа-Болье. Указ. соч. Т. 1. – С. 586, 587.
- <sup>804</sup> - *Stara Polska w malowniczym opisie*. – Краков и Петербург, 1883.
- <sup>805</sup> - Отчет об этой брошюре мы напечатали в № 13 газеты «Русь» за 1884 г.
- <sup>806</sup> - Во многих местах – 2 очерка. Народности Литовского полесья, например, с. 22–25.
- <sup>807</sup> - Живописная Россия. – С. 79, 80 и 289–299. Даже первого князя Вильне г. Киркор дает из рода полоцких князей – мифического князя Воскресенской летописи Макволда (с. 74).
- <sup>808</sup> - Живописная Россия. – С. 79, 80, 299.
- <sup>809</sup> - Живописная Россия. – Т. III. – С. 142–144. Автор утверждает, что со времени погребения этих мучеников в 1347 г. и до 1826 г., когда мощи их открыты монахами виленского Духовского монастыря вопреки протесту генерал-губернатора, ничего достоверного не известно, тогда как эти мощи упоминаются в русских рукописях и в XIV, и в XVI веках (См.: Описание славянских и русских сборников Императорской Публичной библиотеки. – Сост. А.Ф. Бычков. – Вып. I. – С. 172; Описание рукописей Виленской Публичной библиотеки. – Сост. Ф.Н. Добрянский. – С. 283), и дело об открытии их в 1826 г. представляет не излишнее усердие духовских монахов, а, напротив, крайнюю осторожность и их, и высшей духовной власти. Была даже мысль назначить в комиссию для освидетельствования мощей и виленских гражданских чиновников, т. е. тогда поляков.
- <sup>810</sup> - Живописная Россия. – С. 13.
- <sup>811</sup> - Там же. – С. 11, 14.
- <sup>812</sup> - Для образца см.: Живописная Россия. – С. 77, 95, 152–154, 303, 308.
- <sup>813</sup> - Там же. – С. 306.

<sup>814</sup> - Общее его мнение об этом – с. 135, 136. Любопытно сравнить с этим суждения автора о следствиях крестьянской реформы. – С. 213–216.

<sup>815</sup> - Там же. – Между с. 116 и 117.

<sup>816</sup> - Там же. – Т. III. – С. 232.

<sup>817</sup> - Живописная Россия. – С. 488–490.

<sup>818</sup> - Недавно появилось сочинение, весьма богатое литературными указаниями и весьма полезное для справок по этому вопросу. Это сочинение Н.И. Петрова «Очерки истории украинской литературы XIX столетия». – Киев, 1884. Но, к сожалению, в сочинении этом нет разъяснения самых существенных сторон дела, на которые автор должен бы обратить главное внимание. Автору, само собой, представлялись два вопроса: 1) в каком отношении находятся стремления и задачи малороссийских литераторов к общерусскому единству и общерусскому литературному языку? Совмещаются они с этим единством или нет? 2) вопрос еще ближе к его предмету: есть малороссийский литературный язык или нет, и каковы в этом отношении качества этого языка в разных литературных произведениях малороссийских ученых? В этом отношении особенного внимания заслуживал язык лучшего малороссийского поэта Шевченко. Автор обладает особенно счастливыми условиями для решения этих вопросов. Он великорусс и давно живет в Малороссии. Но г. Петров почему-то уклонился от этих вопросов и даже обнаружил поразительную податливость в сторону малороссийских писателей до того, что в одном месте (с. 332) как бы радуется даже такой уступке со стороны Шевченко, что он не отвергает законного существования общерусского литературного языка. Вся эта ложная постановка дела произошла главным образом оттого, что автор усвоил себе западнический взгляд на историческое развитие словесности, искал в малороссийской литературе классицизм, сентиментальность, реализм и из-за этого проглядел существенные, живые стороны произведений малороссийских литераторов.

<sup>819</sup> - Такова статья Костомарова «Федеративное устройство в древней Руси». – Т. 1 Монографии.

<sup>820</sup> - Ниже, в сочинении г. Ключевского «Боярская дума» мы увидим обстоятельное исследование того, что даже древнейшие городские пункты образовались независимо от племенного разделения восточнорусских славян.

<sup>821</sup> - Такова статья Н.И. Костомарова «Две русские народности».

<sup>822</sup> - День. – 1863. – № 21–23.

<sup>823</sup> - Все это наложено в начале сочинения Н.И. Костомарова «Северорусские народоправства». – Т. 1. – С. 3, 4.

<sup>824</sup> - Собственно, это – второе издание. Исследование это печаталось сначала в виде статей в «Отечественных записках» в 1875 г.

<sup>825</sup> - Недавно вышло третье издание.

<sup>826</sup> - По какой-то странной случайности даже в Актах Южной и Западной России, издаваемых под редакцией Н.И. Костомарова, в третьем томе, в издании которого принимал участие известный Кулиш, выпущены главнейшие памятники касательно присоединения Малороссии к великой России. Это вызвало полемику со стороны Г.Ф. Карпова, который и издал эти выпущенные Акты в виде дополнительного тома к этому третьему тому.

<sup>827</sup> - Изданы в монографиях Н.И. Костомарова, преимущественно в первых трех томах.

<sup>828</sup> - Напечатаны там же, в монографиях.

<sup>829</sup> - Первоначально печаталось в «Вестнике Европы» за 1869 г.

<sup>830</sup> - Впрочем, такое же направление и в первом по времени сочинении Н.И. Костомарова «Уния», ныне чрезвычайно редком. Тут, между прочим, воздается великая дань уважения умным и благотворным мерам государя Николая Павловича по делу воссоединения униатов.

<sup>831</sup> - Изд. 2-е. – 1859.



<sup>832</sup> - О Смутном времени в нашей литературе см.: 1. Исследование И.Е. Забелина, напечатанное сначала в «Русском архиве» и в 1884 г., изданное отдельной книгой. В этом сочинении прекрасно очерчена деятельность Пожарского и Минина, а также изменчивость служилых людей; но неверно оценены дела Ляпунова и властей Троице-Сергиевской лавры. 2. В 1883 г. печатались о Смутном времени в газете «Русь» статьи г. Голохвастова, в которых с большой обстоятельностью изображена бытовая сторона Северной России в смутные времена.

<sup>833</sup> - Вып.1. – С. 1.

<sup>834</sup> - Это одна из лучших статей в «Истории» Н.И. Костомарова.

<sup>835</sup> - Статья об Иоанне III тоже принадлежит к числу самых талантливых. Но в конце статьи автор изменяет себе, он сильно колеблется и раздваивается. Он смешивает взгляд Карамзина, резко выделявшего Иоанна, и взгляд Соловьева, ставившего его дела в немалую связь с делами предшественников. У Костомарова выходит даже противоречие. То он считает Иоанна III таким государем, которого дело преемники продолжали до самого Петра, то утверждает, что в области умственных потребностей Иоанн III ничем не стал выше своей среды (вып. 2, с. 250 и 309). Противоречие это особенно ясно в следующем месте, в самом конце статьи об Иоанне. «Истинно великие люди познаются тем, что опережают свое общество и ведут его за собой; созданное ими имеет прочные задатки не только внешней крепости, но духовного саморазвития. Иван в области умственных потребностей ничем не стал выше среды; он создал государство, завел дипломатические отношения, но это государство без задатков самоулучшения, без способов и твердого стремления к прочному народному благосостоянию не могло двигаться вперед на поприще культуры, простояло два века, верное образцу, созданному Иваном и дополняемое новыми формулами в том же духе, но застывшее и закоснелое в своих главных основаниях, представлявших смесь азиатского деспотизма с византийскими, выжившими свое время преданиями. И ничего не могло произвести оно, пока могучий

гений истинно великого человека – Петра, не начал пересоздавать его в новое государство уже на иных культурных началах» (300). То есть Иоанн создал здание, простоявшее два века, но беда в том, что он не оторвался от варварского народа.

<sup>836</sup> - Он прямо заявляет, что отрешивается «от наваждения духа тьмы, обуявшего южнорусскую историографию». – «Материалы». Т. I. – С. 10.

<sup>837</sup> - Там же. Т. I. – С. 1–3.

<sup>838</sup> - В объяснениях к «Материалам».

<sup>839</sup> - Семь томов, изд. 1877–1878.

<sup>840</sup> - Четыре тома, изд. 1879.

<sup>841</sup> - Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае. – Вильна, 1866.

<sup>842</sup> - Изд. 1874.

<sup>843</sup> - Изд. первое – 1870, второе – 1875.

<sup>844</sup> - Многочисленные его статьи в «Записках Академии наук» и «Виленском Вестнике» в пятидесятых и начале шестидесятых годов.

<sup>845</sup> - Изд. 1870.

<sup>846</sup> - Один том «Исследований», изд. 1883 и два тома «Документов», изд. 1882.

<sup>847</sup> - Они у Карамзина изложены в его богатых, драгоценных примечаниях.

<sup>848</sup> - В нашей литературе есть попытки восполнить этот недостаток книги К.Н. Бестужева-Рюмина. В 1874 г. в Журнале Министерства народного просвещения (июнь, июль, август) напечатано исследование проф. Лентовича «Задружно-общинный характер политического быта древней Руси», в начале которого помещено обозрение литературных мнений по этому вопросу. Подобное же обозрение находится в сочинении другого юриста, г. Самоквасова «История русского права». – Вып. 1. – Т. 1 – Начала политического быта древнерусских славян. Литература. – Изд. 1878. Начинается в обоих сочинениях с Татищева.

<sup>849</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. – С. 2.

- <sup>850</sup> - Россия и Европа. Изд. 1871; Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. – С. 3, 4.
- <sup>851</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. – С. 5.
- <sup>852</sup> - Там же. – С. 7.
- <sup>853</sup> - Там же.
- <sup>854</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. – С. 9.
- <sup>855</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. – С. 205.
- <sup>856</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. – С. 331. Прим. 1, упом. ст. Никитского.
- <sup>857</sup> - Там же. – С. 331.
- <sup>858</sup> - Там же. – С. 205. Прим. 2.
- <sup>859</sup> - Там же. – С. 205, 206.
- <sup>860</sup> - «Не можем на Володимерово племя руки взняти; а на Олегович, хотя и с детьми». – Полное собрание летописей. Т. II. – С. 31.
- <sup>861</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. – С. 206.
- <sup>862</sup> - Там же. – С. 108.
- <sup>863</sup> - Софийская летопись I. Полное собрание летописей – Т. V. – С. 221.
- <sup>864</sup> - Слова князя Александра к князьям, собравшимся против него: «Вам же лепо было друг за друга и брат за брата стояти, а татарам не выдавати, но противлятися за них за один и за русскую землю и за православное христианство стояти; вы же супротивное творили, и татар наводите на христиан и братию свою предаете татарам». – Никоновская летопись. – Т. 3. С. 151–153; см. также ниже: с. 445, прим.
- <sup>865</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н. Указ. соч. – С. 410.
- <sup>866</sup> - Филарет. Жития святых. – Месяц май. – С. 14, 15.
- <sup>867</sup> - Замысловский Е.Е. Царствование Феодора Алексеевича. Введение. – С. 41.
- <sup>868</sup> - Борзаковский. История Тверского княжества. – С. 6, 7.
- <sup>869</sup> - Там же. – С. 120–125. Автор отдает предпочтение перед всеми другими летописями Тверскому летописному сборнику, составленному в XV ст. Автор не дает также веры и тем летописям (Никоновской и у Татищева, а также отчасти

Софийской и Воскресенской), в которых осуждается поход против Александра Михайловича князей и приводится речь Александра. – С. 254–256.

<sup>870</sup> - Почему-то это место у автора стоит между скобками.

<sup>871</sup> - Брат его Андрей был женат на дочери Даниила Галицкого.

<sup>872</sup> - Там же. – С. 70–72.

<sup>873</sup> - С Ярославом из Твери бежали и его бояре. – Борзаковский. Указ. соч. – С. 72.

<sup>874</sup> - Бережков М. О торговле Руси с Ганзой до конца XV века –С. 5.

<sup>875</sup> - Там же. – С. 48, 49.

<sup>876</sup> - Там же. – С. 55–57. Договор Любека с Висби в 1163 г. – С. 55. К началу XIII века немцы с готами равноправны. – С. 57.

<sup>877</sup> - Там же. – С. 54, 55.

<sup>878</sup> - Между прочим, он отстаивает и норманнское происхождение наших князей. – Там же. – С. 50.

<sup>879</sup> - См.: Там же.

<sup>880</sup> - В Новгороде Готландская колония в половине XII века. – С. 58. Во второй половине – дворы Готский и Немецкий. – С. 61. Начало Ганзейского союза с XIII века. – С. 128. Договор с Новгородом с 1270 г.

<sup>881</sup> - Русская история. Вып. 2. – С. 477, 478.

<sup>882</sup> - X глава литературы нашей науки в книге К.Н. Бестужева-Рюмина под заглавием «Памятники вещественные» представляет прекрасно и подробно составленное обозрение трудов археологических.

<sup>883</sup> - Бестужев-Рюмин К.Н.– С. 151; Евр., 1884 г. Кн. 5, 6, 7.

<sup>884</sup> - Ходаковский. История русской жизни. Ч. 1. – С. 532–534.

<sup>885</sup> - Гр. Уваров. Археология России – Каменный период. В 2 т. – 1881; Сонцов А.П. Роспись древней русской утвари из царского и домашнего быта. Три вып. – М., 1857–1858; Прохоров В. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. – Сибирь, 1881; Савваитов Павел. Описание

старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, с объяснительным Указателем. – Сибирь, 1865. С археологией в тесном смысле имеют связь многочисленные издания снимков рукописей, как, например: Палеографические снимки с греческих и славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки архиепископа Саввы. – М., 1863 и все издания Общества древней письменности.

<sup>886</sup> - В 1882 г. вышло второе издание этого исследования, в котором прибавлены новые изыскания автора о гуннах.

<sup>887</sup> - Журнал Министерства народного просвещения за 1874 г., июнь, июль и август.

<sup>888</sup> - Журнал Министерства народного просвещения. – 1877. – № 7 и 12.

<sup>889</sup> - Иловайский Д.И. История. Т. II. – С. 303.

<sup>890</sup> - Там же. – С. 305, 306.

<sup>891</sup> - Там же. – С. 14, 15.

<sup>892</sup> - Там же. – С. 306, 307.

<sup>893</sup> - Забелин И.Е. История русской жизни. Т. 1. – С. 5, 6.

<sup>894</sup> - Там же. – С. 10, 11

<sup>895</sup> - Там же. – С. 12–14, 17.

<sup>896</sup> - Забелин И.Е. Указ. соч. – С. 59, 60 и мн. др.

<sup>897</sup> - Забелин И.Е. Указ. соч. Т. II, гл. 1 и 2.

<sup>898</sup> - Над этим следовало бы сильно задуматься у нас, именно над тем, не попадает ли наша русская наука этим путем в новое рабство у Западной Европы? Мы видели, как в прошедшем столетии немецкая ученость вредила успеху нашей науки скрытыми в ней узкими немецкими воззрениями. Не окажется ли, что теперь мы попадаем в еще большее рабство благодаря господству сравнительного приема в нашей науке?

<sup>899</sup> - Голубинский Е.Е. История Русской церкви. Кн. 1. – С. 33–42.

<sup>900</sup> - Там же. – С. 48–54.

<sup>901</sup> - Там же. – С. 16–33.

<sup>902</sup> - Там же. – С.134.

<sup>903</sup> - Изд. 1805 и 1823 гг.

- 904 - 5 частей.  
905 - 12 томов.  
906 - Первое изд., 1870.  
907 - Голубинский Е.Е. Указ. соч. Предисловие. – С. XVI.  
908 - Там же. – С. XVI, XVII.  
909 - Голубинский Е.Е. Указ. соч. Кн. II. – С. 2, 3.

#### Послесловие.

<sup>910</sup> - Вот в этом-то роде вопросов чаще всего и сказывается несостоятельность сравнительного метода. Сравнить легче предметы – более видимые, более осязаемые, а более отвлеченные предметы, жизненные начала труднее, и потому при сравнении последних чаще всего делаются ошибки, неправильные выводы.

<sup>911</sup> - Голубинский Е.Е. Указ. соч. Кн. 1. – С. 134.

<sup>912</sup> - Там же. – С. 48.

<sup>913</sup> - Там же. – С. 16–33 (22).

<sup>914</sup> - Голубинский Е.Е. Указ. соч. Кн. 2. – С. 113–116.

<sup>915</sup> - Древняя и Новая Россия. Т. 1. – 1879. – С. 186–203, 281, Очерки древнерусского зодчества.

<sup>916</sup> - Об особом издании, о дополнениях и изменениях в нем автор предуведомлял, когда печатал свое исследование в «Русской Мысли». В № XI этого журнала за 1881 г. на с. 110 в примечании говорится: «Изложение этих перемен, когда дума (в XVII веке «из политической силы превратилась в простое административное удобство». – С. 109) найдет место в очерке административного устройства и деятельности Думы, который будет приложен к приготавливаемому особому изданию исследования, несколько измененному».

<sup>917</sup> - Исследование о приказах, вероятно, появится во втором выпуске второго тома.

<sup>918</sup> - Рассмотрены в первом томе.

<sup>919</sup> - Русская Мысль. – 1880. – № I. – С. 41.

<sup>920</sup> - Там же. – С. 42.

<sup>921</sup> - Там же. – С. 43, 44.

<sup>922</sup> - Там же. – С. 44.

- 923 - Там же. – С. 45.
- 924 - Русская Мысль. – 1880. – № I. – С. 53, 54.
- 925 - Там же. – С. 54.
- 926 - Там же. – С. 48.
- 927 - Там же. – 1880. – № III. – С. 45–50.
- 928 - Хотя в действительности, как увидим, он начинает это изучение главнейшим образом с археологии.
- 929 - Боярская дума. Особ. изд. – С. 25–27.
- 930 - Русская Мысль. – 1880. – № III. – С. 74.
- 931 - Русская Мысль. – 1880. – № IV. – С. 18.
- 932 - Там же.
- 933 - Там же. – С. 18, 19. Особое изд. – С. 23, 24.
- 934 - Русская Мысль. – Там же. Особ. изд. – С. 24.
- 935 - Русская Мысль. – Там же.
- 936 - Там же.
- 937 - Там же. – С. 24, 25; Особ. изд. – С. 24.
- 938 - Русская Мысль. – Там же. – С. 26, 27.
- 939 - Там же. – С. 27; Особ. изд. – С. 21.
- 940 - Там же.
- 941 - Русская Мысль. – Там же. – С. 30.
- 942 - Там же. – С. 28.
- 943 - Там же. – 1880. – № X. – С. 64, 65; Особ. изд. – С. 22,
- 23.
- 944 - Русская Мысль. – Там же. – С. 74.
- 945 - Русская Мысль. – Там же. – С. 66; Особ. изд. – С. 29–
- 32.
- 946 - Там же. – С. 75; Особ. изд. – С. 22.
- 947 - Русская Мысль. – Там же. – С. 75, 76.
- 948 - Там же. – С. 77, 78; Особ. изд. – С. 28, 29 (большие сокращения).
- 949 - Там же. – С. 80; Особ. изд. – С. 31, 32.
- 950 - Русская Мысль. – Там же. – С. 80, 81.
- 951 - Там же. – С. 83.

<sup>952</sup> - Русская Мысль. – Там же. – С. 89.

<sup>953</sup> - Там же. – С. 90, 91; Особ. изд. – С. 37–39.

<sup>954</sup> - Все это, по автору, ослабляет единство Руси и понижает политический уровень развития русского общества. «Опыт политического объединения русской земли, – говорит автор, – предпринятый века за два до смерти Ярослава, по-видимому, оказался неудачным при его преемниках. Обе общественные силы (городская аристократия и княжеская дружина), дружным действием которых был начат этот опыт и доселе поддерживался политический порядок, столкнувшись друг с другом, как будто повернули назад, к положению, в каком они были до князя Олега». «Князья стали превращаться в старинных варяжских конунгов, бездомных искателей военной добычи или хорошего корма по богатым городам за административные и военные услуги». «Часто вынуждаемые уступать городским патрициям, заправителям веч, непосредственное руководство волостями, они... оставались без почвы, оторванными от земли скитальцами. Городовые волости в свою очередь стремились возвратиться к прежнему политическому обособлению. Влияние, какое приобретал старший волостной город XII в. в своей волости, было только восстановлением того значения, какое он имел в IX веке». – Русская Мысль. – Там же. – С. 94, 95. Это, по автору, повело к обособлению княжеской думы, к уменьшению ее политического значения при тогдашнем отношении общественных сил. «Только в Новгороде, которому обстоятельства помогли в чистоте хранить древний политический строй волостного города, и в XII веке встречаем, – говорит автор, – Княжескую думу в том же составе, в каком она являлась при киевском князе Владимире в X веке. Князь Всеволод Мстиславич, задумав дать Церковный устав своей волости, для обсуждения этого законодательного акта призвал к себе на Совет вместе с епископом и боярами еще 10 сотских от черных людей города и старост от новгородского купечества... Таких известий не встречаем о Княжеской думе в других волостях XII века. Ни в Киеве, ни в других волостях этого века представители волостного города не сажаются рядом с боярами в Княжеском совете; городской мир



является перед князем обыкновенно в виде городского веча». – Русская Мысль. – Там же. – С. 95. В особом издании, кроме сокращения в изложении, автор несколько ослабляет резкость своих суждений о разладе в древней Руси и выдвигает значение договора. – С. 48–50. «При тогдашнем положении обеих соперничавших сил договор, ряд оставался, – говорит он, – единственным средством поддержания разрушившихся земских связей». – С. 50. «Начало договора, лежавшее в основании отношений князя к своей братии и к старшим городам, оказывало сильное действие и на отношение князя к его вольным слугам». – С. 50, 51. Силу договора и участие в Княжеской думе тысяцких и областных правителей автор указывает в Южной Руси, которую в этом отношении резко отличает от Руси Восточной. – С. 60–75.

<sup>955</sup> - Русская Мысль. – 1880. – № XI. – С. 126; Особ. изд. – С. 76.

<sup>956</sup> - Там же.

<sup>957</sup> - Там же. – С. 126, 127; Особ. изд. – С. 77.

<sup>958</sup> - Там же. – С. 126; 1881. – № VI. – С. 229, 230; Особ. изд. – С. 78, 186–188.

<sup>959</sup> - Русская Мысль. – 1880 – № X. – С. 131; Особ. изд. – С. 82.

<sup>960</sup> - Там же.

<sup>961</sup> - Русская Мысль. – 1880. – № X. – С. 131; Особ. изд. – С. 82.

<sup>962</sup> - Там же. – С. 131–133; Особ. изд. – С. 82–84

<sup>963</sup> - Там же. – С. 133; Отд. изд. – С. 83–85.

<sup>964</sup> - Там же. – С. 135; Особ. изд. – С. 87.

<sup>965</sup> - Там же. – С. 135–138, 142–146; Особ. изд. – С. 87, 88, приложение 2; С. 93–98.

<sup>966</sup> - Там же. – С. 146–152; Особ. изд. – С. 98–104.

<sup>967</sup> - Там же. – С. 154; Особ. изд. – С. 105.

<sup>968</sup> - Там же.

<sup>969</sup> - Русская Мысль. – Там же. – С. 154; Особ. изд. – С. 105.

<sup>970</sup> - Русская Мысль. – Там же. – С. 246; Особ. изд. – С. 106.

- 971 - Там же. – С. 246–262; Особ. изд. – С. 107–116.
- 972 - Русская Мысль. – Там же. – 1881. – № III. – С. 247.
- 973 - Там же.
- 974 - Там же. – С. 250, 251.
- 975 - Там же. – С. 256.
- 976 - Там же. – С. 257; Особ. изд. – С. 116.
- 977 - Там же. – № IV. – С. 217; Отд. изд. – С. 164, 166, 167.
- 978 - Там же. – № III. – С. 257, 258.
- 979 - Там же. – С. 258.
- 980 - Там же. – С. 259.
- 981 - Отд. изд. – С. 118–123.
- 982 - Там же. – С. 127.
- 983 - Русская Мысль. – 1881. – № III. – С. 269, 270; Особ. изд. – С. 123–126.
- 984 - Русская Мысль. – 1881. – № IV. – С. 200.
- 985 - Там же. – 1881. – № VI. – С. 187, 188; Особ. изд. – С. 131.
- 986 - Там же. – С. 189; Особ. изд. – С. 133.
- 987 - Русская Мысль. – 1881. – № VI. – С. 194–196.
- 988 - Там же. – С. 185, 187; 197; Особ. изд. – С. 129, 130 и Приложение V; см. также: Соловьев С.М. История. Т. XX. – С. 484.
- 989 - Там же. – С. 197, 198; Особ. изд. – С. 140, 141.
- 990 - Там же. – С. 200.
- 991 - Русская Мысль. – № VI. – С. 201; Особ. изд. – С. 145.
- 992 - Там же. – С. 216; Особ. изд. – С. 105.
- 993 - Там же; Особ. изд. – С. 165, 166.
- 994 - Русская Мысль. – Там же. – С. 219; Особ. изд. – С. 171.
- 995 - Там же. – С. 221; Особ. изд. – С. 173.
- 996 - Особ. изд. – С. 177.
- 997 - Особ. изд. – С. 181.
- 998 - Особ. изд. – С. 177–180.
- 999 - Особ. изд. – С. 178–180.

- 1000 - Русская Мысль. – № VI. – С. 227, 228; Особ. изд. – С. 176, 184–186.
- 1001 - Особ. изд. – С. 184, 185.
- 1002 - Русская Мысль. – Гл. X.; Особ. изд. – Гл. VIII.
- 1003 - Особ. изд. – С. 194, 195.
- 1004 - Особ. изд. – С. 190–197.
- 1005 - Особ. изд. – С. 197–202.
- 1006 - Русская Мысль. – 1881. – № XI. – Гл. III; Особ. изд. – С. 226.
- 1007 - Русская Мысль. – Гл. XI; Особ. изд. – Гл. IX.
- 1008 - Особ. изд. – С. 226.
- 1009 - Русская Мысль. – 1881. – № VIII. – С. 314–320; Особ. изд. – С. 237.
- 1010 - Особ. изд. – С. 239.
- 1011 - Русская Мысль. – 1881. – № 228; Особ. изд. – С. 240.
- 1012 - Там же. – № IX. – С. 238. Особ. изд. – С. 251, 252.
- 1013 - Особ. изд. – С. 252.
- 1014 - Русская Мысль. – 1881. – С. 632; № IX. – С. 249; Особ. изд. – С. 265.
- 1015 - Особ. изд. – С. 266–269.
- 1016 - Особ. изд. – С. 269–275.
- 1017 - Русская Мысль. – 1881. – № X. Особ. изд. – С. 299–305.
- 1018 - Особ. изд. – С. 293, 305, 307.
- 1019 - Особ. изд. – С. 307, 308.
- 1020 - Русская Мысль. – 1881. – № X. – С. 164; Особ. изд. – С. 314, 315.
- 1021 - Особ. изд. – С. 304, 305.
- 1022 - Русский Архив. – 1882. – № 1, статья князя Черкасского.
- 1023 - Русская Мысль. – 1881. – № X. – С. 172, 173; Особ. изд. – С. 324.
- 1024 - Русская Мысль. – № X. – С. 173; Особ. изд. – С. 325.
- 1025 - Там же. – № X. – С. 174; Особ. изд. – С. 327.

1026 - Там же. – С. 175; Особ. изд. – С. 326, 327, значительно сокращено.

1027 - Там же. – № X. – С. 177; Особ. изд. – С. 327.

1028 - Особ. изд. – С. 313, 314.

1029 - Русская Мысль. – № X. – С. 180.

1030 - Там же. – С. 181, 182; Особ. изд. – С. 331–333.

1031 - Русская Мысль. – 1881. – № XI. – С. 86; Особ. изд. – С. 355.

1032 - Там же.

1033 - Там же. – С. 87; Особ. изд. – С. 356.

1034 - Там же.

1035 - Там же. – С. 94; Особ. изд. – С. 365.

1036 - Русская Мысль. – Там же. – С. 95; Особ. изд. – С. 367.

1037 - Там же. – № XI.

1038 - Там же. – Со с. 368.

1039 - Там же. – С. 113; Особ. изд. – С. 396.

1040 - Русская Мысль. – Там же. – С. 403.

1041 - Там же. – С. 415.

1042 - Там же. – С. 407, 408.

1043 - Там же. – С. 455.

1044 - Там же. – С. 450, 451.

1045 - Там же. – С. 558, 559.

1046 - Там же. – С. 459, 460.

1047 - Русская Мысль. – Там же. – С. 406.

1048 - Там же. – С. 464, 471.

1049 - Там же. – С. 461, 462.

1050 - Там же. – С. 503.

1051 - Там же. – С. 501.

1052 - Русская Мысль. – Там же. – С. 516, 517. Слич. гл. XVIII по особ. изд. и XX – по «Русской Мысли».

1053 - СПб., 1883.

1054 - Русская Мысль. – Там же. – С. 402.

1055 - Там же. – С. 409.

- 1056 - Там же. – С. 412.  
1057 - Там же. – С. 413.  
1058 - Там же. – С. 402.  
1059 - Там же. – С. 402–407.  
1060 - Там же. – С. 530.  
1061 - Русская Мысль. – Там же. – С. 531.  
1062 - Там же.  
1063 - Там же. – С. 531–533.  
1064 - Там же. – С. 533.  
1065 - Там же.  
1066 - Русская Мысль. – Там же. – С. 535.  
1067 - Там же.  
1068 - Там же. – С. 536.

1069 - В Журнале Министерства народного просвещения за 1884 г. в сентябрьской книжке появился обстоятельный разбор сочинения г. Ключевского «Боярская дума», составленный А.И. Левицким (напечатана только часть этого разбора). Г-н Левицкий совершенно справедливо укоряет автора за отсутствие в его сочинении литературы предмета, особенно в отделе о русских древностях. Тут, очевидно, сыграл роль прием С.М. Соловьева, который, как известно, ограничивается указанием только первоисточников. Г-н Ключевский даже сузил этот прием и нередко соединяет в одно примечание источники, относящиеся к разным местам главы сочинения, за что критики в свое время сильно осуждали С.М. Соловьева. Но справедливость требует сказать, что в особых изданиях «Боярской думы» больше указаний источников, чем в издании сочинения в «Русской Мысли». Затем нужно сказать, что если бы г. Ключевский в отделе о русских древностях стал указывать литературу предмета, то ему пришлось бы написать второй «Каспий» гг. Куника и Дорна, т. е. книгу, в три раза большую книги «Боярская дума». Автор, очевидно, сам видел необходимость новой аргументации этой части и, вероятно, потому выбросил ее почти всю в новых своих изданиях и только ссылается на нее по изданию «Русской Мысли». Весьма

желательна дальнейшая разработка этой части. В вопросах о городах, погосте, верви у г. Ключевского есть немало основательных вещей. Г-н Левицкий старается еще ниспровергнуть попытку автора уловить смысл того, почему такие или другие лица поименованы в грамотах князей удельного времени. Нет ничего легче возражать против этого; но необычайно трудно и важно делать то, что делает здесь г. Ключевский, т. е. вносить свет в этот мрак нашей старины.

<sup>1070</sup> - Статьи по разным вопросам вообще русской истории и в особенности по западнорусской истории и жизни, я помещал в Журнале Министерства народного просвещения, в периодических изданиях И.С. Аксакова, в «Русском Инвалиде» за 1863–1864 гг., в газете «Новое Время» и, как указано, в изданиях Петербургской Духовной Академии – «Христианском Чтении» и «Церковном Вестнике». Все мои статьи подписаны моей фамилией, кроме трех-четырех, явившихся без подписи. Из них только одна (о своекоштных студентах – в «Дне») не подписана по моему желанию.